

МИРОВАЯ КЛАССИКА

И. ГОНЧАРОВ



Обрыв

Обрыв

Иван Александрович Гончаров

Аннотация
Иван Александрович Гончаров. Обрыв
Часть первая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Часть вторая

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Часть третья
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Часть четвертая
I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Часть пятая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Аннотация

Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками так же, как «Накануне» и «Дворянское гнездо» И. С.Тургенева. Блестящий образец психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века.

Иван Александрович Гончаров
Обрыв

Часть первая

I

Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет.

Первый был Борис Павлович Райский, второй — Иван Иванович Аянов.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже две-три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу

ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.

Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.

Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или, скорее, равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.

Смышленый взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм — вот его наружный портрет.

На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей», — скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.

Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения; хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром — с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.

Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренне не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.

Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как

солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба — эта вторая петербургская природа, и более ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии — вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.

Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны; как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.

Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, покойно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».

Он говорил просто, свободно переходя от

предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пиесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандалёзную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышениях, наградах, — знал и сплетни городские — словом, знал хорошо свой мир.

Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, вечер нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в Английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.

В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.

Строевую службу он прошел хорошо, протерши

лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом — и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.

Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад — и никакого дела.

Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в

картах, — в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, — а там, волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, — всё пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.

Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счет в институте, а он, устроив свои делишки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.

Одно только нарушало его спокойствие — это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожное событие — прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.

— Не пора ли одеваться: четверть пятого! — сказал Аянов.

— Да, пора, — отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.

— О чем ты задумался? — спросил Аянов.

— О ком? — поправил Райский. — Да о ней всё… о Софье…

— Опять! Ну! — заметил Аянов.

Райский стал одеваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? —

спросил Райский.

— Нимало: разве не всё равно играть что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.

— Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.

— Знаю, и это всё Софье Николаевне достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.

— У отца ведь, кажется, немного…

— Нет, всё спустил.

— Да куда он тратит? В карты почти не играет.

— Как куда? А женщины? А эта беготня, petits soupers[1], весь этот train[2]? Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер Armance, а она его-то и забыла пригласить к ужину…

— Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает?..

Оба засмеялись.

— От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже

---

[1] Примечания: 1
интимные ужины (*фр.*)

[2] Примечания: 2
образ жизни (*фр.*)

немного осталось?

— Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то всё от теток. Но пора! — сказал Райский. — Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.

Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.

— Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?

— Пока не выгонят — как обыкновенно. А что, скучно?

— Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает…

— Счастливый человек! — с завистью сказал Райский. — Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?

— Молчи, пожалуйста! — с суеверным страхом остановил его Аянов, — еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь — все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? — Он с удовольствием нюхнул воздух. — Я теперь выбрал подобрее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня: у меня ведь закрытый… ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кузине?

— Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки — переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!

— А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки…

— Ну, нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только… А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки?.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра… вот этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода…

— Да, именно — своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфекты, букеты: он развит, что ли?

— Оставим этот разговор, — сказал Райский, — а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки.

Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак, — ну, и при тебе!

— Ты играешь с женщинами, как я вижу, — сказал Аянов.

— Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю… Что же тут дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись, и конец всему.

— Да — и конец всему, и начало скуке! — задумчиво повторил Райский. — А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто — Дон Жуан!

— Да, Дон Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?

— А как же: что ж он, по-твоему?

— Ну так и Байрон, и Гете, и куча живописцев, скульпторов — всё были пустые люди…

— Да ты — Байрон или Гете, что ли?..

Райский с досадой отвернулся от него.

— Донжуанизм — то же в людском роде, что

донкихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнее… — сказал он.

— Коли потребность — так женись… я тебе говорю…

— Ах! — почти с отчаянием произнес Райский. — Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения — вот и всё. Да что толковать с тобой!

— Коли не жениться, так незачем и ходить, — апатично повторил Аянов.

— А знаешь — ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренни и неумышленны, — это не волокитство — знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него, — у меня само собою доделается остальное, и тогда возникает идеал счастья, семейного…

— Вот видишь; ну так и женись… — заметил Аянов.

— Погоди, погоди: никогда ни один идеал не

доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный… Что фантазия создаст, то анализ разрушит, как карточный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходил от меня…

— А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. — упрямо твердил Аянов, покачивая головой. — Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь…

— У меня никаких расчетов нет: я делаю это от… от… для удовольствия.

— От… от скуки — видишь, и я для удовольствия — и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему, — вот и всё. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и…

— Страстно! Страсти мешают жить. Труд — вот одно лекарство от пустоты: дело! — сказал Аянов внушительно.

Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил:

— Какое дело, скажи, пожалуйста: это любопытно!

— Как какое? Служи.

— Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?

Аянов засвистал от удивления.

— Вот тебе раз! — сказал он и поглядел около себя. — Да вот! — Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.

— А спроси его, — сказал Райский, — зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой и не видит, так что любой прохожий может вытащить у него платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте…

— И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кузине?

— Кроме красоты! Да это всё! Впрочем, я мало знаю ее: это-то, вместе с красотой, и влечет меня к ней…

— Как, каждый день вместе и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня… Вон, смотри, — продолжал Райский, — видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?

— Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?

— Ну, так что же?

— Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли — ну, словом, движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, — значит, было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии, — значит, есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее…

— Ну?

— Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее… А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была

жизнь и убита — ничего! Сияет и блестит, ничего не просит и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой, — сказал Аянов, вдруг останавливаясь. — Ходи ко мне вместо нее…

— Ты?

— Да — я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже… Что тебе за дело?..

— До тебя — никакого, а она — красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом…

— Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, — а с своими картами, визитами, раутами и службой — убирайся к черту!

— У тебя беспокойная натура, — сказал Аянов, — не было строгой руки и тяжелой школы — вот ты и куролесишь… Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива…

Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.

— Наташа! — повторил он тихо, — это единственный, тяжелый камень у меня на душе — не мешай память о ней в эти мои впечатления и мимолетные увлечения…

Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.

II

Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.

Она была из старинного богатого дома Па́хотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать.

Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.

У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец, и бо́льшая

часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, наросли значительные долги.

Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, сделает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Armance, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.

Николай Васильевич Пахотин был очень красивый, сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю…

Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или

Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.

Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge[3] актрисы.

Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами.

У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но

---

[3] Примечания: 3
грудь (*фр.*)

шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.

Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; всё на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностию и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.

С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.

Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим

характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.

Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.

Было у него другое ожидание — поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.

Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.

Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.

Кроме томительного ожидания третьей звезды,

у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения, вся его тактика, с тех пор как он промотался, — это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.

Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.

Он был в их глазах пустой, никуда негодный, ни на какое дело, ни для совета, старик и плохой отец, но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением.

Они гордились этим и прощали брату всё за то только, что он Пахотин.

Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам, остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пахотина Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.

Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых, шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна

Васильевна сырцовые букли и большую шаль.

У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.

Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками.

В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат; темные, тяжелые резные шкафы с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, козлы с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой.

Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка: там были цветы, ноты, множество

современных безделок.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шуму — тогда это был бы свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться.

Но цветы стояли в тяжелых, старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате. Да и тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию.

Если оказывалась книга в богатом переплете лежащею на диване, на стуле, — Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, — Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет.

Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий, готический камин прикрывался шир-

мами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его — целый магазин косметических снадобьев.

Как тихо и молчаливо было наверху, так внизу слышались часто звонкие голоса, смех, всегда было там живо, беспорядочно. Камердинер был у него француз с почтительной речью и наглым взглядом.

III

Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у ней будет партия.

— Ma cousine! — сказал Райский, протянув руку Беловодовой.

Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, Sophie, чтобы кушать давали, — сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола.

Софья Николаевна поднялась было с места, но Райский предупредил ее и дернул шнурок.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать, — с холодным достоинством обратилась старуха к человеку. — Да кушать давать! Ты что, Борис, опоздал сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского.

Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пахотиных. Но познакомился он с своей родней не больше года тому назад.

В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услыхав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то?

Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом.

Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал.

Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела, и там в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел Райский несколько лет, а чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончатель-

но изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами.

Дальнейшее развитие, занятия и направление еще более отвели Райского от всех преданий старины.

И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомства с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее: так Райский и сделал.

Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери.

Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на «ты» и стали звать его mon neveu,[4] а он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких

---

[4] Примечания: 4
племянником (*фр.*).

постороннему не приобрести во сто лет.

Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходить обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами.

А Софья мало оставалась одна с ним: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний.

А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать.

Райский между тем сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову — там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина — он хотел отыскать в ней просто женщину, наблюсти и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или, наконец, скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом?

Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина; но на открытом, будто молочной белизны белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица.

Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, — такое чувство; если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.

Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвет лица, плеч, рук — был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым — ни болезнью, ни бедами.

Одевалась она просто, если разглядеть подроб-

но всё, что на ней было надето, но казалась всегда великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.

Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.

В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице — и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.

Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу — всё, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия он ничего не прочел.

Она казалась ему всё той же картиной или античной статуей музея.

Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, comme il faut, жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый гименей наложит на нее цепи.

В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей в том или другом искателе мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего

рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.

Другие находили это натуральным, даже высоким, sublime,[5] только Райский — бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.

Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва.

Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее — что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного сострадания.

И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд.

«И она была замужем!» — думал Райский в недоумении.

Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сбли-

---

[5] Примечания: 5
возвышенным (*фр.*).

жался сколько возможно с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная зачем, для чего?

IV

Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстухом, обритый, сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами.

— Bonjour, bonjour! — отвечал он, кивая всем. — Я не обедаю с вами, не беспокойтесь, ne vous derangez pas,[6] — говорил он, когда ему предлагали сесть. — Я за городом сегодня.

— Помилуй, Nicolas, за городом! — сказала Анна Васильевна. — Ведь там еще не растаяло… Или давно ревматизм не мучил?

Пахотин пожал плечами.

— Что делать! Ce que femme veut, Dieu le veut![7] Вчера la petite Nini[8] заказала Виктору обед на ферме: «Хочу, говорит, подышать свежим воздухом…» Вот и я хочу!..

---

[6] Примечания: 6
не беспокойтесь (*фр.*).

[7] Примечания: 7
Чего хочет женщина — того хочет Бог! (*фр.*).

[8] Примечания: 8
крошка Нини (*фр.*).

— Пожалуйста, пожалуйста! — замахала рукой Надежда Васильевна, — поберегите подробности для этой petite Nini.

— Вы напрасно рискуете, — сказал Аянов, — я в теплом пальто озяб.

— Э! mon cher Иван Иванович: а если б вы шубу надели, так и не озябли бы!..

— Partie de plaisir[9] за городом — в шубах! — сказал Райский.

— За городом! Ты уже представляешь себе, с понятием «за городом», — и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть, и пастушку… Ты артист! А ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов…

— Без тепла, без воды… — перебил Райский.

— И только с воздухом… А воздухом можно дышать и в шубе. Итак, я еду в шубе… Надену, кстати, бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове: всё слышится, будто колокола звонят; вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется, грызут грецкие орехи… А всё же поеду. О женщины!

— Это тоже — Дон Жуан? — спросил тихонько

---

[9] Примечания: 9
Увеселительная прогулка (*фр.*).

Аянов у Райского.

— Да, в своем роде. Повторяю тебе, Дон Жуаны, как Дон Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно…

— Ну, брат, какую ты метафизику устроил из красоты!

— Женщины, — продолжал Пахотин, — теперь только и находят развлечение с людьми наших лет. (Он никогда не называл себя стариком.) И как они любезны: например, Pauline сказала мне…

— Пожалуйста, пожалуйста! — заговорила с нетерпением Надежда Васильевна. — Уезжайте, если не хотите обедать…

— Ах, ma sœur! два слова, — обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом что-то говорил ей.

— Опять! — с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. — Нету! — упрямо сказала потом.

— Quinze cents![10] — умолял он.

— Нету, нету, mon frère: к Святой неделе вы получили три тысячи, и уж нет… Это ни на что

---

[10] Примечания: 10
— Полторы тысячи! (*фр.*).

не похоже…

— Eh bien, mille roubles![11] Графу отдать: я у него на той неделе занял: совестно в глаза смотреть.

— Нету и нету: а на меня вам не совестно смотреть?

Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами.

— Вам сказывали люди, папá, что граф сегодня заезжал к вам? — спросила Софья, услыхав имя графа.

— Да; жаль, что не застал. Я завтра буду у него.

— Он завтра рано уезжает в Царское Село.

— Он сказал?

— Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно бы видеть вас, дело какое-то…

Пахотин опять пожевал губами.

— Знаю, знаю, зачем! — вдруг догадался он, — бумаги разбирать — merci, а к Святой опять обошел меня, а Илье дали! Qu'il aille se promener![12] Ты не была в Летнем саду? — спросил он у дочери. — Виноват, я не поспел…

— Нет, я завтра поеду с Catherine: она обещала заехать за мной.

---

[11] Примечания: 11
— Ну, тысячу рублей! (*фр.*).

[12] Примечания: 12
Пусть убирается! (*фр.*).

Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился; Аянов и старухи уселись за карты.

— Ну, Иван Иваныч, не сердитесь, — сказала Анна Васильевна, — если опять забуду да свою трефовую даму побью. Она мне даже сегодня во сне приснилась. И как это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках…

— Случается! — сказал любезно Аянов.

Райский и Софья сидели сначала в гостиной, потом перешли в кабинет Софьи.

— Что вы делали сегодня утром? — спросил Райский.

— Ездила в институт, к Лидии.

— А! к кузине. Что она, мила? Скоро выйдет?

— К осени; а на лето мы ее возьмем на дачу. Да, она очень мила, похорошела, только еще смешна… и все они пресмешные…

— А что?

— Окружили меня со всех сторон; от всего приходят в восторг: от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки… — Софья улыбнулась.

— Что ж, вы показали?

— Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей…

— Зачем же отучить? Наивные девочки, ко-

торых все занимает, веселит, и слава Богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче… Вы и там будете мешать им?

— О нет, цветы, деревья — кто ж им будет мешать в этом? Я только помешала им видеть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

— Разве можно жить без лишнего, без ненужного?

— Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной? — заметила она. — Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймают какое-нибудь слово и захотят знать подробности: скучно повторять.

— Если всё свести на нужное и серьезное, — продолжал Райский, — куда как жизнь будет бедна, скучна! Только что человек выдумал, прибавил к ней — то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады…

— Если б ma tante услыхала вас на этом слове… «отступления от правил»… — заметила Софья.

— Сейчас бы сказала: «пожалуйста, пожалуйста!» — досказал Райский. — А вы что скажете? — спросил он. — Обойдитесь хоть однажды без «ma tante»! Или это ваш собственный взгляд

на отступления от правил, проведенный только через авторитет ma tante?

— Вы, по обыкновению, хотите из желания девочек посмотреть ботинки сделать важное дело, разбранить меня и потом заставить согласиться с вами… да?

— Да, — сказал Райский.

— Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины: вон всех этих полинявших господ и госпож в робронах, манжетах…

Он указал на портреты.

— Вот видите, как много за мои правила, — сказала она шутливо. — А за ваши?..

— Еще больше! — возразил Райский и открыл портьеру у окна. — Посмотрите, все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не полинявшие люди — все за меня! Идите же к ним, кузина, а не от них назад! Там жизнь… — Он опустил портьеру. — А здесь — кладбище.

— По крайней мере можете ли вы, cousin, однажды навсегда сделать résumé: какие это *их* правила, — она указала на улицу, — в чем они

состоят, и отчего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно менять на другое, которым живут…

— В вашем вопросе есть и ответ: «жило», — сказали вы, и — отжило, прибавлю я. А эти, — он указал на улицу, — живут! Как живут — рассказать этого нельзя, кузина. Это значит рассказать вам жизнь вообще, и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески: в спорах, в примерах, читаю… а всё не расскажу.

— Кто ж виноват, — я?

— Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умею. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления… и я вам низко кланяюсь.

Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой.

— Будем оба непоколебимы: не выходить из правил, кажется, это всё… — сказала она.

— Не выходить из слепоты — не бог знает какой подвиг!.. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству…

— Но ведь я… совершенство, cousin? Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если б я только захотела слушать…

— Да, вы совершенны, кузина; но ведь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса — еще совершеннее вас. Зато… ваша жизнь, ваши правила… куда как несовершенны!

— Что же надо делать, чтоб понять эту жизнь и ваши мудреные правила? — спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шагу, чтоб понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь.

— Что делать? — повторил он. — Во-первых, снять эту портьеру с окна, и с жизни тоже, и смотреть на всё открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок…

— Cousin! — с улыбкой за резкость выражения вступилась Софья за предков.

— Да, да, — задорно продолжал Райский, — они лгут. Вот посмотрите, этот напудренный старик с стальным взглядом, — говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке, — он был, говорят, строг даже к семейству, люди боялись его взгляда… Он так и говорит со стены: «Держи себя достойно», — чего: человека, женщины, что ли? нет, — «достойно рода, фамилии», и если, Боже сохрани, явится человек с вчерашним име-

нем, с добытым собственной головой и руками значением — «не возводи на него глаз, помни, ты носишь имя Пахотиных!..» Ни лишнего взгляда, ни смелой, естественной симпатии… Боже сохрани от «mésalliance»! А сам — кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой? «Il faut bien placer ses affections!»[13] — говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. А на какие affections разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти affections на эту сухую старушку с востреньким носиком, жену свою?.. — Райский указал на другой женский портрет. — Нет, она смотрит что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий… как и вы, бедная, несчастная кузина…

— Cousin, cousin! — с усмешкой останавливала его Софья.

— Да, кузина: вы обмануты, и ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку, мечте, пыльному воспоминанию… Он велел! — говорил он, глядя почти с яростью на портрет, — сам жил обманом, лукавством или силою, мотал, творил ужасы, а другим

---

[13] Примечания: 13

«Надо соблюдать осторожность в своих привязанностях!» (*фр.*).

велел не любить, не наслаждаться!

— Cousin! пойдемте в гостиную: я не сумею ничего отвечать на этот прекрасный монолог… Жаль, что он пропадает даром! — чуть-чуть насмешливо заметила она.

— Да, — отвечал он, — предок торжествует. Завещанные им правила крепки. Он любуется вами, кузина: спокойствие, безукоризненная чистота и сияние окружают вас, как ореол…

Он вздохнул.

— Всё это лишнее, ненужное, cousin! — сказала она, — ничего этого нет. Предок не любуется на меня, и ореола нет, а я любуюсь на вас и долго не поеду в драму: я вижу сцену здесь, не трогаясь с места… И знаете, кого вы напоминаете мне? Чацкого…

Он задумался, и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся.

— Это правда, я глуп, смешон, — сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно, — может быть, я тоже с корабля попал на бал… Но и Фамусовы в юбке! — он указал на теток. — Ужели лет через пять, через десять…

Он не досказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван.

— О каком обмане, силе, лукавстве говорите

вы? — спросила она. — Ничего этого нет. Никто мне ни в чем не мешает… Чем же виноват предок? Тем, что вы не можете рассказать своих правил? Вы много раз принимались за это, и всё напрасно…

— Да, с вами напрасно, это правда, кузина! Предки ваши…

— И ваши тоже: у вас тоже есть они.

— Предки наши были умные, ловкие люди, — продолжал он, — где нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась в предание — и вы гибнете систематически, по преданию, как индиянка, сожигающаяся с трупом мужа…

— Послушайте, m-r Чацкий, — остановила она, — скажите мне, по крайней мере, от чего я гибну? От того, что не понимаю новой жизни, не… не поддаюсь… как вы это называете… развитию? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развития, да? а я всякий день слышу, что вы скучаете… вы иногда наводите на всех скуку…

— И на вас тоже?

— Нет, не шутя, мне жаль вас…

— Говоря о себе, не ставьте себя наряду со мной, кузина: я урод, я… я… не знаю, что я такое, и никто этого не знает. Я больной, ненормальный

человек, и притом я отжил, испортил, исказил… или нет, не понял своей жизни. Но вы цельны, определенны, ваша судьба так ясна, и между тем я мучаюсь за вас. Меня терзает, что даром уходит жизнь, как река, текущая в пустыне… А то ли суждено вам природой? Посмотрите на себя…

— Что же мне делать, cousin: я не понимаю? Вы сейчас сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первых, снять портьеру с нее. Положим, она снята, и я не слушаюсь предков: я знаю, зачем, куда бегут все эти люди, — она указала на улицу, — что их занимает, тревожит: что же нужно во-вторых?

— Во-вторых, нужно…

Он встал, заглянул в гостиную, подошел тихо к ней и тихо, но внятно сказал:

— Любить!

— Voilà le grand mot![14] — насмешливо заметила она.

Оба замолчали.

— Вы, кажется, и их упрекали, зачем они не любят? — с улыбкой прибавила она, показав головой к гостиной на теток.

Райский махнул с досадой на теток рукой.

---

[14] Примечания: 14

— Какое громкое слово! (*фр.*).

— Вы будто лучше теток, кузина? — возразил он. — Только они стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослепительны…

— Mercі, mercі, — нетерпеливо перебила она с своей обыкновенной, как будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значит любить, как я понимаю любовь?

— Зачем? Мне не нужно это знать.

— Нет, вы не смеете спросить!

— Почему?

— Они услышат. — Райский указал на портреты предков. — Они не велят… — Он указал в гостиную на теток.

— Нет, *он* услышит! — сказала она, указывая на портрет своего мужа во весь рост, стоявший над диваном, в готической золоченой раме.

Она встала, подошла к зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шее.

Райский между тем изучал портрет мужа: там видел он серые глаза, острый, небольшой нос, иронически сжатые губы и коротко остриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливца, который мог бы, по праву сердца, велеть или не велеть этой

богине. «Нет, нет, не этот! — думал он, глядя на портрет, — это тоже предок, не успевший еще полинять; не ему, а принципу своему покорна ты…»

— Вы так часто обращаетесь к своему любимому предмету, к любви, а посмотрите, cousin, ведь мы уж стары, пора перестать думать об этом! — говорила она, кокетливо глядя в зеркало.

— Значит, пора перестать жить… Я — положим, а вы, кузина?

— Как же живут другие, почти все?

— Никто! — с уверенностью перебил он.

— Как? По-вашему, князь Пьер, Анна Борисовна, Лев Петрович… все они…

— Живут — или воспоминаниями любви, или любят, да притворяются…

Она засмеялась и стала собирать в симметрию цветы, потом опять подошла к зеркалу.

— Да, любили или любят, конечно, про себя, и не делают из этого никаких историй, — досказала она и пошла было к гостиной.

— Одно слово, кузина! — остановил он ее.

— О любви? — спросила она, останавливаясь.

— Нет, не бойтесь, по крайней мере теперь я не расположен к этому. Я хотел сказать другое.

— Говорите, — мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо к делу: скажите мне, откуда вы берете это спокойствие, как удается вам сохранять тишину, достоинство, эту свежесть в лице, мягкую уверенность и скромность в каждом мерном движении вашей жизни? Как вы обходитесь без борьбы, без увлечений, без падений и без побед? Что вы делаете для этого?

— Ничего! — с удивлением сказала она. — Зачем вы хотите, чтоб со мной делались какие-то конвульсии?

— Но ведь вы видите других людей около себя, не таких, как вы, а с тревогой на лице, с жалобами…

— Да, вижу и жалею: ma tante, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тик, а папа́ на приливы…

— А другие, а все? — перебил он, — разве так живут? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачут, томятся, а вы нет? Отчего другим по три раза в день приходится тошно жить на свете, а вам нет? Отчего они мечутся, любят и ненавидят, а вы нет?..

— Вы про тех говорите, — спросила она, указывая головой на улицу, — кто там бегает, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю их жизни. Да, я не знаю этих людей и не понимаю их жизни.

Мне дела нет…

— Дела нет! Ведь это значит дела нет до жизни! — почти закричал Райский, так что одна из теток очнулась на минуту от игры и сказала им громко: «Что вы всё там спорите: не подеритесь!.. И о чем это они?»

— Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, как будто я мертвая! Я предвижу, что будет дальше, — сказала она, засмеявшись, так что показались прекрасные зубы. — Сейчас дойдем до правил и потом… до любви.

— Нет, не отжил еще Олимп! — сказал он. — Вы, кузина, просто олимпийская богиня — вот и конец объяснению, — прибавил, как будто с отчаянием, что не удается ему всколебать это море. — Пойдемте в гостиную!

Он встал. Но она сидела.

— Вы не удостоиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живете олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию — и благо вам!

— Чего же еще: у меня всё есть, и ничего мне не надо…

Она не успела кончить, как Райский вскочил.

— Вы высказали свой приговор сами, кузина, — напал он бурно на нее, — «у меня всё есть, и

ничего мне не надо»! А спросили ли вы себя хоть раз о том: сколько есть на свете людей, у которых ничего нет и которым всё надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк, бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является готовый обед, у крыльца ждет экипаж и везет вас на бал и в оперу. Десять слуг не дадут вам пожелать и исполняют почти ваши мысли… Не делайте знаков нетерпения: я знаю, что всё это общие места… А думаете ли вы иногда, откуда это всё берется и кем доставляется вам? Конечно, не думаете. Из деревни приходят от управляющего в контору деньги, а вам приносят на серебряном подносе, и вы, не считая, прячете в туалет…

— Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе, — сказала она, — а я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями.

— Да, но выдает. Вы выслушаете наставления и потом тратите деньги. А если б вы знали, что там, в тамбовских или орловских ваших полях, в зной, жнет беременная баба…

— Cousin! — с ужасом попробовала она остановить его, но это было нелегко, когда Райский входил в пафос.

— Да, а ребятишек бросила дома — они ползают

с курами, поросятами, и если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи… А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтоб добыть хлеба, буквально хлеба — утолить голод с семьей, и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе… Вы этого не знаете: «вам дела нет», — говорите вы…

На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения.

— Чем же я тут виновата и что я могу сделать? — тихо сказала она, смиренно и без иронии.

— Я не проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос: «что делать», и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудит от этого блаженного успения — и иногда очень грубо. Научить «что делать» — я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас: вы спите, а не живете. Что из этого выйдет, я не знаю — но не могу оставаться и равнодушным к вашему сну.

— А вы сами, cousin, что делаете с этими несчастными: ведь у вас есть тоже мужики и

эти… бабы? — спросила она с любопытством.

— Мало делаю или почти ничего, к стыду моему или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет всё тот же опекун — и я не знаю как. Есть у меня еще бабушка, в другом уголке, — там какой-то клочок земли есть: в их руках всё же лучше, нежели в моих. Но я, по крайней мере, не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни — знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю — и всё же делаю. Но, кроме того, я выбрал себе дело: я люблю искусство и… немного занимаюсь… живописью, музыкой… пишу… — досказал он тихо, и смотрел на конец своего сапога.

— Это очень серьезно, что вы мне сказали! — произнесла она задумчиво. — Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Paul, муж мой, никогда мне не говорили этого — и никто. Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счеты, я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае. А… о бабах этих… и о ребятишках… никогда.

— Да, это mauvais genre![15] Ведь при вас даже неловко сказать «мужик» или «баба», да еще бере-

---

[15] Примечания: 15
дурной тон (*фр.*).

менная… Ведь «хороший тон» не велит человеку быть самим собой… Надо стереть с себя всё свое и походить на всех!

— Когда-нибудь… мы проведем лето в деревне, cousin, — сказала она живее обыкновенного, — приезжайте туда, и… и мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками — это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать… этих баб работать… Наконец, я не буду брать своих карманных денег…

— Ну, их положит в свой карман Иван Петрович. Оставим это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономии, до социализма и коммунизма — я в этом не силен. Довольно того, что я потревожил ваше спокойствие. Вы говорите, что дурно уснете, — вот это и нужно: завтра не будет, может быть, этого сияния на лице, но зато оно засияет другой, не ангельской, а человеческой красотой. А со временем вы постараетесь узнать, нет ли и за вами какого-нибудь дела, кроме визитов и праздного спокойствия, и будете уже с другими мыслями глядеть и туда, на улицу. Представьте только себя там, хоть изредка: например, если б вам пришлось идти пешком в зимний вечер, одной взбираться в пятый этаж, давать уроки? Если б вы не знали, будет ли у вас топлена комната

и выработаете ли вы себе на башмаки и на салоп, — да еще не себе, а детям? И потом убиваться неотступною мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы?.. И жить под этой мыслью, как под тучей, десять, двадцать лет…

— C'est assez, cousin![16] — нетерпеливо сказала она. — Возьмите деньги и дайте туда…

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, поверить им, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Так вот те principes… А что дальше? — спросила она.

— Дальше… любить… и быть любимой…

— И что ж потом?

— Потом… «плодиться, множиться и населять землю»: а вы не исполняете этого завета…

Она покраснела и как ни крепилась, но засмеялась, и он тоже, довольный тем, что она сама помогла ему так определительно высказаться о конечной цели любви.

— А если я любила? — отозвалась она.

— Вы? — спросил он, вглядываясь в ее бес-

---

[16] Примечания: 16
— Довольно, кузен! (*фр.*)

страстное лицо. — *Вы* любили и… страдали?

— Я была счастлива. Зачем непременно страдать?

— Вы оттого и не знаете жизни, не ведаете чужих скорбей: кому что нужно, зачем мужик обливается потом, баба жнет в нестерпимый зной — всё оттого, что вы не любили! А любить не страдая — нельзя. Нет! — сказал он, — если б лгал ваш язык, не солгали бы глаза, изменились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорят, что вы как будто вчера родились…

— Вы поэт, артист, cousin, вам, может быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей…

— Это я вижу, кузина; но поймете ли? — вот что хотел бы я знать! Любили и никогда не выходили из вашего олимпийского спокойствия?

Она отрицательно покачала головой.

— Как это вы делали, расскажите! Так же сидели, глядели на всё покойно, так же, с помощью ваших двух фей, медленно одевались, покойно ждали кареты, чтоб ехать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу из себя, тысячу раз не спросили себя мысленно, там ли он, ждет ли, думает ли? не изнемогли ни разу, не покраснели

от напрасно потерянной минуты или от счастья, увидя, что он там? И не сбежала краска с лица, не являлся ни испуг, ни удивление, что его нет?

Она отрицательно покачала головой.

— Не приходилось вам обрадоваться, броситься к нему, не найти слов, когда он войдет вот сюда?..

— Нет, — сказала она с прежней усмешкой.

— А когда вы ложились спать…

В лице у ней появилось беспокойство.

— Не стоял он тут?.. — продолжал он.

— Что вы, cousin! — почти с ужасом сказала она.

— Не стоял он хоть в воображении у вас, не наклонялся к вам?..

— Нет, нет… — отвергала она, качая головой.

— Не брал за руку, не раздавался поцелуй?..

Краска разлилась по ее щекам.

— Cousin, я была замужем, вы знаете… assez, assez, de grâce…[17]

— Если б вы любили, кузина, — продолжал он, не слушая ее, — вы должны помнить, как дорого вам было проснуться после такой ночи, как радостно знать, что вы существуете, что есть мир,

---

[17] Примечания: 17

довольно, довольно, помилосердствуйте (*фр.*).

люди и *он*…

Она опустила длинные ресницы и дослушивала с нетерпением, шевеля концом ботинки.

— Если этого не было, как же вы любили, кузина? — заключил он вопросом.

— Иначе.

— Расскажите: зачем таить *возвышенную* любовь?..

— Я не таю: в ней не было ничего ни таинственного, ни возвышенного, а так, как у всех…

— Ах, только не у всех, нет, нет! И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что будет с вами, с этой скучной комнатой? Цветы не будут стоять так симметрично в вазах, и всё здесь заговорит о любви.

— Довольно, довольно! — остановила она с полуулыбкой, не от скуки нетерпения, а под влиянием как будто утомления от раздражительного спора. — Я воображаю себе обеих тетушек, если б в комнате поселился беспорядок, — сказала она, смеясь, — разбросанные книги, цветы — и вся улица смотрит свободно сюда!..

— Опять тетушки! — упрекнул он. — Ни шагу без них! И всю жизнь так?

— Да… конечно, — задумавшись, сказала она. — Как же?

— А сами что? Ужели ни одного свободного побуждения, собственного шага, каприза, шалости, хоть глупости?..

Она думала, казалось, припоминала что-то, потом вдруг улыбнулась и слегка покраснела.

— А! кузина, вы краснеете? значит, тетушки не всегда сидели тут, не всё видели и знали! Скажите мне, что такое! — умолял он.

— Я вспомнила в самом деле одну глупость и когда-нибудь расскажу вам. Я была еще девочкой. Вы увидите, что и у меня были и слезы, и трепет, и краска… et tout ce que vous aimez tant![18] Но расскажу с тем, чтобы вы больше о любви, о страстях, о стонах и воплях не говорили. А теперь пойдемте к тетушкам.

Он вышел в гостиную, а она подошла к горке, взяла флакон, налила несколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потом оправилась у зеркала и вышла в гостиную.

Она села подле теток и стала пристально следить за игрою, а Райский за нею.

Она была покойна, свежа. А ему втеснилось в душу, напротив, беспокойство, желание узнать, что у ней теперь на уме, что в сердце, хотелось

---

[18] Примечания: 18
и все, что вы так любите! (*фр.*).

прочитать в глазах, затронул ли он хоть нервы ее; но она ни разу не подняла на него глаз. И потом уже, когда после игры подняла, заговорила с ним — всё то же в лице, как вчера, как третьего дня, как полгода назад.

«Чем и как живет эта женщина! Если не гложет ее мука, если не волнуют надежды, не терзают заботы, — если она в самом деле “выше мира и страстей”, отчего она не скучает, не томится жизнью… как скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!»

V

— Ну, что ты сделал? — спросил Райский Аянова, когда они вышли на улицу.

— Сорок пять рублей выиграл: а ты?

Райский пожал плечами и передал содержание разговора с Софьей.

— Что ж: и это дело от безделья. Ну, и весело?

— Глупое слово: весело! Только дети и французы ухитряются веселиться: s'amuser.[19]

— Как же назвать то, что ты делаешь, — и зачем?

— Я уж сказал тебе, зачем, — сердито отозвался Райский. — Затем, что красота ее увлекает, раздражает — и скуки нет — я наслаждаюсь — понимаешь? Вот у меня теперь шевелится мысль писать ее портрет. Это займет месяц, потом буду изучать ее…

— Смотри, не влюбись, — заметил Аянов. — Жениться нельзя, говоришь ты, — а играть в страсти с ней тоже нельзя. Когда-нибудь так обожжешься…

— Кому ты это говоришь! — перебил Рай-

---

[19] Примечания: 19
развлекаться (*фр.*).

ский. — Как будто я не знаю! А я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. И если б когда-нибудь обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той… Да нет: страсти — или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нет для меня мирной пристани: или горение, или — сон и скука!

— И чем ты сегодня не являлся перед кузиной! Она тебя Чацким назвала… А ты был и Дон Жуан, и Дон Кихот вместе. Вот умудрился! Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедовать…

— И я не удивлюсь, — сказал Райский, — хоть рясы и не надену, а проповедовать могу — и искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость — словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен… Натура моя отзывается на всё, только разбуди нервы — и пойдет играть!.. Знаешь что, Аянов: у меня давно засела серьезная мысль — писать роман. И я хочу теперь посвятить всё свое время на это.

Аянов засмеялся.

— Серьезная мысль! — повторил он, — ты говоришь о романе как о серьезном деле! А вправду: пиши, тебе больше нечего делать, как писать романы…

— Ты не смейся и не шути: в роман всё уходит — это не то что драма или комедия — это как океан: берегов нет или не видать; не тесно, всё уместится там. И знаешь, кто навел меня на мысль о романе: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

— Актрису?

— Да, это очень смешно. Она милая женщина и хитрая, и себе на уме в своих делах, как все женщины, когда они, как рыбы, не лезут из воды на берег, а остаются в воде, то есть в своей сфере…

— Ну, что же она?

— Ну, она рассказала вот что про себя. Подходил ее бенефис, а пьесы не было: драматургов у нас немного: что у кого было, те обещали другим, а переводную ей давать не хотелось. Она и вздумала сочинить сама…

— Не боги горшки обжигают! пришло, видно, ей в голову, — сказал Аянов.

— Именно. И с какой милой наивностью поверяла она мне свои соображения. Например, говорит, в «Горе от ума» (excusez du peu[20]) все лица — самые обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой:

---

[20] Примечания: 20
ни больше ни меньше (*фр.*).

влюбился Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец рассердился на обоих, она на Молчалина — и всё!.. И у Мольера, говорит, скупой — скуп, Тартюф — подлый лицемер. Можно даже, говорит, придумать похитрее, поинтереснее интригу. Словом, комедия ей казалась так же мало серьезным делом, как тебе кажется роман. За трагедию она не бралась: тут она скромно сознавалась в своей несостоятельности. А за комедию взялась и в неделю написала листов десять: я просил показать — ни за что! «Что же, кончили?» — спросил я. «Как ни билась, не доходит до конца, — говорит, — лица всё разговаривают и не могут перестать, так и бросила». Бедняжка! Жаль, что ей понадобилась комедия, в которой нужны и начало и конец, и завязка и развязка, а если б она писала роман, то, может быть, и не бросила бы. И лица у ней всё разговаривали бы до сих пор. Я буду писать роман, Аянов. В роман укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям.

— Своя или чужая? — спросил Аянов. — Ты этак, пожалуй, всех нас вставишь…

— Не беспокойся. Что хорошо под кистью, в другом искусстве не годится. Всё зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображе-

ния и своеобразия во взгляде. Немного юмора, да чувства, да искренности, да воздержности, да… поэзии…

Он замолчал и шел задумчиво.

— Excusez du peu! — повторил и Аянов. — Пиши, что взбрело на ум, что-нибудь да выйдет.

Райский вздохнул.

— Нет, — сказал он, — нужно еще одно, я не упомянул: это… талант.

— Конечно, безграмотный не напишет…

— Ты грамотный, что ж ты не пишешь? — перебил Райский.

— Зачем? У меня есть что писать. Я дело пишу…

— Опять ты хвастаешься «делом»! Я думаю, если ты перестанешь писать — вот тогда и будет дело.

— А роман твой даст мне оклад в пять тысяч, да квартиру с отоплением, да чин, да?..

— И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловечимся!

— Я стал очеловечиваться с тех пор, как начал получать по две тысячи, и теперь вот понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны с экономическими…

— Знаю, знаю; но зачем ты так храбришься этим циническим эгоизмом?

Аянов собрался было запальчиво отвечать, но в эту минуту наезжала карета, кучер закричал им, и спор не пошел дальше.

— Так живопись — прощай! — сказал Аянов.

— Как прощай: а портрет Софьи?.. На днях начну. Я забросил академию и не видался ни с кем. Завтра пойду к Кирилову: ты его знаешь?

— Не помню; кажется, видел: нечесаный такой…

— Да, но глубокий, истинный художник, каких нет теперь: последний могикан!.. Напишу только портрет Софьи и покажу ему, а там попробую силы на романе. Я записывал и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня род творчества; не удастся ли там?

— Послушай, Райский, сколько я тут понимаю, надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их… Лучше пиши по утрам роман, а вечером играй в карты: по маленькой, в коммерческую… это не раздражает…

— А это-то и нужно для романа, то есть раздражение. Да тронь я карты, так я стащу и с тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и там: слава Богу, я никогда не заглядывал в нее, а если

загляну — так уж выйдет не роман, а трагедия. Впрочем, ты дело говоришь: двум господам служить нельзя! Дай мне кончить как-нибудь эту историю с Софьей, написать ее портрет, и тогда, под влиянием впечатления ее красоты, я, я… Вот пусть эта звезда, как ее… ты не знаешь? и я не знаю, ну да всё равно, — пусть она будет свидетельницей, что я, наконец, слажу с чем-нибудь: или с живописью, или с романом. Роман — да! Смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств… une mer à boire![21]

Они молча шли. Аянов насвистывал, а Райский шел, склоня голову, думая то о Софье, то о романе. На перекрестке, где предстояло расходиться, Райский вдруг спросил:

— Когда же опять туда?

— Куда туда?

— А к Софье

— Ты опять? а я думал, что ты уж работаешь над романом, и не мешал тебе.

— Я тебе сказал: жизнь — роман, и роман — жизнь.

— Чья жизнь?

---

[21] Примечания: 21
невыполнимая задача! (*фр.*).

— Всякая, даже твоя!
— В среду тетки звали играть.
— Долго, но нечего делать — до среды!

VI

Райский лет десять живет в Петербурге, то есть у него там есть приют, три порядочные комнаты, которые он нанимает у немки и постоянно оставляет квартиру за собой, а сам редко полгода выживал в Петербурге, с тех пор как оставил службу.

А оставил он ее давно, как только вступил. Поглядевши вокруг себя, он вывел свое оригинальное заключение, что служба не есть сама цель, а только средство куда-нибудь девать кучу люда, которому без нее незачем бы родиться на свет. И если б не было этих людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несут.

Его определил сначала в военную, потом в статскую службу опекун, он же и двоюродный дядя, затем прежде всего, чтоб сбыть всякую ответственность и упрек за небрежность в этом отношении, потом затем, зачем все посылают молодых людей в Петербург: чтоб не сидели праздно дома, «не баловались, не били баклуш» и т. п., — это цель отрицательная.

В Петербурге есть и выправка, и надзор, и работа; в Петербурге можно получить место про-

курора, потом, со временем, и губернатора, — это цель положительная.

Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам решил, что в нем живут взрослые люди, а во всей остальной России — недоросли.

Но вот Райскому за тридцать лет, а он еще ничего не посеял, не пожал и не шел ни по одной колее, по каким ходят приезжающие изнутри России.

Он ни офицер, ни чиновник, не пробивает себе никакого пути трудом, связями, будто нарочно, наперекор всем, один остается недорослем в Петербурге. В квартале прописан он отставным коллежским секретарем.

Физиономисту трудно бы было определить по лицу его свойства, склонности и характер, потому что лицо это было неуловимо изменчиво.

Иногда он кажется так счастлив, глаза горят, и наблюдатель только что предположит в нем открытый характер, сообщительность и даже болтливость, как через час, через два, взглянув на него, поразится бледностью его лица, каким-то внутренним и, кажется, неисцелимым страданием, как будто он отроду не улыбнулся.

Он в эти минуты казался некрасив: в чертах лица разлад, живые краски лба и щек заменялись

болезненным колоритом.

Но если покойный дух жизни тихо опять веял над ним, или попросту «находил на него счастливый стих», лицо его отражало запас силы воли, внутренней гармонии и самообладания, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущего к этому лицу мечтательного оттенка, лежавшего не то в этом темном зрачке, не то в легком дрожании губ.

Нравственное лицо его было еще неуловимее. Бывали какие-то периоды, когда он «обнимал, по его выражению, весь мир», когда чарующею мягкостью открывал доступ к сердцу, и те, кому случалось нападать на эти минуты, говорили, что добрее, любезнее его нет.

Другим случалось попадать в несчастную пору, когда у него на лице выступали желтые пятна, губы кривились от нервной дрожи, и он тупым, холодным взглядом и резкой речью платил за ласку, за симпатию. Те отходили от него, унося горечь и вражду, иногда навсегда.

Какие это периоды, какие дни — ни другие, ни сам он не знал.

— Злой, холодный эгоист и гордец! — говорили попавшие в злую минуту.

— Помилуйте, он очарователен: он всех нас

обворожил вчера, все без ума от него! — говорили другие.

— Актер! — твердили некоторые.

— Фальшивый человек! — возражали иные. — Когда чего-нибудь захочет достигнуть, откуда берутся речи, взгляды, как играет лицо!

— Помилуйте! это честнейшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная! — защищали его два-три дружеские голоса.

Итак, в круге даже близких знакомых его не сложилось о нем никакого определенного понятия, и еще менее образа.

И в раннем детстве, когда он воспитывался у бабушки, до поступления в школу, и в самой школе, в нем проявлялись те же загадочные черты, та же неровность и неопределенность наклонностей.

Когда опекун привез его в школу и посадили его на лавку: во время класса, кажется, первым бы делом новичка было вслушаться, что спрашивает учитель, что отвечают ученики.

А он прежде всего воззрился в учителя: какой он, как говорит, как нюхает табак, какие у него брови, бакенбарды; потом стал изучать болтающуюся на животе его сердоликовую печатку, потом заметил, что у него большой палец правой

руки раздвоен посередине и представляет подобие двойного ореха.

Потом осмотрел каждого ученика и заметил все особенности: у одного лоб и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось вперед, там вон у двоих, у одного справа, у другого слева, на лбу волосы растут вихорком и т. д., всех заметил и изучил, как кто смотрит.

Один с уверенностью глядит на учителя, просит глазами спросить себя, почешет колени от нетерпения, потом голову. А у другого на лице то выступает, то прячется краска — он сомневается, колеблется. Третий упрямо смотрит вниз, пораженный боязнью, чтоб его не спросили. Иной ковыряет в носу и ничего не слушает. Тот должен быть ужасный силач, а этот черненький — плут. И доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется?

— О чем я говорил сейчас? — вдруг спросил его учитель, заметив, что он рассеянно бродит глазами по всей комнате.

К удивлению его, Райский сказал ему от слова до слова, что он говорил.

— Что же это значит? — дальше спросил учитель.

Райский не знал: он так же машинально слушал, как и смотрел, и ловил ухом только слова.

Учитель повторил объяснение. Борис опять слушал, как раздавались слова: иное учитель скажет коротко и густо, точно оборвет, другое растянет, будто пропоет, вдруг слов десять посыплются, как орехи.

— Ну? — спросил учитель.

Райский покраснел, даже вспотел немного от страха, что не знает в чем дело, и молчал.

Это был учитель математики. Он пошел к доске, написал задачу, начал толковать.

Райский только глядел, как проворно и крепко пишет он цифры, как потом идет к нему прежде брюхо учителя с сердоликовой печаткой, потом грудь с засыпанной табаком манишкой. Ничего не ускользнуло от Райского, только ускользнуло решение задачи.

Кое-как он достиг дробей, достиг и до четырех правил из алгебры, когда же дело дошло до уравнений, Райский утомился напряжением ума и дальше не пошел, оставшись совершенно

равнодушным к тому, зачем и откуда извлекают квадратный корень.

Учитель часто бился с ним и почти всякий раз со вздохом прибавлял:

— Садись на свое место, ты пустой малый!

Но когда на учителя находили игривые минуты и он, в виде забавы, выдумывал, а не из книги говорил свои задачи, не прибегая ни к доске, ни к грифелю, ни к правилам, ни к пинкам, — скорее всех, путем сверкающей в голове догадки, доходил до результата Райский.

У него в голове было свое царство цифр в образах: они по-своему строились у него там, как солдаты. Он придумал им какие-то свои знаки или физиономии, по которым они становились в ряды, слагались, множились и делились; все фигуры их рисовались то знакомыми людьми, то походили на разных животных.

— Ну не пустой ли малый! — восклицал учитель. — Не умеет сделать задачи указанным, следовательно, облегченным путем, а без правил наобум говорит. Глупее нас с тобой выдумывали правила!

Между тем писать выучился Райский быстро, читал со страстью историю, эпопею, роман, басню, выпрашивал, где мог, книги, но с фактами,

а умозрений не любил, как вообще всего, что увлекало его из мира фантазии в мир действительный.

Из географии, в порядке, по книге, как проходили в классе, по климатам, по народам, никак и ничего он не мог рассказать, особенно когда учитель спросит:

— А ну-ка, перескажи все горы в Европе! — или: — все порты Средиземного моря.

Между тем вне класса начнет рассказывать о какой-нибудь стране или об океане, о городе — откуда что берется у него! Ни в книге этого нет, ни учитель не рассказывал, а он рисует картину, как будто был там, всё видел сам.

— Да ты всё врешь! — скажет иногда слушатель-скептик, — Василий Никитич этого не говорил!

Директор подслушал однажды, когда он рассказывал, как дикие ловят и едят людей, какие у них леса, жилища, какое оружие, как они сидят на деревьях, охотятся за зверями, даже начал представлять, как они говорят горлом.

— Пустяки молоть мастер, — сказал ему директор, — а на экзамене не мог рассказать системы рек! Вот я тебя высеку, погоди! Ничем не хочет серьезно заняться: пустой мальчишка! — И дернул его за ухо.

Райский смотрел, как стоял директор, как говорил, какие злые и холодные у него были глаза, разбирал, отчего ему стало холодно, когда директор тронул его за ухо, представил себе, как поведут его сечь, как у Севастьянова от испуга вдруг побелеет нос, и он весь будто похудеет немного, как Боровиков задрожит, запрыгает и захихикает от волнения, как добрый Масляников, с плачущим лицом, бросится обнимать его и прощаться с ним, точно с осужденным на казнь. Потом, как его будут раздевать и у него похолодеет сначала у сердца, потом руки и ноги, как он не сможет сам лечь, а положит его тихонько сторож Сидорыч…

Он слышал мысленно свой визг, видел болтающиеся ноги и вздрогнул…

У него упали нервы: он перестал есть, худо спал. Он чувствовал оскорбление от одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесет у него все хорошее, и вся его жизнь будет гадка, бедна и страшна, и сам он станет, точно нищий, всеми брошенный, презренный.

В это время, как будто нарочно пришлось, священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего…

Райский расплакался, его прозвали «нюней».

Он приуныл, три дня ходил мрачный, так что узнать нельзя было: он ли это? ничего не рассказывал товарищам, как они ни приставали к нему.

Так было до воскресенья. А в воскресенье Райский поехал домой, нашел в шкафе «Освобожденный Иерусалим» в переводе Москотильникова, и забыл об угрозе, и не тронулся с дивана, наскоро пообедал и опять лег читать до темноты. А в понедельник утром унес книгу в училище и тайком, торопливо и с жадностью дочитывал и, дочитавши, недели две рассказывал читанное то тому, то другому.

Снились ему такие горячие сны о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, и каменистые пустыни Палестины блистали перед ним своей сухой, страшной красотой: эти пески и зной, эти люди, которые умели жить такой крепкой и трудной жизнью и умирать так легко!

Он содрогался от желания посидеть на камнях пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть без нужды, для того только, чтоб видели, что он умеет умирать. Он не спал ночей, читая об Армиде, как она увлекла рыцарей и самого Ринальда.

«Какая она?» — думалось ему — и то казалась

она ему теткой Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головой, как игрушечные коты, и прищуривала глаза, то в виде жены директора, у которой были такие белые руки и острый, пронзительный взгляд, то тринадцатилетней, припрыгивающей, хорошенькой девочкой в кружевных панталончиках, дочерью полицмейстера.

Он сжимался в комок и читал жадно, почти не переводя духа, но внутренно разрываясь от волнения, и вдруг в неистовстве бросал книгу и бегал, как потерянный, когда храбрый Ринальд или, в романе мадам Коттень, Малек-Адель изнывали у ног волшебницы.

То вдруг случайно воображение унесет его в другую сторону, с каким-нибудь Оссианом: там другая жизнь, другие картины, еще величавее, хотя и суровее тех, и еще необыкновеннее.

И всё это, не похожее на текущую жизнь около него, захватывало его в свою чудесную сферу, от которой он отрезвлялся, как от хмеля.

После долго ходил он бледен и скучен, пока опять чужая жизнь и чужие радости не вспрыснут его, как живой водой.

Дядя давал ему истории четырех Генрихов, Людовиков до XVIII и Карлов до XII включительно,

но всё это уже было для него, как пресная вода после рома. На минуту только разбудили его Иоанны III и IV да Петр.

Он бросался к Плутарху, чтоб только дальше уйти от современной жизни, но и тот казался ему сух, не представлял рисунка, картин, как те книги, потом как «Телемак», а еще потом — как «Илиада».

Между товарищами он был очень странен, они тоже не знали, как понимать его. Симпатии его так часто менялись, что у него не было ни постоянных друзей, ни врагов.

Эту неделю он привяжется к одному, ищет его везде, сидит с ним, читает, рассказывает ему, шепчет. Потом ни с того ни с сего вдруг бросит его и всматривается в другого и, всмотревшись, опять забывает.

Рассердит ли его какой-нибудь товарищ, некстати скажет ему что-нибудь, он надуется, даст разыграться злым чувствам во все формы упорной вражды, хотя самая обида побледнеет, забудется причина, а он длит вражду, за которой следит весь класс и больше всех он сам.

Потом он отыскивал в себе кротость, великодушие и вздрагивал от живого удовольствия проявить его; устроивалась сцена примирения, с

достоинством и благородством, и занимала всех, пуще всех его самого.

Он как будто смотрел на всё это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину перед собой.

А когда всё кончалось, когда шум, чад, вся трескотня выходили из него, он вдруг очнется, окинет всё удивленными глазами, и внутренний голос спросит его: зачем это? Он пожмет плечами, не зная сам зачем.

Иногда, напротив, он придет от пустяков в восторг: какой-нибудь сытый ученик отдаст свою булку нищему, как делают добродетельные дети в хрестоматиях и прописях, или примет на себя чужую шалость, или покажется ему, что насупившийся ученик думает глубокую думу, и он вдруг возгорится участием к нему, говорит о нем со слезами, отыскивает в нем что-то таинственное, необычайное, окружит его уважением: и другие заразятся неисповедимым почтением.

Но через неделю товарищи встанут в одно прекрасное утро с восторженными речами о фениксе, подойдут к Райскому, а он расхохочется.

— Этакую дрянь нашли, да и нянчатся! Пошел ты прочь, жалкое создание! — скажет он.

Все и рты разинут, и он стыдится своего вос-

торга. Луч, который падал на «чудо», уже померк, краски пропали, форма износилась, и он бросал и искал жадными глазами другого явления, другого чувства, зрелища, и если не было — скучал, был желчен, нетерпелив или задумчив.

По выходе из училища, действительная жизнь мало увлекала его в свой поток и своей веселой стороной, и суровой деятельностью. Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь или как валяют сукно на фабрике, как белят полотна, — он увертывался и забирался на бельведер смотреть оттуда в лес или шел на реку, в кусты, в чащу, смотрел, как возятся насекомые, остро глядел, куда порхнула птичка, какая она, куда села, как почесала носик; поймает ежа и возится с ним; с мальчишками удит рыбу целый день или слушает полоумного старика, который живет в землянке у околицы, как он рассказывает про «Пугача», — жадно слушает подробности жестоких мук, казней и смотрит прямо ему в рот без зубов и в глубокие впадины потухающих глаз.

По целым часам, с болезненным любопытством, следит он за лепетом «испорченной» Феклуши. Дома читает всякие пустяки. «Саксонский разбойник» попадется — он прочтет его; вытащит Эккартсгаузена и фантазией допросится, сквозь

туман, ясных выводов; десять раз прочел попавшийся экземпляр «Тристрама Шенди»; найдет какие-нибудь «Тайны восточной магии» — читает и их; там русские сказки и былины, потом вдруг опять бросится к Оссиану, к Тассу и Гомеру или уплывет с Куком в чудесные страны.

А если нет ничего, так лежит неподвижно по целым дням, но лежит, как будто трудную работу делает: фантазия мчит его дальше Оссиана, Тасса и даже Кука — или бьет лихорадкой какого-нибудь встречного ощущения, мгновенного впечатления, и он встанет усталый, бледный, и долго не придет в нормальное положение.

— Лентяй, лежебока! — говорят кругом его.

Он пугался этих приговоров, плакал втихомолку и думал иногда с отчаянием, отчего он лентяй и лежебока? «Что я такое? что из меня будет?» — думал он и слышал суровое: «Учись, вон как учатся Саврасов, Ковригин, Малюев, Чудин, — первые ученики!»

Они равно хорошо учатся и из математики, и из истории, сочиняют, чертят, рисуют и языки знают, и всё: счастливцы! Их все уважают, они так гордо смотрят, так покойно спят, всегда одинаковы.

А он сегодня бледен, молчит как убитый, — зав-

тра скачет и поет бог знает от чего!

Всего пуще пугало его и томило обидное сострадание сторожа Сидорыча, и вместе трогало своей простотой. Однажды он не выучил два урока сряду и завтра должен был остаться без обеда, если не выучит их к утру, а выучить было некогда, все легли спать.

Сидорыч тихонько встал, вздул свечу и принес Райскому из класса книгу.

— Учи, батюшка, — сказал он, — пока они спят. Никто не увидит, а завтра будешь знать лучше их: что они в самом деле обижают тебя, сироту!

У Райского брызнули слезы и от этой обиды, и от доброты Сидорыча. Он взглянул, как храпят первые ученики, и не выучил урока — от гордости.

Зато если задето его самолюбие, затронуты нервы, тогда он одним взглядом в книгу как будто снимет фотографию с урока, запомнит столбцы цифр, отгадает задачу — и вдруг блеснет, как фейерверк, и изумит весь класс, иногда и учителя.

«Притворяется!» — думают ученики. «Какие способности у этого лентяя!» — подумает учитель.

Он чувствовал и понимал, что он не лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовал и понимал он один, и больше никто, — но не понимал,

что же он такое именно, и некому было растолковать ему это и разъяснить, нужно ли ему учить математику или что-нибудь другое.

В службе название пустого человека привинтилось к нему еще крепче. От него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочел он ни одного дела, между тем вносил веселье, смех и анекдоты в ту комнату, где сидел. Около него всегда кучка народу.

Но мысль о деле, если только она не проходила через доклад, как бывало русский язык через грамматику, а сказанная среди шуток и безделья, для него как-то ясна, лишь бы не доходило дело до бумаг.

Он озадачивал новизной взгляда чиновников. Столоначальник, слушая его, с усмешкой отбирал у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавал другому.

— Напишите, пожалуйста, вот это предписание, — говорил он, — пока Борис Павлович рисует свой проект!

Столоначальник был прав: Райский рисовал и дело, как картину, или оно так рисовалось у него в голове.

Воображение его вспыхивало, и он путем сверкнувшей догадки схватывал тень, верхушку

истины, дорисовывал остальное и уже не шел долгим опытом и трудом завоевывать прочную победу.

Он уже был утомлен, он шел дальше, глаза и воображение искали другого, и он летел на крыльях фантазии через пропасти, горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпеливо.

Он и знание — не знал, а как будто видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым, чувствовал его и этим довольствовался; а узнавать ему было скучно, он отталкивал наскучивший предмет прочь, отыскивая вокруг нового, живого, поразительного, чтоб в нем самом всё играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.

Вокруг его не было никого, кто направил бы эти жадные порывы любознательности в определенную колею.

В одном месте опекун, а в другом бабушка смотрели только, — первый, чтоб к нему в положенные часы ходили учителя или чтоб он не пропускал уроков в школе; а вторая, чтоб он был здоров, имел аппетит и сон, да чтоб одет он был чисто, держал себя опрятно, и чтоб, как следует благовоспитанному мальчику, «не связывался со всякой дрянью».

А что он читал там, какие книги, в это не входили, и бабушка отдала ему ключи от отцовской библиотеки в старом доме, куда он запирался, читая попеременно то Спинозу, то роман Коттень, то св. Августина, а завтра вытащит Вольтера или Парни, даже Боккаччио.

Искусства дались ему лучше наук. Правда, он и тут затеял пустяки: учитель недели на две посадил весь класс рисовать зрачки, а он не утерпел, приделал к зрачку нос и даже начал было тушевать усы, но учитель застал его и сначала дернул за вихор, потом, вглядевшись, сказал:

— Где ты учился?

— Нигде, — был ответ.

— А хорошо, брат, только видишь, что значит вперед забегать: лоб и нос — хоть куда, а ухо вон где посадил, да и волосы точно мочала вышли.

Но Райский торжествовал: «хорошо, брат: лоб и нос хоть куда!» — было для него лавровым венком.

Он гордо ходил один по двору, в сознании, что он лучше всех, до тех пор пока на другой день публично не осрамился в «серьезных предметах».

Но к рисованью он пристрастился, и через месяц после «зрачков» копировал кудрявого мальчика, потом голову Фингала.

Заветной мечтой его была женская головка, висевшая на квартире учителя. Она поникла немного к плечу и смотрела томно, задумчиво вдаль.

— Позвольте мне вот с этой нарисовать копию! — робко, нежно звучащим голосом девочки и с нервной дрожью верхней губы просил он учителя.

— А если стекло разобьешь? — сказал учитель, однако дал ему головку.

Борис был счастлив. Когда он приходил к учителю, у него всякий раз ёкало сердце при взгляде на головку. И вот она у него, он рисует с нее.

В эту неделю ни один серьезный учитель ничего от него не добился. Он сидит в своем углу, рисует, стирает, тушует, опять стирает или молча задумается; в зрачке ляжет синева, и глаза покроются будто туманом, только губы едва-едва заметно шевелятся, и в них переливается розовая влага.

На ночь он уносил рисунок в дортуар, и однажды, вглядываясь в эти нежные глаза, следя за линией наклоненной шеи, он вздрогнул, у него сделалось такое замиранье в груди, так захватило ему дыханье, что он в забытьи, с закрытыми глазами и невольным, чуть сдержанным стоном,

прижал рисунок обеими руками к тому месту, где было так тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звоном полетело на пол…

Нарисовав эту головку, он уже не знал предела гордости. Рисунок его выставлен с рисунками старшего класса на публичном экзамене, и учитель мало поправлял, только кое-где слабые места покрыл крупными, крепкими штрихами, точно железной решеткой, да в волосах прибавил три-четыре черные полосы, сделал по точке в каждом глазу — и глаза вдруг стали смотреть точно живые.

«Как это он? и отчего так у него вышло живо, смело, прочно?» — думал Райский, зорко вглядываясь и в штрихи, и в точки, особенно в две точки, от которых глаза вдруг ожили. И много ставил он потом штрихов и точек, всё хотел схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была в штрихах и полосах, так крепко и уверенно начерченных учителем. Иногда он будто и ловил эту тайну, и опять ускользала она у него.

Но чертить зрачки, носы, линии лба, ушей и рук по сту раз — ему было до смерти скучно.

Он рисует глаза кое-как, но заботится лишь о том, чтобы в них повторились учительские точки, чтоб они смотрели точно живые. А не удастся,

он бросит всё, уныло облокотится на стол, склонит на локоть голову и оседлает своего любимого коня, фантазию, или конь оседлает его, и мчится он в пространстве, среди своих миров и образов.

Упиваясь легким успехом, он гордо ходил: «Талант, талант!» — звучало у него в ушах. Но вскоре все уже знали, как он рисует, перестали ахать, и он привык к успеху.

В деревне он опять пристрастился было к рисованию, делал портреты с горничных, с кучера, потом с деревенских мужиков.

Полоумную Феклушу нарисовал в пещере, очень удачно осветив одно лицо и разбросанные волосы, корпус же скрывался во мраке: ни терпенья, ни уменья не хватило у него доделывать руки, ноги и корпус. И как целое утро высидеть, когда солнце так весело и щедро льет лучи на луг и реку…

Вон, никак, от соседей скачет человек, верно, танцевать будут…

Дня через три картина бледнела, и в воображении теснится уже другая. Хотелось бы нарисовать хоровод, тут же пьяного старика и проезжую тройку. Опять дня два носится он с картиной: она как живая у него. Он бы нарисовал мужика и баб, да тройку не сумеет: лошадей «не проходили

в классе».

Через неделю и эта картина забывалась и снова заменялась другою…

Музыку он любил до опьянения. В училище тупой, презираемый первыми учениками мальчик Васюков был предметом постоянной нежности Райского.

Все, бывало, дергают за уши Васюкова: «Пошел прочь, дурак, дубина!» — только и слышит он. Лишь Райский глядит на него с умилением, потому только, что Васюков, ни к чему не внимательный, сонный, вялый, даже у всеми любимого русского учителя не выучивший никогда ни одного урока, — каждый день после обеда брал свою скрипку и, положив на нее подбородок, водил смычком, забывая школу, учителей, щелчки.

Глаза его ничего не видали перед собой, а смотрели куда-то в другое место, далеко, и там он будто видел что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали.

Против него садился Райский и с удивлением глядел на лицо Васюкова, следил, как, пока еще с тупым взглядом, достает он скрипку, вяло берет смычок, намажет его канифолью, потом сначала пальцем тронет струны, повинтит винты, опять

тронет, потом поведет смычком — и всё еще глядит сонно. Но вот заиграл — и проснулся, и улетел куда-то.

Васюкова нет, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигают больше, а всё делаются прозрачнее, светлее, глубже и смотрят гордо, умно, грудь дышит медленно и тяжело. По лицу бродит нега, счастье, кожа становится нежнее, глаза синеют и льют лучи: он стал прекрасен.

Райский начал мысленно глядеть, куда глядит Васюков, и видеть, что он видит. Не стало никого вокруг: ни учеников, ни скамей, ни шкафов. Всё это закрылось точно туманом.

После нескольких звуков открывалось глубокое пространство, там являлся движущийся мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака — всё будто плыло и неслось мимо его в воздушном пространстве. И он, казалось ему, всё рос выше, у него занимало дух, его будто щекотали или купался он…

И сон этот длился, пока длились звуки.

Вдруг стук, крик, толчок какой-нибудь будил его, будил Васюкова. Звуков нет, миры пропали, он просыпался: кругом — ученики, скамьи, столы — и Васюков укладывает скрипку, кто-нибудь

дергает его уж за ухо.

Райский с яростью бросается бить забияку, а потом долго ходит задумчивый.

Нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется жизнь, как море, и мысли, чувства, как волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросают кругом брызги, пену.

В звуках этих он слышит что-то знакомое; носится перед ним какое-то воспоминание, будто тень женщины, которая держала его у себя на коленях.

Он роется в памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и он, прижавшись щекой к ее груди, следил, как она перебирала пальцами клавиши, как носились плачущие или резвые звуки, слышал, как билось у ней в груди сердце.

Фигура женщины яснее и яснее оживала в памяти, как будто она вставала в эти минуты из могилы и являлась точно живая.

Он помнит, как, после музыки, она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему. Помнит, как она толковала ему картины: кто этот старик с лирой, которого, немея, слушает гордый царь, боясь пошевелиться; кто эта женщина, которую кладут на плаху.

Потом помнит он, как она водила его на Волгу, как по целым часам сидела, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освещенную солнцем, на кучу темной зелени, на плывущие суда.

Он смотрит, как она неподвижно глядела, как у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши… «точно у Васюкова», — думал он.

Стало быть, и она видела в этой зелени, в течении реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда играет на скрипке… Какие-то горы, моря, облака… «И я вижу их!..»

Заиграет ли женщина на фортепиано, гувернантка у соседей, Райский бежал было перед этим удить рыбу, — но раздались звуки, и он замирал на месте, разинув рот, и прятался за стулом играющей.

Его не стало, он куда-то пропал, опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила, он в состоянии поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил.

Звуки почти до боли ударяют его по груди, проникают до мозга — у него уже мокрые волосы, глаза…

Вдруг звуки умолкли, он очнется, застыдится и убежит.

Он стал было учиться, сначала на скрипке у

Васюкова, — но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: «*a*, *c*, *g*», — тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши. То захватит он две струны разом, то рука дрожит от слабости: нет! Когда же Васюков играет — точно по маслу рука ходит.

Две недели прошло, а он забудет то тот, то другой палец. Ученики бранятся.

— Ну вас к черту! — говорит первый ученик. — Тут серьезным делом заниматься надо, а они пилят!

Райский бросил скрипку и стал просить опекуна учить его на фортепиано.

«На фортепиано легче, скорей», — думал он.

Тот нанял ему немца, но, однако ж, решился поговорить с ним серьезно.

— Послушай, Борис, — начал он, — к чему ты готовишь себя, я давно хотел спросить тебя?

Райский не понял вопроса и молчал.

— Тебе шестнадцатый год, — продолжал опекун, — пора о деле подумать, а ты до сих пор, как я вижу, еще не подумал, по какой части пойдешь в университете и в службе. По военной трудно: у тебя небольшое состояние, а служить ты по своей фамилии должен в гвардии.

Райский молчал и смотрел в окно, как петухи дерутся, как свинья роется в навозе, как кошка

подкрадывается к голубю.

— Я тебе о деле, а ты вон куда глядишь! К чему ты готовишься?

— Я, дядюшка, готовлюсь в артисты.

— Что-о?

— Художником быть хочу, — подтвердил Райский.

— Черт знает, что выдумал! Кто ж тебя пустит? Ты знаешь ли, что такое артист? — спросил он.

Райский молчал.

— Артист — это такой человек, который или денег у тебя займет, или наврет такой чепухи, что на неделю тумана наведет… В артисты!.. Ведь это, — продолжал он, — значит беспутное, цыганское житье, адская бедность в деньгах, в платье, в обуви, и только богатство мечты! Витают артисты, как птицы небесные, на чердаках. Видал я их в Петербурге: это те хваты, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вечерам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много водки, а потом объявляют, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны…

— Я слыхал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении. Вы, может быть, старое время вспоминаете. Из академии выходят знаме-

нитые люди…

— Я не очень стар и видел свет, — возразил дядя, — ты слыхал, что звонят, да не знаешь, на какой колокольне. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми делаются, спроси-ка? Когда в службе состоят и дойдут до тайного советника! Собор выстроит или монумент на площади поставит — вот его и пожалуют! А начинают они от бедности, из куска хлеба — спроси: всё большею частью вольноотпущенные, мещане или иностранцы, даже жиды. Их неволя гонит в художники, вот они и напирают на искусство. А ты — Райский! У тебя земля и готовый хлеб. Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов: сыграть на фортепиано, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс?.. Вот я тебе и немца нанял. Но быть артистом по профессии — что за блажь! Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб нарисовал картину какой-нибудь князь, граф или статую слепил старый дворянин… нет: отчего это?..

— А Рубенс? — вдруг перебил Райский, — он был придворный, посланник…

— Куда хватил: это лет двести назад! — сказал опекун, — там, у немцев… А ты поступи в универ-

ситет, в юридический факультет, потом служи в Петербурге, учись делу, добивайся прокурорского места, а родня выведет тебя в камер-юнкеры. И если не будешь дремать, то с твоим именем и родством тридцати лет будешь губернатором. Вот твоя карьера! Но вот беда, я не вижу, чтоб у тебя было что-нибудь серьезное на уме: удишь с мальчишками рыбу, вон болото нарисовал, пьяного мужика у кабака… Ходишь по полям и в лес, а хоть бы раз спросил мужика, какой хлеб когда сеют, почем продают?.. ничего! И хозяина не обещаешь!

Дядя вздохнул, и Райский приуныл: дядино поученье безотрадно подействовало только на его нервы.

Учитель-немец, как Васюков, прежде всего исковеркал ему руки и начал притопывать ногой и напевать, следя за каждым ударом по клавишу: «а-а-у-у-о-о».

Только совестясь опекуна не бросал Райский этой пытки, и кое-как в несколько месяцев удалось ему сладить с первыми шагами. И то он всё капризничал: то играл не тем пальцем, которым требовал учитель, а каким казалось ему ловчее, не хотел играть гамм, а ловил ухом мотивы, какие западут в голову, и бывал счастлив, когда уда-

валось ему уловить ту же экспрессию или силу, какую слышал у кого-нибудь и поразился ею, как прежде поразился штрихами и точками учителя.

А с нотами не дружился, не проходил постепенно одну за другою запыленные, пожелтевшие, приносимые учителем тетради музыкальной школы. Но часто он задумывался, слушая свою игру, и мурашки бегали у него по спине.

Вдалеке виделась уже ему наполненная зала, и он своей игрой потрясал стены и сердца знатоков. Женщины с горящими щеками слушали его, и его лицо горело стыдливым торжеством…

Он тихонько утирал слезы, катившиеся по щекам, горел, млел от своей мечты.

Когда наконец он одолел, с грехом пополам, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этих женщин, и трепет похвал, — а трудной школы не играли.

Скоро он перегнал розовеньких уездных барышень и изумлял их силою и смелостью игры, пальцы бегали свободно и одушевленно. Они еще сидят на каком-то допотопном рондо да на сонатах в четыре руки, а он перескочил через школу и через сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потом на оперы, проходя курс по своей программе, продиктованной воображением и слухом.

Он услышит оркестр, затвердит то, что увлекло его, и повторяет мотивы, упиваясь удивлением барышень: он был первый, лучше всех; немец говорит, что способности у него быстрые, удивительные, но лень еще удивительнее.

Но это не беда: лень, небрежность как-то к лицу артистам. Да еще кто-то сказал ему, что при таланте не нужно много и работать, что работают только бездарные, чтобы вымучить себе кропотливо жалкое подобие могучего и всепобедного дара природы — таланта.

VII

Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке, Татьяне Марковне Бережковой.

Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно всё состояло из небольшой земли, лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и слободой близ Волги, из пятидесяти душ крестьян да из двух домов — одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом, и в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила, как дочь.

У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька; она осталась девушкой, и после смерти отца и матери Райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком именьице.

Она управляла им, как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически

и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет, а до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка.

Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется.

К ней-то приехал Райский, вступив в университет, — побывать и проститься, может быть, надолго.

Какой эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он гостил мальчиком иногда, в летние каникулы. Какие виды кругом — каждое окно в доме было рамой своей особенной картины!

С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и всё это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города.

Воздух свежий, прохладный, от которого, как

от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости.

Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержавшийся в порядке, с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее.

Подле огромного развесистого вяза, с сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; там рябина; там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березняком. И вдруг всё кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги.

Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза пятна; около тычинок вились турецкие бобы.

Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная дверь, с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом.

Татьяна Марковна любила видеть открытое ме-

сто перед глазами, чтоб не походило на трущобу, чтоб было солнышко да пахло цветами.

С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно всё, что делается на большом дворе, в людской, в кухне, на сеновале, в конюшне, в погребах. Всё это было у ней перед глазами, как на ладони.

Один только старый дом стоял в глубине двора, как бельмо на глазу, мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтоб дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна.

Около дома вились ласточки, свившие гнезда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи.

Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя

подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях.

Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята.

В доме какая радость и мир жили! Чего там не было! Комнатки маленькие, но уютные, с старинной, взятой из большого дома мебелью дедов, дядей, и с улыбавшимися портретами отца и матери Райского, и также родителей двух оставшихся на руках у Бережковой девочек-малюток.

Полы были выкрашены, натерты воском и устланы клеенками; печи обложены пестрыми, старинными, тоже взятыми из большого дома изразцами. Шкапы битком набиты старой, дрожавшей от шагов посудой и звеневшим серебром.

На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья, с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы, столики жались по уютным уголкам.

В кабинете Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное

резьбой бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями.

Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», — говорила она.

Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло с высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанию, была старого века и разваливаться не любила, а держала себя прямо, с свободной простотой, но и с сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как делают нынешние барыни, не поджимала: «Это стыдно женщине», — говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и в самом деле была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка… даже не старушка, а лет около пятидесяти женщина, с черными, живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, что когда и рассердится и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо.

Над губами маленькие усики; на левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно с густым кустиком волос. Это придавало лицу ее еще ка-

кой-то штрих доброты.

Она стригла седые волосы и ходила дома по двору и по саду с открытой головой, а в праздник и при гостях надевала чепец; но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и как будто готов был каждую минуту слететь с головы. Она и сама, просидев пять минут с гостем, извинится и снимет.

До полудня она ходила в широкой белой блузе, с поясом и большими карманами, а после полудня надевала коричневое, по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

— Дядя Иван Кузьмич с Востока вывез, триста червонных заплатил: теперь этакой ни за какие деньги не отыщешь! — хвасталась она.

На поясе и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду.

Кучера при этом звуке быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара и куренье табаку относила — по этой причине — к большим порокам.

Повара и кухарки, тоже заслышав звон ключей, принимались — за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюшка быстро отскакивал от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корытце, прежде нежели бабушка появилась.

В доме, заслышав звон ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала с себя грязный фартук, утирала чем попало, иногда барским платком, а иногда тряпкой, руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие, непокорные косички, потом постилала тончайшую, чистую скатерть на круглый стол, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина, от вечного сиденья в комнате, несла кипящий серебряный кофейный сервиз.

Машутка становилась в угол, подальше, всегда прячась от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки и того гляди уронит; самовар или чашки скользят из рук; в чистом платье тоже несвободно ходить.

Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день.

Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется от натиранья полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо, голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю.

Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной, не расставалась с ней, знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина.

Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказаний Василисе: она сама знала всё, что надо делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое.

Просить бабушка не могла своих подчиненных: это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка — всё это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее человеком, лакеем,

слугой и девкой.

Личным приказом она удостоивала немногих: по домашнему хозяйству Василисе отдавала их, а по деревенскому — приказчику или старосте. Кроме Василисы, никого она не называла полным именем, разве уже встретится такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь; например, мужики Ферапонт и Пантелеймон так и назывались Ферапонтом и Пантелеймоном, да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были: Матрешка, Машутка, Егорка и т. д.

Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза:

— Поди-ка сюда, Егор Прохорыч, ты куда это вчера пропадал целый день? — или: — Семен Васильич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале? Смотри у меня!

Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно, не вспыхивает ли огонек в трубке, не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае?

Различия между «людьми» и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива, но всё в размерах барских понятий. Даже когда

являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча, с видом оскорбленного достоинства; потом велит Василисе дать чего там нужно, с презрением, глядя в сторону, и только скажет: «Чтоб я ее не видала, негодяйку!» Матрена и Ирина, оправившись, с месяц прятались от барыни, а потом опять ничего, а ребенок отправлялся «на село».

Заболеет ли кто-нибудь из людей — Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день в больницу, а больше к Меланхолихе, доктора же не звала. Между тем чуть у которой-нибудь внучки язычок зачешется или брюшко немного вспучит, Кирюшка или Влас скакали, болтая локтями и ногами, на неоседланной лошади, в город за доктором.

Меланхолихой звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила «людей» и снимала недуги как рукой. Бывало, после ее леченья, иного скоробит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь; кто-нибудь воротится от нее без глаза или без челюсти — а всё же боль проходила, и мужик или

баба работали опять.

Этого было довольно и больным, и лекарке, а помещику и подавно. Так как Меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной; в Рождество жарили гусей и свиней; но нежностей в их столе и платье не допускала, а давала, в виде милости, остатки от своего стола то той, то другой женщине.

Чай и кофе пила непосредственно после барыни Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старосте в праздники подносили по стакану вина, ради их тяжелой работы.

Когда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась здоровая баба, с необъятными, красными щеками и вечно смеющимся — хоть бей ее — ртом: это нянька внучек, Верочки и Марфиньки. За ней входила лет двенадцати девчонка, ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке.

— Ну, птички мои, ну что? — говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде

поцеловать. — Ну что, Верочка? вот умница: причесалась.

— И я, бабенька, и я! — кричала Марфинька.

— Что это у Марфиньки глазки красны? не плакала ли во сне? — заботливо спрашивала она у няни. — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри, ведь ты разиня! Я ужо посмотрю.

Еще в девичьей сидели три-четыре молодые горничные, которые целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или плели кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела — да в передней праздно сидел вместе с мальчишкой лет шестнадцати, Егоркой-зубоскалом, задумчивый Яков и еще два-три лакея, на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся.

И сам Яков только служил за столом, лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки и не охотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит, как будто ему было бог знает как тяжело жить на свете, будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецким за то только, что он смирен, пьет умеренно, то есть мертвецки не напивается, и не курит; притом он усерден к церкви.

VIII

Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула; чуть не попадали тарелки со стола.

— Проказник ты, Борюшка! и не написал, нагрянул: ведь ты перепугал меня, как вошел.

Она взяла его за голову, поглядела с минуту ему в лицо, хотела будто заплакать, но только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портрет матери Райского и подавила вздох.

— Ну, ну, ну… — хотела она что-то сказать, спросить — и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. — Маменькин сынок: весь, весь в нее! Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса… Помнишь? Ведь похож!

Кофе, чай, булки, завтрак, обед — всё это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу, с аппетитом ранней молодости; и всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него.

— Позови людей, старосте скажи, всем, всем: хозяин, мол, приехал, настоящий хозяин, барин! Милости просим, батюшка! милости просим

в родовое гнездо! — с шутливо-ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужицкий лад. — «Не оставьте нас своей милостью: Татьяна Марковна нас обижает, разоряет, заступитесь!..» Ха-ха-ха. На тебе ключи, на вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи: куда всё растранжирила, отчего избы развалились?.. Поди-ка, в городе всё малиновские мужики под окошками побираются… Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна там, в новом имении, я чаю, мужики в смазных сапогах ходят да в красных рубашках; избы в два этажа… Да что ж ты, хозяин, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потом я тебе всё покажу.

После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство.

— Ну, хозяин, смотри же, замечай, и чуть что неисправно, не давай потачки бабушке. Вот садик-то, что у окошек, я, видишь, недавно разбила, — говорила она, проходя чрез цветник и направляясь к двору. — Верочка с Марфинькой тут у меня всё на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя: я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут, цветов не надо

покупать: свои есть.

Они вошли на двор.

— Кирюшка, Еремка, Матрешка! Куда это все спрятались? — взывала бабушка, стоя посреди двора. — Жарко, что ли? Выдьте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрешка и доложила, что Кирюшка и Еремка посланы в село за мужиками.

— Вот Матрешка: помнишь ли ты ее? — говорила бабушка. — А ты подойди, дура, что стоишь? Поцелуй ручку у барина: ведь это внучек.

— Оробела, барыня, не смею! — сказала Матрена, подходя к барину.

Он стыдливо обнял ее.

— Это новый флигель, бабушка: его не было, — сказал Борис.

— Заметил! Да, да, помнишь старый? Весь сгнил, щели в полу в ладонь, чернота, копоть, а теперь вот посмотри!

Они вошли в новый флигель. Бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачечную, даже хлевы.

— Старой кухни тоже нет; вот новая, нарочно выстроила отдельно, чтоб в дому огня не разводить и чтоб людям не тесно было. Теперь у

всякого и у всякой свой угол есть, хоть маленький, да особый. Вот здесь хлеб, провизия; вот тут погреб новый, подвалы тоже заново переделаны.

— Ты что тут стоишь? — оборотилась она к Матрене, — поди скажи Егорке, чтоб он бежал в село и сказал старосте, что мы сами идем туда.

В саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст, провела по аллеям, заглянула с ним в рощу с горы, и наконец они вышли в село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка.

— Вот внук мой, Борис Павлыч! — сказала она старосте. — Что, убирают ли сено, пока горячо на дворе? Пожалуй, дожди после жары пойдут. Вот барин, настоящий барин приехал, внук мой! — говорила она мужикам. — Ты видал ли его, Гараська? Смотри же, какой он! А это твой, что ли, теленок во ржи, Илюшка? — спрашивала при этом, потом мимоходом заглянула на пруд.

— Опять на деревья белье вешают! — гневно заметила она, обратясь к старосте. — Я велела веревку протянуть. Скажи слепой Агашке: это она всё любит на иву рубашки вешать! сокровище! Обломает ветки!..

— Веревки такой длинной нет, — сонно отозвался староста, — ужо надо в городе купить…

— Что ж не скажешь Василисе: она доложила бы мне. Я всякую неделю езжу: давно бы купила.

— Я сказывал; да забывает — или говорит: «Не стоит барыню тревожить».

Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не сделается, хотя, например, веревку мог купить всякий. Но Боже сохрани, чтоб она поверила кому-нибудь деньги.

Хотя она была не скупа, но обращалась с деньгами с бережливостью; перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердита немного; но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них, и даже не любила записывать; а если записывала, так только для того, по ее словам, чтоб потом не забыть, куда деньги дела, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши.

Кроме крупных распоряжений, у ней жизнь кишела маленькими заботами и делами. То она заставит девок кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Делать всё самой» она называла смотреть, чтоб всё при ней делали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что как сделать, куда поставить, убрать.

Звеневшие ключи были от домашних шкапов, сундуков, ларцов и шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, брильянты, назначавшиеся внучкам в приданое, а главное — деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы.

Распорядившись утром по хозяйству, бабушка, после кофе, стоя сводила у бюро счеты, потом садилась у окон и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось.

Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитами в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему, и к обеду домой.

Не то так принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей. Еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько ни живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром и вечером.

После обеда бабушка, зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной барыней, в красивой позе, с средоточенной будто бы мыслью или каким-то

глубоким воспоминанием — и любила тогда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна. Лето проводила в огороде и саду: здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку в руки, и, для здоровья, вскопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с смородины, и, усталая, кончит вечер за чаем, в обществе Тита Никоныча Ватутина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника.

IX

Тит Никоныч был джентльмен по своей природе. У него было тут же, в губернии, душ двести пятьдесят или триста — он хорошенько не знал, никогда в имение не заглядывал и предоставлял крестьянам делать что хотят и платить ему оброку сколько им заблагорассудится. Никогда он их не поверял. Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая, положит в бюро, а мужикам махнет рукой, чтоб ехали, куда хотят.

Служил он прежде в военной службе. Старики помнят его очень красивым, молодым офицером, скромным, благовоспитанным человеком, но с смелым, открытым характером.

В юности он приезжал не раз к матери, в свое имение, проводил время отпуска и уезжал опять, и наконец вышел в отставку, потом приехал в город, купил маленький серенький домик, с тремя окнами на улицу, и свил себе тут вечное гнездо.

Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, а особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, и вместе с тем под этой

мягкостью скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то видимо присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость.

Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподнимет ее немного назад, соблюдая старинные фасоны вежливости. Перед дамой никогда не сядет, и даже на улице говорит без шапки, прежде всех поднимет платок и подвинет скамеечку. Если в доме есть девицы, то принесет фунт конфект, букет цветов и старается подладить тон разговора под их лета, занятия, склонности, сохраняя утонченнейшую учтивость, смешанную с неизменною почтительностью рыцарей старого времени, не позволяя себе нескромной мысли, не только намека в речи, не являясь перед ними иначе как во фраке.

Он не курил табаку, но не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чист и благороден видом, манерами, обхождением. Одевался всегда чисто, особенно любил белье и блистал не вышивками какими-нибудь, не фасо-

нами, а белизной.

Всё просто на нем, но всё как будто сияет. Нанковые панталоны выглажены, чисты; синий фрак как с иголочки. Ему было лет пятьдесят, а он имел вид сорокалетнего свежего, румяного человека благодаря парику и всегда гладко обритому подбородку.

Взгляд и улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в его пользу. Несмотря на свои ограниченные средства, он имел вид щедрого барина: так легко и радушно бросал он сто рублей, как будто бросал тысячи.

К бабушке он питал какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что по тому только, как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти. Никогда, ни в отношении к ней, ни при ней, он не обнаружил, по своему обыкновению, признака короткости, хотя был ежедневным ее гостем.

Она платила ему такой же дружбой, но в тоне ее было больше живости и короткости. Она даже брала над ним верх, чем, конечно, была обязана бойкому своему нраву.

Помнившие ее молодою говорят, что она была живая, очень красивая, стройная, немного

чопорная девушка, и что возня с хозяйством обратила ее в вечно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но следы молодости и иных манер остались в ней.

Накинув шаль и задумавшись, она походила на один старый женский портрет, бывший в старом доме в галерее предков.

Иногда вдруг появлялось в ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслию, как будто уносившею ее далеко от этой мелкой жизни в какую-то другую жизнь.

Сидя одна, она иногда улыбалась так грациозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперев бок рукою или сложив руки крестом на груди, смотрит на Волгу и забудет о хозяйстве, то в лице носится что-то грустное.

Не проходило почти дня, чтоб Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внучкам. В марте, когда еще о зелени не слыхать нигде, он принесет свежий огурец или корзиночку земляники, в апреле горсточку свежих грибов — «первую новинку». Привезут в город апельсины, появятся персики — они первые подаются у Татьяны Марковны.

В городе прежде был, а потом замолк, за давностию, слух о том, как Тит Никоныч, в молодости, приехал в город, влюбился в Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на брак, а назначили ей в женихи кого-то другого.

Она, в свою очередь, не согласилась и осталась девушкой.

Правда ли это, нет ли — знали только они сами. Но правда то, что он ежедневно являлся к ней, или к обеду, или вечером, и там кончал свой день. К этому все привыкли и дальнейших догадок на этот счет никаких не делали.

Тит Никоныч любил беседовать с нею о том, что делается в свете, кто с кем воюет, за что; знал, отчего у нас хлеб дешев, и что бы было, если б его можно было возить отвсюду за границу. Знал он еще наизусть все старинные дворянские домы, всех полководцев, министров, их биографии; рассказывал, как одно море лежит выше другого; первый уведомит, что выдумали англичане или французы, и решит, полезно ли это или нет.

Он же сообщал Татьяне Марковне, что сахар подешевел в Нижнем, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожает, чтоб она заблаговременно запаслась.

В присутственном месте понадобится что-нибудь — Тит Никоныч всё сделает, исправит, иногда даже утаит лишнюю издержку, разве нечаянно откроется, через других, и она пожурит его, а он сконфузится, попросит прощения, расшаркается и поцелует у нее ручку.

Она была всегда в оппозиции с местными властями: постой ли к ней назначат, или велят дороги чинить, взыскивают ли подати — она считала всякое подобное распоряжение начальства насилием, бранилась, ссорилась, отказывалась платить и об общем благе слышать не хотела: «Знай всякий себя», — говорила она и не любила полиции, особенно одного полициймейстера, видя в нем почти разбойника. Тит Никоныч, попытавшись несколько раз, но тщетно, примирить ее с идеей об общем благе, ограничился тем, что мирил ее с местными властями и полицией.

Вот в какое лоно патриархальной тишины попал юноша Райский. У сироты вдруг как будто явилось семейство, мать и сестры, в Тите Никоныче — идеал доброго дяди.

X

Бабушка только было расположилась объяснять ему, чем засевается у нее земля и что выгоднее всего возделывать по нынешнему времени, как внучек стал зевать.

— А ты послушай: ведь это всё твое; я твой староста… — говорила она. Но он зевал, смотрел, какие это птицы прячутся в рожь, как летают стрекозы, срывал васильки и пристально разглядывал мужиков, еще пристальнее слушал деревенскую тишину, смотрел на синее небо, каким оно далеким кажется здесь.

Бабушка что-то затолковалась с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег, к самой Волге, и онемел перед лежавшим пейзажем.

«Нет, молод, еще дитя: не разумеет дела, — думала бабушка, провожая его глазами. — Вон как подрал! что-то выйдет из него?»

Волга задумчиво текла к берегам, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтели песчаные бока гор, а на них синел лес; кое-где белел парус, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее и

кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал коршун.

Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в голове; как там расположились горы, попала ли туда вон та избушка, из которой валил дым; поверял и видел, что и мели там, и паруса белеют.

Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство, помнил, что подле него сиживала мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину…

Он пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, а картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами.

Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери Райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался, один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления.

Вся Малиновка, слобода и дом Райских, и город были поражены ужасом. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца, весь в белом, блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает.

От суеверного страха ту часть сада, которая шла с обрыва по горе и отделялась плетнем от ельника и кустов шиповника, забросили.

Никто из дворни уже не сходил в этот обрыв, мужики из слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам или по проезжей, хотя и крутой, дороге между двух плетней.

Плетень, отделявший сад Райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое место, в котором пряталась заброшенная, полуразвалившаяся беседка.

Отец Райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который и составлял границу сада, недалеко от того места, где начинался обрыв.

Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва в чащу кустов.

Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж, трясясь от волнения, пробирался между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом; как, может быть, жена билась у ног его, умоляя о прощении. Но он, с пеной у рта, наносил ей рану за раной и потом, над обоими

трупами, перерезал горло и себе.

Райский вздрогнул и, взволнованный, грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе, в таинственную темноту, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу и оба ее берега.

Борис был весь в картине; задумчивость лежала на лице, ему было так хорошо — век бы тут стоять.

Он закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает; мысли являются и утекают, как волжские струи; только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком-то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами.

Верочка и Марфинька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур, лошадей, домы, бабушку и себя и не отпускали его ни на шаг.

Верочка была с черными, вострыми глазами, смугленькая девочка и уж начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнет два-три шага по-детски и вдруг остановится и стыдливо поглядит вокруг себя, и пойдет плавно, потом побежит, и тайком, быстро, как птичка клюнет, сорвет ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смирно.

Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы, если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, бросит его раза два, а если он укатился, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвет листок и старается щелкнуть.

Она упряма: если скажут, пойдем туда, она не пойдет, или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой, потом не пойдет, а побежит, и всё вприпрыжку.

Она не просит рисовать; а если Марфинька попросит, она пристальнее Марфиньки смотрит, как рисуют, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфинька, тоже не просит. Ей было лет шесть с небольшим.

Марфинька, напротив, беленькая, красненькая и пухленькая девочка по пятому году. Она часто капризничает и плачет, но не долго: сейчас же, с невысохшими глазами, уже визжит и смеется.

Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива и нескоро приходит в себя, не любит, чтоб ее заставляли просить прощенья.

Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать вприпрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду,

растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит.

«О чем это он всё думает? — пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто также внезапной, — и что это он всё там у себя делает?»

Но Борис не заставил ждать долго ответа: он показал бабушке свой портфель с рисунками, потом переиграл ей все кадрили, мазурки и мотивы из опер, наконец, свои фантазии.

Бабушка так и ахнула.

— Весь, весь в мать! — говорила она. — Та тоже всё, бывало, тоскует, ничего не надо, всё о чем-то вздыхает, как будто ждет чего-нибудь, да вдруг заиграет и развеселится, или от книжки не оттащишь. Смотри, Василиса: и тебя, и меня сделал, да ведь как вылитые! Вот постой, Тит Никоныч придет, а ты притаись, да и срисуй его, а завтра тихонько пошлем к нему в кабинет на стену приклеить! Каков внучек? Как играет! не хуже француза-эмигранта, что у тетки жил… И молчит, не скажет! Завтра же в город повезу, к княгине, к предводителю! Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать: молод!

Борис успел пересказать бабушке и «Освобожденный Иерусалим», и Оссияна, и даже из Гомера,

и из лекций кое-что, рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы; опять играл на фортепиано.

Потом бежал на Волгу, садился на обрыв или сбегал к реке, ложился на песок, смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах, и глядел в себя, наблюдая, отражается ли в нем картина, всё ли в ней так же верно и ярко, и через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет и что ему как будто уже… скучно.

А бабушка всё хотела показывать ему счеты, объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки.

— Верочкины и Марфинькины счеты особо: вот смотри, — говорила она, — не думай, что на них хоть копейка твоя пошла. Ты послушай…

Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счеты, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины, родимое пятнышко, и лишь доходил до глаз и до улыбки, вдруг засмеется и бросится целовать ее.

— Ты ему о деле, а он шалит: пустота какая — мальчик! — говорила однажды бабушка. — Прыгай да рисуй, а ужо спасибо скажешь, как под старость будет уголок. Еще то имение-то, Бог знает, что будет, как опекун управится с ним! а

это уж старое, прижилось в нем…

Он стал проситься посмотреть старый дом.

Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла, и он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил и о которых осталось у него смутное воспоминание.

— Василиса, ты бы пошла за ним, — сказала бабушка.

Василиса тронулась было с места.

— Не надо, не надо; я один, — упрямо сказал Борис и отправился, разглядывая тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной.

Егорка, прозванный зубоскалом, — потому что сидел всё в девичьей и немилосердно издевался над горничными, — отпер ему двери.

— И я, и я пойду с дядей, — запросилась было Марфинька.

— Куда ты, милая? там страшно — у! — сказала бабушка.

Марфинька испугалась. Верочка ничего не сказала; но когда Борис пришел к двери дома, она уж стояла, крепко прижавшись к ней, боясь, чтоб ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка.

Со страхом и замиранием в груди вошел Райский в прихожую и боязливо заглянул в следую-

щую комнату: это была зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было вместо двух светов двое сумерек.

Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась вприпрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам, на портреты.

— Куда ты, Вера, Вера? — кричал он.

Она остановилась и глядела на него молча, положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачные, закоптевшие гостиные; в одной были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и старые, тоже закрытые, люстры.

Везде почерневшие, массивные, дубовые и из черного дерева кресла, столы, с бронзовой отделкой и деревянной мозаикой; большие китайские вазы; часы — Вакх, едущий на бочке; большие овальные, в золоченых, в виде веток, рамах, зеркала; громадная кровать в спальне стояла, как пышный гроб, покрытый глазетом.

Райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках: казалось ему, не уснуть живо-

му человеку тут. Под балдахином вызолоченный висящий купидон, весь в пятнах, полинявший, натягивал стрелу в постель; по углам резные шкапы с насечкой из кости и перламутра.

Верочка отворила один шкап и сунула туда личико, потом отворила, один за другим, ящики и также сунула личико: из шкапов понесло сыростью и пылью от старинных кафтанов и шитых мундиров с большими пуговицами.

По стенам портреты: от них не уйдешь никуда — они провожают всюду глазами.

Весь дом пропитан пылью и пустотой. По углам как будто раздается шорох. Райский ступил шаг, и в углу как будто кто-то ступил.

От сотрясения пола под шагами с колонн и потолков тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-где на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; в окне жалобно жужжит и просится в запыленное стекло наружу муха.

— Да, бабушка правду говорит: здесь страшно! — говорил, вздрагивая, Райский.

Но Верочка обегала все углы и уже возвращалась сверху, из внутренних комнат, которые, в противоположность большим нижним залам и гостиным, походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью и смотрели окнами на

все стороны.

В комнате сумрачно, мертво, всё — подобие смерти, а взглянешь в окно — и отдохнешь: там кайма синего неба, зелень мелькает, люди шевелятся.

Верочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась ни преследующими взглядами портретов, ни сыростью, ни пылью, всем этим печальным запустением.

— Здесь хорошо, места много! — сказала она, оглядываясь. — Как там хорошо вверху! Какие большие картины, книги!

— Картины, книги: где? Как это я не вспомнил о них! Ай да Верочка!

Он поймал и поцеловал ее. Она отерла губы и побежала показывать книги.

Райский нашел тысячи две томов и углубился в чтение заглавий. Тут были все энциклопедисты, и Расин с Корнелем, Монтескьё, Макиавелли, Вольтер, древние классики во французском переводе, и «Неистовый Орланд», и Сумароков с Державиным, и Вальтер Скотт, и знакомый «Освобожденный Иерусалим», и «Илиада» по-французски, и Оссиян в переводе Карамзина, Мармонтель и Шатобриан, и бесчисленные мемуары. Многие еще не разрезаны: как видно,

владетели, то есть отец и дед Бориса, не успели прочесть их.

С тех пор не стало слышно Райского в доме; он даже не ходил на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами.

Он читал, рисовал, играл на фортепиано, и бабушка заслушивалась; Верочка, не сморгнув, глядела на него во все глаза, положив подбородок на фортепиано.

То писал он стихи и читал громко, упиваясь музыкой их, то рисовал опять берег и плавал в трепете, в неге; чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя тот мир, где всё слышатся звуки, где всё носятся картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его…

— Послушай, что я хотела тебя спросить, — сказала однажды бабушка, — зачем ты опять в школу поступил?

— В университет, бабушка, а не в школу.

— Всё равно: ведь ты учишься там. Чему? У опекуна учился, в гимназии учился: рисуешь, играешь на клавикордах — что еще? А студенты выучат тебя только трубку курить да, пожалуй, —

Боже сохрани — вино пить. Ты бы в военную службу поступил, в гвардию.

— Дядя говорит, что средств нет…

— Как нет: а это что?

Она указала на поля и деревушку.

— Да что ж это?.. Чем тут?..

— Как чем! — И начала высчитывать сотни и тысячи…

Она не живала в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

— Средств нет! Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю! Что ты… средств нет! А дядюшка куда доходы девает?

— Я, бабушка, хочу быть артистом.

— Как артистом?

— Художником… После университета в академию пойду…

— Что ты, Борюшка, перекрестись! — сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать. — Это ты хочешь учителем быть?

— Нет, бабушка, не все артисты — учители, есть знаменитые таланты: они в большой славе и деньги большие получают за картины или за музыку…

— Так ты за свои картины будешь деньги по-

лучать или играть по вечерам за деньги?.. Какой срам!

— Нет, бабушка, артист…

— Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтоб увидеть тебя в гвардейском мундире: молодцом приезжай сюда…

— А дядюшка говорит, чтоб я шел в статскую…

— В приказные! Писать, согнувшись, купаться в чернилах, бегать в палату: кто потом за тебя пойдет? Нет, нет, приезжай офицером да женись на богатой!

Хотя Райский не разделял мнения ни дяди, ни бабушки, но в перспективе у него мелькала собственная его фигура, то в гусарском, то в камер-юнкерском мундире. Он смотрел, хорошо ли он сидит на лошади, ловко ли танцует. В тот день он нарисовал себя небрежно опершегося на седло, с буркой на плечах.

XI

Однажды бабушка велела заложить свою старую, высокую карету, надела чепчик, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велела надеть ливрею и поехала в город с визитами, показывать внучка, и в лавки, делать закупки.

Их везла пара сытых лошадей, ехавших медленной рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота. Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любопытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы по сторонам.

Это было более торжественное шествие бабушки по городу. Не было человека, который бы не поклонился ей. С иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякого встречного, объясняла, проезжая мимо домов, кто живет и как, — всё это бегло, на ходу.

Доехали они до деревянных рядов. Купец встретил ее с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на отлете и голову наклонив немного в сторону.

— Татьяне Марковне!.. — говорил он с улыбкой, показывая ряд блестящих белых зубов.

— Здравствуйте. Вот вам внука привезла, на-

стоящего хозяина имения. Его капитал мотаю я у вас в лавке. Как рисует, играет на фортепиано!..

Райский дернул бабушку за рукав.

Кузьма Федотыч отвесил и Райскому такой же поклон.

— Хорошо ли торгуете? — спросила бабушка.

— Грех пожаловаться, сударыня. Только вы редко стали жаловать, — отвечал он, смахивая пыль с кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставил стул.

В лавке были сукна и материи, в другой комнате — сыр, и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрела все материи, приценилась и к сыру, и к карандашам, поговорила о цене на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, наконец, проехала через базар и купила только веревку, чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору.

Он долго ее рассматривал, всё потягивая в руках каждый вершок, потом осмотрел оба конца и спрятал в шапку.

— Ну, теперь пора с визитами, — сказала она. — Поедем к Нилу Андреевичу.

— Кто это Нил Андреевич? — спросил Борис.

— Разве я тебе не говорила? Это председатель палаты, важный человек: солидный, умный,

молчит всё; а если скажет, даром слов не тратит. Его все боятся в городе: что он сказал, то и свято. Ты приласкайся к нему: он любит пожурить…

— Что ж, бабушка, толку, что журит? Я не хочу…

— Молод, молод ты; после сам спасибо скажешь. Слава Богу, что не вывелись такие люди, что уму-разуму учат! Зато как лестно, когда кого похвалит! Набожный такой! Одного франта так отделал, узнав, что он в Троицу не был в церкви, что тот и язык прикусил. «Я, говорит, донесу на вас: это вольнодумство!» И ведь донесет, с ним шутить нельзя. Двух помещиков под опеку подвел. Его боятся как огня. А так — он добрый: ребенка встретит — по голове погладит, букашку на дороге никогда не раздавит, а отодвинет тростью в сторону: «Когда не можешь, говорит, дать жизни, и не лишай». И с вида важный; лоб как у твоего дедушки, лицо строгое, брови срослись. Как хорошо говорит — заслушаешься! Ты приласкайся к нему. И богат. Говорят, что в кармане у себя он тоже казенную палату завел, да будто родную племянницу обобрал и в сумасшедший дом запер. Есть грех, есть грех…

Но Нила Андреевича они не застали дома: он был в палате.

Проезжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

— Тут живет губернатор Васильев… или Попов какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что он Попов, а не Васильев.) Он воображает, что я являюсь к нему первая с визитом, и не заглянул ко мне: Татьяна Марковна Бережкова поедет к какому-то Попову или Васильеву!

Губернатор ничего «не воображал», но Бережковой было досадно, что он не оказал ей внимания.

— Нил Андреич поважнее, постарше и посолиднее его, а в Новый год и на Пасху всегда заедет с визитом, и кушать иногда жалует!

Заехали потом к старой княгине, жившей в большом темном доме.

Там жилым пахло только в одном уголке, где она гнездилась, а другие двадцать комнат походили на покои в старом бабушкином доме.

Княгиня была востроносая, худенькая старушка, в темном платье, в кружевах, в большом чепце, с сухими, костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множеством старинных перстней на пальцах.

— Княгиня-матушка!.. — Татьяна Марковна!.. — воскликнули старушки.

Болонка яростно лаяла из-под канапе.

— Вот внука привезла показать — настоящего хозяина: как играет, рисует!

Он должен был поиграть на фортепиано. Потом ему принесли тарелку земляники. Бабушка с княгиней пила кофе, Райский смотрел на комнаты, на портреты, на мебель и на весело глядевшую в комнаты из сада зелень; видел расчищенную дорожку, везде чистоту, чопорность, порядок; слушал, как во всех комнатах попеременно пробили с полдюжины столовых, стенных, бронзовых и малахитовых часов; рассматривал портрет косого князя, в красной ленте, самой княгини, с белой розой в волосах, с румянцем, живыми глазами, и сравнивал с оригиналом. И всё это точно складывал в голову, следил, как там, где-то, отражался дом, княгиня, болонка, пожилой слуга с проседью, в ливрейном фраке, слышался бой часов…

Заехали они еще к одной молодой барыне, местной львице, Полине Карповне Крицкой, которая смотрела на жизнь как на ряд побед, считая потерянным день, когда на нее никто не взглянет нежно или не шепнет ей хоть намека на нежность.

Нравственные женщины, строгие судьи, и между прочим Нил Андреевич, вслух порицали ее, Татьяна Марковна просто не любила, считала пу-

стой вертушкой, но принимала, как всех, дурных и хороших. Зато молодежь гонялась за Крицкой.

У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минут десять, но хозяйка успела надеть блузу с кружевами, плохо сходившуюся спереди.

Она обливала взглядами Райского; нужды ей нет, что он был ранний юноша, успела ему сказать, что у него глаза и рот обворожительны и что он много побед сделает, начиная с нее…

— Что вы это ему говорите: он еще дитя! — полугневно заметила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась, что муж в палате, обещала приехать сама и в заключение взяла руками Райского за обе щеки и поцеловала в лоб.

— Бесстыдница, беспутная! и ребенка не пропустила! — ворчала бабушка дорогой.

А Райский был смущен. Молодая женщина, белая шея, свобода в речах и обдаванье смелыми взглядами вскипятили воображение мальчика. Она ему казалась какой-то светлой богиней, королевой…

— Армида! — вслух, забывшись, сказал он, внезапно вспомнив об «Освобожденном Иерусалиме».

— Бесстыжая! — ворчала бабушка, подъезжая к крыльцу предводителя. — Узнает Нил Андреич,

что он скажет? Будет тебе, вертушка!

Какой обширный дом, какой вид у предводителя из дома! Впрочем, в провинции из редкого дома нет прекрасного вида: пейзажи, вода и чистый воздух — там дешевые и всем дающиеся блага. Обширный двор, обширные сады, господские службы, конюшни.

Дом вытянулся в длину, в один этаж, с мезонином. Во всем благословенное обилие: гость приедет — как Одиссей в гости к царю.

Многочисленное семейство то и дело сидит за столом, а в семействе человек восемнадцать: то чай кушают, то кофе кушают, то просто кушают. Кушают в столовой, кушают в беседке, кушают на лужку, кушают на балконе.

Экономка весь день гремит ключами; буфет не затворяется. По двору поминутно носят полные блюда из кухни в дом, а обратно человек тихим шагом несет пустое блюдо, пальцем или языком очищая остатки. То барыне бульон, то тетеньке постное, то барчонку кашки, барину чего-нибудь посолиднее.

Гостей вечный рой, слуг человек сорок, из которых иные, пообедав прежде господ, лениво отмахивают мух ветвями, а другой, задремав, покроет ветвью лысую голову барина или вели-

чавый чепец барыни.

За обедом подают по два супа, по два холодных блюда, по четыре соуса и по пяти пирожных. Вина — одно кислее другого — всё как следует в открытом доме в провинции.

На конюшне двадцать лошадей: одни в карету барыни, другие в коляску барину; то для парных дрожек, то в одиночку, то для большой коляски — детей катать, то воду возить; верховые для старшего сына, клеппер для младших и, наконец, лошачок для четырехлетнего.

Комнат в доме сколько! учителей, мамзелей, гувернанток, приживалок, горничных… и долгов на доме сколько!

Татьяну Марковну и Райского все встретили шумно, громко, человеческими голосами, собачьим лаем, поцелуями, двиганьем стульев и сейчас начали кормить завтраком, поить кофе, потчевать ягодами.

Побежали в кухню и из кухни лакеи, девки, — как бабушка ни отбивалась от угощенья!

Райского окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя.

— Vous avez du talent, monsieur, vraiment![22] — сказал тот, посмотрев его рисунок.

И Райский был на седьмом небе.

Потом повели в конюшню, оседлали лошадей, ездили в манеже и по двору, и Райский ездил. Две дочери, одна черненькая, другая беленькая, еще с красненькими, длинными, не по росту, кистями рук, как бывает у подрастающих девиц, но уже затянутые в корсет и бойко говорящие французские фразы, обворожили юношу.

С приятным волнением и задумчиво ехал оттуда Райский. Ему бы хотелось домой; но бабушка велела еще повернуть в какой-то переулок.

— Куда, бабушка? Пора домой, — сказал Райский.

— Вот еще к старичкам Молочковым заедем, да и домой.

— Чем же они замечательны?

— Да тем, что они… старички.

— Ну, вот, старички! — с неудовольствием проговорил Райский, под впечатлением от живой картины предводительского дома и поцелуя Полины Карповны.

— Почтенные такие, — сказала бабушка, — лет

---

[22] Примечания: 22

— Да у вас в самом деле талант, сударь! (*фр.*)

по восьмидесяти мужу и жене. И не слыхать их в городе: тихо у них, и мухи не летают. Сидят да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример всякому: прожили век, как будто проспали. Ни детей у них, ни родных! Дремлют да живут!

— Старички! — с неудовольствием говорил Райский.

— Что морщишься: надо уважать старость!

В самом деле, муж и жена, к которым они приехали, были только старички, и больше ничего. Но какие бодрые, тихие, задумчивые, хорошенькие старички!

Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга, и так им хорошо в темных, прохладных комнатах, с опущенными сторами. И в жизни, должно быть, хорошо!

Бабушка с почтением и с завистью, а Райский с любопытством глядел на стариков, слушал, как они припоминали молодость, не верил их словам, что она была первая красавица в губернии, а он — молодец и сводил будто женщин с ума.

Он поиграл и им, по настоянию бабушки, и унес какое-то тихое воспоминание, дремлющую картину в голове об этой давно и медленно ползущей жизни.

Но Армида и две дочки предводителя царствовали наперекор всему. Он попеременно ставил на пьедестал то одну, то другую, мысленно становился на колени перед ними, пел, рисовал их, или грустно задумывался, или мурашки бегали по нем, и он ходил, подняв голову высоко, пел на весь дом, на весь сад, плавал в безумном восторге. Несколько суток он беспокойно спал, метался…

Перед ним носится какая-то картина; он стыдливо и лукаво смеется, кого-то ловит руками, будто обнимает, и хохочет в диком опьянении…

XII

В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне, заглядывает на развод и посещает кондитеров Пеэра и Педотти. По вечерам сидит в «своем кружке», то есть избранных товарищей, горячих голов, великодушных сердец.

Всё это кипит, шумит и гордо ожидает великой будущности.

Вглядевшись пытливо в каждого профессора, в каждого товарища, как в школе, Райский, от скуки, для развлечения, стал прислушиваться к тому, что говорят на лекции.

Как в школе у русского учителя, он не слушал законов строения языка, а рассматривал всё, как говорит профессор, как падают у него слова, как кто слушает.

Но лишь коснется речь самой жизни, являются на сцену лица, события, заговорят в истории, в поэме или романе греки, римляне, германцы, русские — но живые лица, — у Райского ухо невольно открывается: он весь тут и видит этих людей, эту жизнь.

Один он, даже с помощию профессоров, не сладил бы с классиками: в русском переводе их не было, в деревне у бабушки, в отцовской библиотеке, хотя и были некоторые во французском переводе, но тогда еще он, без руководства, не понимал значения и обегал их. Они казались ему строги и сухи.

Только на втором курсе, с двух или трех кафедр, заговорили о них, и у «первых учеников» явились в руках оригиналы. Тогда Райский сблизился с одним забитым бедностью и робостью товарищем, Козловым.

Этот Козлов, сын дьякона, сначала в семинарии, потом в гимназии и дома — изучил греческий и латинский языки и, учась им, изучил древнюю жизнь, а современной почти не замечал.

Райский приласкал его и приласкался к нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потом вдруг открыл в нем страсть, «священный огонь», глубину понимания до степени ясновидения, строгость мысли, тонкость анализа — относительно древней жизни.

Он-то и посвятил Райского, насколько поддалась его живая, вечно, как море, волнующаяся натура, в тайны разумения древнего мира, но

задержать его надолго, навсегда, как сам задержался на древней жизни, не мог.

Райский унес кое-что оттуда и ускользнул, оставив Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образ его простой, младенческой души.

От Плутарха и «Путешествия Анахарсиса Младшего» он перешел к Титу Ливию и Тациту, зарываясь в мелких деталях первого и в сильных сказаниях второго, спал с Гомером, с Дантом и часто забывал жизнь около себя, живя в анналах, сагах, даже в русских сказках…

А когда зададут тему на диссертацию, он терялся, впадал в уныние, не зная, как приступить к рассуждению, например, «об источниках к изучению народности», или «о древних русских деньгах», или «о движении народов с севера на юг».

Он, вместо того, чтоб рассуждать, вглядывается в движение народов, как будто оно перед глазами. Он видит, как туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуаках, зажигает костры; видит мужчин в звериных шкурах, с дубинами, оборванных матерей, голодных детей; видит, как они режут, истребляют всё на пути, как гибнут отсталые. Видит серое небо, скудные страны и даже древние русские деньги; видит

так живо, что может нарисовать, но не знает, как «рассуждать» об этом: и чего тут рассуждать, когда ему и так видно?

Летом любил он уходить в окрестности, забирался в старые монастыри и вглядывался в темные углы, в почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину.

Там, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подьячие. Москва казалась необъятным ветхим царством. Драки, казни, татары, Донские, Иоанны — всё приступало к нему, всё звало к себе в гости, смотреть на их жизнь.

Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около; он очнется — перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий, теплый воздух.

Райский начал писать и стихи и прозу, показал сначала одному товарищу, потом другому, потом всему кружку, а кружок объявил, что он талант.

Тогда Борис приступил к историческому роману, написал несколько глав и прочел также в кружке. Товарищи стали уважать его «как надежду», ходили с ним толпой.

Райский и кружок его падали только на репетициях и на экзаменах, они уходили тогда на третий план и на четвертую скамью.

На первой и второй являлись опять-таки «первые ученики», которые так смирно сидят на лекции, у которых все записки есть, которые гордо и спокойно идут на экзамен и еще более гордо и спокойно возвращаются с экзамена: это — будущие кандидаты.

Они холодно смотрели на кружок, определили Райского словом «романтик», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что.

Они одинаково прилежно занимались по всем предметам, не пристращаясь ни к одному исключительно. И после, в службе, в жизни, куда их ни сунут, в какое положение ни поставят — везде и всякое дело они делают «удовлетворительно», идут ровно, не увлекаясь ни в какую сторону.

Товарищи Райского показали его стихи и прозу «гениальным» профессорам, «пророкам», как их звал кружок, хвостом ходивший за ними.

— Ах, Иван Иваныч! Ах, Петр Петрович! Это гении, наши светила! — закатывая глаза под лоб, повторяли восторженно юноши.

Один из «пророков» разобрал стихи публич-

но на лекции и сказал, что «в них преобладает элемент живописи, обилие образов и музыкальность, но нет глубины и мало силы», однако предсказывал, что с летами это придет, поздравил автора тоже с талантом и советовал «беречь и лелеять музу», то есть заняться серьезно.

Райский, шатаясь от упоения, вышел из аудитории, и в кружке, по этому случаю, был трехдневный рев.

Другой «пророк» прочел начало его романа и пригласил Райского к себе.

Он вышел от профессора, как из бани, тоже с патентом на талант и с кучей старых книг, летописей, грамот, договоров.

— Готовьте серьезным изучением ваш талант, — сказал ему профессор, — у вас есть будущность.

Райский еще «серьезнее» занялся хождением в окрестности, проникал опять в старые здания, глядел, щупал, нюхал камни, читал надписи, но не разобрал и двух страниц данных профессором хроник, а писал русскую жизнь, как она снилась ему в поэтических видениях, и кончил тем, что очень «серьезно» написал шутливую поэму, воспев в ней товарища, написавшего диссертацию «о долговых обязательствах» и никогда не пла-

тившего за квартиру и за стол хозяйке.

Переходил он из курса в курс с затруднениями, всё теряясь и сбиваясь на экзаменах. Но его выкупала репутация будущего таланта, несколько удачных стихотворений и прозаические взмахи и очерки из русской истории.

— Вы куда хотите поступить на службу? — вдруг раздался однажды над ним вопрос декана. — Через неделю вы выйдете. Что вы будете делать?

Райский молчал.

— Какое звание изберете? — спросил опять тот.

«Я… художником хочу быть…» — думал было он сказать, да вспомнил, как приняли это опекун и бабушка, и не сказал.

— Я… стихи буду писать.

— Но ведь это не звание: это так… между прочим, — заметил декан.

— И повести тоже… — сказал Райский.

— И повести можно: конечно, у вас есть талант. Но ведь это впоследствии, когда талант выработается. А звание… звание, я спрашиваю?

— Сначала я пойду в военную службу, в гвардию, а потом в статскую, в прокуроры… в губернаторы… — отвечал Райский.

Декан улыбнулся.

— Стало быть, прежде в юнкера — вот это понятно! — сказал он. — Вы да Леонтий Козлов только не имеете ничего в виду, а прочие все имеют назначение.

Когда Козлова спрашивали, куда он хочет, он отвечал: «В учителя куда-нибудь в губернию», — и на том уперся.

XIII

В Петербурге Райский поступил в юнкера: он с одушевлением скакал во фронте, млея и горя, с бегающими по спине мурашками, при звуках полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и шпорами, при встрече с генералами, а по вечерам в удалой компании на тройках уносился за город, на веселые пикники, или брал уроки жизни и любви у столичных русских и нерусских «Армид», в том волшебном царстве, где «гаснет вера в лучший край».

В самом деле, у него чуть не погасла вера в честь, честность, вообще в человека. Он, не желая, не стараясь, часто бегая прочь, изведал этот «чудесный мир» — силою своей впечатлительной натуры, вбиравшей в себя, как губка, все задевавшие его явления.

Женщины того мира казались ему особой породой. Как пар и машины заменили живую силу рук, так там целая механика жизни и страстей заменила природную жизнь и страсти. Этот мир — без привязанностей, без детей, без колыбелей, без братьев и сестер, без мужей и без жен, а только с мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дел и забот, по лени, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихие симпатии семьи, бросаются в этот мир всегда готовых романов и драм, как в игорный дом, чтоб охмелеть в чаду притворных чувств и дорого купленной неги. Других молодость и пыл влекут туда, в царство поддельной любви, со всей утонченной ее игрой, как гастронома влечет от домашнего простого обеда изысканный обед искусного повара.

Там царствует бесконечно разнообразный расчет: расчет роскоши, расчет честолюбия, расчет зависти, редко — самолюбия и никогда — сердца, то есть чувства. Красавицы приносят всё в жертву расчету: самую страсть, если постигает их страсть, даже темперамент, когда потребует того роль, выгода положения.

Они — не жертвы общественного темперамента, как те несчастные создания, которые за кусок хлеба, за одежду, за обувь и кров, служат животному голоду. Нет: там жрицы сильных, хотя искусственных страстей, тонкие актрисы, играют в любовь и жизнь, как игрок в карты.

Там нет глубоких целей, нет прочных конечных намерений и надежд. Бурная жизнь не манит к тихому порту. У жрицы этого культа, у «матери

наслаждений» — нет в виду, как и у истинного игрока по страсти, выиграть фортуну и кончить, оставить всё, успокоиться и жить другой жизнью.

Если бы явилась в том круге такая, она потеряла бы свой характер, свою прелесть: ее, как игрока, увлекут от прочного и доброго пути, или она утратит цену в глазах поклонников, потеряв свободу понятий и нравов.

Жизнь ее — вечная игра в страсти, цель — нескончаемое наслаждение, переходящее в привычку, когда она устанет, пресытится. У ней один ужас впереди — это состареться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя в страсти, она принимает все виды, все лица, все характеры, нужные для роли, заимствуя их, как маскарадные платья, напрокат. Она робка, скромна или горда, неприступна или нежна, послушна — смотря по роли, по моменту.

Но, сбросив маску, она часто зла, груба и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщения или для забавы, разрушить семейное счастие, спокойствие человека, не говоря о фортуне: разрушать экономическое благосостояние — ее призвание.

Ее должна окружать бесконтрольная роскошь. Желаний она не должна успевать иметь.

Квартира у нее — храм, но походящий на выставку мебели, дорогих безделиц. Вкус в убранстве принадлежит не хозяйке, а мебельщику и обойщику.

Печати тонкой, артистической жизни нет: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Там вкус — в сервизах, экипажах, лошадях, лакеях, горничных, одетых, как балетные феи.

Если случайно попадет туда высокой кисти картина, дорогая статуя — они ценятся не удивлением кисти и резцу, а заплаченной суммой.

Ни хозяина, ни хозяйки, ни детей, ни старых преданных слуг — нет в ее квартире.

Она живет — как будто на станции, в дороге, готовая ежеминутно выехать. Нет у нее друзей — ни мужчин, ни женщин, а только множество знакомых.

Жизнь красавицы этого мира, или «тряпичного царства», как называл его Райский, — мелкий, пестрый, вечно движущийся узор: визиты в своем кругу, театр, катанье, роскошные до безобразия завтраки и обеды до утра и ночи, продолжающиеся до обеда. Забота одна — чтоб не было остановок

от пестроты.

Пустой, ненаполненный день, вечер — без суеты, выездов, театра, свиданий — страшен. Тогда проснулась бы мысль, с какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй, чувство, совесть, встал бы призрак будущего…

Она со страхом отряхнется от непривычной задумчивости, гонит вопросы — и ей опять легко. Это бывает редко и у немногих. Мысль у ней большею частию нетронута, сердце отсутствует, знания никакого.

Накупать бриллиянтов, конечно, не самой (это всё, что есть неподдельного в ее жизни), нарядов, непременно больше, чем нужно, делая фортуну поставщиков, — вот главный пункт ее тщеславия.

Широкая затея — это вояж: прикинуться графиней в Париже, занять палаццо в Италии, сверкнуть золотом и красотой, покоряя мимоходом того, другого, смотря по рангу, положению, фортуне.

Идеал мужчины у нее — прежде всего homme genereux, liberal[23], который «благородно» сыплет золото, потом comte, prince и т. п. Понятия об уме,

---

[23] Примечания: 23
человек щедрый, широкий (*фр.*).

чести, нравах — свои, особенные.

Уродство в мужчине — это экономия, сдержанность, порядок. Скупой в ее глазах — изверг.

Райский, кружась в свете петербургской «золотой молодежи», бывши молодым офицером, потом молодым бюрократом, заплатил обильную дань поклонения этой красоте и, уходя, унес глубокую грусть надолго и много опытов, без которых мог обойтись.

Напрасно упрямился он оставаться офицером, ему неотступно снились то Волга и берега ее, тенистый сад и роща с обрывом, то видел он дикие глаза и исступленное лицо Васюкова и слышал звуки скрипки.

Снилась ему широкая арена искусства: академия или консерватория, любил он воображать себя тружеником искусства.

Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, с завешенным светом, с кусками мрамора, с начатыми картинами, с манекеном, — и сам он, в изящной блузе, с длинными волосами, с негой и счастьем смотрит на свое произведение: под кистью у него рождается чья-то голова.

Она еще неодушевлена, в глазах нет жизни, огня. Но вот он посадит в них две магические точки, проведет два каких-то резких штриха, и

вдруг голова ожила, заговорила, она смотрит так открыто, в ней горят мысль, чувство, красота…

В комнату заглядывают робко посетители, шепчутся…

Наконец, вот выставка. Он из угла смотрит на свою картину, но ее не видать, перед ней толпа, там произносят его имя. Кто-то изменил ему, назвал его, и толпа от картины обратилась к нему.

Он сконфузился и очнулся.

Он подал просьбу к переводу в статскую службу и был посажен к Аянову в стол. Но читатель уже знает, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Он оставил ее и стал ходить в академию.

Он робко пришел туда и осмотрелся кругом. Все сидят молча и рисуют с бюстов. Он начал тоже рисовать, но через два часа ушел и стал рисовать с бюста дома.

Но дома то сигару закурит, то сядет с ногами на диван, почитает или замечтается, и в голове раздадутся звуки. Он за фортепиано — и забудется.

Недели через три он опять пошел в академию: там опять все молчат и рисуют с бюстов.

Он кое с кем из товарищей познакомился, зазвал к себе и показал свою работу.

— У вас есть талант, где вы учились? — сказали

ему, — только… вон эта рука длинна… да и спина не так… рисунок не верен!

Между тем затеяли пирушку, пригласили Райского, и он слышал одно: то о колорите, то о бюстах, о руках, о ногах, о «правде» в искусстве, об академии, а в перспективе — Дюссельдорф, Париж, Рим. Отмеривали при нем года своей практики, ученичества, или «мученичества», прибавлял Райский. Семь, восемь лет — страшные цифры. И все уже взрослые.

Он не ходил месяцев шесть, потом пошел, и те же самые товарищи рисовали… с бюстов.

Он заглянул в другой класс: там стоял натурщик, и толпа молча рисовала с натуры торс.

Райский пришел через месяц — и то же углубление в торс и в свой рисунок. То же молчание, то же напряженное внимание.

Он пошел в мастерскую профессора и увидел снившуюся ему картину: запыленную комнату, завешенный свет, картины, маски, руки, ноги, манекен… всё.

Только художник представился ему не в изящной блузе, а в испачканном пальто, не с длинными волосами, а гладко остриженный; не нега у него на лице, а мука внутренней работы и беспокойство, усталость. Он вперяет мучитель-

ный взгляд в свою картину, то подходит к ней, то отойдет от нее, задумывается…

Потом вдруг опять как будто утонет, замрет, онемеет, только глаза блестят, да рука, как бешеная, стирает, заглаживает прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, как будто боясь, что она забудется…

Робко ушел к себе Райский, натянул на рамку холст и начал чертить мелом. Три дня чертил он, стирал, опять чертил и, бросив бюсты, рисунки, взял кисть.

Три полотна переменил он и на четвертом нарисовал ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рук не доделал: «Это последнее дело, руки!» — думал он. Костюмы набросал наобум, кое-как, что наскоро прочел у Гомера: других источников под рукой не было, а где их искать и скоро ли найдешь?

Полгода он писал картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили всё его творчество, аксессуарами он не занимался: «Это после, когда-нибудь».

Ребенка нарисовал тоже кое-как, и то нарисовал потому, что без него не верна была бы сцена прощания.

Он хотел показать картину товарищам, но они

сами красками еще не писали, а всё копировали с бюстов, нужды нет, что у самих бороды поросли.

Он решился показать профессору: профессор не заносчив, снисходителен и, вероятно, оценит труд по достоинству. С замирающим сердцем принес он картину и оставил в коридоре.

Профессор велел внести ее в мастерскую, посмотрел.

— Что это за блин? — сказал он, скользнув взглядом по картине, но, взглянув мельком в другой раз, вдруг быстро схватил ее, поставил на мольберт и вонзил в нее испытующий взгляд, сильно сдвинув брови.

— Это вы делали? — спросил он, указав на голову Гектора.

— Я-с.

— И это вы? — профессор указал на Андромаху.

— Тоже я-с.

— А это? — спрашивал тот, указывая на ребенка.

— Я же.

— Не может быть: это двое делали, — отрывисто отвечал профессор и, отворив дверь в другую комнату, закричал: — Иван Иванович!

Пришел Иван Иванович, какой-то художник.

— Посмотри!

Он показал ему на головы двух фигур и на ребенка. Тот молча и пристально рассматривал. Райский дрожал.

— Что ты видишь? — спросил профессор.

— Что? — сказал тот, — это не из наших. Кто же приделал голову к этой мазне?.. Да, голова… мм… а ухо не на месте. Кто это?

Профессор спросил Райского, где он учился, подтвердил, что у него талант, и разразился сильной бранью, узнав, что Райский только раз десять был в академии и с бюстов не рисует.

— Посмотрите: ни одной черты нет верной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на месте; если Гектор выпрямится, так она ему будет только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите…

Он обнажил ногу и показал коленку, потом руку.

— Вы не умеете рисовать, — сказал он, — вам года три надо учиться с бюстов да анатомии… А голова Гектора, глаза… Да вы ли делали?

— Я, — сказал Райский.

Профессор пожал плечами.

И Иван Иванович сделал: «Гм! У вас есть талант, это видно. Учитесь: со временем…»

«Всё учитесь: со временем!» — думал Райский. А ему бы хотелось — не учась — и сейчас.

Он в раздумье воротился домой: там нашел письма. Бабушка бранила его, что он вышел из военной службы, а опекун советовал определиться в сенат. Он прислал ему рекомендательные письма.

Но Райский в сенат не поступил, в академии с бюстов не рисовал, между тем много читал, много писал стихов и прозы, танцевал, ездил в свет, ходил в театр и к «Армидам» и в это время сочинил три вальса и нарисовал несколько женских портретов. Потом, после бешеной масленицы, вдруг очнулся, вспомнил о своей артистической карьере и бросился в академию: там ученики молча, углубленно рисовали с бюста, в другой студии писали с торса…

XIV

В назначенный вечер Райский и Беловодова опять сошлись у ней в кабинете. Она была одета, чтобы ехать в спектакль: отец хотел заехать за ней с обеда, но не заезжал, хотя было уже половина восьмого.

— Я всё думаю о нашем разговоре, кузина: а вы? — спросил он.

— Я, cousin… виновата: не думала о нем. Что такое мы говорили?.. Ах, да! — припомнила она. — Вы что-то меня спрашивали.

— И вы что-то мне обещали.

— Что же?

— Рассказать… какую-то «глупость», ребячество и потом вашу законную любовь…

— Всё это так просто, cousin, что я даже не сумею рассказать: спросите у всякой замужней женщины. Вот хоть у Catherine…

— Ах, нет, кузина, только не у Catherine: наряды и выезды, выезды и наряды…

— Что мне вам рассказывать? Я не знаю, с чего начать. Paul сделал через княгиню предложение, та сказала maman, maman теткам; позвали родных, потом объявили папá… Как все делают.

— Ему после всех! — весело заметил Райский. — А вы когда узнали?

— В тот же вечер, разумеется. Какой вопрос! Не думаете ли вы, что меня принуждали?..

— Нет, нет, кузина: не так рассказываете. Начните, пожалуйста, с воспитания. Как, где вы воспитывались? Прежде расскажите ту «глупость»…

— Дома воспитывалась, вы знаете… Maman была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало, все ее слушались в доме: няньки, девушки, гувернантки делали всё, что она приказывала, и папа́ тоже. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Когда мне было лет семь, за мной, помню, ходила немка Маргарита: она причесывала и одевала меня, потом будили мисс Дредсон и шли к maman. Maman, прежде нежели поздоровается, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза три, посмотрит, всё ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю кникс, и тогда поцелует в лоб и отпустит. После завтрака меня водили гулять, или в дурную погоду ездили в коляске…

— Как вы шалили, резвились? расскажите…

— Я не шалила: мисс Дредсон шла рядом и

дальше трех шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, и он покатился мне в ноги, я поймала его и побежала отдать ему, мисс сказала maman, и меня три дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было, помню только, что ездил танцмейстер и учил: «chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces…»[24] После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик, прыгать через веревочку, но тихонько, чтоб не разбить зеркал и не топать ногами. Maman не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, и потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я… — она засмеялась, — язык показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую — и оттого pas de grimaces раздавалось чаще всего.

— «Chassé en avant, chassé à gauche и pas de grimaces»: да, это хороший курс воспитания: всё равно что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше приставили француженку, madame Cléry, но… не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, как папà защищал ее, но maman слышать не хотела…

— Ну, теперь я вижу, что у вас не было детства:

---

[24] Примечания: 24

«шаг вперед, шаг налево, держитесь прямей, не кривляйтесь...» (*фр.*).

это кое-что объясняет мне… Учили вас чему-нибудь? — спросил он.

— Без сомнения: histoire, géographie, calligraphie, l'orthographe, еще по-русски…

Здесь Софья Николаевна немного остановилась.

— Я уверен, что мы подходим к катастрофе и что герой ее — русский учитель, — сказал Райский. — Это наши jeunes premiers…[25]

— Да… вы угадали! — засмеявшись, отвечала Беловодова. — Я все уроки учила одинаково, то есть всё дурно. В истории знала только двенадцатый год, потому что mon oncle prince Serge, служил в то время и делал кампанию, он рассказывал часто о нем; помнила, что была Екатерина II, еще революция, от которой бежал m-r de Querney, а остальное всё… там эти войны, греческие, римские, что-то про Фридриха Великого — всё это у меня путалось. Но по-русски, у m-r Ельнина, я выучивала почти всё, что он задавал.

— До сих пор всё идет прекрасно. Что же вы делали еще?

— Читали. Он прекрасно читал, приносил книги…

---

[25] Примечания: 25
сердцееды (*фр.*).

— Какие же книги?

— Я теперь забыла…

— Что же дальше, кузина?

— Потом, когда мне было шестнадцать лет, мне дали особые комнаты и поселили со мной ma tante Анну Васильевну, а мисс Дредсон уехала в Англию. Я занималась музыкой, и мне оставили французского профессора и учителя по-русски, потому что тогда в свете заговорили, что надо знать по-русски почти так же хорошо, как по-французски…

— M-r Ельнин был очень… очень… мил, хорош и… comme il faut?.. — спросил Райский.

— Oui, il était tout-à-fait bien[26], — сказала, покраснев немного, Беловодова, — я привыкла к нему… и когда он манкировал, мне было досадно, а однажды он заболел и недели три не приходил…

— Вы были в отчаянии? — перебил Райский, — плакали, не спали ночей и молились за него? Да? Вам было…

— Мне было жаль его, — и я даже просила папá послать узнать о его здоровье…

— Даже! Ну, что ж папá?

---

[26] Примечания: 26

— Да, он был вполне благовоспитан (*фр.*).

— Сам съездил, нашел его convalescent[27] и привез к нам обедать. Maman сначала было рассердилась и начала сцену с папá, но Ельнин был так приличен, скромен, что и она пригласила его на наши soirées musicales и dansantes[28]. Он был хорошо воспитан, играл на скрипке…

— Что же дальше? — с нетерпением спросил Райский.

— Когда папá привез его в первый раз после болезни, он был бледен, молчалив… глаза такие томные… Мне стало очень жаль его, и я спросила за столом, чем он был болен?.. Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно… Но maman после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже — девице спрашивать о здоровье постороннего молодого человека, еще учителя, «и Бог знает, кто он такой!» — прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате, потом уж никогда ни о чем его не спрашивала…

— Дело! — иронически заметил Райский, — чуть было с Олимпа спустились одной ногой к людям — и досталось.

---

[27] Примечания: 27
выздоравливающим (*фр.*).

[28] Примечания: 28
музыкальные и танцевальные вечера (*фр.*).

— Не перебивайте меня: я забуду, — сказала она. — Ельнин продолжал читать со мной, заставлял и меня сочинять, но maman велела больше сочинять по-французски.

— Что ж Ельнин, всё читал?

— Да, читал и аккомпанировал мне на скрипке: он бывал странен, иногда задумается и молчит полчаса, так что вздрогнет, когда я назову его по имени, смотрит на меня очень странно… как иногда вы смотрите, или сядет так близко, что испугает меня. Но мне не было… досадно на него… Я привыкла к этим странностям; он раз положил свою руку на мою: мне было очень неловко. Но он не замечал сам, что делает, — и я не отняла руки. Даже однажды… когда он не пришел на музыку, на другой день я встретила его очень холодно…

— Браво! а предки ничего?

— Смейтесь, cousin: оно в самом деле смешно…

— Я радуюсь, кузина, а не смеюсь: не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы, — не так, как после, как теперь?..

— Да, правда: мне, как глупой девочке, было весело смотреть, как он вдруг робел, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротив, долго глядел, — иногда даже побледнеет. Может быть, я немного кокетничала с ним, по-детски, конечно,

от скуки… У нас было иногда… очень скучно! Но он был, кажется, очень добр и несчастлив: у него не было родных никого… Я принимала большое участие в нем, и мне было с ним весело, это правда. Зато как я дорого заплатила за эту глупость!..

— Ах, скорее! — сказал Райский, — жду драмы.

— В день моих именин у нас был прием, меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою он восхищался и которую вы тоже любите…

— Так вот откуда совершенство, с которым вы играете ее… Дальше, кузина: это интересно!

— В свете уж обо мне тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде maman хотела взять Гензельта, но, услыхавши это, отдумала.

— Мудрость предков говорит, что неприлично артисткой быть! — заметил Райский.

— Я ждала этого вечера с нетерпением, — продолжала Софья, — потому что Ельнин не знал, что я разучиваю ее для…

Беловодова остановилась в смущении.

— Понимаю! — подсказал Райский.

— Все собрались; тут пели, играли другие, а его нет; maman два раза спрашивала, что ж я, сыграю ли сонату? Я отговаривалась, как могла, наконец

она приказала играть: j'avais le cœur gros[29] — и села за фортепиано. Я думаю, я была бледна: но только я сыграла интродукцию, как вижу в зеркале — Ельнин стоит сзади меня… Мне потом сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда, — стыдливо прибавила она. — Я просто рада была потому, что он понимал музыку…

— Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предков.

— Я играла, играла…

— С одушевлением, горячо, со страстью… — подсказывал он.

— Я думаю — да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорил банальных похвал: «Charmant, bravo», а когда кончила — все закричали в один голос, окружили меня… Но я не обратила на это внимания, не слыхала поздравлений, я обернулась, только лишь кончила, к нему… Он протянул мне руку, и я…

Софья остановилась в смущении.

— Ну, вы бросились к нему…

— Уж и бросилась! Нет, я протянула ему тоже руку, и он… пожал ее! — и, кажется, мы оба покраснели…

---

[29] Примечания: 29
у меня было тяжело на сердце (*фр.*).

— Только?

— Я скоро опомнилась и стала отвечать на поздравления, на приветствия, хотела подойти к maman, но взглянула на нее, и… мне страшно стало: подошла к теткам, но обе они сказали что-то вскользь и отошли. Ельнин из угла следил за мной такими глазами, что я ушла в другую комнату. Maman, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазах были слезы…

— Помешательства бывают разные, — заметил Райский, — эти все рехнулись на приличии… Ну, что же наутро?

— Наутро, — продолжала Софья со вздохом, — я ждала, пока позовут меня к maman, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла ma tante, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла к maman. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у maman в комнате. Там было темно, портьеры и сторы спущены, maman казалась утомлена; подле нее сидели тетушка, mon oncle prince Serge и папá…

— Весь ареопаг — и портреты тут!

— Папá стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласко-

во: мне бы легче было. Но он старался не глядеть на меня; бедняжка боялся maman, а я видела, что ему было жалко. Он всё жевал губами: он это всегда делает в ажитации, вы знаете.

— И что же они?

— «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» — тихо спросила maman. «Ваша дочь», — чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя?» — Я молчала: отвечать было нечего…

— Боже мой! нечего! — произнес Райский…

— «Что это за сцену разыграли вы вчера: комедию, драму? Чье это сочинение, ваше или учителя этого… Ельнина?» — «Maman, я не играла сцены, я нечаянно…» — едва проговорила я, так мне было тяжело. «Тем хуже, — сказала она, — il y a donc du sentiment là dedans?[30] Вот послушайте, — обратилась она к папа, — что говорит ваша дочь… как вам нравится это признание?..» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня и смотрел вниз; я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда… «Знаете ли, кто он такой, ваш учитель? — сказала maman. — Вот князь Serge всё узнал: он сын какого-то лекаря, бегает по урокам, сочиняет, пишет русским купцам

---

[30] Примечания: 30

значит, тут замешано чувство? (*фр.*).

французские письма за границу за деньги, и этим живет…» — «Какой срам!» — сказала ma tante. Я не дослушала дальше, мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, а папа стоял со спиртом.

Maman не было. Я не видала ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Maman говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не занемогла, как это всё заметила кузина Нелюбова и пересказала Михиловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бранили, зачем принимали бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня!» — заключила maman. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово вперед держать себя прилично.

Райский расхохотался.

— Я думал, бог знает какая драма! — сказал он, — а вы мне рассказываете историю шестилетней девочки! Надеюсь, кузина, когда у вас будет дочь, вы поступите иначе…

— Как же: отдать ее за учителя? — сказала она. — Вы не думаете сами серьезно, чтоб это было возможно!

— Почему нет, если он честен, хорошо воспитан?..

— Никто не знает, честен ли Ельнин: напротив,

ma tante и maman говорили, что будто у него были дурные намерения, что он хотел вскружить мне голову… из самолюбия, потому что серьезных намерений он иметь не смел…

— Нет! — пылко возразил Райский, — вас обманули. Не бледнеют и не краснеют, когда хотят кружить головы ваши франты, кузены, prince Pierre, comte Serge: вот у кого дурное на уме! А у Ельнина не было никаких намерений, он, как я вижу из ваших слов, любил вас искренно. А эти, — он, не оборачиваясь, указал назад на портреты, — женятся на вас par convenance[31] и потом меняют на танцовщицу…

— Cousin! — серьезно, почти с испугом, сказала она.

— Да, кузина, вы сами знаете это…

— Что же мне было делать? Сказать maman, что я выйду за m-r Ельнина…

— Да, упасть в обморок не от того, от чего вы упали, а от того, что осмелились распоряжаться вашим сердцем, потом уйти из дома и сделаться его женой. «Сочиняет, пишет письма, дает уроки, получает деньги, и этим живет!» В самом деле, какой позор! А они, — он опять указал на пред-

---

[31] Примечания: 31
из приличия (*фр.*).

ков, — получали, ничего не сочиняя, и проедали весь свой век чужое — какая слава!.. Что же сталось с Ельниным?

— Не знаю, — равнодушно сказала она, — ему отказали от дома, и я не видала его никогда.

— И вы — ничего?

— Ничего…

— Перед вами являлась лицом к лицу настоящая, живая жизнь, счастье — и вы оттолкнули его от себя! из чего, для чего?

— Но, cousin, вы знаете, что я была замужем и жила этой жизнью…

— С ним? — спросил он, глядя на портрет ее мужа.

— С ним! — сказала она, глядя с кроткой лаской тоже на портрет.

— Как вы вышли замуж?

— Очень просто. Он тогда только что воротился из-за границы и бывал у нас, рассказывал, что делается в Париже, говорил о королеве, о принцессах, иногда обедал у нас и через княгиню сделал предложение.

— Ну, когда согласились и вы остались с ним в первый раз одни… что он…

— Ничего! — сказала она с улыбкой удивления.

— Но ведь… говорил же он вам, почему искал

вашей руки, что его привлекло к вам… что не было никого прекраснее, блистательнее…

— И «что он никогда не кончил бы, говоря обо мне, но боится быть сентиментальным…» — добавила она.

— Потом?

— Потом сел играть в карты, а я пошла одеваться; в этот вечер он был в нашей ложе и на другой день объявлен женихом.

— В самом деле это очень просто! — заметил Райский. — Ну, потом, после свадьбы?..

— Мы уехали за границу.

— А! наконец не до света, не до родных: куда-нибудь в Италию, в Швейцарию, на Рейн, в уголок, и там сердце взяло свое…

— Нет, нет, cousin, — мы поехали в Париж: мужу дали поручение, и он представил меня ко двору.

— Господи! — воскликнул Райский, — этого еще недоставало!

— Я была очень счастлива, — сказала Беловодова, и улыбка и взгляд говорили, что она с удовольствием глядит в прошлое. — Да, cousin, когда я в первый раз приехала на бал в Тюльери и вошла в круг, где был король, королева и принцы…

— Все ахнули? — сказал Райский.

Она кивнула головой, потом вздохнула, как будто жалея, что это прекрасное прошлое невозвратимо.

— Мы принимали в Париже; потом уехали на воды; там муж устраивал праздники, балы: тогда писали в газетах.

— И вы были счастливы?

— Да, — сказала она, — счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала…

— Нежного, задушевного слова, не видали минуты увлечения?

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

— Не слыхала отказа в желаниях, даже в капризах… — добавила она.

— Будто у вас были и капризы?

— Да: в Вене он за полгода велел приготовить отель, мы приехали, мне не понравилось, и…

— Он нанял другой: какой нежный муж!

— Какое внимание, égard[32], — говорила она, — какое уважение в каждом слове!..

— Еще бы: ведь вы Пахотина; шутка ли?

— Да, я была счастлива, — решительно сказала она, — и уже так счастлива не буду!

---

[32] Примечания: 32
предупредительность (*фр.*).

— И слава Богу: аминь! — заключил он. — Канарейка тоже счастлива в клетке, и даже поет; но она счастлива канареечным, а не человеческим счастьем… Нет, кузина, над вами совершено систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы — прекрасная пленница в светском серале и прозябаете в своем неведении.

— И не хочу менять этого неведения на ваше опасное ведение…

— Да, — перебил он, — и засидевшаяся канарейка, когда отворят клетку, не летит, а боязливо прячется в гнездо. Вы — тоже. Воскресните, кузина, от сна, бросьте ваших Catherine, m-me Basil, эти выезды — и узнайте другую жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь, что скажет кузина…

— А что скажет cousin — да?

— Да, тогда вспомните кузена Райского и смело подите в жизнь страстей, в незнакомую вам сторону…

— Но зачем же непременно страсти, — возражала она, — разве в них счастье?..

— Зачем гроза в природе?.. Страсть — гроза жизни… О, если б испытать эту сильную грозу! — с увлечением сказал он и задумался.

— Вот видите, cousin: всё прочее, кроме вас, велит бежать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потом всю жизнь раскаиваться…

— Нет, не к раскаянию поведет вас страсть: она очистит воздух, прогонит миазмы, предрассудки и даст вам дохнуть настоящей жизнью… Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познания добра и зла, упьетесь счастьем и потом задумаетесь на всю жизнь, — не этой красивой, но сонной задумчивостью. В вашем покое будет биться пульс, будет жить сознание счастья; вы будете прекраснее во сто раз, будете нежны, грустны, перед вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь мир упадет перед вами на колени, как падаю я…

Он в самом деле опускался на колени, но она сделала движение ужаса, и он остановился.

— И когда я вас встречу потом, может быть измученную горем, — но богатую и счастьем, и опытом, вы скажете, что вы не даром жили, и не будете отговариваться неведением жизни. Вот тогда выглянете и туда, на улицу, захотите узнать, что делают ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить их…

Она слушала задумчиво. Сомнения, тени, воспоминания проходили по лицу.

— Не все мужчины — Беловодовы, — продолжал он, — не побоится друг ваш дать волю сердцу и языку, а услыхавши раз голос сердца, пожив в тишине, наедине — где-нибудь в чухонской деревне, вы ужаснетесь вашего света. Париж и Вена побледнеют перед той деревней. Прочь prince Pierre, comte Serge, тетушки, эти портьеры, драпри, с глаз долой портреты: всё это мешает только счастью. Вы возненавидите и Пашу с Дашей, и швейцара, все выезды — всё вам опротивеет тогда. Положение ваше будет душить вас, вам покажется здесь тесно, скучно без того, кого полюбите, кто научит вас жить. Когда он придет, вы будете неловки, вздрогнете от его голоса, покраснеете, побледнеете, а когда уйдет, сердце у вас вскрикнет и помчится за ним, будет ждать томительно завтра, послезавтра… Вы не будете обедать, не уснете и просидите ночь вот тут в кресле, без сна, без покоя. Но если увидите его завтра, даже почуете надежду увидеть, вы будете свежее этого цветка, и будете счастливы, и он счастлив этим блестящим взглядом — не только он, но и чужой, кто вас увидит в этих лучах красоты…

— Что это, видно папа́ не будет? — сказала она, оглядываясь вокруг себя. — Это невозможно, что вы говорите! — тихо прибавила потом.

— Почему? — спросил он, впиваясь в нее глазами.

У него воображение было раздражено: он невольно ставил на месте героя себя; он глядел на нее то смело, то стоял мысленно на коленях и млел, лицо тоже млело. Она взглянула на него раза два и потом боялась или не хотела глядеть.

— Почему невозможно? — повторил он.

— Ведь я — канарейка!

— О, тогда эта портьера упадет, и вы выпорхнете из клетки; тогда вы возненавидите и теток, и этих полинявших господ, а на этот портрет (он указал на портрет мужа) взглянете с враждой.

— Ах, cousin!.. — с упреком остановила она.

— Да, кузина, вы будете считать потерянною всякую минуту, прожитую, как вы жили и как живете теперь… Пропадет этот величавый, стройный вид, будете задумываться, забудете одеться в это несгибающееся платье… с досадой бросите массивный браслет, и крестик на груди не будет лежать так правильно и покойно. Потом, когда преодолеете предков, тетушек, перейдете Рубикон — тогда начнется жизнь… мимо вас будут

мелькать дни, часы, ночи…

Он сел близко подле нее: она не замечала, погруженная в задумчивость.

— Вы не будете замечать их, — шептал он, — вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты от него, не сладите с сердцем, вам всё будет чудиться, чего с вами никогда не было.

Он взял ее за руку, она вздрогнула.

— Одна, дома, вы вдруг заплачете от счастья: около вас будет кто-то невидимо ходить, смотреть на вас… И если в эту минуту явится он, вы закричите от радости, вскочите и… и… броситесь к нему…

Оба они вдруг встали.

— И отдадите всё… всё… — шептал он, держа ее за руку.

— Assez, cousin, assez![33] — говорила она в волнении, с нетерпением, почти с досадой отнимая руку.

— И будете еще жалеть, — всё шептал он, — что нечего больше отдать, что нет жертвы! Тогда пойдете и на улицу, в темную ночь, одни… если…

— Mon Dieu, mon Dieu! — говорила она, глядя на дверь, — что вы говорите?.. вы знаете сами, что

---

[33] Примечания: 33

— Довольно, кузен, довольно! (*фр.*).

это невозможно!

— Всё возможно, — шептал он, — вы станете на колени, страстно прильнете губами к его руке и будете плакать от наслаждения...

Она села на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

— Je vous demande une grâce, cousin[34], — сказала она.

— Требуйте, приказывайте! — говорил он восторженно.

— Laissez-moi![35]

Он пошел к двери и оглянулся. Она сидит неподвижно: на лице только нетерпение, чтоб он ушел. Едва он вышел, она налила из графина в стакан воды, медленно выпила его и потом велела отложить карету. Она села в кресло и задумалась, не шевелясь.

Через несколько минут послышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мельком взглянула в зеркало и встала. Вошел ее отец, с ним какой-то гость, мужчина средних лет, высокий, брюнет, с задумчивым лицом. Физиономия нерусская. Отец представил его Софье.

---

[34] Примечания: 34

— Я прошу вас об одной любезности, кузен (*фр.*).

[35] Примечания: 35

— Оставьте меня! (*фр.*).

— Граф Милари, ma chère amie, — сказал он, — grand musicien et le plus aimable garçon du monde.[36] Две недели здесь: ты видела его на бале у княгини? Извини, душа моя, я был у графа: он не пустил в театр.

— Я велела отложить карету, папá; мне тоже не хочется, — отвечала она.

Софья попросила гостя сесть. Они стали говорить о музыке, а Николай Васильевич, пожевав губами, ушел в гостиную.

[36] Примечания: 36

моя милая... превосходный музыкант и любезнейший молодой человек (*фр.*).

XV

Райский вернулся домой в чаду, едва замечая дорогу, улицы, проходящих и проезжающих. Он видел всё одно — Софью, как картину в рамке из бархата, кружев, всю в шелку, в бриллиантах, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью.

На лице у ней он успел прочесть первые, робкие лучи жизни, мимолетные проблески нетерпения, потом тревоги, страха и, наконец, добился вызвать какое-то волнение, может быть, бессознательную жажду любви.

Он бросил сомнение в нее, вопросы, может быть, сожаление о даром потерянном прошлом — словом, взволновал ее. Ему снилась в перспективе страсть, драма, превращение статуи в женщину.

Пока он гордился про себя и тем крошечным успехом своей пропаганды, что, кажется, предки сошли в ее глазах с высокого пьедестала.

«Еще два-три вечера, — думал он, — еще приподнимет он ей уголок завесы, она взглянет в лучистую даль и вдруг поймет жизнь и счастье. Потом дальше, когда-нибудь, взгляд ее

остановится на ком-то в изумлении, потом опустится, взглянет широко опять и онемеет — и она мгновенно преобразится. Но кто же будет этот “кто-то”? — спросил он ревниво. — Не тот ли, кто первый вызвал в ней сознание о чувстве? Не он ли вправе бросить ей в сердце и самое чувство?»

Он погляделся в зеркало и задумался, подошел к форточке, отворил ее, дохнул свежим воздухом: до него донеслись звуки виолончели.

— Ах, опять этот пилит! — с досадой сказал он, глядя на противоположное окно флигеля. — И опять то же! — прибавил он, захлопывая форточку.

Звуки хотя глухо, но всё доносились до него. Каждое утро и каждый вечер видел он в окно человека, нагнувшегося над инструментом, и слышал повторение, по целым неделям, почти неисполнимых пассажей, по пятидесяти, по сто раз. И месяцы проходили так.

— Осел! — сказал Райский и лег на диван, хотел заснуть, но звуки не давали, как он ни прижимал ухо к подушке, чтоб заглушить их. Нет, так и режут.

— Право, осел! — повторил он и сам сел за фортепиано и начал брать сильные аккорды, чтоб заглушить виолончель. Потом залился веселою

трелью, перебрал мотивы из нескольких опер, чтоб не слыхать несносного мычанья, и насилу забылся за импровизацией.

Перед ним была Софья: играя, он видел всё ее, уже с пробудившимися страстями, страдающую и любящую, — и только дошло до вопроса: «кого?» — звуки у него будто оборвались. Он встал и открыл форточку.

— Всё еще играет! — с изумлением повторил он и хотел снова захлопнуть, но вдруг остановился и замер на месте.

Звуки не те: не мычанье, не повторение мудреных пассажей слышит он. Сильная рука водила смычком, будто по нервам сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали в пучину и вдруг выкидывали на высоту и несли в воздушное пространство.

Целые миры отверзались перед ним, понеслись видения, открылись волшебные страны. У Райского широко открылись глаза и уши: он видел только фигуру человека в одном жилете, свеча освещала мокрый лоб, глаз было не видно. Борис пристально смотрел на него, как бывало на Васюкова.

«А! что это такое! — думал он, слушая с дрожью

почти ужаса эти широко разливающиеся волны гармонии. — Что это такое? — повторил он, — откуда он взял эти звуки? Кто их дал ему? Ужели месяцы и годы ослиного терпения и упорства? Рисовать с бюстов, пилить по струнам — годы! А дает человеческой фигуре, в картине, огонь, жизнь — одна волшебная точка, штрих; страсть в звуки вливает — одна нервная дрожь пальца! У меня есть и точка, и нервная дрожь — и все эти молнии горят здесь, в груди, — говорил он, ударяя себя в грудь. — И я бессилен перебросить их в другую грудь, зажечь огнем своим огонь в крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходит у меня в звуки, не ложится послушно в картину! Зачем не группируются стройно лица поэмы и романа?»

И опять слушал он, замирая: не слыхать ни смычка, ни струн; инструмента не было, а пела свободно, вдохновенно, будто грудь самого артиста.

У Райского навернулись слезы умиления, и он тихо закрыл форточку.

А ведь есть упорство и у него, у Райского! Какие усилия напрягал он, чтоб… сладить с кузиной, сколько ума, игры воображения, труда положил он, чтоб пробудить в ней огонь, жизнь, страсть…

Вот куда уходят эти силы!

«Не вноси искусства в жизнь, — шептал ему кто-то, — а жизнь в искусство!.. Береги его, береги силы!»

Он подошел к мольберту; снял зеленую тафту: там был портрет Софьи — глаза ее, плечи ее и спокойствие ее.

— Но теперь она уж не такая! — шептал он, — явились признаки жизни — я их вижу; вот они, перед глазами у меня: как уловить их?..

Он схватил кисть, палитру, помалевал глаза, изменил немного линию губ — и со вздохом положил кисть и отошел. Платье, эти кружева, бархат кое-как набросаны. А пуще всего руки неверны. И темно: краски вечером изменяются.

Он поглядел еще несколько запыленных картин: всё начатые и брошенные эскизы, потом подошел к печке, перебрал несколько рамок, останавливаясь на некоторых и, между прочим, на голове Гектора.

Наконец достал небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портрет молодой белокурой женщины, поставил его на мольберт и, облокотясь локтями на стол, впустив пальцы в волосы, остановил неподвижный, исполненный глубокой грусти

взгляд на этой голове.

Долго сидел он в задумчивом сне, потом очнулся, пересел за письменный стол и начал перебирать рукописи, — на некоторых останавливался, качал головой, рвал и бросал в корзину, под стол, другие откладывал в сторону.

Между кипами литературных опытов, стихов и прозы, он нашел одну тетрадь, в заглавии которой стояло: «Наташа».

Там был записан старый эпизод, когда он только что расцветал, сближался с жизнью, любил и его любили. Он записал его когда-то под влиянием чувства, которым жил, не зная тогда еще зачем, — может быть, с сентиментальной целью — посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги, или оставить для себя заметку и воспоминание в старости о молодой своей любви, а может быть, у него уже тогда бродила мысль о романе, о котором он говорил Аянову, и мелькал сюжет для трогательной повести из собственной жизни.

Он там говорил о себе в третьем лице, набрасывая легкий очерк, сквозь который едва пробивался образ нежной, любящей женщины. Думая впоследствии о своем романе, он предполагал выработать этот очерк и включить в роман

как эпизод.

«…Он, воротясь домой после обеда в артистическом кругу, — читал Райский вполголоса свою тетрадь, — нашел у себя на столе записку, в которой было сказано: “Навести меня, милый Борис: я умираю!.. Твоя Наташа”.

— Боже мой, Наташа! — закричал он не своим голосом и побежал с лестницы, бросился на улицу и поскакал на извозчике к Знаменью, в переулок, вбежал в дом, в третий этаж. “Две недели не был, две недели — это вечность! Что она?”

Он остановился перед дверью, переводя дух, и от волнения то брался за ручку колокольчика, то опять оставлял ее. Наконец позвонил и вошел.

Его встретила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опустив глаза, как будто с укоризной отвечала на поклон, и на вопрос его, сделанный шепотом, с дрожью: “Что она?” — ничего не сказала, а только пропустила его вперед, осторожно затворила за ним дверь и сама ушла.

Он на цыпочках вошел в комнату и оглядел ее, с беспокойством отыскивая, где Наташа.

В комнате был волосяной диван красного дерева, круглый стол перед диваном; на столе стоял рабочий ящик и лежали неконченные женские

работы.

В углу теплилась лампада; по стенам стояли волосяные стулья; на окнах горшки с увядшими цветами да две клетки, в которых дремали насупившиеся канарейки.

Он глядел на ширмы и стоял боязливо, боясь идти туда.

— Кто там? — раздался слабый голос из-за ширм. Он вошел.

За ширмами, на постели, среди подушек, лежала, освещаемая темным светом маленького ночника, как восковая, молодая белокурая женщина. Взгляд был горяч, но сух, губы тоже жаркие и сухие. Она хотела повернуться, увидев его, сделала живое движение и схватилась рукой за грудь.

— Это ты, Борис, ты! — с нежной, томной радостью говорила она, протягивая ему обе исхудалые, бледные руки, глядела и не верила глазам своим.

Он бросился к ней и поцеловал обе руки.

— Ты в постели — и до сегодня не дала мне знать! — упрекал он.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— Прости, что потревожила и теперь, — старалась она выговорить, — мне хотелось увидеть

тебя. Я всего неделю как слегла: грудь заболела… — Она вздохнула.

Он не слушал ее, с ужасом вглядываясь в ее лицо, недавно еще смеющееся. И что стало теперь с ней!

“Что с тобой?..” — хотел он сказать, не выдержал и, опустив лицо в подушку к ней, вдруг разразился рыданием.

— Что ты, что ты! — говорила она, лаская нежно рукой его голову: она была счастлива этими слезами. — Это ничего, доктор говорит, что пройдет…

Но он рыдал, он понимал, что не пройдет.

— Я думала, ты утешишь меня. Мне так было скучно одной и страшно… — Она вздрогнула и оглянулась около себя. — Книги твои все прочла, вон они, на стуле, — прибавила она. — Когда будешь пересматривать, увидишь там мои заметки карандашом; я подчеркивала все места, где находила сходство… как ты и я… любили… Ох, устала, не могу говорить… — Она остановилась, смочила языком горячие губы. — Дай мне пить, вон там, на столе!

Проглотив несколько капель, она указала ему место на подушке и сделала знак, чтоб он положил свою голову. Она положила ему руку на

голову, а он украдкой утирал слезы.

— Тебе скучно здесь, — заговорила она слабо, — прости, что я призвала тебя… Как мне хорошо теперь, если б ты знал! — в мечтательном забытьи говорила она, закрыв глаза и перебирая рукой его волосы. Потом обняла его, поглядела ему в глаза, стараясь улыбнуться. Он молча и нежно отвечал на ее ласки, глотая навернувшиеся слезы.

— Ты посидишь со мною сегодня? — спросила она, глядя ему в глаза.

— Весь вечер, всю ночь; я не отойду от тебя, пока…

Слезы опять подступили, и он едва справился с ними.

— Нет, нет, зачем? Я не хочу, чтоб ты скучал… Ты усни, успокойся, со мной ничего, право, ничего… — Она хотела улыбнуться и не могла.

— Я что-то скажу тебе: ты не рассердишься?..

Он пожал ей влажную руку.

— Я схитрила… — шептала она, приложив свою щеку к его щеке, — мне вот уж третий день легче, а я написала, что умираю… мне хотелось заманить тебя… Прости меня!

Она улыбнулась, а он оцепенел от ужаса: он слыхал, что значит это “легче”. Но он старался улыбнуться, судорожно сжал ей руки и с боязнью

глядел то на нее, то вокруг себя.

Вдруг из света, из толпы веселых приятелей, художников, красавиц он попал как будто в склеп. Он сел подле постели и ушел в свою фантазию, где и раздолье молодой его жизни, и вдруг упавшее на него горе стояли как две противоположные картины. Большая, веселая комната, группа собеседников, здоровых, поющих, говорящих шумно вокруг стола, за роскошным обедом, среди цветов, шипящих бокалов. Между собеседниками веселые лица женщин блестят красотой, наслаждением. Тут артистки музыки, балета, певцы, художники и золотая молодежь, красота, ум, таланты, юмор — вся солнечная сторона жизни! Вдруг он шагнул в ее мрачную тень: эта маленькая, бедная комната и в ней угасающая, подкошенная жизнь.

Там, у царицы пира, свежий, блистающий молодостью лоб и глаза, каскадом падающая на затылок и шею темная коса, высокая грудь и роскошные плечи. Здесь — эти впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза, сухие, бесцветные волосы, осунувшиеся кости рук… Обе картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тем они стояли так близко друг к другу. В галерее их не

поставили бы рядом: в жизни они сходились — и он смотрел одичалыми глазами на обе.

Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Он, против воли, группировал фигуры, давал положение тому, другому, себе, добавлял, чего недоставало, исключал, что портило общий вид картины. И в то же время сам ужасался процесса своей беспощадной фантазии, хватался рукой за сердце, чтоб унять боль, согреть леденеющую от ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшным воплем исторгнуться у него из груди при каждом ее болезненном стоне.

Эта любовь на смертном одре жгла его, как раскаленное железо; каждую ласку принимал он с рыданием, как сорванный с могилы цветок.

Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, перед ним тихо развертывалась вся история этого, теперь угасающего бытия. Он видел там ее когда-то молоденькой девочкой, с стыдливым, простодушным взглядом, живущей под слабым присмотром бедной, больной матери.

Он узнал Наташу в опасную минуту, когда ее неведению и невинности готовились сети. Матери, под видом участия и старой дружбы, выхлопотал поседевший мнимый друг пенсион,

присылал доктора и каждый день приезжал, по вечерам, узнавать о здоровье, отечески горячо целовал дочь…

Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь немногими годами пережившая ее дочь. Райский понял всё и решился спасти дитя.

Спасая искренно и горячо от сетей “благодетеля”, открывая глаза и матери, и дочери на значение его благодеяний — он влюбился сам в Наташу, Наташа влюбилась в него — и оба нашли счастье друг в друге, оба у смертного одра матери получили на него благословение.

У обоих был один простой и честный образ семейного союза. Он уважал ее невинность, она ценила его сердце — оба протягивали руки к брачному венцу — и оба… не устояли.

Полгода томилась мать на постели и умерла. Этот гроб, ставши между ими и браком, — глубокий траур, вдруг облекший ее молодую жизнь, надломил и ее хрупкий, наследственно-болезненный организм, в котором, еще сильнее скорби и недуга, горела любовь и волновала нетерпением и жаждой счастья.

Доктора положили свои запрет на нетерпеливые желания. “Надо подождать”, — говорили

им три месяца, четыре. Брачный алтарь ждал, а любовь увлекла их вперед.

И он спас ее от старика, спас от бедности, но не спас от себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то ничем не возмутимою, ничего не боящеюся любовью, без слез, без страданий, без жертв, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, как можно полюбить и опять не полюбить.

Для нее любить — значило дышать, жить; не любить — перестать дышать и жить. На вопросы его: “Любишь ли? Как?” — она, сжав ему крепко шею и стиснув зубы, по-детски отвечала: “Вот так!” А на вопрос: “Перестанешь ли любить?” — говорила задумчиво: “Когда умру, так перестану”.

Она любила, ничего не требуя, ничего не желая; приняла друга, как он есть, и никогда не представляла себе, мог ли бы или должен ли бы он быть иным? бывает ли другая любовь, или все так любят, как она?

А он мечтал о страсти, о ее бесконечно-разнообразных видах, о всех сверкающих молниях, о всем зное сильной, пылкой, ревнивой любви, и тогда, когда они вошли в ее лето, в жаркую пору.

Наташа похорошела, пополнела, была весела,

но ни разу на лице у ней не блеснул таинственный луч затаенного, сдержанного упоения, никогда — потерянного, безумного взгляда, которым выговаривается пожирающее душу пламя.

А между тем тут всё было для счастья: для сердца открывался вечный, теплый приют. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа — развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой, женский, восприимчивый ум. Работа тоже творческая — творить на благодарной почве, творить для себя, создавать живой идеал собственного счастья.

Но фантазия требовала роскоши, тревог. Покой усыплял ее — и жизнь его как будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозревала, какой змей гнездился в нем рядом с любовью.

С той минуты, как она полюбила, в глазах и улыбке ее засветился тихий рай: он светился два года и светился еще теперь из ее умирающих глаз. Похолодевшие губы шептали свое неизменное “люблю”, рука повторяла привычную ласку.

Он иногда утомлялся, исчезал на месяцы и, возвращаясь, бывал встречаем опять той же улыбкой, тихим светом глаз, шепотом нежной, кроткой любви.

Он был уверен, что встретит это всегда, долго

наслаждался этой уверенностью, а потом в ней же нашел зерно скуки и начало разложения счастья.

Никогда — ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивления или оскорбления за то, что он прежде был не тот, что завтра будет опять иной, чем сегодня, что она проводит дни оставленная, забытая, в страшном одиночестве.

У ней и в сердце, и в мысли не было упреков и слез, не срывались укоризны с языка. Она не подозревала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именем своих прав.

У ней было одно желание и право: любить. Она думала и верила, что так, а не иначе, надо любить и быть любимой и что весь мир так любит и любим.

На отлучки его она смотрела как на неприятное, случайное обстоятельство, как, например, на то, если б он заболел. А возвращался он, — она была кротко счастлива и полагала, что если его не было, то это так надо, это в порядке вещей.

Обида, зло падали в жизни на нее иногда и с других сторон: она бледнела от боли, от изумления, подкашивалась и бессознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать

обиду, заплатить злом.

Она привязывалась к тому, что нравилось ей, и умирала с привязанностью, всё думая, что *так надо*.

Это был чистый, светлый образ, как перуджиниевская фигура, простодушно и бессознательно живший и любивший, с любовью пришедший в жизнь и с любовью отходящий от нее да с кроткой и тихой молитвой.

Жизнь и любовь как будто пропели ей гимн, и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиления и веры застывали на ее умирающем лице, без укоризны за зло, за боль, за страдания.

Умирала она частию от небрежного воспитания, от небрежного присмотра, от проведенного в скудости и тесноте болезненного детства, от попавшей в ее организм наследственной капли яда, развившегося в смертельный недуг, от того, наконец, что все эти “так надо” хотя не встречали ни воплей, ни раздражения с ее стороны, а всё же ложились на слабую молодую грудь и подтачивали ее.

Она прожила бы до старости, не упрекнув ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни в чем, как не упрекает теперь никого и ничто за свою смерть. И ее болезненная, стра-

дальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей — *так надо*.

Она никогда не искала смысла той апатии, скуки и молчания, с которыми друг ее иногда смотрел на нее, не догадывалась об отжившей любви и не поняла бы никогда причин.

А он думал часто, сидя как убитый в злом молчании около нее, не слушая ее простодушного лепета, не отвечая на кроткие ласки: "Нет — это не та женщина, которая, как сильная река, ворвется в жизнь, унесет все преграды, разольется по полям. Или, как огонь, осветит путь, вызовет силы, закалит их энергией и бросит трепет, жар, негу и страсть в каждый момент, в каждую мысль… направит жизнь, поможет угадать ее смысл, задачу и совершить ее. Где взять такую львицу? А этот ягненок нежно щиплет траву, обмахивается хвостом и жмется ко мне, как к матке… Нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон…"

Он широкой зевотой отвечал на ее лепет, ласки, брал шляпу и исчезал по неделям, по месяцам, или в студию художника, или на те обеды и ужины, где охватывал его чад и шум.

Сидя теперь у одра, он мысленно читал историю Наташи и своей любви, и когда вся история тихо развилась и образ умирающей стал перед

ним немым укором, он побледнел.

Он вспомнил свое забвение, небрежность, — других оскорблений быть не могло: сам дьявол упал бы на колени перед этим голубиным, нежным, безответным взглядом.

Он клял себя, что не отвечал целым океаном любви на отданную ему одному жизнь, что не окружил ее оградой нежности отца, брата, мужа, дал дохнуть на нее не только ветру, но и смерти.

“Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня всё!” — вопила в нем поздняя, отчаянная мольба. Он мысленно всходил на эшафот, сам клал голову на плаху и кричал: “Я преступник!.. если не убил, то дал убить ее: я не хотел понять ее, искал ада и молний там, где был только тихий свет лампады и цветы. Что же я такое, Боже мой! Злодей! Ужели я…”

Он опять приникал лицом к ее подушке и мысленно молил не умирать, творил обеты счастья до самопожертвования.

“Поздно! Поздно!” — говорило ему отчаяние и ее трудные вздохи.

Он вспомнил, что когда она стала будто бы целью всей его жизни, когда он ткал узор счастья с ней, — он, как змей, убирался в ее цветы, окружал себя, как в картине, этим же тихим светом; уви-

дев в ней искренность и нежность, из которых создано было ее нравственное существо, он был искренен, улыбался ее улыбкой, любовался с ней птичкой, цветком, радовался детски ее новому платью, шел с ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажал цветы…

И вспомнил он, что любовался птичкой, сажал цветы и плакал — искренно, как и она. Куда же делись эти слезы, улыбки, наивные радости, и зачем опошлились они, и зачем она не нужна для него теперь?..

— О чем ты думаешь? — раздался слабый голос у него над ухом. — Дай еще пить… Да не гляди на меня, — продолжала она, напившись, — я стала ни на что не похожа! Дай мне гребенку и чепчик, я надену. А то ты… разлюбишь меня, что я такая… гадкая!..

Она думала, что он еще не разлюбил ее! Он подал ей гребенку, маленький чепчик; она хотела причесаться, но рука с гребенкой упала на колени.

— Не могу, устала! — сказала она и печально задумалась.

А его резали ножи, голова у него горела. Он вскочил и ходил с своей картиной в голове по комнате, бросаясь почти в исступлении во все

углы, не помня себя, не зная, что он делает. Он вышел к хозяйке, спросил, ходил ли доктор, которому он поручил ее.

Та сказала, что ходил и привозил с собой других, что она переплатила им вот столько-то. “У меня записано”, — прибавила она.

— Что ж те? — спросил он.

— Известно что: смотрели ее, слушали ее грудь, выходили в другую комнату, молча пожимали плечами и, сжав в кулак сунутую ассигнацию, застегивали фрак и проворно исчезали.

Райский, цепенея от ужаса, выслушал этот краткий отчет и опять шел к постели. Оживленный пир с друзьями, артисты, певицы, хмельное веселье — всё это пропало вместе со всякой надеждой продлить эту жизнь.

Перед ним было только это угасающее лицо, страдающее без жалобы, с улыбкой любви и покорности, — это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко сил, существо!

А он стоял тут, полный здоровья и этой силы, которую расточал еще сегодня, где не нужно ее, и бросил эту птичку на долю бурь и непогод!

Зачем не приковал он себя тут, зачем уходил, когда привык к ее красоте, когда оттиск этой, когда-то милой, нежной головки стал бледнеть в

его фантазии? Зачем, когда туда стали тесниться другие образы, он не перетерпел, не воздержался, не остался верен ему?

Это был не подвиг, а долг. Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: “Жизнь — не сад, в котором растут только одни цветы”, — поздно думал он и вспомнил картину Рубенса “Сад любви”, где под деревьями попарно сидят изящные господа и прекрасные госпожи, а около них порхают амуры.

— Лжец! — обозвал он Рубенса. — Зачем, вперемежку с любовниками, не насажал он в саду нищих в рубище и умирающих больных: это было бы верно!..

“А мог ли бы я?” — спросил он себя. Что бы было, если б он принудил себя жить с нею и для нее? Сон, апатия и лютейший враг — скука! Явилась в готовой фантазии длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатии, скуки: он видел там себя, как он был мрачен, жёсток, сух и как, может быть, еще скорее свел бы ее в могилу. Он с отчаянием махнул рукой.

“Можно удержаться от бешенства, — оправдывал он себя, — но от апатии не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это!” А это убило бы ее: с летами она догадалась бы…

Да, с летами, а потом примирилась бы, привыкла, утешилась — и жила! А теперь умирает, и в жизни его вдруг ложится неожиданная и быстрая драма, целая трагедия, глубокий, психологический роман.

— Поди сюда, посиди со мной! — раздался голос Наташи, прервавший его мысли.

Через неделю после того он шел с поникшей головой за гробом Наташи, то читая себе проклятия за то, что разлюбил ее скоро, забывал подолгу и почасту, не берег, то утешаясь тем, что он не властен был в своей любви, что сознательно он никогда не огорчил ее, был с нею нежен, внимателен, что, наконец, не в нем, а в ней недоставало материала, чтоб поддержать неугасимое пламя, что она уснула в своей любви и уже никогда не выходила из тихого сна, не будила и его, что в ней не было признака страсти, этого бича, которым подгоняется жизнь, от которой рождается благотворная сила, производительный труд…

“Нет, нет, — она не то, она — голубь, а не женщина!” — думал он, заливаясь слезами и глядя на тихо качающийся гроб.

Он задумчиво стоял в церкви, смотрел на вибрацию воздуха от теплящихся свеч и на небольшую кучку провожатых: впереди всех стоял какой-

то толстый, высокий господин, родственник, и равнодушно нюхал табак. Рядом с ним виднелось расплывшееся и раскрасневшееся от слез лицо тетки, там кучка детей и несколько убогих старух.

У гроба на полу стояла на коленях после всех пришедшая и более всех пораженная смертью Наташи ее подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокруг, потом глядела на лицо умершей и, положив голову на пол, судорожно рыдала…

Он медленно ушел домой и две недели ходил убитый, молчаливый, не заглядывал в студию, не видался с приятелями и бродил по уединенным улицам. Горе укладывалось, слезы иссякли, острая боль затихла, и в голове только оставалась вибрация воздуха от свеч, тихое пение, расплывшееся от слез лицо тетки и безмолвный, судорожный плач подруги…»

Здесь кончилась рукопись.

Райский, окончив чтение, сидел несколько времени угрюмый, задумчивый.

«Бледен этот очерк! — сказал он про себя, — так теперь не пишут. Эта наивность достойна эпохи “Бедной Лизы”. И портрет ее (он подошел к мольберту) — не портрет, а чуть подмалеванный эскиз.

Бедная Наташа! — со вздохом отнесся он наконец к ее памяти, глядя на эскиз. — Ты и живая была так же бледно окрашена в цвета жизни, как и на полотне моей кистью, и на бумаге пером! Надо переделать и то и другое!» — заключил он.

Потом со вздохом спрятал тетрадь, взял кучку белых листков и начал набрасывать программу нового своего романа.

Эпизод, обратившийся в воспоминание, представлялся ему чужим событием. Он смотрел на него объективно и внес на первый план в своей программе.

Он прописал до света, возвращался к тетрадям не один раз во дню; приходя домой вечером, опять садился к столу и записывал, что снилось ему в перспективе.

Сцены, характеры, портреты родных, знакомых, друзей, женщин переделывались у него в типы, и он исписал целую тетрадь, носил с собой записную книжку, и часто в толпе, на вечере, за обедом вынимал клочок бумаги, карандаш, чертил несколько слов, прятал, вынимал опять и записывал, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полуслове, удаляясь внезапно из толпы в уединение.

Между тем жизнь будила и отрывала его от

творческих снов и звала от художественных наслаждений и мук к живым наслаждениям и реальным горестям, среди которых самою лютою была для него скука. Он бросался от ощущения к ощущению, ловил явления, берег и задерживал почти силою впечатления, требуя пищи не одному воображению, но всё чего-то ища, желая, пробуя на чем-то остановиться…

Теперь он возложил какие-то, еще неясные ему самому, надежды на кузину Беловодову, наслаждаясь сближением с ней. Ему пока ничего не хотелось больше, как видеть ее чаще, говорить, пробуждать в ней жизнь, если можно — страсть.

Но она была неприступна. Он стал уставать, начала пробиваться скука…

XVI

Прошел май. Надо было уехать куда-нибудь, спасаться от полярного петербургского лета. Но куда? Райскому было всё равно. Он делал разные проекты, не останавливаясь ни на одном: хотел съездить в Финляндию, но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это и собрался не шутя с Пахотиными в рязанское имение. Но они изменили намерение и остались в городе.

Общая летняя эмиграция увлекла было за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе.

Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма, одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтья Козлова.

Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счеты: он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол.

Потом она стала писать реже, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек.

Как он обрадовался, увидя ее почерк, крупный, четкий, решительный!

«…Не грех ли тебе, Борис Павлович, — писала она между прочим, — забывать меня, старуху? У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишние на свете: так рассуждает молодость. А мне и умереть нельзя: у меня на руках две внуки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там — Его святая воля!

Я не сетую на тебя, что забываешь меня: но если — сохрани Боже — меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также и об имении: я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащат всё, и не останется ничего. Ужели береженое добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь

— всё разойдется по рукам челяди, перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге на ярмарку и пропадет ни за что! Пока бабушка жива, будь покоен, ни нитки не пропадет, а после понадеяться не на кого. Две внуки — что они? Вера добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входит ни во что. Марфинька будет примерная хозяйка, да молода; нужды нет, что замуж давно пора, а понятия у ней детские — и слава Богу! Успеет созреть, как опыт придет, а я ее берегу, и она это ценит и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее Господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю: не девичье дело! У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут: сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков да Василиса по дому у меня все нужные дела делают.

Не откладывай же и порадуй бабушку приездом: она тебе близка — не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молод, это чувствовал, — не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть;

а может быть, тебе выпадет и счастье… Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы переселился Мамыкин, откупщик: у него дочь невеста, одна, больше детей нет. Вот если б Бог благословил меня дождаться такой радости: женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя — женись, угоди бабушке, и Бог не оставит тебя!

Буду ждать ответа: напиши наперед, я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфиньку запрячу в светелку: ты хозяин!

Тит Никоныч тебе кланяется: он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и всё так же умно говорит и приятно кланяется: молодых франтов за пояс заткнет. Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны: говорят, нынче от ревматизмов носят. Я бы

ему сюрприз сделала.

Посылаю счеты за последние два года. Приими мое благословение и т. д.

Татьяна Бережкова».

— Бабушка! — с радостью воскликнул Райский. — Боже мой! она зовет меня: еду, еду! Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной, умной женщины; и еще две сестры, два новых, неизвестных мне и в то же время близких лица… («барышни в провинции! немного страшно: может быть, уроды!» — успел он подумать поморщась…) Однако еду: это судьба посылает меня… А если там скука?

Он испугался и потом опять успокоился.

— Сейчас же уеду прочь, при первой зевоте! — утешился он. — Еду, еду, там и Леонтий, Леонтий! — произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. — Что он пишет?

«Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои маетности, — писал Леонтий, — должно быть, по рассеянности (за мной, ты знаешь, есть этот грех) попал не в тот переулок, спустился под гору и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки, и хотел идти назад. Но

Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала в сумерки за вора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином, хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. Имение, говорит она, поверить, и если поселишься здесь, то принять его из рук в руки — и жениться.

Признаться, любезный мой друг Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило, а почему — скажу ниже. Имение — пустой предлог: бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но это в сторону: я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке.

Послушай — ты любишь меня, я знаю. В школе и в университете ты лучше всех был со мною: ты меня ободрял, бывало, читывал со мною вместе, любил меня и

помогал иногда, платил хозяйке… белье тоже… (Райский быстро пропустил эту строку), не дразнил, не играл “штук” со мной, не бил — или бил самую малость: оттаскал за волосы всего каких-нибудь два раза, тогда как другие… Но Бог с ними, с повесами! Они тоже не со зла, а так, от праздности и вертопрашества! Итак, именем этой дружбы, прошу тебя, не сердись… или нет, бей, оттаскай еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые готские издания классиков (да как не помнить!) в драгоценных переплетах? Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира, текст пополам с комментариями? Помнишь… французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Помнишь… (конечно, помнишь — лучше бы ты забыл!) вот каталог, мной составленный: против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты! Слушай и бей меня: творения св. отцов целы, весь богословский отдел остался неприкосновенным; Платон, Фукидид — и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Макиавелли и еще

увражей полсотни из прочих отделов перепорчены… конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости.

Кто же, спросишь ты, этот Омар? — Марк Волохов зовут его: для него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть эльзевира, он и оттуда выдерет листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению поздно, есть скверная привычка: когда он читает книгу, то из прочитанного вырывает листок и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отчего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный, взял Аристофана — где греческий текст напечатан с французским переводом — да тут же, при мне, вдруг сзади и вырвал страницу — я даже мигнуть не успел. Этот Волохов — чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу,

то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит (он у огородника на квартире живет) целый воз овощей. Он прислан сюда на житье, под присмотр полиции, и с тех пор город — нельзя сказать, чтоб был в безопасности.

Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, только не по одному факультету. Кажется, врет.

Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку, и тоже не ужился, переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве, попал в какую-то историю — и вот теперь прислан сюда, как я сказал, под присмотр полиции. С ней он в вечной вражде. Нил Андреич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут. Но довольно о нем! Приезжай, сам увидишь, каков он. Теперь я сбыл тяжесть

признанием, и у меня легче на душе. После этого не так страшно встретить тебя.

Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой: если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я библиотеку! Какие у тебя красавицы сестры, Вера и Марфа Васильевны! Как тебя всё это ждет, какой у тебя сад, какие виды на Волгу!.. Если б ты всё это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал: приехал бы принять от Татьяны Марковны имение, а от меня библиотеку, — приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя товарища и друга

Леонтия Козлова.

Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше».

Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтья, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему», — подумал он.

«Леонтий, бабушка! — мечтал он, — красавицы троюродные сестры, Верочка и Марфинька! Волга

с прибрежьем, дремлющая, блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими, ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли — там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софьи, распрощаюсь с ней — и dahin, dahin!»[37]

[37] Примечания: 37
туда, туда (*нем.*)

XVII

Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи, и не первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмотрит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску и пойдет шагать по комнате, остановится у окна, посвистит, побарабанит пальцами по стеклам, иногда уйдет со двора и бродит угрюмый, недовольный.

Наутро опять та же история, то же недовольство и озлобление. А иногда сидит, сидит и вдруг схватит палитру и живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать, остановится, посмотрит и задумается. Потом покачает головой отрицательно, вздохнет и бросит палитру.

А портрет похож, как две капли воды. Софья такая, какою все видят и знают ее: невозмутимая, сияющая. Та же гармония в чертах; ее возвышенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном покоя высокая, пышная грудь.

Она — вся она, а он недоволен, терзается художническими болями! Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, у ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете

этого нет!

«Что это Кирилов нейдет? а обещал. Может быть, он навел бы на мысль, что надо сделать, чтоб из богини вышла женщина», — подумал он.

И опять задумался, с палитрою на пальце, с поникшей головой, с мучительной жаждой овладеть тайной искусства, создать на полотне ту Софью, какая снится ему теперь.

Он вспомнил ее волнение, умоляющий голос оставить ее, уйти; как она хотела призвать на помощь гордость и не могла; как хотела отнять руку и не отняла из его руки; как не смогла одолеть себя… Как она была тогда не похожа на этот портрет!

Он видел, что заронил в нее сомнения, что эти сомнения — гамлетовские. Он читал их у ней в сердце: «В самом ли деле я живу так, как нужно? Не жертвую ли я чем-нибудь живым, человеческим, этой мертвой гордости моего рода и круга, этим приличиям? Ведь надо сознаться, что мне иногда бывает скучно с тетками, с папá и с Catherine… Один только cousin Райский…»

У Райского сердце забилось, когда он довел мечту Софьи до себя.

Он уже не видит портрета, а видит что-то другое. Глаза, как у лунатика, широко открыты, не

мигнут; они глядят куда-то и видят живую Софью, как она одна дома мечтает о нем, погруженная в задумчивость, не замечает, где сидит, или идет без цели по комнате, останавливается, будто внезапно пораженная каким-то новым лучом мысли, подходит к окну, открывает портьеру и погружает любопытный взгляд в улицу, в живой поток голов и лиц, зорко следит за общественным круговоротом; не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, как будто и она стала ее частью, будто понимает, куда так торопливо бежит какой-то господин, с боязнью опоздать; она уже, кажется, знает, что это чиновник, продающий за триста-четыреста рублей в год две трети жизни, кровь, мозг, нервы.

Ей жаль мужика, который едва тащит мешок на спине. Она догадывается, что вон эта женщина торопится с узлом заложить последний салоп, чтоб заплатить за квартиру и т. д. Всякого и всякую провожает задумчиво-заботливый взгляд Софьи.

Она долго глядит на эту жизнь и, кажется, понимает ее и нехотя отходит от окна, забыв опустить занавес. Она берет книгу, развертывает страницу и опять погружается в мысль о том, как живут другие.

Красота ее осмысленна, глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих «других», бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих.

Она вдруг почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучит жажда этой жизни, ее живых симпатий и скорбей, труда, но прежде симпатий.

Книга выпадает из рук на пол. Софья не заботится поднять ее; она рассеянно берет цветок из вазы, не замечая, что прочие цветы раскинулись прихотливо и некоторые выпали.

Она нюхает цветок и, погруженная в себя, рассеянно ощипывает листья губами и тихо идет, не сознавая почти, что делает, к роялю, садится боком, небрежно, на табурет и одной рукой берет задумчивые аккорды и всё думает, думает…

Потом тихо, чуть-чуть, как дух, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и так осталась.

В комнате никого, только в не закрытое занавесом окно ворвались лучи солнца и вольно гуляют по зеркалам, дробятся на граненом хрустале. Раскрытая книга валяется на полу, у ног ее ощипанные листья цветка…

Он схватил кисть и жадными, широкими глаза-

ми глядел на ту Софью, какую видел в эту минуту в голове, и долго, с улыбкой мешал краски на палитре, несколько раз готовился дотронуться до полотна и в нерешительности останавливался, наконец провел кистью по глазам, потушевал, открыл немного веки. Взгляд у ней стал шире, но был всё еще покоен.

Он тихо, почти машинально, опять коснулся глаз: они стали более жизненны, говорящи, но еще холодны. Он долго водил кистью около глаз, опять задумчиво мешал краски и провел в глазу какую-то черту, поставил нечаянно точку, как учитель некогда в школе поставил на его безжизненном рисунке, потом сделал что-то, чего и сам объяснить не мог, в другом глазу… И вдруг сам замер от искры, какая блеснула ему из них.

Он отошел, посмотрел и обомлел: глаза бросили сноп лучей прямо на него, но выражение всё было строго.

Он бессознательно, почти случайно, чуть-чуть изменил линию губ, провел легкий штрих по верхней губе, смягчил какую-то тень и опять отошел, посмотрел:

— Она, она! — говорил он, едва дыша, — нынешняя, настоящая Софья!

Он услышал сзади себя шаги и с живостью

обернулся: пришел Аянов.

— Иван Иваныч! — торжественно сказал Райский, — как я рад, что ты пришел! Смотри — она, она? Говори же!

— Постой, дай посмотреть.

Иван Иванович долго смотрел. Райский ждал с нетерпением.

— Кто это? — флегматически спросил Аянов.

Райский остолбенел.

— Ты не узнал Софью? — спросил он, едва приходя в себя от изумления.

— Как, Софья Николаевна? Может ли быть? — говорил Аянов, глядя во все широкие глаза на портрет. — Ведь у тебя был другой: тот, кажется, лучше: где он?

Райский с досадой, почти с презрением, махнул рукой.

— Всё тот же! — заметил он, — я только переделал. Как ты не видишь, — напустился он на Аянова, — что тот был без жизни, без огня, сонный, вялый, а этот!..

— Воля твоя, тот был больше похож! — упрямо возражал Аянов, — а этот… она тут как будто пьяна.

— Сам ты пьян! Поди прочь!

— Я ведь не знаю толку, — равнодушно ото-

звался Аянов.

Райский, не отвечая ему, сердито подмалевывал волосы, бархат на портрете.

Чрез четверть часа пришел Кирилов. Это был маленький, сухощавый человечек, весь спрятавшийся в бакенбарды, усы и бороду. Тела почти совсем было не видно, только впалые глаза неестественно блестели, да нос вдруг резким горбом выходил из чащи, а концом опять упирался в волосы, за которыми не видать было ни щек, ни подбородка, ни губ. Шея крылась тоже под бородой, а всё остальное туловище, точно в мешок, было завернуто в широкое, складками висевшее пальто, из-под которого выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытые пятнами масляных красок. На ногах была какая-то мягко шаркавшая при походке обувь, шляпа истертая, с лоском, с покривившимся боком.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это как будто уснувшее под непроницаемым покровом волос, суровое, неподвижное лицо, особенно когда он, с палитрой, пред мольбертом, в своей темной артистической келье, вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в лик изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный как птица художник мира, ищу-

щий светлых сторон жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего только скорби. Таков он, кажется, и был.

Он молча, медленно и глубоко погрузился в портрет. Райский с беспокойством следил за выражением его лица. Кирилов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах; морщины у него разгладились. Он как будто видел приятный сон.

Потом вдруг точно проснулся; не радостное, а печальное изумление медленно разлилось по лицу, лоб наморщился. Он отвернулся, положил шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать.

— Что же вы? — спросил Райский.

— За этим-то вы меня звали? — спросил Кирилов.

— А что?

— Прощайте: я пойду домой…

— Постойте, скажите что-нибудь.

— Что говорить: пустое!

— Ну, да, у вас чуть из облаков спустишься — так пустое! — возразил обиженный Райский. — Ах вы, мертвецы! Вы прежде во мне признавали

дарование, Семен Семеныч…

— Что вам повторять? я уж говорил! — Он вздохнул. — Если будете этим путем идти, тратить себя на модные вывески…

— Модные вывески! Знаете ли вы, кто это?

— Кто? — повторил Кирилов, бегло взглянув на портрет. — Какая-нибудь актриса…

— Что вы, точно оба с ума сошли! Тот видит пьяную женщину, этот актрису! Что с вами толковать!

Райский стал закрывать портрет.

— Повезу его к ней: сам оригинал оценит лучше. Семен Семеныч! от вас я надеялся хоть приветливого слова: вы, бывало, во всяком моем труде находили что-нибудь, хоть искру жизни…

— И здесь искра есть! — сказал Кирилов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб. — Это превосходно, это… Я не знаю подлинника, а вижу, что здесь есть правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушке, кукле, кокетке!

— Нет, Семен Семеныч, выше этого сюжета не может выбрать живописец. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеал строгой чистоты, гордости; это богиня, хоть

олимпийская… но она в вашем роде, то есть — не от мира сего!

— Это бы лицо да с молитвенным, напряженным взглядом, без этого страстного вожделения!.. Послушайте, Борис Павлыч, переделайте портрет в картину; бросьте ваш свет, глупости, волокитства… завесьте окна да закупорьтесь месяца на три, на четыре…

— Зачем?

— Сделайте молящуюся фигуру! — сморщившись, говорил Кирилов, так что и нос ушел у него в бороду и всё лицо казалось щеткой. — Долой этот бархат, шелк! поставьте ее на колени, просто на камне, набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди… Вот здесь, здесь, — он пальцем чертил около щек, — меньше свету, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного веки… и тогда сами станете на колени и будете молиться…

— Нет, Семен Семеныч, я не хочу в монастырь; я хочу жизни, света и радости. Я без людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красоте, люблю ее, — он нежно взглянул на портрет, — телом и душой и, признаюсь… — он комически вздохнул, — больше телом…

Кирилов махнул рукой и начал ходить по ком-

нате.

— В вас погибает талант; вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства, есть страстность, да страсти, терпенья нет! Вот и тут, смотрите, руки только что намечены, и неверно, плеча несоразмерны, а вы уж завертываете, бежите показывать, хвастаться…

— Не в мазанье дело, Семен Семеныч! — возразил Райский. — Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда; и я чувствую, что поймал тайну. Что ж за дело до волос, до рук?..

— Полноте, полноте лукавить! — перебил Кирилов, — не умеете делать рук, а поучиться — терпенья нет! Ведь если вытянуть эту руку, она будет короче другой; уродец, в сущности, ваша красавица! Вы всё шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свете и людей, и художников…

Он вздохнул, и лицо глубже ушло в волосы.

— Что ж, по-вашему, спрятаться от жизни, от людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и…

— Да, не погневайтесь! — перебил Кирилов. — Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте красавиц и пирушки, а будьте трезвы, работайте

до тумана, до обморока в голове; надо падать и вставать, умирать с отчаяния и опять понемногу оживать, вскакивать ночью…

— Я делаю это… почти… — сказал Райский, — вскакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия…

— Все вы сумасшедшие, как погляжу! — равнодушно заметил Аянов.

— Да, вскакиваете, чтоб мазнуть вашу вот эту «правду», — он указал на открытое плечо Софьи. — Нет, вы встаньте ночью да эту же фигуру начертите раз десять, пока будет верно. Вот вам задача на две недели: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

— Постойте, учитель, постойте! — останавливал Райский.

— Пустите! Нет у вас уважения к искусству, — говорил Кирилов, — нет уважения к самому себе. Общество художников — это орден братства, всё равно что масонский орден: он рассеян по всему миру и все идут к одной цели. Художники — сродни «каменщикам». Вспомните Хирама и его тайну. Да, вот что! Нельзя наслаждаться жизнию, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нет, — горячо и почти грубо напал он на

Райского, — бросьте эти конфекты и подите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству всё, молитесь и поститесь, будьте мудры и вместе просты, как змеи и голуби, и, что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую бы яму ни падали, помните и исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть — к искусству! Пусть вас клянут, презирают, во имя его — идите: тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет «многа ваша мзда», то есть бессмертие. А вам недостает мужества, силы нет, и недостает еще бедности. Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спасительным светом творчества. Где вам! вы — барин, вы родились не в яслях искусства, а в шелку, в бархате. А искусство не любит бар… оно тоже избирает «худородных»… Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа. Прощайте. Через две недели зайду посмотреть.

Он бросил папироску в песочницу, схватил шляпу и исчез прежде, нежели Райский успел остановить его.

— Каков! — сказал Аянов. — Чудак! Он, в самом деле, не в монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь в масляных пятнах, нищ, ободран.

Сущий мученик! Не пьет ли он?

— Кроме воды, ничего.

— Ну так удавится или с ума сойдет.

Райский глубоко вздохнул.

— Да, — сказал он, — это один из последних могикан: истинный, цельный, но не нужный более художник. Искусство сходит с этих высоких ступеней в людскую толпу, то есть в жизнь. Так и надо! Что он проповедует: это изувер!

Однако, продолжая сравнение Кирилова, он мысленно сравнил себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие небесное. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате.

Уныние поглотило его: у него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить всё, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кирилов, завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упада, переделать Софью в блудницу.

Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и задорно, с яростью, выделывал пальцы; сотрет, опять начертит, опять сотрет — всё не выходит!

Его стало грызть нетерпение, которое, при пер-

вом неудачном чертеже, перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить медленно, проводя густые, яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кирилов, начало сменять озлобление.

Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи.

«Переделать портрет, — думал он. — Прав ли Кирилов? Вся цель моя, задача, идея — красота! Я охвачен ею и хочу воплотить этот овладевший мною сияющий образ: если я поймал эту “правду” красоты — чего еще? Нет, Кирилов ищет красоту в небе, он аскет: я — на земле… Покажу портрет Софье: что она скажет? А потом уже переделаю… только не в блудницу!»

Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если б узнала эту мысль Кирилова? Он мало-помалу успокоился, любуясь «правдой» на портрете, и возвратился к прежним, вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье.

XVIII

Райский верил и не верил, что увидит ее и как и что будет говорить.

«Как тут закипает! — думал он, трогая себя за грудь. — О! быть буре, и дай Бог бурю! Сегодня решительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю… любит ли она или нет? Если да, жизнь моя… *наша* должна измениться, я не еду… или, нет, *мы* едем туда, к бабушке, в уголок, оба…»

Он развернул портрет, поставил его в гостиной на кресло и тихо пошел по анфиладе к комнатам Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тетки уехали к обедне.

Он, держась за сердце, как будто унимая, чтоб оно не билось, шел на цыпочках. Ему всё снились разбросанные цветы, поднятый занавес, дерзкие лучи, играющие на хрустале. Он тихо подкрался и увидел Софью.

Она сидит, опершись локтями на стол, положив лицо в ладони, и мечтает, дремлет или… плачет. Она в неглиже, не затянута в латы негнущегося платья, без кружев, без браслет, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежат в сетке;

блуза стелется по плечам и падает широкими складками у ног. На ковре лежат две атласные туфли; ноги просто в чулках покоятся на бархатной скамеечке.

Он никогда не видал ее такою. Она не замечает его, а он боится дохнуть.

— Кузина, Sophie! — назвал он ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась от стола и с удивлением глядела на Райского. У нее в глазах стояли вопросы: «Как он? откуда взялся? зачем тут?»

— Sophie! — повторил он.

Она встала и выпрямилась во весь рост.

— Что с вами, cousin? — спросила она коротко.

— Виноват, кузина, — уже без восторга сказал он, — я вас застал нечаянно… в таком поэтическом беспорядке.

Она оглянулась около себя и вдруг будто спохватилась и позвонила.

— Pardon, cousin, я оденусь! — сухо сказала она и ушла с девушкой в спальню.

Он слышал, что она сделала выговор Паше, зачем ей не доложили о приезде Райского.

«Что же это такое? — думал Райский, глядя на привезенный им портрет, — она опять не похожа,

она всё такая же!.. Да нет, она не обманет меня: это спокойствие и холод, которым она сейчас вооружилась передо мной, не прежний холод — о, нет! это натяжка, принуждение. Там что-то прячется, под этим льдом, — посмотрим!»

Наконец она вышла, причесанная, одетая, в шумящем платье. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надевала браслет.

— Я привез ваш портрет, кузина.

— Где? Покажите, — сказала она и пошла за ним в гостиную.

— Вы польстили мне, cousin: я не такая, — говорила она, вглядываясь в портрет.

— Ах, нет, я далек от истины! — сказал он с непритворным унынием, видя перед собой подлинник. — Красота, какая это сила! Ах, если б мне этакую!

— Что ж бы вы сделали?

— Что бы я сделал? — повторил он, глядя на нее пристально и лукаво. — Сделал бы кого-нибудь очень счастливым…

— И наделали бы тысячу несчастных — да? Стали бы пробовать свою силу над всеми, и не было бы пощады никому…

— А! — поймал ее Райский, — не из сострадания ли вы так неприступны?.. Вы боитесь бросить

лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром. Новая изящная черта! Самоуверенность вам к лицу. Эта гордость лучше родовой спеси: красота — это сила, и гордость тут имеет смысл.

Он обрадовался, что открыл, как казалось ему, почему она так упорно кроется от него, почему так вдруг изменила мечтательную позу и ушла опять в свои окопы.

— Не будьте, однако, слишком сострадательны: кто откажется от страданий, чтоб подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света, не только для торжества, для счастья и победы — просто для одной слабой надежды на победу…

— Полноте, cousin, вы опять за свое! — сказала она, но не совсем равнодушным тоном. Она как будто сомневалась, так ли она сильна, так ли все поползли бы за ней, как этот восторженный, горячий, сумасбродный артист?

И этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от Райского. Он прозревал в ее взгляды, слова, ловил, иногда бессознательно, все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней.

— Вы сами видите это, — продолжал он, — что

за один ласковый взгляд, без особенного значения, за одно слово, без обещаний награды, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание.

— Будто бы?

— А вы не заметили? Полноте!

— Право, нет.

— Право, заметили и втихомолку торжествуете, да еще издеваетесь надо мной, заставляя высказывать вас же самих. Вы знаете, что я говорю правду, и в словах моих видите свой образ и любуетесь им.

— Пока еще я видела его в портрете, и то преувеличенно, а на словах вы только бранитесь.

— Нет, портрет — это слабая, бледная копия; верен только один луч ваших глаз, ваша улыбка, и то не всегда: вы редко так смотрите и улыбаетесь, как будто боитесь. Но иногда это мелькает; однажды мелькнуло, и я поймал, и только намекнул на правду, и уж смотрите, что вышло. Ах, как вы были хороши тогда!

— Когда это?

— Вот тут, когда я говорил вам… еще, помните, ваш папа́ привел этого Милари…

Она молчала.

— Милари? — повторил он.

— Помню, — сухо сказала она.

— Что, он часто бывает у вас? — спросил Райский, заметив и эту сухость тона.

— Да… иногда. Он очень хорошо поет, — прибавила она и села на диван, спиной к свету.

— Когда он будет у вас, я бы заехал… дайте мне знать.

— Здесь свежо! — заметила она, делая движение плечами, — надо велеть затопить камин…

— Я пришел проститься с вами; я еду — вы знаете? — спросил он вдруг, взглянув на нее.

Она ничего.

— Куда? — спросила только.

— В деревню, к бабушке… Вам не жаль, не скучно будет без меня?

Она думала и, казалось, решала эти вопросы про себя.

— Видите, кузина, для меня и то уж счастье, что тут есть какое-то колебание, что у вас не вырвалось ни «да», ни «нет». Внезапное «да» — значило бы обман, любезность или уж такое счастье, какого я не заслужил; а от «нет» было бы мне больно. Но вы не знаете сами, жаль вам или нет: это уж много от вас, это половина победы…

— А вы надеетесь на полную? — спросила она с улыбкой.

— Плохой солдат, который не надеется быть

генералом, сказал бы я, но не скажу: это было бы слишком… невозможно.

Он глядел на нее и хотел бы, дал бы бог знает что, даже втайне ждал, чтоб она спросила «почему?», но она не спросила, и он подавил вздох.

— Невозможно, — повторил он, — и в доказательство, что у меня нет таких колоссальных надежд, я пришел проститься с вами, может быть, надолго.

— Мне жаль вас, cousin, — вдруг сказала она тихо, мягко и почти с чувством.

Он обернулся к ней так живо, как человек, у которого болели зубы и вдруг прошла боль.

— «Жаль!» — повторил он, — правда ли это?

— Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Он взял ее ладонь и с упоением целовал. Она не отнимала руки.

— Вот, вот, за это право целовать так вашу руку чего бы не сделали все эти, которые толпятся около вас!

— Стало быть, вы счастливы: вы пользуетесь этим правом свободно…

— Да, как cousin! Но чего бы не сделал я, — говорил он, глядя на нее почти пьяными глазами, — чтоб целовать эту ладонь иначе… вот так…

Он хотел опять целовать, она отняла руку.

— Не смею сомневаться, что вам немного… жаль меня, — продолжал он, — но как бы хотелось знать, отчего? Зачем бы вы желали иногда видеть меня?

— Чтоб слышать вас. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете верно там, где я понимаю, но не могу сама сказать, не умею…

— А, сознались наконец! Так вот зачем я вам нужен: вы заглядываете в меня, как в арабский словарь… Незавидная роль! — прибавил он со вздохом.

— Но вы сами, cousin, сейчас сказали, что не надеетесь быть генералом и что всякий, просто за внимание мое, готов был… поползти куда-то… Я не требую этого, но если вы мне дадите немного…

— Дружбы? — спросил Райский.

— Да.

— Ну, так, я знал. Ох эта дружба!

— Нет, cousin, я вижу, что вы не отказались от «генеральского чина»…

— Нет, нет, кузина, я не надеюсь и оттого, повторяю, еду. Но вы сказали мне, что вам скучно без меня, что меня вам будет недоставать, и я, как утопающий, хватаюсь за соломинку.

— И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вам

не безделицу: дружбу. Если для одного ласкового взгляда или слова можно ползти такую даль, на край света, то для дружбы, которой я никому легко не даю…

— Дружба хороша, кузина, когда она — шаг к любви, или, иначе — она просто нелепость, даже иногда оскорбление.

— Как это?

— Так. Вы мне дадите право входить без доклада к себе, и то не всегда: вот сегодня рассердились, будете гонять меня по городу с поручениями — это привилегия кузеней, даже советоваться со мной, если у меня есть вкус, как одеться; удостоите искреннего отзыва о ваших родных, знакомых и, наконец, дойдет до оскорбления… до того, что поверите мне сердечный секрет, когда влюбитесь…

У Софьи в лице показалось принуждение; она даже притворно зевнула в сторону. Он заметил.

— Не влюбились ли вы уже? — вдруг спросил он.

— А что?

— Что значит это смущение?

— Смущение? Я смутилась? — говорила она и поглядела в зеркало. — Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить

о любви. Прошу вас, cousin, — вдруг серьезно прибавила она, — помнить уговор. Не будем, пожалуйста, говорить об этом.

Он удивился этой просьбе и задумался. Она и прежде просила, но шутя, с улыбкой. Самолюбие шепнуло было ему, что он постучался в ее сердце недаром, что оно отзывается, что смущение и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви — есть боязнь, осторожность.

Потом он отбросил эту мысль и сам покраснел от сознания, что он фат, и искал других причин, а сердце ноет, мучается, терзается, глаза впиваются в нее с вопросами, слова кипят на языке и не сходят. Его уже гложет ревность.

«Что ж это? Ужели я не шутя влюблен? — думал он. — Нет, нет! И что мне за дело? ведь я не для себя хлопотал, а для нее же… для развития… “для общества”. Еще последнее усилие!..»

— Последний вопрос, кузина, — сказал он вслух, — если б… — И задумался: вопрос был решителен, — если б я не принял дружбы, которую вы подносите мне, как похвальный лист за благонравие, а задался бы задачей «быть генералом»: что б вы сказали? мог ли бы, могу ли?.. «Она не кокетка, она скажет истину!» — подумал он.

— Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Он дрожа выговаривал последние слова и боялся взглянуть на нее. Она засмеялась.

— У вас нет никаких надежд, cousin, — произнесла она равнодушно.

Он сделал нетерпеливое движение, как будто сомнение в этом было невозможно.

— Нет, и не может быть! — повторила она решительно. — Вы всё преувеличиваете: простая любезность вам кажется каким-то entraînement[38], в обыкновенном внимании вы видите страсть и сами в каком-то бреду. Вы выходите из роли кузеня и друга — позвольте напомнить вам.

— Так вы смешиваете меня с светскими любезниками, волокитами?

— Fi, quelles expressions![39]

— Да, вот с этими, что порхают по гостиным, по ложам, с псевдо-нежными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученным остроумием. Нет, кузина, если я говорю о себе, то говорю, что во мне есть; язык мой верно переводит голос сердца. Вот год я у вас: ухожу и уношу мысленно вас с собой, и что чувствую, то сумею выразить.

— Зачем мне это? — вдруг спросила она.

---

[38] Примечания: 38
увлечением (*фр.*).

[39] Примечания: 39
— Фи, что за выражения! (*фр.*)

Он замолчал, озадаченный этим «зачем». Тут был весь ответ на его вопрос о надеждах на «генеральство». И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а он спрашивал!

— Вы… не любите меня, кузина? — спросил он тихо и вкрадчиво.

— Очень! — весело отвечала она.

— Не шутите, ради Бога! — раздражительно сказал он.

— Даю вам слово, что не шучу.

«Спросить, влюблены ли вы в меня — глупо, так глупо, — думал он, — что лучше уеду, ничего не узнав, а ни за что не спрошу… Вот поди ж ты: “выше мира и страстей”, а хитрит, вертится и ускользает, как любая кокетка! Но я узнаю! брякну неожиданно, что у меня бродит в душе…»

Во время этого мысленного монолога она с лукавой улыбкой смотрела на него и, кажется, не чужда была удовольствия помучить его и помучила бы, если б… он не «брякнул» неожиданным вопросом:

— Вы влюблены в этого итальянца, в графа Милари — да? — спросил он и погрузил в нее взгляд и чувствовал сам, что бледнеет, что одним мигом как будто взвалил тысячи пуд себе на плечи.

Улыбка, дружеский тон, свободная поза — всё

исчезло в ней от его вопроса. Перед ним холодная, суровая, чужая женщина. Она была так близка к нему, а теперь казалась где-то далеко, на высоте, не родня и не друг ему.

«Должно быть, это правда: я угадал!» — подумал он и разбирал, отчего угадал он, что подало повод ему к догадке? Он видел один раз Милари у ней, а только когда заговорил о нем — у ней пробежала какая-то тень по лицу, да пересела она спиной к свету.

«Боже мой! зачем я всё вижу и знаю, где другие слепы и счастливы? Зачем для меня довольно шороха, ветерка, самого молчания, чтоб знать? Проклятое чутье! Вот теперь яд прососался в сердце, а из каких благ?»

Она молчала.

— Вы обиделись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что может произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обиделись.

— Позвольте узнать.

— Потому, что это правда.

Она сделала движение и поглядела на него с

изумлением, как будто говоря: «Вы еще настаиваете!»

— И этот взгляд не ваш, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себе много чести, мсьё Райский!

Он засмеялся, потом вздохнул.

— Если это неправда, то… что обидного в моей догадке? — сказал он, — а если правда, то опять-таки… что обидного в этой правде? Подумайте над этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотели подавить достоинством вашего бедного cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это так, и всё, что вы делаете в эту минуту, выражает не оскорбление, а досаду, что у вас похитили тайну… И самое оскорбление это — только маска.

— Какая тайна? Что вы! — говорила она, возвышая голос и делая большие глаза. — Вы употребляете во зло права кузеня — вот в чем и вся тайна. А я неосторожна тем, что принимаю вас во всякое время, без тетушек и папá…

— Кузина, бросьте этот тон! — начал он дружески, горячо и искренно, так что она почти смягчилась и мало-помалу приняла прежнюю,

свободную, доверчивую позу, как будто видела, что тайна ее попала не в дурные руки, если только тут была тайна.

— Вот что значит Олимп! — продолжал он. — Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положение, взглянули бы в мое сердце и поступили бы не сурово, а с пощадой, даже если б я был вам совсем чужой. А я вам близок. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня… Но женщина бывает сострадательна, нежна, честна, справедлива только с тем, кого любит, и безжалостна ко всему прочему. У злодея под ножом скорее допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

— К чему вы это мне говорите? Со мной это вовсе не у места! А я еще просила вас оставить разговор о любви, о страстях…

— Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но ужели мое дружеское прикосновение так грубо?.. Ужели я не стою доверенности?..

— Какой доверенности? Какие тайны? Ради Бога, cousin… — говорила она, глядя в беспокойстве по сторонам, как будто хотела уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

— Пусть я смешон с своими надеждами на

«генеральство», — продолжал он, не слушая ее, горячо и нежно, — но, однако ж, чего-нибудь да стою я в ваших глазах — не правда ли? Скажу больше: около вас, во всей вашей жизни, никогда не было и нет, может быть, и не будет человека ближе к вам. И вы сами давеча сказали то же, хотя не так ясно. У вас не было человека настоящего, живого, который бы так коротко знал людей и сердце и объяснял бы вам вас самих. Вы во мне читаете свои мысли, поверяете чувства. Я — не тетушка, не папá, не предок ваш, не муж — никто из них не знал жизни: все они на ходулях, все замкнулись в кружок старых, скудных понятий, условного воспитания, так называемого «тона», и нищенски пробавляются ими. Я живой, свежий человек; я приношу к вам сюда незнакомые здесь понятия и чувства, я новость для вас; я занимаю… виноват… занимал вас… Правда ли это, кузина?

Она молчала.

— Теперь, конечно, другое дело: теперь вы рады, что я еду, — продолжал он, — все прочие могут остаться; вам нужно, чтоб я один уехал…

— Почему?

— Потому, что один я лишний в эту минуту, один я прочел вашу тайну в зародыше. Но… если вы мне вверите ее, тогда я, после *него*, буду доро-

же для вас всех…

Она сделала движение, встала, прошлась по комнате, оглядывая стены, портреты, глядя далеко в анфиладу комнат и как будто не видя выхода из этого положения, и с нетерпением села в кресло.

— Но… — начал он опять нежным, дружеским голосом, — я вас люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владеете мной невольно и бессознательно. Вы можете сделать из меня всё — вы это знаете…

— Послушайте… Вы хотите уверить меня, что у вас… что-то вроде страсти, — сказала она, делая как будто уступку ему, чтоб отвлечь, затушевать его настойчивый анализ, — смотрите, не лжете ли вы… положим — невольно? — прибавила она, видя, что он собирается разразиться каким-нибудь монологом. — Месяц-два тому назад ничего не было, были какие-то порывы — и вдруг так скоро… Вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мучения: извините, cousin, я им не верю, и оттого у меня нет и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мне придется разжаловать вас из кузеней: вы самый беспокойный cousin и друг…

— Для страсти не нужно годов, кузина: она может зародиться в одно мгновение. Но я и не уверяю вас в страсти, — уныло прибавил он, — а что я взволнован теперь — так я не лгу. Не говорю опять, что я умру с отчаяния, что это вопрос моей жизни — нет; вы мне ничего не дали, и нечего вам отнять у меня, кроме надежд, которые я сам возбудил в себе… Это ощущение: оно, конечно, скоро пройдет, я знаю. Впечатление, за недостатком пищи, не упрочилось — и слава Богу!

Он вздохнул.

— Чего же вы хотите? — спросила она.

— Меня оскорбляет ваш ужас, что я заглянул к вам в сердце…

— Там ничего нет, — монотонно сказала она.

— Есть, есть, и мне тяжело, что я не выиграл даже этого доверия. Вы боитесь, что я не сумею обойтись с вашей тайной. Мне больно, что вас пугает и стыдит мой взгляд… кузина, кузина! А ведь это мое дело, моя заслуга, ведь я виноват… что вывел вас из темноты и слепоты, что этот Милари…

Она слушала довольно спокойно, но при последнем слове быстро встала.

— Если вы, cousin, дорожите немного моей дружбой, — заговорила она, и голос у ней даже

немного изменился, как будто дрожал, — и если вам что-нибудь значит быть здесь… видеть меня… то… не произносите имени!

«Да, это правда, я попал: она любит его!» — решил Райский, и ему стало уже легче, боль замирала от безнадежности, оттого, что вопрос был решен и тайна объяснилась. Он уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно.

— Не бойтесь, кузина, ради Бога, не бойтесь, — говорил он. — Хороша дружба! Бояться, как шпиона, стыдиться…

— Мне бояться и стыдиться некого и нечего!

— Как нечего, а света, а их! — указал он на портреты предков. — Вон как они вытаращили глаза! Но разве я — они? Разве я — свет?

— И правду сказать, есть чего бояться предков! — заметила совершенно свободно и покойно Софья, — если только они слышат и видят вас! Чего не было сегодня! И упреки, и déclaration[40], и ревность… Я думала, что это возможно только на сцене… Ах, cousin… — с веселым вздохом заключила она, впадая в свой слегка насмешливый и покойный тон.

---

[40] Примечания: 40
признание в любви (*фр.*).

В самом деле, ей нечего было ужасаться и стыдиться: граф Милари был у ней раз шесть, всегда при других, пел, слушал ее игру и разговор, никогда не выходил из пределов обыкновенной учтивости, едва заметного благоухания тонкой и покорной лести.

Другая бы сама бойко произносила имя красавца Милари, тщеславилась бы его вниманием, немного бы пококетничала с ним, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, как зажать рот Райскому, когда он так невпопад догадался о «тайне».

Никакой тайны нет, и если она приняла эту догадку неравнодушно, так, вероятно, затем, чтоб истребить и в нем даже тень подозрения.

Она влюблена — какая нелепость, Боже сохрани! Этому никто и не поверит. Она по-прежнему смело подняла голову и покойно глядела на него.

— Прощайте, кузина! — сказал он вяло.

— Разве вы не у нас сегодня? — отвечала она ласково. — Когда вы едете?

«Лесть, хитрость: золотит пилюлю!» — думал Райский.

— Зачем я вам? — отвечал он вопросом.

— Вижу, что дружба моя для вас — ничто! — сказала она.

— Ах, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

— Слава Богу, мне еще нечего бояться.

— *Еще* нечего? А если будет что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего доверия?

— Но вы говорите, что это оскорбительно: после этого я боялась бы…

— Не бойтесь! Я сказал, что надежды могли бы разыграться от взаимности, а ее ведь… нет? — робко спросил он и пытливо взглянул на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсем испарилась из него, и тут же мысленно назвал себя дураком.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

— И… быть не может? — всё еще пытливо спрашивал он.

Она засмеялась.

— Вы неисправимы, cousin, — сказала она. — Всякую другую вы поневоле заставите кокетничать с вами. Но я не хочу и прямо скажу вам: нет.

— Следовательно, вам и бояться нечего довериться мне! — с унынием договорил он.

— Parole d'honneur[41], мне нечего вверять.

— Ах есть, кузина!

— Что же такое хотите вы, чтоб я вверила вам, dites positivement[42].

— Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемену, с тех пор как этот Милари…

Она сделала движение, и лицо опять менялось у нее из дружеского на принужденное и холодное.

— Нет, нет, pardon — я не назову его… с тех пор, хочу я сказать, как *он* появился, стал ездить в дом…

— Послушайте, cousin… — начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, по-видимому, продолжать, — положим, если б… enfin si c'était vrai[43] — это быть не может, — скороговоркой, будто в скобках, прибавила она, — но что… вам… за дело, после того как…

Он вспыхнул:

— Что за дело! — вдруг горячо перебил он, делая большие глаза. — Что за дело, кузина! Вы

---

[41] Примечания: 41
— Честное слово (*фр.*).

[42] Примечания: 42
скажите прямо (*фр.*).

[43] Примечания: 43
словом, если б это была правда (*фр.*).

снизойдете до какого-нибудь parvenu[44], до какого-то Милари, итальянца, вы, Пахотина, блеск, гордость, перл нашего общества! Вы… вы! — с изумлением, почти с ужасом повторял он.

А она с изумлением смотрела на него, как он весь внезапно вспыхнул, какие яростные взгляды метал на нее.

— Но он, во-первых, граф… а не parvenu… — сказала она.

— Купленный или украденный титул! — возражал он в пылу. — Это один из тех пройдох, что, по словам Лермонтова, приезжают сюда «на ловлю счастья и чинов», втираются в большие дома, ищут протекции женщин, протираются в службу и потом делаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долг остеречь вас! Я вам родственник!

Всё это он говорил чуть не с пеной у рта.

— Никто ничего подобного не заметил за ним! — с возрастающим изумлением говорила она, — и если папá и mes tantes принимают его…

— Папá и mes tantes! — с пренебрежением повторил он, — много знают они: послушайте их!

— Кого же слушать: вас?

Она улыбнулась.

---

[44] Примечания: 44
выскочки (*фр.*).

— Да, кузина, и я вам говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: может быть, под этой интересной бледностью, мягкими кошачьими манерами кроется бесстыдство, алчность и бог знает что! Он компрометирует вас…

— Но он везде принят, он очень скромен, деликатен, прекрасно воспитан…

— Всё это вы видите в своем воображении, кузина, — поверьте!

— Но вы его не знаете, cousin! — возражала она с полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

— Довольно мне одной минуты было, чтоб разглядеть, что это один из тех chevaliers d'industrie[45], которые сотнями бегут с голода из Италии, чтобы поживиться…

— Он артист, — защищала она, — и если он не на сцене, так потому, что он граф и богат… c'est un homme distingué[46].

— А! вы защищаете его — поздравляю! Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа! Кузина! кузина! на ком вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради Бога! Вам ли, с вашими высоки-

---

[45] Примечания: 45
мошенников, проходимцев (*фр.*).

[46] Примечания: 46
это достойный человек (*фр.*).

ми понятиями, снизойти до какого-то безвестного выходца, может быть, самозванца-графа…

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страх и осторожность.

— А Ельнин? — вдруг спросила она.

— Что Ельнин? — спросил и он, внезапно остановленный ею. — Ельнин — Ельнин… — замялся он, — это детская шалость, институтское обожание. А здесь страсть, горячая, опасная!

— Что же: вы бредили страстью для меня — ну вот я страстно влюблена, — смеялась она. — Разве мне не всё равно идти туда (она показала на улицу), что с Ельниным, что с графом? Ведь там я должна «увидеть счастье, упиться им»!

Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением.

«Уф!» — говорил он, мучаясь, волнуясь, не оттого, что его поймали и уличили в противоречии самому себе, не оттого, что у него ускользала красавица Софья, а от подозрения только, что счастье быть любимым выпало другому. Не будь другого, он бы покойно покорился своей судьбе.

А она смотрела на него с торжеством, так ясно, покойно. Она была права, а он запутался.

— Что же, cousin, чему я должна верить: им

ли? — она указала на предков, — или, бросив всё, не слушая никого, вмешаться в толпу и жить «новою жизнью»?

— И тут вы остались верны себе! — возразил он вдруг с радостью, хватаясь за соломинку, — завет предков висит над вами: ваш выбор пал все-таки на графа! Ха-ха-ха! — судорожно засмеялся он. — А остановили ли бы вы внимание на нем, если б он был не граф? Делайте, как хотите! — с досадой махнул он рукой. — Ведь… «что мне за дело?» — возразил он ее словами. — Я вижу, что он, этот homme distingué, изящным разговором, полным ума, новизны, какого-то трепета, уже тронул, пошевелил и… и… да, да?

Он принужденно засмеялся.

— Что ж, прекрасно! Италия, небо, солнце и любовь… — говорил он, качая в волнении ногой.

— Да, помните, в вашей программе было и это, — заметила она, — вы посылали меня в чужие края, даже в чухонскую деревню, и там, «наедине с природой»… По вашим словам, я должна быть теперь счастлива? — дразнила она его. — Ах, cousin! — прибавила она и засмеялась, потом вдруг сдержала смех.

Он исподлобья смотрел на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность

начала брать верх.

— Успокойтесь: ничего этого нет, — сказала она кротко, — и мне остается только поблагодарить вас за этот новый урок, за предостережение. Но я в затруднении теперь, чему следовать: тогда вы толкали туда, на улицу — теперь… боитесь за меня. Что же мне, бедной, делать?.. — с комическим послушанием спросила она.

Оба замолчали.

— Я возьму портрет с собой, — вдруг сказал он.

— Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок.

— Нет, я переделаю: я сделаю из него… грешницу…

Она опять засмеялась.

— Делайте, что хотите, cousin, Бог с вами!

— И с вами тоже!.. Но… кузина…

Он остановился: у него вдруг отошло от сердца. Он засмеялся добродушно, не то над ней, не то над собой.

— Но… но… ужели мы так расстанемся: холодно, с досадой, не друзьями?.. — вдруг прорвалось у него, и досада миновала. Он, встав, протянул к ней руки, и глаза опять с упоением смотрели на нее. Ему не то чтобы хотелось дружбы, не то чтобы сердце развернулось к прежним, добрым

чувствам. А зародыш впечатления еще не совсем угас, еще искра тлела, и его влекло к ней, пока он ее видел. В голосе у него всё еще слышалась робкая дрожь. Говорила вместе и доброта, прирожденная его душе, где не упрочивались никогда дурные чувства.

— Друзьями! Как вы поступили с моей дружбой?.. — упрекнула она.

— Дайте, возвратите ее, кузина, — умолял он, — простите немножко… влюбленного в вас cousin, и прощайте!

Он поцеловал у ней руку.

— Разве я не увижу вас больше? — живо спросила она.

— За этот вопрос дайте еще руку. Я опять прежний Райский и опять говорю вам: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вам говорил вот здесь… Только не забывайте до конца Райского. Но зачем вы полюбили… графа? — с улыбкой, тихо прибавил он.

— Вы опять свое «любите»!..

— Полноте притворяться, полноте! Бог с вами, кузина: что мне за дело? Я закрываю глаза и уши, я слеп, глух и нем, — говорил он, закрывая глаза и уши. — Но если, — вдруг прибавил он, глядя прямо на нее, — вы почувствуете всё, что я говорил,

предсказывал, что, может быть, вызвал в вас… на свою шею — скажете ли вы мне?.. я стою этого.

— Вы напрашиваетесь на «оскорбление»?

— Нужды нет, я буду героем, рыцарем дружбы, первым из кузеней! Подумав, я нахожу, что дружба кузеней и кузин очень приятная дружба, и принимаю вашу.

— A la bonne heure![47] — сказала она, протягивая ему руку, — и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вам одним или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будет и быть не может! — торопливо добавила она. — Довольно, cousin, вон карета подъехала: это тетушки.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла им навстречу.

— А будете отвечать мне на письма? — спросил он, идучи за ней.

— С удовольствием: обо всем, кроме… любви!

«Неисправима! — подумал он, — но посмотрим, что будет!»

Он шел тихий, задумчивый, с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя. В нем постепенно гасли боли корыстной любви и печали.

---

[47] Примечания: 47
— В добрый час! (*фр.*).

Не стало страсти, не стало как будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшений; исчезли портреты предков, тетки, не было и ненавистного Милари.

Перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то, будто античной, нетленной женской фигуры. Снилась одна только творческая мечта, развивалась грандиозной картиной, охватывала его всё более и более.

Он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал видение, боялся дохнуть.

Женская фигура, с лицом Софьи, рисовалась ему белой, холодной статуей, где-то в пустыне, под ясным, будто лунным, небом, но без луны; в свете, но не солнечном, среди сухих, нагих скал, с мертвыми деревьями, с нетекущими водами, с странным молчанием. Она, обратив каменное лицо к небу, положив руки на колени, полуоткрыв уста, кажется, жаждала пробуждения.

И вдруг из-за скал мелькнул яркий свет, задрожали листы на деревьях, тихо зажурчали струи вод. Кто-то встрепенулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу; кто-то вздохнул в воздухе — и воздух заструился, и луч озолотил бледный лоб статуи; веки медленно открылись, и искра пробежала

по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи.

Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох — и статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг…

И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась в пробужденное создание…

Члены стали жизненны, телесны; статуя шевелилась, широко глядела лучистыми глазами вокруг, чего-то просила, ждала, о чем-то начала тосковать. Воздух наполнился теплом; над головой распростерлись ветви; у ног явились цветы…

Райский всё шел тихо, глядя душой в этот сон: статуя и всё кругом постепенно оживало, делалось ярче… И когда он дошел до дома, созданная им женщина мало-помалу опять обращалась в Софью.

Пустыня исчезла; Софья, в мечте его, была уже опять в своем кабинете, затянутая в свое платье, за сонатой Бетховена, и в трепете слушала шепот бледного, страстного Милари.

Но ни ревности, ни боли он не чувствовал и только трепетал от красоты как будто перерож-

денной, новой для него женщины. Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то и другое в образы и звуки. В нем умер любовник и ожил бескорыстный артист.

«Да, артист не должен пускать корней и привязываться безвозвратно, — мечтал он в забытьи, как в бреду. — Пусть он любит, страдает, платит все человеческие дани… но пусть никогда не упадет под бременем их, но расторгнет эти узы, встанет бодр, бесстрастен, силен и творит: и пустыню, и каменья, и наполнит их жизнью и покажет людям — как они живут, любят, страдают, блаженствуют и умирают… Зачем художник послан в мир!..»

Райский тщательно внес в программу будущего романа и это видение, как прежде внес разговоры с Софьей и эпизод о Наташе и многое другое, что должно поступить в лабораторию его фантазии.

«Где же тут роман? — печально думал он, — нет его! Из всего этого материала может выйти разве пролог к роману: а самый роман — впереди, или вовсе не будет его! Какой роман найду я там, в глуши, в деревне! Идиллию, пожалуй, между курами и петухами, а не роман у живых людей, с огнем, движением, страстью!»

Однако он прежде всего погрузил на дно чемодана весь свой литературный материал, потом в особый ящик поместил эскизы карандашом и кистью пейзажей, портретов и т. п., захватил краски, кисти, палитру, чтобы устроить в деревне небольшую мастерскую, на случай, если роман не пойдет на лад.

Потом уже уложил запас белья, платья и некоторые подарки бабушке, сестрам и замшевую фуфайку с панталонами Титу Никонычу, по поручению Татьяны Марковны.

— Ну, теперь — dahin! Посмотрим, что будет! — задумчиво говорил он, уезжая из Петербурга.

Часть вторая

I

Тихой, сонной рысью пробирался Райский, в рогожной перекладной кибитке, на тройке тощих лошадей, по переулкам, к своей усадьбе.

Он не без смущения завидел дымок, вьющийся из труб родной кровли, раннюю, нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют, черепичную кровлю старого дома и блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, с берега, повеяла на него струя свежего, здорового воздуха, каким он давно не дышал.

Вот ближе, ближе: вон запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи лип и акаций и старый вяз, левее — яблони, вишни, груши.

Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята; вон скворечники зыблются на тонких жердях; по кровле нового дома толкутся голуби, поверх реют ласточки.

Вон за усадьбой, со стороны деревни, целая луговина покрыта разостланными на солнце полотнами.

Вон баба катит бочонок по двору, кучер рубит дрова, другой какой-то садится в телегу, собира-

ется ехать со двора: всё незнакомые ему люди. А вон Яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый: как постарел!

Вон другой знакомый, Егор, зубоскал, напрасно в третий раз силится вскочить верхом на лошадь, та не дается; горничные, в свою очередь, скалят над ним зубы.

Он едва узнал Егора: оставил его мальчишкой восемнадцати лет. Теперь он возмужал: усы до плеч и всё тот же хохол на лбу, тот же нахальный взгляд и вечно оскаленные зубы!

Вон, кажется, еще знакомое лицо: как будто Марина или Федосья — что-то в этом роде: он смутно припомнил молодую, лет пятнадцати девушку, похожую на эту самую, которая теперь шла через двор.

И всё успел зорким взглядом окинуть Райский, пробираясь пешком подле экипажа, мимо решетчатого забора, отделяющего дом, двор, цветник и сад от проезжей дороги.

Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении.

На крыльце, вроде веранды, уставленной большими кадками с лимонными, померанцевыми

деревьями, кактусами, алоэ и разными цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец, воробьи и галки.

— Цып-цып, ти-ти-ти! гуль! гуль-гуль, — ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку.

Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила воровски клюнуть пшена, девушка топала ногой. «Прочь, прочь; ты зачем?» — кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна.

— Ах ты, жадный! — говорила девушка, замахиваясь на большого петуха, — никому не даешь — кому ни брошу, везде схватит!

Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц и самую девушку. Райский успел раз-

глядеть большие темно-серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светло-русую, вдвое сложенную на голове косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе.

На шее не было ни косынки, ни воротничка: ничто не закрывало белой шеи с легкой тенью загара. Когда девушка замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы, от этого движения, упала на шею и спину, но она, не обращая внимания, продолжала бросать зерна.

Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро, наблюдая, всем ли поровну достается, не подскакивает ли галка, не набралось ли много воробьев.

— Гусенка не видала? — спросила она у девочки грудным, звонким голосом.

— Нет еще, барышня, — сказала та, — да его бы выкинуть кошкам. Афимья говорит, что околеет.

— Нет, нет, я сама посмотрю, — перебила девушка, — у Афимьи никакой жалости нет: она живого готова бросить.

Райский, не шевелясь, смотрел, никем не замечаемый, на всю эту сцену, на девушку, на птиц, на девчонку.

«Так и есть: идиллия! я знал! Это должно быть

троюродная сестрица, — думал он, — какая она миленькая! Какая простота, какая прелесть! Но которая: Верочка или Марфинька?»

Он, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой.

— Сестрица! — вскрикнул он, протягивая руки.

В одну минуту, как будто по волшебству, всё исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями, точно ладонями, врассыпную кружились над его головой, как слепые.

Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и пробовали с испугу скакать на стену. Индейский петух, подняв лапу и озираясь вокруг, неистово выругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок.

Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место: перед ним на земле были только одни рассыпанные зерна.

Но в доме уже послышался шум, говор, движение, звон ключей и голос бабушки: «Где он? где?»

Она идет, торопится, лицо у ней сияет, объятия

растворяются. Она прижала его к себе, и около губ ее улыбка образовала лучи.

Она хотя постарела, но постарела ровною, здоровою старостью: ни болезненных пятен, ни глубоких, нависших над глазами и ртом морщин, ни тусклого, скорбного взгляда!

Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо.

Голос у ней не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет всё лицо, не только лицо, всю ее фигуру.

— Борюшка! друг ты мой!

Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. В этих объятиях, в голосе, в этой вдруг охватившей ее радости — точно как будто обдало ее солнечное сияние — было столько нежности, любви, теплоты!

Он почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету, в холостой, бесприютной жизни своей, искал привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными

плодами, тогда как здесь сама природа уготовила ему теплый угол, симпатии и счастье.

Теперь он готов был влюбиться в бабушку. Он так и вцепился в нее: целовал ее в губы, в плечи, целовал ее седые волосы, руку. Она ему казалась совсем другой теперь, нежели пятнадцать, шестнадцать лет назад. У ней не было тогда такого значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового.

Он удивлялся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер.

— Где ты пропадал? Ведь я тебя целую неделю жду: спроси Марфиньку — мы не спали до полуночи, я глаза проглядела. Марфинька испугалась, как увидела тебя, и меня испугала — точно сумасшедшая прибежала. Марфинька! где ты? Поди сюда.

— Это я виноват: я перепугал ее, — сказал Райский.

— А она бежать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстречу, на кухню бегала. Ведь каждый день твои любимые блюда готовим. Я, Василиса и Яков собираемся по утрам на совет и всё припоминаем твои привычки. Дру-

гие всё почти новые люди, а эти трое, да Прохор, да Маришка, да разве Улита и Терентий помнят тебя. Всё придумываем, как тебя устроить, чем кормить, как укладывать спать, на чем тебе ездить.

А всех вострее Егорка: он напоминал больше всех: я его за это в твои камердинеры пожаловала… Да что это я болтаю: соловья баснями не кормят! Василиса! Василиса! Что ж мы сидим: скорей вели собирать на стол, до обеда долго, он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань! — И сама засмеялась. — Дай же взглянуть на тебя.

Бабушка поглядела на него пристально, подведя его к свету.

— Какой ты нехороший стал… — сказала она, оглядывая его, — нет, ничего, живет! загорел только! Усы тебе к лицу. Зачем бороду отпускаешь! Обрей, Борюшка, я не люблю… Э-э! Кое-где седые волоски: что это, батюшка мой, рано стареться начал!

— Это не от старости, бабушка!

— Отчего же? Здоров ли ты?

— Здоров, живу — поговорим о другом. Вот вы, слава Богу, такая же…

— Какая такая?

— Не стареетесь: такая же красавица! Знаете: я не видал такой старческой красоты никогда…

— Спасибо за комплимент, внучек: давно я не слыхала — какая тут красота! Вон на кого полюбуйся — на сестер! Скажу тебе на ухо, — шепотом прибавила она, — таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая… разве Настенька Мамыкина поспорит: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка…

— Ну, об этом после, а теперь завтракать скорей и отдохни с дороги…

— Где же другая сестра? — спросил Райский, оглядываясь.

— Гостит у попадьи за Волгой, — сказала бабушка. — Такой грех: та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадь…

— Нет, нет, — удержал ее Райский, — зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да как это ты подкрался: караулили, ждали и всё даром! — говорила Татьяна Марковна. — Мужики караулили у меня по ночам. Вот и теперь послала было Егорку верхом на большую дорогу, не увидит ли тебя? А Савелья в город — узнать. А

ты опять — как тогда!

Да дайте же завтракать! Что это не дождешься? Помещик приехал в свое родовое имение, а ничего не готово: точно на станции! Что прежде готово, то и подавайте.

— Бабушка! Ничего не надо. Я сыт по горло. На одной станции я пил чай, на другой молоко, на третьей попал на крестьянскую свадьбу — меня вином потчевали, ел мед, пряники…

— Ты ехал к себе, в бабушкино гнездо, и не постыдился есть всякую дрянь. С утра пряники! Вот бы Марфиньку туда: и до свадьбы и до пряников охотница. Да войди сюда, не дичись! — сказала она, обращаясь к двери. — Стыдится, что ты застал ее в утреннем неглиже. Выйди, это не чужой — брат.

Принесли чай, кофе, наконец, завтрак. Как ни отговаривался Райский, но должен был приняться за всё: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

— Я не хочу! — отговаривался он.

— Как с дороги не поесть: это уж обычай такой! — твердила она свое. — Вот бульону, вот цыпленка… Еще пирог есть…

— Не хочу, бабушка, — говорил он, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и он ел и бульон,

и цыпленка.

— Теперь индейку, — продолжала она, — принеси, Василиса, барбарису моченого.

— Как можно индейку! — говорил он, принимаясь и за индейку.

— Сыт ли, дружок? — спрашивала она. — Доволен ли?

— Еще бы! Чего же еще? Разве пирога… Там пирог какой-то, говорили вы…

— Да, пирог забыли, пирог!

Он поел и пирога — всё из «обычая».

— Что же ты, Марфинька, давай свое угощенье: вот приехал брат! Выходи же.

Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, с стыдливою неловкостью, с опущенными глазами, краснея, вышла Марфинька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего.

Марфинька застенчиво стояла, с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложенных косах плотно лежали на голове; на ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой.

Райский вскочил, бросил салфетку и остано-

вился перед нею, любуясь ею.

— Какая прелесть! — весело сказал он, — и это моя сестра Марфа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенок жив?

Марфинька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол.

— Вы оба с ума сошли, — сказала бабушка, — разве этак здороваются?

Райский хотел поцеловать у Марфиньки руку.

— Марфа Васильевна… — сказал он.

— Это еще что за «Васильевна» такая? Ты разве разлюбил ее? Марфинька — а не Марфа Васильевна! Этак ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь! Поцелуйтесь: вы брат и сестра.

— Я не хочу, бабушка: вон он дразнит меня гусенком… Подсматривать не годится!.. — сказала она строго.

Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию, и она одолела смущение и вдруг решительно отвечала на его поцелуй, и вся робость слетела с лица.

Видно было, что еще минута, одно слово — и из-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смех. Она и так с трудом сдерживала себя — и от этого была неловка.

— Марфинька! помните, помнишь… как мы тут

бегали, рисовали… как ты плакала?..

— Нет… ах, помню… как во сне… Бабушка, я помню или нет?..

— Где ей помнить: ей и пяти лет не было…

— Помню, бабушка, ей-богу, помню, как во сне…

— Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райский коснулся старых воспоминаний, Марфинька исчезла и скоро воротилась с тетрадями, рисунками, игрушками, подошла к нему ласково и доверчиво заговорила, потом села так близко, как не села бы чопорная девушка. Колени их почти касались между собою, но она не замечала этого.

— Вот видите, братец, — живо заговорила она, весело бегая глазами по его глазам, усам, бороде, оглядывая руки, платье, даже взглянув на сапоги, — видите, какая бабушка, говорит, что я не помню, — а я помню, вот, право, помню, как вы здесь рисовали: я тогда у вас на коленях сидела… Бабушка припрятала все ваши рисунки, портреты, тетради, все вещи — и берегла там, вот в этой темной комнате, где у ней хранится серебро, брильянты, кружева… Она недавно вынула, как только вы написали, что приедете, и отдала мне.

Вот мой портрет — какая я была смешная! а вот Верочка. А вот бабушкин портрет, вот Василисин. Вот Верочкино рисованье. А помните, как вы меня несли через воду одной рукой, а Верочку посадили на плечо?

— Ты и это помнишь? — спросила, вслушавшись, бабушка. — Какая хвастунья — не стыдно тебе! Это недавно Верочка рассказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнит кое-что, и то мало, чуть-чуть…

— Вот теперь как я рисую! — сказала Марфинька, показывая нарисованный букет цветов.

— Это очень хорошо — браво, сестрица! с натуры?

— С натуры. Я из воску умею лепить цветы!

— А музыкой занимаешься?

— Да, играю на фортепиано.

— А Верочка: рисует, играет?

Марфинька отрицательно качала головой.

— Нет, она не любит, — сказала она.

— Что же она, рукодельем занимается?

Марфинька опять покачала головой.

— Читать любит? — допытывался Райский.

— Да, читает, только никогда не скажет что, и книги не покажет, не скажет даже, откуда достала.

— Та совсем дикарка — странная такая у меня. Бог знает, в кого уродилась! — серьезно заметила Татьяна Марковна и вздохнула. — Не надоедай же пустяками брату, — обратилась она к Марфиньке, — он устал с дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше нам поговорить о серьезном, об имении.

Всё время, пока Борис занят был с Марфинькой, бабушка задумчиво глядела на него, опять припоминала в нем черты матери, но заметила и перемены: убегающую молодость, признаки зрелости, ранние морщины и странный, непонятный ей взгляд, «мудреное» выражение. Прежде, бывало, она так и читала у него на лице, а теперь там было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и светло на душе. Его осенила тихая задумчивость, навеянная этими картинами и этой встречей.

«Пусть так и останется: светло и просто! — пожелал он мысленно. — Постараюсь ослепнуть умом, хоть на каникулы, и быть счастливым! Только ощущать жизнь, а не смотреть в нее или смотреть затем только, чтобы срисовывать сюжеты, не дотрогиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом… А то горе! Будем же смотреть,

что за сюжеты Бог дал мне? Марфинька, бабушка, Верочка — на что они годятся: в роман, в драму или только в идиллию?»

II

Он зевнул широко, и когда очнулся от задумчивости, перед ним бабушка стоит со счетами, с приходо-расходной тетрадью, с деловым выражением в лице.

— Не устал ли ты с дороги? Может быть, уснуть хочешь: вон ты зеваешь? — спросила она, — тогда оставим до утра.

— Нет, бабушка, я только и делал, что спал! Это нервическая зевота. А вы напрасно беспокоитесь: я счетов смотреть не стану…

— Как не станешь? Зачем же ты приехал, как не принять имение, не потребовать отчета?..

— Какое имение! — небрежно сказал Райский.

— Какое имение: вот посмотри, сколько тягл, земли? вот года четыре назад прикуплено, — видишь, сто двадцать четыре десятины. Вот из них под выгон отдаются…

— Право? — машинально спросил Райский, — вы прикупили?

— Не я, а ты! Не ты ли мне доверенность прислал на покупку?

— Нет, бабушка, не я. Помню, что какие-то бумаги вы присылали мне, я их передал приятелю

своему, Ивану Ивановичу, а тот…

— Ты же подписал: гляди, вот копии! — показывала она.

— Может быть, я и подписал, — сказал он, не глядя, — только не помню и не знаю что.

— О чем же ты помнишь? Ведь ты читал мои счеты, ведомости, что я посылала к тебе?

— Нет, бабушка, не читал.

— Как же, там всё показано, куда поступали твои доходы, — ты видел?

— Нет, не видал.

— Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! — отвечал он, приглядываясь из окна к знакомой ему дали, к синему небу, к меловым горам за Волгой. — Представь, Марфинька: я еще помню стихи Дмитриева, что в детстве учил:

О Волга пышна, величава,
Прости, но прежде удостой
Склонить свое вниманье к лире
Певца, незнаемого в мире, Но воспоенного тобой…

— Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный! — сказала бабушка.

— Может быть, бабушка, — равнодушно согласился он.

— Куда же ты девал ведомости об имении, что я посылала тебе? С тобой они?

Он покачал отрицательно головою.

— Где же они?

— Какие ведомости, бабушка: ей-богу, не знаю.

— Ведомости о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, об отдаче огородов… Помнишь ли, сколько за последние года дохода было? По тысяче четыреста двадцати пяти рублей — вот смотри… — Она хотела щелкнуть на счетах. — Ведь ты получал деньги? Последний раз тебе послано было 550 рублей ассигнациями: ты тогда писал, чтобы не посылать. Я и клала в приказ: там у тебя…

— Что мне до этого за дело, бабушка! — с нетерпением сказал он.

— Кому же дело? — с изумлением спросила она, — ты этак не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вот здесь отмечена всякая копейка. Гляди… — Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

— Бабушка! я рвал все счеты и эти, ей-богу, разорву, если вы будете приставать с ними ко мне.

Он взял было счеты, но она быстро вырвала их у него.

— Разорвешь: как ты смеешь? — вспыльчиво сказала она. — Рвал счеты!

Он засмеялся и внезапно обнял ее и поцеловал в губы, как, бывало, делывал мальчиком. Она вырвалась от него и вытерла рот.

— Я тут тружусь, сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку: а он рвал! То-то ты ни слова мне о деньгах, никакого приказа, распоряжения, ничего! Что же ты думал об имении?

— Ничего, бабушка. Я даже забывал, есть ли оно, нет ли. А если припоминал, так вот эти самые комнаты, потому что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня и которую я люблю… Зато только ее одну и больше никого… Да вот теперь полюблю сестер, — весело оборотился он, взяв руку Марфиньки и целуя ее, — всё полюблю здесь — до последнего котенка!

— Отроду не видывала такого человека! — сказала бабушка, сняв очки и поглядев на него. — Вот только Маркушка у нас бездомный такой…

— Какой это Маркушка? Мне что-то Леонтий писал… Что Леонтий, бабушка, как поживает? Я пойду к нему…

— Что ему делается? сидит над книгами, воззрится в одно место, и не оттащишь его! Супруга воззрится в другое место… он и не видит, что под

носом делается. Вот теперь с Маркушкой подружился: будет прок! Уж он приходил, жаловался, что тот книги, что ли, твои растаскал…

— Bu-ona sera! bu-ona sera![48] — напевал Райский из «Севильского цирюльника».

— Странный, необыкновенный ты человек! — говорила с досадой бабушка. — Зачем приехал сюда: говори толком!

— Видеть вас, пожить, отдохнуть, посмотреть на Волгу, пописать, порисовать…

— А имение? Вот тебе и работа: пиши! Коли не устал, поедем в поле: озимь посмотреть.

— После, после, бабушка.

— Ти-ти-ти, та-та-та, ля-ля-ля… — выделывал он тщательно опять мотив из «Севильского цирюльника».

— Полно тебе: ти-ти-ти, ля-ля-ля! — передразнила она. — Хочешь смотреть и принимать имение?

— Нет, бабушка, не хочу!

— Кто же будет смотреть за ним: я стара, мне не углядеть, не управиться. Я возьму да и брошу: что тогда будешь делать?..

— Ничего не буду делать; махну рукой да и

---

[48] Примечания: 48

— Добрый вечер! добрый вечер! (*ит.*)

уеду…

— Не прикажешь ли отдать в чужие руки?

— Нет, пока у вас есть охота — посмотрите, поживите.

— А когда умру?

— Тогда… оставить как есть.

— А мужики: пусть делают, что хотят?

Он кивнул головой.

— Я думал, что они и теперь делают, что хотят. Их отпустить бы на волю… — сказал он.

— На волю: около пятидесяти душ, на волю! — повторила она, — и даром, ничего с них не взять?

— Ничего!

— Чем же ты станешь жить?

— Они наймут у меня землю, будут платить мне что-нибудь.

— Что-нибудь: из милости, что вздумается! Ну, Борюшка!

Она взглянула на портрет матери Райского. Долго глядела она на ее томные глаза, на задумчивую улыбку.

— Да, — сказала потом вполголоса, — не тем будь помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себе, шептала что-то, играла на клавесине да над книжками плакала. Вот что и

вышло: петь да рисовать!

— Что же с домом делать? Куда серебро, белье, бриллианты, посуду девать? — спросила она, помолчав. — Мужикам, что ли, отдать?

— А разве у меня есть бриллианты и серебро?.. — спросил он.

— Сколько я тебе лет твержу! От матери осталось: куда оно денется? На вот, постой, я тебе реестры покажу…

— Не надо, ради Бога, не надо: мое, мое, верю. Стало быть, я вправе распорядиться этим по своему усмотрению?

— Ты хозяин, так как же не вправе? Гони нас вон: мы у тебя в гостях живем — только хлеба твоего не едим, извини… Вот, гляди, мои доходы, а вот расходы…

Она совала ему другие большие шнуровые тетради, но он устранил их рукой.

— Верю, верю, бабушка! Ну так вот что: пошлите за чиновником в палату и велите написать бумагу: дом, вещи, землю — всё уступаю я милым моим сестрам, Верочке и Марфиньке, в приданое…

Бабушка сильно нахмурилась и с нетерпением ждала конца речи, чтобы разразиться.

— Но пока вы живы, — продолжал он, — всё

должно оставаться в вашем непосредственном владении и заведовании. А мужиков отпустить на волю…

— Не бывать этому! — пылко воскликнула Бережкова. — Они не нищие, у них по пятидесяти тысяч у каждой. Да после бабушки втрое, а может быть и побольше, останется: это всё им! Не бывать, не бывать! И бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется угол, есть и клочок земли, и крышка, где спрятаться! Богач какой, гордец, в дар жалует! Не хотим, не хотим! Марфинька! Где ты? Иди сюда!

— Здесь, здесь, сейчас! — отозвался звонкий голос Марфиньки из другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула, веселая, живая, резвая, с улыбкой, и вдруг остановилась. Она глядела, то на бабушку, то на Райского, в недоумении. Бабушка сильно расходилась.

— Вот слышишь: братец тебе жаловать изволит дом, и серебро, и кружева. Ты ведь беспридан-ница, нищенка! Приседай же ниже, благодари благодетеля, поцелуй у него ручку. Что же ты?

Марфинька прижалась к печке и глядела на обоих, не зная, что ей сказать.

Бабушка отодвинула от себя все книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотреть

в окно. А Райский сел возле Марфиньки, взял ее за руку.

— Скажи, Марфинька, ты бы хотела переехать отсюда в другой дом, — спросил он, — может быть, в другой город?

— Ах, сохрани Боже: как это можно! Кто это выдумал такую нелепость!..

— Вон кто, бабушка! — сказал Райский, смеясь.

Марфинька сконфузилась, а бабушка, к счастью, не слыхала. Она сердито глядела в окно.

— Ведь у меня тут всё: сад и грядки, цветы… А птицы? Кто же будет ходить за ними? Как можно — ни за что…

— Ну, вот бабушка хочет уехать и увезти вас обеих.

— Бабушка, душенька, куда? Зачем? Что это вы затеяли? — бросилась она ласкаться к бабушке.

— Отстань! — сердито оттолкнула ее бабушка.

— Ты не хотела бы, Марфинька, не правда ли, выпорхнуть из этого гнездышка?

— Нет, ни за что! — качая головой, решительно сказала она. — Бросить цветник, мои комнатки… как это можно!

— И Верочка тоже?

— Она еще пуще меня: она ни за что не расстанется с старым домом…

— Она любит его?

— Она там и живет, там ей только и хорошо. Она умрет, если ее увезут — мы обе умрем.

— Ну так вы никогда не уедете отсюда, — прибавил Райский, — вы обе здесь выйдете замуж, ты, Марфинька, будешь жить в этом доме, а Верочка в старом.

— Слава Богу: зачем же пугаете? А вы где сами станете жить?

— Я жить не стану, а когда приеду погостить, вот как теперь, вы мне дайте комнату в мезонине — и мы будем вместе гулять, петь, рисовать цветы, кормить птиц: ти-ти-ти, цып-цып-цып! — передразнил он ее.

— Ах, вы злой! — сказала она. — Я думала, вы не успели даже разглядеть меня, а вы всё подслушали!

— Ну так это дело решенное: вы с Верочкой принимаете от меня в подарок всё это, да?

— Да… братец… — весело сказала она и потянулась было к нему.

— Не сметь! — горячо остановила бабушка, до тех пор сердито молчавшая. Марфинька села на свое место.

— Бесстыдница! — укоряла она Марфиньку. — Где ты выучилась от чужих подарки принимать?

Кажется, бабушка не тому учила; век свой чужой копейкой не поживилась… А ты не успела и двух слов сказать с ним, и уж подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Верочка ни за что бы у меня не приняла: та — гордая!

Марфинька надулась.

— Сами же давеча… сказали, — говорила она сердито, — что он нам не чужой, а брат, и велели поцеловаться с ним; а брат может всё подарить.

— Это логично! Против этого спорить нельзя, — одобрял Райский. — Итак, решено: это всё ваше, я у вас гость…

— Не бери! — повелительно сказала бабушка. — Скажи: не хочу, не надо, мы не нищие, у нас у самих есть имение.

— Не хочу, братец, не надо… — начала она с иронией повторять и засмеялась. — Не надо, так не надо! — прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

— Да уж ничего этого не будет там у вас, в бабушкином имении, — продолжал Райский. — Посмотри! Какой ковер вокруг дома! Без садика что за житье?

— Я садик возьму! — шепнула она, — только бабушке не го-во-ри-те… — досказала она движениями губ, без слов.

— А кружева, белье, серебро? — говорил он вполголоса.

— Не надо! Кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой есть… У нас всё по-деревенски.

— А эти саксонские чашки, эти пузатые чайники? Таких теперь не делают. Ужели не возьмешь?

— Чашки возьму, — шептала она, — и чайники, еще вон этот диванчик возьму и маленькие кресельца, да эту скатерть, где вышита Диана с собаками. Еще бы мне хотелось взять мою комнатку… — со вздохом прибавила она.

— Ну весь дом, — пожалуйста, Марфинька, милая сестра…

Марфинька поглядела на бабушку, потом украдкой утвердительно кивнула ему.

— Ты любишь меня? да?

— Ах, очень! Как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во сне, только совсем не таким…

— Каким же?

— Таким румяным, не задумчивым, а веселым; вы будто всё шалите да бегаете…

— Я ведь такой иногда бываю.

Она недоверчиво покосилась на него и пока-

чала головой.

— Так возьмешь домик? — спросил он.

— Возьму, только чтоб и Верочка старый дом согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станет.

— Ну вот и кончено! — громко и весело сказал он, — милая сестра! Ты не гордая, не в бабушку!

Он поцеловал ее в лоб.

— Что кончено? — вдруг спросила бабушка. — Ты приняла? Кто тебе позволил? Коли у самой стыда нет, так бабушка не допустит на чужой счет жить. Извольте, Борис Павлович, принять книги, счеты, реестры и все крепости на имение. Я вам не приказчица досталась.

Она выложила перед ним бумаги и книги.

— Вот четыреста шестьдесят три рубля денег — это ваши. В марте мужики принесли за хлеб. Тут по счетам увидите, сколько внесено в приказ, сколько отдано за постройку и починку служб, за новый забор, жалованье Савелью — всё есть.

— Бабушка!

— Бабушки нет, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! — сказала она, отворив дверь в девичью.

Через четверть часа вошел в комнату, боком, пожилой, лет сорока пяти мужик, сложенный

плотно, будто из одних широких костей, и оттого казавшийся толстым, хотя жиру у него не было ни золотника.

Он был мрачен лицом, с нависшими бровями, широкими веками, которые поднимал медленно, и даром не тратил ни взглядов, ни слов. Даже движений почти не делал. От одного разговора на другой он тоже переходил трудно и медленно.

Мысленная работа совершается у него тяжело: когда он старается выговорить свою мысль, то помогает себе бровями, складками на лбу и отчасти указательным пальцем.

Он острижен в скобку, бороду бреет редко, и у него на губах и на подбородке почти всегда торчит щетина.

— Вот помещик приехал! — сказала бабушка, указывая на Райского, который наблюдал, как Савелий вошел, как медленно поклонился, медленно поднял глаза на бабушку, потом, когда она указала на Райского, то на него, как медленно поворотился к нему и задумчиво поклонился.

— Ты теперь приходи к нему с докладом, — говорила бабушка, — он сам будет управлять имением.

Савелий опять оборотился вполовину к Райскому и исподлобья, но немного поживее, поглядел

на него.

— Слушаю! — расстановочно произнес он, и брови поднялись медленно.

— Бабушка! — удерживал полушутя-полусерьезно Райский.

— Внучек! — холодно отозвалась она.

Райский вздохнул.

— Что изволите приказать? — тихо спросил Савелий, не поднимая глаз. Райский молчал и думал, что бы приказать ему.

— Чудесно! Вот что, — живо сказал он. — Ты знаешь какого-нибудь чиновника в палате, который бы мог написать бумагу о передаче имения?

— Гаврила Иванович Мешечников пишет все бумаги нам, — произнес он не вдруг, а подумавши.

— Ну, так попроси его сюда!

— Слушаю! — потупившись отвечал Савелий и, медленно, задумчиво поворотившись, пошел вон.

— Какой задумчивый этот Савелий! — сказал Райский, провожая его глазами.

— Будешь задумчив, как навяжется такая супруга, как Марина Антиповна! Помнишь Антипа? ну так его дочка! А золото-мужик, большие у меня дела делает: хлеб продает, деньги получает, —

честный, распорядительный: да вот где-нибудь да подстережет судьба! У всякого свой крест! А ты что это затеял или в самом деле с ума сошел? — спросила бабушка, помолчав.

— Ведь это мое? — сказал он, обводя рукой кругом себя, — вы не хотите ничего брать и запрещаете внукам…

— Ну пусть и будет твое! — возразила она. — Зачем же отпускать на волю, дарить?

— Надо же что-нибудь делать! Я уеду отсюда, вы управлять не хотите: надо устроить…

— Зачем уезжать: я думала, что ты совсем приехал. Будет тебе мыкаться! Женись и живи. А то хорошо устройство: отдать тысяч на тридцать всякого добра!

Она беспокойно задумалась и, очевидно, боролась с собой. Ей бы и в голову никогда не пришло устранить от себя управление имением, и не хотела она этого. Она бы не знала, что делать с собой. Она хотела только попугать Райского — и вдруг он принял это серьезно.

«Пожалуй, чего доброго? от него станется: вон он какой!» — думала она в страхе.

— Так и быть, — сказала она, — я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка так управит, что под опеку попадешь! Да чем ты

станешь жить? Странный ты человек!

— Мне с того имения присылают деньги: тысячи две серебром — и довольно. Да я работать стану, — добавил он, — рисовать, писать… Вот собираюсь за границу пожить: для этого то имение заложу или продам…

— Бог с тобой, что ты, Борюшка! Долго ли этак до сумы дойти! Рисовать, писать, имение продать! Не будешь ли по урокам бегать, школьников учить? Эх ты! из офицеров вышел, вон теперь в короткохвостом сертучишке ходишь! Вместо того чтобы четверкой в дормезе прикатить, притащился на перекладной, один, без лакея, чуть не пешком пришел! А еще Райский! Загляни в старый дом, на предков: постыдись хоть их! Срам, Борюшка! То ли бы дело, с этакими эполетами, как у дяди Сергея Ивановича, приехал: с тремя тысячами душ взял бы…

Райский засмеялся.

— Что смеешься! Я дело говорю. Какая бы радость бабушке! Тогда бы не стал дарить кружев да серебра: понадобилось бы самому…

— Ну а как я не женюсь и кружев не надо, то решено, что это всё Верочке и Марфиньке отдадим… Так или нет?

— Ты опять свое! — заговорила бабушка.

— Да, свое, — продолжал Райский, — и если вы не согласитесь, я отдам всё в чужие руки: это кончено, даю вам слово…

— Вот — и слово дал! — беспокойно сказала бабушка

Она колебалась.

— Имение отдает! Странный, необыкновенный человек! — повторяла она, — совсем пропащий! Да как ты жил, что делал, скажи на милость! Кто ты на сем свете есть? Все люди как люди. А ты — кто! Вон еще и бороду отпустил — сбрей, сбрей, не люблю!

— Кто я, бабушка? — повторил он вслух, — несчастнейший из смертных!

Он задумался и прилег головой к подушке дивана.

— Не говори этого никогда! — боязливо перебила бабушка, — судьба подслушает да и накажет: будешь в самом деле несчастный! Всегда будь доволен или показывай, что доволен.

Она даже боязливо оглянулась, как будто судьба стояла у нее за плечами.

— Несчастный! а чем, позволь спросить? — заговорила она, — здоров, умен, имение есть, слава Богу, вон какое! — она показала головой в окна. — Чего еще: рожна, что ли, надо?

Марфинька засмеялась, и Райский с нею.

— Что это значит, рожон?

— А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна, — сказала она, глядя на него через очки. — Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое ни есть, а всё лучше бревна.

«Вот что, практическая мудрость!» — подумал он.

— Бабушка! это жизненная заметка — это правда! вы философ!

— Вот ты и умный, и ученый, а не знал этого!

— Помиримтесь? — сказал он, вставши с дивана, — вы согласились опять взять в руки этот клочок…

— Имение, а не клочок! — перебила она.

— Согласитесь же отдать всю ветошь и хлам этим милым девочкам… Я бобыль, мне не надо, а они будут хозяйками. Не хотите, отдадим на школы…

— Школьникам! Не бывать этому! Чтобы этим озорникам досталось! Сколько они одних яблоков перетаскивают у нас через забор!

— Берите скорей, бабушка! Ужели вы на старости лет бросите это гнездо?..

— Ветошь, хлам! Тысяч на десять серебра, белья,

хрусталя — ветошь! —твердила бабушка.

— Бабушка, — просила Марфинька, — мне цветничок и садик, да мою зеленую комнату, да вот эти саксонские чашки с пастушком, да салфетку с Дианой…

— Замолчишь ли ты, бесстыдница! Скажут, что мы попрошайки, обобрали сироту!

— Кто скажет? — спросил Райский.

— Все! Первый Нил Андреич заголосит.

— Какой Нил Андреич?

— А помнишь: председатель в палате? Мы с тобой заезжали к нему, когда ты после гимназии приехал сюда, — и не застали. А потом он в деревню уехал; ты его и не видал. Тебе надо съездить к нему: его все уважают и боятся, даром что он в отставке…

— Черт с ним! Что мне за дело до него! — сказал Райский.

— Ах, Борис, Борис, — опомнись! — сказала почти набожно бабушка. — Человек почтенный…

— Чем же он почтенный?

— Старый, серьезный человек, со звездой!

Райский засмеялся.

— Чему смеешься?

— Что значит «серьезный»? — спросил он.

— Говорит умно, учит жить, не запоет: ти-ти-ти

да та-та-та. Строгий: за дурное осудит! Вот что значит серьезный.

— Все эти «серьезные» люди — или ослы великие, или лицемеры! — заметил Райский. — «Учит жить»: а сам он умеет ли жить?

— Еще бы не умел! нажил богатство, вышел в люди…

— Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом-то деле он вышел в свиньи…

Марфинька засмеялась.

— Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь! — гневно возразила бабушка. — Ты во что сам вышел, сударь: ни Богу свеча, ни черту кочерга! А Нил Андреич все-таки почтенный человек, что ни говори: узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься, — осудит! И меня осудит, если я соглашусь взять: ты сирота…

— Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал, — и он же осудит…

— Помолчи, помолчи об этом, — торопливо отозвалась бабушка, — помни правило: «Язык мой — враг мой, прежде ума моего родился!»

— Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственницам? Мне самому не надо, — продолжал он, — стало быть, отдать им — и разумно, и справедливо.

— А если ты женишься?

— Я не женюсь.

— Почем знать? Какая-нибудь встреча… вон здесь есть богатая невеста… Я писала тебе…

— Мне не надо богатства!

— Не надо богатства: что городит! Жену ведь надо?

— И жену не надо.

— Как не надо? Как же ты проживешь? — спросила она недоверчиво.

Он засмеялся и ничего не сказал.

— Пора, Борис Павлович, — сказала она, — вон в виске седина показывается. Хочешь, посватаю? А какая красавица, как воспитана!

— Нет, бабушка, не хочу!

— Я не шучу, — заметила она, — у меня давно было в голове.

— И я не шучу, у меня никогда в голове не было.

— Ты хоть познакомься!

— И знакомиться не стану.

— Женитесь, братец, — вмешалась Марфинька, — я бы стала нянчить детей у вас… я так люблю играть с ними.

— А ты, Марфинька, думаешь выйти замуж?

Она покраснела.

— Скажи мне правду, на ухо, — говорил он.

— Да… иногда думаю.

— Когда же иногда?

— Когда детей вижу: я их больше всего люблю…

Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочалась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него.

— Ты послушай только: она тебе наговорит! — приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. — Точно дитя: что на уме, то и на языке!

— Я очень люблю детей, — оправдывалась она, смущенная, — мне завидно глядеть на Надежду Никитишну: у ней семь человек… Куда ни обернись, везде дети. Как это весело! Мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер, или хоть чужих деточек. Я бы и птиц бросила, и цветы, музыку, всё бы за ними ходила. Один шалит, его в угол надо поставить, тот просит кашки, этот кричит, третий дерется; тому оспочку надо привить, той ушки пронимать, а этого надо учить ходить… Что может быть веселее! Дети — такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие!

— Есть и безобразные, — сказал Райский, — раз-

ве ты и их любила бы?..

— Есть больные, — строго заметила Марфинька, — а безобразных нет! Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем.

Всё это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор.

— Какой идеал жены и матери! Милая Марфинька — сестра! Как счастлив будет муж твой!

Она стыдливо села в угол.

— Она всё с детьми: когда они тут, ее не отгонишь, — заметила бабушка, — поднимут шум, гам, хоть вон беги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примете, — продолжал Райский, — жених какой-нибудь?..

— Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать?

— Как, и мечтать не может без спроса?

— Конечно, не может.

— Ведь это ее дело.

— Нет, не ее, а пока бабушкино, — заметила Татьяна Марковна. — Пока я жива, она из повиновения не выйдет.

— Зачем это вам, бабушка?

— Что зачем?

— Такое повиновение: чтоб Марфинька даже полюбить без вашего позволения не смела?

— Выйдет замуж, тогда и полюбит.

— Как «выйдет замуж и полюбит»: полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у вас там так, — говорила бабушка, замахав рукой, — а мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него.

— Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их, — бабушка! Есть ли смысл в этом…

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям!.. Вон, покойница мать твоя была такая же… да и сошла прежде времени в могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нет, это всё надо переделать! — сказал он про себя… — Не дают свободы — любить. Какая грубость! А ведь добрые, нежные люди! Какой еще туман, какое затмение в их головах!»

— Марфинька! Я тебя просвещу! — обратился он к ней. — Видите ли, бабушка: этот домик, со всем, что здесь есть, как будто для Марфиньки выстроен, — сказал Райский, — только детские надо надстроить. Люби, Марфинька, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мешаете принять подарок!

— Ну, добро, посмотрим, посмотрим, — сказала

она, — если не женишься сам, так как хочешь, на свадьбу подари им кружева, что ли: только чтобы никто не знал, пуще всего Нил Андреич… надо втихомолку…

— Свободный, разумный и справедливый поступок — втихомолку! Долго ли мы будем жить, как совы, бояться света дневного, слушать совиную мудрость Нилов Андреевичей!..

— Шш! ш-ш! — зашипела бабушка, — услыхал бы он! Человек он старый, заслуженный, а главное серьезный! Мне не сговорить с тобой — поговори с Титом Никонычем. Он обедать придет, — прибавила Татьяна Марковна.

«Странный, необыкновенный человек! — думала она. — Всё ему нипочем, ничего в грош не ставит! Имение отдает, серьезные люди у него — дураки, себя несчастным называет! Погляжу еще, что будет!»

III

Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфинька вызвалась показать ему всё хозяйство: и свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки.

— Только в лес боюсь; я не хожу с обрыва, там страшно, глухо! — говорила она. — Верочка приедет, она проводит вас туда.

Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядкам и цветам, как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны.

Борис видел всё это у себя в уме и видел себя, задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений.

Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте: и выходила

живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно.

А с Марфинькой это не удавалось. И сад, казалось ему, хорош оттого, что она тут. Марфинька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка.

— Вот этот розан вчера еще почкой был, а теперь посмотрите, как распустился, — говорила она, с торжеством показывая ему цветок.

— Как ты сама! — сказал он.

— Ну уж, хороша роза!

— Ты лучше ее!

— Понюхайте, как она пахнет!

Он нюхал цветок и шел за ней.

— А вот эти маргаритки надо полить, и пионы тоже! — говорила она опять, и уже была в другом углу сада, черпала воду из бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другие.

— А в Петербурге еще и сирени не зацвели, — сказал он.

— Ужели? А у нас уж отцвели, теперь акации начинают цвести. Для меня праздник, когда липы зацветут, — какой запах!

— Сколько здесь птиц! — сказал он, вслушиваясь в веселое щебетанье на деревьях.

— У нас и соловьи есть — вон там, в роще! И мои птички все здесь пойманы, — говорила она. — А вот тут в огороде мои грядки: я сама работаю. Подальше — там арбузы, дыни, вот тут цветная капуста, артишоки…

— Пойдем, Марфинька, к обрыву, на Волгу смотреть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого места! Я недолго с вами пробуду! Бабушка велела об обеде позаботиться. Ведь я хозяйка здесь! У меня ключи от серебра, от кладовой. Я вам велю достать вишневого варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Он улыбкой поблагодарил ее.

— А что к обеду? — спросила она. — Бабушка намерена угостить вас на славу.

— Ведь я обедал. Разве к ужину?

— До ужина еще полдник будет: за чаем простоквашу подают: что вы лучше любите, творог со сливками… или…

— Да, я люблю творог… — рассеянно отвечал Райский.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу…

— Что же лучше? — спросила она и, не слыша

ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально следил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крепкая небольшая нога, в белом чулке, с коротеньким, будто обрубленным, носком, обутая в лакированный башмак, с красной сафьянной отделкой и с пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марфинька: лакированный башмак! — сказал он.

Он думал, что она смутится, пойманная врасплох, приготовился наслаждаться ее смущением, смотреть, как она быстро и стыдливо бросит из рук платье и юбку.

— Это мы с бабушкой на ярмарке купили, — сказала она, приподняв еще немного юбку, чтоб он лучше мог разглядеть башмак. — А у Верочки лиловые, — прибавила она. — Она любит этот цвет. Что же вам к обеду: вы еще не сказали?

Но он не слушал ее. «Милое дитя! — думал он, — тебе не надо притворяться стыдливой!»

— Я не хочу есть, Марфинька. Дай руку, пойдем к Волге.

Он прижал ее руку к груди и чувствовал, как у него бьется сердце, чуя близость… чего? наивного, милого ребенка, доброй сестры или… молодой,

расцветшей красоты? Он боялся, станет ли его на то, чтоб наблюдать ее как артисту, а не отдаться, по обыкновению, легкому впечатлению?

У него перед глазами был идеал простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то тихого, семейного романа, и в то же время он чувствовал, что роман понемногу захватывал и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его…

— Ты поешь, Марфинька? — спросил он.

— Да… немножко, — застенчиво отвечала она.

— Что же?

— Русские романсы; начала италиянскую музыку, да учитель уехал. Я пою: «Una voce poco fa»[49], только трудно очень для меня. А вы поете?

— Диким голосом, но зато беспрестанно.

— Что же?

— Всё. — И он запел из «Ломбардов», потом марш из «Семирамиды» и вдруг замолк.

Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом.

«Ничего больше не надо для счастья, — думал он, — умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем

---

[49] Примечания: 49

«В полуночной тишине» (*ит.*).

месте. Здесь всё есть для тихого счастья — но… это не мое счастье!» Он вздохнул. «Глаза привыкнут… воображение устанет, — и впечатление износится… иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы!..»

Он выпустил ее руку и задумался.

— Что ж вы молчите? — спросила она. «Ничего не говорит!» — про себя прибавила потом.

— Ты любишь читать… читаешь, Марфинька? — спросил он, очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Что же?

— Что попадется: Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. «Елену» недавно читала мисс Еджеворт, еще «Джен Эйр»… Это очень хорошо… Я две ночи не спала: всё читала, не могла оторваться.

— Что тебе больше нравится? Какой род чтения?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь определить род.

— Да вы смеяться будете, как давеча над гусенком… — сказала она, не решаясь говорить.

— Нет, нет, Марфинька: смеяться над такой милой, хорошенькой сестрой! Ведь ты хорошень-

кая?

— Ну, что за хорошенькая! — небрежно сказала она, — толстая, белая! Вот Верочка так хорошенькая, прелесть!

— Что же ты любишь читать? Поэзию читаешь: стихи?

— Да, Жуковского, Пушкина недавно «Мазепу» прочла.

— Что же, нравится?

Она отрицательно покачала головой.

— Отчего?

— Жалко Марию. Вот «Гулливеровы путешествия» нашла у вас в библиотеке и оставила у себя. Я их раз семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мурра», «Братья Серапионы», «Песочный человек»: это больше всего люблю.

— Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

— Серьезное? — повторила она, и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного. — Да, вон у меня из ваших книг остались некоторые, да я их не могу одолеть…

— Какие же?

— Шатобриана — «Les Martyrs…»[50] Это уж

---

[50] Примечания: 50
«Мученики» (*фр.*).

очень высоко для меня!

— Ну, а историю?

— Леонтий Иванович давал — Мишле, «Précis de l'histoire moderne»[51], потом Римскую историю, кажется, Жибона…

— То есть Гиббона: что же?

— Я не дочитала… слишком величественно! Это надо только учителям читать, чтоб учить…

— Ну, романы читаешь?

— Да… только такие, где кончается свадьбой.

Он засмеялся, и она за ним.

— Это глупо? да? — спросила она.

— Нет, мило. В тебе глупого не может быть.

— Я всегда прежде посмотрю, — продолжала она смелее, — и если печальный конец в книге — я не стану читать. Вон «Басурмана» начала, да Верочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

— Стало быть, ты и «Горя от ума» не любишь? Там не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

— Софья Павловна гадкая, — заметила она, — а Чацкого жаль: пострадал за то, что умнее всех!

Он с улыбкой вслушивался в ее литературный

---

[51] Примечания: 51

«Очерки истории нового времени» (*фр.*)

лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза, в беленькие, тесные зубы, когда она смеялась.

— Мы будем вместе читать, — сказал он, — у тебя сбивчивые понятия, вкус не развит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку.

— Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба…

— И детки чтоб были? — лукаво спросил он, — чтоб одного «кашкой кормили», другому «оспочку прививали»? Да?

— Злой, злой! ничего не стану говорить вам… Вы всё замечаете, ничего не пропустите…

— Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса?

— Не выйду! — сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка.

— Почему же так?

— А если он картежник, или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иваныч… почем я знаю? А бабушка всё узнает…

— А Марк Иваныч безбожник?

— Никогда в церковь не ходит.

— Ну а если этот безбожник или картежник понравится тебе?..

— Всё равно, я не выйду за него!

— А если полюбишь ты?..

— Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иваныч: будто это можно? Я с ним и не заговорю никогда; как же полюблю?

— Так что бабушка скажет, так тому и быть?

— Да, она лучше меня знает.

— А когда же ты сама будешь знать и жить?

— Когда… буду в зрелых летах, буду своим домом жить, когда у меня будут свои…

— Дети? — подсказал Райский.

— Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме… Да, и дети… — краснея, добавила она.

— А до тех пор всё бабушка?

— Да. Она умная, добрая, она всё знает. Она лучше всех здесь и в целом свете! — с одушевлением сказала она.

Он замолчал, припоминая Беловодову, разговор с ней, сходство между той и другой, и разные причины этого сходства, и причины несходства.

У него рисовались оба образа и просились во что-то: обе готовые, обе прекрасные — каждая своей красотой — обе разливали яркий свет на

какую-то картину.

Что из этого будет — он не знал и пока решил написать Марфинькин портрет масляными красками.

Они подошли к обрыву. Марфинька боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад.

Райский бросил взгляд на Волгу, забыл всё и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами.

Полноводье еще не сбыло, и река завладела плоским прибрежьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывала подножия гор. В разных местах, незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небе рядами висели облака.

Марфинька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно.

— Вот эти суда посуду везут, — говорила она, — а это расшивы из Астрахани плывут. А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон, за этими двумя горками, дорога идет к попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо, на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов.

Райский молчал.

— Там зайцы водятся, только теперь их затопило, бедных! У меня кролики есть, я вам покажу!

Он продолжал молчать.

— В конце лета суда с арбузами придут, — продолжала она, — сколько их тут столпится! Мы покупаем только мочить, а к десерту свои есть, крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был, бабушка архиерею отослала.

Райский всё смотрел.

«Всё молчит!» — шепнула Марфинька про себя.

— Пойдем туда! — вдруг сказал он, показывая на обрыв и взяв ее за руку.

— Ах, нет, нет, боюсь! — говорила она, дрожа и пятясь.

— Со мной боишься?

— Боюсь!

— Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу тебя?

— Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится: одна туда ходит, даже в сумерки! Там убийца похоронен, а ей ничего!

— Ну, если б я сказал тебе: «Закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя», — ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

— Да… дала бы, и глаза бы закрыла, только…

одним глазом тихонько бы посмотрела…

— Ну, вот теперь попробуй — закрой глаза, дай руку; ты увидишь, как я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, вверься мне, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но так, чтоб можно было видеть, и только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

— Ни за что не пойду, ни за что! — с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него. — Пойдемте, пора домой, бабушка ждет! Что же к обеду? — спрашивала она, — любите ли вы макароны? свежие грибы?

Он ничего не отвечал и любовался ею.

— Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура! и как ты верна ей, — сказал он, — ты находка для художника! Сама естественность!

Он поцеловал у нее руку.

— Чего-чего не наговорили обо мне! Да куда же вы?

Ответа не было. Она подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врозь и как Райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и

впадинам оврага.

— Страсть какая! — с дрожью сказала она и пошла домой.

IV

Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. Весь город лежал перед ним как на ладони.

Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими, воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрел на искривленные, бесконечные, идущие между плетнями, переулки, на пустые, без домов, улицы, с громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», с базарами, где навалены груды лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зияющие ворота постоялых дворов, с далеко

разносящимся запахом навоза, и на бренчащие по улице дрожки.

Было за полдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города.

Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста; нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Всё пестро, зелено, и всё молчит.

Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль, уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам; в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли.

Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь по временам, от праздности, с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет.

Простор и пустота — как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны, плюнет

и спрячется.

В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека, в халате: подле него на столике лежат «Ведомости», очки и стоит графин квасу.

Другой сидит по целым часам у ворот, в картузе, и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уж мнет носовой платок в руках — и всё не решается высморкаться: лень.

Там кто-то бездействует у окна, с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он — с довольным, ничего не желающим и нескучающим взглядом.

В другом месте видел Райский такую же сидящую у окна пожилую женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно-разнообразной породой подобных себе, и не ведающую скуки, которую так глубоко и тяжко ведают в больших городах, в центре дел и развлечений.

Райский, идучи из переулка в переулок, видел кое-где семью за трапезой, а там, в мещанском доме, уж подавали самовар.

В безлюдной улице за версту слышно, как

разговаривают двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте и шаги по деревянной мостовой.

Где-то в сарае кучер рубит дрова, тут же поросенок хрюкает в навозе; в низеньком окне, в уровень с землею, отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резеде, бархатцах и бальсаминах.

Там сидит, наклоненная над шитьем, бодрая, хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги…

Из отворенных окон одного дома обдало его сотней звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнею надпись на дверях: «Школа».

Дальше набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников. Большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы — был весь обед.

Мужики сидели смирно и молча, по очереди опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за

обедом, а прилежно и будто набожно исполняли трудную работу.

Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у отаитян, лиц, эти черствые, загорелые руки с негнущимися пальцами, крепко вросшими, будто железными, ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот — поглощающий хлеб и кашу — голод.

Да, голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод — временем и тяжкой работой.

«Однако какая широкая картина тишины и сна! — думал он, оглядываясь вокруг, — как могила! Широкая рама для романа! Только что я вставлю в эту раму?»

Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречных, группировал лица бабушки, дворни.

Всё это пока толпилось около Марфиньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко.

Он медленно, машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голо-

ве, всех он видел их там, как живыми.

«Что, если б на этом сонном, неподвижном фоне — да легла картина страсти! — мечтал он. — Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму! Какие краски… Да где взять красок и… страсти тоже?..»

«Страсть! — повторил он очень страстно. — Ах, если б на меня излился ее жгучий зной, сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрение! Надо, чтоб я не глазами, на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти, и после — желчью, кровью и потом написал картину ее, эту геенну людской жизни. Страсть Софьи… Нет, нет! — холодно думал он. — Она “выше мира и страстей”. Страсть Марфиньки!» — он засмеялся.

Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам.

«Да, из них выйдет роман, — думал он, — роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий, — у одной с аристократическими, у другой с мещанскими подробностями. Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь — картина теплого летнего сна, на зелени, среди

цветов, под чистым небом, но всё сна, непробудного сна!»

Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг, кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов. И никого на улице: ни признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков.

На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднении, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. За одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю.

— Кто там? — с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить.

— Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет учитель Леонтий Козлов? — спросил Райский.

Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза.

— Кто там? — послышался голос из другой комнаты, и в то же время зашаркали туфли и показался человек, лет пятидесяти, в пестром халате, с синим платком в руках.

— Вот учителя какого-то спрашивает! — сказала одурелая баба.

Господин в халате тоже воззрился с удивлени-

ем на Райского.

— Какого учителя? Здесь не живет учитель… — говорил он, продолжая с изумлением глядеть на посетителя.

— Извините, я приезжий, только сегодня утром приехал, и не знаю никого: я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить…

— Не угодно ли пожаловать в комнату? — ласково пригласил хозяин войти.

Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канапе и ломберный столик под зеркалом.

— Прошу садиться! — просил он. — Вы какого учителя изволите спрашивать? — продолжал он, когда они сели.

— Леонтия Козлова.

— Есть купец Козлов, торгует в рядах… — задумчиво говорил хозяин.

— Нет, Козлов, учитель древней словесности, — повторил Райский.

— Словесности… нет, не знаю… Вам бы в гимназии спросить — она там на горе…

«Это я и сам знаю», — подумал Райский.

— Извините, — сказал он, — я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе.

— Позвольте… не он ли у председателя учит де-

тей? Так он там и живет: бравый такой из себя…

— Нет, нет — этот не бравый! — с усмешкой заметил Райский, уходя.

Вышедши на улицу, он наткнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов.

Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону:

— Это, должно быть, там, на выезде, за мостом: там какой-то учитель живет.

К счастию Райского, прохожий кантонист вслушался в разговор.

— Эх ты: это садовник! — сказал он.

— Знаю, что садовник, да он учитель, — возразил первый. — К нему господа на выучку ребят присылают…

— Им не его надо, — возразил писарь, глядя на Райского, — пожалуйте за мной! — прибавил он и проворно пошел вперед.

Райский следовал за ним из улицы в улицу, и наконец вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

— Вот школа, вон и учитель сам сидит! — прибавил он, указывая в окно на учителя.

— Да это совсем не то! — с неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова.

— А то еще на горе есть гимназия… — сказал кантонист.

— Ну хорошо, спасибо, я найду сам! — поблагодарил Райский и вошел в школу, полагая, что учитель, верно, знает, где живет Леонтий.

Он не ошибся: учитель, загнув в книгу палец, вышел с Райским на улицу и указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево.

— Там упретесь в садик, — прибавил он, — тут Козлов и живет.

«Да, долго еще до прогресса! — думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам и опять не встречая живой души. — Что за фигуры, что за нравы, какие явления! Все, все годятся в роман: все эти штрихи, оттенки, обстановка — перлы для кисти! Каков-то Леонтий: изменился или всё тот же ученый, но недогадливый младенец? Он — тоже находка для художника!»

И вошел в дом.

V

Леонтий принадлежал к породе тех погруженных в книги и ничего, кроме их, не ведающих ученых, живущих прошлою или идеальною жизнию, жизнию цифр, ипотез, теорий и систем, и не замечающих настоящей, кругом текущей жизни.

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу.

Редко где встретишь теперь небритых, нечесаных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одною, вертящеюся около науки речью, с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных, с забавною рассеянностью и с умилительной младенческой простотой, — этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки — теперь стал анахронизмом, потому что ею не удивишь никого.

Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время.

Он родился в одном городе с Райским, воспитывался в одном университете.

Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам, тоже — nascuntur[52]. Всегда, бывало, он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него не было детства, не было нерва — шалить, резвиться.

Потешалась же над ним и молодость. То мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонтий не догадается и ходит с пятном целый день, к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался.

Даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет, — он сморщится, и вместо того, чтоб вскочить, броситься и догнать шалуна, он когда-то соберется обернуться и посмотрит рассеянно во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания.

Съедят ли у него из-под рук завтрак или обед,

---

[52] Примечания: 52
рождаются (*лат.*).

он не станет производить следствия, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом.

Промыслить обед, стащить или просто попросить — он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато если ошибкой, невзначай, сам набредет на съестное, чужое ли, свое ли, — то непременно, бывало, съест.

Как, однако, ни потешались товарищи над его задумчивостью и рассеянностию, но его теплое сердце, кротость, добродушие и поражавшая даже их, мальчишек в школе, простота, цельность характера, чистого и высокого, — всё это приобрело ему ничем не нарушимую симпатию молодой толпы. Он имел причины быть многими недоволен — им никто и никогда.

Выросши из периода шалостей, товарищи поняли его и окружили уважением и участием, потому что, кроме характера, он был авторитетом и по знаниям. Он походил на немецкого гелертера, знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все литературы, был страстный библиофил.

Фактические знания его были обширны и не были стоячим болотом, не строились, как у некоторых из усидчивых семинаристов в уме строятся

кладбища, где прибавляется знание за знанием, как строится памятник за памятником, и все они порастают травой и безмолвствуют.

У Леонтия, напротив, билась в знаниях своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Он открытыми глазами смотрел в минувшее. За строкой он видел другую строку. К древнему кубку приделывал и пир, на котором из него пили, к монете — карман, в котором она лежала.

Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский как дилетант — для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, Козлов — всем существом своим; и Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой, и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем быте или, напротив, сам увлекал его своей фантазией — и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием.

Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому, что она была ему мила, она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни.

Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий.

Леонтий был классик и безусловно чтил всё, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость к Расину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде, для своих маркизов: но всё же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест.

В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, вседневного не любил; любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока — и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его; любил Гёте, но не романтика Гёте, а классика, наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели «Фаустом», «Вильгельма Мейстера» не признавал, но знал почти наизусть «Прометея» и «Тасса».

Он шел смотреть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважал, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера.

Он был так беден, как нельзя уже быть беднее. Жил в каком-то чуланчике, между печкой и дровами, работал при свете плошки, и если б не симпатия товарищей, он не знал бы, где взять книг, а иногда белья и платья.

Подарков он не принимал, потому что нечем было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации и дарили за это белье, платье, редко деньги, а чаще всего книги, которых от этого у него накопилось больше, нежели дров.

Всё юношество кипело около него жизнью, строя великолепные планы будущего: один он не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно: «Буду учителем в провинции», — считая это скромное назначение своим призванием.

Товарищи, и между прочим Райский, старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой, производительной деятельности и о профессорской кафедре. Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний. Но он глубоко вздыхал в ответ на эти мечты.

— Да, прекрасно, — говорил он, вдумываясь в назначение профессора, — действовать на ряды поколений живым словом, передавать всё, что сам знаешь и любишь! Сколько и самому для себя

занятий, сколько средств: библиотека, живые толки с собратами, можно потом за границу, в Германию, в Кембридж… в Эдинбург, — одушевляясь, прибавлял он, — познакомиться, потом переписываться… Да нет, куда мне! — прибавлял он, отрезвляясь, — профессор обязан другими должностями, он в советах, его зовут на экзамены… Речь на акте надо читать… Я потеряюсь, куда мне! нет, буду учителем в провинции! — заключал он решительно и утыкал нос в книгу или тетради.

Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять род людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах в опекунский совет, в карты, в обеды.

Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому и посвятил свои досуги.

Вот и Райский мечтал быть артистом, и всё «носит еще огонь в груди», всё производит начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкие замыслы, а имя его еще негромко, произведения не радуют света.

Один Леонтий достиг заданной себе цели и

уехал учителем в провинцию.

Пришло время расставаться, товарищи постепенно уезжали один за другим. Леонтий оглядывался с беспокойством, замечал пустоту и тосковал, не зная, по непрактичности своей, что с собой делать, куда деваться.

— И ты! — уныло говорил он, когда кто-нибудь приходил прощаться.

Редкий мог не заплакать, расставаясь с ним, и сам он задыхался от слез, не помня ни щипков, ни пинков, ни проглоченных насмешек и не проглоченных, по их милости, обедов и завтраков.

Наконец надо было и ему хлопотать о себе. Но где ему? Райский поднял на ноги всё, профессора приняли участие, писали в Петербург и выхлопотали ему желанное место в желанном городе.

Там, на родине, Райский, с помощью бабушки и нескольких знакомых, устроили его на квартире, и только уладились все эти внешние обстоятельства, Леонтий принялся за свое дело, с усердием и терпением вола и осла вместе, и ушел опять в свою, или лучше сказать, чужую, минувшую жизнь.

Татьяна Марковна не совсем была внимательна к богатой библиотеке, доставшейся Райскому, книги продолжали изводиться в пыли и в прахе

старого дома. Из них Марфинька брала изредка кое-какие книги, без всякого выбора: как например Свифта, «Павла и Виргинию», или возьмет Шатобриана, потом Расина, потом роман мадам Жанлис, и книги берегла, если не больше, то наравне с своими цветами и птицами.

Прочими книгами в старом доме одно время заведовала Вера, то есть брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое место. Но все-таки до книг дотрогивалась живая рука, и они кое-как уцелели, хотя некоторые, постарее и позамасленнее, тронуты были мышами. Вера писала об этом через бабушку к Райскому, и он поручил передать книги на попечение Леонтия.

Леонтий обмер, увидя тысячи три волюмов, — и старые, запыленные, заплесневелые книги получили новую жизнь, свет и употребление, пока, как видно из письма Козлова, какой-то Марк чуть было не докончил дела мышей.

VI

Леонтий был женат. Эконом какого-то казенного заведения в Москве держал между прочим стол для приходящих студентов, давая за рубль с четвертью медью три, а за полтинник четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда.

Их привлекали не одни щи, каша, лапша, макароны, блины и т. п. из казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцом, и студентами.

Она была очень молоденькая в ту эпоху, когда учились Райский и Козлов, но, несмотря на свои шестнадцать или семнадцать лет, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая девушка.

У ней был прекрасный нос и грациозный рот с хорошеньким подбородком. Особенно профиль был правилен, линия его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнее на затылке, но чем шли выше, тем светлее, и верхняя половина косы, лежавшая на маковке, была золотисто-красноватого цвета: от этого у ней на голове, на лбу, отчасти и на бровях, тоже немного рыжеватых, как будто постоянно горел луч солнца.

Около носа и на щеках роились веснушки и не совсем пропадали даже зимою. Из-под них пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь и придавали лицу тень, без которой оно казалось как-то слишком ярко освещено и открыто.

Оно имело еще одну особенность: постоянно лежащий смех в чертах, когда и не было чему и не расположена она была смеяться. Но смех как будто застыл у ней в лице и шел больше к нему, нежели слезы, да едва ли кто и видал их на нем.

Студенты все влюблялись в нее, по очереди или по нескольку в одно время. Она всех водила за нос и про любовь одного рассказывала другому и смеялась над первым, потом с первым над вторым. Некоторые из-за нее перессорились.

Кто-то догадался и подарил ей парижские ботинки и серьги, она стала ласковее к нему: шепталась с ним, убегала в сад и приглашала к себе по вечерам пить чай.

Другие узнали и последовали тому же примеру: кто дарил материю на платье, под предлогом благодарности за хлопоты о продовольствии, кто доставал ложу, носили ей конфекты, и Улинька стала одинаково любезна почти со всеми.

Тут развернулись ее способности. Если кто,

бывало, станет ревновать ее к другим, она начнет смеяться над этим, как над делом невозможным, и вместе с тем умела казаться строгой, бранила волокит за то, что завлекают и потом бросают неопытных девиц.

Она порицала и осмеивала подруг и знакомых, когда они увлекались, живо и с удовольствием расскажет всем, что сегодня на заре застали Лизу, разговаривающую с письмоводителем чрез забор в саду, или что вон к той барыне (и имя, отчество, и фамилию скажет) ездит всё барин в карете и выходит он от нее часу во втором ночи.

Соперников она учила, что и как говорить, когда спросят о ней, когда и где были вчера, куда уходили, что шептали, зачем пошли в темную аллею или в беседку, зачем приходил вечером тот или другой — всё.

Леонтий, разумеется, и не думал ходить к ней: он жил на квартире, на хозяйских однообразных харчах, то есть на щах и каше, и такой роскоши, чтоб обедать за рубль с четвертью или за полтинник, есть какие-нибудь макароны или свиные котлеты, — позволять себе не мог. И одеться ему было не во что: один вицмундир и двое брюк, из которых одни нанковые для лета, — вот весь его гардероб.

Но Райский раза три повел его туда. Леонтий не обращал внимания на Ульяну Андреевну и жадно ел, чавкая вслух и думая о другом, и потом робко уходил домой, не говоря ни с кем, кроме соседа, то есть Райского.

И некрасив он был: худ, задумчив, черты неправильные, как будто все врознь, ни румянца, ни белизны на лице: оно было какое-то бесцветное.

Только когда он углубится в длинные разговоры с Райским или слушает лекцию о древней и чужой жизни, читает старца-классика, — тогда только появлялась вдруг у него жизнь в глазах, и глаза эти бывали умны, оживлены.

Но где Улиньке было заметить такую красоту? Она заметила только, что у него то на вицмундире пуговицы нет, то панталоны разорваны или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что он ни разу не посмотрел на нее пристально, а глядел как на стену, на скатерть.

Этого еще никогда ни с кем не случалось, кто приходил к ней. Даже и невпечатлительные молодые люди, и те остановят глаза прежде всего на ней.

А этот ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянет, когда та подает блюда, меняет тарелки.

А Устинья тоже замечательна в своем роде. Она

— постоянный предмет внимания и развлечения гостей. Это была нескладная баба, с таким лицом, которое как будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да так на всю жизнь и осталось с этим удивлением. Но Леонтий и ее не замечал.

Уж у Улиньки не раз скалились зубы на его фигуру и рассеянность, но товарищи, особенно Райский, так много наговорили ей хорошего о нем, что она ограничивалась только своим насмешливым наблюдением, а когда не хватало терпения, то уходила в другую комнату разразиться смехом.

— Какой смешной этот Козлов у вас! — говорила она.

— Он предобрый! — хвалил его кто-нибудь.

— Преумный, с какими познаниями: по-гречески только профессор да протопоп в соборе лучше его знают! — говорил другой. — Его адъюнктом сделают.

— Высокой нравственности! — прибавлял с увлечением третий.

Однажды — это было в пятый или шестой раз, как он пришел с Райским обедать, — он, по рассеянности, пересидел за обедом всех товарищей; все ушли, он остался один и задумчиво жевал какое-то пирожное из рису.

Он не заметил, что Ульяна Андреевна подставила другую полную миску, с тем же рисом. Он продолжал машинально доставать ложкой рис и класть в рот.

Она тихонько переменила третью, подложив еще рису, и сама из-за двери другой комнаты наблюдала, как он ел, и зажимала платком рот, чтоб не расхохотаться вслух. Он всё ел.

«“Добрый!” — думала она, — собак не бьет! Какая же это доброта, коли он ничего подарить не может! “Умный!” — продолжала она штудировать его, — ест третью тарелку рисовой каши и не замечает! Не видит, что все кругом смеются над ним! “Высоконравственный!”..»

Она подумала, подумала над этим эпитетом, почесала себе пальцем темя, осмотрела рассеянно свои ногти и зевнула.

«На нем, кажется, и рубашки нет: не видать! Хороша нравственность!» — заключила она.

Он всё ел.

«Эк жрет: и не взглянет!» — думала она и не выдержала, принялась хохотать.

Он услыхал смех, очнулся, растерялся и стал искать фуражку.

— Не торопитесь, доедайте, — сказала она, — хотите еще?

— Нет… нет… Я домой… — говорил он стыдливо, не глядя на нее, и совался из угла в угол, отыскивая фуражку.

А Улинька давно схватила ее с окна и надела на себя.

— Где ж она? Кто-нибудь из ваших унес, — сказала она.

— Не может быть… — говорил Леонтий, бросая туда и сюда рассеянные взгляды, — свою бы оставил, а то нет никакой…

«Везде глядит, только не на меня, — медведь!» — думала она.

— Нет ли какой-нибудь шапки? — спросил он, — тут недалеко, я дойду как-нибудь.

— Куда вы? Рано: пойдемте в сад! Может быть, фуражку сыщем, — звала она… — Не затащил ли кто-нибудь туда, в беседку?

Он машинально пошел за ней, и когда они прошли шагов десять по дорожке, он взглянул случайно на нее и увидел свою фуражку. Кроме фуражки, он опять ничего не заметил…

— Ах! — обрадовался он, — это вы…

Тут только он взглянул на нее, потом на фуражку, опять на нее и вдруг остановился с удивленным лицом, как у Устиньи, даже рот немного открыл и сосредоточил на ней испуган-

ные глаза, как будто в первый раз увидал ее. Она засмеялась.

«Насилу разглядел!» — подумала она и надела на него фуражку.

— Что ж вы стали? Идите со мной, — сказала она.

— Мне пора! — отвечал он, не двигаясь с места.

— Куда пора? Успеете — я не пущу вас.

Она быстро опять сняла у него фуражку с головы; он машинально обеими руками взял себя за голову, как будто освидетельствовал, что фуражки опять нет, и лениво пошел за ней, по временам робко и с удивлением глядя на нее.

— Отчего вы к нам обедать не ходите? Приходите завтра, — сказала она.

— Дорого! — отвечал он.

— Дорого! Разве вы… так бедны? — с любопытством спросила она.

— Да, я очень… — отвечал он, потупясь.

Он было застыдился своей бедности, потом вдруг ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдруг откуда-то ошибкой закралась к нему в характер.

— Я очень беден, — сказал он, — разве вам не говорил Райский, что мне иногда за квартиру нечем заплатить: вы видите?

Он показывал ей полинявший и отчасти замасливший рукав вицмундира.

Она равнодушно глядела на изношенный рукав, как на дело до нее не касающееся, потом на всю фигуру его, довольно худую, на худые руки, на выпуклый лоб и бесцветные щеки. Только теперь разглядел Леонтий этот далеко запрятанный в черты ее лица смех.

— Вы смеетесь надо мной? — спросил он с удивлением. Так неестественно казалось ему смеяться над бедностью.

— И не думала, — равнодушно сказала она, — что за редкость — изношенный мундир? Мало ли я их вижу!

Он недоверчиво поглядел на нее; она действительно не смеялась и не хотела смеяться, только смеялось у ней лицо.

— Вон у вас пуговицы нет. Постойте, не уходите, подождите меня здесь! — заметила она, проворно побежала домой и через две минуты воротилась с ниткой, иглой, с наперстком и пуговицей.

— Стойте смирно, не шевелитесь! — сказала она, взяла в одну руку борт его сюртука, прижала пуговицу и другой рукой живо начала сновать взад и вперед иглой мимо носа Леонтья.

Щека ее была у его щеки, и ему надо было удер-

живать дыхание, чтоб не дышать на нее. Он устал от этого напряженного положения, и даже его немного бросило в пот. Он не спускал глаз с нее.

«Да у ней чистый римский профиль!» — с удивлением думал он.

Через две минуты она кончила, потом крепко прижалась щекой к его груди, около самого сердца, и откусила нитку. Леонтий онемел на месте и стоял растерянный, глядя на нее изумленными глазами.

Это кошачье проворство движений, рука, чуть не задевающая его по носу, наконец, прижатая к груди щека кружили ему голову.

Он будто охмелел. От нее веяло на него теплом и нежным запахом каких-то цветов.

«Что это такое, что же это?.. Она, кажется, добрая, — вывел он заключение, — если б она только смеялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И где она взяла ее? Кто-нибудь из наших потерял!»

— Что ж стоите? Скажите «merci» да поцелуйте ручку! Ах, какой! — сказала она повелительно и прижала крепко свою руку к его губам, всё с тем же проворством, с каким пришивала пуговицу, так что поцелуй его раздался в воздухе, когда она уже отняла руку.

Леонтий взглянул на нее еще раз и потом уже никогда не забыл. В нем зажглась вдруг сильная, ровная и глубокая страсть.

— Приходите завтра обедать, — сказала она.

— Дорого! — отвечал он наивно. Но занял у Райского немного денег и пришел. Потом опять пришел.

Это заметили товарищи, и Райский стал приглашать его чаще. Леонтий понял, что над ним подтрунивают, и хотел было сразу положить этому конец, перестав ходить. Он упрямился.

— Пойдем! — звал его Райский.

— Нет, Борис, не пойду, — отговаривался он, — что мне там делать: вы все любезны, красивы, разговаривать мастера, а я! Что я ей? Она вон всё смеется надо мной!

— Да, может быть, она не станет смеяться… — нерешительно говорил Райский, — когда покороче познакомится с тобой…

— Станет, как не станет! — говорил Леонтий с жалкой улыбкой, оглядывая себя с ног до головы.

Но, однако ж, пошел и ходил часто. Она не гуляла с ним по темной аллее, не пряталась в беседку, и неразговорчив он был, не дарил он ее, но и не ревновал, не делал сцен, ничего, что делали другие, по самой простой причине: он не видал,

не замечал и не подозревал ничего, что делала она, что делали другие, что делалось вокруг.

Он видел только ее римский чистый профиль, когда она стояла или сидела перед ним, чувствовал веющий от нее на него жар и запах каких-то цветов, да часто потрогивал себя за пришитую ею пуговицу.

Он слушал, что она говорила ему, не слыхал, что говорила другим, и верил только тому, что видел и слышал от нее.

И ей не нужно было притворяться перед ним, лгать, прикидываться. Она держала себя с ним прямо, просто, как держала себя, когда никого с ней не было.

Он так и принимал за чистую монету всякий ее взгляд, всякое слово, молчал, много ел, слушал, и только иногда воззрится в нее странными, будто испуганными глазами, и молча следит за ее проворными движениями, за резвой речью, звонким смехом, точно вчитывается в новую, незнакомую еще ему книгу, в ее немое, вечно насмешливое лицо.

— Что ты видишь в ней? — приставали товарищи.

Он смущался, уходил и сам не знал, что с ним делается. Перед выходом у всех оказалось что-

нибудь: у кого колечко, у кого вышитый кисет, не говоря о тех знаках нежности, которые не оставляют следа по себе. Иные удивлялись, кто почувствительнее, ударились в слезы, а большая часть посмеялись над собой и друг над другом.

Только Леонтий продолжал смотреть на нее серьезно, задумчиво и вдруг объявил, что женится на ней, если она согласится, лишь только он получит место и устроится. Над этим много смеялись товарищи, и она также.

Она прозвала его женихом и, смеясь, обещала написать к нему, когда придет время выходить замуж. Он принял это не шутя. С тем они и расстались.

Что было с ней потом, никто не знает. Известно только, что отец у ней умер, что она куда-то уезжала из Москвы и воротилась больная, худая, жила у бедной тетки, потом, когда поправилась, написала к Леонтью, спрашивала, помнит ли он ее и свои старые намерения.

Он отвечал утвердительно и лет через пять после выпуска ездил в Москву и приехал оттуда женатым на ней.

Он любил жену свою, как любят воздух и тепло. Мало того, он, погруженный в созерцание жизни древних, в их мысль и искусство, умудрился

видеть и любить в ней какой-то блеск и колорит древности, античность формы.

Вдруг иногда она мелькнет мимо него, сядет с шитьем напротив, он нечаянно из-за книги поразится лучом какого-то света, какой играет на ее профиле, на рыжих висках или на белом лбу.

Его поражала линия ее затылка и шеи. Голова ее казалась ему похожей на головы римских женщин на классических барельефах, на камеях: с строгим, чистым профилем, с такими же каменными волосами, немигающим взглядом и застывшим в чертах лица сдержанным смехом.

VII

Леонтий не узнал Райского, когда тот внезапно показался в его кабинете.

— Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить… — начал было он.

Но только Борис Павлович заговорил, он упал в его объятия.

— Жена! Улинька! Поди-ка, посмотри, кто приехал! — кричал он в садик жене.

Та бросилась и поцеловала Райского.

— Как вы возмужали и… похорошели! — сказала она, и глаза у нее загорелись от удовольствия.

Она бросила беглый взгляд на лицо, на костюм Райского и потом лукаво и смело глядела ему прямо в глаза.

— Вы всех здесь с ума сведете, меня первую… Помните?.. — начала она и глазами договорила воспоминание.

Райский немного смутился и поглядывал на Леонтия, что он, а он ничего. Потом он, не скрывая удивления, поглядел на нее, и удивление его возросло, когда он увидел, что годы так пощадили ее: в тридцать с небольшим лет она казалась если уже не прежней девочкой, то только разве

расцветшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной.

Бойкость выглядывала из ее позы, глаз, всей фигуры. А глаза по-прежнему мечут искры, тот же у ней пунцовый румянец, веснушки, тот же веселый, беспечный взгляд и, кажется, та же девическая резвость!

— Как вы… сохранились, — сказал он, — всё такая же…

— Моя рыжая Клеопатра! — заметил Леонтий. — Что ей делается: детей нет, горя мало…

— Вы не забыли меня: помните? — спросила она.

— Еще бы не помнить! — отвечал за него Леонтий. — Если ее забыл, так кашу не забывают… А Улинька правду говорит: ты очень возмужал, тебя узнать нельзя: с усами, с бородой! Ну, что бабушка? Как, я думаю, обрадовалась! Не больше, впрочем, меня. Да радуйся же, Уля: что ты уставила на него глаза и ничего не скажешь?

— Что же мне сказать?

— Скажи — salve, amico…[53]

— Ну, ты свое: я и без тебя сумею поздороваться, не учи!

---

[53] Примечания: 53
приветствую, друг… (*лат.*).

— Не знает, что сказать лучшему другу своего мужа! Ты вспомни, что он познакомил нас с тобой; с ним мы просиживали ночи, читывали…

— Да, если б не ты, — перебил Райский, — римские поэты и историки были бы для меня всё равно, что китайские. От нашего Ивана Ивановича не много узнали…

— А в школе, — продолжал Козлов, не слушая его, — защищал от забияк, и сам во всё время оттаскал меня за волосы… всего два раза…

— Так было и это? — спросила жена. — Ужели вы его били?

— Вероятно, шутя…

— Ах нет, Борис: больно! — сказал Леонтий, — иначе бы я не помнил, а то помню, и за что. Один раз я нечаянно на твоем рисунке на обороте сделал выписку откуда-то — для тебя же: ты взбесился! А в другой раз… ошибкой съел что-то у тебя…

— Не рисовую ли кашу? — спросила жена.

— Вот она мне этой рисовой кашей житья не дает, — заметил Леонтий, — уверяет, что я незаметно съел три тарелки и что за кашей и за кашу влюбился в нее. Что я, в самом деле, урод, что ли!

— Нет, ты у меня «умный, добрый и высокой нравственности», — сказала она, с своим за-

стывшим смехом в лице, и похлопала мужа по лбу, потом поправила ему галстух, выправила воротнички рубашки и опять поглядела лукаво на Райского.

Он, по взглядам, какие она обращала к нему, видел, что в ней улыбаются старые воспоминания и что она не только не хоронит их в памяти, но передает глазами и ему. Но он сделал вид, что не заметил того, что в ней происходило.

Он наблюдал ее молча, и у него в голове начался новый рисунок и два новые характера, ее и Леонтья.

«Всё та же; всё верна себе, не изменилась, — думал он. — А Леонтий знает ли, замечает ли? Нет, по-прежнему, кажется, знает наизусть чужую жизнь и не видит своей. Как они живут между собой… Увижу, посмотрю…»

— Кстати о каше: ты с нами отобедаешь, да? — спросил Леонтий.

— Как это можно! — вступилась жена, — приглашать на такой стол, как наш! Ведь вы уж не студенты: Борис Павлович в Петербурге избаловался, я думаю…

— Ты что ешь? — спросил Леонтий.

— Всё, — отвечал Райский.

— А если всё, так будешь сыт. Ну вот, как я рад.

Ах, Борис… право, и высказать не умею!

Он стал собирать со стола бумаги и книги.

— Бабушка как бы не стала ждать… — колебался Райский.

— Ну уж, ваша бабушка! — с неудовольствием заметила Ульяна Андреевна.

— А что?

— Не люблю я ее!

— За что же?

— Командовать очень любит… и осуждать тоже…

— Да, правда, она деспотка… Это от привычки владеть крепостными людьми. Старые нравы!

— Если послушать ее, — продолжала Ульяна Андреевна, — так всё сиди на месте, не повороти головы, не взгляни ни направо, ни налево, ни с кем слова не смей сказать: мастерица осуждать! А сама с Титом Никонычем неразлучна: тот и днюет и ночует там…

Райский засмеялся.

— Что вы, она просто святая! — сказал он.

— Ну уж, святая: то нехорошо, другое нехорошо. Только и света, что внучки! А кто их знает, какие они будут? Марфинька только с канарейками да с цветами возится, а другая сидит, как домовой, в углу, и слова от нее не добьешься. Что будет из

нее — посмотрим!

— Это Верочка? Я еще ее не видал, она за Волгой гостит…

— А кто ее знает, что она там делает за Волгой?

— Нет, я бабушку люблю, как мать, — сказал Райский, — от многого в жизни я отделался, а она всё для меня авторитет. Умна, честна, справедлива, своеобычна: у ней какая-то сила есть. Она недюжинная женщина. Мне кое-что мелькнуло в ней…

— Поэтому вы поверите ей, если она…

Ульяна Андреевна отвела Райского к окну, пока муж ее собирал и прятал по ящикам разбросанные по столу бумаги и ставил на полки книги.

— Поэтому вы поверите, если она скажет вам…

— Всему, — сказал Райский.

— Не верьте, неправда, — говорила она, — я знаю, она начнет вам шептать вздор… про m-r Шарля…

— Кто это m-r Шарль?

— Это француз, учитель, товарищ мужа: они там сидят, читают вместе до глубокой ночи… Чем я тут виновата? А по городу бог знает что говорят… будто я… будто мы…

Райский молчал.

— Не верьте — это глупости, ничего нет… — Она

смотрела каким-то русалочным, фальшивым взглядом на Райского, говоря это.

— Что мне за дело? — сказал Райский, порываясь от нее прочь, — я и слушать не стану…

— Когда же к нам опять придете? — спросила она.

— Не знаю, как случится…

— Приходите почаще… вы, бывало, любили…

— Вы всё еще помните прошлые глупости! — сказал Райский, отодвигаясь от нее, — ведь мы были почти дети…

— Да, хороши дети! Я еще не забыла, как вы мне руку оцарапали…

— Что вы! — сказал Райский, еще отступая от нее.

— Да, да. А кто до глубокой ночи караулил у решетки?..

— Какой я дурак был, если это правда! Да нет, быть не может!

— Да, вы теперь умны стали и тоже, я думаю, «высокой нравственности»… Шалун! — прибавила она певучим, нежным голосом.

— Полноте, полноте! — унимал он ее. Ему становилось неловко.

— Да, мое время проходит… — сказала она со вздохом, и смех на минуту пропал у нее из

лица. — Немного мне осталось… Что это, как мужчины счастливы: они долго могут любить…

— Любить! — иронически, почти про себя сказал Райский.

— Вы теперь уже не влюбитесь в меня — нет? — говорила она.

— Полноте: ни в вас, ни в кого! — сказал он, — мое время уж прошло: вон седина пробивается! И что вам за любовь — у вас муж, у меня свое дело… Мне теперь предстоит одно: искусство и труд. Жизнь моя должна служить и тому и другому…

Он задумался, и Марфинька, чистая, безупречная, с свежим дыханием молодости, мелькнула у него в уме.

Его тянуло домой, к ней и к бабушке, но радость свидания с старым товарищем удержала.

— Ну уж выдумают: труд! — с досадой отозвалась Ульяна Андреевна. — Состояние есть, собой молодец: только бы жить, а они — труд! Что это, право, скоро все на Леонтья будут похожи: тот уткнет нос в книги и знать ничего не хочет. Да пусть его! Вы-то зачем туда же?.. Пойдемте в сад… Помните наш сад?..

— Да, да, пойдемте! — пристал к ним Леонтий, — там и обедать будем. Вели, Улинька, давать, что есть — скорее. Пойдем, Борис, погово-

рим… Да… — вдруг спохватился он, — что же ты со мной сделаешь… за библиотеку?

— За какую библиотеку? Что ты мне там писал? Я ничего не понял! Какой-то Марк книги рвал…

— Ах, Борис Павлович, ты не можешь представить, сколько он мне горя наделал, этот Марк: вот посмотри!

Он достал книги три и показал Райскому томы с вырванными страницами.

— Вот что он сделал из Вольтера: какие тоненькие томы «Dictionnaire philosophique» стали… А вот тебе Дидро, а вот перевод Бэкона, а вот Макиавелли…

— Что мне за дело? — с нетерпением сказал Райский, отталкивая книги… — Ты точно бабушка: та лезет с какими-то счетами, этот с книгами! Разве я за тем приехал, чтобы вы меня со света гнали?

— Да как же, Борис: не знаю там, с какими она счетами лезла к тебе, а ведь это лучшее достояние твое, это — книги, книги… Ты посмотри!

Он с гордостью показывал ему ряды полок до потолка, кругом всего кабинета, и книги в блестящем порядке.

— Вот только на этой полке почти всё попорчено: проклятый Марк! А прочие все целы! Смотри! У меня каталог составлен: полгода сидел за ним.

Видишь!..

Он хвастливо показывал ему толстую писанную книгу, в переплете.

— Всё своей рукой написал! — прибавил он, поднося книгу к носу Райского.

— Отстань, я тебе говорю! — с нетерпением отозвался Райский.

— Ты вот садись на кресло и читай вслух по порядку, а я влезу на лестницу и буду тебе показывать книги. Они все по нумерам… — говорил Леонтий.

— Вон что выдумал! Отстань, я есть хочу.

— Ну, так после обеда — и в самом деле теперь не успеем.

— Послушай: тебе хотелось бы иметь такую библиотеку? — спросил Райский.

— Мне? Такую библиотеку?

Ему вдруг как будто солнцем ударило в лицо: он просиял и усмехнулся во всю ширину рта, так что даже волосы на лбу зашевелились.

— Такую библиотеку, — произнес он, — ведь тут тысячи три: почти всё! Сколько мемуаров одних! Мне? — Он качал головой. — С ума сойду!

— Скажи: ты любишь меня, — спросил Райский, — по-прежнему?

— Еще бы! Из нужды выручал, оттаскал за во-

лосы всего два раза…

— Ну так возьми себе эти книги в вечное и потомственное владение, но на одном условии…

— Мне, взять эти книги! — Леонтий смотрел то на книги, то на Райского, потом махнул рукой и вздохнул.

— Не шути, Борис: у меня в глазах рябит… Нет, vade retro…[54] Не обольщай…

— Я не шучу.

— Бери, когда дают! — живо прибавила жена, которая услышала последние слова.

— Вот она у меня всегда так! — жаловался Леонтий. — От купцов на праздники и к экзамену родители явятся с гостинцами — я вон гоню отсюда, а она их примет оттуда, со двора. Взяточница! С виду точь-в-точь Тарквиниева Лукреция, а любит лакомиться, не так, как та!..

Райский улыбнулся, она рассердилась.

— Поди ты с своей Лукрецией! — небрежно сказала она, — с кем он там меня не сравнивает? Я — и Клеопатра, и какая-то Постумия, и Лавиния, и Корнелия, еще Матрона… Ты лучше книги бери, когда дарят! Борис Павлович подарит мне…

— Не смей просить! — повелительно крикнул

---

[54] Примечания: 54
отыди… (лат.).

Леонтий. — А мы что ему подарим? Тебя, что ли, отдам? — добавил он, нежно обняв ее рукой.

— Отдай: я пойду — возьмите меня! — сказала она, вдруг сверкнув Райскому в глаза взглядом, как будто огнем.

— Ну, если не берешь, так я отдам книги в гимназию: дай сюда каталог! Сегодня же отошлю к директору… — сказал Райский и хотел взять у Леонтия реестр книг.

— Помилуй: это значит, гимназия не увидит ни одной книги… Ты не знаешь директора? — с жаром восстал Леонтий и сжал крепко каталог в руках. — Ему столько же дела до книг, сколько мне до духов и помады… Растаскают, разорвут — хуже Марка!

— Ну так бери!

— Да как же вдруг этакое сокровище подарить! Ее продать в хорошие, надежные руки — так… Ах, Боже мой! Никогда не желал я богатства, а теперь тысяч бы пять дал… Не могу, не могу взять: ты мот, ты блудный сын — или нет, нет, ты слепой младенец, невежа…

— Покорно благодарю…

— Нет, нет — не то, — говорил, растерявшись, Леонтий. — Ты — артист: тебе картины, статуи, музыка. Тебе что книги? Ты не знаешь, что у тебя

тут за сокровища! Я тебе после обеда покажу…

— А! Ты и после обеда, вместо кофе, хочешь мучить меня книгами: в гимназию!

— Ну, ну, постой: на каком условии ты хотел отдать мне библиотеку? Не хочешь ли из жалованья вычитать, я всё продам, заложу себя и жену…

— Пожалуйста, только не меня… — вступилась она, — я и сама сумею заложить или продать себя, если захочу!

Райский поглядел на Леонтья, Леонтий на Райского.

— За словом в карман не пойдет! — сказал Козлов. — На каком же условии? Говори! — обратился он к Райскому.

— Чтоб ты никогда не заикался мне о книгах, сколько бы их Марк ни рвал…

— Так ты думаешь, я Марку дам теперь близко подойти к полкам?

— Он не спросится тебя, подойдет и сам, — сказала жена, — чего он испугается, этот урод?

— Да, это правда: надо крепкие замки приделать, — заметил Леонтий. — Да и ты хороша: вот, — говорил он, обращаясь к Райскому, — любит меня, как дай Бог, чтоб всякого так любила жена…

Он обнял ее за плечи: она опустила глаза, Рай-

ский тоже; смех у ней пропал из лица.

— Если б не она, ты бы не увидал на мне ни одной пуговицы, — продолжал Леонтий, — я ем, сплю покойно, хозяйство хоть и маленькое, а идет хорошо; какие мои средства: а на всё хватает!

Она мало-помалу подняла глаза и смотрела прямее на них обоих, оттого что последнее было правда.

— Только вот беда, — продолжал Леонтий, — к книгам холодна. По-французски болтает проворно, а дашь книгу, половины не понимает; по-русски о сю пору с ошибками пишет. Увидит греческую печать, говорит, что хорошо бы этакий узор на ситец, и ставит книги вверх дном, а полатыни заглавия не разберет. «Opera Horatii»[55] — переводит «Горациевы оперы»!..

— Ну, не поминай же мне больше о книгах: на этом условии я только и не отдам их в гимназию, — заключил Райский. — А теперь давай обедать: или я к бабушке уйду. Мне есть хочется.

---

[55] Примечания: 55
«Сочинения Горация» (*лат.*).

VIII

— Скажи, пожалуйста: ты так век думаешь прожить? — спросил Райский после обеда, когда они остались в беседке.

— Да, а как же? Чего же мне еще? — спросил с удивлением Леонтий.

— Ничего тебе не хочется, никуда не тянет тебя? Не просит голова свободы, простора? Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи — всё вон этот забор, вдали — вон этот купол церкви, дома… под носом…

— А под носом — вон что! — Леонтий указал на книги, — мало, что ли? Книги, ученики… жена впридачу, — он засмеялся, — да душевный мир… Чего больше?

— Книги! Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело; люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, в нравах; наконец, привести в порядок и общественное хозяйство… А он глядит в книгу, а не в жизнь!

— Чего нет в этих книгах, того и в жизни нет или не нужно! — торжественно решил Леонтий. —

Вся программа, и общественной, и единичной жизни, у нас позади: все образцы даны нам. Умей напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только — и будешь знать, что делать. Позади найдешь образцы форм и политических, и общественных порядков. И лично для себя то же самое: кто ты: полководец, писатель, сенатор, консул, или невольник, или школьный мастер, или жрец? Смотри: вот они все живые здесь — в этих книгах. Учи их жизнь и живи, учи их ошибки и избегай, учи их добродетели и, если можно, подражай. Да трудно! Их лица строги, черты крупны, характеры цельны и не разбавлены мелочью! Трудно вливаться в эти величавые формы, как трудно надевать их латы, поднимать мечи, секиры! Не поднять и подвигов их! Мы и давай выдумывать какую-то свою, новую жизнь! Вот отчего мне никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось: не верю я в этих нынешних великих людей…

Он говорил с жаром, и черты лица у самого у него сделались как у тех героев, о которых он говорил.

— Стало быть, по-твоему, жизнь там и кончилась, а это всё не жизнь? Ты не веришь в развитие, в прогресс?

— Как не верить, верю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человек — исчезнет: всё это приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмысленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять колоссальные фигуры, опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впоследствии образует вторую древность. Как не веровать в прогресс! Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия. Наше дело теперь — понемногу опять взбираться на потерянный путь и… достигать той же крепости, того же совершенства в мысли, в науке, в правах, в нравах и в своем общественном хозяйстве… цельности в добродетелях и, пожалуй, в пороках! Низость, мелочи, дрянь — всё побледнеет: выправится человек и опять встанет на железные ноги… Вот и прогресс!

— Ты всё тот же старый студент, Леонтий! Всё нянчишься с отжившей жизнью, а о себе не подумаешь, кто ты сам?

— Кто? — повторил Козлов, — учитель латинского и греческого языков. Я так же нянчусь с этими отжившими людьми, как ты с своими никогда не жившими идеалами и образами. А

ты кто? Ведь ты художник, артист? Что же ты удивляешься, что я люблю какие-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать из древнего источника…

— Да, художник! — со вздохом сказал Райский, — художество мое здесь, — он указал на голову и грудь, — здесь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества, и вот еще я почти не начал…

— Что же мешает? Ведь ты рисовал какую-то большую картину: ты писал, что готовишь ее на выставку…

— Черт с ними, с большими картинами! — с досадой сказал Райский, — я бросил почти живопись. В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли из того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекает. Я пишу иногда портреты…

— Что же ты делаешь теперь?

— Есть одно искусство: оно лишь может удовлетворить современного художника: искусство слова, поэзия: оно безгранично. Туда уходит и живопись, и музыка — и еще там есть то, чего не дает ни то ни другое…

— Что ж ты, пишешь стихи?

— Нет… — с досадой сказал Райский, — стихи

— это младенческий лепет. Ими споешь любовь, пир, цветы, соловья… лирическое горе, такую же радость — и больше ничего…

— А сатира? — возразил Леонтий, — вот, постой, вспомним римских старцев…

Он пошел было к шкафу, Райский остановил его.

— Сиди смирно, — сказал он. — Да, иногда можно удачно хлестнуть стихом по больному месту. Сатира — плеть: ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркала… Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека!

— Так ты пишешь роман… о чем же?

Райский махнул рукой.

— И сам еще не знаю! — сказал он.

— Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и без романа на всяком шагу в глаза лезет. В современной литературе всякого червяка, всякого мужика, бабу — всё в роман суют… Возьми-ка предмет из истории, воображение у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь, о древней Руси ты писал?.. А то далась современная жизнь!.. муравейник, мышиная возня: дело ли это искусства?.. Это газетная литература!

— Ах ты, старовер! как ты отстал здесь! О газетах потише — это Архимедов рычаг: они ворочают миром…

— Ну уж мир! Эти ваши Наполеоны да Пальмерстоны…

— Это современные титаны: Цесари и Антонии… — сказал Райский…

— Полно, полно! — с усмешкой остановил Леонтий, — разве титаниды, выродки старых больших людей. Вон почитай, у m-r Шарля есть книжечка, «Napoléon le Petit»[56], Гюго. Он современного Цесаря представляет в настоящем виде: как этот Регул во фраке дал клятву почти на форуме спасать отечество, а потом…

— А твой титан — настоящий Цесарь, что: не то же ли самое хотел сделать?

— Хотел, да подле случился другой титан — и не дал!

— Ну, мы затеяли с тобой опять старый, бесконечный спор, — сказал Райский, — когда ты оседлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставим это пока. Обращусь опять к своему вопросу: ужели тебе не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятий?

---

[56] Примечания: 56
«Наполеон Малый» (*фр.*).

Козлов отрицательно покачал головой.

— Помилуй, Леонтий; ты ничего не делаешь для своего времени, ты пятишься, как рак. Оставим римлян и греков — они сделали свое. Будем же делать и мы, чтоб разбудить это (он указал вокруг на спящие улицы, сады и дома). Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя!

— Как же это сделать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале, а ты…

— Я… тоже кое-что делаю: несколько поколений к университету приготовил… — робко заметил Козлов и остановился, сомневаясь, заслуга ли это? — Ты думаешь, — продолжал он, — я схожу в класс, а оттуда домой, да и забыл? За водочку, потом вечером за карты или трусь у губернатора на вечерах: ни-ни! Вот моя академия, — говорил он, указывая на беседку, — вот и портик — это крыльцо, а дождь идет — в кабинете: наберется ко мне юности, облепят меня. Я с ними рассматриваю рисунки древних зданий, домов, утвари, — сам черчу, объясняю, как, бывало, тебе: что сам знаю, всем делюсь. Кто постарше, с теми вперед заглядываю, разбираю им Софокла, Аристофана. Не всё, конечно; нельзя всего: где наготы много, я

там прималчиваю… Толкую им эту образцовую жизнь, как толкуют образцовых поэтов: разве это теперь уж не надо никому? — говорил он, глядя вопросительно на Райского.

— Хорошо, да всё это не настоящая жизнь, — сказал Райский, — так жить теперь нельзя. Многое умерло из того, что было, и многое родилось, чего не ведали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловечивания себя и всего около себя. Это задача каждого из нас…

— Ну, за это я не берусь: довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ем, как видишь, лапшу… Что же делать?.. — Он задумался.

— Жизнь «для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба. А ты хочешь жить барашком!

— Я уж сказал тебе, что я делаю свое дело и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогает!

— Ты напоминаешь мне Софью, кузину: та тоже не хочет знать жизни, зато она — великолепная кукла! Жизнь достанет везде, и тебя достанет! Что ты тогда будешь делать, не приготовленный

к ней?

— Что ей меня доставать? Я такой маленький человек, что она и не заметит меня. Есть у меня книги, хотя и не мои… (он робко поглядел на Райского). Но ты оставляешь их в моем полном распоряжении. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любит…

Райский посмотрел в сторону.

— А я люблю ее… — добавил Леонтий тихо. — Посмотри, посмотри, — говорил он, указывая на стоявшую на крыльце жену, которая пристально глядела на улицу и стояла к ним боком, — профиль, профиль: видишь, как сзади отделился этот локон, видишь этот немигающий взгляд? Смотри, смотри: линия затылка, очерк лба, падающая на шею коса! Что, не римская голова?

Он загляделся на жену, и тайное умиление медленным лучом прошло у него по лицу и застыло в задумчивых глазах. Даже румянец пробился на щеках.

Видно было, что рядом с книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо приютилось и сердце, и он сам не знал, чем он так крепко связан с жизнью и с книгами, не подозревал, что если б пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую «римскую голову», по всей жизни

его прошел бы паралич.

«Счастливое дитя! — думал Райский, — спит и в ученом сне своем не чует, что подле него эта любимая им римская голова полна тьмы, а сердце пустоты и что одной ей бессилен он преподать “образцы древних добродетелей”!»

IX

Уж на закате вернулся Райский домой. Его встретила на крыльце Марфинька.

— Где это вы пропадали, братец? Как на вас сердится бабушка! — сказала она, — просто не глядит.

— Я у Леонтья был, — отвечал он равнодушно.

— Я так и знала; уж я уговаривала, уговаривала бабушку — и слушать не хочет, даже с Титом Никонычем не говорит. Он у нас теперь, и Полина Карповна тоже. Нил Андреич, княгиня, Василий Андреич присылали поздравить с приездом…

— Им что за дело?

— Они каждый день присылали узнавать о приезде.

— Очень нужно!

— Подите, подите к бабушке: она вам даст! — пугала Марфинька. — Вы очень боитесь? Сердце бьется?

Райский усмехнулся.

— Она очень сердита. Мы наготовили столько блюд!

— Мы ужинать будем, — сказал Райский.

— В самом деле: вы хотите, будете? Бабушка,

бабушка! — говорила она радостно, вбегая в комнату. — Братец пришел: ужинать будет!

Но бабушка, насупясь, сидела и не глядела, как вошел Райский, как они обнимались с Титом Никонычем, как жеманно кланялась Полина Карповна, сорокапятилетняя разряженная женщина, в кисейном платье, с весьма открытой шеей, с плохо застегнутыми на груди крючками, с тонким кружевным носовым платком и с веером, которым она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко.

— Каким молодцом! Как возмужали! Вас не узнаешь! — говорил Тит Никоныч, сияя добротой и удовольствием.

— Очень, очень похорошели! — протяжно говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая, которая, к соблазну бабушки, в прошлый приезд наградила его поцелуем.

— Вы не переменились, Тит Никоныч! — заметил Райский, оглядывая его, — почти не постарели, так бодры, свежи и так же добры, любезны!

Тит Никоныч расшаркался, подняв немного одну ногу назад.

— Слава Богу: только вот ревматизмы и желудок не совсем… старость!

Он взглянул на дам и конфузливо остановился.

— Ну, слава Богу, вот вы и наш гость, благополучно доехали… — продолжал он. — А Татьяна Марковна опасались за вас: и овраги, и разбойники… Надолго пожаловали?

— О, верно, лето пробудете, — заметила Крицкая, — здесь природа, чистый воздух! Здесь так многие интересуются вами…

Он сбоку поглядел на нее и ничего не сказал.

— Как у предводителя все будут рады! Как вице-губернатор желает вас видеть!.. Окрестные помещики нарочно приедут в город… — приставала она.

— Они не знают меня, что им?..

— Так много слышали интересного, — говорила она, смело глядя на него. — Вы помните меня?

Бабушка отвернулась в сторону, заметив, как играла глазами Полина Карповна.

— Нет… признаюсь… забыл…

— Да, в столице все впечатления скоро проходят! — сказала она томно. — Как хорош ваш дорожный туалет! — прибавила потом, оглядывая его.

— В самом деле, я еще в дорожном пальто, — сказал Райский. — Там надо бы вынуть из чемодана всё платье и белье… Надо позвать Егора.

Егор пришел, и Райский отдал ему ключ от

чемодана.

— Вынь всё из него и положи в моей комнате, — сказал он, — а чемодан вынеси куда-нибудь на чердак. — Вам, бабушка, и вам, милые сестры, я привез кое-какие безделицы на память… Надо бы принести их сюда…

Марфинька вся покраснела от удовольствия.

— Бабушка, где вы меня поместите? — спросил он.

— Дом твой: где хочешь, — холодно сказала она.

— Не сердитесь, бабушка, я в другой раз не буду… — смеясь, сказал он.

— Смейся, смейся, Борис Павлович, а вот при гостях скажу, что нехорошо поступил: не успел носа показать и пропал из дома. Это неуважение к бабушке…

— Какое неуважение? Ведь я с вами жить стану, каждый день вместе. Я зашел к старому другу и заговорился…

— Конечно, бабушка, братец ненарочно: Леонтий Иванович такой добрый…

— Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашивают: рано тебе перечить бабушке! Она знает, что говорит!

Марфинька покраснела и с усмешкой села в

угол.

— Ульяна Андреевна сумела лучше угостить тебя: где мне столичных франтов принимать! — продолжала свое бабушка. — Что она там тебе, каких фрикасе наставила? — отчасти с любопытством спросила Татьяна Марковна.

— Была лапша, — вспоминал Райский, — пирог с капустой и яйцами… жареная говядина с картофелем.

Бережкова иронически засмеялась.

— Лапша и говядина!

— Да, еще каша на сковороде: превкусная, — досказал Райский.

— Таких редкостей ты, я думаю, давно не пробовал в Петербурге.

— Как давно: я очень часто обедаю с художниками.

— Это вкусные блюда, — снисходительно заметил Тит Никоныч, — но тяжелы для желудка.

— И вы тоже! Ну хорошо, — развеселясь, сказала бабушка, — завтра, Марфинька, мы им велим потрохов наготовить, студеня, пирогов с морковью, не хочешь ли еще гуся…

— Фи, — сделала Полина Карповна, — станут ли «они» кушать такие неделикатные блюда?

— Хорошо, — сказал Райский, — особенно если

начинить его кашей…

— Это неудобосваримое блюдо! — заметил Тит Никоныч, — лучше всего легкий супец из крупы, котлетку, цыпленка и желе… вот настоящий обед…

— Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы! — сказал Райский, — люблю еще деревенский студень. Велите приготовить: я давно не ел…

— Грибы, братец, любите? — спросила Марфинька, — у нас множество.

— Как не любить? Нельзя ли к ужину?..

— Прикажи, Марфинька, Петру… — сказала бабушка.

— Напрасно, матушка, напрасно! — говорил, морщась, Тит Никоныч, — тяжелое блюдо…

— Ты не шутя ужинать будешь? — спросила Татьяна Марковна, смягчаясь.

— И очень не шутя, — сказал Райский. — И если в погребах моего «имения» есть шампанское — прикажите подать бутылку к ужину: мы с Титом Никонычем выпьем за ваше здоровье. Так, Тит Никоныч?

— Да — и поздравим вас с приездом, — хотя на ночь грибы и шампанское… неудобосваримо…

— Опять за свое! Вели, Марфинька, шампанское

в лед поставить… — сказала бабушка.

— Как угодно — ce que femme veut…[57] — любезно заключил Ватутин, шаркнув ножкой и спрятав ее под стул.

— Ужин ужином, а обедать следовало дома: вот ты огорчил бабушку! В первый день приезда из семьи ушел.

— Ах, Татьяна Марковна, — вступилась Крицкая, — это у нас по-мещански, а в столице…

Глаза у бабушки засверкали.

— Это не мещане, Полина Карповна! — с крепкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райского, а также Веры и Марфиньки, развешанные по стенам, — и не чиновники из палаты, — прибавила она, намекая на покойного мужа Крицкой.

— Борис Павлович хотел сделать перед обедом моцион, вероятно, зашел далеко и тем самым поставил себя в некоторого рода невозможность поспеть… — начал оправдывать его Тит Никоныч.

— Молчите вы с своим моционом! — добродушно крикнула на него Татьяна Марковна. — Я ждала его две недели, от окна не отходила, сколь-

---

[57] Примечания: 57
чего хочет женщина… (*фр.*).

ко обедов пропадало! Сегодня наготовили, вдруг приехал и пропал! На что похоже? И что скажут люди: обедал у чужих — лапшу да кашу: как будто бабушке нечем накормить.

Тит Никоныч уклончиво усмехнулся, немного склоня голову, и замолчал.

— Бабушка! заключим договор, — сказал Райский, — предоставим полную свободу друг другу и не будем взыскательны! Вы делайте, как хотите, и я буду делать, что и как вздумаю… Обед я ваш съем сегодня за ужином, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мере сегодня. А куда завтра денусь, где буду обедать и где ночую — не знаю!

— Браво, браво! — с детской резвостью воскликала Крицкая.

— Что же это такое? Цыган, что ли, ты? — с удивлением сказала бабушка.

— Мсьё Райский поэт, а поэты свободны, как ветер! — заметила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носком башмака и всячески стараясь задеть чем-нибудь внимание Райского.

Но чем она больше хлопотала, тем он был холоднее. Его уж давно коробило от ее присутствия. Только Марфинька, глядя на нее, исподтишка посмеивалась. Бабушка не обратила внимания

на ее замечание.

— Два своих дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрусталя — а он будет из угла в угол шататься… как окаянный, как Маркушка бездомный!

— Опять Маркушка! Надо его увидать и познакомиться с ним!

— Нет, ты не огорчай бабушку, не делай этого! — повелительно сказала бабушка. — Где завидишь его, беги!

— Почему же?

— Он тебя с пути собьет!

— Нужды нет, а любопытно: он, должно быть, замечательный человек. Правда, Тит Никоныч?

Ватутин усмехнулся.

— Он, так сказать, загадка для всех, — отвечал он. — Должно быть, сбился в ранней молодости с прямого пути… Но, кажется, с большими дарованиями и сведениями: мог бы быть полезен…

— Груб, невеж*ия*! — сказала с достоинством Крицкая, глядя в сторону. Она немного пришепетывала.

— Да, с дарованиями: тремястами рублей поплатились вы за его дарования! Отдал ли он вам? — спросила Татьяна Марковна.

— Я… не спрашивал! — сказал Тит Никоныч, —

впрочем, он со мной… почти вежлив.

— Не бьет при встрече, не стрелял еще в вас? Чуть Нила Андреевича не застрелил, — сказала она Райскому.

— Собаки его мне шлейф разорвали! — жаловалась Крицкая.

— Не приходил опять обедать к вам «без церемонии»? — спросила опять бабушка Ватутина.

— Нет, вам не угодно, чтоб я его принимал, я и отказываю, — сказал Ватутин. — Он однажды пришел ко мне с охоты ночью и попросил кушать: сутки не кушал, — сказал Тит Никоныч, обращаясь к Райскому, — я накормил его, и мы приятно провели время…

— Приятно? — возразила бабушка, — слушать тошно! Пришел бы ко мне об эту пору: я бы ему дала обед! Нет, Борис Павлович: ты живи, как люди живут, побудь с нами дома, кушай, гуляй, с подозрительными людьми не водись, смотри, как я распоряжаюсь имением, побрани, если что-нибудь не так…

— Всё это, бабушка, скучно: будем жить, как кому вздумается…

— Обедать, где попало, лапшу, кашу? не прийти домой… так, что ли? Хорошо же: вот я буду уезжать в Новоселово, свою деревушку, или со-

берусь гостить к Анне Ивановне Тушиной, за Волгу: она давно зовет, и возьму все ключи, не велю готовить, а ты вдруг придешь к обеду: что ты скажешь?

— Ничего не скажу.

— Не удивит и не огорчит это тебя?

— Нисколько.

— Куда же ты денешься?

— В трактир пойду.

— В трактир! — с ужасом сказала бабушка. И Тит Никоныч сделал движение.

— Кто же вас пустит в трактир? — возразил он, — мой дом, кухня, люди, я сам — к вашим услугам, — я за честь поставлю…

— Разве ты ходишь по трактирам? — строго спросила бабушка.

— Я всегда в трактире обедаю.

— Не играешь ли на бильярде или не куришь ли?

— Охотник играть и курю. Надо достать сигары. Я вас отличными попотчую, Тит Никоныч.

— Покорнейше благодарю: я не курю. Никотин очень вредно действует на легкие и на желудок: осадок делает и насильственно ускоряет пищеварение. Притом… неприятно дамам.

— Странный, необыкновенный человек! — ска-

зала бабушка.

— Нет, бабушка: вы необыкновенная женщина.

— Чем же я необыкновенная?

— Как же: ешь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется, — зачем стеснять себя?

— Чтоб угодить бабушке.

— О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вам — не угодить себе; угодить себе — не угодить вам: нет ли выхода из этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?

— Слышите: бабушка угождай внуку! Да я тебя маленького на руках носила!

— Если вы будете очень стары, я вас на себе повезу!

— Разве я не угождаю тебе? Кого я ждала неделю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты и новые рамы вставила, занавески купила шелковые…

— Это всё вы угождали себе, а не мне!

— Себе! — с изумлением повторила она.

— Да, вам эти хлопоты приятны, они занимают вас; признайтесь, вам бы без них и делать нечего было? Обедами вы хотели похвастаться, вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка к вам,

вы бы и ему наготовили всего…

— Правда, правда, братец: непременно бы наготовила, — сказала Марфинька, — бабушка предобрая, только притворяется…

— Молчи ты, тебя не спрашивают! — опять остановила ее Татьяна Марковна, — всё переговаривает бабушку! Это она при тебе такая стала; она смирная, а тут вдруг! Чего не выдумает: Маркушку угощать!

— Да, да, следовательно, вы делали, что вам нравилось. А вот как я вздумал захотеть, что мне нравится, это расстроило ваши распоряжения, оскорбило ваш деспотизм. Так, бабушка, да? Ну, поцелуйте же меня, и дадим друг другу волю…

— Какой странный человек! Слышите, Тит Никоныч, что он говорит! — обратилась бабушка к Ватутину, отталкивая Райского.

— Приятно слушать: очень, очень умно — я ловлю каждое слово! — сказала Крицкая, которая всё ловила взгляд Райского, но напрасно.

Тит Никоныч потупился, потом дружески улыбнулся Райскому.

— И я не выжила из ума! — отозвалась сердито бабушка на замечание гостьи.

— Видно, что Борис Павлович читал много новых, хороших книг… — уклончиво произнес

Ватутин. — Слог прекрасный! Однако, матушка, сюда самовар несут, я боюсь… угара…

— Пойдемте на крыльцо, в садик, чай пить! — сказала Татьяна Марковна.

— Не сыро ли будет там? — заметил Ватутин.

В тот же вечер бабушка и Райский заключили если не мир, то перемирие.

Бабушка убедилась, что внук любит и уважает ее: и как мало надо было, чтобы убедиться в этом!

Райский разобрал чемодан и вынул подарки: бабушке он привез несколько фунтов отличного чаю, до которого она была большая охотница, потом нового изобретения кофейник с машинкой и шелковое платье темно-коричневого цвета. Сестрам по браслету, с вырезанными шифрами. Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, как просила бабушка, и кусок морского каната класть в уши, как просил он.

Бабушка была тронута до слез.

— Меня, старуху, вспомнил! — говорила она, севши подле него и трепля его по плечу.

— Кого же мне вспомнить: вы у меня одни, бабушка!

— Да как же это, — говорила она, — счеты рвал, на письма не отвечал, имение бросил, а тут

вспомнил, что я люблю иногда рано утром одна напиться кофе: кофейник привез, не забыл, что чай люблю, и чаю привез, да еще платье! Баловник, мот! Ах, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человек!

Марфинька так покраснела от удовольствия, что щеки у ней во всё время, пока рассматривали подарки и говорили о них, оставались красны.

Она, как случается с детьми, от сильной радости, забыла поблагодарить Райского.

— А ты и не благодаришь — хороша! Как обрадовалась! — сказала Татьяна Марковна.

Марфинька сконфузилась и присела. Райский засмеялся.

— Какая я дура — приседаю! — сказала она.

Она подошла и обняла его.

Тит Никоныч смутился, растерялся в шарканье и благодарственных приветствиях.

Райский тоже, увидя свою комнату, следя за бабушкой, как она чуть не сама делала ему постель, как опускала занавески, чтоб утром не беспокоило его солнце, как заботливо расспрашивала, в котором часу его будить, что приготовить — чаю или кофе поутру, масла или яиц, сливок или варенья, — убедился, что бабушка не всё угождает себе этим, особенно когда она попробовала ру-

кой, мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велела поставить графин с водой на столик, а потом раза три заглянула, спит ли он, не беспокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь.

Тит Никоныч и Крицкая ушли. Последняя затруднялась, как ей одной идти домой. Она говорила, что не велела приехать за собой, надеясь, что ее проводит кто-нибудь. Она взглянула на Райского. Тит Никоныч сейчас же вызвался, к крайнему неудовольствию бабушки.

— Егорка бы проводил! — шептала она, — сидела бы дома — кто просил!

— Благодарю вас, благодарю… — сказала Полина Карповна мимоходом Райскому.

— За что? — спросил он с удивлением.

— За приятный, умный разговор — хотя не со мной… но я много унесла из него…

— Разговор больше практический, — сказал он, — о каше, о гусе, потом ссорились с бабушкой…

— Не говорите, я знаю… — говорила она нежно, — я заметила два взгляда, два только… они принадлежали мне, да, признайтесь? О, я чего-то жду и надеюсь…

С этим она ушла. Райский обратился к Марфиньке, взглядом спрашивая, что это такое.

— Какие это два взгляда? — сказал он.

Марфинька засмеялась.

— Она всегда такая у нас! — заметила она.

— Что она там тебе шептала? Не слушай ее! — сказала бабушка, — она всё еще о победах мечтает.

Райский сбросил было долой гору наложенных одна на другую мягких подушек и взял с дивана одну жесткую, потом прогнал Егорку, посланного бабушкой раздевать его. Но бабушка переделала опять по-своему: велела положить на свое место подушки и воротила Егора в спальню Райского.

— Какая настойчивая деспотка! — говорил Райский, терпеливо снося, как Егорка снимал сапоги, расстегнул ему платье, даже хотел было снять чулки. Райский утонул в мягких подушках.

Через полчаса бабушка заглянула к нему в комнату.

— Что вы? — спросил он.

— Я пришла посмотреть, горит ли у тебя свечка: что ты не погасишь? — заметила она.

Он засмеялся.

— Покурить хочется, да сигары забыл у вас на столе, — сказал он.

Она принесла сигары.

— На вот, кури скорей, а то я не лягу, боюсь, —

говорила она.

— Ну так я не стану курить.

— Кури, говорят тебе! — приказывала она.

Но он потушил свечку.

«Какой своеобычный: даже бабушки не слушает! Странный человек!» — думала Татьяна Марковна, ложась.

Райский прожил этот день, как давно не жил, и заснул таким вольным, здоровым сном, каким, казалось ему, не спал с тех пор, как оставил этот кров.

X

Райский провел уже несколько таких дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести их под этой кровлей, между огородом, цветником, старым, запущенным садом и рощей, между новым, полным жизни, уютным домиком и старым, полинявшим, частию с обвалившейся штукатуркой домом, в полях, на берегах, над Волгой, между бабушкой и двумя девочками, между Леонтьем и Титом Никонычем.

Он невольно пропитывался окружавшим его воздухом, не мог отмахаться от впечатлений, которые клала на него окружающая природа, люди, их речи, весь склад и оборот этой жизни.

Он на каждом шагу становился в разлад с ними, но пока не страдал еще от этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простоте этой жизни, как, ложась спать, поддался деспотизму бабушки и утонул в мягких подушках.

Если он зевал, то пока не от скуки, а от пищеварения или от здоровой усталости.

Жилось ему сносно: здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше,

выше, умнее, нравственнее; а между тем на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось, и едва ли не умнее. Там, в куче людей с развитыми понятиями, бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют; здесь, не думая о том, все просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту.

Бабушка была по-прежнему хлопотлива, любила повелевать, распоряжаться, действовать, ей нужна была роль. Она век свой делала дело, и если не было, так выдумывала его.

По-прежнему у ней не было позыва идти вникать в жизнь дальше стен, садов, огородов «имения» и, наконец, города. Этим замыкался весь ее мир.

Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, ссорится за них с Райским, и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам.

Но когда Райский пригляделся попристальнее, то увидел, что в тех случаях, которые не могли почему-нибудь подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно.

Сквозь обветшавшую и иногда никуда не пригодную мудрость у нее пробивалась живая струя

здравого практического смысла, собственных идей, взглядов и понятий. Только когда она пускала в ход собственные силы, то сама будто пугалась немного и беспокойно искала подкрепить их каким-нибудь бывшим примером.

Райскому нравилась эта простота форм жизни, эта определенная, тесная рама, в которой приютился человек и пятьдесят-шестьдесят лет живет повторениями, не замечая их, и всё ожидая, что завтра, послезавтра, на следующий год случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное.

«Как это они живут?» — думал он, глядя, что ни бабушке, ни Марфиньке, ни Леонтью никуда не хочется, и не смотрят они на дно жизни, что лежит на нем, и не уносятся течением этой реки вперед, к устью, чтоб остановиться и подумать, что это за океан, куда вынесут струи? Нет! «Что Бог даст!» — говорит бабушка.

Рассуждает она о людях, ей знакомых, очень метко, рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается; горизонт ее кончается — с одной стороны полями, с другой — Волгой и ее горами, с третьей — городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет.

Желает она в конце зимы, чтоб весна скорей наступила, чтоб река прошла к такому-то дню, чтоб лето было теплое и урожайное, чтоб хлеб был в цене, а сахар дешев, чтоб, если можно, купцы давали его даром, так же как и вино, кофе и прочее.

Любила, чтоб к ней губернатор изредка заехал с визитом, чтобы приезжее из Петербурга важное или замечательное лицо непременно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она к ней, после обедни в церкви поздороваться, чтоб, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочих покупателей, когда она явится в лавку, чтоб никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались, до того, чтоб кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сеновале, и чтоб Тараска не напивался пьян, даже когда они могли бы делать это так, чтоб она не узнала.

Любила она, чтобы всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в именины ее все, начиная с архиерея, губернатора и до последнего повытчика в палате, чтобы три дня город поминал ее роскошный завтрак, нужды нет, что ни губернатор, ни повытчики не пользовались ее искренним рас-

положением. Но если бы не пришел в этот день m-r Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно обиделась.

В этот день она, по всей вероятности, втайне желала, чтобы зашел на пирог даже Маркушка.

До приезда Райского жизнь ее покоилась на этих простых и прочных основах, и ей в голову не приходило, чтобы тут было что-нибудь не так, чтобы она весь век жила в какой-то «борьбе с противоречиями», как говорил Райский.

Если когда-нибудь и случалось противоречие, какой-нибудь разлад, то она приписывала его никак не себе, а другому лицу, с кем имела дело, а если никого не было, так судьбе. А когда явился Райский и соединил в себе и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это к непослушанию внука и к его странностям.

Она горячо защищалась, сначала преданиями, сентенциями и пословицами, но когда эта мертвая сила от первого прикосновения живой силы анализа разлеталась в прах, она сейчас хваталась за свою природную логику.

Этого только и ждал Райский, зная, что она сейчас очутится между двух огней: между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом — и тогда ей надо было или согласиться

с ним, или отступить от старины.

Но бабушка триумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала спор, опираясь деспотически на авторитет, уже не мудрости, а родства и своих лет.

Райский, не уступая ей на почве логики, спускал флаг перед ее симпатией и, смеясь, становился перед ней на колени и целовал у ней руку.

Он удивлялся, как могло всё это уживаться в ней, и как бабушка, не замечая вечного разлада старых и новых понятий, ладила с жизнью и переваривала всё это вместе, и была так бодра, свежа, не знала скуки, любила жизнь, веровала, не охлаждаясь ни к чему, и всякий день был для нее как будто новым, свежим цветком, от которого назавтра она ожидала плодов.

Бабушка, Марфинька, даже Леонтий — а он мыслящий, ученый, читающий — все нашли свою точку опоры в жизни, стали на нее и счастливы.

Бабушка добыла себе, как будто купила на вес, жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочет того, чего с ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли там еще что-нибудь или нет.

От этого она открыла большие глаза на его «мудреные», казавшиеся ей иногда шальными,

слова, «цыганские» поступки, споры.

— Странный, своеобычный человек, — говорила она и надивиться не могла, как это он не слушается ее и не делает, что она указывает. Разве можно жить иначе? Тит Никоныч в восхищении от нее, сам Нил Андреич отзывается одобрительно, весь город тоже уважает ее, только Маркушка зубы скалит, когда увидит ее, — но он пропащий человек.

А тут внук, свой человек, которого она мальчишкой воспитывала, «от рук отбился», смеет оправдываться, защищаться, да еще спорить с ней, обвиняет ее, что она не так живет, не то делает, что нужно!

А она, кажется, всю жизнь, как по пальцам, знает: ни купцы, ни дворня ее не обманут, в городе всякого насквозь видит, и в жизни своей, и вверенных ее попечению девочек, и крестьян, и в кругу знакомых — никаких ошибок не делает, знает, как где ступить, что сказать, как и своим и чужим добром распорядиться! Словом, как по нотам играет!

А он не слушается и еще осуждает ее!

Она сделала из наблюдений и опыта мудрый вывод, что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать

известного значения, выгод, и что всякому дана возможность сделаться (относительно) важным или богатым, а кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот и пеняй на себя!

«Всякому, — говорила она, — судьба дает какой-нибудь дар: одному, например, дано много ума или какой-нибудь “остроты” и уменья (под этим она разумела талант, способности), — зато богатства не дала», — и сейчас пример приводила: или архитектора, или лекаря, или Степку, мужика. «Дурак дураком, трех перечесть не может, лба не умеет перекрестить, едва знает, где право, где лево, ни за сохой, ни в саду; а посуду, чашки, ложки или крестики точит, детские кораблики, игрушки — точно из меди льет! И сколько на ярмарке продаст! Другой красив: картинка — зато петый дурак! Вон Балакин: ни одна умная девушка нейдет за него, а загляденье! Не зевай, и он будет счастлив. “Бог дурака, поваля, кормит!” — приводила она и пословицу в подкрепление, — найдет дуру с богатством! А есть и такие, что ни “остроты” судьба не дала, ни богатства, зато дала трудолюбие: этим берут! Ну а кто лежебокой был или прозевал, загубил дар судьбы — сам виноват! Оттого много на свете погибших: праздных, пья-

ниц с разодранными локтями, одна нога в туфле, другая в калоше, нос красный, губы растрескались, винищем разит!»

Райский расхохотался, слушая однажды такое рассуждение, и особенно характеристический очерк пьяницы, самого противного и погибшего существа, в глазах бабушки: до того, что хотя она не заметила ни малейшей наклонности к вину в Райском, но всегда с беспокойством смотрела, когда он вздумает выпить стакан, а не рюмку вина или рюмку водки.

— Хорошо ли тебе, не много ли? — говорила она, морщась и качая головой.

К пьянице и пьянству у ней было физиологическое отвращение.

— Да, да, смейся! — говорила она, — а это правда!

— Можно ведь, бабушка, погибнуть и по чужой вине, — возражал Райский, желая проследить за развитием ее житейских понятий, — есть между людей вражда, страсти. Чем виноват человек, когда ему подставляют ногу, опутывают его интригой, крадут, убивают?.. Мало ли что!

— Виноват, виноват! — решала она, не слушая апелляции. — Уж если кто несчастен, погибает, свихнулся, впал в нищету, в крайность, как-ни-

будь обижен, опорочен и поправиться не может, значит — сам виноват. Какой-нибудь грех да был за ним или есть: если не порок, так тяжкая ошибка! «Вражда, страсти»!.. всё один и тот же враг стережет нас всех!.. Бог накажет иногда да и простит, коли человек смирится и опять пойдет по хорошему пути. А кто всё спотыкается, падает и лежит в грязи, значит, не прощен, а не прощен потому, что не одолеет себя, не сладит с вином, с картами, или украл, да не отдает краденого, или горд, обидчик, зол не в меру, грязен, обманщик, предатель… Мало ли зла: что-нибудь да есть! А хочет, так выползет опять на дорогу. А если просто слаб, силенки нет, значит веры нет: когда есть вера, есть и сила. Да, да, уж это так, не говори, не говори, смейся, а молчи! — прибавила она, заметив, что он хочет возразить. — Может ли быть, чтоб человек так пропал, из-за других, потому что захотели погубить? Не зевай, смотри за собой: упал, так вставай на ноги да смотри, нет ли лукавства за самим? А нет, так помолись — и поправишься. Вон Алексея Петровича три губернатора гнали, именье было в опеке, дошло до того, что никто взаймы не давал, хоть по миру ступай: а теперь выждал, вытерпел, раскаялся — какие были грехи — и вышел в люди…

— Ну, хорошо, бабушка: а помните, был какой-то буян, полицмейстер, или исправник: у вас крышу велел разломать, постой вам поставил против правил, забор сломал и чего-чего не делал!

— Да, правда: он злой, негодный человек, враг мой был, не любила я его! Чем же кончилось? Приехал новый губернатор, узнал все его плутни и прогнал! Он смотался, спился, своя же крепостная девка завладела им — и пикнуть не смел. Умер — никто и не пожалел!

— Ну вот видите! Что же вы сделали: вы ли виноваты?

— Я! — сказала бабушка, — я наказана не даром. Даром судьба не наказывает…

— В самом деле! что же такое?

— Что? — повторила она, — молод ты, чтоб знать бабушкины проступки. Уж так и быть, изволь, скажу: тогда откупа пошли, а я вздумала велеть пиво варить для людей, водку гнали дома, не много, для гостей и для дворни, а всё же запрещено было; мостов не чинила… От меня взятки-то гладки, он и озлобился, видишь! Уж коли кто несчастлив, так, значит, поделом. Проси скорее прощения, а то пропадешь, пойдет всё хуже… и…

— И потом «красный нос, растрескавшиеся

губы, одна нога в туфле, другая в калоше!» — договорил Райский смеясь. — Ах, бабушка, чего я не захочу, что принудит меня? или если скажу себе, что непременно поступлю так, вооружусь волей…

— Никогда не говори: «непременно», — живо перебила Татьяна Марковна, — Боже сохрани!

— Отчего? вот еще новости! — сказал Райский. — Марфинька! я непременно сделаю твой портрет, непременно напишу роман, непременно познакомлюсь с Маркушкой, непременно проживу лето с вами и непременно воспитаю вас всех трех, бабушку, тебя и… Верочку.

Марфинька засмеялась, а Татьяна Марковна посмотрела на него через очки.

— Ты никак с ума сошел: поучись-ка у бабушки жить. Самонадеян очень. Даст тебе когда-нибудь судьба за это «непременно»! Не говори этого! А прибавляй всегда: «хотелось бы», «Бог даст, будем живы да здоровы»… А то судьба накажет за самонадеянность: никогда не выйдет по-твоему…

— У вас, бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о фатуме: как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит да слушает…

— Да, да, — говорила бабушка, как будто ози-

раясь, — кто-то стоит да слушает! Ты только не остерегись, забудь, что можно упасть — и упадешь. Понадейся без оглядки — судьба и обманет, вырвет из рук, к чему протягивал их! Где меньше всего ждешь, тут и оплеуха…

— Ну, когда же счастье? Ужели всё оплеухи?

— Нет, не всё: когда ждешь скромно, сомневаешься, не забываешься, оно и упадет. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну и дастся. Судьба любит осторожность, оттого и говорят: «Береженого Бог бережет». И тут не пересаливай: кто слишком трусливо пятится, она тоже не любит и подстережет. Кто воды боится, весь век бегает реки, в лодку не сядет, судьба подкараулит: когда-нибудь да сядет, тут и бултыхнется в воду.

Райский засмеялся.

— О, судьба-проказница! — продолжала она. — Когда ищешь в кошельке гривенника, попадают всё двугривенные, а гривенник после всех придет; ждешь кого-нибудь: приходят, да не те, кого ждешь, а дверь, как на смех, хлопает да хлопает, а кровь у тебя кипит да кипит. Пропадет вещь: весь дом перероешь, а она у тебя под носом — вот что!

— Какое рабство! — сказал Райский. — И так

всю жизнь прожить, растеряться в мелочах! Зачем же, для какой цели эти штуки, бабушка, делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? Нет, я отчаиваюсь воспитать вас… Вы испорчены!

— Для какой цели? — повторила она, — а для такой, чтоб человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть; чтобы он шевелился, оглядывался, думал да заботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на всё зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил Господь…

— То есть вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтоб будить его?

— Шути-шути, а шутя правду сказал, — заметила бабушка.

— Как жизнь-то эластична! — задумчиво произнес Райский.

— Что?

— Я думаю, — говорил он не то Марфиньке, не то про себя, — во что хочешь веруй: в божество, в математику или в философию, жизнь поддается всему. Ты, Марфинька, где училась?

— В пансионе у m-me Meyer.

— По тысяче двести рублей ассигнациями пла-

тила за каждую, — сказала бабушка, — обе пять лет были там.

— Ты помнишь Птоломееву систему мира?

— Птоломей… ведь это царь был… — сказала Марфинька, немного покраснев оттого, что не помнила никакой системы.

— Да, царь и ученый: ты знаешь, что прежде в центре мира полагали землю, и всё обращалось вокруг нее, потом Галилей, Коперник — нашли, что всё обращается вокруг солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокруг другого солнца. Проходили века — и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий. Так и жизнь: подводили ее под фатум, потом под разум, под случай — подходит ко всему. У бабушки есть какой-то домовой…

— Не домовой, а Бог и судьба, — сказала она.

— Следовательно, двое, и вот шестьдесят лет, со всеми маленькими явлениями, улеглись в эту теорию. И как ловко пришлось! А тут мучаешься, бьешься… из чего?

Он мысленно проводил параллель между собою и бабушкой.

«Я бьюсь, — размышлял он, — чтобы быть гуманным и добрым: бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра. Я недоверчив, холо-

ден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии, бабушка горяча к ближнему и верит во всё. Я вижу, где обман, знаю, что всё — иллюзия, и не могу ни к чему привязаться, не нахожу ни в чем примирения: бабушка не подозревает обмана ни в чем и ни в ком, кроме купцов, и любовь ее, снисхождение, доброта покоятся на теплом доверии к добру и людям, а если я… бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа, у бабушки принцип весь в чувстве, в симпатии, в ее натуре! Я ничего не делаю, она весь век трудится…»

XI

Он задумался, и от бабушки перенес глаза на Марфиньку и с нежностью остановил их на ней.

«А что, — думалось ему, — не уверовать ли и мне в бабушкину судьбу: здесь всему верится, — и не смириться ли, не склонить ли голову под иго этого кроткого быта, не стать ли героем тихого романа? “Судьба” пошлет и мне долю, “удачу, счастье”. Право, не жениться ли?..»

Он потянулся и зевнул, глядя на Марфиньку, любуясь нежной белизной ее лба, мягкостью и здоровым цветом щек и рук.

Как он ни разглядывал ее, как ни пытал, с какой стороны ни заходил, а всё видел пока только, что Марфинька была свежая, белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка, живая и веселая.

Она прилежна, любит шить, рисует. Если сядет за шитье, то углубится серьезно и молча, долго может просидеть; сядет за фортепиано, непременно проиграет всё до конца, что предположит; книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за птичками, любит домашние заботы, охотница до лакомств.

У ней есть шкапик, где всегда спрятан изюм, чернослив, конфекты. Она разливает чай и вообще присматривает за хозяйством.

Она любит воздух; ей нужды нет загореть: она любит, как ящерица, зной.

Желания у ней вращаются в кругу ее быта: она любит, чтобы Святая неделя была сухая, любит святки, сильный мороз, чтобы сани скрипели и за нос щипало. Любит катанье и танцы, толпу, праздники, приезд гостей и выезды с визитами — до страсти. Охотница до нарядов, украшений, мелких безделок на столе, на этажерках.

Но, несмотря на страсть к танцам, ждет с нетерпением лета, поры плодов, любит, чтобы много вишень уродилось и арбузы вышли большие, а яблоков народилось бы столько, как ни у кого в садах.

Марфиньку всегда слышно и видно в доме. Она то смеется, то говорит громко. Голос у ней приятный, грудной, звонкий, в саду слышно, как она песенку поет наверху, а через минуту слышишь уж ее говор на другом конце двора, или раздается смех по всему саду.

Еще в детстве, бывало, узнает она, что у мужика пала корова или лошадь, она влезет на колени к бабушке и выпросит лошадь и корову. Изба ветха

или строение на дворе, она попросит леску.

Умер у бабы сын, мать отстала от работы, сидела в углу как убитая, Марфинька каждый день ходила к ней и сидела часа по два, глядя на нее, и приходила домой с распухшими от слез глазами.

Коли мужик заболевал трудно, она приласкается к Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочит к нему на дрожки и повезет в деревню.

То и дело просит у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Девкам дает старые платья, велит держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или даст немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки и крестит почти всех новорожденных.

Если случится свадьба, Марфинька не знает предела щедрости: с трудом ее ограничивает бабушка. Она дает белье, обувь, придумает какой-нибудь затейливый сарафан, истратит все свои карманные деньги и долго после того экономничает.

Только пьяниц, как бабушка же, не любила и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он, пьяный, хотел ударить при ней жену.

Когда идет по деревне, дети от нее без ума: они,

завидя ее, бегут к ней толпой, она раздает им пряники, орехи, иного приведет к себе, умоет, возится с ними.

Все собаки в деревне знают и любят ее; у ней есть любимые коровы и овцы.

Она никогда не задумывалась, а смотрела на всё бодро, зорко.

Когда не было никого в комнате, ей становилось скучно, и она шла туда, где кто-нибудь есть. Если разговор на минуту смолкнет, ей уж неловко станет, она зевнет и уйдет или сама заговорит.

В будни она ходила в простом шерстяном или холстинковом платье, в простых воротничках, а в воскресенье непременно нарядится, зимой в шерстяное или шелковое, летом в кисейное платье, и держит себя немного важнее, особенно до обедни, не сядет где попало, не примется ни за домашнее дело, ни за рисование, разве после обедни поиграет на фортепиано.

«Счастливое дитя! — думал Райский, любуясь ею, — проснешься ли ты или проиграешь и пропоешь жизнь под защитой бабушкиной “судьбы”? Попробовать разбудить этот сон… что будет?..»

— Пойдем, Марфинька, гулять, — сказал он однажды вскоре после приезда. — Покажи мне свою комнату и комнату Верочки, потом хозяйство,

познакомь с дворней. Я еще не огляделся.

Он ничем не мог сделать ей больше удовольствия. Она весело побежала вперед, отворяя ему двери, обращая его внимание на каждую мелочь, болтая, прыгая, напевая.

В ее комнате было всё уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах, птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчиков, где напрятано было всякого добра, лоскутков, ниток, шелков, вышиванья: она славно шила шелком и шерстью по канве.

В ящиках лежали ладанки, двойные сросшиеся орешки, восковые огарочки, в папках насушено было множество цветов, на окнах лежали найденные на Волге в песке цветные камешки, раковинки.

Стену занимал большой шкаф с платьями — и всё в порядке, всё чисто прибрано, уложено, завешано. Постель была маленькая, но заваленная подушками, с узорчатым шелковым на вате одеялом, обшитым кисейной бахромой.

По стенам висели английские и французские гравюры, взятые из старого дома и изображающие семейные сцены: то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую Библию, то мать и кучу детей около стола, то снимки с теньеров-

ских картин, наконец, голову собаки и множество вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок мод.

Она отворила шкаф, откуда пахнуло запахом сластей.

— Не хотите ли миндалю? — спросила она.

— Нет, не хочу.

— Ну, изюму? Это кишмиш, мелкий, сладкий такой.

Она разгрызла орех и взяла в рот две изюминки.

— Пойдем в комнату Веры: я хочу видеть! — сказал Райский.

— Надо сходить за ключом от старого дома.

Райский подождал на дворе. Яков принес ключ, и Марфинька с братом поднялись на лестницу, прошли большую переднюю, коридор, взошли во второй этаж и остановились у двери комнаты Веры.

Райский уже нарисовал себе мысленно эту комнату: представил себе мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то всё не так, как у Марфиньки, а иначе.

Он с любопытством переступил порог, оглядел комнату и — обманулся в ожидании: там ничего не было!

«Вот бабушка сказала бы, — подумал он, — что судьба подшутила: ожидаешь одного, не оглянешься, не усумнишься, забудешься — и обманет».

Простая кровать с большим занавесом, тонкое бумажное одеяло и одна подушка. Потом диван, ковер на полу, круглый стол перед диваном, другой маленький письменный у окна, покрытый клеенкой, на котором, однако же, не было признаков письма, небольшое старинное зеркало и простой шкаф с платьями.

И всё тут. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи, по чему бы можно было узнать вкус и склонности хозяйки.

— Где же у ней всё? — спросил Райский.

— У ней ничего нет.

— Как ничего? Где чернильница, бумаги?..

— Это всё в столе — и ключ у ней.

Райский подошел сначала к одному, потом к другому окну. Из окон открывались виды на поля и деревню с одной стороны, на сад, обрыв и новый дом — с другой.

— Пойдемте, братец, отсюда: здесь пустотой пахнет, — сказала Марфинька, — как ей не страшно одной: я бы умерла! А она еще не любит, когда к ней сюда придешь. Бесстрашная такая! Пожа-

луй, на кладбище одна ночью пойдет, вон туда: видите?

Она указала ему из окна на кучку крестов, сжавшихся тесно на холме, поодаль от крестьянских дворов.

— А ты не ходишь? — спросил он.

— Я днем хожу туда, и то с Агафьей или мальчишку из деревни возьму. А то так на похороны, если мужичок умрет. У нас, слава Богу, редко мрут.

Райский опять поглядел на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Веры и припоминал только тоненькую, черненькую девочку с темно-карими глазками, с беленькими зубками и часто с замаранными ручонками.

«Какая же она теперь? Хорошенькая, говорит Марфинька и бабушка тоже: увидим!» — думал он, а теперь пока шел следом за Марфинькой.

XII

Они вышли на другой двор, где были разные службы, кладовые, людские, погреба и конюшни.

На дворе всё суетилось, в кухне трещал огонь, в людской обедали люди, в сарае Тарас возился около экипажей, Прохор вел поить лошадей.

За столом в людской слышался разговор. До Райского и Марфиньки долетал грубый говор, грубый смех, смешанные голоса, внезапно приутихшие, как скоро люди из окон заметили барина и барышню.

Однако до них успел долететь маленький отрывок из дружелюбной беседы.

— А что, Мотька: ведь ты скоро умрешь! — говорил не то Егорка, не то Васька.

— Полно тебе, не греши! — унимал его задумчивый и набожный Яков.

— Право, ребята, помяните мое слово, — продолжал первый голос, — у кого грудь ввалилась, волосы из дымчатых сделались красными, глаза ушли в лоб, — тот беспременно умрет… Прощай, Мотинька: мы тебе гробок сколотим да поленце в голову положим…

— Нет, погоди: я тебя еще вздую… — отозвался

голос, должно быть, Мотьки.

— На ладан дышишь, а задоришься! Поцелуйте его, Матрена Фаддеевна, вон он какой красавец: лучше покойника не найдешь!.. И пятна желтые на щеках: прощай, Мотя…

— Полно Бога гневить! — строго унимал Яков.

Девки тоже вступились за больного и напали на озорника.

Вдруг этот разговор нарушен был чьим-то воплем с другой стороны. Из дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась через двор. За ней вслед вылетело полено, очевидно направленное в нее, но благодаря ее увертливости пролетевшее мимо. У ней, однако ж, были растрепаны волосы, в руке она держала гребенку и выла.

— Что такое? — не успел спросить Райский, как она очутилась возле них.

— Что это, барин! — вопила она с плачущим, искаженным лицом, остановясь перед ним и указывая на дверь, из которой выбежала. — Что это такое, барышня! — обратилась она, увидевши Марфиньку, — житья нет!

Тут же, увидев выглядывавшие на нее из кухни лица дворни, она вдруг сквозь слезы засмеялась и показала ряд белых, блестящих зубов, потом

опять быстро смех сменился плачущей миной.

— Я к барыне пойду: он убьет меня! — говорила она и пронеслась в дом.

— Что такое? — спрашивал Райский у людей.

Егорка скалил зубы, у иных женщин был тоже смех на лице, прочие опустили головы и молчали.

— Что такое? — повторил Райский, обращаясь к Марфиньке.

Из дома слышались жалобы Марины, прерываемые выговорами Татьяны Марковны.

Райский вошел в комнату.

— Вот посмотри, каково ее муж отделал! — обратилась бабушка к Райскому. — А за дело, негодяйка, за дело!

— Понапрасну, барыня, всё понапрасну. Пес его знает, что померещилось ему, чтоб сгинуть ему, проклятому! Я ходила в кусты, сучьев наломать, тут встретился графский садовник: дай, говорит, я тебе помогу, и дотащил сучья до калитки, а Савелий выдумал…

— Врешь, врешь, негодяйка! — строго говорила барыня, — недаром, недаром!

— Вот сквозь землю провалиться! Дай Бог до утра не дожить…

— Перестань клясться! На той неделе ты выпро-

силась ко всенощной, а тебя видели в слободке с фельдшером…

— Не я, барыня, дай Бог околеть мне на этом месте…

— Как же Яков тебя видел? Он лгать не станет!

— Не я, барыня, должно быть, черт был во образе моем…

— Прочь с глаз моих! Позвать ко мне Савелья! — заключила бабушка. — Борис Павлыч, ты барин, разбери их!

— Я ничего не понимаю! — сказал он.

Савелий встретился с Мариной на дворе. До ушей Райского долетел звук глухого удара, как будто кулаком по спине или по шее, потом опять визг, плач.

Марина рванулась, быстро пробежала через двор и скрылась в людскую, где ее встретил хохот, на который и она, отирая передником слезы и втыкая гребень в растрепанные волосы, отвечала хохотом же. Потом опять боль напомнила о себе.

— Дьявол, леший, чтоб ему издохнуть! — говорила она то плача, то отвечая на злой хохот дворни хохотом.

Савелий, с опущенными глазами, неловко и тяжело переступил порог комнаты и стал в углу.

— Что это ты не уймешься, Савелий? — начала

бабушка выговаривать ему. — Долго ли до греха? Ведь ты так когда-нибудь ударишь, что и дух вон, а проку всё не будет.

— Собаке собачья и смерть! — мрачно проговорил Савелий, глядя в землю.

На лбу у него собрались крупные складки; он был бледен.

— Ну, как хочешь, а я держать тебя не стану, я не хочу уголовного дела в доме. Шутка ли, что попадется под руку, тем сплеча и бьет! Ведь я говорила тебе: не женись, а ты всё свое, не послушал — и вот!

— Это точно что… — проговорил он тихо, опуская голову.

— Это в последний раз! — заметила бабушка. — Если еще раз случится, я ее отправлю в Новоселово.

— Что ж с ней делать? — тихо спросил Савелий.

— А что ты сделаешь дракой? Уймется, что ли, она?

— Все-таки… острастка… — сказал Савелий, глядя в землю.

— Ступай, да чтоб этого не было, слышишь?

Он медленно взглянул исподлобья, сначала на барыню, потом на Райского, и, медленно

обернувшись, задумчиво прошел двор, отворил дверь и боком перешагнул порог своей комнаты. А Егорка, пока Савелий шел по двору, скаля зубы, показывал на него сзади пальцем дворне и толкал Марину к окну, чтобы она взглянула на своего супруга.

— Отстань ты, черт этакой!

И она с досадой замахнулась на него, потом широко улыбнулась, показывая зубы.

— Что это такое, бабушка? — спросил Райский.

Бабушка объяснила ему это явление. В дворню из деревни была взята Марина девчонкой шестнадцати лет. Проворством и способностями она превзошла всех и каждого и превзошла ожидания бабушки.

Не было дела, которого бы она не разумела; где другому надо час, ей не нужно и пяти минут.

Другой только еще выслушает приказание, почешет голову, спину, а она уж на другом конце двора, уж сделала дело, и всегда отлично, и воротилась.

Позовут ли ее одеть барышень, гладить, сбегать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухне ли помочь: в нее всю как будто вложена какая-то молния, рукам дана цепкость, глазу верность. Она всё заметит, угадает, сообразит и

сделает — в одну и ту же минуту.

Она вечно двигалась, делала что-нибудь, и когда остановится без дела, то руки хранят прием, по которому видно, что она только что делала что-нибудь или собирается делать.

И чиста она была на руку: ничего не стащит, не спрячет, не присвоит, не корыстна и не жадна: не съест тихонько. Даже немного ела, всё на ходу; моет посуду и съест что-нибудь с собранных с господского стола тарелок, какой-нибудь огурец, или хлебнет стоя щей ложки две, отщипнет кусочек хлеба и уж опять бежит.

Татьяна Марковна не знала ей цены и сначала взяла ее в комнаты, потом, по просьбе Верочки, отдала ей в горничные. В этом звании Марине мало было дела, и она продолжала делать всё и за всех в доме. Верочка как-то полюбила ее, и она полюбила Верочку и умела угадывать по глазам, что ей нужно, что нравилось, что нет.

Но… несмотря на всё это, бабушка разжаловала ее из камерфрейлин в дворовые девки, потом обрекла на черную работу, мыть посуду, белье, полы и т. п.

Только ради ее проворства и способностей она оставлена была при старом доме и продолжала пользоваться доверенностью Веры, и та употреб-

ляла ее по своим особым поручениям.

Марина потеряла милости барыни за то, что познала «любовь и ее тревоги» в лице Никиты, потом Петра, потом Терентья и так далее, и так далее.

Не было лакея в дворне, видного парня в деревне, на котором бы она не остановила благосклонного взгляда. Границ и пределов ее любвям не было.

Будь она в Москве, в Петербурге или другом городе и положении, — там опасение, страх лишиться хлеба, места положили бы какую-нибудь узду на ее склонности. Но в ее обеспеченном состоянии крепостной дворовой девки узды не существовало.

Ее не прогонят, куска хлеба не лишат, а к стыду можно притерпеться, как скоро однажды навсегда узнает всё тесный кружок лиц, с которыми она более или менее состояла в родстве, кумовстве или нежных отношениях.

Марина была не то что хороша собой, а было в ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что именно, что привлекало к ней многочисленных поклонников: не то скользящий быстро по предметам, ни на чем не останавливающийся взгляд этих изжелта-серых, лукавых

и бесстыжих глаз, не то какая-то нервная дрожь плеч и бедр и подвижность, игра во всей фигуре, в щеках, в губах, в руках; легкий, будто летучий, шаг, широкая ли, внезапно всё лицо и ряд белых зубов освещавшая улыбка, как будто к нему вдруг поднесут в темноте фонарь, так же внезапно пропадающая и уступающая место слезам, даже, когда нужно, воплям, — Бог знает что!

Только кто с ней поговорит, поглядит на нее, а она на него, даже кто просто встретит ее, тот поворотит с своей дороги и пойдет за ней.

Она даже не радела слишком о своем туалете, особенно когда разжаловали ее в чернорабочие: платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы от загара и от работы; но сейчас же, за чертой загара, начиналась белая, мягкая кожа.

Сложена она была хорошо: талия ее, без корсета и кринолина, тонко и стройно покачивалась над грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летела.

С Савельем случилось то же, что с другими: то есть он поглядел на нее раза два исподлобья и хотя был некрасив, но удостоился ее благосклонного внимания, ни более ни менее, как прочие. Потом пошел к барыне просить позволения же-

ниться на Марине.

— Ты с ума сошел! — в изумлении сказала Татьяна Марковна.

— Я выкуп дам, — произнес в ответ на это Савелий.

— Не надо мне выкупа, а ты знаешь ее: как же ты будешь жить?..

— Это мое дело, — промолвил Савелий.

Бережкова дала ему сроку две недели, и через две недели ровно он пришел в комнаты и стал в углу.

— Что ты?

— Позвольте повенчаться, — был ответ.

— Да ведь она не уймется!

— Уймется, не будет!

— Ну, смотри, пеняй на себя! Я напишу к Борису Павловичу, Марина не моя, а его, — как он хочет.

Бабушка написала, Райский ничего не отвечал, и Савелий женился.

Марина не думала меняться и о супружестве имела темное понятие. Не прошло двух недель, как Савелий застал у себя в гостях гарнизонного унтер-офицера, который быстро ускользнул из дверей и перелез через забор.

Савелий побледнел и вопросительно взглянул на жену; та истощила весь запас клятв: ничего

не помогло.

Он подумал немного, потупившись, крупные складки показались у него на лбу, потом запер дверь, медленно засучил рукава и, взяв старую вожжу, из висевших на гвозде, начал отвешивать медленные, но тяжелые удары по чему ни попало.

Марина выказала всю данную ей природой ловкость, извиваясь, как змея, бросаясь из угла в угол, прыгая на лавки, на столы, металась к окнам, на печь, даже пробовала в печь: вожжа следовала за ней и доставала повсюду, пока наконец Марина не попала случайно на дверь.

Она откинула крючок с петли и, избитая, растрепанная, с плачем и воплем вырвалась на двор.

Дворня с ужасом внимала этому истязанию, вопли дошли до слуха барыни. Она с тревогой вышла на балкон: тут жертва супружеского гнева предстала перед ней с теми же воплями, жалобами и клятвами, каких был свидетелем Райский.

Но этот урок не повел ни к чему. Марина была всё та же, опять претерпевала истязание и бежала к барыне или ускользала от мужа и пряталась дня три на чердаках, по сараям, пока не проходил первый пыл.

Она была живуча как кошка и быстро оправлялась от побоев, сама дружно и бесстыдно разделяла смех дворни над ревностью мужа, над его стараниями исправить ее и даже над побоями.

Но Савелий менялся, стал худеть, реже показывался в людской, среди дворни, и сильно задумывался.

На жену он и прежде смотрел исподлобья, а потом почти вовсе не глядел, но всегда знал, в какую минуту где она, что делает.

Этому она сама надивиться не могла: уж она ли не проворна, она ли не мастерица скользнуть, как тень, из одной двери в другую, из переулка в слободку, из сада в лес, — нет, увидит, узнает, точно чутьем, и явится, как тут, и почти всегда с вожжой! Это составляло зрелище, потеху дворни.

Савелий падал духом, молился Богу, сидел молча, как бирюк, у себя в клетушке, тяжело покрякивая.

Между тем он же впадал в странное противоречие: на ярмарке он все деньги истратит на жену, купит ей платье, платков, башмаков, серьги какие-нибудь. На Святую неделю, молча, поведет ее под качели и столько накупит и, молча же, насует ей в руки орехов, пряников, черных стручьев,

моченых груш, что она употчует всю дворню.

— Что ты скажешь? — спросила Татьяна Марковна, сообщив все эти подробности внуку.

— Это прелесть! — сказал он. — Это целая драма!

И сейчас в голове у него быстро возник очерк народной драмы. Как этот угрюмый, сосредоточенный характер мужика мог сложиться в цельную, оригинальную и сильную фигуру? Как не опошлился он среди всякой мелочи? Как устояла страсть среди этого омута разврата?

Он надивиться не мог и дал себе слово глубже вникнуть в источник этого характера. И Марина улыбалась ему в художественном очерке. Он видел в ней не просто распущенную дворовую женщину вроде горьких, безнадежных пьяниц между мужчинами, а бескорыстную жрицу культа, «матерь наслаждений»…

— Что же с ними делать? — спросила бабушка, — надумался ли ты? Не сослать ли их?..

— Ах нет, не трогайте, не мешайте! — с испугом вступился он. — Вы мне испортите эту живую натуральную драму…

— Ну, скажите на милость: не трогать! Он убьет ее.

— Так что же! У нас нет жизни, нет драм вовсе:

убивают в драке, пьяные, как дикари! А тут в кои-то веки завязался настоящий человеческий интерес, сложился в драму, а вы — мешать!.. Оставьте, ради Бога! Посмотрим, чем разрешится… кровью или…

— Вот что я сделаю, — сказала Татьяна Марковна, — попрошу священника, чтоб он поговорил с Савельем; да кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что беда над головой!

— Скажите, бабушка: Марина одна такая у нас, или…

Бабушка сердито махнула рукой на дворню.

— Все в родстве! — с омерзением сказала она. — Матрешка неразлучна с Егоркой, Машка — помнишь, за детьми ходила девчонка? — у Прохора в сарае живмя живет. Акулина с Никиткой, Танька с Васькой… Только Василиса да Яков и есть порядочные! Но те все прячутся, стыд еще есть: а Марина!..

Она плюнула, а Райский засмеялся.

— Сейчас же пойду, непременно набросаю очерк… — сказал он, — слава Богу, страсть! Прошу покорно — Савелий!

— Опять «непременно»! — заметила бабушка.

Он живо вскочил и только хотел бежать к себе, как и бабушка, и он, оба увидали Полину Карпов-

ну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности: поздно.

— Вот тебе и «непременно»! — шепнула Татьяна Марковна, — видишь! Теперь пойдет таскаться, не отучишь ее! Принесла нелегкая! Стоит Марины! Что это, по-твоему: тоже драма?

— Нет, это, кажется… комедия! — сказал Райский и поневоле стал всматриваться в это явление.

— Bon-*jur*, bon-*jur*! — нежно пришепетывала Полина Карповна, — как я рада, что вы дома; вы не хотите посетить меня, я сама опять пришла. Здравствуйте, Татьяна Марковна!

— Здравствуйте, Полина Карповна! — живо заговорила бабушка, переходя внезапно в радушный тон, — милости просим, садитесь сюда, на диван! Василиса, кофе, завтрак чтоб был готов!

— Нет, mercі, я пила.

— Помилуйте, как можно, теперь рано: до обеда долго.

— Нет, я ничего не хочу, благодарю вас.

— Нельзя же: от вас далеко…

И бабушка настояла, чтоб подали кофе. Райский с любопытством глядел на барыню, набеленную пудрой, в локонах, с розовыми лентами на шляп-

ке и на груди, значительно открытой, и в ботинке пятилетнего ребенка, так что кровь от этого прилила ей в голову. Перчатки были новые, желтые, лайковые, но они лопнули по швам, потому что были меньше руки.

За ней шел только что выпущенный кадет, с чуть-чуть пробивающимся пушком на бороде. Он держал на руке шаль Полины Карповны, зонтик и веер. Он, вытянув шею, стоял, почти не дыша, за нею.

— Вот, позвольте познакомить вас: Michel Рамин, в отпуску здесь... Татьяна Марковна уже знакома с ним.

Юноша, вместо поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснел и опять окоченел на месте.

— Dites quelque chose, Michel![58] — сказала вполголоса Крицкая.

Но Мишель покраснел еще гуще и остался на месте.

— Asseyez-vous donc,[59] — сказала она и сама села.

---

[58] Примечания: 58
— Скажите что-нибудь, Мишель! (*фр.*)

[59] Примечания: 59
— Садитесь же (*фр.*).

— Нынче *жярко*: tres *chéux*![60] — продолжала она, — где мой веер? Дайте его сюда, Michel!

Она начала обмахиваться, глядя на Райского.

— Не хотели посетить меня! — повторила она.

— Я нигде не был, — сказал Райский.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись…

— Чего?

— Ah, le monde est si méchant![61]

«Черт знает что такое!» — думал Райский, глядя на нее во все глаза.

— Так? Угадала? — говорила она. — Я еще в первый раз заметила, que nous nous entendons![62] Эти два взгляда — помните? Voilà, voilà, tenez…[63] этот самый! о, я угадываю его…

Он засмеялся.

— Да, да: правда? Oh, nous nous convenons![64] Что касается до меня, я умею презирать свет и

---

[60] Примечания: 60
очень жарко (*фр. искаж.*).

[61] Примечания: 61
— Ах, свет так злоречив! (*фр.*)

[62] Примечания: 62
что мы понимаем друг друга! (*фр.*).

[63] Примечания: 63
Вот, вот… (*фр.*)

[64] Примечания: 64
О, как мы подходим друг другу! (*фр.*)

его мнения. Не правда ли, это заслуживает презрения? Там, где есть искренность, симпатия, где люди понимают друг друга, иногда без слов, по одному такому взгляду…

— Кофейку, Полина Карповна! — прервала ее Татьяна Марковна, подвигая к ней чашку. — Не слушай ее! — шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой, — всё врет, бесстыжая! Возьмите вашу чашку, — прибавила она, обратясь к юноше, — вот и булки!

— Débarassez-vous de tout cela[65], — сказала ему Крицкая и взяла у него зонтик из рук.

— Я, признаться, уж пил… — под нос себе произнес кадет, однако взял чашку, выбрал побольше булку и откусил половину ее, точно отрезал, опять густо покраснев.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхает, вспоминая «несчастное супружество», хотя все говорят, что муж у ней был добрый, смирный человек и в ее дела никогда не вмешивался. А она называет его «тираном», говорит, что молодость ее прошла бесплодно, что она не жила любовью и счастьем, и верит, что «час ее пробьет, что она полюбит и будет любить идеально».

---

[65] Примечания: 65

— Освободитесь от всего этого (*фр.*).

Татьяна Марковна не совсем была права, сравнив ее с Мариной. Полина Карповна была покойного темперамента: она не искала так называемого «падения» и измены своим обязанностям на совести не имела.

Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза к небу, разливалась в нежных речах, то делала это притворно, прибегая к этому как к условным приемам кокетства.

Но ей до смерти хотелось, чтоб кто-нибудь был всегда в нее влюблен, чтобы об этом знали и говорили все в городе, в домах, на улице, в церкви, то есть что кто-нибудь по ней «страдает», плачет, не спит, не ест, пусть бы даже это была неправда.

В городе ее уже знают, и она теперь старается заманивать новичков, заезжих студентов, прапорщиков, молодых чиновников.

Она ласкает их, кормит, лакомит, раздражает их самолюбие. Они адски едят, пьют, накурят и уйдут. А она под рукой распускает слух, что тот или другой «страдает» по ней.

— Pauvre garçon![66] — говорит она с жалостью.

Теперь при ней состоял заезжий юноша, Michel Рамин, приехавший прямо с школьной скамьи

---

[66] Примечания: 66
— Бедный мальчик! (*фр.*)

в отпуск. Он держал себя прямо, мундир у него с иголочки: он всегда застегнут на все пуговицы, густо краснеет, на вопросы сиплым, робким басом говорит «да-с» или «нет-с».

У него были такие большие руки, с такими длинными и красными пальцами, что ни в какие перчатки, кроме замшевых, не входили. Он был одержим кадетским аппетитом и институтскою робостью.

Полина Карповна стала было угощать и его конфектами, но он съедал фунта по три в один присест. Теперь он сопровождает барыню везде, таская шаль, мантилью и веер за ней.

— Je veux former le jeune homme, ce pauvre enfant![67] — так объясняет она официально свои отношения к нему.

— Что вы намерены сегодня делать? Я обедаю у вас: ce projet vous sourit-il?[68] — обратилась она к Райскому.

У бабушки внутри прошла судорога, но она и вида

не подала, даже выказала радость.

---

[67] Примечания: 67

— Я хочу превратить этого ребенка в светского молодого человека! (*фр.*)

[68] Примечания: 68

вам нравится этот план? (*фр.*)

— Милости просим. Марфинька, Марфинька!

Вошла Марфинька. Крицкая весело поздоровалась с ней, а юноша густо покраснел. Марфинька, поглядев на туалет Полины Карповны, хотела засмеяться, но удержалась. При взгляде на ее спутника лицо у ней наполнилось еще больше смехом.

— Марфа Васильевна! — неожиданно басом сказал юноша, — у вас коза в огород зашла — я видел! Как бы в сад не забралась!

— Покорно благодарю, я сейчас велю выгнать. Это Машка, — заметила Марфинька, — она меня ищет. Я хлебца ей дам.

Бабушка пошептала ей на ухо, что приготовить для неожиданных гостей к обеду, и Марфинька вышла.

— В городе все говорят о вас и все в претензии, что вы до сих пор ни у кого не были, ни у губернатора, ни у архиерея, ни у предводителя, — обратилась Крицкая к Райскому.

— И я ему тоже говорила! — заметила Татьяна Марковна, — да нынче бабушек не слушают. Нехорошо, Борис Павлович, ты бы съездил хоть к Нилу Андреичу: уважил бы старика. А то он не простит. Я велю вычистить и вымыть коляску…

— Я не поеду ни к кому, бабушка, — зевая, ска-

зал Райский.

— А ко мне? — спросила Крицкая.

Он, глядя на нее, учтиво молчал.

— Не принуждайте себя: de grâce, faites ce qu'il vous plaira[69]. Теперь я знаю ваш образ мыслей, я уверена (она сделала ударение на этих словах), что вы хотите… и только свет… и злые языки…

Он засмеялся.

— Ну да — да. Я вижу, я угадала! О, мы будем счастливы! Enfin!..[70] — будто про себя шепнула она, но так, что он слышал.

«Ужели она часто будет душить меня? — думал Райский, с ужасом глядя на нее. — Куда спастись от нее? А она не годится и в роман: слишком карикатурна! Никто не поверит…»

---

[69] Примечания: 69
пожалуйста, поступайте как вам будет угодно (*фр.*).

[70] Примечания: 70
Наконец-то!.. (*фр.*)

XIII

Тихо тянулись дни, тихо вставало горячее солнце и обтекало синее небо, распростершееся над Волгой и ее прибрежьем. Медленно ползли снегообразные облака в полдень и иногда, сжавшись в кучу, потемняли лазурь и рассыпались веселым дождем на поля и сады, охлаждали воздух и уходили дальше, дав простор тихому и теплому вечеру.

Если же вдруг останавливалась над городом и Малиновкой (так звали деревушку Райского) черная туча и разрешалась продолжительной, почти тропической грозой — всё робело, смущалось, весь дом принимал, как будто перед нашествием неприятеля, оборонительное положение. Татьяна Марковна походила на капитана корабля во время шторма.

— Гасить огни, закрывать трубы, окна, запирать двери! — слышалась ее команда. — Поди, Василиса, посмотри, не курят ли трубок? Нет ли где сквозного ветра? Отойди, Марфинька, от окна!

Пока ветер качал и гнул к земле деревья, столбами нес пыль, метя поля, пока молнии жгли воздух и гром тяжело, как хохот, катался в небе,

бабушка не смыкала глаз, не раздевалась, ходила из комнаты в комнату, заглядывала, что делают Марфинька и Верочка, крестила их и крестилась сама, и тогда только успокоивалась, когда туча, истратив весь пламень и треск, бледнела и уходила вдаль.

Утром восходило опять радостное солнце и играло в каждой повисшей на листьях капельке, в каждой луже, заглядывало в каждое окно и било в стекла и щели счастливого приюта.

Таким же монотонным узором тянулась и жизнь в Малиновке. Райский почти не чувствовал, что живет.

Он кончил портрет Марфиньки и исправил литературный эскиз Наташи, предполагая вставить его в роман впоследствии, когда раскинется и округлится у него в голове весь роман, когда явится «цель и необходимость» создания, когда все лица выльются каждое в свою форму, как живые, дохнут, окрасятся колоритом жизни и все свяжутся между собою этою «необходимостью и целью», — так что, читая роман, всякий скажет, что он был нужен, что его недоставало в литературе.

Он решил писать его эпизодами, набрасывая фигуру, какая его займет, сцену, которая его

увлечет или поразит, вставляя себя везде, куда его повлечет ощущение, впечатление, наконец, чувство и страсть, особенно страсть!

— Ах, дай Бог страсть! — молил он иногда, томимый скукой.

Он бы уже соскучился в своей Малиновке, уехал бы искать в другом месте «жизни», радостно захлебываться ею под дыханием страсти или не находить, по обыкновению, ни в чем примирения с своими идеалами, страдать от уродливостей и томиться мертвым равнодушием ко всему на свете.

Всё это часто повторялось с ним, повторилось бы и теперь: он ждал и боялся этого. Но еще в нем не изжили пока свой срок впечатления наивной среды, куда он попал. Ему еще пока приятен был ласковый луч солнца, добрый взгляд бабушки, радушная услужливость дворни, рождающаяся нежная симпатия Марфиньки — особенно последнее.

Он по утрам с удовольствием ждал, когда она, в холстинковой блузе, без воротничков и нарукавников, еще с томными, не совсем прозревшими глазами, не остывшая от сна, привставши на цыпочки, положит ему руку на плечо, чтоб разменяться поцелуем, и угощает его чаем, глядя ему

в глаза, угадывая желания и бросаясь исполнять их. А потом наденет соломенную шляпку с широкими полями, ходит около него или под руку с ним по полю, по садам — и у него кровь бежит быстрее, ему пока не скучно.

Ему любо было пока возиться и с бабушкой: отдавать свою волю в ее опеку и с улыбкой смотреть и слушать, как она учила его уму-разуму, порядку, остерегала от пороков и соблазнов, старалась свести его с его «цыганских» понятий о жизни на свою крепкую, житейскую мудрость.

Нравился ему и Тит Никоныч, остаток прошлого века, живущий под знаменем вечной учтивости, приличного тона, уклончивости, изящного смирения и таковых же манер, всё всем прощающий, ничем не оскорбляющийся и берегущий свое драгоценное здоровье, всеми любимый и всех любящий.

Иногда, в добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня, Полина Карповна. Она умела заманить его к себе обедать и уверяла, что «он или неравнодушен к ней, но скрывает, или sur le point de l'etrê[71], но противится и немного остерегается, mais que tôt ou tard cela finira par là

---

[71] Примечания: 71
близок к тому (*фр.*).

et comme elle sera contente, heureuse! etc.»[72].

Он убаюкивался этою тихой жизнью, по временам записывая кое-что в роман: черту, сцену, лицо, записал бабушку, Марфиньку, Леонтья с женой, Савелья и Марину, потом смотрел на Волгу, на ее течение, слушал тишину и глядел на сон этих рассыпанных по прибрежью сел и деревень, ловил в этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки и шел играть и петь их, и упивался, прислушиваясь к созданным им мотивам, бросал их на бумагу и прятал в портфель, чтоб «со временем» обработать — ведь времени много впереди, а дел у него нет.

Глядел и на ту картину, которую до того верно нарисовал Беловодовой, что она, по ее словам, «дурно спала ночь»: на тупую задумчивость мужика, на грубую, медленную и тяжелую его работу — как он тянет ременную лямку, таща барку, или, затерявшись в бороздах нивы, шагает медленно, весь в поту, будто несет на руках и соху и лошадь вместе, — или как беременная баба, спаленная зноем, возится с серпом во ржи.

Он рисует эти загорелые лица, их избы, утварь, ловит воздух, то есть набросает слегка эскиз и

---

[72] Примечания: 72

но что рано или поздно всё этим кончится, и как она будет тогда довольна, счастлива! и т. д. (*фр.*)

спрячет в портфель, опять «до времени».

«Ну что ж я выражу этим, если изображу эту природу, этих людей: где же смысл, ключ к этому созданию?»

«В самом создании!» — говорил художнический инстинкт: и он оставлял перо и шел на Волгу обдумывать, что такое создание, почему оно само по себе имеет смысл, если оно — создание, и когда именно оно создание?

Потом перед ним вырастали трудности: постепенность развития, полнота и законченность характеров, связь между ними, а там, сквозь художественную форму, пробивался анализ и охлаждал…

— Une mer à boire,[73] — говорил он со вздохом, складывал листки в портфель и звал Марфиньку в сад.

Он дал себе слово объяснить, при первом удобном случае, окончательно вопрос, не о том, что такое Марфинька: это было слишком очевидно, а что из нее будет, — и потом уже поступить в отношении к ней, смотря по тому, что окажется после объяснения. Способна ли она к дальнейшему развитию или уже дошла до своих геркулесовых

---

[73] Примечания: 73

— Невыполнимая задача (*фр.*).

столпов?

И если, «паче чаяния», в ней откроется ему внезапный золотоносный прииск, с богатыми залогами, — в женщинах нередки такие неожиданности, — тогда, конечно, он поставит здесь свой домашний жертвенник и посвятит себя развитию милого существа: она и искусство будут его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены — всё пойдет в дело. Ему не над чем будет разбрасываться, жизнь его сосредоточится и определится.

Но опыты над Марфинькой пока еще не подвигались вперед, и, не будь она такая хорошенькая, он бы устал давно от бесплодной работы над ее развитием.

Как он ни затрогивает ее ум, самолюбие, ту или другую сторону сердца — никак не может вывести ее из круга ранних, девических понятий, теплых, домашних чувств, логики преданий и преподанных бабушкой уроков.

Она всё девочка, и ни разу не высказалась в ней даже девица. Быть «девой», по своей здоровой натуре и по простому, почти животному воспитанию, она решительно не обещала.

Но ведь все-таки она грядущая женщина: какая же она будет, какою быть должна?

Он смотрел мысленно и на себя, как это у него делалось невольно, само собой, без его ведома («и как делалось у всех, — думал он, — непременно, только эти все не наблюдают за собой или не сознаются в этой врожденной человеку черте: одни — только казаться, а другие и быть и казаться как можно лучше; одни, натуры мелкие, — только наружно, то есть рисоваться, натуры глубокие, серьезные, искренние — и внутренно, что в сущности и значит работать над собой, улучшаться»), и вдумывался, какая роль достается ему в этой встрече: таков ли он, каков должен быть, и каков именно должен он быть? Брат, нежный покровитель и руководитель ее юности — или в самом деле будущий ее муж?

Едва он остановился на этой последней роли, как вздохнул глубоко, заранее предвидя, что или он, или она не продержатся до свадьбы на высоте идеала, поэзия улетучится или рассыплется в мелкий дождь мещанской комедии! И он холодеет, зевает, чувствует уже симптомы скуки.

Волноваться так, без цели, и волновать ее — безнравственно. Что же делать: как держать себя с ней?

Просто быть братом невозможно, надо бежать: она слишком мила, тепла, нежна, прикосновение

ее греет, жжет, шевелит нервы. Он же приходится ей брат в третьем колене, то есть не брат, и близость такой сестры опасна…

А между тем он поддавался неге ее ласк, и ответные его ласки были не ласки брата, а нежнее; в поцелуй прокрадывался какой-то страстный змей…

«Еще опыт, — думал он, — один разговор, и я буду ее мужем, или… Диоген искал с фонарем “человека” — я ищу женщины: вот ключ к моим поискам! А если не найду в ней, и боюсь, что не найду, я, разумеется, не затушу фонаря, пойду дальше… Но Боже мой! где кончится это мое странствие?»

Он зевнул.

«Уеду отсюда и напишу роман: картину вялого сна, вялой жизни…»

Он еще пуще зевнул.

— Скажи, Марфинька, — начал он однажды, сидя с нею в сумерки на дерновом диване, под акациями, — не скучно тебе здесь? Не надоели тебе: бабушка, Тит Никоныч, сад, цветы, песенки, книжки с веселым окончанием?..

— Нет, — сказала она, удивляясь этим вопросам, — чего же мне еще нужно?

— Не кажется тебе иногда это… однообразно,

пошло, скучно?

— Пошло, скучно! — повторяла она задумчиво, — нет! Разве здесь скучно?

— Всё это ребячество, Марфинька: цветы, песенки, а ты уж взрослая девушка, — он бросил беглый взгляд на ее плечи и бюст, — ужели тебе не приходит в голову что-нибудь другое, серьезное? Разве тебя ничто больше не занимает?

Она задумалась, потупив глаза. Ей было немного стыдно и неловко, что ее считают еще ребенком.

«А ведь я давно не ребенок: мне идет четырнадцать аршин материи на платье: столько же, сколько бабушке — нет, больше: бабушка не носит широких юбок, — успела она в это время подумать. — Но Боже мой! что это за вздор у меня в голове? Что я ему скажу? Пусть бы Верочка поскорей приехала на подмогу…»

Она не знала, что ей надо делать, чтоб быть не ребенком, чтоб на нее смотрели, как на взрослую, уважали, боялись ее. Она беспокойно оглядывалась вокруг, тиранила пальцами кончик передника, смотрела себе под ноги.

У ней многое проносилось в голове, росли мысли, являлись вопросы, но так туманно, бледно, что она не успевала вслушиваться в них, как они

исчезали, и не умела высказать.

— Послушайте, братец, — отвечала она, — вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птиц, цветы: я и дело делаю. Бабушка часто велит мне записывать приход и расход. Я знаю, сколько засевается ржи, овса, когда что поспевает, куда и когда сплавляют хлеб, знаю, сколько лесу надо мужику, чтоб избу построить… — Она смелее поглядела на него. — Я бы могла и за полевыми работами смотреть, да бабушка не пускает. Что же еще? — прибавила она, глядя на него во все глаза и думая, выросла ли она хоть немного в его глазах?

— Да, это всё, конечно, хорошо, и со временем из тебя может выйти такая же бабушка. Разве ты хотела бы быть такою?

— Ах, дай Бог: да где мне!

— А другою тебе не хочется быть?

— Зачем? Ведь если б я была другою, я бы здесь была не на месте…

— Так, умно сказано, Марфинька: да зачем же здесь? Ты слыхала про Москву, про Петербург, про Париж, Лондон: разве тебе не хотелось бы побывать везде?

— Зачем мне?

— Как зачем! Ты читаешь книги, там говорится,

как живут другие женщины: вон хоть бы эта Елена, у мисс Эджеворт. Разве тебя не тянет, не хочется тебе испытать этой другой жизни?..

Она медленно и задумчиво качала головой.

— Нет, — сказала она, — чего не знаешь, так и не хочется. Вон Верочка, той всё скучно, она часто грустит, сидит, как каменная, всё ей будто чужое здесь! Ей бы надо куда-нибудь уехать, она нездешняя. А я — ах, как мне здесь хорошо: в поле, с цветами, с птицами, как дышится легко! Как весело, когда съедутся знакомые!.. Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! не хочу никуда. Что бы я одна делала там в Петербурге, за границей? Я бы умерла с тоски…

— Ты бы не одна была.

— С кем же? Бабушка никогда не выедет из деревни.

— Зачем тебе бабушка? Со мной… с мужем. Поехала бы со мной?

Она покачала отрицательно головой.

— Отчего?

— Я боялась бы, что вам скучно со мной…

— Ты привыкла бы ко мне.

— Нет, не привыкла бы… Вот другая неделя, как вы здесь… а я боюсь вас.

— Чего же? кажется, я такой простой: сижу,

гуляю, рисую с тобой…

— Нет, вы не простой. Иногда у вас что-то такое в глазах… Нет, я не привыкну к вам…

— Но ведь это скучно: век свой с бабушкой и ни шагу без нее…

— Да я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала делать без нее?

Она беспокойно глядела по сторонам и опять встревожилась тем, что нечего ей больше сказать в ответ.

«Ах, Боже мой! Он сочтет меня дурочкой… Что бы сказать мне ему такое… самое умное? Господи, помоги!» — молилась она про себя.

Но ничего «умного» не приходило ей в голову, и она в тоске тиранила свои пальцы.

— Не мучаешься ты ничем внутренно? Нет ничего у тебя на душе?.. — приставал он.

Она глубоко вздохнула.

«Бабушка велела, чтоб ужин был хороший — вот что у меня на душе: как я ему скажу это!..» — подумала она.

— Как не быть? Я взрослая, не девочка! — с печальной важностью сказала она, помолчав.

— А! грешки есть: ну, слава Богу! А я уже было отчаивался в тебе! Говори же, говори, что?

Он подвинулся к ней, взял ее за руку.

— Что! — повторила она задумчиво, не отнимая руки, — а совесть?

— Совесть! О-го! это большими грехами пахнет!

Он засмеялся было, а потом вдруг подумал, не кроется ли под этой наивностью какой-нибудь крупный грешок, не притворная ли она смиренница?

— Что же может быть у тебя на совести? Доверься мне, и разберем вместе. Не пригожусь ли я тебе на какую-нибудь услугу?

— То, что я думаю, у всякого есть…

— Например?

— Послушайте-ка проповеди отца Василья о том, как надо жить, что надо делать! А как мы живем: делаем ли хоть половину того, что он велит? — внушительно говорила она. — Хоть бы один день прожить так… и то не удается! Отречься от себя, быть всем слугой, отдавать всё бедным, любить всех больше себя, даже тех, кто нас обижает, не сердиться, трудиться, не думать слишком о нарядах и о пустяках, не болтать… ужас, ужас! Всего не вспомнишь! Я как стану думать, так и растеряюсь: страшно станет. Недостанет всей жизни, чтоб сделать это! Вон бабушка: есть ли умнее и добрее ее на свете! а и она… грешит…

— шепотом произнесла Марфинька, — сердится напрасно, терпеть не может Анну Петровну Токееву: даже не похристосовалась с ней! Полину Карповну не любит. На людей часто сердится; не всё прощает им; баб притворщицами считает, когда они жалуются на нужду… Деньги очень бережет.... — еще тише шепнула Марфинька. — А когда ошибется в чем-нибудь, никогда не сознается: гордая! Бабушка! Она лучше всех здесь: какие же мы с Верочкой! и какой надо быть, чтоб…

— Такой, как ты есть, — сказал Райский.

— Нет… — Она задумчиво покачала головой. — Я многого не понимаю и оттого не знаю, как мне иногда надо поступить. Вон Верочка знает, и если не делает, так не хочет, а я не умею…

— И ты часто мучаешься этим?

— Нет: иногда, как заговорят об этом, бабушка побранит… Заплачу, и пройдет, и опять делаюсь весела, и всё, что говорит отец Василий, — будто не мое дело! Вот что худо!

— И больше нет у тебя заботы, счастливое дитя?

— Как будто этого мало! Разве вы никогда не думаете об этом? — с удивлением спросила она.

— Нет, душенька: ведь я не слыхал отца Василья.

— Как же вы живете: ведь есть и у вас что-нибудь на душе?

— Вот теперь ты!

— Я! Обо мне бабушка заботится, пока жива…

— А как она умрет?

— Бабушка? Боже сохрани! — торопливо прибавила она, крестясь.

— Должно же это случиться…

— Бог с вами: что за мысли, что за разговор у вас такой!..

Она старалась не слушать его.

— Неужели ты думаешь, что она вечно будет жить?..

— Перестаньте, ради Бога: я и слушать не хочу!

— Ну, а если?

— Тогда и мы с Верочкой умрем, потому что без бабушки…

Она тяжело вздохнула.

— От этого и надо думать, что птичек, цветов и всей этой мелочи не станет, чтоб прожить ею целую жизнь. Нужны другие интересы, другие связи, симпатии…

— Что же мне делать? — почти в отчаянии сказала она.

— Надо любить кого-нибудь, мужчину… — помолчав, говорил он, наклоняя ее лоб к своим

губам.

— Выйти замуж? Да, вы мне говорили, и бабушка часто намекает на то же, но…

— Но… что же?

— Где его взять? — стыдливо сказала она.

— Разве тебе не нравится никто? Не заметила ты между молодыми людьми…

— Уж хороши здесь молодые люди! Вон у Бочкова три сына: всё собирают мужчин к себе по вечерам, таких же как сами, пьют да в карты играют. А наутро глаза у всех красные. У Чеченина сын приехал в отпуск и с самого начала объявил, что ему надо приданое во сто тысяч, а сам хуже Мотьки: маленький, кривоногий и всё курит! Нет, нет… Вот Николай Андреич — хорошенький, веселый и добрый, да…

— Да что?

— Молод: ему всего двадцать три года!

— Кто это такой?

— Викентьев: их усадьба за Волгой, недалеко отсюда. Колчино — их деревня, тут только сто душ. У них в Казани еще триста душ. Маменька его звала нас с Верочкой гостить, да бабушка одних не пускает. Мы однажды только на один день ездили… А Николай Андреич один сын у нее — больше детей нет. Он учился в Казани, в

университете, служит здесь у губернатора, по особым поручениям.

Она проговорила это живо, с веселым лицом и скороговоркой.

— А! так вот кто тебе нравится: Викентьев! — говорил он и, прижав ее руку к левому своему боку, сидел не шевелясь, любовался, как беспечно Марфинька принимала и возвращала ласки, почти не замечала их и ничего, кажется, не чувствовала.

«Может быть, одна искра, — думал он, — одно жаркое пожатие руки вдруг пробудят ее от детского сна, откроют ей глаза, и она внезапно вступит в другую пору жизни…»

А она щебетала беспечно, как птичка.

— Что вы: Викентьев! — сказала она задумчиво, как будто справляясь сама с собою, нравится ли он ей.

— Теперь темно, а то, верно, ты покраснела! — поддразнивал ее Райский, глядя ей в лицо и пожимая руку.

— Вовсе нет! Отчего мне краснеть? Вот его две недели не видать совсем, мне и нужды нет…

— Скажи, он нравится тебе?

Она молчала.

— Что: угадал?

— Что вы! Я только говорю, что он лучше всех

здесь: это все скажут… Губернатор его очень любит и никогда не посылает на следствия: «Что, говорит, ему грязниться там, разбирать убийства да воровства — нравственность испортится! Пусть, говорит, побудет при мне!» Он теперь при нем, и когда не у нас, там обедает, танцует, играет…

— Одним словом, служит! — сказал Райский.

— У него уж крестик есть! Маленький такой! — с удовольствием прибавила Марфинька.

— Бывает он здесь?

— Очень часто: вот что-то теперь пропал. Не уехал ли в Колчино, к maman? Надо его побранить, что, не сказавшись, уехал. Бабушка выговор ему сделает: он боится ее… А когда он здесь — не посидит смирно: бегает, поет. Ах, какой он шалун! И как много кушает! Недавно большую-пребольшую сковороду грибов съел! Сколько булочек скушает за чаем! Что ни дай, всё скушает. Бабушка очень любит его за это. Я тоже его…

— Любишь? — живо спросил Райский, наклоняясь и глядя ей в глаза.

— Нет, нет! — Она закачала головой. — Нет, не люблю, а только он… славный! Лучше всех здесь: держит себя хорошо, не ходит по трактирам, не играет на бильярде, вина никакого не пьет…

— Славный! — повторил Райский, приглаживая ей волосы на висках, — и ты славная! Как жаль, что я стар, Марфинька: как бы я любил тебя! — тихо прибавил он, притянув ее немного к себе.

— Что вы за стары: нет еще! — снисходительно заметила она, поддаваясь его ласке. — Вот только у вас в бороде есть немного белых волос, а то ведь вы иногда бываете прехорошенький… когда смеетесь или что-нибудь живо рассказываете. А вот когда нахмуритесь или смотрите как-то особенно… тогда вам точно восемьдесят лет…

— В самом деле, я тебе не кажусь страшен и стар?

— Вовсе нет.

— И тебе приятно… поцеловать меня?

— Очень.

— Ну, поцелуй.

Она привстала немного, оперлась коленкой на его ногу и звучно поцеловала его и хотела сесть, но он удержал ее.

Она попробовала освободиться, ей было неловко так стоять, наконец села, раскрасневшись от усилия, и стала поправлять сдвинувшуюся с места косу.

Он, напротив, был бледен, сидел, закинув голову назад, опираясь затылком о дерево, с

закрытыми глазами, и почти бессознательно держал ее крепко за руку.

Она хотела привстать, чтоб половчее сесть, но он держал крепко, так что она должна была опираться рукой ему на плечо.

— Пустите, вам тяжело, — сказала она, — я ведь толстая — вон какая рука — троньте!

— Нет, не тяжело… — тихо отвечал он, наклоняя опять ее голову к своему лицу и оставаясь так неподвижно.

— Тебе хорошо так?

— Хорошо, только жарко, у меня щеки и уши горят, посмотрите: я думаю, красные! У меня много крови: дотроньтесь пальцем до руки, сейчас белое пятно выступит и пропадет.

Он молчал и всё сидел с закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всем, что приходило в голову, глядела по сторонам, чертила носком ботинки по песку.

— Обрейте бороду! — сказала она, — вы будете еще лучше. Кто это выдумал такую нелепую моду — бороды носить? У мужиков переняли! Ужели в Петербурге все с бородами ходят?

Он машинально кивнул головой.

— Вы обреетесь, да? А то Нил Андреич увидит — рассердится. Он терпеть не может бороды:

говорит, что только революционеры носят ее.

— Всё сделаю, что хочешь, — нежно сказал он. — Зачем только ты любишь Викентьева?

— Опять! Вот вы какие: сами затеяли разговор, а теперь выдумали, что люблю. Уж и люблю! Он и мечтать не смеет! Любить — как это можно! Что еще бабушка скажет? — прибавила она, рассеянно играя бородой Райского и не подозревая, что пальцы ее, как змеи, ползали по его нервам, поднимали в нем тревогу, зажигали огонь в крови, туманили рассудок. Он пьянел с каждым движением пальцев.

— Люби меня, Марфинька: друг мой, сестра!.. — бредил он, сжимая крепко ее талию.

— Ох, больно, братец, пустите, ей-богу, задохнусь! — говорила она, невольно падая ему на грудь.

Он опять прижал ее щеку к своей и опять шептал:

— Хорошо тебе?

— Неловко ногам.

Он отпустил ее, она поправила ноги и села подле него.

— Зачем ты любишь цветы, котят, птиц?

— Кого же мне любить?

— Меня, меня!

— Ведь я люблю.

— Не так, иначе! — говорил он, положив ей руки на плеча.

— Вон одна звездочка, вон другая, вон третья: как много! — говорила Марфинька, глядя на небо. — Ужели это правда, что там, на звездах, тоже живут люди? Может быть, не такие, как мы… Ах, молния! Нет, это зарница играет за Волгой: я боюсь грозы… Верочка отворит окно и сядет смотреть грозу, а я всегда спрячусь в постель, задерну занавески, и если молния очень блестит, то положу большую подушку на голову, а уши заткну и ничего не вижу, не слышу… Вон звездочка покатилась! Скоро ужинать! — прибавила потом, помолчав. — Если б вас не было, мы бы рано ужинали, а в одиннадцать часов спать; когда гостей нет, мы рано ложимся.

Он молчал, положил щеку ей на плечо.

— Вы спите? — спросила она.

Он отрицательно покачал головой.

— Ну, дремлете: вон у вас и глаза закрыты. Я тоже, как лягу, сейчас засну, даже иногда не успею чулок снять, так и повалюсь. Верочка долго не спит: бабушка бранит ее, называет полунощницей. А в Петербурге рано ложатся?

Он молчал.

— Братец!

Он всё молчал.

— Что вы молчите?

Он пошевелился было и опять онемел, мечтая о возможности постоянного счастья, держа это счастье в руках и не желая выпустить.

Она зевнула до слез.

— Как тепло! — сказала она. — Я прошусь иногда у бабушки спать в беседку — не пускает. Даже и в комнате велит окошко запирать.

Он ни слова.

«Всё молчит: как привыкнешь к нему?» — подумала она и беспечно опять склонилась головой к его голове, рассеянно пробегая усталым взглядом по небу, по сверкавшим сквозь ветви звездам, глядела на темную массу леса, слушала шум листьев и задумалась, наблюдая, от нечего делать, как под рукой у нее бьется в левом боку у Райского.

«Как странно! — думала она, — отчего это у него так бьется? А у меня? — и приложила руку к своему боку, — нет, не бьется!»

Потом хотела привстать, но почувствовала, что он держит ее крепко. Ей стало неловко.

— Пустите, братец! — шепотом, будто стыдливо, сказала она. — Пора домой!

Ему всё жаль было выпустить ее, как будто он

расставался с ней навсегда.

— Больно, пустите… — говорила Марфинька с возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь, — ах, как неловко!

Наконец она наклонилась и вынырнула из-под рук.

Он тяжело вздохнул.

— Что с вами? — раздался ее детский, покойный голос над ним.

Он поглядел на нее, вокруг себя и опять вздохнул, как будто просыпаясь.

— Что с вами? — повторила она, — какие вы странные!

Он вдруг отрезвился, взглянул с удивлением на Марфиньку, что она тут, осмотрелся кругом и быстро встал со скамейки. У него вырвался отчаянный: «Ах!»

Она положила было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклокочившиеся волосы и хотела опять сесть рядом.

— Нет, пойдем отсюда, Марфинька! — в волнении сказал он, устраняя ее.

— Какие вы странные: на себя не похожи! Не болит ли голова?

Она дотронулась рукой до его лба.

— Не подходи близко, не ласкай меня! Милая

сестра! — сказал он, целуя у нее руку.

— Как же не ласкать, когда вы сами так ласковы! Вы такой добрый, так любите нас. Дом, садик подарили, а я что за статуя такая!..

— И будь статуей! Не отвечай никогда на мои ласки, как сегодня…

— Отчего?

— Так; у меня иногда бывают припадки… тогда уйди от меня.

— Не дать ли вам чего-нибудь выпить? У бабушки гофманские капли есть. Я бы сбегала: хотите?

— Нет, не надо. Но, ради Бога, если я когда-нибудь буду слишком ласков или другой также, этот Викентьев например…

— Смел бы он! — с удивлением сказала Марфинька. — Когда мы в горелки играем, так он не смеет взять меня за руку, а ловит всегда за рукав! Что выдумали: Викентьев! Позволила бы я ему!

— Ни ему, ни мне, никому на свете… помни, Марфинька, это: люби, кто понравится, но прячь это глубоко в душе своей, не давай воли ни себе, ни ему, пока… позволит бабушка и отец Василий. Помни проповедь его…

Она молча слушала и задумчиво шла подле него, удивляясь его припадку, вспоминая, что он перед тем за час говорил другое, и не знала, что

подумать.

— Вот видите, а вы говорили… что… — начала она.

— Я ошибся: не про тебя то, что говорил я. Да, Марфинька, ты права: грех хотеть того, чего не дано, желать жить, как живут эти барыни, о которых в книгах пишут. Боже тебя сохрани меняться, быть другою! Люби цветы, птиц, занимайся хозяйством, ищи веселого окончания и в книжках, и в своей жизни…

— Это не глупо… любить птиц: вы не смеетесь, вы это правду говорите? — робко спрашивала она.

— Нет, нет, ты перл, ангел чистоты… ты светла, чиста, прозрачна…

— Прозрачна? — смеялась она, — насквозь видно?

— Ты… ты…

Он в припадке восторга не знал, как назвать ее.

— Ты вся — солнечный луч! — сказал он, — и пусть будет проклят, кто захочет бросить нечистое зерно в твою душу! Прощай! Никогда не подходи близко ко мне, а если я подойду — уйди!

Он подошел к обрыву.

— Куда же вы? Пойдемте, ужинать! Скоро и

спать…

— Я не хочу ни ужинать, ни спать.

— Опять вы от ужина уходите: смотрите, бабушка…

Она не кончила фразы, как Райский бросился с обрыва и исчез в кустах.

«Боже мой! — думал он, внутренно содрогаясь, — полчаса назад я был честен, чист, горд; полчаса позже этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание, а “честный и гордый” человек в величайшего негодяя! Гордый дух уступил бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмеялись бы над философией, нравственностью, развитием! Однако дух устоял, кровь и нервы не одолели: честь, честность спасены…»

«Чем? — спросил он себя, останавливаясь над рытвиной. — Прежде всего… силой моей воли, сознанием безобразия… — начал было он говорить, выпрямляясь, — нет, нет, — должен был сейчас же сознаться, — это пришло после всего, а прежде чем? Ангел-хранитель невидимо ограждал? бабушкина судьба берегла ее? или… что?» Что бы ни было, а он этому загадочному «или» обязан тем, что остался честным человеком. Таилось ли это «или» в ее святом, стыдливом неведении, в послушании проповеди отца Василья или, нако-

нец, в лимфатическом темпераменте — всё же оно было в ней, а не в нем…

— О, как скверно! как скверно! — твердил он, перескочив рытвину и продираясь между кустов на приволжский песок.

Марфинька долго смотрела вслед ему, потом тихо, задумчиво пошла домой, срывая машинально листья с кустов и трогая по временам себя за щеки и уши.

— Как разгорелись, я думаю, красные! — шептала она. — Отчего он не велел подходить близко, ведь он не чужой? А сам так ласков… Вон как горят щеки!

Она прикладывала руку то к одной, то к другой щеке.

Бабушка начала ворчать, что Райский ушел от ужина. Молча, втроем, с Титом Никонычем, отужинали и разошлись.

Марфинька, обыкновенно всё рассказывавшая бабушке, колебалась, рассказать ли ей или нет о том, что брат навсегда отказался от ее ласк, и кончила тем, что ушла спать, не рассказавши. Собиралась не раз, да не знала, с чего начать. Не сказала также ничего и о припадке «братца», легла пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки и уши всё горели.

Наконец, пролежав напрасно, без сна, с час в постели, она встала, вытерла лицо огуречным рассолом, что делала обыкновенно от загара, потом перекрестилась и заснула.

XIV

Райский нижним берегом выбрался на гору и дошел до домика Козлова. Завидя свет в окне, он пошел было к калитке, как вдруг заметил, что кто-то перелезает через забор, с переулка в садик.

Райский подождал в тени забора, пока тот перескочил совсем. Он колебался, на что ему решиться, потому что не знал, вор ли это или обожатель Ульяны Андреевны, какой-нибудь m-r Шарль, — и потому боялся поднять тревогу.

Подумав, он, однако, счел нужным следить за незнакомцем: для этого последовал его примеру и также тихо перелез через забор.

Тот прокрадывался к окнам, Райский шел за ним и остановился в нескольких шагах. Незнакомец приподнялся до окна Леонтья и вдруг забарабанил, что есть мочи, в стекло.

«Это не вор… это, должно быть — Марк!» — подумал Райский и не ошибся.

— Философ! отворяй! Слышишь ли ты, Платон? — говорил голос. — Отворяй же скорей!

— Обойди с крыльца! — глухо, из-за стекла, отозвался голос Козлова.

— Куда еще пойду я на крыльцо, собак будить? Отворяй!

— Ну, постой; экой какой! — говорил Леонтий, отворяя окно.

Марк влез в комнату.

— Это кто еще за тобой лезет? Кого ты привел? — с испугом спросил Козлов, пятясь от окна.

— Никого я не привел — что тебе чудится… Ах, в самом деле, лезет кто-то…

Райский в это время вскочил в комнату.

— Борис, и ты? — сказал с изумлением Леонтий. — Как вы это вместе сошлись?

Марк мельком взглянул на Райского и обратился к Леонтью.

— Дай мне скорее другие панталоны, да нет ли вина? — сказал он.

— Что это, откуда ты? — с изумлением говорил Леонтий, теперь только заметивший, что Марк почти по пояс был выпачкан в грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь.

— Ну, давай скорей, нечего разговаривать! — нетерпеливо отозвался Марк.

— Вина нет; у нас Шарль обедал, мы всё выпили: водка, я думаю, есть…

— Ну, где твое платье лежит?

— Жена спит, а я не знаю где: надо у Авдотьи

спросить…

— Урод! Пусти, я сам найду.

Он взял свечу и скрылся в другую комнату.

— Вот — видишь какой! — сказал Леонтий Райскому.

Через десять минут Марк пришел с панталонами в руках.

— Где это ты вымочился так? — спросил Леонтий.

— Через Волгу переезжал в рыбачьей лодке, да у острова дурачина рыбак сослепа в тину попал: надо было выскочить и стащить лодку.

Он, не обращая на Райского внимания, переменил панталоны и сел в большом кресле, с ногами, так что коленки пришлись вровень с лицом. Он положил на них бороду.

Райский молча рассматривал его. Марк был лет двадцати семи, сложенный крепко, точно из металла, и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом, и волосы, бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода жидкие, светлее волос на голове.

Открытое, как будто дерзкое лицо далеко выходило вперед. Черты лица не совсем правильные, довольно крупные, лицо скорее худощавое, неже-

ли полное. Улыбка, мелькавшая по временам на лице, выражала не то досаду, не то насмешку, но не удовольствие.

Руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный и ко всему небрежный.

Сжавшись в комок, он сидел неподвижен: ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрели на всё покойно или холодно.

Но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно и беззаботно, собаке. Лапы сложены вместе, на лапах покоится спящая морда, хребет согнулся в тяжелое, ленивое кольцо: спит совсем, только одно веко всё дрожит, и из-за него чуть-чуть сквозит черный глаз. А пошевелись кто-нибудь около, дунь ветерок, хлопни дверь, покажись чужое лицо — эти беспечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лает, скачет…

Посидев немного с зажмуренными глазами, он вдруг открыл их и обратился к Райскому.

— Вы, верно, привезли хороших сигар из Петербурга: дайте мне одну, — сказал он без це-

ремонии.

Райский подал ему сигарочницу.

— Леонтий! Ты нас и не представил друг другу! — упрекнул его Райский.

— Да чего представлять: вы оба пришли одной дорогой и оба знаете, кто вы! — отвечал тот.

— Как это ты обмолвился умным словом, а еще ученый! — сказал Марк.

— Это тот самый… Марк… что… Я писал тебе: помнишь… — начал было Козлов.

— Постой! Я сам представлюсь! — сказал Марк, вскочил с кресел и, став в церемонную позу, расшаркался перед Райским. — Честь имею рекомендоваться: Марк Волохов, пятнадцатого класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный здешнего города гражданин!

Потом откусил кончик сигары, закурил ее и опять свернулся в комок на креслах.

— Что же вы здесь делаете? — спросил Райский.

— Да то же, я думаю, что и вы…

— Разве вы… любите искусство: артист, может быть?

— А вы… артист?

— Как же! — вмешался Леонтий, — я тебе говорил: живописец, музыкант… Теперь роман

пишет: смотри, брат, как раз тебя туда упечет. — Что ты: уж далеко? — обратился он к Райскому.

Райский сделал ему знак рукой молчать.

— Да, я артист, — отвечал Марк на вопрос Райского. — Только в другом роде. Я такой артист, что купцы называют «художник». Бабушка ваша, я думаю, вам говорила о моих произведениях!

— Она слышать о вас не может.

— Ну вот видите! А я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблок сорвал через забор!

— Яблоки мои: я вам позволяю, сколько хотите…

— Благодарю: не надо; привык уж всё в жизни без позволения делать, так и яблоки буду брать без спросу: слаще так!

— Я очень хотел видеть вас: мне так много со всех сторон наговорили… — сказал Райский.

— Что же вам наговорили?

— Мало хорошего…

— Вероятно, вам сказали, что я разбойник, изверг, ужас здешних мест!

— Почти…

— Что же вас так позывало видеть меня после этих отзывов? Вам надо тоже пристать к общему хору: я у вас книги рвал. Вот он, я думаю, сказывал…

— Да, да: вот он налицо: я рад, что он сам заговорил! — вмешался Леонтий. — Так бы и надо было сначала отрекомендовать тебя…

— Делайте с книгами что хотите, я позволяю! — сказал Райский.

— Опять! Кто просит вашего позволения? Теперь не стану брать и рвать: можешь, Леонтий, спать покойно.

— А ведь в сущности предобрый! — заметил Леонтий про Марка, — когда прихворнешь, ходит как нянька, за лекарством бегает в аптеку… И чего не знает? Всё! Только ничего не делает, да вот покою никому не дает: шалунище непроходимый…

— Полно врать, Козлов! — перебил Марк.

— Впрочем, не все бранят вас, — вмешался Райский, — Ватутин отзывается или по крайней мере старается отзываться хорошо.

— Неужели! Этот сахарный маркиз! Кажется, я ему оставил кое-какие сувениры: ночью будил не раз, окна отворял у него в спальне. Он всё, видите, нездоров, а как приехал сюда, лет сорок назад, никто не помнит, чтоб он был болен. Деньги, что занял у него, не отдам никогда. Что же ему еще? А хвалит!

— Так вот вы какой артист! — весело заметил

Райский.

— А вы какой? Расскажите теперь! — просил Марк.

— Я… так себе, художник — плохой, конечно: люблю красоту и поклоняюсь ей; люблю искусство, рисую, играю… Вот хочу писать — большую вещь, роман…

— Да, да, вижу: такой же художник, как все у нас…

— Все?

— Ведь у нас все артисты: одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют — как вы и подобные вам. Другие ездят в палаты, в правления — по утрам, третьи сидят у своих лавок и играют в шашки, четвертые живут по поместьям и проделывают другие штуки — везде искусство!

— У вас нет охоты пристать к которому-нибудь разряду? — улыбаясь, спросил Райский.

— Пробовал, да не умею. А вы зачем сюда приехали? — спросил он в свою очередь.

— Сам не знаю, — сказал Райский, — мне всё равно, куда ни ехать… Подвернулось письмо бабушки, она звала сюда, я и приехал.

Марк погрузился в себя и не занимался больше Райским, а Райский, напротив, вглядывался в него, изучал выражение лица, следил за движе-

ниями, стараясь помочь фантазии, которая, по обыкновению, рисовала портрет за портретом с этой новой личности.

«Слава Богу! — думал он, — кажется, не я один такой праздный, не определившийся, ни на чем не остановившийся человек. Вот что-то похожее: бродит, не примиряется с судьбой, ничего не делает (я хоть рисую и хочу писать роман), по лицу видно, что ничем и никем не доволен… Что же он такое? Такая же жертва разлада, как я? Вечно в борьбе, между двух огней? С одной стороны, фантазия обольщает, возводит всё в идеал: людей, природу, всю жизнь, все явления, а с другой — холодный анализ разрушает всё — и не дает забываться, жить: оттуда вечное недовольство, холод… То ли он или другое что-нибудь?..»

Он вглядывался в дремлющего Марка, у Леонтья тоже слипались глаза.

— Пора домой, — сказал Райский. — Прощай, Леонтий!

— Куда же я его дену? — спросил Козлов, указывая на Марка.

— Оставь его тут.

— Да, оставь козла в огороде! А книги-то? Если б можно было передвинуть его с креслом сюда, в темненькую комнату, да запереть! — мечтал

Козлов, но тотчас же отказался от этой мечты. — С ним после и не разделаешься! — сказал он, — да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю с дома снесет!

Марк вдруг засмеялся, услыхав последние слова, и быстро вскочил на ноги.

— И я с вами пойду, — сказал он Райскому и, надевши фуражку, в одно мгновение выскочил из окна, но прежде задул свечку у Леонтья, сказав: —Тебе спать пора: не сиди по ночам. Смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились!

Райский последовал, хотя не так проворно, его примеру, и оба тем же путем, через садик, и перелезши опять через забор, вышли на улицу.

— Послушайте, — сказал Марк, — мне есть хочется: у Леонтья ничего нет. Не поможете ли вы мне осадить какой-нибудь трактир?

— Пожалуй, но это можно сделать и без осады…

— Нет, теперь поздно, так не дадут — особенно когда узнают, что я тут: надо взять с бою. Закричим: «Пожар!», тогда отворят, а мы и войдем.

— Потом выгонят.

— Нет, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, так уж не выгонишь!

— Осадить! Ночной шум — как это можно? —

сказал Райский.

— А! испугались полиции: что сделает губернатор, что скажет Нил Андреич, как примет это общество, дамы? — смеялся Марк. — Ну, прощайте, я есть хочу и один сделаю приступ…

— Постойте, у меня другая мысль, забавнее этой. Моя бабушка — я говорил вам, не может слышать вашего имени и еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормит вас…

— Ну так что же?

— Пойдемте ужинать к ней: да кстати уж и ночуйте у меня! Я не знаю, что она сделает и скажет, знаю только, что будет смешно.

— Идея недурна: пойдемте. Да только уверены ли вы, что мы достанем у ней ужин? Я очень голоден.

— Достанем ли ужин у Татьяны Марковны? Наверное можно накормить роту солдат.

Они молча шли дорогой. Марк курил сигару и шел, уткнувши нос в бороду, глядя под ноги и поплевывая.

Они пришли в Малиновку и продолжали молча идти мимо забора, почти ощупью в темноте прошли ворота и подошли к плетню, чтоб перелезть через него в огород.

— Вон там подальше лучше бы: от фруктового

сада или с обрыва, — сказал Марк. — Там деревья, не видать, а здесь, пожалуй, собак встревожишь да далеко обходить! Я всё там хожу…

— Вы ходите… сюда, в сад? Зачем?

— А за яблоками! Я вон их там в прошлом году рвал, с поля, близ старого дома. И в нынешнем августе надеюсь, если… «вы позволите»…

— С удовольствием: лишь бы не поймала Татьяна Марковна!

— Нет, не поймает. А вот не поймаем ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочил через плетень: по-нашему! Э, э, постой, не спрячешься. Кто тут? Стой! Райский, спешите сюда, на помощь!

Он бросился вперед шагов на десять и схватил кого-то.

— Что за кошачьи глаза у вас: я ничего не вижу! — говорил Райский и поспешил на голос.

Марк уже держал кого-то: этот кто-то барахтался у него в руках, наконец упал наземь, прижавшись к плетню.

— Ловите, держите там: кто-то еще через плетень пробирается в огород! — кричал опять Марк.

Райский увидел еще фигуру, которая уже влезла на плетень и вытянула ноги, чтоб соскочить в

огород. Он крепко схватил ее за руку.

— Кто тут? Кто ты? Зачем? Говори! — спрашивал он.

— Барин! пустите, не губите меня! — жалобно шептал женский голос.

— Это ты, Марина! — сказал Райский, узнав ее по голосу, — зачем ты здесь?

— Тише, барин, не зовите меня по имени: Савелий узнает, больно прибьет!

— Ну ступай, иди же скорей… Нет, постой! кстати попалась: не можешь ли ты принести ко мне в комнату поужинать что-нибудь?

— Всё могу, барин: только не губите, Христа ради!

— Не бойся, не погублю! Есть ли что-нибудь на кухне?

— Всё есть: как не быть! целый ужин! Без вас не хотели кушать, мало кушали. Заливные стерляди есть, индейка, я всё убрала на ледник…

— Ну неси. А вино есть ли?

— Осталась бутылка в буфете, и наливка у Марфы Васильевны в комнате…

— Как же достать: разбудишь ее?

— Нет, Марфа Васильевна не проснется: люта спать! Пустите, барин — муж услышит…

— Ну беги же, «Земфира», да не попадись ему,

смотри!

— Нет, теперь ничего не возьмет, если и встретит: скажу на вас, что вы велели…

Она засмеялась своей широкой улыбкой во весь рот, глаза блеснули, как у кошки, и она, далеко вскинув ноги, перескочила через плетень, юбка задела за сучок. Она рванула ее, засмеялась опять и, нагнувшись, по-кошачьи промчалась между двумя рядами капусты.

А Марк в это время всё допытывался, кто прячется под плетнем. Он вытащил оттуда незнакомца, поставил на ноги и всматривался в него, тот прятался и не давался узнавать себя.

— Савелий Ильич! — заискивающим голосом говорил он, — я — ничего такого… вы не деритесь: я сам сдачи сдам…

— Что-то лицо твое мне знакомо! — сказал Марк, — какая темнота!

— Ах, — это не Савелий Ильич, ну, слава-те Господи! — радостно сказал, отряхиваясь, незнакомый. — Я, сударь, садовник! Вон оттуда…

Он показал на сад вдали.

— Что ты тут делаешь?

— Да… пришел послушать, как соборный колокол ударит… а не то чтоб пустым делом заниматься… У нас часы остановились…

— Ну тебя к черту! — сказал Марк, оттолкнув его.

Тот перескочил чрез канаву и пропал в темноте.

Райский между тем воротился к главным воротам: он старался отворить калитку, но не хотел стучаться, чтоб не разбудить бабушку.

Он услышал чьи-то шаги по двору.

— Марина, Марина! — звал он вполголоса, думая, что она несет ему ужин, — отвори!

С той стороны отодвинули задвижку; Райский толкнул калитку ногой, и она отворилась. Перед ним стоял Савелий: он бросился на Райского и схватил его за грудь…

— А, постой, голубчик, я повидаюсь с тобой — вместо Марины! — злобно говорил он, — смотри, пожалуй, в калитку лезет: а я там, как пень, караулю у плетня!..

Он припер спиной калитку, чтоб посетитель не ушел.

— Это я, Савелий! — сказал Райский. — Пусти.

— Кто это? — никак барин! — в недоумении произнес Савелий и остановился как вкопанный.

— Как же вы изволили звать Марину! — медленно произнес он, помолчав, — нешто вы ее

видели?

— Да, я еще с вечера просил ее оставить мне ужинать, — солгал он в пользу преступной жены, — и отпереть калитку. Она уж слышала, что я пришел… Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать.

— Слушаю-с! — медленно сказал он. Потом долго стоял на месте, глядя вслед Райскому и Марку. — Вот что! — расстановисто произнес он и тихо пошел домой.

На дороге он встретил Марину.

— Что тебе, леший, не спится? — сказала она и, согнув одно бедро, скользнула проворно мимо его, — бродит по ночам! Ты бы хоть лошадям гривы заплетал, благо нет домового! Срамит меня только перед господами!.. — ворчала она, несясь, как сильф, мимо его с тарелками, блюдами, салфетками и хлебами в обеих руках, выше головы, но так, что ни одна тарелка не звенела, ни ложка, ни стакан не шевелились у ней.

Савелий, не глядя на нее, в ответ на ее воззвание, молча погрозил ей вожжой.

XV

Марк в самом деле был голоден: в пять-шесть приемов ножом и вилкой стерлядей как не бывало; но и Райский не отставал от него. Марина пришла убрать и унесла остов индейки.

— Хорошо бы чего-нибудь сладкого! — сказал Борис Павлович.

— Пирожного не осталось, — отвечала Марина, — есть варенье, да ключи от подвала у Василисы.

— Что за пирожное! — отозвался Марк, — нельзя ли сделать жжёнку? Есть ли ром?

Райский вопросительно взглянул на Марину.

— Должно быть, есть: барышня на «пудень» выдавали повару на завтра: я посмотрю в буфете…

— А сахар есть?

— У барышни в комнате: я достану, — сказала Марина и исчезла.

— И лимон! — крикнул ей вслед Марк.

Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар, и жжёнка запылала. Свечи потушили, и синее пламя зловещим блеском озарило комнату. Марк изредка мешал ложкой ром; растопленный на двух вилках сахар, шипя, капал в чашку. Марк

время от времени пробовал, готова ли жжёнка, и опять мешал ложкой.

— Итак… — сказал, помолчав, Райский и остановился.

— Итак?.. — повторил Марк вопросительно.

— Давно ли вы здесь в городе?

— Года два…

— Верно, скучаете.

— Я стараюсь развлекаться…

— Извините… я…

— Пожалуйста, без извинений! спрашивайте напрямик. В чем вы извиняетесь?

— В том, что не верю вам…

— В чем?

— В этих развлечениях… в этой роли, которую вы… или, виноват…

— Опять «виноват»?

— Которую вам приписывают.

— У меня нет никакой роли: вот мне и приписывают какую-то.

Он налил рюмку жжёнки и выпил.

— Выпейте: готова! — сказал он, наливая рюмку и подвигая к Райскому. Тот выпил ее медленно, без удовольствия, чтоб только сделать компанию собеседнику.

— Приписывают, — начал Райский, — стало

быть, это не настоящая ваша роль?

— Экие вы? я вам говорю, что у меня нет роли: ужели нельзя без роли прожить?..

— Но ведь в нас есть потребность что-нибудь делать: а вы, кажется, ничего…

— А вы что делаете?

— Я… говорил вам, что я художник…

— Покажите же мне образчики вашего искусства…

— Теперь ничего нет: вот, впрочем — безделка: еще не совсем кончено…

Он встал с дивана, снял холстину с портрета Марфиньки и зажег свечу.

— Да, похож! — сказал Марк, — хорошо!.. «У него талант!» — сверкнуло у Марка в голове. — Очень хорошо бы… да… голова велика, плечи немного широки…

«У него верен глаз!» — подумал Райский.

— Лучше всего этот светлый тон в воздухе и в аксессуарах. Вся фигура от этого легка, воздушна, прозрачна: вы поймали тайну фигуры Марфиньки. К цвету ее лица и волос идет этот легкий колорит…

«У него есть и вкус, и понимание! — думал опять Райский, — уж не артист ли он, да притаился?»

— А вы знаете Марфиньку? — спросил он.

— Знаю.

— А Веру?

— И Веру знаю.

— Где же вы их видали? Вы в доме не бываете.

— В церкви.

— В церкви? Как же говорят, что вы не заглядываете в церковь?

— Не помню, впрочем, где видел: в деревне, в поле встречал…

Он выпил еще рюмку жжёнки.

— Не хотите ли? — прибавил он, наливая Райскому.

— Нет — я не пью почти: это так только, для компании. У меня и так в голову бросилось.

— И у меня тоже, да ничего: выпейте. Если б в голову не бросалось, так и пить не нужно.

— Зачем же, если не хочется?

— И то правда, ну так я за вас!

Он выпил и его рюмку.

«Не пьяница ли он?» — подумал Райский, боязливо глядя, с каким удовольствием он выпил еще рюмку.

— Вам странно смотреть, что я пью, — сказал Марк, угадавший его мысли, — это от скуки и праздности… делать нечего!

Он опять налил, но поставил рюмку подле себя и попросил сигару. Райский подвинул ему ящик.

«У него глаза покраснели, — думал он, — напрасно я зазвал его — видно, бабушка правду говорит: как бы он чего-нибудь…»

— Праздность! ведь это…

— Мать всех пороков, хотите вы сказать, — перебил Марк, — запишите это в свой роман и продайте… И ново, и умно…

— Я хочу сказать, — продолжал Райский, — что от нас зависит быть праздным и не быть…

— Когда вы давеча перелезли через забор к Леонтью, — перебил опять Марк, — я думал, что вы порядочный человек, а вы, кажется, в полку Нила Андреича служите, читаете мораль…

— Вот видите, я и прав, что извинялся перед вами: надо быть осторожным на словах… — заметил Райский.

— Зачем? Не надо. Говорите, что вздумается, и мне не мешайте отвечать, как вздумаю. Ведь я не спросил у вас позволения обругать вас Нилом Андреичем — а уж чего хуже?

— Правда ли, что вы стреляли по нем? — спросил Райский с любопытством.

— Вздор: я стрелял вон там на выезде по голубям, чтоб ружье разрядить: я возвращался с

охоты. А он там гулял: увидал, что я стреляю, и начал кричать, чтоб я перестал, что это грех, и тому подобные глупости. Если б только одно это, я бы назвал его дураком и дело с концом, а он затопал ногами, грозил пальцем, стучал палкой: «Я тебя, говорит, мальчишку, в острог; я тебя туда, куда ворон костей не заносил; в двадцать четыре часа в мелкий порошок изотру, в бараний рог согну, на поселение сошлю!» Я дал ему истощить весь словарь этих нежностей, выслушал хладнокровно, а потом прицелился в него.

— Что же он?

— Ну, начал приседать, растерял палку, калоши, потом сел наземь и попросил извинения. А я выстрелил на воздух и опустил ружье — вот и всё.

— Это… развлечение? — спросил с мягкой иронией Райский.

— Нет, — серьезно отвечал Марк, — важное дело, урок старому ребенку.

— Что же после?

— Ничего: он ездил к губернатору жаловаться и солгал, что я стрелял в него, да не попал. Если б я был мирный гражданин города, меня бы сейчас на съезжую посадили, а так как я вне закона, на особенном счету, то губернатор разузнал, как

было дело, и посоветовал Нилу Андреичу умолчать, «чтоб до Петербурга никаких историй не доходило»: этого он, как огня, боится.

«Кажется, он хвастается удалью! — подумал Райский, вглядываясь в него. — Не провинциальный ли это фанфарон низшего разряда?»

— Я не хотел читать вам морали, — сказал он вслух, — говоря о праздности, я только удивился, что с вашим умом, образованием и способностями…

— Почем вы знаете мой ум, образование и способности?

— Я вижу…

— Что же вы видите? Что я умею лазить через заборы, стреляю в дураков, ем много, пью… видите!..

Он еще выпил. Райский с беспокойством смотрел на эти возлияния и подумывал, чем это всё кончится. Он внутренно раскаивался в своей затее подразнить бабушку.

— Вы морщитесь: не бойтесь, — сказал Марк, — я не сожгу дома и не зарежу никого. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница.

Он вылил остатки рома из бутылки в чашку и зажег опять ром. Потом, положив оба локтя на

стол, небрежно глядел на Райского.

В манерах его, и без того развязных, стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, от которой всегда неловко становится трезвому собеседнику.

Разговор тоже принимал оборот фамильярности. Райского, несмотря на уверение собеседника, не покидало беспокойство, что это перейдет границы.

— Вы тоже, может быть, умны… — говорил Марк, не то серьезно, не то иронически и бесцеремонно глядя на Райского, — я еще не знаю, а может быть, и нет: а что способны, даже талантливы, — это я вижу, — следовательно, больше вас имею права спросить, отчего же вы ничего не делаете?

— Я… все-таки…

— Портрет написали? — перебил он. — Да вы портретист, что ли?

— Да, я писал иногда…

— Ну, *иногда* — это не дело. Иногда и я делал кое-что.

Он помешал новую жжёнку и хлебнул. Райский и желал, и боялся наводить его на дальнейший разговор, чтоб вино не оказало полного действия.

— Вы говорите, — начал, однако, он, — что у меня есть талант — и другие тоже говорят, даже находят во мне таланты. Я, может быть, и художник в душе, искренний художник, — но я не готовился к этому поприщу…

— Почему же?

— Да как вам сказать: у нас нет этой арены, оттого нет и приготовления к ней.

— Вот видите, — заметил Марк, — однако вас учили; нельзя прямо сесть за фортепиано да заиграть. Плечо у вас на портрете и криво, голова велика, а всё же надо выучиться держать кисть в руке.

— Да, если хотите, учили, «чтоб иметь в обществе приятные таланты», как говаривал мой опекун: рисовать в альбомы, петь романсы в салоне. Я и достиг этого уменья очень быстро. А когда подрос, узнал, что значит призвание — хотел одного искусства и больше ничего, — мне показали, в каких черных руках оно держится. Заезжие певцы и певицы давали концерты, на них смотрели свысока. Учитель рисованья сидел без хлеба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себе. У меня вон предки есть: с историческими именами, в мундирах, лентах и звездах: ну, и меня толкали в

камер-юнкеры, соблазняли гусарским мундиром. Я был мальчик, соблазнился и пошел в гусары.

— Ну а потом? Там в Петербурге есть академия…

— Потом…

— Что потом? — перебил Марк и засмеялся.

— Известно что… поздно было: какая академия после чада петербургской жизни! — с досадой говорил Райский, ходя из угла в угол, — у меня, видите, есть имение, есть родство, свет… Надо бы было всё это отдать нищим, взять крест и идти… как говорит один художник, мой приятель. Меня отняли от искусства, как дитя от груди… — Он вздохнул. — Но я ворочу и дойду! — сказал он решительно. — Время не ушло, я еще не стар…

Марк опять засмеялся.

— Нет, — говорил он, — не сделаете: куда вам!

— Отчего нет? почему вы знаете? — горячо приступил к нему Райский, — вы видите, у меня есть воля и терпение…

— Вижу, вижу: и лицо у вас пылает, и глаза горят — и всего от одной рюмки: то ли будет, как выпьете еще! Тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите ли?

— Да почему вы знаете? Вы не верите в намерения?..

— Как не верить: ими, говорят, вымощен ад. Нет, вы ничего не сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть: все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончают этим. Это всё неудачники!

Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам.

«Он холодный, злой, без сердца!» — заключил Райский. Между прочим его поразило последнее замечание. «Много у нас этаких!» — шептал он и задумался. «Ужели я из тех: с печатью таланта, но грубых, грязных, утопивших дар в вине… “одна нога в калоше, другая в туфле”, — мелькнуло у него бабушкино живописное сравнение. — Ужели я… “неудачник”? А это упорство, эта одна вечная цель, что это значит? Врет он!»

— Вы увидите, что не все такие… — возразил он горячо, — увидите, я непременно…

И остановился, вспомнив бабушкину мудрость о заносчивом «непременно».

— Сами же видите, что я не топлю дар в вине… — прибавил он.

— Да, не пьете: это правда: это улучшение, прогресс! Свет, перчатки, танцы и духи спасли

вас от этого. Впрочем, чад бывает различный: у кого пары бросаются в голову, у другого… Не влюбчивы ли вы?

Райский слегка покраснел.

— Что, кажется, попал?

— Почему вы знаете?

— Да потому, что это тоже входит в натуру художника: она не чуждается ничего человеческого: nihil humanum…[74] и так далее! Кто вино, кто женщин, кто карты, а художники взяли себе всё.

— «Вино», «женщины», «карты»! — повторил Райский озлобленно, — когда перестанут считать женщину каким-то наркотическим снадобьем и ставить рядом с вином и картами! — Почему вы думаете, что я влюбчив? — спросил он, помолчав.

— Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей…

— Ну, так что же: поклоняюсь — видите…

— Верно, влюблены в Марфиньку: недаром портрет пишете! Художники, как лекаря и попы, даром не любят ничего делать. Пожалуй, не прочь и того… увлечь девочку, сыграть какой-нибудь

---

[74] Примечания: 74
ничто человеческое... (*лат.*)

романчик, даже драму…

Он глядел бесцеремонно на Райского и засмеялся злым смехом.

— Милостивый государь! — сказал Райский запальчиво, — кто вам дал право думать и говорить так…

И вдруг остановился, вспомнив сцену с Марфинькой в саду, и сильно почесал свои густые волосы.

— Тише, бабушка услышит! — небрежно сказал Марк.

— Послушайте!.. — сдвинув брови, начал опять Райский…

— «…если я вас до сих пор не выбросил за окошко, — договорил за него Марк, — то вы обязаны этим тому, что вы у меня под кровом!» Так, что ли, следует дальше? Ха-ха-ха!

Райский прошелся по комнате.

— Нет, вы обязаны тому, что вы пьяны! — сказал он покойно, сел в кресло и задумался.

Ему вдруг скучно стало с своим гостем, как трезвому бывает с пьяным.

— О чем вы думаете? — спросил Марк.

— Угадайте, вы мастер угадывать.

— Вы раскаиваетесь, что зазвали меня к себе.

— Почти… — отвечал Райский нерешительно.

Остаток вежливости мешал ему быть вполне откровенным.

— Говорите смелее — как я: скажите всё, что думаете обо мне. Вы давеча интересовались мною, а теперь…

— Теперь, признаюсь, мало.

— Я вам надоел?

— Не то что надоели, а перестали занимать меня, быть новостью. Я вас вижу и знаю.

— Скажите же, что я такое?

— Что вы такое? — повторил Райский, остановясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него. — Вы не загадка: «свихнулись в ранней молодости» — говорит Тит Никоныч: а я думаю, вы просто не получили никакого воспитания, иначе бы не свихнулись; оттого ничего и не делаете… Я не извиняюсь в своей откровенности: вы этого не любите; притом следую вашему примеру…

— Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, без оговорок! — оживляясь, сказал Марк, — вы растете в моем мнении: я думал, что вы так себе, дряблый, приторный, вежливый господин, как все там… А в вас есть спирт… хорошо! продолжайте!

Райский небрежно молчал.

— Что такое воспитание? — заговорил Марк. — Возьмите всю вашу родню и знакомых: воспитанных, умытых, причесанных, непьющих, опрятных, с belles manières[75]… Согласитесь, что они не больше моего делают? А вы сами тоже с воспитанием — вот не пьете: а за исключением портрета Марфиньки да романа в программе…

Райский сделал движение нетерпения, а Марк кончил свою фразу смехом. Смех этот раздражал нервы Райского. Ему хотелось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью.

— Да, вы правы: ни их, ни меня к делу не готовили: мы были обеспечены… — сказал он.

— Как не готовили? Учили верхом ездить для военной службы, дали хороший почерк для гражданской. А в университете: и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственные науки, чего не было? А всё прахом пошло. Ну-с, продолжайте, что же я такое?

— Вы заметили, — сказал Райский, — что наши художники перестали пить, и справедливо видите в этом прогресс, то есть воспитание. Артисты вашего сорта — еще не улучшились… всё те же, как я вижу…

---

[75] Примечания: 75
хорошими манерами (*фр.*).

— Какие же это артисты — скажите, только, пожалуйста, напрямик?

— Артисты — sans façons[76], которые напиваются при первом знакомстве, бьют стекла по ночам, осаждают трактиры, травят собаками дам, стреляют в людей, занимают везде деньги…

— И не отдают! — прибавил Марк. — Браво! Славный очерк: вы его поместите в роман…

— Может быть, помещу.

— A propos о деньгах: для полноты и верности вашего очерка дайте мне рублей сто взаймы: я вам… никогда не отдам, разве что будете в моем положении, а я в вашем…

— Что это, шутка?

— Какая шутка! Огородник, у которого нанимаю квартиру, пристает: он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении…

Райский пожал плечами, потом порылся в платьях, наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол.

— Тут только восемьдесят: вы меня обсчитываете, — сказал Марк, сосчитав.

— Больше нет: деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю.

---

[76] Примечания: 76
дурного воспитания (*фр.*).

— Не забудьте. Пока довольно с меня. Ну-с, что же дальше: «Занимают деньги и не отдают?» — говорил Марк, пряча ассигнации в карман.

— Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок, — продолжал Райский, — бродячая жизнь, житье нараспашку, на чужой счет — вот всё, что им остается, как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями…

Марк засмеялся.

— Не в бровь, а прямо в глаз: хорошо, хорошо! — говорил он.

— Да, если много таких художников, как я, — сказал Райский, — то таких артистов, как вы, еще больше: имя им легион!

— Еще немножко, и вы заплатите мне вполне, — заметил Марк, — но прибавьте: легион, пущенный в стадо…

Он опять засмеялся. За ним усмехнулся и Райский.

— Что ж, это не правда? — добавил Райский, — скажите по совести! Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали… как?

— Неудачниками.

— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, меткое.

— Здешнего изделия: чем богаты, тем и рады! — сказал, кланяясь, Марк. — Вам угодно, чтоб я согласился с верностью вашего очерка: если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если б и не хотел согласиться, то принужден бы был сделать это. Поэтому поздравляю вас: наружно очерк верен — почти совершенно…

— Вы соглашаетесь и…

— И остаюсь всё тем же? — досказал Марк, — вас это удивляет? Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале: согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника, — а все-таки ничего не делаете?

— Но я хочу… делать — и буду! — с азартом сказал Райский.

— И я смертельно хочу делать, но — я думаю — не буду.

Райский пожал плечами.

— Отчего же?

— Поприща, «арены» для меня нет… как вы говорите.

— Есть же у вас какие-нибудь цели?

— Вы скажите мне прежде, отчего я такой? — спросил Марк, — вы так хорошо сделали очерк: замок перед вами, приберите и ключ. Что вы ви-

дите еще под этим очерком? Тогда, может быть, и я скажу вам, отчего я не буду ничего делать.

Райский начал ходить по комнате, вдумываясь в этот новый вопрос.

— Отчего вы такой? — повторил он в раздумье, останавливаясь перед Марком, — я думаю, вот отчего: от природы вы были пылкий, живой мальчик. Дома мать, няньки избаловали вас.

Марк усмехнулся.

— Всё это баловство повело к деспотизму: а когда дядьки и няньки кончились, чужие люди стали ограничивать дикую волю, вам не понравилось; вы сделали эксцентрический подвиг, вас прогнали из одного места. Тогда уж стали мстить обществу: благоразумие, тишина, чужое благосостояние показались грехом и пороком, порядок противен, люди нелепы… И давай тревожить покой смирных людей!..

Марк покачал головой.

— Одни из этих артистов просто утопают в картах, в вине, — продолжал Райский, — другие ищут роли. Есть и Дон Кихоты между ними: они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преследуют ее иногда искренно; вообразят себя пророками и апостольствуют в кружках слабых голов, по трактирам. Это легче, чем работать.

Проврутся что-нибудь дерзко про власть, их переводят, пересылают с места на место. Они всем в тягость, везде надоели. Кончают они различно, смотря по характеру: кто угодит, вот как вы, на смирение…

— Да я еще не кончил: я начинаю только, что вы! — перебил Марк.

— Других запирают в сумасшедший дом за их идеи…

— Это еще не доказательство сумасшествия. Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили за нее в сумасшедший дом, — заметил Марк.

— А! так вот вы что! У вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею!

— Да-с, вот что! — с комической важностью подтвердил Марк.

— Какую же?

— Какие вы нескромные! Угадайте! — сказал, зевая, Марк и, положив голову на подушку, закрыл глаза. — Спать хочется! — прибавил он.

— Ложитесь здесь, на мою постель: а я лягу на диван, — приглашал Райский, — вы гость…

— Хуже татарина… — сквозь сон бормотал Марк, — вы ложитесь на постель, а я… мне всё равно…

«Что он такое? — думал Райский, тоже зевая, — витает, как птица или бездомная, бесприютная собака без хозяина, то есть без цели! Праздный ли это, затерявшийся повеса, заблудшая овца, или…»

— Прощайте, неудачник! — сказал Марк.

— Прощайте, русский… Карл Мор! — насмешливо отвечал Райский и задумался.

А когда очнулся от задумчивости, Марк спал уже всею сладостью сна, какой дается крепко озябшему, уставшему, наевшемуся и выпившему человеку.

Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь.

Кое-где стучали в доску, лениво раздавалось откуда-то протяжное: «Слушáй!» Только от собачьего лая стоял глухой гул над городом. Но всё превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой.

В комнате, в не допитой Марком чашке с ромом, ползал чуть мерцающий синий огонек и, изредка вспыхивая, озарял на секунду комнату и опять горел тускло, готовый ежеминутно потухнуть.

Кто-то легонько постучал в дверь.

— Кто там? — тихо спросил Райский.

— Это я, Борюшка, отвори скорее! Что у тебя

делается? — послышался испуганный голос Татьяны Марковны.

Райский отпер. Дверь отворилась, и бабушка, как привидение, вся в белом, явилась на пороге.

— Батюшки мои! что это за свет? — с тревогой произнесла она, глядя на мерцающий огонь.

Райский отвечал смехом.

— Что такое у тебя? Я в окно увидала свет, испугалась, думала, ты спишь… Что это горит в чашке?

— Ром.

— Ты по ночам пьешь пунш! — шепотом, в ужасе сказала она и с изумлением глядела то на него, то на чашку.

— Грешен, бабушка, иногда люблю выпить…

— А это кто спит? — с новым изумлением спросила она, вдруг увидев спящего Марка.

— Тише, бабушка, не разбудите: это Марк.

— Марк! Не послать ли за полицией? Где ты взял его? Как ты с ним связался? — шептала она в изумлении. — По ночам с Марком пьет пунш! Да что с тобой сделалось, Борис Павлович?

— Я у Леонтия встретился с ним, — говорил он, наслаждаясь ее ужасом. — Нам обоим захотелось есть: он звал было в трактир…

— В трактир! Этого еще недоставало!

— А я привел его к себе — и мы поужинали…

— Отчего же ты не разбудил меня! Кто вам подавал? Что подавали?

— Стерляди, индейку: Марина всё нашла!

— Всё холодное! Как же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята… Ах, Борюшка, срамишь ты меня!

— Мы сыты и так.

— А пирожное? — спохватилась она, — ведь его не осталось! Что же вы ели?

— Ничего: вон Марк пунш сделал. Мы сыты.

— Сыты! ужинали без горячего, без пирожного! Я сейчас пришлю варенья…

— Нет, нет, не надо! Если хотите, я разбужу Марка, спрошу…

— Что ты, Бог с тобой: я в кофте! — с испугом отговаривалась Татьяна Марковна, прячась в коридоре. — Бог с ним: пусть его спит! Да как он спит-то: свернулся, точно собачонка! — косясь на Марка, говорила она. — Стыд, Борис Павлович, стыд: разве перин нет в доме? Ах ты, Боже мой! Да потуши ты этот проклятый огонь! Без пирожного!

Райский задул синий огонь и обнял бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочках пошла к себе.

Он уже ложился спать, как опять постучали в дверь.

— Кто еще там? — спросил Райский и отпер дверь. Марина поставила прежде на стол банку варенья, потом втащила пуховик и две подушки.

— Барыня прислали: не покушаете ли варенья? — сказала она. — А вот и перина: если Марк Иваныч проснутся, так вот легли бы на перине!

Райский еще раз рассмеялся искренно от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым, указываемым сердцем, добродетелям.

XVI

Рано утром легкий стук в окно разбудил Райского. Это Марк выпрыгнул в окошко.

«Не любит прямой дороги!..» — думал Райский, глядя, как Марк прокрадывался через цветник, через сад и скрылся в чаще деревьев, у самого обрыва.

Борису не спалось, и он в легком утреннем пальто вышел в сад, хотел было догнать Марка, но увидел его уже далеко идущего низом по волжскому прибрежью.

Райский постоял над обрывом: было еще рано; солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев, вдали сияли поля, облитые росой, утренний ветерок веял мягкой прохладой. Воздух быстро нагревался и обещал теплый день.

Райский походил по саду. Там уже началась жизнь; птицы пели дружно, суетились во все стороны, отыскивая завтрак; пчелы, шмели жужжали около цветов.

Издали, с поля, доносилось мычанье коров, по полю валило облако пыли, поднимаемое стадом овец; в деревне скрипели ворота, слышался стук

телег; во ржи щелкали перепела.

На дворе тоже начиналась забота дня. Прохор поил и чистил лошадей в сарае, Кузьма или Степан рубил дрова, Матрена прошла с корытцем муки в кухню, Марина раза четыре пронеслась по двору, бережно неся и держа далеко от себя выглаженные юбки барышни.

Егорка делал туалет, умываясь у колодца, в углу двора; он полоскался, сморкался, плевал и уже скалил зубы над Мариной. Яков с крыльца молился на крест собора, поднимавшийся из-за домов слободки.

По двору, под ногами людей и около людских, у корыта с какой-то кашей толпились куры и утки, да нахально везде бегали собаки, лаявшие натощак без толку на всякого прохожего, даже иногда на своих, наконец, друг на друга.

— Всё то же, что вчера, что будет завтра! — прошептал Райский.

Он постоял посредине двора, лениво оглянулся во все стороны, почесался, зевнул и вдруг почувствовал симптомы болезни, мучившей его в Петербурге.

Ему стало скучно. Перед ним, в перспективе, стоял длинный день, с вчерашними, третьегоднишними впечатлениями, ощущениями. Кругом

всё та же наивно улыбающаяся природа, тот же лес, та же задумчивая Волга, обвевал его тот же воздух.

Те же всё представления, лишь он проснется, как неподвижная кулиса, вставали перед ним; двигались те же лица, разные твари.

Его и влекла, и отталкивала от них центробежная сила: его тянуло к Леонтью, которого он ценил и любил, но лишь только он приходил к нему, его уже толкало вон.

Леонтий, как изваяние, вылился весь окончательно в назначенный ему образ, угадал свою задачу и окаменел навсегда. Райский искал чего-нибудь другого, где бы он мог не каменеть, не слыша и не чувствуя себя.

Он шел к бабушке и у ней в комнате, на кожаном канапе, за решетчатым окном, находил еще какое-то колыханье жизни, там еще была ему какая-нибудь работа, ломать старый век.

Жизнь между ею и им становилась не иначе как спорным пунктом и разрешалась иногда, после нелегкой работы ума, кипения крови, диалектикой, в которой Райский добывал какое-нибудь оригинальное наблюдение над нравами этого быта или практическую, верную заметку жизни или следил, как отправлялась жизнь под

наитием наивной веры и под ферулой грубого суеверия.

Его все-таки что-нибудь да волновало: досада, смех, иногда пробивалось умиление. Но как скоро спор кончался, интерес падал, Райскому являлись только простые формы одной и той же, неведомо куда и зачем текущей жизни.

Марфинька со вчерашнего вечера окончательно стала для него сестрой: другим ничем она быть не могла, и притом сестрой, к которой он не чувствовал братской нежности.

Он уже не счел нужным переделывать ее: другое воспитание, другое воззрение, даже дальнейшее развитие нарушило бы строгую определенность этой натуры, хотя, может быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы детство, все эти ребяческие понятия, бабочкино порханье, но что дало бы взамен?

Страстей, широких движений, какой-нибудь дальней и трудной цели — не могло дать: не по натуре ей! А дало бы хаос, повело бы к недоумениям — и много-много, если б разрешилось претензией съездить в Москву, побывать на бале в дворянском собрании, привезти платье с Кузнецкого моста и потом хвастаться этим до глубокой старости перед мелкими губернскими

чиновницами.

Тит Никоныч и прочие немногие лица примелькались ему, как примелькались старинные кожаные канапе, шкафы, саксонские чашки и богемские хрустали.

Оставался Марк, да еще Вера, как туманные пятна.

Марка он видел, и как ни прятался тот в диогеновскую бочку, а Райский успел уловить главные черты физиономии.

Идти дальше, стараться объяснить его окончательно — значит напиваться с ним пьяным, давать ему денег взаймы и потом выслушивать незанимательные повести о том, как он в полку нагрубил командиру или побил жида, не заплатил в трактире денег, поднял знамя бунта против уездной или земской полиции и как за то выключен из полка или послан в такой-то город под надзор.

Райский повесил голову и шел по двору, не замечая поклонов дворни, не отвечая на приветливое вилянье собак; набрел на утят и чуть не раздавил их.

«Что за существование, — размышлял он, — остановить взгляд на явлении, принять образ в себя, вспыхнуть на минуту и потом холодеть,

скучать и насильственно или искусственно подновлять в себе периодическую охоту к жизни, как ежедневный аппетит! Тайна уменья жить — только тайна длить эти периоды, или, лучше сказать, не тайна, а дар, невольный, бессознательный. Надо жить как-то закрывши глаза и уши — и живется долго и прочно. И те и правы, у кого нет жала в мозгу, кто близорук, у кого туго обоняние, кто идет, как в тумане, не теряя иллюзий! А как удержать краски на предметах, никогда не взглянуть на них простыми глазами и не увидеть, что зелень не зелена, небо не сине, что Марк не заманчивый герой, а мелкий либерал, Марфинька сахарная куколка, а Вера…»

«Что такое Вера?» — сделал он себе вопрос и зевнул.

Он пожимал плечами, как будто озноб пробегал у него по спине, морщился и, заложив руки в карманы, ходил по огороду, по саду, не замечая красок утра, горячего воздуха, так нежно ласкавшего его нервы, не смотрел на Волгу, и только тупая скука грызла его. Он с ужасом видел впереди ряд длинных, бесцельных дней.

Ему пришла в голову прежняя мысль «писать скуку»: ведь жизнь многостороння и многообразна, и если, думал он, и эта широкая и голая, как

степь, скука лежит в самой жизни, как лежат в природе безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, пера или кисти, как одна из сторон жизни: «Что ж, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этот холод, отвращение и злоба, которые вторглись в меня, будут красками и колоритом… картина будет верна…»

Райский хотел было пойти сесть за свои тетради «записывать скуку», как увидел, что дверь в старый дом не заперта. Он заглянул в него только мельком, по приезде, с Марфинькой, осматривая комнату Веры. Теперь вздумалось ему осмотреть его поподробнее, и он вступил в сени и поднялся на лестницу.

Он уже не по-прежнему, с стесненным сердцем, а вяло прошел сумрачную залу с колоннадой, гостиные с статуями, бронзовыми часами, шкафиками рококо и, ни на что не глядя, добрался до верхних комнат; припомнил, где была детская и его спальня, где стояла его кровать, где сиживала его мать.

У него лениво стали тесниться бледные воспоминания о ее ласках, шепоте, о том, как она клала детские его пальцы на клавиши и старалась

наигрывать песенку, как потом подолгу играла сама, забыв о нем, а он слушал, присмирев у ней на коленях, потом вела его в угловую комнату смотреть на Волгу и Заволжье.

Заглянув в свою бывшую спальню, в две-три другие комнаты, он вошел в угловую комнату, чтоб взглянуть на Волгу. Погрузясь в себя, тихо и задумчиво отворил он ногой дверь, взглянул и… остолбенел.

В комнате было живое существо.

Глядя с напряженным любопытством вдаль, на берег Волги, боком к нему стояла девушка лет двадцати двух, может быть трех, опершись рукой на окно. Белое, даже бледное, лицо, темные волосы, бархатный черный взгляд и длинные ресницы — вот всё, что бросилось ему в глаза и ослепило его.

Девушка неподвижно и напряженно смотрела вдаль, как будто провожая кого-то глазами. Потом лицо ее приняло равнодушное выражение; она бегло окинула взглядом окрестность, потом двор, обернулась — и сильно вздрогнула, увидев его.

На лице мелькнуло изумление и уступило место недоумению, потом, как тень, прошло даже, кажется, неудовольствие, и всё разрешилось в строгое ожидание.

— Сестра Вера! — произнес Райский.

У ней лицо прояснилось, и взгляд остановился на нем с выражением сдержанного любопытства и скромности.

Он подошел, взял ее за руку и поцеловал. Она немного подалась назад и чуть-чуть повернула лицо в сторону, так, что губы его встретили щеку, а не рот.

Они оба сели у окна друг против друга.

— Как я ждал вас: вы загостились за Волгой! — сказал он и с нетерпением ждал ответа, чтоб слышать ее голос.

«Голоса, голоса!» — прежде всего просило воображение вдобавок к этому ослепительному образу.

— Я вчера только от Марины узнала, что вы здесь, — отвечала она.

Голос у ней не был звонок, как у Марфиньки: он был свеж, молод, но тих, с примесью грудного шепота, хотя она говорила вслух.

— Бабушка хотела посылать за вами, но я просил не давать знать о моем приезде. Когда же вы возвратились? Мне никто ничего не сказал.

— Я вчера после ужина приехала: бабушка и сестра еще не знают. Только одна Марина видела меня.

Она сидела, откинувшись на стул спиной, положив один локоть на окно, и смотрела на Райского не прямо, а как будто случайно, когда доходила очередь взглянуть между прочим и на него.

А он глядел всею силою любопытства, долго сдерживаемого. От его жадного взгляда не ускользало ни одно ее движение.

На него, по обыкновению, уже делала впечатление эта новая красота, или, лучше сказать, новый род красоты, не похожий на красоту ни Беловодовой, ни Марфиньки.

Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати чистосердечия в чертах и вместе холодного сияния, как у Софьи. Нет и детского, херувимского дыхания свежести, как у Марфиньки: но есть какая-то тайна, мелькает невысказывающаяся сразу прелесть, в луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений, что-то неудержимо прокрадывающееся в душу во всей фигуре.

Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом, густой массой лежали на лбу и на висках ослепительной белизны, с тонкими синими венами.

Она не стыдливо, а больше с досадой взяла и выбросила в другую комнату кучу белых юбок, принесенных Мариной, потом проворно прибрала со стульев узелок, брошенный, вероятно, накануне вечером, и подвинула к окну маленький столик. Всё это в две-три минуты, и опять села перед ним на стуле свободно и небрежно, как будто его не было.

— Я велела кофе сварить, хотите пить со мной? — спросила она. — Дома еще долго не дадут: Марфинька поздно встает.

— Да, да, с удовольствием, — говорил Райский, продолжая изучать ее физиономию, движения, каждый взгляд, улыбку.

Взгляд ее то манил, втягивал в себя, как в глубину, то смотрел зорко и проницательно. Он заметил еще появляющуюся по временам в одну и ту же минуту двойную мину на лице, дрожащий от улыбки подбородок, потом не слишком тонкий, но стройный, при походке волнующийся стан, наконец, мягкий, неслышимый, будто кошачий, шаг.

«Что это за нежное, неуловимое создание! — думал Райский, — какая противоположность с сестрой: та луч, тепло и свет; эта вся — мерцание и тайна, как ночь — полная мглы и искр, преле-

сти и чудес!..»

Он с любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлению. И Софья, и Марфинька, будто по волшебству, удалились на далекий план, и скуки как не бывало: опять повеяло на него теплом, опять природа стала нарядна, всё ожило.

Он торопливо уже зажигал диогеновский фонарь и освещал им эту новую, неожиданно возникшую перед ним фигуру.

— Вы, я думаю, забыли меня, Вера? — спросил он.

Он сам слышал, что голос его, без намерения, был нежен, взгляд не отрывался от нее.

— Нет, — говорила она, наливая кофе, — я всё помню.

— Всё, но не меня?

— И вас.

— Что же вы помните обо мне?

— Да всё.

— Я, признаюсь вам, слабо помню вас обеих: помню только, что Марфинька всё плакала, а вы нет; вы были лукавы, исподтишка шалили, тихонько ели смородину, убегали одни в сад и сюда, в дом.

Она улыбнулась в ответ.

— Вы сладко любите? — спросила она, готовясь класть сахар в чашку.

«Как она холодна и… свободна, не дичится совсем!» — подумал он.

— Да. Скажите, Вера, вспоминали вы иногда обо мне? — спросил он.

— Очень часто: бабушка нам уши прожужжала про вас.

— Бабушка! А вы сами?

— А вы о нас? — спросила она, следя пристально, как кофе льется в чашку, и мельком взглянув на него.

Он молчал, она подала ему чашку и подвинула хлеб. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькие кусочки мякиша.

Ему хотелось бы закидать ее вопросами, которые кипели в голове, но так беспорядочно, что он не знал, с которого начать.

— Я уж был у вас в комнате… Извините за нескромность… — сказал он.

— Здесь ничего нет, — заметила она, оглядываясь внимательно, как будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь.

— Да, ничего… Что это за книга? — спросил он и хотел взять книгу у ней из-под руки.

Она отодвинула ее и переложила сзади себя, на

этажерку. Он засмеялся.

— Спрятали, как, бывало, смородину в рот! Покажите!

Она сделала отрицательный знак головой.

— Вот как: читаете такие книги, что и показать нельзя! — шутил он.

Она спрятала книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди и рассеянно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно, и, казалось, забывала, что он тут. Только когда он будил ее внимание вопросом, она обращала на него простой взгляд.

— Хотите еще кофе? — спросила она.

— Да, пожалуйста. Послушайте, Вера, мне хотелось бы так много сказать вам…

Он встал и прошелся по комнате, затрудняясь завязать с нею непрерывный и продолжительный разговор.

Он вспомнил, что и с Марфинькой сначала не вязался разговор. Но там это было от ее ребяческой застенчивости, а здесь не то. Вера не застенчива: это видно сразу, а как будто холодна, как будто вовсе не интересовалась им.

«Что это значит: не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться, по природному неведению, или хитрит, притворяется? — думал он, стараясь

угадать ее, — ведь я все-таки новость для нее. Уж не бродит ли у ней в голове: «Нехорошо, глупо не совладеть с впечатлением, отдаться ему, разинуть рот и уставить глаза!» Нет, быть не может, это было бы слишком тонко, изысканно для нее: не по-деревенски! Но во всяком случае, что бы она ни была, она — не Марфинька. А как хороша, Боже мой! Вот куда запряталась такая красота!»

Ему хотелось скорей вывести ее на свежую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объяснение. Но чем он больше торопился, чем больше раздражался, тем она становилась холоднее. А он бросался от вопроса к вопросу.

— У вас была моя библиотека на руках? — спросил он.

— Да, потом ее взял Леонтий Иванович. Я была рада, что избавилась от заботы.

— Надеюсь, он не все книги взял? Верно, вы оставили какие-нибудь для себя?

— Нет, все… кажется, Марфинька какие-то взяла.

— А вы?.. разве вам не нужно было?

— Нет. Я прочла, что мне нравилось, и отдала.

— А что вам нравилось?

Она молчала.

— Вера?

— Очень многое; теперь я забыла, что именно, — сказала она, поглядывая в окно.

— Там есть несколько исторических увражей. Поэзия… читали вы их?

— Иные — да.

— Какие же?

— Право, не помню! — нехотя прибавила она, как будто утомляясь этими расспросами.

— Вы любите музыку? — спросил он.

Она вопросительно поглядела на него при этом новом вопросе.

— Как «люблю ли»? то есть играю ли сама или слушать люблю?

— И то и другое.

— Нет, я не играю, а слушать… Где же здесь музыка?

— Что вы любите вообще?

Она опять вопросительно поглядела на него.

— Любите хозяйство или рукоделья, вышиваете?

— Нет, не умею. Вон Марфинька любит и умеет.

Райский поглядел на нее, прошелся по комнате и остановился перед ней.

— Послушайте, Вера, вы… боитесь меня? — спросил он.

Она не поняла его вопроса и глядела на него во все глаза, почти до простодушия, не свойственного ее умному и проницательному взгляду.

— Отчего вы не высказываетесь, скрываетесь? — начал он, — вы думаете, может быть, что я способен… пошутить или небрежно обойтись… Словом, вам, может быть, дико: вы конфузитесь, робеете…

Она смотрела на него с язвительным удивлением, так, что он в одно мгновение понял, что она не конфузится, не дичится и не робеет.

Вопрос был глуп. Ему стало еще досаднее.

— Вот Марфинька боится, — сказал он, желая поправиться, — и сама не знает почему…

— А я не знаю, чего надо бояться, и потому, может быть, не боюсь, — отвечала она с улыбкой.

— Но что же вы любите? — вдруг кинулся он опять к вопросу. — Книга вас не занимает; вы говорите, что вы не работаете… Есть же что-нибудь: цветы, может быть, любите…

— Цветы? да, люблю их вон там, в саду, а не в комнате, где надо за ними ходить.

— И природу вообще?

— Да, этот уголок, Волгу, обрыв — вон этот лес и сад — я очень люблю! — произнесла она, и взгляды ее покоились с очевидным удовольствием на

всей лежавшей перед окнами местности.

— Что же вас так привязывает к этому уголку?

Она молчала, продолжая с наслаждением останавливать ласковый взгляд на каждом дереве, на бугре и, наконец, на Волге.

— Всё, — сказала она равнодушно.

— Да, это прекрасно, но одного этого мало: один вид, один берег, горы, лес — всё это прискучило бы, если б это не было населено чем-нибудь живым, что вызывало и делило бы эту симпатию.

— Да, это правда: прискучило бы! — подтвердила и она.

— Стало быть, у вас есть кто-нибудь здесь, с кем вы делитесь сочувствием, меняетесь мыслями?

Она молчала и будто не слушала его.

— Вера?

— А? Я не одна живу, вы знаете! — сказала она, вслушавшись в его вопрос. — Бабушка, Марфинька…

— Будто вы с ними делитесь сочувствием, меняетесь мыслями?

Она взглянула на него, и в глазах ее стоял вопрос: почему же нет?

— Нет, — начал он, — есть ли кто-нибудь, с кем бы вы могли стать вон там, на краю утеса, или сесть в чаще этих кустов — там и скамья есть

— и просидеть утро или вечер, или всю ночь, и не заметить времени, проговорить без умолку, или промолчать полдня, только чувствуя счастье — понимать друг друга, и понимать не только слова, но знать, о чем молчит другой, и чтоб он умел читать в этом вашем бездонном взгляде вашу душу, шепот сердца… вот что!

Она с опущенными ресницами будто заснула в задумчивости.

— Есть ли такой ваш двойник, — продолжал он, глядя на нее пытливо, — который бы невидимо ходил тут около вас, хотя бы сам был далеко, чтобы вы чувствовали, что он близко, что в нем носится частица вашего существования, и что вы сами носите в себе будто часть чужого сердца, чужих мыслей, чужую долю на плечах, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лес, не одними своими ушами слушаете этот шум и пьете жадно воздух теплой и темной ночи, а вместе…

Она взглянула на него, сделала какое-то движение, и в одно время с этим быстрым взглядом блеснул какой-то будто внезапный свет от ее лица, от этой улыбки, от этого живого движения. Райский остановился на минуту, но блеск пропал, и она неподвижно слушала.

— Тогда только, — продолжал он, стараясь объяснить себе смысл ее лица, — в этом во всем и есть значение, тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть ли у вас здесь такой двойник, — это другое сердце, другой ум, другая душа, и поделились ли вы с ним, взамен взятого у него, своей душой и своими мыслями?.. Есть ли?

— Есть! — с примесью грудного шепота произнесла она.

— Есть! Кто же это счастливое существо? — с завистью, почти с испугом, даже ревностью, спросил он.

Она помолчала немного.

— А… попадья, у которой я гостила: вам, верно, сказали о ней! — отвечала Вера и, встав со стула, стряхнула с передника крошки от сухарей.

— Попадья! — недоверчиво повторил Райский.

— Да, она — мой двойник: когда она гостит у меня, мы часто и долго любуемся с ней Волгой и не наговоримся, сидим вон там на скамье, как вы угадали… Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать…

— Попадья! — повторил он задумчиво, не слушая ее и не заметив, что она улыбнулась, что у ней от улыбки задрожал подбородок.

А у него на лице повисло облако недоумения,

недоверчивости, какой-то беспричинной и бесцельной грусти. Он разбирал себя и наконец разобрал, что он допрашивался у Веры о том, населял ли кто-нибудь для нее этот угол живым присутствием, не из участия, а частию затем, чтоб испытать ее, частию, чтобы как будто отрекомендоваться ей, заявить свой взгляд, чувства…

Он должен был сознаться, что втайне надеялся найти в ней ту же свежую, молодую, непочатую жизнь, как в Марфиньке, и что, пока бессознательно, он сам просился начать ее, населить эти места для нее собою, быть ее двойником.

Словом, те же желания и стремления, как при встрече с Беловодовой, с Марфинькой, заговорили и теперь, но только сильнее, непобедимее, потому что Вера была заманчиво, таинственно-прекрасна, потому что в ней вся прелесть не являлась сразу, как в тех двух и в многих других, а пряталась и раздражала воображение, и это еще при первом шаге!

Что же было еще дальше, впереди: кто она, что она? Лукавая кокетка, тонкая актриса или глубокая и тонкая женская натура, одна из тех, которые, по воле своей, играют жизнью человека, топчут ее, заставляя влачить жалкое существование, или дают уже такое счастье, лучше, жарче,

живее какого не дается человеку.

— Хотите еще кофе? — повторила она.

— Нет, не хочу. А бабушка, Марфинька: вы любите их? — задумчиво перешел он к новому вопросу.

— Кого же мне любить, как не их?

— А меня? — вдруг сказал он, переходя в шутливый тон.

— Пожалуй, я и вас буду любить, — сказала она, глядя на него веселым взглядом, — если… заслужите.

— Вот как! ведь я вам брат: вы и так должны меня любить.

— Я никому ничего не должна.

— Хвастунья! «Я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь: я горда!..» — так, что ли?

— Нет, не так!

«Еще не выросла, не выбилась из этих общих мест жизни. Провинция!» — думал Райский сердито, ходя по комнате.

— Как же заслужить это счастье? — спросил он с иронией, — позвольте спросить.

— Какое счастье?

— Счастье приобрести вашу любовь.

— Любовь, говорят, дается без всякой заслуги,

так. Ведь она слепая!.. Я не знаю, впрочем…

— А иногда приходит и сознательно, — заметил Райский, — путем доверенности, уважения, дружбы. Я бы хотел начать с этого и окончить первым. Так что же надо сделать, чтоб заслужить ваше внимание, милая сестра?

— Не обращать на меня внимания, — сказала она, помолчав.

— Как, не замечать вас, не…

— Не делать таких больших глаз, вот как теперь! — подсказала она, — не ходить без меня в мою комнату, не допытываться, что я люблю, что нет…

— Гордость! А скажите, сестра, вы… извините, я откровенен: вы не рисуетесь этой гордостью?

Она молчала.

— Не хочется вам похвастаться независимостью характера? Вы, может быть, стремитесь к selfgovernment[77] и хотите щегольнуть эмансипацией от здешних авторитетов: бабушки, Нила Андреевича, да?

— Вы, кажется, начинаете «заслуживать мое доверие и дружбу»! — смеясь, заметила она, потом сделалась серьезна и казалась утомленной

---

[77] Примечания: 77
самостоятельности (*англ.*).

или скучной. — Я не совсем понимаю, что вы сказали, — прибавила она.

— Я потому это говорю, — оправдывался он, — что бабушка сказывала мне, что вы горды.

— Бабушка? какая, право! Везде ее спрашивают! Я совсем не горда. И по какому случаю она говорила вам это?

— Потому что я вам с Марфинькой подарил вот это всё, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда ли?

— Мне всё равно, ваше ли это, мое ли, лишь бы я была здесь.

— Да она не хотела оставаться здесь: она хотела уехать в Новоселово…

— Ну? — отрывисто, грудью спросила она, будто с тревогой.

— Ну, я всё уладил: куда переезжать? Марфинька приняла подарок, но только с тем, чтобы и вы приняли.

И бабушка поколебалась, но окончательно не решилась, ждет, кажется, что скажете вы. А вы что скажете? Примете, да? как сестра от брата?

— Да, я приму, — поспешно сказала она. — Нет, зачем принимать: я куплю. Продайте мне: у меня деньги есть. Я вам пятьдесят тысяч дам.

— Нет, так я не хочу.

Она остановилась, подумала, бросила взгляд на Волгу, на обрыв, на сад.

— Хорошо, как хотите, — я на всё согласна, только чтоб нам остаться здесь.

— Так я велю бумагу написать?

— Да… благодарю, — говорила она, подойдя к нему и протянув ему обе руки. Он взял их, пожал и поцеловал ее в щеку. Она отвечала ему крепким пожатием и поцелуем на воздух.

— Видно, вы в самом деле любите этот уголок и старый дом?

— Да, очень…

— Послушайте, Вера: дайте мне комнату здесь в доме — мы будем вместе читать, учиться… хотите учиться?

— Чему учиться? — с удивлением спросила она.

— Вот видите: мне хочется пройти с Марфинькой практически историю литературы и искусства. Не пугайтесь, — поспешил он прибавить, заметив, что у ней на лице показался какой-то туман, — курс весь будет состоять в чтении и разговорах… Мы будем читать всё, старое и новое, свое и чужое, — передавать друг другу впечатления, спорить… Это займет меня, может быть, и вас. Вы любите искусство?

Она тихонько зевнула в руку: он заметил.

«Кажется, ее нельзя учить, да и нечему: она или уже всё знает или не хочет знать!» — решил он про себя.

— А вы… долго останетесь здесь? — спросила она, не отвечая на его вопрос.

— Не знаю: это зависит от обстоятельств и… от вас.

— От меня? — повторила она и задумалась, глядя в сторону.

— Пойдемте туда, в тот дом. Я покажу вам свои альбомы, рисунки… мы поговорим… — предлагал он.

— Хорошо, подите вперед, а я приду: мне надо тут вынуть свои вещи, я еще не разобралась…

Он медлил. Она, держась за дверь, ждала, чтоб он ушел.

«Как она хороша, Боже мой! И какая язвительная красота!» — думал он, идучи к себе и оглядываясь на ее окна.

— Вера Васильевна приехала! — с живостью сказал он Якову в передней.

— Бабушка, Вера приехала! — крикнул он, проходя мимо бабушкиного кабинета и постучав в дверь.

— Марфинька! — закричал он у лестницы,

ведущей в Марфинькину комнату, — Верочка приехала!

Крик, шум, восклицания, звон ключей, шипенье самовара, беготня — были ответом на принесенную им весть.

Он проворно раскопал свои папки, бумаги, вынес в залу, разложил на столе и с нетерпением ждал, когда Вера отделается от объятий, ласк и расспросов бабушки и Марфиньки и прибежит к нему продолжать начатый разговор, которому он не хотел предвидеть конца. И сам удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, как будто в самом деле «хотел заслужить внимание, доверие и дружбу…»

«Постой же, — думал он, — я докажу, что ты больше ничего, как девочка передо мной!..»

Он с нетерпением ждал. Но Вера не приходила. Он располагал увлечь ее в бездонный разговор об искусстве, откуда шагнул бы к красоте, к чувствам и т. д.

«Не всё же открыла ей попадья! — думал он, — не все стороны ума и чувства изведала она: не успела, некогда! Посмотрим, будешь ли ты владеть собою, когда…»

Но она всё нейдет. Его взяло зло, он собрал рисунки и только хотел унести опять к себе наверх,

как распахнулась дверь и пред ним предстала… Полина Карповна, закутанная, как в облака, в кисейную блузу, с голубыми бантами на шее, на груди, на желудке, на плечах, в прозрачной шляпке с колосьями и незабудками. Сзади шел тот же кадет с веером и складным стулом.

— Боже мой! — болезненно произнес Райский.

— Bonj*ur*! — сказала она, — не ждали? вижю, вижю! Du courage![78] Я всё понимаю. А мы с Мишелем были в роще и зашли к вам. Michel! Saluez donc monsieur et mettez tout cela de côté![79] Что это у вас? ах, альбомы, рисунки, произведения вашей музы! Я заранее без ума от них: покажите, покажите, ради Бога! Садитесь сюда, ближе, ближе…

Она осенила диван и несколько кресел своей юбкой. Райскому страх как хотелось пустить в нее папками и тетрадями. Он стоял, не зная, уйти ли ему внезапно, оставив ее тут, или покориться своей участи и показать рисунки.

— Не конфузьтесь, будьте смелее, — говорила она. — Michel! allez-vous promener un peu au le

---

[78] Примечания: 78
Смелее! (*фр.*)

[79] Примечания: 79
Мишель! Поздоровайтесь же и положите всё это куда-нибудь (*фр.*)

jardin![80] Садитесь, сюда, ближе! — продолжала она, когда юноша ушел.

Райский внезапно разразился нервным хохотом и сел подле нее.

— Вот так! Я вижу, что вы угадали меня… — прибавила она шепотом.

Райский окончательно развеселился: «Эта, по крайней мере, играет наивно комедию, не скрывается и не окружает себя туманом, как та…» — думал он.

— Ах, как это мило! charmant, ce paysage![81] — говорила между тем Крицкая, рассматривая рисунки. — Qu'est-ce que c'est que cette belle figure?[82] — спрашивала она, останавливаясь над портретом Беловодовой, сделанным акварелью. — Ah, que c'est beau![83] Это ваша пассия — да? признайтесь.

— Да.

---

[80] Примечания: 80
Мишель, погуляйте немного в саду! (*искаж. фр.*)

[81] Примечания: 81
очаровательный пейзаж! (*фр.*)

[82] Примечания: 82
Кто эта красавица? (*фр.*)

[83] Примечания: 83
Ах, какая красота! (*фр.*)

— Я знала — oh, vous êtes terrible, allez![84] — прибавила она, ударив его легонько веером по плечу.

Он засмеялся.

— N'est-ce pas?[85] Много вздыхают по вас? признайтесь. А здесь еще что будет!

Она остановила на нем плутовский взгляд.

— Monstre! — произнесла она лукаво.

«Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» — со скрежетом думал он, опять впадая в ярость.

— У меня есть просьба к вам, m-r Boris… надеюсь, я уже могу называть вас так… Faites mon portrait.[86]

Он молчал.

— Ma figure y prête, j'espère?[87]

Он молчал.

— Вы молчите, следовательно это решено: когда я могу прийти? Как мне одеться? Скажите,

---

[84] Примечания: 84
о вы страшный человек! (*фр.*)

[85] Примечания: 85
— Не так ли? (*фр.*)

[86] Примечания: 86
Напишите мой портрет (*фр.*).

[87] Примечания: 87
— Надеюсь, мое лицо подходит? (*фр.*)

я отдаюсь на вашу волю — я вся вашя покорная раба… — говорила она шепелявым шепотом, нежно глядя на него и готовясь как будто склонить голову к его плечу.

— Пустите меня, ради Бога: я на свежий воздух хочу!.. — сказал он в тоске, вставая и выпутывая ноги из ее юбок.

— Ах, вы в ажитации: это натурально — да, да, я этого хотела и добилась! — говорила она, торжествуя и обмахиваясь веером. — А когда портрет?

Он молча выпутывал ноги из юбок.

— Вы в плену, не выпутаетесь! — шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

В это время отворилась тихонько дверь, и на пороге показалась Вера. Она постояла несколько минут, прежде нежели они ее заметили. Наконец Крицкая первая увидела ее.

— Вера Васильевна: вы воротились, ах, какое счастье! Vous nous manquiez![88] Посмотрите, ваш cousin в плену, не правда ли, как лев в сетях! Здоровы ли вы, моя милая, как поправились, пополнели…

И Крицкая шла целоваться с Верой. Вера гляде-

---

[88] Примечания: 88
Нам вас так недоставало! (*фр.*)

ла на эту сцену молча, только подбородок дрожал у ней от улыбки.

— Я вас давно ждал! — заметил ей Райский сухо.

— Я хорошо сделала, что замешкалась, — с вежливой иронией сказала Вера, поздоровавшись с Крицкой. — Полина Карповна подоспела кстати…

— N'est-ce pas?[89] — подтвердила Крицкая.

— Она, верно, лучше меня поймет: я бестолкова очень, у меня вкуса нет, — продолжала Вера и, взяв два-три рисунка, небрежно поглядела с минуту на каждый, потом, положив их, подошла к зеркалу и внимательно смотрелась в него.

— Какая я бледная сегодня! У меня немного голова болит: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свидания, cousin! Извините, Полина Карповна! — прибавила она и скользнула в дверь.

Шагов ее не слышно было за дверью, только скрып ступеней давал знать, что она поднималась по лестнице в комнату Марфиньки.

— Теперь мы опять одни! — сказала Полина Карповна, осеняя диван и половину круглого стола юбкой, — давайте смотреть! Садитесь сюда,

---

[89] Примечания: 89
— Не так ли? (*фр.*)

поближе!..

Райский молча, одним движением руки, сгреб все рисунки и тетради в кучу, тиснул всё в самую большую папку, сильно захлопнул ее и, не оглядываясь, сердитыми шагами вышел вон.

XVII

Райский решил платить Вере равнодушием, не обращать на нее никакого внимания, но вместо того дулся дня три. При встрече с ней скажет ей вскользь слова два, и в этих двух словах проглядывает досада.

Он запирался у себя, писал программу романа и внес уже на страницы ее заметку «о ядовитости скуки». Страдая этим, уже не новейшим недугом, он подвергал его психологическому анализу, вынимая данные из себя.

Ему хотелось уехать куда-нибудь еще подальше и поглуше, хоть в бабушкино Новоселово, чтоб наедине и в тишине вдуматься в ткань своего романа, уловить эту сеть жизненных сплетений, дать одну точку всей картине, осмыслить ее и возвести в художественное создание.

Здесь всё мешает ему. Вон издали доносится до него песенка Марфиньки: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!» — поет она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно в этом голосе, который вольно раздается среди тишины в огороде и саду; потом слышно, как она беспечно прервала пение и тем же тоном, каким пела, при-

казывает из окна Матрене собрать с гряд салату, потом через минуту уж звонко смеется в толпе соседних детей.

Вот несколько крестьянских подвод въехали на двор, с овсом, с мукой; скрып телег, говор дворни, хлопанье дверей — всё мешает.

Дальше из окна видно, как золотится рожь, белеет гречиха, маковый цвет да кашка, красными и розовыми пятнами, пестрят поля и отвлекают глаза и мысль от тетрадей.

Райский долго боролся, чтоб не глядеть, наконец украдкой от самого себя взглянул на окно Веры: там тихо, не видать ее самой, только лиловая занавеска чуть-чуть колышется от ветра.

Вчера она досидела до конца вечера в кабинете Татьяны Марковны: все были там, и Марфинька, и Тит Никонович. Марфинька работала, разливала чай, потом играла на фортепиано. Вера молчала, и если ее спросят о чем-нибудь, то отвечала, но сама не заговаривала.

Она чаю не пила, за ужином раскопала два-три блюда вилкой, взяла что-то в рот, потом съела ложку варенья и тотчас после стола ушла спать.

Чем менее Райский замечал ее, тем она была с ним ласковее, хотя, несмотря на требование бабушки, не поцеловала его, звала не братом, а

кузеном, и всё еще не переходила на «ты», а он уже перешел, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь он открывал на нее большие глаза, пускался в расспросы, она становилась чутка, осторожна и уходила в себя.

Райскому досадно было на себя, что он дуется на нее. Если уж Вера едва заметила его появление, то ему и подавно хотелось бы закутаться в мантию совершенной недоступности, небрежности и равнодушия, забывать, что она тут, подле него, — не с целию порисоваться тем перед нею, а искренно стать в такое отношение к ней.

Чем он больше старался об этом, тем сильнее, к досаде его, проглядывало мелочное и настойчивое наблюдение за каждым ее шагом, движением и словом. Иногда он и выдержит себя минуты на две, но любопытство мало-помалу раздражит его, и он бросит быстрый полувзгляд исподлобья — всё и пропало. Он уж и не отводит потом глаз от нее.

Она столько вносила перемены с собой, что с ее приходом как будто падал другой свет на предметы; простая комната превращалась в какой-то храм, и Вера, как бы ни запрятывалась в угол, всегда была на первом плане, точно поставленная на пьедестал и освещенная огнями или

лунным светом.

Идет ли она по дорожке сада, а он сидит у себя за занавеской и пишет, ему бы сидеть, не поднимать головы и писать; а он, при своем желании до боли не показать, что замечает ее, тихонько, как шалун, украдкой, поднимет уголок занавески и следит, как она идет, какая мина у ней, на что она смотрит, угадывает ее мысль. А она, уж конечно, заметит, что уголок занавески приподнялся, и угадает, зачем приподнялся.

Если сам он идет по двору или по саду, то пройти бы ему до конца, не взглянув вверх: а он начнет маневрировать, посмотрит в противоположную от ее окон сторону, оборотится к ним будто невзначай и встретит ее взгляд, иногда с затаенной насмешкой над его маневром. Или спросит о ней Марину, где она, что делает, а если потеряет ее из вида, то бегает, отыскивая точно потерянную булавку, и, увидевши ее, начинает разыгрывать небрежного.

Иногда он дня по два не говорил, почти не встречался с Верой, но во всякую минуту знал, где она, что делает. Вообще способности его, устремленные на один, занимающий его предмет, изощрялись до невероятной тонкости, а теперь, в этом безмолвном наблюдении за Верой,

они достигли степени ясновидения.

Он за стенами как будто слышал ее голос и бессознательно соображал и предвидел ее слова и поступки. Он в несколько дней изучил ее привычки, вкусы, некоторые склонности, но всё это относилось пока к ее внешней и домашней жизни.

Он успел определить ее отношения к бабушке, к Марфиньке, положение ее в этом уголке и всё, что относится к образу жизни и быта.

Но нравственная фигура самой Веры оставалась для него еще в тени.

В разговоре она не увлекалась вслед за его пылкой фантазией, на шутку отвечала легкой усмешкой, и если удавалось ему окончательно рассмешить ее, у ней от смеха дрожал подбородок.

От смеха она переходила к небрежному молчанию или просто задумывалась, забывая, что он тут, и потом просыпалась, почти содрогаясь, от этой задумчивости, когда он будил ее движением или вопросом.

Она не любила, чтобы к ней приходили в старый дом. Даже бабушка не тревожила ее там, а Марфиньку она без церемонии удаляла, да та и сама боялась ходить туда.

А когда Райский заставал ее там, она очевидно пережидала, не уйдет ли он, и если он располагался подле нее, она, посидевши из учтивости минут десять, уходила.

Привязанностей у ней, по-видимому, не было никаких, хотя это было и неестественно в девушке: но так казалось наружно, а проникать в душу к себе она не допускала. Она о бабушке и о Марфиньке говорила покойно, почти равнодушно.

Занятий у нее постоянных не было. Читала, как и шила она, мимоходом и о прочитанном мало говорила, на фортепиано не играла, а иногда брала неопределенные, бессвязные аккорды и к некоторым долго прислушивалась, или когда принесут Марфиньке кучу нот, она брала то те, то другие. «Сыграй вот это, — говорила она. — Теперь вот это, потом это», — слушала, глядела пристально в окно и более к проигранной музыке не возвращалась.

Райский заметил, что бабушка, наделяя щедро Марфиньку замечаниями и предостережениями на каждом шагу, обходила Веру с какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надеялась, что эти семена не пропадут даром.

Но бывали случаи, и Райский, по мелочности их, не мог еще наблюсти, какие именно, как вдруг

Вера охватывалась какой-то лихорадочною деятельностью, и тогда она кипела изумительной быстротой и обнаруживала тьму мелких способностей, каких в ней нельзя было подозревать, — в хозяйстве, в туалете, в разных мелочах.

Так она однажды из куска кисеи часа в полтора сделала два чепца, один бабушке, другой — Крицкой, с тончайшим вкусом, работая над ними со страстью, с адским проворством и одушевлением, потом через пять минут забыла об этом и сидела опять праздно.

Иногда она как будто прочтет упрек в глазах бабушки, и тогда особенно одолеет ею дикая, порывистая деятельность. Она примется помогать Марфиньке по хозяйству, и в пять-десять минут, всё порывами, переделает бездну, возьмет что-нибудь в руки, быстро сделает, оставит, забудет, примется за другое, опять сделает и выйдет из этого так же внезапно, как войдет.

Бабушка иногда жалуется, что не управится с гостями, ропщет на Веру за дикость, за то, что не хочет помочь.

Вера хмурится и очевидно страдает, что не может перемочь себя, и наконец неожиданно явится среди гостей — и с таким веселым лицом, глаза теплятся таким радушием, она принесет

столько тонкого ума, грации, что бабушка теряется до испуга.

Ее ставало на целый вечер, иногда на целый день, а завтра точно оборвется: опять уйдет в себя — и никто не знает, что у ней на уме или на сердце.

Вот всё, что пока мог наблюсти Райский, то есть всё, что видели и знали и другие. Но чем меньше было у него положительных данных, тем дружнее работала его фантазия, в союзе с анализом, подбирая ключ к этой замкнутой двери.

С тех пор как у Райского явилась новая задача — Вера, он реже и холоднее спорил с бабушкой и почти не занимался Марфинькой, особенно после вечера в саду, когда она не подала никаких надежд на превращение из наивного, подчас ограниченного, ребенка в женщину.

Между тем они трое почти были неразлучны — то есть Райский, бабушка и Марфинька. После чаю он с час сидел у Татьяны Марковны в кабинете, после обеда также, а в дурную погоду — и по вечерам.

Вера являлась ненадолго, здоровалась с бабушкой, сестрой, потом уходила в старый дом, и не слыхать было, что она там делает. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести

ей кофе туда.

Бабушка немного хмурилась, шептала про себя: «Привередница, дикарка!», — но на своем не настаивала.

Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты, Райский покорялся ей до рабства, был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток, ко всякому безобразию.

Не только от мира внешнего, от формы, он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он не как он есть, в его наружно-дикой, суровой разладице, не как на початую от рождения мира и неконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов, с доконченными в его уме чувствами и стремлениями, огнем, жизнью и красками.

У него не ставало терпения купаться в этой возне, суете, в черновой работе, терпеливо и мучительно укладывать силы в приготовление к тому праздничному моменту, когда человечество почувствует, что оно готово, что достигло своего апогея, когда настал бы и понесся в вечность, как река, один безошибочный, на вечные времена установившийся поток жизни.

Он только оскорблялся ежеминутным и по-

всюдным разладом действительности с красотой своих идеалов и страдал за себя и за весь мир.

Он верил в идеальный прогресс — в совершенствование как формы, так и духа, сильнее, нежели материалисты верят в утилитарный прогресс; но страдал за его черепаший шаг и впадал в глубокую хандру, не вынося даже мелких царапин близкого ему безобразия.

Тогда все люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, то есть красота ее характера, склада ума, старых цельных нравов, доброты и проч., начала бледнеть. Кое-где мелькнет в глаза неразумное упорство, кое-где эгоизм; феодальные замашки ее казались ему животным тиранством, и в минуты уныния он не хотел даже извинить ее ни веком, ни воспитанием.

Тит Никонович был старый, отживший барин, ни на что не нужный, Леонтий — школьный педант, жена его — развратная дура, вся дворня в Малиновке — жадная стая диких, не осмысленная никакой человеческой чертой.

Весь этот уголок, хозяйство с избами, мужиками, скотиной и живностью, терял колорит веселого и счастливого гнезда, а казался просто хлевом, и он бы давно уехал оттуда, если б… не

Вера!

В один такой час хандры он лежал с сигарой на кушетке в комнате Татьяны Марковны. Бабушка, не сидевшая никогда без дела, с карандашом поверяла какие-то принесенные ей Савельем счеты.

Перед ней лежали на бумажках кучки овса, ржи. Марфинька царапала иглой клочок кружева, нашитого на бумажке, так пристально, что сжала губы и около носа и лба у ней набежали морщинки. Веры, по обыкновению, не было.

Райский случайно поглядел на Марфиньку и засмеялся. Она покраснела и поглядела на него вопросительно.

— Какую ты смешную рожицу сделала, — сказал он.

— Ну, слава Богу, улыбнулось красное солнышко! — заметила Татьяна Марковна. — А то смотреть тошно.

Он вздохнул.

— Что вздыхаешь-то: на свете, что ли, тяжело жить?

— И так тяжело, бабушка. Ужели вам легко?

— Полно Бога гневить! Видно, в самом деле рожна захотел.

— Хоть бы и рожна, да чтоб шевелилось что-ни-

будь в жизни, а то — настоящий гроб!

— Прости ему, Господи: сам не знает, что говорит! Эй, Борюшка, не накликай беду! Не сладко покажется, как бревно ударит по голове. Да, да, — помолчавши, с тихим вздохом, прибавила она, — это так уж в судьбе человеческой написано — зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно, наука нужна. Образумит тебя судьба, помянешь меня!

— Чем же, бабушка: рожном? Я не боюсь. У меня — никого и ничего: какого же мне рожна ждать.

— А вот узнаешь: всякому свой! Иному дает на всю жизнь — и несет его, тянет точно лямку. Вон Кирила Кирилыч… — бабушка сейчас бросилась к любимому своему способу, к примеру, — богат, здоровехонек, весь век хи-хи-хи, да ха-ха-ха, да жена вдруг ушла: с тех пор и повесил голову, — шестой год ходит, как тень… А у Егора Ильича…

— У меня нет жены, стало быть, и опасности нет…

— А ты женись!..

— Зачем: чтоб жена ушла?

— Не все жены уходят: хочешь, я тебе посватаю?

— Нет, благодарю; придумайте для меня другой рожон.

— Судьба придумает! Да сохрани тебя, Господи, полно накликать на себя! А лучше вот что: поедем со мной в город с визитами. Мне проходу не дают, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нил Андреевич, княгиня: вот бы к ней! Да уж и к бесстыжей надо заехать, к Полине Карповне, чтоб не шипела! А потом к откупщику…

— Это зачем?

— После скажу.

— Зачем, Марфинька, бабушка везет меня к откупщику — не знаешь ли?

— У него дочь невеста — помните, бабушка говорила однажды? так, верно, хочет сватать вам ее…

— Вот она сейчас и догадалась! Спрашивают тебя: везде поспеешь! — сказала бабушка. — Язык-то стал у тебя востер: сама я не умею, что ли, сказать?

— Э, вот что! Хорошо… — зевая, сказал Райский, — я поеду с визитами, только с тем, чтоб и вы со мной заехали к Марку: надо же ему визит отдать.

Татьяна Марковна молчала.

— Что же вы, бабушка, молчите: заедем?

— Полно пустяки говорить: напрасно ты связался с ним, — добра не будет, с толку тебя собьет!

О чем он с тобой разговаривал?

— Он почти не разговаривал: мы поужинали и легли.

— А денег еще не просил взаймы?

— Просил.

— Ну так и есть: ты смотри не давай!

— Да уж я дал.

— Дал! — жалостно воскликнула она.

— Вы кстати напомнили о деньгах: он просил сто рублей, а у меня было восемьдесят. Где мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему…

— Борис Павлович! Не я ли говорила тебе, что он только и делает, что деньги занимает! Боже мой! Когда же отдаст?

— Он сказал, что не отдаст.

Она заволновалась, зашевелилась, так что кресло заходило под ней.

— Что ж это такое, говори не говори, он всё свое делает! — сказала она, — из рук вон!

— Дайте же денег.

— Ты оброк, что ли, ему платишь?

— Ему есть нечего!

— А ты кормить его взялся? Есть нечего! Цыгане и бродяги всегда чужое едят: всех не накормишь! Восемьдесят рублей!

Татьяна Марковна нахмурилась.

— Нету денег! — коротко сказала она. — Не дам: если не добром, так неволей послушаешься бабушки!

— Вот деспотизм-то! — заметил Райский.

— Что ж, велеть, что ли, закладывать коляску? — спросила, помолчавши, бабушка.

— Зачем?

— А с визитами ехать?

— Вы не делаете по-моему, и я не стану делать по-вашему.

— Сравнил себя со мной! Когда же курицу яйца учат! Грех, грех, сударь! Странный человек, необыкновенный: всё свое!

— Не я, а вот вы так необыкновенная женщина!

— Чем это, батюшка, скажи на милость?

— Как чем? Не велите знакомиться, с кем я хочу, деньгами мешаете распоряжаться, как вздумаю, везете, куда мне не хочется, а куда хочется, сами не едете. Ну, к Марку не хотите, я и не приневоливаю вас, и вы меня не приневоливайте.

— Я тебя в хорошие люди везу.

— По мне, они не хорошие.

— Что ж, Маркушка хорош?

— Да, он мне нравится. Живой, свободный ум, самостоятельная воля, юмор…

— Да ну его! — с досадой прибавила она, — едешь, что ли, со мной к Мамыкину?

— Это еще что за Мамыкин?

— А откупщик, у которого дочь невеста, — вмешалась Марфинька. — Поезжайте, братец: на той неделе у них большой вечер, будут звать нас, — тише прибавила она, — бабушка не поедет, нам без нее нельзя, а с вами пустит…

— Сделай бабушке удовольствие, поезжай! — прибавила Татьяна Марковна.

— А вы сделайте мне удовольствие, не зовите меня.

— Чудный, необыкновенный человек! Я ему сделай удовольствие, а он мне нет.

— Ведь под этим удовольствием кроется замысел женить меня — так ли?

— Ну, хоть бы и так: что же за беда — я ведь счастья тебе хочу!

— Почему вы знаете, что для меня счастье — жениться на дочери какого-то Мамыкина?

— Она красавица, воспитана в самом дорогом пансионе в Москве. Одних брильянтов тысяч на восемьдесят… Тебе полезно жениться… Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, у тебя бы весь город бывал, все бы раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи… И в

Петербурге не ударил бы себя в грязь… — мечтала почти про себя бабушка.

— А вот я и не хочу раболепства — это гадость! Бабушка! я думал, вы любите меня — пожелаете чего-нибудь получше, поразумнее…

— Чего тебе: рожна, что ли, в самом деле? Я тебе добра желаю, а ты…

— Хорошо добро: ни с того ни с сего взять чужие деньги, бриллианты, да еще какую-нибудь Голендуху Парамоновну в придачу!

— Нет, не Голендуху, а богатую и хорошенькую невесту! Вот что, необыкновенный человек!

— Толкать человека жениться, на ком не знаешь, на ком не хочешь: необыкновенная женщина!

— Ну, Борюшка: не думала я, что из тебя такое чудище выйдет!

— Да не я, бабушка, а вы чудище…

— Ах! — почти в ужасе закричала Марфинька, — как это вы смеете так называть бабушку!

— А она меня так назвала.

— Она постарше вас, она вам бабушка!

— А что, бабушка, — вдруг обратился он к ней, — если б я стал уговаривать вас выйти замуж?

— Марфинька! перекрести его: ты там поближе сидишь, — заметила бабушка сердито.

Марфинька засмеялась.

— Право… — шутил Райский.

— Ты буффонишь, а я дело тебе говорила, добра хотела.

— И я добра вам хочу. Вот находят на вас такие минуты, что вы скучаете, ропщете; иногда я подкарауливал и слезы. «Век свой одна, не с кем слова перемолвить, — жалуетесь вы, — внучки разбегутся, маюсь, маюсь весь свой век — хоть бы Бог прибрал меня! Выйдут девочки замуж, останусь как перст» и т. д. А тут бы подле вас сидел почтенный человек, целовал бы у вас руки, вместо вас ходил бы по полям, под руку водил бы в сад, в пикет с вами играл бы… Право, бабушка, что бы вам…

— Полно, Борис Павлович, вздор молоть, — печально, со вздохом сказала бабушка. — Ты моложе был поумнее, вздору не молол.

Она через очки посмотрела на него.

— А Тит Никоныч так и увивается около вас, чуть на вас не молится — всегда у ваших ног! Только подайте знак — и он будет счастливейший смертный!

Марфинька не унималась от смеху. Бабушка немного покраснела.

— Вот как: и жениха нашел! — сказала она

небрежно.

— Что ж, — продолжал шутить Райский, — вы живете домком, у вас водятся деньжонки, а он бездомный… вот бы и кстати…

— Так это за то, что у меня деньжонки водятся да дом есть, и надо замуж выходить: богадельня, что ли, ему достался мой дом? И дом не мой, а твой. И он сам не беден…

— А это на что похоже, что вы хотите женить меня из-за денег?

— Ты можешь понравиться девушке, и она тебе тоже: она миленькая…

— Вы с Титом Никонычем тоже друг другу нравитесь, вы тоже миленькая…

— Отвяжись ты со своим Титом Никонычем! — вспыльчиво перебила Татьяна Марковна, — я тебе добра хотела.

— И я вам тоже!

— Пустомеля, право, пустомеля: слушать тошно! Не хочешь угодить бабушке, — так как хочешь!

— А вы мне отчего не хотите угодить? Я еще не видал дочери Мамыкина и не знаю, какая она, а Тит Никоныч вам нравится, и вы сами на него смотрите как-то любовно…

— А вот еще, — перебила Марфинька, — я вам

скажу, братец: когда Тит Никоныч захворает, бабушка сама…

— Ты, сударыня, что, — крикнула бабушка сердито, — молода шутить над бабушкой! Я тебя и за ухо да в лапти: нужды нет, что большая! Он от рук отбился, вышел из повиновения: с Маркушкой связался — последнее дело! Я на него рукой махнула, а ты еще погоди, я тебя уйму! А ты, Борис Павлыч, женись, не женись — мне всё равно, только отстань и вздору не мели. Я вот Тита Никоныча принимать не велю…

— Бедный Тит Никоныч! — комически, со вздохом, произнес Райский и лукаво взглянул на Марфиньку.

— Ну, вот, бабушка, наконец вы договорились до дела, до правды: «Женись, не женись — как хочешь!» Давно бы так! Стало быть, и ваша, и моя свадьба откладываются на неопределенное время.

— «Дело, правда!» — ворчала бабушка, — вот посмотрим, как ты проживешь!

— По-своему, бабушка.

— Хорошо ли это?

— А как же: ужели по-чужому?

— Как люди живут.

— Какие люди? Разве здесь есть люди?

В это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли: «Колчинский барчонок…»

— Это Николай Андреевич Викентьев: проси! «Какие люди!» — хоть бы вот человек: Господи, не клином мир сошелся! — сказала Бережкова.

Марфинька немного покраснела и поправила платье, косынку и мельком бросила взгляд в зеркало. Райский тихонько погрозил ей пальцем; она покраснела еще сильнее.

— Что вы, братец… вы… опять… — начала она и не кончила.

Василиса пошла было и воротилась поспешно.

— Еще пришел этот… что ночевал здесь, — сказала она Райскому, — спрашивает вас!

— Уж не Маркушка ли опять? — с ужасом спросила бабушка.

— Он и есть! — подтвердила Василиса.

— Вот это люди так люди! — сказал Райский и поспешил к себе.

— Как обрадовался, как бросился! Нашел человека! Деньги-то не забудь взять с него назад! Да не хочет ли он трескать? я бы прислала… — крикнула ему вслед бабушка.

XVIII

В комнату вошел, или, вернее, вскочил — среднего роста, свежий, цветущий, красиво и крепко сложенный молодой человек, лет двадцати трех, с темно-русыми, почти каштановыми волосами, с румяными щеками и с серо-голубыми вострыми глазами, с улыбкой, показывавшей ряд белых, крепких зубов. В руках у него был пучок васильков и еще что-то бережно завернутое в носовой платок. Он всё это вместе со шляпой положил на стул.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, здравствуйте, Марфа Васильевна! — заговорил он, целуя руку у старушки, потом у Марфиньки, хотя Марфинька отдернула свою, но вышло так, что он успел дать летучий поцелуй. — Опять нельзя — какие вы!.. — сказал он. — Вот я принес вам…

— Что это вы пропали: вас совсем не видать? — с удивлением, даже строго, спросила Бережкова. — Шутка ли, почти три недели!

— Мне никак нельзя было, губернатор не пускал никуда; велели дела канцелярии приводить в порядок… — говорил Викентьев так торопливо, что некоторые слова даже не договаривал.

— Пустяки, пустяки! не слушайте, бабушка: у него никаких дел нет… сам сказывал! — вмешалась Марфинька.

— Ей-богу, ах, какие вы: дела по горло было! У нас новый правитель канцелярии поступает — мы дела скрепляли, описи делали… Я пятьсот дел по листам скрепил. Даже по ночам сидели… ей-богу…

— Да не божитесь! что это у вас за привычка божиться по пустякам: грех какой! — строго остановила его Бережкова.

— Как по пустякам: вон Марфа Васильевна не верят! а я, ей-богу…

— Опять!

— Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марфа Васильевна, что у вас гость: Борис Павлович приехал? Не он ли это, я встретил сейчас, прошел по коридору? Я нарочно пришел…

— Вот видите, бабушка? — перебила Марфинька, — он пришел братца посмотреть, а без этого долго бы пропадал! Что?

— Ах, Марфа Васильевна, какие вы! Я лишь только вырвался, так и прибежал! Я просился, просился у губернатора — не пускает: говорит, не пущу до тех пор, пока не кончите дела! У маменьки не был: хотел к ней пообедать в Колчино

съездить — и то пустил только вчера, ей-богу…

— Здорова ли маменька? Что, у ней лишаи прошли?

— Проходят, покорно благодарю. Маменька кланяется вам, просит вас не забыть день ее именин…

— Покорно благодарю! Уж не знаю, соберусь ли я сама: стара да и через Волгу боюсь ехать. А девочки мои…

— Мы без вас, бабушка, не поедем, — сказала Марфинька, — я тоже боюсь переезжать Волгу.

— Не стыдно ли трусить? — говорил Викентьев. — Чего вы боитесь? Я за вами сам приеду на нашем катере… Гребцы у меня все песенники…

— С вами ни за что и не поеду, вы не посидите ни минуты покойно в лодке… Что это шевелится у вас в бумаге? — вдруг спросила она. — Посмотрите, бабушка… ах, не змея ли?

— Это я вам принес живого сазана, Татьяна Марковна: сейчас выудил сам. Ехал к вам, а там на речке, в осоке, вижу, сидит в лодке Иван Матвеич. Я попросился к нему, он подъехал, взял меня, я и четверти часа не сидел — вот какого выудил! А это вам, Марфа Васильевна, дорогой, вон тут во ржи нарвал васильков…

— Не надо, вы обещали без меня не рвать — а

вот теперь слишком две недели не были, васильки все посохли: вон какая дрянь!

— Пойдемте сейчас нарвем свежих!..

— Дайте срок! — остановила Бережкова. — Что это вам не сидится? Не успели носа показать, вон еще и лоб не простыл, а уж в ногах у вас так и зудит? Чего вы хотите позавтракать: кофе, что ли, или битого мяса? А ты, Марфинька, поди узнай, не хочет ли тот… Маркушка… чего-нибудь? Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать…

— Нет, нет, ничего не хочу, — заторопился Викентьев, — я съел целый пирог перед тем, как ехать сюда…

— Видите, какой он, бабушка! — сказала Марфинька, — «пирог съел»!

И сама пошла исполнить поручение бабушки, потом воротилась, сказав, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти.

— А здесь не накормили бы вас! — упрекнула Татьяна Марковна, — что вы назавтракались да пришли?

Викентьев сунулся было к Марфиньке.

— Заступитесь за меня! — сказал он.

— Не подходите, не подходите, не трогайте! — сердито говорила Марфинька.

Он не сидел, не стоял на месте, то совался к

бабушке, то бежал к Марфиньке и силился переговорить обеих. Почти в одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выражение, и вдруг разливался по нем смех и показывались крупные белые зубы, на которых от торопливости его говора или от смеха иногда вскакивал и пропадал пузырь.

— Я ведь съел пирог оттого, что под руку подвернулся. Кузьма отворил шкаф, а я шел мимо — вижу пирог, один только и был…

— Вам стало жаль сироту, вы и съели? — договорила бабушка. Все трое засмеялись.

— Нет ли варенья, Марфа Васильевна: я бы поел…

— Вели принести — как не быть? А битого мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята…

— Вот бы цыпленка хорошо…

— Не давайте ему, бабушка: что его баловать? не стоит… — Но сама пошла было из комнаты.

— Нет, нет, Марфа Васильевна, и точно не надо, вы только не уходите; я лучше обедать буду. Можно мне пообедать у вас, Татьяна Марковна?

— Нет, нельзя, — сказала Марфинька.

— А ты не шути этим, — остановила ее бабушка, — он, пожалуй, и убежит. И видно, что вы давно не были, — обратилась она к Викентье-

ву, — стали спрашивать позволения отобедать!

— Покорно благодарю-с!.. Марфа Васильевна! куда вы? Постойте, постойте, и я с вами!..

— Не надо, не надо, не хочу! — говорила она. — Я велю вам зажарить вашего сазана и больше ничего не дам к обеду.

Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостом взад и вперед, она с криком «Ай, ай!» выронила ее на пол и побежала по коридору.

Он бросился за ней, и через минуту оба уже где-то хохотали, а еще через минуту послышались вверху звуки резвого вальса на фортепиано, с топотом ног над головой Татьяны Марковны, а потом кто-то точно скатился с лестницы, а дальше промчались по двору и бросились в сад, сначала Марфинька, за ней Викентьев, и звонко из саду доносились их говор, пение и смех.

Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе куры, петухи, утки с криком бросились в стороны, собаки с лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы лакеев, женщин и кучеров, в саду цветы и кусты зашевелились точно живые, и не на одной гряде или клумбе остался след вдавленного каблука или маленькой женской ноги, два-три горшка с цветами опроки-

нулись, вершины тоненьких дерев, за которые хваталась рука, закачались, и птицы все до одной от испуга улетели в рощу.

А через четверть часа уже оба смирно сидели, как ни в чем не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг на друга: он, отирая пот с лица, она, обмахивая себе платком лоб и щеки.

— Хороши оба: на что похожи! — упрекала бабушка.

— Это всё он, — жаловалась Марфинька, — погнался за мной! Прикажите ему сидеть на месте.

— Нет, не я, Татьяна Марковна: они велели мне уйти в сад, а сами прежде меня побежали: я хотел догнать, а они…

— Он мужчина, а тебе стыдно, ты не маленькая! — журила бабушка.

— Вот видите, что я из-за вас терплю! — сказала Марфинька.

— Ничего, Марфа Васильевна, бабушки всегда немного ворчат — это их священная обязанность…

Бабушка услыхала.

— Что, что, сударь? — полусерьезно остановила его Татьяна Марковна, — подойдите-ка сюда, я, вместо маменьки, уши надеру, благо ее здесь нет, за этакие слова!

— Извольте, извольте, Татьяна Марковна, — ах, надерите, пожалуйста! Вы только грозите, а никогда не выдерете…

Он подскочил к старушке и наклонил голову.

— Надерите, бабушка, побольнее, чтоб неделю красные были! — учила Марфинька.

— Ну, вы надерите! — сказал он ей, подставляя голову.

— Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру.

— Постойте еще, я Нилу Андреевичу пожалуюсь, перескажу, что вы сказали теперь… А еще любимец его! — говорила Татьяна Марковна.

Викентьев сделал важную мину, стал посреди комнаты, опустил бороду в галстух, сморщился, поднял палец вверх и дряблым голосом произнес: «Молодой человек! твои слова потрясают авторитет старших!..»

Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марфинька закатилась смехом, а бабушка нахмурила было брови, но вдруг добродушно засмеялась и стала трепать его по плечу.

— В кого это ты, батюшка, уродился такой живчик да на всё гораздый? — ласково говорила она.

— Батюшка твой, царство ему небесное, был

такой серьезный, слова на ветер не скажет, и маменьку отучил смеяться.

— Ах, Марфа Васильевна, — заговорил Викентьев, — я достал вам новый романс и еще журнал, повесть отличная… забыл совсем…

— Где же они?

— В лодке у Ивана Матвеича оставил, всё из-за того сазана! Он у меня трепетался в руках — я книгу и ноты забыл… Я побегу сейчас — может быть, он еще на речке сидит — и принесу…

Он побежал было и опять воротился.

— Я дамское седло достал, Марфа Васильевна: вам верхом ездить; графский берейтор берется в месяц вас выучить — хотите, я сейчас привезу…

— Ах, какой вы милый, какой вы добрый! — не вспомнясь от удовольствия, сказала Марфинька. — Как весело будет… ах, бабушка!

— Кто тебе позволит так проказничать? — строго заметила бабушка. — А вы что это, в своем ли уме: девушке на лошади ездить!

— А Марья Васильевна, а Анна Николаевна — как же ездят они?..

— Ну им и отдайте ваше седло! Сюда не заносите этих затей: пока жива, не позволю. Этак, пожалуй, и до греха недолго: курить станет.

Марфинька надулась, а Викентьев постоял ми-

нуты две в недоумении, почесывая то затылок, то брови, потом, вместо того чтоб погладить волосы, как делают другие, поерошил их, расстегнул и застегнул пуговицу у жилета, вскинул легонько фуражку вверх и, поймав ее, выпрыгнул из комнаты, сказавши: «Я за нотами и за книгой — сейчас прибегу…» — и исчез.

Марфинька хотела тоже идти, но бабушка удержала ее.

— Послушай, душечка, поди сюда, что я тебе скажу, — заговорила она ласково и немного медлила, как будто не решалась говорить.

Марфинька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшиеся немного от беготни по саду, и глядела на нее, как мать, любуясь ею.

— Что вы, бабушка? — вдруг спросила Марфинька, с удивлением вскинувши на старушку глаза и ожидая, к чему ведет это предисловие.

— Ты у меня добрая девочка, уважаешь каждое слово бабушки… не то что Верочка…

— Верочка тоже уважает вас: напрасно вы на нее…

— Ну, ты ее заступница! Уважает, это правда, а думает свое, значит, не верит мне: бабушка-де стара, глупа, а мы, молодые, — лучше понимаем, много учились, всё знаем, всё читаем. Как бы она

не ошиблась… Не всё в книгах написано!

Бережкова задумчиво вздохнула.

— Что же вы хотели сказать мне? — с любопытством спросила Марфинька.

— А вот что: ты взрослая девушка, давно невеста: так ты будь немножко пооглядчивее…

— Как это пооглядчивее, бабушка?

— Погоди, не перебивай меня. Ты вот резвишься, бегаешь, точно дитя, с ребятишками возишься…

— Разве я всё бегаю? Ведь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйством занимаюсь…

— Опять перебила! Знаю, что ты умница, — ты клад, дай Бог тебе здоровья, — и бабушки слушаешься! — повторила свой любимый припев старушка.

— Так за что же вы браните меня?

— Погоди, дай сказать слово! Где же я браню? Я говорю только, чтоб ты была посерьезнее…

— Как, уж и бегать нельзя: это разве грех? А вон братец говорит…

— Что он говорит?

— Что я слишком уж… послушная, без бабушки ни на шаг…

— А ты не слушай его: он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок да полячек: те еще в

девках одни ходят по улицам, переписку ведут с мужчинами и верхом скачут на лошадях. Этого, что ли, братец хочет? Вот постой, я поговорю с ним…

— Нет, бабушка, не говорите, — он рассердится, что я пересказала вам…

— И хорошо сделала, и всегда так делай! Мало ли что он наговорит, братец твой! Видишь что: смущать вздумал девочку!

— Разве я девочка? — обидчиво заметила Марфинька. — Мне четырнадцать аршин на платье идет… Сами говорите, что я невеста!

— Правда, ты выросла, да сердце у тебя детское, и дай Бог, чтоб долго таким осталось! А поумнеть немного не мешает.

— А зачем, бабушка: разве я дура? Братец говорит, что я проста, мила… что я хороша и умна как есть, что я…

Она остановилась.

— Ну, что еще?

— Что я «естественная»!..

Татьяна Марковна помолчала, по-видимому, толкуя себе значение этого слова. Но оно почему-то ей не понравилось.

— Братец твой пустяки говорит, — сказала она.

— Ведь он умный-преумный, бабушка.

— Ну, да — умнее всех в городе. И бабушка у него глупа: воспитывать меня хочет! Нет, ты старайся поумнеть мимо его, живи своим умом.

— Господи! ужели я дура такая?

— Нет, нет, ты, может быть, поумнее многих умниц… — бабушка взглянула по направлению к старому дому, где была Вера, — да ум-то у тебя в скорлупе, а пора смекать…

— Зачем же, бабушка?

— А хоть бы затем, внучка, чтоб суметь понять речи братца и ответить на них порядком. Он, конечно, худого тебе не пожелает; смолоду был честен и любил вас обеих: вон имение отдает, да много болтает пустого…

— Не всё же он пустое болтает: иногда так умно и хорошо говорит…

— И Полина Карповна не дура: тоже хорошо говорит. Я не сравниваю Борюшку с этой козой, а хочу только сказать — острота остротой, а ум умом! Вот ты и поумней настолько, чтоб знать, когда твой братец говорит с остротой, когда с умом. На остроту смейся, отвечай остротой, а умную речь принимай к сердцу. Острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет, как змей, в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его, а когда ум помрачен, так и

сердце не в порядке. Глаза смотрят, да не видят или видят не то…

— За что же вы, бабушка, браните меня? — с нетерпением спросила Марфинька.

У ней даже навернулись слезы.

— Вы говорите: нехорошо бегать, возиться с детьми, петь — ну, не стану…

— Боже тебя сохрани! Бегать, пользоваться воздухом — здорово. Ты весела, как птичка, и дай Бог тебе остаться такой всегда, люби детей, пой, играй…

— Так за что же браните?

— Не браню, а говорю только: знай всему меру и пору. Вот ты давеча побежала с Николаем Андреевичем…

Марфинька вдруг покраснела, отошла и села в угол. Бабушка пристально поглядела на нее и начала опять, тоном ниже и медленнее.

— Это не беда: Николай Андреич прекрасный, добрый — и шалун, такой же резвый, как ты, а ты у меня скромница, лишнего ни себе, ни ему не позволишь. Куда бы вы ни забежали вдвоем, что бы ни затеяли, я знаю, что он тебе не скажет непутного, а ты и слушать не станешь…

— Не прикажите ему приходить! — сердито заметила Марфинька. — Я с ним теперь слова

не скажу…

— Это хуже: и он, и люди бог знает что подумают. А ты только будь пооглядчивее, — не бегай по двору да по саду, чтоб люди не стали осуждать: «Вон, скажут, девушка уж невеста, а повесничает, как мальчик, да еще с посторонним…»

Марфинька вспыхнула.

— Ты не красней: не от чего! Я тебе говорю, что ты дурного не сделаешь, а только для людей надо быть пооглядчивее! Ну что надулась: поди сюда, я тебя поцелую!

Бережкова поцеловала Марфиньку, опять поправила ей волосы, всё любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо.

— Николай Андреич сейчас придет, — сказала Марфинька, — а я не знаю, как теперь мне быть с ним. Станет звать в сад, я не пойду, в поле — тоже не пойду и бегать не стану. Это я всё могу. А если станет смешить меня — я уж не утерплю, бабушка, — засмеюсь, воля ваша! Или запоет, попросит сыграть: что я ему скажу?

Бабушка хотела отвечать, но в эту минуту ворвался в комнату Викентьев, весь в поту, в пыли, с книгой и нотами в руках. Он положил и то и другое на стол перед Марфинькой.

— Вот теперь уж… — торопился он сказать,

отирая лоб и смахивая платком пыль с платья, — пожалуйте ручку! Как бежал — собаки по переулку за мной, чуть не съели…

Он хотел взять Марфиньку за руку, но она спрятала ее назад, потом встала со стула, сделала реверанс и серьезно, с большим достоинством произнесла:

— Je vous remercie, m-r Викентьев: vous êtes bien aimable.[90]

Он вытаращил глаза на нее, потом на бабушку, потом опять на нее, поерошил волосы, взглянул мельком в окно, вдруг сел и в ту же минуту вскочил.

— Марфа Васильевна, — заговорил он, — пойдемте в залу, к террасе — смотреть: сейчас молодые проедут…

— Нет, — важно сказала она, — merci, я не пойду: девице неприлично высовываться на балкон и глазеть…

— Ну, пойдемте же разбирать новый романс…

— Нет, благодарю: я ужо попробую одна или при бабушке…

— Пойдемте к роще — сядем там: я почитаю вам новую повесть.

---

[90] Примечания: 90

— Благодарю вас, г-н Викентьев: вы очень любезны (*фр.*).

Он взял книгу.

— Как это можно! — строго сказала Марфинька и взглянула на бабушку, — дитя, что ли, я?..

— Что это такое, Татьяна Марковна? — говорил растерянный Викентьев, — житья нет от Марфы Васильевны!

Викентьев посмотрел на них обеих пристально, потом вдруг вышел на середину комнаты, сделал сладкую мину, корпус наклонил немного вперед, руки округлил, шляпу взял под мышку.

— Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée,[91] — говорил он, силясь надеть перчатки, но большие, влажные от жару руки не шли в них. — Sacrebleu! ça n'entre pas — oh, mille pardons, mademoiselle…[92]

— Полно вам, проказник, принеси ему варенья, Марфинька!

— Oh! Madame, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie, restez de grâce![93] — бросился он, почтительно устремляя руки вперед,

---

[91] Примечания: 91

— Тысяча извинений, мадемуазель, за беспокойство (*фр.*).

[92] Примечания: 92

Проклятье! не лезут — о, простите, мадемуазель... (*фр.*)

[93] Примечания: 93

— О! Мадам, я вам очень признателен. Прошу вас, мадемуазель, пожалуйста, останьтесь! (*фр.*)

чтоб загородить дорогу Марфиньке, которая пошла было к дверям. — Vraiment, je ne puis pas: j'ai des visites à faire… Ah, diable, ça n'entre pas…[94]

Марфинька крепилась, кусала губы, но смех прорвался.

— Вот он какой, бабушка, — жаловалась она, — теперь m-r Шарля представляет: как тут утерпеть!

— А что, похоже? — спросил Викентьев.

— Полно вам, божьи младенцы! — сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились в лучи и улыбка озарила лицо. — Подите, Бог с вами, делайте, что хотите!

---

[94] Примечания: 94

Право, я не могу: я должен сделать несколько визитов... Ах, черт, не лезут... (*фр.*)

XIX

На Марфиньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а он шляпу, и только было бросились к дверям, как вдруг снаружи, со стороны проезжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащий голос.

— Татьяна Марковна! высокая и сановитая владычица сих мест! Прости дерзновенному, ищущему предстать пред твои очи и облобызать прах твоих ног! Приими под гостеприимный кров твой странника, притекша издалеча вкусить от твоея трапезы и укрыться от зноя полдневного! Дома ли Богом хранимая хозяйка сей обители?.. Да тут никого нет!

Голова показалась с улицы в окно столовой. Все трое, Татьяна Марковна, Марфинька и Викентьев, замерли, как были, каждый в своем положении.

— Боже мой, Опенкин! — воскликнула бабушка почти в ужасе. — Дома нет, дома нет! на целый день за Волгу уехала! — шепотом диктовала она Викентьеву.

— Дома нет, на целый день за Волгу уехала! — громко повторил Викентьев, подходя к окну

столовой.

— А! нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многих иных обладателю! — говорил голос. — Да прильпнет язык твой к гортани, зане ложь изрыгает! И возница, и колесница дома, а стало быть, и хозяйка в сем месте или окрест обретается. Посмотрим и поищем, либо пождем, дондеже из весей и пастбищ или из вертограда в храмину паки вступит.

— Что делать, Татьяна Марковна? — торопливо и шепотом спрашивал Викентьев. — Опенкин пошел на крыльцо, сюда идет.

— Нечего делать, — с тоской сказала бабушка, — надо пустить. Чай, голоднехонек, бедный! Куда он теперь в этакую жару потащится? Зато уж на целый месяц отделаюсь! Теперь его до вечера не выживешь!

— Ничего, Татьяна Марковна, он напьется живо и потом уйдет на сеновал спать. А после прикажите Кузьме отвезти его в телеге домой…

— Матушка, матушка! — нежным, но сиплым голосом говорил, уже входя в кабинет, Опенкин. — Зачем сей быстроногий поверг меня в печаль и страх! Дай ручку, другую! Марфа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку…

— Полно, Аким Акимыч, не тронь ее! Садись, садись — ну, будет тебе! Что, устал — не хочешь ли кофе?

— Давно не видал тебя, наше красное солнышко: в тоску впал! — говорил Опенкин, вытирая клетчатым бумажным платком лоб. — Шел, шел — и зной палит, и от жажды и голода изнемог, а тут вдруг: «за Волгу уехала!» Испужался, матушка, ей-богу, испужался: экой какой! — набросился он на Викентьева, — невесту тебе за это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цветная! — обратился он опять к Марфиньке, — изгоните вы его с ясных глаз долой, злодея безжалостного — ох, ох, Господи, Господи! Что, матушка, за кофе: не к роже мне! А вот если б ангел сей небесный из сахарной ручки удостоил поднести…

— Водки? — живо перебил Викентьев.

— Водки! — передразнил Опенкин, — с месяц ее не видал, забыл, чем пахнет. Ей-богу, матушка! — обратился он к бабушке, — вчера у Горошкина насильно заставляли: бросил всё, без шапки ушел!

— Чего же хочешь, Аким Акимыч?

— Вот если б из ангельских ручек мадерцы рюмочку-другую…

— Вели, Марфинька, подать: там вчера только

что почали бутылку от итальянца…

— Нет, нет, постой, ангел, не улетай! — остановил он Марфиньку, когда та направилась было к двери, — не надо от итальянца, не в коня корм! не проймет, не почувствую: что мадера от итальянца, что вода — всё одно! Она десять рублей стоит: не к роже! Удостой, матушка, от Ватрухина, от Ватрухина — в два с полтиной медью!

— Какая же это мадера: он сам ее делает, — заметил Викентьев.

— То и ладно, то и ладно: значит, приспособился к потребностям государства, вкус угадал, город успокоивает. Теперь война, например, с врагами: все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, ни амбре никакого не получишь, ни кургузого одеяния, ни марго, ни бургонь — заговейся! А в сем богоспасаемом граде источник мадеры не иссякнет у Ватрухина! Да здравствует Ватрухин! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна, ручку!

Он схватил старушку за руку, из которой выскочил и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтоб послать к Ватрухину за мадерой.

— Да ну, Бог с тобой, какой ты беспокойный: сидел бы смирно! — с досадой сказала бабуш-

ка. — Марфинька, вели сходить к Ватрухину, да постой, на вот еще денег, вели взять две бутылки: одной, я думаю, мало будет…

— Мудрость, мудрость глаголет твоими устами: ручку… — говорил Опенкин.

— Где побывал это время, Аким Акимыч, что поделывал, горемычный?

— Где! — со вздохом повторил Опенкин, — везде и нигде, витаю, как птица небесная! Три дня у Горошкиных, перед тем у Пестовых, а перед тем и не помню!

Он вздохнул опять и махнул рукой.

— Что дома не сидишь?

— Эх, матушка, рад бы душой, да ведь ты знаешь сама: ангельского терпения не станет.

— Знаю, знаю, да не сам ли ты виноват тоже: не всё же жена?

— Ну, иной раз и сам: правда, святая правда! Где бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тут зло возьмет, не вытерпишь, и пошло! Сама посуди: сядешь в угол, молчишь: «Зачем сидишь, как чурбан, без дела?» Возьмешь дело в руки: «Не трогай, не суйся, где не спрашивают!» Ляжешь: «Что всё валяешься?» Возьмешь кусок в рот: «Только жрешь!» Заговоришь: «Молчи лучше!» Книжку возьмешь: вырвут из рук да швырнут на пол! Вот

мое житье — как перед Господом Богом! Только и света, что в палате да по добрым людям.

Принесли вино. Марфинька налила рюмку и подала Опенкину.

Он, с жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижал ее к нижней губе, а другую руку держал в виде подноса под рюмкой, чтоб не пролить ни капли, и залпом опрокинул рюмку в рот, потом отер губы и потянулся к ручке Марфиньки, но она ушла и села в свой угол.

Опенкин в нескольких словах сам рассказал историю своей жизни. Никто никогда не давал себе труда, да и не нужно никому было разбирать, кто прав, кто виноват был в домашнем разладе, он или жена.

Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства? Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней.

Он предоставил жене получать за него жалованье в палате и содержать себя и двоих детей, как она знает, а сам из палаты прямо шел куда-нибудь обедать и оставался там до ночи или на ночь и на другой день, как ни в чем не бывало, шел в палату и скрипел пером, трезвый, до трех часов.

И так проживал свою жизнь по людям.

К нему все привыкли в городе, и почти везде, кроме чопорных домов, принимали его, ради его безобидного нрава, домашних его несогласий и ради провинциального гостеприимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала «хороших гостей», то есть людей поважнее в городе.

Она никогда бы не пустила его к себе ради пьянства, которого терпеть не могла, но он был несчастлив, и притом, когда он становился неудобен в комнате, его без церемонии уводили на сеновал или отводили домой.

Запереть ему совсем двери было не в нравах провинции вообще и не в характере Татьяны Марковны в особенности, как ни тяготило ее присутствие пьяного в комнате, его жалобы и вздохи.

Райский помнил, когда Опенкин хаживал, бывало, в дом его отца с бумагами из палаты.

Тогда у него не было ни лысины, ни лилового носа. Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей.

Но Райский не счел нужным припоминать

старого знакомства, потому что не любил, как и бабушка, пьяных, однако он со стороны наблюдал за ним и тут же карандашом начертил его карикатуру.

Опенкин за обедом, пока еще не опьянел, продолжал чествовать бабушку похвалами, называл Верочку с Марфинькой небесными горлицами, потом, опьяневши, вздыхал, сопел, а после обеда ушел на сеновал спать.

Чай он пил с ромом, за ужином опять пил мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с Марфинькой по своим комнатам, Опенкин всё еще томил Бережкову рассказами о прежнем житье-бытье в городе, о многих стариках, которых все забыли, кроме его, о разных событиях доброго старого времени, наконец, о своих домашних несчастиях, и всё прихлебывал холодный чай с ромом или просил рюмочку мадеры.

Снисходительная старушка не решалась напомнить ему о позднем часе, ожидая, что он догадается. Но он не догадывался.

Она несколько раз уходила и наконец совсем ушла и подсылала то Марину, то Якова потушить свечи, кроме одной, закрыть ставни: всё не действовало.

Он заговаривал и с Яковом, и с Мариной.

— А, ну что, Маринушка: скоро ли позовешь в кумовья? Я всё жду, вот бы выпил на радостях…

— Будет с вас: и так глаза-то налили! Барыня почивать хочет, говорит, пора вам домой… — ворчала Марина, убирая посуду.

— Хулу глаголешь, нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняет гостей: гость — священная особа… Татьяна Марковна! — заорал он во всё горло, — ручку пожалуйте недостойному…

— Что это за срам, как орете: разбудите барышень! — сказала ему Василиса, посланная барыней унять его.

— Голубочки небесные! — сладеньким голосом начал Опенкин, — почивают, спрятав головки под крылышко! Маринушка! поди, дай, обниму тебя....

— Ну вас, подите, говорят вам: вот даст вам знать жена, как придете домой…

— Избиет, избиет, яко младенца, Маринушка!

Он начал хныкать и всхлипывать.

— Дай мадерцы: выпил бы из твоих золотых ручек! — плача говорил он.

— Нету: видите, бутылка пустая! выкатили всю на лоб себе!

— Ну, ромцу, сударушка: ты мне ни разу не поднесла…

— Вот еще! пойду в буфет рому доставать! Ключи у барышни…

— Давай, шельма! — закричал опять во всё горло Опенкин.

Вскоре из спальни вышла Татьяна Марковна, в ночном чепце и салопе.

— Что это, в уме ли ты, Аким Акимыч? — строго сказала она.

— Матушка, матушка! — завопил Опенкин, опускаясь на колени и хватая ее за ноги, — дай ножку, благодетельница, прости…

— Пора домой: здесь не кабак — что это за срам! Вперед не велю принимать…

— Матушка! кабак! кабак! Кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетели. Я честный человек, матушка: да или нет? Ты только изреки — честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего? изрыгал хулу, злобу? Николи! — гордо произнес он, стараясь выпрямиться. — Нарушил ли присягу в верности царю и отечеству? производил поборы, извращал смысл закона, посягал на интерес казны? Николи! Мухи не обидел, матушка: безвреден, яко червь пресмыкающийся…

— Ну, вставай, вставай и ступай домой! Я устала, спать хочу…

— Да почиет благословение Божие над тобою, праведница!

— Яков, вели Кузьме проводить домой Акима Акимыча! — приказывала бабушка. — И проводи его сам, чтоб он не ушибся! Ну прощай, Бог с тобой: не кричи, ступай, девочек разбудишь!

— Матушка, ручку, ручку! горлицы, горлицы небесные…

Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этим явлением, которое повторялось ежемесячно и сопровождалось всё одними и теми же сценами. Яков стал звать Опенкина, стараясь, с помощью Марины, приподнять его с пола.

— А! богобоязненный Иаков! — продолжал Опенкин, — приими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рюмочку ямайского…

— Пойдемте, не шумите: барыню опять разбудите, пора домой!

— Ну, ну… ну… — твердил Опенкин, кое-как барахтаясь и поднимаясь с пола, — пойдем, пойдем. Зачем домой, дабы змея лютая язвила меня до утрия? Нет, пойдем к тебе, человече: я поведаю ти, како Иаков боролся с Богом…

Яков любил поговорить о «божественном», и выпить тоже любил, и потому поколебался.

— Ну ладно, пойдемте ко мне, а здесь не пригоже оставаться, — сказал он.

Опенкин часа два сидел у Якова в прихожей. Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из священной истории; даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня во чреве.

— Как… позвольте, — задумчиво остановил его Яков, — кто кого проглотил?

— Человек, тебе говорят: Самсон, то бишь — Иона!

— Да ведь тит большущая рыба: сказывают, в Волге не уляжется…

— А чудо-то на что?

— Не другую ли какую рыбу проглотил человек? — изъявил Яков сомнение.

Но Опенкин успел захрапеть.

— Проглотил, ей-богу, право, проглотил! — бормотал он несвязно в просонье.

— Да кто кого: фу ты, Боже мой, — скажете ли вы? — допытывался Яков.

— Поднеси из благочестивых рук… — чуть внятно говорил Опенкин, засыпая.

— Ну теперь ничего не добьешься! Пойдемте.

Он старался растолкать гостя, но тот храпел. Яков сходил за Кузьмой и вдвоем часа четыре употребили на то, чтоб довести Опенкина домой, на противоположный конец города. Там, сдав его на руки кухарке, они сами на другой день к обеду только вернулись домой.

Яков с Кузьмой провели утро в слободе, под гостеприимным кровом кабака. Когда они выходили из кабака, то Кузьма принимал чрезвычайно деловое выражение лица, и чем ближе подходил к дому, тем строже и внимательнее смотрел вокруг, нет ли беспорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогал замок у ворот, цел ли он. А Яков всё искал по сторонам глазами, не покажется ли церковный крест вдалеке, чтоб помолиться на него.

XX

Терпение Райского разбилось о равнодушие Веры, и он впал в уныние, стал опять терзаться тупой и бесплодной скукой. От скуки он пробовал чертить разные деревенские сцены карандашом, набросал в альбом почти все пейзажи Волги, какие видел из дома и с обрыва, писал заметки в свои тетради, записал даже Опенкина и, положив перо, спросил себя: «Зачем он записал его? Ведь в роман он не годится: нет ему роли там. Опенкин — старый, выродившийся провинциальный тип, гость, которого не знают, как выжить: что ж тут интересного? И какой это роман! И как пишут эти романисты? Как у них выходит всё слито, связано между собой, так что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я как будто в зеркале вижу только себя! Как это глупо! Не умею! “Неудачник” я!»

Он стал припоминать свои уроки в академии, студии, где рисуют с бюстов. Наконец упрямо привязался к воспоминанию о Беловодовой, вынул ее акварельный портрет, стараясь привести на память последний разговор с нею, и кончил тем, что написал к Аянову целый ряд писем — литературных произведений в своем роде,

требуя от него подробнейших сведений обо всем, что касалось Софьи: где, что она, на даче или в деревне? Посещает ли он ее дом? Вспоминает ли она о нем? Бывает ли там граф Милари — и прочее и прочее, — всё, всё.

Всем этим он надеялся отделаться от навязчивой мысли о Вере.

Отослав пять-шесть писем, он опять погрузился в свой недуг — скуку. Это не была скука, какую испытывает человек за нелюбимым делом, которое навязала на него обязанность и которой он предвидит конец.

Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь в случайном положении: в болезни, в утомительной дороге, в карантине; там впереди опять виден конец.

Мог бы он заняться делом: за делом скуки не бывает.

«Но дела у нас, русских, нет, — решил Райский, — а есть мираж дела. А если и бывает, то в сфере рабочего человека, в приспособлении к делу грубой силы или грубого уменья, следовательно, дело рук, плечей, спины: и то дело вяжется плохо, плетется кое-как; поэтому рабочий люд, как рабочий скот, делает всё из-под палки и норовит только отбыть свою работу, чтобы

скорее дорваться до животного покоя. Никто не чувствует себя человеком за этим делом, и никто не вкладывает в свой труд человеческого, сознательного уменья, а всё везет свой воз, как лошадь, отмахиваясь хвостом от какого-нибудь кнута. И если кнут перестал свистать, — перестала и сила двигаться и ложится там, где остановился кнут. Весь дом около него, да и весь город, и все города в пространном царстве движутся этим отрицательным движением. А не в рабочей сфере — повыше, где у нас дело, которое бы каждый делал, так сказать, облизываясь от удовольствия, как будто бы ел любимое блюдо? А ведь только за таким делом и не бывает скуки! От этого все у нас ищут одних удовольствий, и всё вне дела».

— А дела нет, «один мираж»! — злобно твердил он, одолеваемый хандрой, доводившей его иногда до свирепости, не свойственной его мягкой натуре.

Его самого готовили — к чему — никто не знал. Вся женская родня прочила его в военную службу, мужская — в гражданскую, а рождение само по себе предоставляло еще третье призвание — сельское хозяйство. У нас легко погнаться за всеми тремя зайцами и поспеть к трем — миражам.

И только один он выдался урод в семье и не

поспел ни к одному, а выдумал свой мираж — искусство!

Сколько насмешек, пожимания плеч, холодных и строгих взглядов перенес он на пути к своему идеалу дела! И если б он вышел победителем, вынес на плечах свою задачу и доказал «серьезным людям», что они стремятся к миражу, а он к делу — он бы и был прав.

А он тоже не делает дела, и его дело перед их делом — есть самый пустой из всех миражей. Прав Марк, этот цинический мудрец, так храбро презревший все миражи и отыскивающий… миража поновее!

«Нет и у меня дела, не умею я его делать, как делают художники, погружаясь в задачу, умирая для нее! — в отчаянии решил он. — А какие сокровища перед глазами: то картинки жанра, Теньер, Остад — для кисти, то быт и нравы — для пера: все эти Опенкины и… вон, вон…»

Он смотрел на двор, где всё копошилось ежедневною заботой, видел, как Улита убирала погреба и подвалы. Он стал наблюдать Улиту.

Улита была каким-то гномом: она гнездилась вечно в подземельном царстве, в погребах и подвалах, так что сама вся пропиталась подвальной сыростью.

Платье ее было влажно, нос и щеки постоянно озябшие, волосы всклокочены и покрыты беспорядочно смятым бумажным платком. Около пояса грязный фартук, рукава засучены.

Ее всегда увидишь, что она или возникает, как из могилы, из погреба, с кринкой, горшком, корытцем или с полдюжиной бутылок между пальцами в обеих руках, или опускается вниз, в подвалы и погреба, прятать провизию, вино, фрукты и зелень.

На солнышке ее почти не видать, и всё она таится во тьме своих холодников: видно в глубине подвала только ее лицо с синевато-красным румянцем, всё прочее сливается с мраком домашних пещер.

Она и не подозревала, что Райский более, нежели кто-нибудь в доме, занимался ею, больше даже родных ее, живших в селе, которые по месяцам не видались с ней.

Он срисовал ее, показал Марфиньке и Вере: первая руками всплеснула от удовольствия, а Вера одобрительно кивнула головой.

Героем дворни все-таки оставался Егорка: это был живой пульс ее. Он своего дела, которого собственно и не было, не делал, «как все у нас», — упрямо мысленно добавлял Райский, — но зато

совался поминутно в чужие дела. Смотришь, дугу натягивает, и сила есть: он коренастый, мускулистый, длиннорукий, как орангутанг, но хорошо сложенный малый. То сено примется помогать складывать на сеновал: бросит охапки три и кинет вилы, начнет болтать и мешать другим.

Но главное его призвание и страсть — дразнить дворовых девок, трепать их, делать всякие штуки. Он смеется над ними, свищет им вслед, схватит из-за угла длинной рукой за плечо или за шею так, что бедная девка не вспомнится, гребенка выскочит у ней, и коса упадет на спину.

— Черт, озорник! — кричит девка, и с ее криком послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы.

Но ему неймется: он подмигивает на проходящую девку глазами кучеру, или Якову, или кто тут случится близко, и опять засвищет, захихикает или начнет выделывать такую мимику, что девка бросится бежать, а он вслед оскалит зубы или свистнет.

Какую бы, кажется, ненависть должен был возбудить к себе во всей женской половине дворни такой озорник, как этот Егорка? А именно этого и не было.

Он вызывал только временные вспышки в

этих девицах, а потом они же лезли к нему, лишь только он назовет которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергеевной и дружелюбно заговорит с ней.

Они гурьбой толпились около него, когда он в воскресенье с гитарой сидел у ворот и ласково, но всегда с насмешкой, балагурил с ними. И только тогда бросались от него врозь, когда он запевал чересчур нецензурную песню или вдруг принимался за неудобную для их стыдливости мимику.

Но наедине и порознь, смотришь, то та, то другая стоит, дружески обнявшись с ним, где-нибудь в уголке, и вечерком, особенно по зимам, кому была охота, мог видеть, как бегали женские тени через двор и как затворялась и отворялась дверь его маленького чуланчика, рядом с комнатами кучеров.

Не подозревал и Егорка, и красные девицы, что Райскому, лучше нежели кому-нибудь в дворне, видны были все шашни их и вся эта игра домашних страстей.

Обращаясь от двора к дому, Райский в сотый раз усмотрел там, в маленькой горенке, рядом с бабушкиным кабинетом, неизменную картину: молчаливая, вечно шепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами, сидела у окна, век свой на

одном месте, на одном стуле, с высокой спинкой и кожаным, глубоко продавленным сиденьем, глядя на дрова да на копавшихся в куче сора кур.

Она не уставала от этого вечного сиденья, от этой одной и той же картины из окна. Она даже неохотно расставалась со своим стулом и, подав барыне кофе, убравши ее платья в шкаф, спешила на стул, за свой чулок, глядеть задумчиво в окно на дрова, на кур и шептать.

Из дома выходить для нее было наказанием; только в церковь ходила она, и то стараясь робко, как-то стыдливо, пройти через улицу, как будто боялась людских глаз. Когда ее спрашивали, отчего она не выходит, она говорила, что любит «домовничать».

Она казалась полною, потому что разбухла от сиденья и затворничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яков были большие постники, и оба набожные.

Когда кто приходил посторонний в дом и когда в прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потом сказать, кто приходил. Ни имени, ни фамилии приходившего она передать никогда не могла, хотя состарелась в городе и знала в лицо последнего мальчишку.

Если лекарь приходил, священник, она скажет, что был лекарь или священник, но имени не помнит.

— Был вот этот… — начнет она.

— Кто такой? — спросит Татьяна Марковна.

— Да вон тот, что чуть Марфу Васильевну не убил, — а этому уж пятнадцать лет прошло, как гость уронил маленькую ее с рук.

— Да кто?

— Вот что после обеда не кофе, а чаю просит, — или: — тот, что диван в гостиной трубкой прожег, — или: — что на Страстной скоромное жрет и т. п.

Она, как тень, неслышно «домовничает» в своем уголку, перебирая спицы чулка. Перед ней, через сосновый крашеный стол, на высоком деревянном табурете сидела девочка от восьми до десяти лет и тоже вязала чулок, держа его высоко, так что спицы поминутно высовывались выше головы.

Такие девочки не переводились у Бережковой. Если девочка вырастала, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ее место брали из деревни другую, на побегушки, для мелких приказаний.

Обязанность ее, когда Татьяна Марковна сиде-

ла в своей комнате, стоять плотно прижавшись в уголке у двери и вязать чулок, держа клубок под мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша и по возможности не спуская с барыни глаз, чтоб тотчас броситься, если барыня укажет ей пальцем, подать платок, затворить или отворить дверь, или велит позвать кого-нибудь.

— Утри нос! — слышалось иногда, и девочка утирала нос передником или пальцем и продолжала вязать.

А когда Бережкова уходила или уезжала из дома, девочка шла к Василисе, влезала на высокий табурет и молча, не спуская глаз с Василисы, продолжала вязать чулок, насилу одолевая пальцами длинные стальные спицы. Часто клубок вываливался из подмышки и катился по комнате.

— Что зеваешь, подними! — слышался шепот.

Иногда на окно приходил к ним погреться на солнце, между двумя бутылями наливки, кот Серко; и если Василиса отлучалась из комнаты, девчонка не могла отказать себе в удовольствии поиграть с ним, поднималась возня, смех девчонки, игра кота с клубком: тут часто клубок и сам кот летели на пол, иногда опрокидывался и табурет с девчонкой.

Девочку, которую застал Райский, звали Па-

шуткой.

Ей стригут волосы коротко и одевают в платье, сделанное из старой юбки, но так, что не разберешь, задом или наперед сидело оно на ней; ноги обуты в большие не по летам башмаки.

У ней из маленького, плутовского, несколько приподнятого кверху носа часто светится капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она из них всё свивала подобие кукол, и даже углем помечала, где быть глазам, где носу. Их отобрали у нее, и она оставалась с каплей, которая издали светилась, как искра.

Райский заглянул к ним. Пашутка, быстро взглянув на него из-за чулка, усмехнулась было, потому что он то ласково погладит ее, то даст ложку варенья или яблоко, и еще быстрее потупила глаза под суровым взглядом Василисы. А Василиса, увидев его, перестала шептать и углубилась в чулок.

Он заглянул к бабушке: ее не было, и он, взяв фуражку, вышел из дома, пошел по слободе и добрел незаметно до города, продолжая с любопытством вглядываться в каждого прохожего, изучал дома, улицы.

Там кое-где двигался народ. Купец, то есть шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрели,

как рабочие, кряхтя, складывали мешки хлеба в амбар; там толпились какие-то неопределенные личности у кабака, а там проехала длинная и глубокая телега, с насаженным туда невероятным числом рослого, здорового мужичья, в порыжевших шапках без полей, в рубашках с синими заплатами, и в бурых армяках, и в лаптях, и в громадных сапожищах, с рыжими, седыми и разношерстными бородами, то клином, то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными.

Телега ехала с грохотом, прискакивая; прискакивали и мужики; иной сидел прямо, держась обеими руками за края, другой лежал, положив голову на третьего, а третий, опершись рукой на локоть, лежал в глубине, а ноги висели через край телеги.

Правил большой мужик, стоя, в буром длинном до полу армяке, в нахлобученной на уши шляпе без полей, и медленно крутил вожжой около головы.

Лицо у него от загара и пыли было совсем черное, глаза ушли под шапку, только усы и борода, точно из овечьей, бело-золотистой, жесткой шерсти, резко отделялись от темного кафтана.

Лошадь рослая, здоровая, вся в кисточках из ремней по бокам, выбивалась из сил и неслась

скачками.

Всё это прискакало к кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось в двери, а лошадь уже одна доехала до изгороди, в которую всажен был клок сена, и, отфыркавшись, принялась есть.

Встречались Райскому дальше в городе лица, очевидно бродившие без дела или «с миражем дела». Купцы, томящиеся бездельем у своих лавок, проедет советник на дрожках, пройдет, важно выступая, духовное лицо с длинной тростью.

А там в пустой улице, посредине, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шел разгульный малый, в красной рубашке, в шапке набок, и, размахивая руками, в одиночку орал песню и время от времени показывал редкому прохожему грозный кулак.

Райский пробрался до Козлова и, узнав, что он в школе, спросил про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрела на него, потом высморкалась в фартук, отерла пальцем нос и ушла в дом. Она не возвращалась.

Райский постучал опять, собаки залаяли, вышла девочка, поглядела на него, разиня рот, и тоже ушла. Райский обошел с переулка и услыхал за забором голоса в садике Козлова: один говорил по-французски, с парижским акцентом, другой

голос был женский. Слышен был смех, и даже будто раздался поцелуй…

— Бедный Леонтий! — прошептал Райский, — или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтий!

Он стоял в нерешимости — войти или нет.

«А ведь я друг Леонтья: старый товарищ — и терплю, глядя, как эта честная, любящая душа награждена за свою симпатию! Ужели я останусь равнодушным?.. Но что делать: открыть ему глаза, будить его от этого сна, когда он так верит, так поклоняется чистоте этого… “римского профиля”, так сладко спит в лоне домашнего счастья — плохая услуга! Что же делать? Вот дилемма! — раздумывал он, ходя взад и вперед по переулку. — Вот что разве: броситься, забить тревогу и смутить это преступное tête-a-tête?..»

Он пошел было к двери, но тотчас же одумался и воротился.

«Это история, скандал, — думал он, — огласить позор товарища, нет, нет! — не так! Ах! счастливая мысль, — решил он вдруг, — дать Ульяне Андреевне урок наедине: бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистых, неведомых ей понятий и нравов! Она обманывает доброго, любящего мужа и прячется от страха: сделаю, что она будет прятаться от стыда. Да, пробудить стыд

в огрубелом сердце — это долг и заслуга — и в отношении к ней, а более к Леонтью!»

Это заметно оживило его.

«Это уже не мираж, а истинно честное, даже святое дело!» — думалось ему.

Затем его поглотил процесс его исполнения. Он глубоко и серьезно вникал в предстоящий ему долг: как, без огласки, без всякого шума и сцен, кротко и разумно уговорить эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое…

Он с полчаса ходил по переулку, выжидая, когда уйдет m-r Шарль, чтобы упасть на горячий след и «бросить громы», или влиянием старого знакомства… «Это решит минута», — заключил он.

Подумавши, он отложил исполнение до удобного случая — и отдавшись этой новой, сильно охватившей его задаче, прибавил шагу и пошел отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визит, хотя это было не только не нужно в отношении последнего, но даже не совсем осторожно со стороны Райского.

Райский и не намеревался выдать свое посещение за визит: он просто искал какого-нибудь развлечения, чтоб не чувствовать тупой скуки и вместе также, чтоб не сосредоточиваться на

мысли о Вере.

Он правильно заключил, что тесная сфера, куда его занесла судьба, поневоле держала его подолгу на каком-нибудь одном впечатлении, а так как Вера, «по дикой неразвитости», по непривычке к людям или, наконец, он не знает еще почему, не только не спешила с ним сблизиться, но всё отдалялась, то он и решил не давать в себе развиться ни любопытству, ни воображению и показать ей, что она бледная, ничтожная деревенская девочка и больше ничего. От этого он хватался за всякий случай дать своей впечатлительности другую пищу.

Он прошел мимо многих покривившихся набок домишек, вышел из города и пошел между двумя плетнями, за которыми с обеих сторон расстилались огороды, посматривая на шалаши огородников, на распяленный кое-где старый, дырявый кафтан или на вздетую на палку шапку — пугать воробьев.

— Где тут огородник Ефрем живет? — спросил он одну бабу через плетень, копавшуюся между двух гряд.

Она, не отрываясь от работы, молча указала локтем вдаль, на одиноко стоявшую избушку в поле. Потом, когда Райский ушел от нее шагов

на сорок, она, прикрыв рукой глаза от солнца, звонко спросила его вслед:

— Не огурцы ли покупаешь? Вот у нас какие ядреные да зеленые!

— Нет, — отвечал Райский, — я ничего не покупаю.

— Почто ж тебе Ефрема?

— Да у него живет мой знакомый, Марк, не знаешь ли?

— Нешто́: у Ефрема стоит какой-то попович, либо приказный из города, кто его знает!

Райский пошел к избушке, и только перелез через плетень, как навстречу ему помчались две шавки с яростным лаем. В дверях избушки показалась, с ребенком на руках, здоровая, молодая, с загорелыми голыми руками и босиком баба.

— Цыц-цыц-цы, проклятые, чтоб вас! — унимала она собак. — Кого вам? — спросила она Райского, который оглядывался во все стороны, недоумевая, где тут мог гнездиться кто-нибудь другой, кроме мужика с семьей.

Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили к огородам, а два в поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудами корзин, в углу навалены были драницы, ведра и всякий

хлам.

Под навесом стояли две лошади, тут же хрюкала свинья с поросенком и бродила наседка с цыплятами. Поодаль стояло несколько тачек и большая телега.

— Где тут живет Марк Волохов? — спросил Райский.

Баба молча указала на телегу. Райский поглядел туда: там, кроме большой рогожи, ничего не видать.

— Разве он в телеге живет? — спросил он.

— Вон его горница, — сказала баба, показывая на одно из окон, выходивших в поле. — А тут он спит.

— Об эту пору спит?

— Да он на заре пришел, должно быть хмельной, вот и спит!

Райский пошел к телеге.

— Пошто вам его? — спросила баба.

— Так: повидаться хотел!

— А вы не замайте его!

— А что?

— Да он благой такой: пущай лучше спит! Мужа-то вот дома нет, так мне и жутко с ним одной. Пущай спит!

— Разве он обижает тебя?

— Нет, грех сказать: почто обижать? Только чудной такой: я нешто его боюсь!

Баба стала качать ребенка, а Райский с любопытством заглянул под рогожу.

— Экая дура! не умеет гостей принять! — вдруг послышалось из-под рогожи, которая потом приподнялась, и из-под нее показалась всклокоченная голова Марка.

Баба тотчас скрылась.

— Здравствуйте, — сказал Марк, — как это вас занесло сюда?

Он вылез из телеги и стал потягиваться.

— С визитом, должно быть?

— Нет, я так: пошел от скуки погулять…

— От скуки? Что так: две красавицы в доме, а вы бежите от скуки: а еще художник! Или амуры нейдут на лад?

Он насмешливо мигнул Райскому.

— А ведь красавицы: Вера-то, Вера какова!

— Вы почем ее знаете и что вам до них за дело? — сухо заметил Райский.

— Это правда, — отвечал Марк. — Ну, не сердитесь: пойдемте в мой салон.

— Вы лучше скажите, отчего в телеге спите: или Диогена разыгрываете?

— Да, поневоле, — сказал Марк.

Они прошли через сени, через жилую избу хозяев и вошли в заднюю комнатку, в которой стояла кровать Марка. На ней лежал тоненький старый тюфяк, тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. На полке и на столе лежало десятка два книг, на стене висели два ружья, а на единственном стуле в беспорядке валялось несколько белья и платья.

— Вот мой салон: садитесь на постель, а я на стул, — приглашал Марк. — Скинемте сюртуки: здесь адская духота. Не церемоньтесь, тут нет дам: скидайте, вот так. Да не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочем, ничего нет. А если не хотите вы, так дайте мне сигару. Однако молоко есть, яйца…

— Нет, благодарю, я завтракал, а теперь скоро и обедать.

— И то правда, ведь вы у бабушки живете. Ну, что она: не выгнала вас за то, что вы дали мне ночлег?

— Нет, упрекала, зачем без пирожного спать уложил и пуховика не потребовал.

— И в то же время бранила меня?

— По обыкновению, но…

— Знаю, не говорите — не от сердца, а по привычке. Она старуха хоть куда: лучше их всех тут,

бойкая, с характером, и был когда-то здравый смысл в голове. Теперь уж, я думаю, мозги-то размягчились!

— Вот как: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете! — сказал Райский.

— Да, особенно в одном: она терпеть не может губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша — не знаю за что, а я за то, что он — губернатор. И полицию тоже мы с ней не любим, притесняет нас. Ее заставляет чинить мосты, а обо мне уж очень печется: осведомляется, где я живу, далеко ли от города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вот и говорить нам больше не о чем! — сказал Марк. — Зачем вы пришли?

— Да скучно.

— А вы влюбитесь.

Райский молчал.

— В Веру, — продолжал Марк, — славная девочка. Вы же брат ей на седьмой воде, вам вполовину легче начать с ней роман…

Райский сделал движение досады, Марк холодно засмеялся.

— Что же она? Или не поддается столичному

дендизму? Да как она смеет, ничтожная провинциалка! Ну, что ж, старинную науку в ход: наружный холод и внутренний огонь, небрежность приемов, гордое пожимание плеч и презрительные улыбки — это действует! Порисуйтесь перед ней, это ваше дело…

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распущенностью?

— А может быть, — равнодушно заметил Марк, — что ж, если б это подействовало, я бы постарался…

— Да, я думаю, вы не задумались бы! — сказал Райский.

— Это правда, — заметил Марк. — Я пошел бы прямо к делу, да тем и кончил бы! А вот вы сделаете то же, да будете уверять себя и ее, что влезли на высоту и ее туда же затащили — идеалист вы этакий! Порисуйтесь, порисуйтесь! Может быть, и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда беленькая ручка откинет лиловую занавеску… ждать по неделям от нее ласкового взгляда…

Райский вдруг зорко на него взглянул.

— Что, видно, правда!

Марк попадал не в бровь, а в глаз. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы — признаться, что это правда.

— Рад бы был влюбиться, да не могу, не по летам, — сказал Райский, притворно зевая, — да и не вылечусь от скуки.

— Попробуйте, — дразнил Марк. — Хотите пари, что через неделю вы влюбитесь, как котенок, а через две, много через месяц, наделаете глупостей и не будете знать, как убраться отсюда?

— А если я приму пари и выиграю, чем вы заплатите? — почти с презрением отвечал Райский.

— Вон панталоны или ружье отдам. У меня только двое панталон: были третьи, да портной назад взял за долг… Постойте, я примерю ваш сюртук. Ба! как раз впору! — сказал он, надевши легкое пальто Райского и садясь в нем на кровать. — А попробуйте мое!

— Зачем?

— Так, хочется посмотреть, впору ли вам. Пожалуйста, наденьте: ну чего вам стоит?

Райский снисходительно надел поношенное и небезупречное от пятен пальто Марка.

— Ну что, впору?

— Да ничего, сидит!

— Ну так останьтесь так. Вы ведь недолго про-

носите свое пальто, а мне оно года на два станет. Впрочем — рады вы, нет ли, а я его теперь с плеч не сниму, — разве украдете у меня.

Райский пожал плечами.

— Ну что ж, идет пари? — спросил Марк.

— Что вы так привязались к этой… извините… глупой идее?

— Ничего, ничего, не извиняйтесь — идет?

— Пари не равно: у вас ничего нет.

— Об этом не беспокойтесь: мне не придется платить.

— Какая уверенность!

— Ей-богу, не придется. Ну так если мое пророчество сбудется, вы мне заплатите триста рублей… А мне как бы кстати их выиграть!

— Какие глупости! — почти про себя сказал Райский, взяв фуражку и тросточку.

— Да, от нынешнего дня через две недели вы будете влюблены, через месяц будете стонать, бродить как тень, играть драму, пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедию, и кончите пошлостью…

— Почем вы знаете?

— Кончите пошлостью, как все подобные вам. Я знаю, вижу вас.

— Ну а если не я, а она бы влюбилась и сто-

нала?

— Вера!.. в вас?

— Да, Вера, в меня!

— Тогда… я достану заклад вдвое и принесу вам.

— Вы сумасшедший! — сказал Райский, уходя вон и не удостоив Марка взглядом.

— Через месяц у меня триста рублей в кармане! — кричал ему вслед Марк.

XXI

Райский сердито шел домой.

«Где она, эта красавица, теперь? — думал он злобно, — вероятно, на любимой скамье зевает по сторонам — пойти посмотреть!»

Изучив ее привычки, он почти наверное знал, где она могла быть в тот или другой час.

Поднявшись с обрыва в сад, он увидел ее действительно сидящую на своей скамье с книгой.

Она не читала, а глядела то на Волгу, то на кусты. Увидя Райского, она переменила позу, взяла книгу, потом тихо встала и пошла по дорожке к старому дому.

Он сделал ей знак подождать его, но она или не заметила, или притворилась, что не видит, и даже будто ускорила шаг, проходя по двору, и скрылась в дверь старого дома. Его взяло зло.

«А тот болван думает, что я влюблюсь в нее: она даже не знает простых приличий, выросла в девичьей, среди этого народа, неразвитая, подгородная красота! Ее роман ждет тут где-нибудь в палате…»

Он злобно ел за обедом, посматривая исподлобья на всех, и не взглянул ни разу на Веру, даже не

отвечал на ее замечание, что «сегодня жарко».

Ему казалось, что он уже ее ненавидел или пренебрегал ею: он этого еще сам не решил, но только сознавал, что в нем бродит какое-то враждебное чувство к ней.

Это особенно усилилось дня за два перед тем, когда он пришел к ней в старый дом с Гете, Байроном, Гейне да с каким-то английским романом под мышкой и расположился у ее окна рядом с ней.

Она с удивлением глядела, как он раскладывал книги на столе, как привольно располагался сам.

— Что это вы хотите делать? — спросила она с любопытством.

— А вот, — отвечал он, указывая на книги, — «улетим куда-нибудь на крыльях поэзии», будем читать, мечтать, унесемся вслед за поэтами…

Она весело засмеялась.

— Сейчас девушка придет: будем кофты кроить, — сказала она. — Тут на столе и по стульям разложим полотно и «унесемся» с ней в расчеты аршин и вершков…

— Фи, Вера: оставь это, в девичьей без тебя сделают…

— Нет, нет: бабушка и так недовольна моею ленью. Когда она ворчит, так я кое-как еще пе-

реношу, а когда она молчит, косо поглядывает на меня и жалко вздыхает, — это выше сил… Да вот и Наташа. До свидания, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на стол: всё ли тут?

Она проворно переложила книги на стул, подвинула стол на средину комнаты, достала аршин из комода и вся углубилась в отмериванье полотна, рассчитывала полотнища, с свойственным ей нервным проворством, когда одолевала ее охота или необходимость работы, и на Райского ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, как будто его тут не было.

Он почти со скрежетом зубов ушел от нее, оставив у ней книги. Но обойдя дом и воротясь к себе в комнату, он нашел уже книги на своем столе.

— Проворно! Значит, и вперед прошу не жаловать! — прошептал он злобно. — Что ж это, однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играет, шутит со мной?

Марк, предложением пари, еще больше растревожил в нем желчь, и он почти не глядел на Веру, сидя против нее за обедом, только когда случайно поднял глаза, его как будто молнией ослепило «язвительной» красотой.

Она взглянула было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но, заметя его свире-

пые взгляды, она увидела, что он раздражен и что предметом этого раздражения была она.

Она наклонилась над пустой тарелкою и задумчиво углубила в нее взгляд. Потом подняла голову и взглянула на него: взгляд этот был сух и печален.

— Я с Марфинькой хочу поехать на сенокос сегодня, — сказала бабушка Райскому, — твоя милость, хозяин, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Он, глядя в окно, отрицательно покачал головой.

— Купцы снимают: дают семьсот рублей ассигнациями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказал.

— Что же ты, сударь, молчишь? Яков, — обратилась она к стоявшему за ее стулом Якову, — купцы завтра хотели побывать: как приедут, проводи их вот к Борису Павловичу…

— Слушаю-с.

— Выгони их вон! — равнодушно отозвался Райский.

— Слушаю-с! — повторил Яков.

— Вот как: кто ж ему позволит выгнать! Что, если бы все помещики походили на тебя!

Он молчал, глядя в окно.

— Да что ты молчишь, Борис Павлович: ты хоть пальцем тычь! Хоть бы ел по крайней мере! Подай ему жаркое, Яков, и грибы: смотри, какие грибы!

— Не хочу! — с нетерпением сказал Райский, махнув Якову рукой.

Снова все замолчали.

— Савелий опять прибил Марину, — сказала бабушка.

Райский едва заметно пожал плечами.

— Ты бы унял его, Борис Павлович!

— Что я за полицмейстер? — сказал он нехотя. — Пусть хоть зарежут друг друга!

— Господи избави и сохрани! Это всё драму, что ли, хочется тебе сочинить?

— До того мне! — проворчал он небрежно, — своих драм не оберешься…

— Что: или тяжело жить на свете? — насмешливо продолжала бабушка, — шутка ли, сколько раз в сутки с боку на бок придется перевалиться!

Он взглянул на Веру: она налила себе красного вина в воду и, выпив, встала, поцеловала у бабушки руку и ушла. Он встал из-за стола и ушел к себе в комнату.

Вскоре бабушка с Марфинькой и подоспевшим Викентьевым уехали смотреть луга, и весь дом утонул в послеобеденном сне. Кто ушел на се-

новал, кто растянулся в сенях, в сарае; другие, пользуясь отсутствием хозяйки, ушли в слободу, и в доме воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежь, в саду не шелохнется лист.

У Райского с ума не шла Вера.

«Где она теперь, что делает одна? Отчего она не поехала с бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?» — задавал он себе вопросы.

Несмотря на данное себе слово не заниматься ею, не обращать на нее внимания, а поступать с ней как с «ничтожной девочкой», он не мог отвязаться от мысли о ней.

Он нарочно станет думать о своих петербургских связях, о приятелях, о художниках, об академии, о Беловодовой — переберет два-три случая в памяти, два-три лица, а четвертое лицо выйдет — Вера. Возьмет бумагу, карандаш, сделает два-три штриха — выходит ее лоб, нос, губы. Хочет выглянуть из окна в сад, в поле, а глядит на ее окно: «поднимает ли белая ручка лиловую занавеску», как говорит справедливо Марк. И почем он знает? Как будто кто-нибудь подглядел да сказал ему!

Закипит ярость в сердце Райского, хочет он мысленно обратить проклятие к этому неотступному образу Веры, а губы не повинуются, язык

шепчет страстно ее имя, колена гнутся, и он закрывает глаза и шепчет:

— Вера, Вера, — никакая красота никогда не жгл меня язвительнее, я жалкий раб твой…

— Вздор, нелепость, сентиментальность! — скажет, очнувшись, потом.

— Пойду к ней, надо объясниться. Где она? Ведь это любопытство — больше ничего: не любовь же в самом деле!.. — решил он.

Он взял фуражку и побежал по всему дому, хлопая дверями, заглядывая во все углы. Веры не было, ни в ее комнате, ни в старом доме, ни в поле не видать ее, ни в огородах. Он даже поглядел на задний двор, но там только Улита мыла какую-то кадку, да в сарае Прохор лежал на спине плашмя и спал под тулупом, с наивным лицом и открытым ртом.

Он прошел окраины сада, полагая, что Веру нечего искать там, где обыкновенно бывают другие, а надо забираться в глушь, к обрыву, по скату берега, где она любила гулять. Но нигде ее не было, и он пошел уже домой, чтоб спросить кого-нибудь о ней, как вдруг увидел ее сидящую в саду, в десяти саженях от дома.

— Ах! — сказал он, — ты тут, а я ищу тебя по всем углам…

— А я вас жду здесь… — отвечала она.

На него вдруг будто среди зимы пахнуло южным ветром.

— Ты ждешь меня! — произнес он не своим голосом, глядя на нее с изумлением и страстными до воспаления глазами. — Может ли это быть?

— Отчего же нет? ведь вы искали меня…

— Да, я хотел объясниться с тобой.

— И я с вами.

— Что же ты хотела сказать мне?

— А вы мне что?

— Сначала скажи ты, а потом я…

— Нет, вы скажите, а потом я…

— Хорошо, — сказал он, подумавши, и сел около нее, — я хотел спросить тебя, зачем ты бегаешь от меня?

— А я хотела спросить, зачем вы меня преследуете?

Райский упал с облаков.

— И только? — сказал он.

— Пока только: посмотрю, что вы скажете?

— Но я не преследую тебя: скорее удаляюсь, даже мало говорю…

— Есть разные способы преследовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня…

— Помилуй, я почти не говорю с тобой…

— Правда, вы редко говорите со мной, не глядите прямо, а бросаете на меня исподлобья злые взгляды — это тоже своего рода преследование. Но если б только это и было…

— А что же еще?

— А еще — вы следите за мной исподтишка: вы раньше всех встаете и ждете моего пробуждения, когда я отдерну у себя занавеску, открою окно. Потом, только лишь я перехожу к бабушке, вы избираете другой пункт наблюдения и следите, куда я пойду, какую дорожку выберу в саду, где сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу… Потом встречаетесь со мною…

— Очень редко, — сказал он.

— Правда, в неделю раза два-три: это не часто и не могло бы надоесть: напротив, — если б делалось без намерения, а так, само собой. Но это всё делается с умыслом: в каждом вашем взгляде и шаге я вижу одно — неотступное желание не давать мне покоя, посягать на каждый мой взгляд, слово, даже на мои мысли… По какому праву, позвольте вас спросить?

Он изумился смелости, независимости мысли, желания и этой свободе речи. Перед ним была не девочка, прячущаяся от него от робости, как казалось ему, от страха за свое самолюбие при

неравной встрече умов, понятий, образований. Это новое лицо, новая Вера!

— А если тебе так кажется… — нерешительно заметил он, еще не придя в себя от удивления.

— Не лгите! — перебила она. — Если вам удается замечать каждый мой шаг и движение, то и мне позвольте чувствовать неловкость такого наблюдения: скажу вам откровенно — это тяготит меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава Богу, не в плену у турецкого паши…

— Чего же ты хочешь: что надо мне сделать?..

— Вот об этом я и хотела поговорить с вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите от меня?

— Нет, ты скажи, — настаивал он, всё еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блеск на всю ее и без того сияющую красоту.

Он чувствовал уже, что наслаждение этой красотой переходит у него в страдание.

— Чего я хочу? — повторила она, — свободы!

С новым изумлением взглянул он на нее.

— Свободы! — повторил он, — я первый партизан и рыцарь ее — и потому…

— И потому не даете свободно дышать бедной девушке…

— Ах, Вера, зачем так дурно заключать обо мне? Между нами недоразумение: мы не поняли друг друга — объяснимся — и, может быть, мы будем друзьями.

Она вдруг взглянула на него испытующим взглядом.

— Может ли это быть? — сказала она, — я бы рада была ошибиться.

— Вот моя рука, что это так: буду другом, братом — чем хочешь, требуй жертв.

— Жертв не надо, — сказала она, — вы не отвечали на мой вопрос: чего вы хотите от меня?

— Как «чего хочу»: я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Зачем преследуете меня, смотрите такими странными глазами? Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, как не жадными, влюбленными, может мужчина смотреть на твою поразительную красоту…

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала с места.

— Как вы смеете говорить это? — сказала она, глядя на него с ног до головы. И он глядел на нее с изумлением, большими глазами.

— Что ты, Бог с тобой, Вера: что я сказал?

— Вы, гордый, развитой ум, «рыцарь свободы», не стыдитесь признаться…

— Что красота вызывает поклонение и что я поклоняюсь тебе: какое преступление!

— Вы даже не понимаете, я вижу, как это оскорбительно! Осмелились бы вы глядеть на меня этими «жадными» глазами, если б около меня был зоркий муж, заботливый отец, строгий брат? Нет, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по целым дням без причины, не подсматривали бы, как шпион, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чем я подала вам повод смотреть на меня иначе, нежели как бы смотрели вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?

— Красота возбуждает удивление: это ее право…

— Красота, — перебила она, — имеет также право на уважение и свободу…

— Опять свобода!

— Да, и опять, и опять! «Красота, красота!» Далась вам моя красота! Ну хорошо, красота: так что же? Разве это яблоки, которые висят через забор и которые может рвать каждый прохожий?

— Каково! — с изумлением, совсем растерянный говорил Райский. — Чего же ты хочешь от

меня?

— Ничего: я жила здесь без вас, уедете — и я буду опять так же жить…

— Ты велишь мне уехать: изволь — я готов…

— Вы у себя дома: я умею уважать «ваши права» и не могу требовать этого…

— Ну чего ты хочешь — я всё сделаю, скажи, не сердись! — просил он, взяв ее за обе руки. — Я виноват перед тобой: я артист, у меня впечатлительная натура, и я, может быть, слишком живо поддался впечатлению, выразил свое участие — конечно, потому, что я не совсем тебе чужой. Будь я посторонний тебе, разумеется, я бы воздержался. Я бросился немного слепо, обжегся — ну и не беда! Ты мне дала хороший урок. Помиримся же: скажи мне свои желания, я исполню их свято… и будем друзьями! Право, я не заслуживаю этих упреков, всей этой грозы… Может быть, ты и не совсем поняла меня…

Она подала ему руку.

— И я вышла из себя по-пустому. Я вижу, что вы очень умны, во-первых, — сказала она, — во-вторых, кажется, добры и справедливы: это доказывает теперешнее ваше сознание… Посмотрим — будете ли вы великодушны со мной…

— Буду, буду, твори свою волю надо мной и

увидишь… — опять с увлечением заговорил он.

Она тихо отняла руку, которую было положила на его руку.

— Нет, — сказала она полусерьезно, — по этому восторженному языку я вижу, что мы от дружбы далеко.

— Ах, эти женщины с своей дружбой! — с досадой отозвался Райский, — точно кулич в именины подносят!

— Вот и эта досада не обещает хорошего!

Она было встала.

— Нет, нет, не уходи: мне так хорошо с тобой! — говорил он, удерживая ее, — мы еще не объяснились. Скажи, что тебе не нравится, что нравится, — я всё сделаю, чтоб заслужить твою дружбу…

— Я вам в самом начале сказала, как заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить в покое, даже не замечать меня — и я тогда сама приду в вашу комнату, назначим часы проводить вместе, читать, гулять… Однако вы ничего не сделали…

— Ты требуешь, Вера, чтоб я был к тебе совершенно равнодушен?

— Да.

— Не замечал твоей красоты, смотрел бы на

тебя, как на бабушку…

— Да.

— А ты по какому праву требуешь этого?

— По праву свободы!

— Но если б я поклонялся молча, издали, ты бы не замечала и не знала этого… ты запретить этого не можешь. Что тебе за дело?

— Стыдитесь, cousin! Времена Вертеров и Шарлотт прошли. Разве это возможно? Притом я замечу страстные взгляды, любовное шпионство — мне опять надоест, будет противно…

— Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть может растопить лед, и со временем взаимность прокрадется в сердце…

Он произносил эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней какой-нибудь знак отдаленной надежды, хоть неизвестности, чего-нибудь…

— Это правда, — сказала она, — я ненавижу кокетство и не понимаю, как не скучно привлекать эти поклонения, когда не намерена и не можешь отвечать на вызванное чувство?..

— А ты… не можешь?

— Не могу.

— Почему ты знаешь: может быть, придет время…

— Не ждите, cousin, не придет.

«Что это они — как будто сговорились с Беловодовой: наладили одно и то же!» — подумал он.

— Ты не свободна, любишь? — с испугом спросил он.

Она нахмурилась и стала упорно смотреть на Волгу.

— Ну, если б и любила: что же, грех, нельзя, стыдно… вы не позволите, братец? — с насмешкой сказала она.

— Я!

— «Рыцарь свободы!» — еще насмешливее повторила она.

— Не смейся, Вера: да, я ее достойный рыцарь! Не позволить любить! Я тебе именно и несу проповедь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячься: не бойся ни бабушки, никого! Старый мир разлагается, зазеленели новые всходы жизни — жизнь зовет к себе, открывает всем свои объятия. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвеял дух свободы, у тебя уж явилось сознание своих прав, здравые идеи. Если заря свободы восходит для всех: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смело… Страсть — это счастье. Дай хоть позавидовать тебе!

— Зачем я буду рассказывать, люблю я или нет? До этого никому нет дела. Я знаю, что я свободна, и никто не вправе требовать отчета от меня…

— А бабушка? Ты ее не боишься? Вон Марфинька…

— Я никого не боюсь, — сказала она тихо, — и бабушка знает это и уважает мою свободу. Последуйте и вы ее примеру… Вот мое желание! Только это я и хотела сказать.

Она встала со скамьи.

— Да, Вера, теперь я несколько вижу и понимаю тебя и обещаю — вот моя рука, — сказал он, — что отныне ты не услышишь и не заметишь меня в доме: буду «умник», — прибавил он, — буду «справедлив», буду «уважать твою свободу» и, как рыцарь, буду «великодушен», буду просто — велик! Я — grand cœur![95]

Оба засмеялись.

— Ну, слава Богу, — сказала она, подавая ему руку, которую он жадно прижал к губам.

Она взяла руку назад.

— Посмотрим, — прибавила она. — А впрочем, если нет… Ну да ничего, посмотрим…

— Нет, доскажи уж, что начала, не то я стану

---

[95] Примечания: 95
великодушен (*фр.*).

ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной здесь, то как я ни люблю этот уголок (она с любовью бросила взгляд вокруг себя), но тогда… уеду отсюда! — решительно заключила она.

— Куда? — спросил он, испугавшись.

— Божий мир велик. До свидания, cousin.

Она пошла. Он глядел ей вслед: она неслышными шагами неслась по траве, почти не касаясь ее, только линия плеч и стана, с каждым шагом ее, делала волнующееся движение; локти плотно прижаты к талии, голова мелькала между цветов, кустов, наконец явление мелькнуло еще за решеткою сада и исчезло в дверях старого дома.

«Прошу покорно! — с изумлением говорил про себя Райский, провожая ее глазами, — а я собирался развивать ее, тревожить ее ум и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой, неведомой ей жизни… А она уж эмансипирована! Да кто же это?..»

— Каково отделала! А вот я бабушке скажу! — закричал он, грозя ей вслед, потом сам засмеялся и пошел к себе.

XXII

На другой день Райский чувствовал себя веселым и свободным от всякой злобы, от всяких претензий на взаимность Веры, даже не нашел в себе никаких следов зародыша любви.

«Так, впечатление: как всегда у меня! Вот теперь и прошло!» — думал он.

Он смеялся над своим увлечением, грозившим ему, по-видимому, серьезной страстью, упрекал себя в настойчивом преследовании Веры и стыдился, что даже посторонний свидетель, Марк, заметил облака на его лице, нервную раздражительность в словах и движениях, до того очевидную, что мог предсказать ему страсть.

«Ошибется же он, когда увидит меня теперь, — думал он, — вот будет хорошо, если он заранее рассчитает на триста рублей этого глупейшего пари и сделает издержку!»

Ему страх как захотелось увидеть Веру опять наедине, единственно затем, чтоб только «великодушно» сознаться, как он был глуп, неверен своим принципам, чтоб изгладить первое невыгодное впечатление и занять по праву место друга — покорить ее гордый умишко, выиграть

доверие.

Но при этом ему всё хотелось вдруг принести ей множество каких-нибудь неудобоисполнимых жертв, сделаться ей необходимым, стать исповедником ее мыслей, желаний, совести, показать ей всю свою силу, душу, ум.

Он забыл только, что вся ее просьба к нему была — ничего этого не делать, не показывать, и что ей ничего от него не нужно. А ему всё казалось, что если б она узнала его, то сама избрала бы его в руководители, не только ума и совести, но даже сердца.

На другой, на третий день его — хотя и не раздражительно, как недавно еще, но все-таки занимала новая, неожиданная, поразительная Вера, его дальняя сестра и будущий друг.

На него пахнуло и новое, свежее, почти никогда не испытанное им, как казалось ему, чувство — дружбы к женщине: он вкусил этого, по его выражению, «именинного кулича», помимо ее красоты, помимо всяких чувственных движений грубой натуры и всякого любовного сентиментализма.

Это бодрое, трезвое и умное чувство: в таком взаимном сближении — ни он, ни она ничего не теряют и оба выигрывают, изучая, дополняя друг

друга, любя тонкою, умною, полною взаимного уважения и доверия привязанностию.

«Вот и прекрасно, — думал он, — умница она, что пересадила мое впечатление на прочную почву. Только за этим, чтоб сказать это ей всё, успокоить ее, — и хотел бы я ее видеть теперь!»

Но он не смел сделать ни шагу, даже добросовестно отворачивался от ее окна, прятался в простенок, когда она проходила мимо его окон; молча, с дружеской улыбкой пожал ей, одинаково, как и Марфиньке, руку, когда они обе пришли к чаю, не пошевельнулся и не повернул головы, когда Вера взяла зонтик и скрылась тотчас после чаю в сад, и целый день не знал, где она и что делает.

Но всё еще он не завоевал себе того спокойствия, какое налагала на него Вера: ему бы надо уйти на целый день, поехать с визитами, уехать гостить на неделю за Волгу, на охоту и забыть о ней. А ему не хочется никуда: он целый день сидит у себя, чтоб не встретить ее, но ему приятно знать, что она тут же в доме. А надо добиться, чтоб ему это было всё равно.

Но и то хорошо, и то уже победа, что он чувствовал себя покойнее. Он уже на пути к новому чувству, хотя новая Вера не выходила у него

из головы, но это новое чувство тихо и нежно волновало и покоило его, не терзая, как страсть, дурными мыслями и чувствами.

Когда она обращала к нему простой вопрос, он, едва взглянув на нее, дружески отвечал ей и затем продолжал свой разговор с Марфинькой, с бабушкой или молчал, рисовал, писал заметки в роман.

«Да ведь это лучше всякой страсти! — приходило ему в голову, — это доверие, эти тихие отношения, это заглядыванье не в глаза красавицы, а в глубину умной, нравственной девической души!»

Он ждал только одного от нее: когда она сбросит свою сдержанность, откроется перед ним доверчиво вся, как она есть, и также забудет, что он тут, что он мешал ей еще недавно жить, был бельмом на глазу.

Райский дня три нянчился с этим «новым чувством», и бабушка не нарадовалась, глядя на него.

— Ну, просветлело ясное солнышко! — сказала она, — можно и с визитами съездить в город.

— Бог с вами, бабушка: мне не до того! — ласково говорил он.

— Ну поедем посмотреть, как яровое выходит.

— Нет, нет, — твердил он и даже поцеловал у ней руку.

— Ты что-то ластишься ко мне: не к деньгам ли подбираешься, чтоб Маркушке дать? Не дам!

Он засмеялся и ушел от нее — думать о Вере, с которой он всё еще не нашел случая объясниться «о новом чувстве» и о том, сколько оно счастья и радости приносит ему.

Случай представлялся ему много раз, когда она была одна: но он боялся шевельнуться, почти не дышал, когда завидит ее, чтоб не испугать ее рождающегося доверия к искренности его перемены и не испортить себе этот новый рай.

Наконец, на четвертый или пятый день после разговора с ней, он встал часов в пять утра. Солнце еще было на дальнем горизонте, из сада несло здоровою свежестью, цветы разливали сильный запах, роса блистала на траве.

Он наскоро оделся и пошел в сад, прошел две-три аллеи и — вдруг наткнулся на Веру. Он задрожал от нечаянности и испуга.

— Не нарочно, ей-богу, не нарочно! — закричал он в страхе, и оба засмеялись.

Она сорвала цветок и бросила в него, потом ласково подала ему руку и поцеловала его в голову, в ответ на его поцелуй руки.

— Не нарочно, Вера, — твердил он, — ты видишь, да?

— Вижу, — отвечала она и опять засмеялась, вспомнив его испуг. — Вы милый, добрый…

— «Великодушный»… — подсказал он.

— До великодушия еще не дошло, посмотрим, — сказала она, взяв его под руку. — Пойдемте гулять: какое утро! Сегодня будет очень жарко.

Он был на седьмом небе.

— Да, да, славное утро! — подтвердил он, думая, что сказать еще, но так, чтоб как-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ее красоте, — и не находил ничего, а его так и подмывало опять заиграть на любимой струне.

— Я вчера письмо получил из Петербурга… — сказал он, не зная, что сказать.

— От кого? — спросила она машинально.

— От художников; а вот от Аянова всё нет: не отвечает. Не знаю, что кузина Беловодова: где проводит лето, как…

— Она… очень хороша? — спросила Вера.

— Да… правильные черты лица, свежесть, много блеску… — говорил он монотонно и, взглянув сбоку на Веру, страстно вздрогнул. Красота Беловодовой погасла в его памяти.

— Еще не получили ли чего-нибудь: кажется,

Савелий посылку с почты привез? — спросила она.

— Да, новые книги получил из Петербурга… Маколея, том «Mémoires» Гизо…

Она молча слушала.

— Не хочешь ли почитать?

— После, пришлите Маколея.

«“Пришлите”», — подумал он, — отчего — не “принесите”?»

Они шли молча.

— А Гизо? — спросил он.

— Гизо не надо, скучно.

— Ты почем знаешь?

— Я читала его «Историю цивилизации»…

— И тебе показалось скучно! Где ты брала?

Они шли дальше.

— Чье это на вас пальто: это не ваше? — вдруг спросила она с удивлением, вглядываясь в пальто.

— Ах, это Марка…

— Зачем оно у вас: разве он здесь? — спрашивала она в тревоге.

— Нет, нет, — смеясь, отвечал он, — чего ты испугалась? Весь дом боится его как огня.

Он рассказал ей, как досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потом они молча обошли глав-

ные дорожки сада: она — глядя в землю, он — по сторонам. Но у него, против воли, обнаруживалось нетерпение. Ему всё хотелось высказаться.

— Мне кажется, у вас есть что-то на уме, — сказала она, — да вы не хотите сказать…

— Хотеть-то я хочу, да боюсь опять грозы.

— А разве опять о «красоте» что-нибудь?

— Нет, нет, напротив, — я хотел сказать, как меня мучает эта глупая претензия на поклонение, — стыд: у меня седые волосы!

— Как я рада, если б это была правда!

— А ты еще сомневаешься! Это вспышка, мгновенное впечатление: ты меня образумила. Какая, однако, ты… Но об этом после. Я хочу сказать, что именно я чувствую к тебе, и, кажется, на этот раз не ошибаюсь. Ты мне отворила какую-то особую дверь в свое сердце — и я вижу бездну счастья в твоей дружбе. Она может окрасить всю мою бесцветную жизнь в такие кроткие и нежные тоны… Я даже, кажется, уверую в то, чего не бывает и во что все перестали верить, — в дружбу между мужчиной и женщиной. Ты веришь, что такая дружба возможна, Вера?

— Почему нет, если бы такие два друга решились быть взаимно справедливы?..

— То есть — как?

— То есть уважать свободу друг друга, не стеснять взаимно один другого: только это редко, я думаю, можно исполнить. С чьей-нибудь стороны замешается корысть… кто-нибудь да покажет когти… А вы сами способны ли на такую дружбу?

— А вот увидишь: ты повелевай и посмотри, какого раба приобретешь в своем друге…

— Вот и нет справедливости: ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любит равенство.

— Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость?

— Какое смешное слово!

— Ну такт?

— Дух Божий веет не на одних финских болотах: повеял и на наш уголок.

— Ну так мне теперь предстоит задача — не замечать твоей красоты, а напирать больше на дружбу? — смеясь, сказал он, — так и быть, постараюсь…

— Да, какое бы это было счастье, — заговорила она вкрадчиво, — жить, не стесняя воли другого, не следя за другим, не допытываясь, что у него на сердце, отчего он весел, отчего печален, задумчив? быть с ним всегда одинаково, дорожить его покоем, даже уважать его тайны…

«Она диктует мне программу, как вести себя с ней!» — подумал он.

— То есть не видать друг друга, не знать, не слыхать о существовании… — сказал он, — это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нет, Вера, — это ты выдумала!

Он взглянул на нее, она отвечала ему странным взглядом, «русалочным», по его выражению: глаза будто стеклянные, ничего не выражающие. В них блеснул какой-то торопливый свет и исчез.

«Странно, как мне знаком этот прозрачный взгляд! — думал он, — таков бывает у всех женщин, когда они обманывают! Она меня усыпляет… Что бы это значило? Уж в самом деле не любит ли она? У ней только и речи, чтоб “не стеснять воли”. Да нет… кого здесь?..»

— О чем вы задумались? — спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вера, буду работать над собой, и если мне не удастся достигнуть того, чтоб не замечать тебя, забыть, что ты живешь в доме, так я буду притворяться…

— Зачем притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словах со мной, а в душе перед самим собой, от меня.

— Безжалостная!

— Убедите себя, что мой покой, мои досуги, моя

комната, моя… «красота» и любовь… если она есть или будет… — это всё мое, и что посягнуть на то или на другое — значит…

Она остановилась.

— Что?

— Посягнуть на чужую собственность или личность…

— О-о-о — вот как: то есть украсть или прибить. Ай да Вера! Да откуда у тебя такие ультраюридические понятия? Ну а на дружбу такого строгого клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мне недели две срока, это будет опыт: если я одолею его, я приду к тебе как брат, друг и будем жить по твоей программе. Если же… ну, если это любовь — я тогда уеду!

Что-то опять блеснуло в ее глазах. Он взглянул, но поздно: она опустила взгляд, и когда подняла, в нем ничего не было.

— Экая сверкающая ночь! — шепнул он.

— Аминь! — сказала она, подавая ему руку. — Пойдемте к бабушке пить чай. Вон она открыла окно, сейчас позовет…

— Одно слово, Вера: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудрая, сосредоточенная, решительная…

— Еще, еще прибавьте! — сказала она с дрожащим от улыбки подбородком. — Что значит мудрость?

— Мудрость… это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом и приложимых к жизни… — определил Райский, — это гармония идей с жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого, — сказала она задумчиво, — и добыть этих идей и истин мне неоткуда…

— Ну так у тебя зоркий от природы глаз и мыслящий ум…

— Что ж, это позволительно иметь или, может быть, стыдно девице, неприлично?..

— Откуда эти здравые идеи, этот выработанный язык? — говорил, слушая ее, Райский.

— Вы дивитесь, что на вашу бедную сестру брызнула капля деревенской мудрости! Вам бы хотелось видеть дурочку на моем месте — да? Вам досадно?..

— Ах, нет — я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красоте, но хочешь знать, как я разумею и отчего так высоко ставлю ее? Красота — и цель, и двигатель искусства, а я художник: дай же высказать раз навсегда…

— Говорите, — сказала она.

— В женской высокой, чистой красоте, — начал он с жаром, обрадовавшись, что она развязала ему язык, — есть непременно ум, в твоей например. Глупая красота — не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд — красота ее малопомалу превратится в поразительное безобразие. Воображение может на минуту увлечься, но ум и чувство не удовлетворятся такой красотой: ее место в гареме. Красота, исполненная ума, — необычайная сила, она движет миром, она делает историю, строит судьбы; она явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота и грация — это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не может быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блестит красотой. Красота, про которую я говорю, не материя: она не палит только зноем страстных желаний: она прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения, если сама стоит на высоте своего достоинства, не тратит лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту…

Он остановился задумчиво.

— Всё это не ново: но истина должна повторяться. Да, красота — это всеобщее счастье! — тихо,

как в бреду, говорил он, — это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловят ее признаки, силятся творить в искусстве ее образы, и все стремятся, одни сознательно, другие слепо и грубо, к красоте, к красоте… к красоте! Она и здесь — и там! — прибавил он, глядя на небо, — и как мужчина может унизить, исказить ум, упасть до грубости, до лжи, до растления, так и женщина может извратить красоту и обратить ее, как модную тряпку, на наряд и затаскать ее… Или, употребив мудро, — быть солнцем той сферы, где поставлена, влить массу добра… Это женская мудрость! Ты поймешь, Вера, что я хочу сказать, ты женщина!.. И… ужели твоя женская рука поднимется казнить за это поклонение — и человека, и артиста!..

— Ваш гимн красоте очень красноречив, cousin, — сказала Вера, выслушав с улыбкой, — запишите его и отошлите Беловодовой. Вы говорите, что она «выше мира». Может быть, в ее красоте есть мудрость. В моей нет. Если мудрость состоит, по вашим словам, в том, чтоб с этими правилами и истинами проходить жизнь, то я…

— Что?

— Не мудрая дева! Нет — у меня нет этого елея! — произнесла она.

Что-то похожее на грусть блеснуло в глазах, которые в одно мгновение поднялись к небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой.

— Если не мудрая, так мудреная! На нее откуда-то повеяло другим, не здешним духом!.. Да откуда же: узнаю ли я? Непроницаема, как ночь! Ужели ее молодая жизнь успела уже омрачиться?.. — в страхе говорил Райский, провожая ее глазами.

Часть третья

I

Райский считал себя не новейшим, то есть не молодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его «черепаший» шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещанных историею, добытых наукой и еще более от выработанных собственной жизнию убеждений, наблюдений и опытов, ввиду едва занявшейся зари quasi-новых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность.

Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора выжидания и осторожности: там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком.

Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки, но он выжидал результатов, не делая pas de geants,[96] не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты.

---

[96] Примечания: 96
гигантских шагов (*фр.*).

Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую, преемственную связь с «новой весенней зеленью», как бы она нова и ярко-зелена ни была.

От этого, бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми, заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость и лежали семена тех начал, что безусловно присвоивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой.

Открытие в Вере смелости ума, свободы духа, жажды чего-то нового — сначала изумило, потом ослепило двойной силой красоты — внешней и внутренней, а наконец, отчасти напугало его,

после отречения ее от «мудрости».

«Не мудрая дева!» — сказала она и вздрогнула.

«Мудреная», — решил он и задумался над этим.

Да, это не простодушный ребенок, как Марфинька, и не «барышня». Ей тесно и неловко в этой устаревшей, искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образование и всё воспитание девушки до замужества.

Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее, добиваясь правды. В ней много именно того, чего он напрасно искал в Наташе, в Беловодовой: спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера — всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба.

Она пока младенец, но с титанической силой: надо только, чтоб сила эта правильно развилась и разумно направилась.

Он положил бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросил бы семена своих знаний, опытов и наблюдений на такую благодарную и богатую почву: это опять не мираж, это подвиг очеловечивания, долг, к которому мы все призва-

ны и без которого немыслим никакой прогресс.

Но какие капитальные препятствия встретились ему? Одно — она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, за свою девическую стену, стало быть… не хочет. А между тем она недовольна своим положением, рвется из него, стало быть, нуждается в другом воздухе, другой пище, других людях. Кто же ей даст новую пищу и воздух? Где люди?

Он по родству — близкое ей лицо: он один, и случайно, и по праву может и должен быть для нее этим авторитетом. И бабушка писала, что назначает ему эту роль.

Вера умна, но он опытнее ее и знает жизнь. Он может остеречь ее от грубых ошибок, научить распознавать ложь и истину, он будет работать как мыслитель и как художник; этой жажде свободы даст пищу: идеи добра, правды, и как художник вызовет в ней внутреннюю красоту на свет! Он угадал бы ее судьбу, ее урок жизни и… и… вместе бы исполнил его!

Вот чего ему всё хочется: «вместе»! От этого желания он не может отделаться, стало быть, не может действовать бескорыстно: и это есть второе препятствие.

Третье препятствие еще, правда, в тумане,

гадательное, но есть уже в виду, и оно самое капитальное: это — пока подозрение, что кто-нибудь уже предупредил его, кому-нибудь она вверила угадывать свою судьбу, исполнять урок жизни «вместе».

«Вот что скверно: это хуже всего!» — говорил он и решал, что ему даже, не дожидаясь объяснения и подтверждения догадки об этом третьем препятствии, о «двойнике», следует бежать без оглядки, а не набиваться ей на дружбу.

Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обман, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты, слезы, все нежные чувства — суть только цветы, под которыми прячутся нимфа и сатир?..

Последствия всего этого известны, всё это исчезает, не оставляя по себе следа, если нимфа и сатир не превращаются в людей, то есть в мужа и жену или в друзей на всю жизнь.

«Нимфа моя не хочет избрать меня сатиром, — заключил он со вздохом, — следовательно, нет надежды и на метаморфозу в мужа и жену, на счастье, на долгий путь! А с красотой ее я справлюсь: мне она всё равно что ничего...»

Утром он чувствовал себя всегда бодрее и мужественнее для всякой борьбы: утро приносит с

собою силу, целый запас надежд, мыслей и намерений на весь день: человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни.

И Райский развлекался от мысли о Вере, с утра его манили в разные стороны летучие мысли, свежесть утра, встречи в домашнем гнезде, новые лица, поле, газета, новая книга или глава из собственного романа. Вечером только начинает всё прожитое днем сжиматься в один узел и, у кого сознательно, у кого бессознательно, подводится итог «злобе дня».

Вот тут Райский поверял себя, что улетало из накопившегося в день запаса мыслей, желаний, ощущений, встреч и лиц. Оказывалось, что улетало всё — и с ним оставалась только Вера. Он с досадой вертелся в постели и засыпал — всё с одной мыслью и просыпался с нею же.

«Нужна деятельность», — решил он, — и за неимением «дела» бросался в «миражи»: ездил с бабушкой на сенокос, в овсы, ходил по полям, посещал с Марфинькой деревню, вникал в нужды мужиков; и развлекался также: был за Волгой, в Колчине, у матери Викентьева, ездил с Марком удить рыбу, оба поругались опять и надоели один другому, ходил на охоту — и в самом деле развлекся.

«Вот и хорошо: поработаю еще над собой и исполню данное Вере обещание», — думал он и не видал ее дня по три.

Ей носили кофе в ее комнату; он иногда не обедал дома, и всё шло как нельзя лучше.

Он даже заметил где-то в слободе хорошенькую женскую головку и мимоездом однажды поклонился ей, она засмеялась и не спряталась. Он узнал, что она дочь какого-то смотрителя, он и не добирался — смотрителя чего, так как у нас смотрителей множество.

Он заметил только, что этот смотритель не смотрел за своей дочерью, потому что головка, как он увидел потом, улыбалась и другим прохожим.

Он послал ей рукой поцелуй и получил в ответ милый поклон. Раза два он уже подъезжал верхом к ее окну и заговорил с ней, доложив ей, как она хороша, как он по уши влюблен в нее.

— Да вы всё вре-те! — протяжно говорила она, — так я вам и поверила! Мужчины, известно, — подлецы!

— Будто все?

— Известное дело — мужчины! Сколько у меня перебывало — знаю я их! Не надуете! Проваливайте!

Долго развлекала его эта опытом добытая «мудрость» мещанки.

Чтобы уже довершить над собой победу, о которой он, надо правду сказать, хлопотал из всех сил, не спрашивая себя только, что кроется под этим рвением: искреннее ли намерение оставить Веру в покое и уехать, или угодить ей, принести «жертву», быть «великодушным», — он обещал бабушке поехать с ней с визитами и даже согласился появиться среди ее городских гостей, которые приедут в воскресенье «на пирог».

II

В воскресенье он застал много народу в парадной гостиной Татьяны Марковны. Всё сияло там. Чехлы с мебели, обитой малиновым штофом, были сняты; фамильным портретам Яков протер мокрой тряпкой глаза — и они смотрели острее, нежели в будни. Полы натерли воском.

Яков был в черном фраке и белом галстухе, а Егорка, Петрушка и новый, только что из деревни взятый в лакеи Степка, не умевший стоять прямо на ногах, одеты были в старые, не по росту каждому, ливрейные фраки, от которых несло затхлостью кладовой. Ровно в полдень в зале и гостиной накурили шипучим куревом с запахом какого-то сладкого соуса.

Сама Бережкова, в шелковом платье, в чепце на затылке и в шали, сидела на диване. Около нее, полукружием в креслах, по порядку сидели гости.

На первом месте Нил Андреевич Тычков, во фраке, со звездой, важный старик, с сросшимися бровями, с большим расплывшимся лицом, с подбородком, глубоко уходившим в галстух, с величавой благосклонностью в речи, с чувством

достоинства в каждом движении.

Потом неизменно скромный и вежливый Тит Никоныч, тоже во фраке, со взглядом обожания к бабушке, с улыбкой ко всем; священник, в шелковой рясе и с вышитым широким поясом, советники палаты, гарнизонный полковник, толстый, коротенький, с налившимся кровью лицом и глазами, так что, глядя на него, делалось «за человека страшно»; две-три барыни из города, несколько шепчущихся в углу молодых чиновников и несколько неподросших девиц, знакомых Марфиньки, робко смотрящих, крепко жмущих друг у друга красные, вспотевшие от робости руки и беспрестанно краснеющих.

Наконец, какой-то ближайший к городу помещик, с тремя сыновьями-подростками, приехавший с визитами в город. Эти сыновья — гордость и счастье отца — напоминали собой негодовалых собак крупной породы, у которых уж лапы и голова выросли, а тело еще не сложилось, уши болтаются на лбу и хвостишко не дорос до полу. Скачут они везде без толку и сами не сладят с длинными, не по росту, безобразными лапами; не узнают своих от чужих, лают на родного отца и готовы сжевать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется в зубы.

Отец всем вместе и каждому порознь из гостей рекомендовал этих четырнадцатилетних чад, млея от будущих своих надежд, рассказывал подробности о их рождении и воспитании, какие у кого способности, про остроту, проказы и просил проэкзаменовать их, поговорить с ними по-французски.

Их, как малолетних, усадили было в укромный уголок, и они, с юными и глупыми физиономиями, смотрели полуразиня рот на всех, как молодые желтоносые воронята, которые, сидя в гнезде, беспрестанно раскрывают рты в ожидании корма.

Ноги не умещались под стулом, а хватали на середину комнаты, путались между собой и мешали ходить. Им велено быть скромными, говорить тихо, а из утробы четырнадцатилетнего птенца вместо шепота раздавался громовый бас; велел отец сидеть чинно, держать ручки на брюшке, а на этих еще тоненьких «ручках» уж отросли громадные, угловатые кулаки.

Не знали, бедные, куда деться, как сжаться, краснели, пыхтели и потели, пока Татьяна Марковна, частию из жалости, частию оттого, что от них в комнате было и тесно, и душно, и «пахло севрюгой», как тихонько выразилась

она Марфиньке, не выпустила их в сад, где они, почувствовав себя на свободе, начали бегать и скакать, только прутья от кустов полетели в стороны, в ожидании, пока позовут завтракать.

Райский вошел в гостиную после всех, когда уже скушали пирог и приступили к какому-то соусу. Он почувствовал себя в том положении, в каком чувствует себя приезжий актер, первый раз являясь на провинциальную сцену, предшествуемый толками и слухами. Всё вдруг смолкло и перестало жевать, и всё устремило внимание на него.

— Внук мой, от племянницы моей, покойной Сонички! — сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя все очень хорошо знали, кто он такой.

Кое-кто привстал и поклонился, Нил Андреич благосклонно смотрел, ожидая, что он подойдет к нему, барыни жеманно начали передергиваться и мельком взглядывать в зеркало.

Молодые чиновники в углу, завтракавшие стоя, с тарелками в руках, переступили с ноги на ногу; девицы неистово покраснели и стиснули друг другу, как в большой опасности, руки; четырнадцатилетние птенцы, присмиревшие в ожидании корма, вдруг вытянули от стены до

окон и быстро с шумом повезли назад свои скороспелые ноги и выронили из рук картузы.

Райский сделал всем полупоклон и сел подле бабушки, прямо на диван. Общее движение.

— Эк, плюхнул куда! — шепнул один молодой чиновник другому, — а его превосходительство глядит на него…

— Вот Нил Андреич, — сказала бабушка, — давно желал тебя видеть… он — *его превосходительство* — не забудь, — шепнула она.

— Кто эта барынька: какие славные зубы и пышная грудь? — тихо спросил Райский бабушку.

— Стыд, стыд, Борис Павлыч: горю! — шептала она. — Вот, Нил Андреич, — сказала она, — Борюшка давно желал представиться вам…

Райский открыл было рот, чтоб возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу.

— Что же не удостоили посетить старика: я добрым людям рад! — произнес добродушно Нил Андреич. — Да ведь с нами скучно, не любят нас нынешние: так ли? Вы ведь из новых? Скажите-ка правду.

— Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых, — сказал Райский, принимаясь за пирог.

— А ты погоди есть, поговори с ним, — шептала бабушка, — успеешь!

— Я буду и есть, и говорить, — отвечал вслух Райский.

Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо.

— Не мешайте ему, матушка, — сказал Нил Андреич, — на здоровье, народ молодой! Так как же вы понимаете и принимаете людей, батюшка? — обратился он к Райскому, — это любопытно!

— А смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, так и принимаю!

— Похвально! Люблю за правду! Ну, как вы, например, меня понимаете?

— Я вас боюсь.

Нил Андреич с удовольствием засмеялся.

— Чего же, скажите? Я позволяю говорить откровенно! — сказал он.

— Чего боюсь? вот видите…

— «Ваше превосходительство», — подсказала бабушка, но Райский не слушал.

— Вы, говорят, журите всех: кому-то голову намылили, что у обедни не был, бабушка сказывала…

Татьяна Марковна так и не вспомнилась. Она даже сняла чепец и положила подле себя: ей вдруг стало жарко.

— Что ты, что ты, Борис Павлыч, — на меня!.. —

останавливала она.

— Не мешайте, не мешайте, матушка! Слава Богу, что вы сказали про меня: я люблю, когда обо мне правду говорят! — вмешался Нил Андреич.

Но бабушка была уж сама не своя: она не рада была, что затеяла позвать гостей.

— Точно, журю: помнишь? — сказал он, обратясь к дверям, где толпились чиновники.

— Точно так, ваше превосходительство! — проворно отвечал один, выставив ногу вперед и заложив руки назад, — меня однажды…

— А за что?

— Был одет пестро…

— Да, в воскресенье пожаловал ко мне от обедни: за это спасибо — да уж одолжил! Вместо фрака какой-то сюртучок на отлете…

— Не этакий ли, что на мне? — спросил Райский.

— Да, почти: панталоны клетчатые, жилет полосатый — шут шутом!

— А тебя журил? — обратился он к другому.

— Был грех, ваше превосходительство, — говорил тот, скромно склоняя и гладя рукой голову.

— А за что?

— За папеньку тогда…

— Да, вздумал отца корить: у старика слабость

— пьет. А он его усовещивать, отца-то! Деньги у него отобрал! Вот и пожурил: и что ж, спросите их: благодарны мне же!

Чиновники, при этой похвале, от удовольствия переступили с ноги на ногу и облизали языком губы.

— Я спрашиваю вас: к добру или к худу? А послушаешь: «Всё старое нехорошо, и сами старики глупы, пора их долой!» — продолжал Тычков, — дай волю — они бы и того… готовы нас всех заживо похоронить, а сами сели бы на наше место, — вот ведь к чему всё клонится! Как это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна? — обратился он к одной барыне.

— Ote-toi de là pour que je m'y mette…[97] — сказала она.

— Ну да, вот чего им хочется, этим умникам в кургузых одеяниях! А как эти одеяния называются по-французски, Наталья Ивановна? — спросил он, обратясь опять к барыне и поглядывая на жакетку Райского.

— Я не знаю! — сказала она с притворной скромностью.

— Ой, знаешь, матушка! — лукаво заметил Нил

---

[97] Примечания: 97

— Освободи место, чтоб я мог его занять… (*фр.*)

Андреич, погрозя пальцем, — только при всех стыдишься сказать. За это хвалю!

— Так изволите видеть: лишь замечу в молодом человеке этакую прыть, — продолжал он, обращаясь к Райскому, — дескать, «я сам умен, никого и знать не хочу» — и пожурю, и пожурю, не прогневайтесь!

— Точно что не к добру это всё новое ведет, — сказал помещик, — вот хоть бы венгерцы и поляки бунтуют: отчего это? Всё вот от этих новых правил!

— Вы думаете? — спросил Райский.

— Да-с, я так полагаю: желал бы знать ваше мнение… — сказал помещик, подсаживаясь поближе к Райскому, — мы век свой в деревне, ничего не знаем, поэтому и лестно послушать просвещенного человека…

Райский с иронией поклонился слегка.

— А то прочитаешь в газетах, например, вот хоть бы вчера читал я, что шведский король посетил город Христианию, и не знаешь, что этому за причина?

— А вам это интересно знать?

— Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить Христианию?..

— Не было ли там большого пожара: этого не

пишут? — спросил Райский.

Помещик, Иван Петрович, сделал большие глаза.

— Нет, о пожаре не пишут, а сказано только, что «его величество посетил народное собрание».

Тит Никоныч и советник палаты переглянулись и усмехнулись. После этого замолчали.

— Еще я хотел спросить вот что-с, — начал тот же гость, — теперь во Франции воцарился Наполеон…

— Так что же?

— Ведь он насильно воцарился…

— Как насильно: его выбрали…

— Да что это за выборы! Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали… Помилуйте, какие это выборы: курам на смех!

— Если отчасти и насильно, так что же с ним делать? — с любопытством спросил Райский, заинтересовавшись этим деревенским политиком.

— Как же это терпят все, не вооружатся против него?

— Попробуй! — перебил Нил Андреич, — ну-ка: как?

— Собрать бы со всех государств армии да и пойти, как на покойного Бонапарта… Тогда был Священный союз…

— Вы бы представили план кампании, — заметил Райский, — может быть, и приняли бы…

— Куда мне! — скромно возразил гость, — я только так, из любопытства… Вот теперь я хотел спросить еще вас… — продолжал он, обращаясь к Райскому.

— Почему же меня?

— Вы столичный житель, там живете у источника, так сказать… не то что мы, деревенские… Я хотел спросить: теперь турки издревле притесняют христиан, жгут, режут, а женщин… того…

— Ну, смотри, Иван Петрович, ты договоришься до чего-нибудь… вон уж Настасья Петровна покраснела… — вмешался Нил Андреич.

— Что вы, ваше превосходительство… отчего мне краснеть? Я и не слыхала, что говорят… — сказала бойко одна барыня, жеманно поправляя шаль.

— Плутовка! — говорил Нил Андреич, грозя ей пальцем, — что, батюшка, — обратился он к священнику, — не жаловалась ли она вам на исповеди на мужа, что он…

— Ах, что вы, ваше превосходительство! — торопливо перебила дама.

— То-то, то-то! Ну что ж, Иван Петрович: как там турки женщин притесняют? Что ты прочитал об

этом: вон Настасья Петровна хочет знать? Только смотри, не махни в Турцию, Настасья Петровна!

Иван Петрович с нетерпением ждал, когда кончит Нил Андреич, и опять обратился к Райскому, к которому, как с ножом, приступал с вопросами.

— Так я вот хотел спросить вас: отчего это не уймут турок?..

— Женщины-то за них очень заступаются! — шутил благосклонно Нил Андреич, — вон она — первая…

Он указал на ту же барыню.

— Ах, Татьяна Марковна… что это его превосходительство для праздника нынче?..

Она притворно конфузилась.

— Я вот хотел спросить вас, отчего это все не восстанут на турок, — приставал Иван Петрович к Райскому, — и не освободят Гроба Господня?

— Я, признаюсь вам, мало думал об этом, — сказал Райский, — но теперь обращу особенное внимание, и если вы мне сообщите ваши соображения, то я всячески готов содействовать к разрешению восточного вопроса…

— Вот позвольте к слову спросить, — живо возразил гость, — вы изволили сказать «восточный вопрос», и в газетах поминутно пишут «восточный вопрос»: какой это «восточный вопрос»?

— Да вот тот самый, что вы мне сделали сейчас о турках.

— Так… — задумчиво сказал он. — Да вопроса никакого нет!

— Теперь всё «вопросы» пошли! — сиплым голосом вмешался полнокровный полковник, — из Петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта: и тот пишет, что теперь всех занимает «вопрос» о перемене формы в армии…

Замолчали.

— Или, например, Ирландия! — начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав, — пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи…

— Ну-с, так что же?

— Ирландия в подданстве у Англии, а Англия страна богатая: таких помещиков, как там, нигде нет. Отчего теперича у них не взять хоть половину хлеба, скота да и не отдать туда, в Ирландию?

— Что это, брат, ты проповедуешь: бунт? — вдруг сказал Нил Андреич.

— Какой бунт, ваше превосходительство… Я только из любопытства.

— Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром, да туда?..

— Как это можно! Мы — совсем другое дело…

— Ну, как услышат тебя мужики? — напирал Нил Андреич, — а? тогда что?

— Ну, не дай Боже! — сказал помещик.

— Сохрани Боже! — сказала и Татьяна Марковна.

— Они и теперь, еще ничего не видя, навострили уши! — продолжал Нил Андреич.

— А что? — с испугом спросила Бережкова.

— Да вон о воле иногда заговаривают. Губернатор получил донесение, что в селе у Мамыщева не покойно…

— Сохрани Бог! — сказали опять и помещик, и Татьяна Марковна.

— Правду, правду говорит его превосходительство! — заметил помещик. — Дай только волю, дай только им свободу, ну и пошли в кабак, да за балалайку: нарежется и прет мимо тебя, и шапки не ломает!

— Начинается-то не с мужиков, — говорил Нил Андреич, косясь на Райского, — а потом зло, как эпидемия, разольется повсюду. Сначала молодец ко всенощной перестанет ходить: «скучно, дескать», а потом найдет, что по начальству в праздник ездить лишнее: «это, говорит, ”холопство”», а после в неприличной одежде на службу явится, да еще бороду отрастит (он опять поко-

сился на Райского) — и дальше, и дальше, — и дай волю, он тебе втихомолку доложит потом, что и Бога-то в небе нет, что и молиться-то некому!..

В зале сделалось общее движение.

— Да, да, это правда: был у соседа такой учитель, да еще подивитесь, батюшка, из семинарии! — сказал помещик, обратясь к священнику. — Смирно так шло всё сначала: шептал, шептал, кто его знает что, старшим детям — только однажды девочка, сестра их, матери и проговорись: «Бога, говорит, нет, Никита Сергеич от кого-то слышал». Его к допросу: «Как Бога нет: как так?» Отец к архиерею ездил: перебрали тогда всю семинарию…

— Да, помню, — сказал священник, — нашли запрещенные книги.

— Ну, вот видите!

— Скажите на милость, — обратился опять Иван Петрович к Райскому, — отчего это всё волнуются народы?

— Какие народы?

— Да вот хоть бы индейцы: ведь это канальи всё, не христиане, сволочь, ходят голые, и пьяницы горькие: а страна, говорят, богатейшая, ананасы, как огурцы, растут… Чего им еще надо?

Райский молчал. На него находила уже хандра.

«Какой гнусный порок — эта славянская добро-

детель — гостеприимство! — подумал он, — каких уродов не встретишь у бабушки!»

И прочие молчали, от лени говорить после сытного завтрака. Говорил за всех Иван Петрович.

— А вот теперь Амур там взяли у китайцев; тоже страна богатая — чай у нас будет свой, некупленный: выгодно и приятно… — начал он опять свое.

— Ну, брат, Иван Петрович: всю воду в решете не переносишь… — заметил Тычков.

— Я только из любопытства: хотел с ними наговориться, они в столице живут… Теперь опять пишут, что римский папа…

В это время из залы с шумом появилась Полина Карповна, в кисейном платье, с широкими рукавами, так что ее полные белые руки видны были почти до плеч. За ней шел кадет.

— Какая жара! Bon*jur*, bon*jur*, — говорила она, кивая на все стороны, и села на диван подле Райского.

— Тут нам тесно! — сказал Райский и пересел на стул рядом.

— Non, non, ne vous dérangez pas,[98] — удерживала она, но не удержала. — Какая скука! — успела

---

[98] Примечания: 98

— Нет, нет, не беспокойтесь (*фр.*).

она шепнуть ему, — у вас так много гостей, а я хотела бы видеть вас одного…

— Зачем? — спросил он вслух, — дело есть?

— Да, дело! — с улыбкой и шепотом старалась она говорить.

— Какое же?

— А портрет?

— Портрет, какой портрет?

— А мой! Вы обещали рисовать: забыли — ingrat![99]

— А! Далила Карповна! — протяжно воскликнул Нил Андреич, — здравствуйте, как поживаете?

— Здравствуйте! — сухо сказала она, стараясь отвернуться от него.

— Что ж не подарите меня нежным взглядом? Дайте полюбоваться лебединой шейкой…

В толпе у дверей послышался смех, дамы тоже улыбались.

— Грубиян: сейчас глупость скажет!.. — шептала она Райскому.

— Что брезгаете старым, а как посватаюсь? Чем не жених — или стар? Генеральша будете…

— Не льщ*ю*сь этой почестью… — сказала она, не глядя на него. — Bon*jur*, Наталья Ивановна:

---

[99] Примечания: 99
неблагодарный! (*фр.*)

где вы купили такую миленькую шляпку: у m-me Pichet?

— Это муж из Москвы выписал, — сказала Наталья Ивановна, робко взглянув на Райского, — сюрприз…

— Очень, очень мило!

— Да взгляните же на меня: право, посватаюсь, — приставал Нил Андреич, — мне нужна хозяйка в доме, скромная, не кокетка, не баловница, не охотница до нарядов… чтобы на другого мужчину, кроме меня, и глазом не повела… Ну а вы у нас ведь пример…

Полина Карповна будто не слыхала, она обмахивалась веером и старалась заговорить с Райским.

— Вы у нас, — продолжал неумолимый Нил Андреич, — образец матерям и дочерям: в церкви стоите, с образа глаз не отводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете…

Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтоб скрыть улыбку.

Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреича на ее гостью.

— Пирога скушайте, Полина Карповна, — я вам положу! — сказала она.

— Merci, merci, нет, я только что завтракала!

Но это не помогло. Нил Андреич возобновил нападение.

— А одеваетесь монахиней: напоказ плеч и рук не выставляете… ведете себя сообразно вашим почтенным летам… — говорил он.

— Что это вы ко мне привязались! — сказала Полина Карповна, — est-il bête, grossier?[100] — обратилась она к Райскому.

— Да, да, «парлеву франсе…» — перебил Тычков, — жениться, сударыня, хочу, вот и привязался: а мы с вами пара!

— Едва ли вам найдется кто под пару! — отозвалась Крицкая, не глядя на него.

— А как же не пара, позвольте-ка: я был еще коллежским асессором, когда вы выходили замуж за покойного Иван Егорыча. А этому будет…

— Какая жара — on étouffe ici: allons au jardin![101] Мишель, дайте мантилью!.. — обратилась она к кадету.

В эту минуту показалась Вера.

Все встали, окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена и эти люди, он собирался уже уйти, но с

---

[100] Примечания: 100
он глуп, груб? (*фр.*)

[101] Примечания: 101
здесь душно: пойдемте в сад! (*фр.*)

приходом Веры у него заговорила такая сильная «дружба», что он остался, как пригвожденный к стулу.

Вера мельком оглядела общество, кое-где сказала две-три фразы, пожала руки некоторым девицам, которые уперли глаза в ее платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамам и села на стул у печки.

Чиновники охорашивались, Нил Андреич с удовольствием чмокнул ее в руку, девицы не спускали с нее глаз.

Марфинька не сидела на месте: она то нальет вина кому-нибудь, то попотчует закуской или старается занять разговором своих приятельниц.

— Вера Васильевна! — сказал Нил Андреич, — заступитесь вы, красавица моя, за меня!

— Разве вас обижают?

— Как же не обижают! Далила… нет — Пелагея Карповна.

— Impertinent![102] — громким шепотом сказала Крицкая, поднимаясь с места и направляясь к двери.

— Куда, Полина Карповна: а пирога? Марфинька, удержи! Полина Карповна! — останавливала

---

[102] Примечания: 102
— Нахал! (*фр.*)

Татьяна Марковна.

— Нет, нет, Татьяна Марковна: я всегда рада и благодарна вам, — уже в зале говорила Крицкая, — но с таким грубияном никогда не буду, ни у вас, нигде… Если б покойный муж был жив, он бы не смел…

— Ну, не сердитесь на старика: он не от злого сердца; он почтенный такой…

— Нет, нет; про*шю*, пустите — я приеду в другой раз, без него…

Она уехала в слезах, глубоко обиженная.

В гостиной все были в веселом расположении духа, и Нил Андреич, с величавою улыбкой, принимал общий смех одобрения. Не смеялся только Райский, да Вера. Как ни комична была Полина Карповна, грубость нравов этой толпы и выходка старика возмутили его. Он угрюмо молчал, покачивая ногой.

— Что, прогневалась, уехала? — говорил Нил Андреич, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча села на свое место.

— Ничего, скушает на здоровье! — продолжал старик, — не ходи раздетая при людях: здесь не баня!

Дамы потупили глаза, девицы сильно покрас-

нели и свирепо стиснули друг другу руки.

— Да не вертись по сторонам в церкви, не таскай за собой молодых ребят… Что, Иван Иваныч: ты, бывало, у ней безвыходно жил! Как теперь: всё еще ходишь? — строго спросил он у какого-то юноши.

— Отстал давно, ваше превосходительство: надоело комплименты говорить.

— То-то отстал! Какой пример для молодых женщин и девиц! А ведь ей давно за сорок! Ходит в розовом, бантики да ленточки… Как не пожурить! Видите ли, — обратился он к Райскому, — что я страшен только для порока, а вы боитесь меня! Кто это вам наговорил на меня страхи?

— Кто? Да Марк, — сказал Райский.

Общее движение. Некоторые вздрогнули.

— Какой такой Марк? — нахмурив брови, спросил Тычков.

— Марк Волохов, вот что прислан сюда на житье.

— Это тот разбойник? Да разве вы знаетесь с ним?

— Мы приятели.

— Приятели? — с изумлением произнес старик и посвистал. — Татьяна Марковна, что я слышу?

— Не верьте ему, Нил Андреич: он сам не знает,

что говорит… — начала бабушка. — Какой он тебе приятель…

— Что вы, бабушка! Да не он ли у меня ужинал и ночевал? Не вы ли велели ему постлать мягкую постель…

— Борис Павлыч! помилосердуй, помолчи! — неистово шептала бабушка.

Но было уже поздно. Тычков вскинул изумленные очи на Татьяну Марковну, дамы глядели на нее с состраданием, мужчины разинули рты, девицы прижались друг к другу.

У Веры от улыбки задрожал подбородок. Она с наслаждением глядела на всех и дружеским взглядом благодарила Райского за это нечаянное наслаждение, а Марфинька спряталась за бабушку.

— Что я слышу! — с изумлением произнес Нил Андреич, — и вы впустили этого Варавву под свой кров!

— Не я, Нил Андреич, а Борюшка привел его ночью. Я и не знала, кто там у него спит!

— Так вы с ним по ночам шатаетесь! — обратился он к Райскому. — А знаете ли вы, что он подозрительный человек, враг правительства, отверженец церкви и общества?

— Какой ужас! — сказали дамы.

— Он-то и отрекомендовал вам меня? — допрашивал Нил Андреич.

— Да, он.

— Что же, он меня зверем изобразил: что я глотаю людей?..

— Нет, не глотаете, а позволяете себе по какому-то праву оскорблять их.

— И вы поверили?

— До нынешнего дня — нет.

— А нынче?

— А нынче верю.

Общий ужас и изумление. Некоторые чиновники тихонько вышли в залу и оттуда слушали, что будет дальше.

— Что так, — с изумлением и высокомерно спросил Тычков, нахмурив брови. — Почему?

— А потому что вы сейчас оскорбили женщину.

— Слышите, Татьяна Марковна!

— Борюшка! Борис Павлыч! — унимала она.

— Эту… эту старую модницу, прельстительницу, ветреницу… — говорил Нил Андреич.

— Что вам за дело до нее? и кто вам дал право быть судьей чужих пороков?

— А вы, молодой человек, по какому праву смеете мне делать выговоры? Вы знаете ли, что

я пятьдесят лет на службе и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания?..

— По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину в моем доме, и если б я допустил это, то был бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тем хуже для вас!..

— Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь город знает, что она легкомысленна, ветрена, не по летам молодится, не исполняет обязанностей в отношении к семейству…

— Ну так что же?

— А то, что и вы, вот и Татьяна Марковна, стоите того, чтоб пожурить вас обоих. Да, да, давно я хотел сказать вам, матушка… вы ее принимаете у себя…

— Ну, ветреность, легкомыслие, кокетство еще не важные преступления, — сказал Райский, — а вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег да обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу, — однако же и бабушка, и я пустили вас, а ведь это важнее кокетства! Вот за это пожурите нас!

Сцена невообразимого ужаса между присутствующими! Дамы встали и кучей направились в залу, не простясь с хозяйкой; за ними толпой, как

овцы, бросились девицы, и все уехали. Бабушка указала Марфиньке и Вере дверь.

Марфинька ушла, а Вера осталась.

Нил Андреич побледнел.

— Кто, кто передал *тебе* эти слухи, говори! Этот разбойник Марк? Сейчас еду к губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или чтоб нога этого молодца (он указал на Райского) у вас в доме никогда не была! Не то я упеку и его, и весь дом, и вас в двадцать четыре часа куда ворон костей не занашивал…

Тычков задыхался от злости и не знал сам, что говорил.

— Кто, кто ему это сказал, я хочу знать? Кто… говори!… — хрипел он.

Татьяна Марковна вдруг встала с места.

— Полно тебе вздор молоть, Нил Андреич! Смотри, ты багровый совсем стал: того и гляди, лопнешь от злости. Выпей лучше воды! Какой секрет: кто сказал? Да я сказала, и сказала правду! — прибавила она. — Весь город это знает.

— Татьяна Марковна! как!.. — заревел было Нил Андреич.

— Меня шестьдесят пять лет Татьяной Марковной зовут. Ну что — «как»? И поделом тебе! Что ты лаешься на всех: напал, в самом деле, в чужом

доме на женщину — хозяин остановил тебя — не по-дворянски поступаешь!..

— Да как вы мне смеете это говорить! — заревел опять Тычков.

Райский бросился было к нему, но бабушка остановила его таким повелительным жестом, что он окаменел и ждал, что будет.

Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подступила к Нилу Андреичу.

Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нил Андреич, приковала его внимание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже и на него напала робость.

— Ты кто? — сказала она, — ничтожный приказный, parvenu[103] — и ты смеешь кричать на женщину, и еще на столбовую дворянку! Зазнался: урока хочешь! Я дам тебе один раз навсегда: будешь помнить! Ты забыл, что, бывало, в молодости, когда ты приносил бумаги из палаты к моему отцу, ты при мне сесть не смел и по праздникам получал не раз из моих рук подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим, а ты наворовал денег — внук мой правду сказал — и тут, по слабости, терпели

---

[103] Примечания: 103
выскочка (*фр.*)

тебя, и молчать бы тебе да каяться под конец за темную жизнь. А ты не унимаешься, раздулся от гордости, а гордость — пьяный порок, наводит забвение. Отрезвись же, встань и поклонись: перед тобою стоит Татьяна Марковна Бережкова! Вот, видишь, здесь мой внук, Борис Павлыч Райский: не удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтоб он марал о тебя руки, — с тебя довольно и лакеев! У меня есть защитник, а найди ты себе! — Люди! — крикнула она, хлопнув в ладони, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами.

Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевший тут же на стене.

Тычков ворочал одурелыми глазами.

— Я в Петербург напишу… город в опасности… — торопливо говорил он, поспешно уходя и сгорбившись под ее сверкающим взглядом, не смея оглянуться назад.

Он ушел, а Татьяна Марковна всё еще стояла в своей позе, с глазами, сверкающими гневом, передергивая на себе, от волнения, шаль. Райский очнулся от изумления и робко подошел к ней, как будто не узнавая ее, видя в ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тех пор женщину.

— Напрасно вы требовали должной вам дани,

поклона, от этого пня, — сказал он, — он не понял вашего величия. Примите от меня этот поклон, не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Я удивляюсь Татьяне Марковне, лучшей из женщин, и кланяюсь ее женскому достоинству!

Он поцеловал у ней руку.

— Принимаю, Борис Павлыч, твой поклон, как большую честь — и не даром принимаю — я его заслуживаю. А вот и тебе, за твой честный поступок, мой поцелуй — не от бабушки, а от женщины…

Она поцеловала в щеку.

В эту же минуту кто-то поцеловал его в другую щеку.

— А это от другой женщины! — тихо сказала Вера, целуя его, и быстро ускользнула в дверь.

«Ах!» — страстно сделал Райский, протягивая вслед ей руку.

— Мы с ней не сговаривались, а обе поняли тебя. Мы с нею мало говорим, а похожи друг на друга! — сказала Татьяна Марковна.

— Бабушка! вы необыкновенная женщина! — сказал Райский, глядя на нее с восторгом, как будто в первый только раз увидел ее.

— А ты урод, только хороший урод! — заключила она, сильно трепля его по плечу. — Поди же,

съезди к губернатору и расскажи по правде, как было дело, чтоб тот не наплел вздору, а я поеду к Полине Карповне и попрошу у ней извинения.

III

Нила Андреича почти сняли с дрожек, когда он воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусом, на живот поставила горчишники и «ругательски ругала» Татьяну Марковну.

Но домашние средства не успокоили старика. Он ждал, что завтра завернет к нему губернатор, узнать, как было дело, и выразить участие, а он предложит ему выслать Райского из города, как беспокойного человека, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова.

Но прошло три дня: ни губернатор, ни вице-губернатор, ни советники не завернули к нему. Начать жалобу самому, раскапывать старые воспоминания — он почему-то не счел удобным.

Прежний губернатор, старик Пафнутьев, при котором даже дамы не садились в гостях, прежде нежели он не сядет сам, взыскал бы с виновных за одно неуважение к рангу; но нынешний губернатор к этому равнодушен. Он даже не замечает, как одеваются у него чиновники, сам ходит в старом сюртуке и заботится только, чтоб «в Петербург никаких историй не доходило».

Ждал Нил Андреич Тычков, что зайдет кто-

нибудь из его бывших подчиненных, молодых чиновников, чтоб расспросить, что делается в неприятельском лагере. Но никто не являлся.

Он снизошел до того, что сам, будто гуляя, зашел дома в два и получил отказ. Лакеи смотрели на него как-то любопытно.

«Плохо дело», — думал он и засел дома.

В воскресенье он послал за доктором, который лечил и в губернаторском доме, и в Малиновке.

Доктор старался не смотреть на Нила Андреича, а если смотрел, то так же, как и лакеи, «любопытно». Он торопился, и когда Тычков предложил ему позавтракать, он сказал, что зван на «фриштик» к Бережковой, у которой будет и его превосходительство, и все, и что он видел, как архиерей прямо из собора уже поехал к ней, и потому спешит… И уехал, прописав Нилу Андреевичу диету и покой.

— Суета сует! — произнес, вздохнув всем животом своим, Тычков и поникнул головой.

Он понял, что авторитет его провалился навсегда, что он был последний могикан, последний из генералов Тычковых!

И другие, прежние его подчиненные, еще недавно облизывавшиеся от его похвалы, вдруг будто прозрели и поняли «правду» в поступке Райского,

краснея за напрасность своего долговременного поклонения фальшивому пугале-авторитету. Они все перебывали с визитом у Райского.

В кратком очерке изобразил и его Райский в программе своего романа, и сам не знал — зачем.

— Под руку попался, как Опенкин! — говорил он, дописывая последнюю строку и не предвидя ему более роли между своими героями.

Райский дня три был под влиянием воскресного завтрака. Внезапное превращение Татьяны Марковны из бабушки и гостеприимной хозяйки в львицу поразило его.

Ее сверкающие глаза, гордая поза, честность, прямота, здравый смысл, вдруг прорвавшиеся сквозь предрассудки и ленивые привычки, — не выходили у него из головы.

Он натянул холст и сделал удачный очерк ее фигуры, с намерением уловить на полотно ее позу, гнев, величавость и поставить в галерею фамильных портретов.

Он, если можно, полюбил ее еще больше. Она тоже ласковее прежнего поглядывала на него, хотя видно было, что внутренно она немало озабочена была сама своей «прытью», как говорила она, и старалась молча переработать в себе это «противоречие с собой», как называл Райский.

Уважать человека сорок лет, называть его «серьезным», «почтенным», побаиваться его суда, пугать им других — и вдруг в одну минуту выгнать его вон! Она не раскаивалась в своем поступке, находя его справедливым, но задумывалась прежде всего о том, что сорок лет она добровольно терпела ложь и что внук ее… был… прав.

Этого она ни за что не скажет ему: молод он, пожалуй, зазнается, а она покажет ему внимание иначе, по-своему, не ставя себя в затруднительное положение перед внуком и не давая ему торжества.

Вот отчего она ласковее смотрела на Райского и про себя уважала его больше прежнего.

Но всё же ей было неловко — не от одного только внутреннего «противоречия с собой», а просто от того, что вышла история у ней в доме, что выгнала человека старого, «почтен…», нет, «серьезного», «со звездой»…

Она вздыхала, но воротить прежнего не желала, а хотела бы только, чтоб это событие отодвинулось лет за десять назад, превратилось бы каким-нибудь чудом в давнопрошедшее и забылось совсем.

Внезапный поцелуй Веры взволновал Райского

больше всего. Он чуть не заплакал от умиления и основал было на нем дальние надежды, полагая, что простой случай, неприготовленная сцена, где он нечаянно высказался просто, со стороны честности и приличия, поведут к тому, чего он добивался медленным и трудным путем, — к сближению.

Но он ошибся. Поцелуй не повел ни к какому сближению. Это была такая же неожиданная искра сочувствия Веры к его поступку, как неожидан был сам поступок. Блеснула какая-то молния в ней и погасла.

Конечно, молнию эту вызвала хорошая черта, но она и не сомневалась в достоинстве его характера, она только не хотела сближения теснее, как он желал, и не давала ему никаких других, кроме самых ограниченных, прав на свое внимание.

Он держал крепко слово: не ходил к ней, виделся с ней только за обедом, мало говорил и вовсе не преследовал.

«Поговорю с ней раза два, окончательно разрешу себе задачу, как было и с Беловодовой, и с Марфинькой, и по обыкновению разочаруюсь — потом уеду!» — решил он.

— Егор! — сказал он, — принеси и осмотри чемодан, цел ли замок и ремни: я недолго здесь

останусь.

В доме было тихо, вот уж и две недели прошли со времени пари с Марком, а Борис Павлыч не влюблен, не беснуется, не делает глупостей и в течение дня решительно забывает о Вере, только вечером и утром она является в голове, как по зову.

Он старался, и успевал, не показывать ей, что еще занят ею. Ему даже хотелось бы стереть и память об увлечении, которое он неосторожно и смешно высказал.

«Вот уж до чего я дошел: стыжусь своего идола — значит, победа близка!» — радовался он про себя, хотя ловил и уличал себя в том, что припоминает малейшую подробность о ней: видит, не глядя, как она войдет, что скажет, почему молчит, как взглянет.

«Всё это пустое, мираж, мираж! — говорил он, — анализ коснулся впечатления — и его нет!»

Он занялся портретом Татьяны Марковны и программой романа, которая приняла значительный объем. Он набросал первую встречу с Верой, свое впечатление, вставил туда, в виде аксессуаров, все лица, пейзажи Волги, фотографию с своего имения — и мало-помалу оживлялся. Его «мираж» стал облекаться в плоть. Перед ним

носилась тайна создания.

Он стал весел, развязен и раза два гулял с Верой, как с посторонней, милой, умной собеседницей, и сыпал перед ней, без умысла и желания добиваться чего-нибудь, весь свой запас мыслей, знаний, анекдотов, бурно играл фантазией, разливался в шутках или в задумчивых догадках развивал свое миросозерцание, — словом, жил тихою, но приятною жизнью, ничего не требуя, ничего ей не навязывая.

Он с удовольствием приметил, что она перестала бояться его, доверялась ему, не запиралась от него на ключ, не уходила из сада, видя, что он, пробыв с ней несколько минут, уходил сам; просила смело у него книг и даже приходила за ними сама к нему в комнату, а он, давая требуемую книгу, не удерживал ее, не напрашивался в «руководители мысли», не спрашивал о прочитанном, а она сама иногда говорила ему о своем впечатлении.

Они послеобеденные часы нередко просиживали вдвоем у бабушки — и Вера не скучала, слушая его, даже иногда улыбалась его шуткам. А иногда случалось, что она, вдруг не дослушав конца страницы, не кончив разговора, слегка извинялась и уходила — неизвестно куда, и возвращалась

через час, через два или вовсе не возвращалась к нему — он не спрашивал.

Его отвлекали, кроме его труда, некоторые знакомства в городе, которые он успел сделать. Иногда он обедывал у губернатора, даже был с Марфинькой и с Верой на загородном летнем празднике у откупщика, но, к сожалению Татьяны Марковны, не пленился его дочерью, сухо ответив на ее вопросы о ней, что она «барышня».

Вера была невозмутимо равнодушна к нему: вот в чем он убедился и чему покорялся по необходимости. Хотя он сделал успехи в ее доверии и дружбе, но эта дружба была еще отрицательная, и доверие ее состояло только в том, что она не боялась больше неприличного шпионства его за собой.

У ней сильно задрожал от улыбки подбородок, когда он сам остроумно сравнил себя с выздоровевшим сумасшедшим, которого уже не боятся оставлять одного, не запирают окон в его комнате, дают ему нож и вилку за обедом, даже позволяют самому бриться, — но всё еще у всех в доме памятны недавние сцены неистовства, и потому внутренно никто не поручится, что в одно прекрасное утро он не выскочит из окна или не перережет себе горла.

Дружба ее не дошла еще до того, чтоб она поверила ему если не тайны свои, так хоть обратилась бы к его мнению, к авторитету его опытности в чем-нибудь, к его дружбе, наконец, сказала бы ему, что ее занимает, кто ей нравится, кто нет.

Никакой искренней своей мысли не высказала она, не обнаружила желания, кроме одного, которое высказала категорически, — это быть свободной, то есть чтобы ее оставляли самой себе, не замечали за ней, забыли бы о ее существовании.

«Ну, вот — это исполнено теперь: что ж дальше? ужели так всё и будет? — говорил он. — Надо поосторожнее справиться!..»

Он добился, что она стала звать его братом, а не кузеном, но на «ты» не переходила, говоря, что «ты», само по себе, без всяких прав, уполномочивает на многое, чего той или другой стороне иногда не хочется, порождает короткость, даже иногда стесняет ненужной и часто не разделенной другой стороной, дружбой.

— Ну, довольна ты мной? — сказал он однажды после чаю, когда они остались одни.

— Что такое, чем? — спросила она, взглянув на него с любопытством.

— Как чем? — с изумлением повторил он, — а

переменой во мне?

— Переменой?

— Да! Прошу покорно! Я работал, смирял свои взгляды, желания, молчал, не замечал тебя: чего мне это стоило! А она и не заметила! Ведь я испытываю себя, а она… Вот и награда!

— Я думала, вы и забыли об этом! — сказала она равнодушно.

— А ты забыла?

— Да, и это награда и есть.

Он с изумлением смотрел на нее.

— Хороша награда: забыла!

— Да, я забыла, что вы мне надоедали, и вижу в вас теперь то, чем вам следовало быть сначала, как вы приехали.

— И только?

— Чего же вы хотите?

— А дружба?

— Это дружба и есть. Я очень дружна с вами…

«Э! так нельзя, нет!..» — горячился он про себя — и тут же сам себя внутренно уличил, что он просит у Веры «на водку» за то, что поступал «справедливо».

— Хороша дружба: я ничего не знаю о тебе, — ты ничего мне не поверяешь, никакой сообщительности — как чужая… — заметил он.

— Я ничего никому не говорю: ни бабушке, ни Марфиньке…

— Это правда: бабушка, Марфинька — милые, добрые существа, но между ними и тобой целая бездна… а между мною и тобой много общего…

— Да, я забыла, что я «мудрая», — сказала она насмешливо.

— Ты развитая: у тебя не молчит ум, и если сердце еще не заговорило, то уж трепещет ожиданием… Я это вижу…

— Что же вы видите?

— Что ты будто прячешься и прячешь что-то… Бог тебя знает!

— Пусть же Он один и знает, что у меня!

— Ты — характер, Вера!

— Что ж, это порок?

— Редкое достоинство — если характер, а не претензия на него.

Она слегка пожала плечами, как бы не удостоивая отвечать.

— И у тебя нет потребности высказаться перед кем-нибудь, разделить свою мысль, поверить чужим умом или опытом какое-нибудь темное пятно в жизни, туманное явление, загадку? А ведь для тебя много нового…

— Нет, брат, пока нет желания, а если будет,

может быть, я тогда и приду к вам…

— Помни же, Вера, что у тебя есть брат, друг, который готов всё для тебя сделать, даже принести жертвы…

— За что вы будете приносить их?

— За то, что — ты так… «прекрасна», — хотелось сказать, но она смотрела на него строго. — За то, что ты так… умна, своеобразна… и притом мне так хочется! — договорил он.

— А если мне не хочется?

— Ну, значит, нет дружбы.

— Да неужели дружба такое корыстное чувство и друг только ценится потому, что сделал то или другое? Разве нельзя так любить друг друга: за характер, за ум? Если б я любила кого-нибудь, я бы даже избегала одолжать его или одолжаться…

— Отчего?

— Я уж сказала однажды отчего: чтоб не испортить дружбы. Равенства не будет, друзья связаны будут не чувством, а одолжением, оно вмешается — и один станет выше, другой ниже: где же свобода?

— Какая ты красная, Вера: везде свобода! Кто это нажужжал тебе про эту свободу?.. Это, видно, какой-то дилетант свободы! Этак нельзя попросить друг у друга сигары или поднять тебе вот

этот платок, что ты уронила под ноги, не сделавшись крепостным рабом! Берегись: от свободы до рабства, как от разумного до нелепого — один шаг! Кто это внушил тебе?

— Никто, — сказала она, зевая и вставая с места.

— Я не надоел тебе, Вера? — спросил он торопливо, — пожалуйста, не прими этого за допытыванье, за допрос; не ставь всякого лыка в строку. Это простой разговор…

— Я настолько «мудра», брат, чтоб отличить белое от черного: и я с удовольствием говорю с вами. Если вам не скучно, приходите сегодня вечером опять ко мне или в сад: мы будем продолжать…

Он чуть не вспрыгнул от радости.

— Милая Вера! — сказал он.

— Только, я боюсь, что не умею занять вас: я всё молчу, вам приходится говорить одному…

— Нет, нет — будь такою, какая ты есть и какою хочешь быть…

— Вы позволяете, братец?

— Не смейся, ей-богу, я не шучу…

— Ну и побожились еще, как Викентьев… Теперь уж надо помнить слово. До вечера!

IV

И вечером ничего больше не добился Райский. Он говорил, мечтал, вспыхивал в одно мгновение от ее бархатных, темно-карих глаз и тотчас же угасал от равнодушного их взгляда.

Перед ним было прекрасное явление, с задатками такого сильного, мучительного, безумного счастья, но оно было недоступно ему: он лишен был права не только выражать желания, даже глядеть на нее иначе как на сестру или как глядят на чужую, незнакомую женщину.

Оно так и должно быть: он уже согласился с этим. Если б это отчуждение налагалось на него только чистотой девической скромности, бессознательно, неведающею зла невинностью, как было с Марфинькой, он бы скорее успокоился, уважив безусловно святость неведения.

Но у Веры нет этой бессознательности: в ней проглядывает и проговаривается если не опыт (и, конечно, не опыт: он был убежден в этом), если не знание, то явное предчувствие опыта и знания, и она — не неведением, а гордостью отразила его нескромный взгляд и желание нравиться ей. Стало быть, она уже знает, что значит

страстный взгляд, влечение к красоте, к чему это ведет и когда и почему поклонение может быть оскорбительно.

Она как-нибудь угадала или уследила перспективу впечатлений, борьбу чувств, и предузнаёт ход и, может быть, драму страсти, и понимает, как глубоко входит эта драма в жизнь женщины.

Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидения и предчувствия будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт.

Он готовит их к опыту по каким-то намекам, непонятным для наивных натур, но явным для открытых, острых глаз, которые способны, при блеске молнии, разрезавшей тучи, схватить весь рисунок освещенной местности и удержать в памяти.

А у Веры именно такие глаза: она бросит всего один взгляд на толпу, в церкви, на улице, и сейчас увидит кого ей нужно, также одним взглядом и на Волге она заметит и судно, и лодку в другом месте, и пасущихся лошадей на острове, и бурлаков на барке, и чайку, и дымок из трубы в дальней деревушке. И ум, кажется, у ней был такой же

быстрый, ничего не пропускающий, как глаза.

Не всё, конечно, знает Вера в игре или борьбе сердечных движений, но однако же она, как по всему видно, понимает, что там таится целая область радостей, горя, что ум, самолюбие, стыдливость, нега участвуют в этом вихре и волнуют человека. Инстинкт у ней шел далеко впереди опыта.

Вот об этом и хотелось бы поговорить Райскому с ней, допытаться, почему ей этот мир волнений как будто знаком, отчего она так сознательно, гордо и упрямо отвергает его поклонение.

Но она и вида не показывает, что замечает его желание проникнуть ее тайны, и если у него вырвется намек — она молчит, если в книге идет речь об этом, она слушает равнодушно, как Райский голосом ни напирает на том месте.

У него, от напряженных усилий разгадать и обратить Веру к жизни («а не от любви», думал он), накипало на сердце, нервы раздражались опять, он становился едок и зол. Тогда пропадала веселость, надоедал труд, не помогали развлечения.

— Это не опыт, а пытка! — говорил он в такие мрачные дни и боязливо спрашивал себя, к чему ведет вся эта тактика и откуда она у него проистекает?

И совестно было ему по временам, когда он трезво оглядывался вокруг, как это он довел себя до такой подчиненной роли перед девочкой, которая мудрит над ним, как над школьником, подсмеивается и платит за всю его дружбу безнадежным равнодушием?

Он опять подкарауливал в себе подозрительные взгляды, которые бросал на Веру, раз или два он спрашивал у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее в доме, полдня просидел у обрыва и, не дождавшись, пошел к ней и спросил, где она была, стараясь сделать вопрос небрежно.

— Была там, на берегу, на Волге, — еще небрежнее отвечала она.

Он только хотел уличить ее, что он там караулил и что ее не было, но удержался, зато у него вырвался взгляд изумления и был ею замечен. Но она даже не дала себе труда объясниться, отчего вышло противоречие и каким путем она воротилась с берега.

Но она была там или где-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надела, воротясь, вместо ботинок туфли, вместо платья блузу и руки у ней были несколько горячи.

Он, однако, продолжал работать над собой, чтобы окончательно завоевать спокойствие, опять

ездил по городу, опять заговаривал с смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью от ее ответов. Даже иногда вновь пытался возбудить в Марфиньке какую-нибудь искру поэтического, несколько мечтательного, несколько бурного чувства, не к себе, нет, а только повеять на нее каким-нибудь свежим и новым воздухом жизни, но всё отскакивало от этой ясной, чистой и тихой натуры.

Иногда он как будто и расшевелит ее, она согласится с ним, выслушает задумчиво, если он скажет ей что-нибудь «умное» или «мудреное», а через пять минут, он слышит, ее голос где-нибудь вверху уже поет: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя», или рисует она букет цветов, семейство голубей, портрет с своего кота, а не то примолкнет, сидя где-нибудь, и читает книжку «с веселым окончанием» или же болтает неумолкаемо и спорит с Викентьевым.

Протянулась еще неделя, и скоро должен исполниться месяц глупому предсказанию Марка, а Райский чувствовал себя свободным «от любви». В любовь свою он не верил и относил всё к раздражению воображения и любопытства.

Случалось даже, что по нескольку дней не бывало и раздражения, и Вера являлась ему

безразлично с Марфинькой: обе казались парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательною теориею и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки — впредь до опыта, который и перевернет всё вверх дном.

Вера приходила, уходила, он замечал это, но не вздрагивал, не волновался, не добивался ее взгляда, слова и, вставши однажды утром, почувствовал себя совершенно твердым, то есть равнодушным и свободным не только от желания добиваться чего-нибудь от Веры, но даже от желания приобретать ее дружбу.

«Я совсем теперь холоден и покоен и могу, по уговору, объявить наконец ей, что я готов, опыт кончен — я ей друг, такой, каких множество у всех. А на днях и уеду. Да: надо еще повидаться с “Вараввой” и стащить с него последние панталоны: не держи пари!»

Он мимоходом подтвердил Егорке, чтобы тот принес чемодан с чердака и приготовил к отъезду.

Он пошел к Леонтью справиться, где в настоящую минуту витает Марк, и застал их обоих за завтраком.

— Знаете что, — сказал Марк, глядя на него, —

вы могли бы сделаться порядочным человеком, если б были посмелее!

— То есть если б у меня хватило смелости подстрелить кого-нибудь или разбить ночью трактир! — отвечал Райский.

— Ну, где вам разбить ночью трактир! Да и не нужно — у бабушки вечный трактир. Нет, спасибо и на том, что выгнали из дома старую свинью. Говорят, вдвоем с бабушкой: молодцы!

— Почем вы знаете?

— Весь город говорит! Хорошо! Я уж хотел к вам с почтением идти, да вдруг, слышу, вы с губернатором связались, зазвали к себе и ходили перед ним с той же бабушкой на задних лапах! Вот это скверно! А я было думал, что вы и его затем позвали, чтоб спихнуть с крыльца.

— Это называется, кажется, «гражданское мужество»? — сказал Райский.

— Да уж не знаю какое, а только я вам как-нибудь покажу образчик этого мужества. Вот тут что-то часто стал ездить мимо наших огородов полициймейстер: это, должно быть, его превосходительство изволит беспокоиться и подсылает узнавать о моем здоровье, о моих удовольствиях. Ну, хорошо же!.. Теперь я воспитываю пару бульдогов: еще недели не прошло, как они у меня, а

уж на огородах у нас ни одной кошки не осталось… Я их посажу теперь на чердак, в темноту, а когда полковник или его свита изволят пожаловать, так мои птенцы и вырвутся… нечаянно, конечно…

— Ну, я пришел с вами проститься — скоро еду! — сказал Райский.

— Вы едете? — с изумлением спросил Марк.

— А что?

— Мне нужно бы сказать вам несколько слов… — тихо и серьезно добавил он.

Райский в свою очередь с удивлением поглядел на него.

— Что вам? говорите! — сказал он, — не денег ли опять?

— Пожалуй, и денег опять — да теперь не о деньгах речь. После, я к вам зайду, теперь нельзя…

Он кивнул на жену Козлова, сидевшую тут, давая знать, что при ней не хочет говорить.

Леонтий всплеснул руками, услыхав об отъезде Райского; жена его надулась.

— Как же, кто вас пустит? — шептала она, — хороши: так-то помните свою Улиньку? Ни разу без мужа не пришли ко мне…

Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него с печальной насмешкой.

— А деньги принесли? — вдруг спросил Марк, — триста рублей пари?

Райский иронически поглядывал на него.

— Ну, что же, панталоны где? — сказал он.

— Я не шучу, давайте триста рублей.

— За что? Я не влюблен, как видите.

— Нет, я вижу, что вы по уши влюблены.

— Как же это вы видите?

— Да так: по роже.

— Смотрите же: месяц прошел — и пари кончено. Мне ваших панталон не нужно — я их вам дарю, в придачу к пальто.

— Как же это ты… едешь!.. — с горестью говорил Козлов, — а книги?

— Какие книги?

— А эти, твои, — вот они, все целы, вот по каталогу, в порядке…

— Ведь я тебе подарил их.

— Да полно шутить, скажи, куда их?..

— Прощайте, мне некогда. С книгами не приставай, сожгу, — сказал Райский. — Ну, мудрец, по рожам узнающий влюбленных, — прощайте! Не знаю, встретимся ли опять…

— Деньги подайте — это бесчестно не отдавать, — говорил Марк, — я вижу любовь: она, как корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпет…

Вон лицо уже красное! Какая досада, что я срок назначил! От собственной глупости потерял триста рублей!

— Прощайте!

— Вы не уедете, — сказал Марк.

— Я еще зайду к тебе, Козлов… я на той неделе еду, — обратился Райский к Леонтью.

— Ну так не уедете! — повторил Марк.

— А что ж твой роман? — спросил Леонтий, — ведь ты хотел его кончить здесь.

— Я уж у конца — только привести в порядок, в Петербурге займусь.

— И романа не кончите, ни живого, ни бумажного! — заметил Марк.

Райский живо обернулся к нему, хотел что-то сказать, но отвернулся с досадой и ушел.

— Отчего же ты думаешь, что он романа не кончит? — спросил Леонтий Марка.

— Где ему! — с язвительным смехом отвечал Марк, — он неудачник!

V

Райский пошел домой, чтоб поскорее объясниться с Верой, но не в том уже смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отомстить Вере за то, что она поставила его в это положение.

Он дорогой придумал до десяти редакций последнего разговора с ней. И тут опять воображение стало рисовать ему, как он явится ей в новом, неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть… опечалится!

Наконец он остановился на одной редакции разговора, дружеской, но учтиво-покровительственной и, в результате, совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно в приличной и доступной ей степени и форме, всю длинную исповедь своих увлечений, поставить на неведомую ей высоту Беловодову, облить ее блеском красоты, женской прелести, так, чтобы бедная Вера почувствовала себя просто Сандрильоной перед ней, и потом поведать о

том, как и эта красота жила только неделю в его воображении.

Он хотел осыпать жаркими похвалами Марфиньку и в заключение упомянуть вскользь и о Вере, благосклонно отозваться о ее красоте, о своем легком увлечении и всех их поставить на одну доску, выдвинув наперед других, а Веру оставив в тени, на заднем плане.

Он трепетал от радости, создав в воображении целую картину — сцену ее и своего положения, ее смущения, сожалений, которые, может быть, он забросил ей в сердце и которых она еще теперь не сознаёт, но сознает, когда его не будет около.

Он так целиком и хотел внести эту картину-сцену в свой проект и ею закончить роман, набросив на свои отношения с Верой таинственный полупокров: он уезжает не понятый, не оцененный ею, с презрением к любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дело люди, а она останется с жалом — не любви, а предчувствия ее в будущем, и с сожалением об утрате, с туманными тревогами сердца, со слезами и потом вечной, тихой тоской до замужества — с советником палаты! Оно не совсем так, но ведь роман — не действительность, и эти отступления от истины он называл «литературными

приемами».

У него даже дух занимался от предчувствия, как это будет эффектно и в действительности, и в романе.

Он сделал гримасу, встретивши бабушку, уже слышавшую от Егорки, что барин велел осмотреть чемодан и приготовить к следующей неделе белье и платье.

Новость облетела весь дом. Все видели, как Егорка потащил чемодан в сарай смести с него пыль и паутину, но дорогой предварительно успел надеть его на голову мимошедшей Анютке, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а он захихикал и скрылся.

Бабушка была поражена неожиданною вестью.

— Это ты что затеял, Борюшка? — приступила было она к нему и осыпала его упреками, закидала вопросами — но он отделался от нее и пошел к Вере.

Тихо, с замирающим от нетерпения сердцем предстать в новом виде, пробрался он до ее комнаты, неслышно дошел по ковру к ней.

Она сидела за столом, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо, на простой синей бумаге, написанное, как он мельком заме-

тил, беспорядочными строками и запечатанное бурым сургучом.

— Вера! — сказал он тихо.

Она вздрогнула от испуга так, что и он задрожал. В это же мгновение рука ее с письмом быстро опустилась в карман.

Оба они неподвижно глядели друг на друга.

— Извини, ты занята? — сказал он, пятясь от нее, но не уходя.

Она молчала и мало-помалу приходила от испуга в себя, не спуская с него глаз и всё стоя, как встала с места, не вынимая руки из кармана.

— Письмо? — говорил он, глядя на карман.

Она глубже опустила туда руку. У него в одну минуту возникли подозрения насчет Веры, мелькнуло в голове и то, как она недавно обманула его, сказав, что была на Волге, а сама очевидно там не была.

«Что это такое!» — со страхом подумал он.

— Должно быть, интересное письмо и большой секрет! — с принужденной улыбкой сказал он. — Ты так быстро спрятала.

Она села на диван и продолжала глядеть на него уже равнодушно.

«Нет, уж теперь не надуешь этим равнодушием!» — подумал он.

— Покажи письмо… — сказал он шутливо, нетвердым от волнения голосом.

Она с удивлением взглянула на него и плотнее прижала руку к карману.

— Не покажешь?

Она покачала головой.

— Зачем? — спросила потом.

— Разумеется, мне не нужно: что интересного в чужом письме? Но докажи, что ты доверяешь мне и что в самом деле дружна со мной. Ты видишь, я равнодушен к тебе. Я шел успокоить тебя, посмеяться над твоей осторожностью и над своим увлечением. Погляди на меня: таков ли я, как был?.. «Ах, черт возьми, это письмо из головы нейдет!» — думал между тем сам.

Она поглядела на него, точно ли он равнодушен. Лицо, пожалуй, и равнодушно, но голосом он как будто просит милостыню.

— Не покажешь? Ну Бог с тобой! — полупечально сказал он. — Я пойду.

Он обернулся к дверям.

— Постойте, — сказала она.

Потом пошарила немного рукой в кармане, вынула письмо и подала ему.

Он поглядел на обе стороны и взглянул на подпись: Pauline Kritzki.

— Это не то письмо, — сказал он, подавая его назад.

— А разве вы видели другое? — спросила она сухо.

Он боялся признаться, что видел, чтоб опять не уличила она его в шпионстве.

— Нет, — сказал он.

— Ну так читайте.

«Ma belle, charmante, divine[104] Вера Васильевна! — начиналось письмо, — я в восторге, становлюсь на колени перед вашим милым, благородным, прекрасным братом! Он отмстил за меня, я торжествую и плачу от радости. Он был велик! Скажите ему, что он мой рыцарь и навсегда, что я его вечная, послушная раба! Ах, как я его уважаю… сказала бы… слово вертится на языке, — но не смею… Почему не сметь? Да, я его люблю, нет, боготворю! Все мужчины должны пасть на колени перед ним!!..»

Райский отдал было письмо назад.

— Нет, продолжайте, — сказала Вера, — там есть просьба до вас.

Райский пропустил несколько строк и читал дальше.

---

[104] Примечания: 104
Моя прекрасная, очаровательная, божественная (*фр.*).

«Упросите, умолите вашего брата — он вас обожает, о, не защищайтесь — я заметила его страстные взгляды… Боже, зачем я не на вашем месте!.. Упросите его, душечка Вера Васильевна, сделать мой портрет — он обещал. Бог с ним — с портретом, но чтоб мне быть только с артистом, видеть его, любоваться им, говорить, дышать с ним одним воздухом! Я чувствую, ах, я чувствую… Ma pauvre tête, je deviens folle! Je compte sur vous, ma belle et bonne amie, et j'attends la reponse…»[105]

— Что ж отвечать ей? — спросила Вера, когда Райский положил письмо на стол.

Он молчал, не слыхав вопроса, всё думая, от кого другое письмо и отчего она его прячет?

— Написать, что вы согласны?

— Боже сохрани — ни за что! — опомнившись, с досадой сказал Райский.

— Как же быть: она хочет «дышать с вами одним воздухом…»

У ней задрожал подбородок.

— Черт с ней, я задохнусь в этом воздухе.

— А если б я вас попросила? — сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него.

---

[105] Примечания: 105

Бедная моя голова, я с ума схожу! Я рассчитываю на вас, мой добрый и прекрасный друг, и жду ответа (*фр.*).

Сердце у него перевернулось.

— Ты? зачем тебе это нужно?

— Так, мне хочется сделать ей что-нибудь приятное… — сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтоб хоть немного отучить Райского от себя.

Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук.

— Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?

Она кивнула головой.

— Но ведь это жертва?

— Вы напрашивались на них: вот одна…

— Ты требуешь! — сказал он, наступая на нее.

— Не надо, не надо, я ничего не требую! — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая.

— Вот уж и испугалась моей жертвы! Хорошо, изволь: принеси и ты две маленькие жертвы, чтоб не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений: видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты.

Она вопросительно глядела на него.

— Первое, будь при сеансах и ты: а то я с первого же раза убегу от нее: согласна?

Она нехотя, задумчиво кивнула головой. Ей уж не хотелось от него этого одолжения, когда

хитрость ее не удалась и ей самой приходилось сидеть вместе с ними.

— Во-вторых… — сказал он и остановился, а она ждала с любопытством. — Покажи другое письмо!

— Какое?

— Что быстро спрятала в карман.

— Там нет.

— Есть: вон, я вижу, оно оттопыривается!

Она опять опустила руку в карман.

— Вы сказали, что не видали другого письма: я вам показала одно. Чего вам еще?

— Этого письма ты не спрятала бы с таким испугом. Покажешь?

— Вы опять за свое, — сказала она с упреком, перебирая рукой в кармане, где в самом деле шумела бумага.

— Ну, не надо, — я пошутил: только, ради Бога, не принимай этого за деспотизм, за шпионство, а просто за любопытство. А впрочем, Бог с тобой и с твоими секретами! — сказал он, вставая, чтоб уйти.

— Никаких секретов нет, — сухо отвечала она.

— Знаешь ли, что я еду скоро? — вдруг сказал он.

— Знаю, слышала — только правда ли?

— Почему ж ты сомневаешься?

Она молчала, опустив глаза.

— Ты довольна?

— Да… — отвечала она тихо.

— Отчего же? — с унынием спросил он и подошел к ней.

— Отчего?..

Она подумала, подумала, потом опустила руку в карман, достала и другое письмо, пробежала его глазами, взяла перо, тщательно вымарала некоторые слова и строки в разных местах и подала ему:

— Я уж вам говорила — отчего: вот еще — прочтите! — сказала она и опустила руку опять в карман.

Он погрузился в чтение. А она стала смотреть в окно.

Письмо было написано мелким женским почерком. Райский читал: «Я кругом виновата, милая Наташа…»

— Кто это Наташа?

— Жена священника, моя подруга по пансиону.

— А, попадья? Так это ты пишешь: ах, это любопытно! — сказал Райский, и даже потер коленки одна о другую от предстоящего удовольствия, и погрузился в чтение.

«Я кругом виновата, милая Наташа, что не писала к тебе по возвращении домой: по обыкновению, ленилась, а кроме того, были другие причины, о которых ты сейчас узнаешь. Главную из них ты знаешь — это… (тут три слова были зачеркнуты)… и что иногда не на шутку тревожит меня. Но об этом наговоримся при свидании.

Другая причина — приезд нашего родственника Бориса Павловича Райского. Он живет теперь с нами и, на беду мою, почти не выходит из дома, так что я недели две только и делала, что пряталась от него. Какую бездну ума, разных знаний, блеска, талантов и вместе шума, или “жизни”, как говорит он, привез он с собой и всем этим взбудоражил весь дом, начиная с нас, то есть бабушки, Марфиньки, меня — и до Марфинькиных птиц! Может быть, это заняло бы и меня прежде, а теперь, ты знаешь, как это для меня неловко, несносно…

А он, приехавши в свое поместье, вообразил, что не только оно, но и всё, что в нем живет, — его собственность. На правах какого-то родства, которого и назвать даже нельзя, и еще потому, что он видел нас маленьких, он поступает с нами как с детьми или как с пансионерками. Я прячусь, прячусь, и едва достигла того, что он не видит,

как я сплю, о чем мечтаю, чего надеюсь и жду.

Я от этого преследования чуть не захворала, не видалась *ни с кем*, не писала *ни к кому*, и даже к тебе, и чувствовала себя, точно в тюрьме. Он как будто играет, может быть, даже нехотя, со мной. Сегодня холоден, равнодушен, а завтра опять глаза у него блестят, и я его боюсь, как боятся сумасшедших. Хуже всего то, что он сам не знает себя, и потому нельзя положиться на его намерения и обещания: сегодня решится на одно, а завтра сделает другое.

Он “нервозен, впечатлителен и страстен”: так он говорит про себя — и это, кажется, верно. Он не актер, не притворяется: для этого он слишком умен и образован и притом честен… “Такая натура!” — оправдывается он.

Он какой-то артист: всё рисует, пишет, фантазирует на фортепиано (и очень мило), бредит искусством, но, кажется, как и мы грешные, ничего не делает и чуть ли не всю жизнь проводит в том, что “поклоняется красоте”, как он говорит: просто влюбчив по-нашему, как, помнишь, Дашенька Семечкина, которая была однажды заочно влюблена в испанского принца, увидевши портрет его в немецком календаре, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у

него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей: только всё это выражается порывами, и оттого не знаешь, как с ним держать себя.

Теперь он ищет моей дружбы, но я и дружбы его боюсь, боюсь всего от него, боюсь… (тут было зачеркнуто целых три строки). Ах, если б он уехал отсюда! Страшно и подумать, если он когда-нибудь… (опять зачеркнуто несколько слов).

А мне одно нужно: покой! И доктор говорит, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать, и слава Богу, что он натвердил это бабушке: меня оставляют в покое. Мне не хотелось бы выходить из моего круга, который я очертила около себя: никто не переходит за эту черту, я так поставила себя, и в этом весь мой покой, всё мое счастие.

Если Райский как-нибудь перешагнет эту черту, тогда мне останется одно: бежать отсюда! Легко сказать — бежать, а куда? Мне вместе и совестно: он так мил, добр ко мне, к сестре — осыпает нас дружбой, ласками, еще хочет подарить этот уголок… этот рай, где я узнала, что живу, не прозябаю… Совестно, зачем он расточает эти незаслуженные ласки, зачем так старается блистать передо мною и хлопочет возбудить во мне нежное чувство, хотя я лишила его всякой надеж-

ды на это. Ах, если б он знал, как напрасно всё!..

Ну, теперь скажу тебе кое-что о том…»

Письмо оканчивалось этой строкой. Райский дочитал — и всё глядел на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. В письме о самой Вере не было почти ничего: она оставалась в тени, а освещен один он — и как ярко!

Он всё думал над письмом, оглядывая его со всех сторон. Потом вдруг очнулся.

— Это опять не то письмо: то на синей бумаге написано! — резко сказал он, обращаясь к Вере, — а это на белой…

Но Веры уж не было в комнате.

VI

Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу, как материал для ее характеристики. Потом он погрузился в глубокое раздумье, не о том, что она писала о нем самом: он не обиделся ее строгими отзывами и сравнением его с какой-то влюбчивой Дашенькой. «Что она смыслит в художественной натуре!» — подумал он.

Его поглотили соображения о том, что письмо это было ответом на его вопрос: рада ли она его отъезду? Ему теперь дела не было, будет ли от этого хорошо Вере или нет, что он уедет, и ему не хотелось уже приносить этой «жертвы».

Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу, им овладел грубый эгоизм: «я» выступило вперед и требовало жертв себе.

И всё раздумывал он: от кого другое письмо? Он задумчиво ходил целый день, машинально обедал, не говорил с бабушкой и Марфинькой, ушел от ее гостей, не сказавши ни слова, велел Егорке вынести чемодан опять на чердак и ничего не делал.

С мыслью о письме и сама Вера засияла опять

и приняла в его воображении образ какого-то таинственного, могучего, облеченного в красоту зла, и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота. Он стал чувствовать в себе припадки ревности, перебирал всех, кто был вхож в дом, осведомлялся осторожно у Марфиньки и бабушки, к кому они все пишут и кто пишет к ним.

— Да кто пишет: ко мне никто, — сказала бабушка, — а к Марфиньке недавно из лавки купец письмо прислал…

— Это, бабушка, не письмо, а счет за шерсть, за узоры: я забирала у него.

— А к Верочке купец не присылал? — спросил Райский.

— И к ней присылал: она для попадьи забирала…

— Не на синей ли бумаге?

— Да, на синей: вы почем знаете? Он всё на синей бумаге пишет.

Он не отвечал. Ему стало было легче.

«А зачем же прятать его?» — вдруг шевельнулось опять, и опять пошла на целый день грызть забота.

«Да что мне за дело, черт возьми, ведь не влюблен же я в эту статую!» — думал он, вдруг останавливаясь на дорожке и ворочая одурелыми

глазами вокруг.

«Вон где гнездится змея!» — думал опять, глядя злобно на ее окно с отдувающейся занавеской.

— Пойду прочь, а то еще подумает, что занимаюсь ею… дрянь! — ворчал он вслух, а ноги сами направлялись уже к ее крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и он торопливо вернулся к себе, облокотился на стол локтями и просидел так до вечера.

«Что я теперь буду делать с романом? — размышлял он, — хотел закончить, а вот теперь в сторону бросило, и опять не видать конца!»

Он швырнул тетради в угол.

Всё прочее вылетело опять из головы: бабушкины гости, Марк, Леонтий, окружающая идиллия — пропали из глаз. Одна Вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, повелительным жестом запрещающая ему приближаться, и он закрывал глаза перед ней, клонил голову и мысленно говорил: «Вера, Вера, пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой: никто никогда не язвил меня…» и т. д.

То являлась она в полумраке, как настоящая ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой, с таинственным, нежным шепотом к кому-то и с

насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая!

Ночью он не спал, днем ни с кем не говорил, мало ел и даже похудел немного — и всё от таких пустяков, от ничтожного вопроса: от кого письмо?

Скажи она, вот от такого-то или от такой-то, и кончено дело, он и спокоен. Стало быть, в нем теперь неугомонное, раздраженное любопытство — и больше ничего. Удовлетвори она этому любопытству, тревога и пройдет. В этом и вся тайна.

— Надо узнать, от кого письмо, во что бы то ни стало, — решил он, — а то меня лихорадка бьет. Только лишь узнаю, так успокоюсь и уеду! — сказал он и пошел к ней тотчас после чаю.

Ее не было дома. Марина сказала, что барышня надела шляпку, мантилью, взяла зонтик и ушла.

— Куда?

— Бог их знает, — отвечала та, — гуляют где-нибудь, ведь они не говорят, куда идут.

— Никогда?

— Никогда, и спрашивать не велят: гневаются!

И за обедом ее не было. Новый ужас.

— Где Вера? — спросил Райский у бабушки.

Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Он к Марфиньке.

— Не знаю, братец. Я видела давеча из окна, что она в деревню пошла.

— Где же она обедает?

— Молока у мужиков спросит или после придет, у Марины чего-нибудь спросит поесть.

— Всё не по-людски! — ворчала про себя бабушка, — своенравная — в мать! Дались им какие-то нервы! И доктор тоже всё о нервах твердит. «Не трогайте, не перечьте, берегите!» А они от нерв и куролесят!

— Что же вы не спросите, куда она ходит одна? — спросил Райский.

— Как можно спросить: прогневаются! — иронически заметила Татьяна Марковна, — на три дня запрутся у себя. Бабушка не смей рта разинуть!

— Куда ж это она одна?.. — тихо говорил Райский.

— Она у нас всё одна ходит, — отвечала Марфинька.

— А ты?

— Как можно: я боюсь.

— Чего?

— Мало ли чего! змей, лягушек, собак, больших свиней, воров, мертвецов… Арины боюсь.

— Какой Арины?

— Дурочка у нас есть.

— А Вера?

— Ничего не боится: даже в церковь на ночь заприте ее, и то не боится.

— А ты бы спросила ее завтра, Марфинька, где она была.

— Рассердится!

— Все боятся, прошу покорно!

На другой день опять она ушла с утра и вернулась вечером. Райский просто не знал, что делать от тоски и неизвестности. Он караулил ее в саду, в поле, ходил по деревне, спрашивал даже у мужиков, не видали ли ее, заглядывал к ним в избы, забыв об уговоре не следить за ней.

Уж становилось темно, когда он, блуждая между деревьями, вдруг увидел ее пробирающеюся сквозь чащу кустов и деревьев, росших по обрыву. Он весь задрожал и бросился к ней, так что и она вздрогнула и остановилась.

— Кто тут? — спросила она.

— Это… ты… Вера?..

— Да, я: а что?

— А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты делась!

— Кто? — нахмурившись, спросила она.

— Бабушка и Марфинька очень беспокои-

лись…

— Что это им вздумалось? Никогда не беспокоились, а сегодня?.. Вы бы им сказали, что напрасно, что я никого не прошу беспокоиться обо мне.

— И… я тоже сам…

— Вы? покорно благодарю: зачем?

— Но ведь легко может случиться что-нибудь…

— Например?

— Например… беда какая-нибудь: мало ли случаев? Пьяный народ шатается… змеи, воры, собаки, свиньи, мертвецы… — шутливо прибавил Райский, припомнив все страхи Марфиньки, — могут испугать…

— Вот я только вас испугалась теперь, а там ни воров, ни мертвецов нет…

Она указала на обрыв.

— До беды недалеко: иногда так легко погибнуть человеку… — заметил он.

— Ну, когда я стану погибать, так перед тем попрошу у вас или у бабушки позволения! — сказала она и пошла.

— Гордое творение! — прошептал он.

— На одну минуту, Вера, — вслух прибавил потом, — я виноват, не возвратил тебе письма к попадье. Вот оно. Всё хотел сам отдать, да тебя не было.

Она взяла письмо и положила в карман.

— А то, другое, которое там?.. — ласково, но с дрожью в голосе спросил он, наклоняясь к ней.

— Какое то и где там?

— Другое, синее письмо: в кармане?

У него сердце замирало, он ждал ответа.

Она вывернула наизнанку карман.

— Ах, уж нет! — сказал Райский, — от кого бы оно могло быть?

— То?.. А от попадьи ко мне, — сказала она, помолчав, — я на него и отвечала.

— От попадьи! — почти закричал он на весь сад.

— Да, конечно! — подтвердила она равнодушно и ушла.

— От попадьи! — повторил он, и у него гора с плеч свалилась. — А я бился, бился, а ларчик открывался просто! От попадьи. В самом деле: в одном кармане и письмо и ответ на него! Это ясно! Не показывала она мне, тоже понятно: кто покажет чужое письмо, с чужими секретами?.. Разумеется, разумеется! И давно бы сказала: охота мучить! Какой мгновенный переход, однако, от этой глупой тоски, от раздражения к спокойствию! Вот и опять тишина во всем организме, гармония! Боже, какой чудный вечер! Какое бле-

стящее небо, как воздух тепел, как хорошо! Как я здоров и глубоко покоен! Теперь всё узнал, нечего мне больше делать: через два дня уеду!

— Егор! — закричал он по двору.

— Чего изволите? — из окна людской спросил голос.

— Завтра пораньше принеси чемодан с чердака!

— Слушаю-с.

Он мгновенно стал здоров, весел, побежал в дом, попросил есть, наговорил бабушке с три короба, рассмешил пять раз Марфиньку и обрадовал бабушку, наевшись за три дня.

— Ну вот, слава Богу! три дня ходил как убитый, а теперь опять дым коромыслом пошел!.. А что Вера: видел ты ее? — спросила Татьяна Марковна.

— Письмо от попадьи! — вдруг брякнул Райский.

— Какое письмо? — сказали обе, Марфинька и бабушка.

— А то, что на синей бумаге, о котором я недавно спрашивал.

Он выспался за все три ночи, удивляясь, как просто было подобрать этот ключ, а он бился трое суток! «Да ведь все простые догадки даются с трудом! Вон и Колумб просто открыл Америку…»

И остановился, сам дивясь своему сравнению.

Утром он встал бодрый, веселый, трепещущий силой, негой, надеждами — и отчего всё это? Оттого, что письмо было от попадьи!

Он проворно сел за свои тетради, набросал свои мучения, сомнения и как они разрешились. У него лились заметки, эскизы, сцены, речи. Он вспомнил о письме Веры, хотел прочесть опять, что она писала о нем к попадье, и схватил снятую им копию с ее письма.

Он жадно пробегал его, с улыбкой задумался над нельстивым, крупным очерком под пером Веры самого себя, с легким вздохом перечел ту строку, где говорилось, что нет ему надежды на ее нежное чувство, с печалью читал о своей докучливости, но на сердце у него было покойно: тогда как вчера — Боже мой! какая тревога!

— Что ж, уеду, — сказал он, — дам ей покой, свободу. Это гордое, непобедимое сердце — и мне делать тут нечего: мы оба друг к другу равнодушны!

Он опять пробегал рассеянно строки — и вдруг глаза у него раскрылись широко, он побледнел, перечитав:

«Не видалась *ни с кем* и не писала *ни к кому*, даже к тебе…»

— *Ни с кем* и *ни к кому* — подчеркнуто, — шептал он, ворочая глазами вокруг, губы у него дрожали, — тут есть *кто-то*, с *кем* она видится, к *кому* пишет! Боже мой! Письмо на синей бумаге было — не от попадьи!» — сказал он в ужасе.

Судорога опять прошла внутри его, он лег на диван, хватаясь за голову.

VII

На другой день, часов в десять утра, кто-то постучал к нему в комнату. Он, бледный, угрюмый, отворил дверь и остолбенел.

Перед ним стояли Вера и Полина Карповна, последняя в палевом газовом платье, точно в тумане, с полуоткрытою грудью, с короткими рукавами, вся в цветах, в лентах, в кудрях. Она походила на тех беленьких, мелких пудельков, которых стригут, завивают и убирают в ленточки, ошейники и бантики их нежные хозяйки или собачьи фокусники.

Райский с ужасом поглядел на нее, потом мрачно взглянул на Веру, потом опять на нее. А Крицкая, с нежными до влажности губами, глядела на него молча, впустив в него глубокий взгляд, и от переполнявшего ее экстаза, а также отчасти от жара, оттаяла немного, как конфетка, называемая «помадой».

Все молчали.

— Я у ног ваших! — сказала наконец сдержанным шепотом Крицкая.

— Что вам угодно? — спросил он свирепо.

— У ног ваших, — повторяла она, — ваш рыцар-

ский поступок… Я не могу вспомнить, не могу выразить…

Она поднесла платок к глазам.

— Вера, что это значит? — с нетерпением спросил он.

Вера — ни слова, только подбородок у ней дрожал.

— Ничего, ничего — простите… — торопливо заговорила Полина Карповна, — vos moments sont précieux:[106] я готова.

— Я писала к Полине Карповне, что вы согласны сделать ее портрет, — сказала наконец Вера.

— Ах! — вырвалось у Райского.

Он сильно потер лоб. «До того ли мне!» — проскрежетал он про себя.

— Пойдемте, сейчас начну! — решительно сказал потом, — там в зале подождите меня!

— Хорошо, хорошо, прикажите — и мы… Allons, chère[107] Вера Васильевна, — торопливо говорила Крицкая, уводя Веру.

Он бы без церемонии отделался от Полины Карповны, если б при сеансах не присутствовала Вера. В этом тотчас же сознался себе Райский, как

---

[106] Примечания: 106
каждая ваша минута драгоценна (*фр.*).

[107] Примечания: 107
Пойдемте, дорогая (*фр.*).

только они ушли.

Он хотя и был возмущен недоверием Веры, почти ее враждой к себе, взволнован загадочным письмом, опять будто ненавидел ее; между тем дорожил всякими пятью минутами, чтобы быть с ней. Теперь еще его жгло желание добиться, от кого письмо.

Он достал из угла натянутый на рамку холст, который готовил давно для портрета Веры, взял краски, палитру. Молча пришел он в залу, угрюмо, односложными словами, велел Василисе дать каких-нибудь занавесок, чтоб закрыть окна, и оставил только одно; мельком исподлобья взглянул раза два на Крицкую, поставил ей кресло и сел сам.

— Скажите, как мне сесть, посадите меня!.. — говорила она с покорной нежностью.

— Как хотите, только сидите смирно, не говорите ничего, мешать будете! — отрывисто отвечал он.

— Не дышу!.. — шепотом сказала она и склонила голову нежно набок, полузакрыла глаза и сделала сладкую улыбку.

«У, какая противная рожа! — шевельнулось у Райского в душе, — вот постой, я тебя изображу!»

Он без церемонии почти вывел бабушку и Мар-

финьку, которые пришли было поглядеть. Егорка, видя, что барин начал писать «патрет», пришел было спросить, не отнести ли чемодан опять на чердак. Райский молча показал ему кулак.

Борис начал чертить мелом контур головы, всё злобнее и злобнее глядя на «противную рожу», и так крепко нажимал мел, что куски его летели в стороны.

Вера сидела у двери, тыкала иглой лоскуток какого-то кружева и частенько зевала, только когда взглядывала на лицо Полины Карповны, у ней дрожал подбородок и шевелились губы, чтобы сдержать улыбку.

— Suis-je bien comme-ça?[108] — шепотом спросила Крицкая у Веры.

— Oh, oui, tout-à-fait bien![109] — сказала Вера.

Райский сделал движение досады.

— Не дышу! — пролепетала с испугом Полина Карповна и замерла в своей позе.

Райский сделал контур, взял палитру и, косясь неприязненно на Крицкую, начал подмалевывать глаза, нос…

«Все забыли твою красоту, черномазая ста-

---

[108] Примечания: 108
— Ну как, хороша я? (*фр.*)

[109] Примечания: 109
— О, да, очень хороши! (*фр.*)

руха, — думал он, — кроме тебя: и в этом твоя мука!»

Она, заметив, что он смотрит на нее, старалась слаще улыбнуться.

Минут через двадцать, от напряжения сидеть смирно и не дышать, что она почти буквально исполняла, у ней на лбу выступили крупные капли, как белая смородина, и на висках кудри немного подмокли.

— Жарко! — шепнула она.

Но Райский неумолимо мазал кистью, строго взглядывая на нее. Прошло еще четверть часа.

— Un verre d'eau![110] — шептала Крицкая едва слышно.

— Погодите, нельзя! — строго заметил Райский, — вот губы кончу.

Полина Карповна перемогла себя, услыхав, что рисуют ее улыбку. Она периодически, отрывисто и тяжело дышала, так что и грудь увлажилась у ней, а пошевельнуться она боялась. А Райский мазал да мазал, как будто не замечал.

— Полина Карповна устала! — заметила Вера.

Райский молчал. У Крицкой одна губа подалась немного вниз, как она ни старалась удержать ее

---

[110] Примечания: 110
— Стакан воды! (*фр.*)

на месте. Из груди стал исходить легкий свист.

Райский только знает, что мажет. Она уж раза два пошамкала губами, и две-три капли со лба у ней упали на руки.

— Погодите еще немного, — сказал Райский.

— Не дышу! — почти свистнула Полина Карповна.

Райский сам устал, но его терзала злоба, и он не чувствовал ни усталости, ни сострадания к своей жертве. Прошло пять минут.

— Ох, ох — je n'en puis plus[111] — ох, ох! — начала Крицкая, падая со стула.

Райский и Вера бросились к ней и посадили ее на диван. Принесли воды, веер, одеколону — и Вера помогла ей оправиться. Крицкая вышла в сад, а Райский остался с Верой. Он быстро и злобно взглянул на нее.

— Письмо не от попадьи! — прошипел он.

Вера отвечала ему тоже взглядом, быстрым, как молния, потом остановила на нем глаза, и взгляд изменился, стал прозрачный, точно стеклянный, «русалочный»…

— Вера, Вера! — сказал он тихо, с сухими губами, взяв ее за руки, — у тебя нет доверия ко мне!

---

[111] Примечания: 111
не могу больше (*фр.*).

— Ах, пустите меня! — с нетерпением говорила она, отнимая руки. — Какое доверие, в чем и зачем оно вам!

Она пошла к Полине Карповне.

«Да — она права: зачем ей доверять мне? А мне-то как оно нужно, Боже мой! чтоб унять раздражение, узнать тайну (а тайна есть!) и уехать! Не узнавши, кто она, что она, — не могу уехать!»

— Егор! — сказал он, вышедши в переднюю, — отнеси пока чемодан опять на чердак!

Он порисовал еще с полчаса Крицкую, потом назначил следующий сеанс через день и предался с прежним жаром неотвязному вопросу всё об одном: от кого письмо? Узнать и уехать — вот всё, чего он добивался. Тут хуже всего тайна: от нее вся боль!

Он подозрительно смотрел на бабушку, на Марфиньку, на Тита Никоныча, на Марину, пуще всего на Марину, как на поверенную и ближайшую фрейлину Веры.

Но та пресмыкалась по двору взад и вперед, как ящерица, скользя бедром, то с юбками и утюгом, то спасаясь от побоев Савелья — с воем или с внезапной, широкой улыбкой во всё лицо, — и как избегала брошенного мужем вслед ей кирпича или полена, так избегала и вопросов Райского.

Она воротила лицо в сторону, завидя его, потупляла свои желтые, бесстыжие глаза и смотрела, как бы шмыгнуть мимо его подальше.

«Должно быть, эта бестия всё знает!», — думал он, но расспросам боялся давать ход: гадко это ему самому было и остерегался упрека в «шпионстве».

Он так торжественно дал слово работать над собой, быть другом в простом смысле слова. Взял две недели сроку! Боже! что делать! какую глупую муку нажил, без любви, без страсти: только одни какие-то добровольные страдания, без наслаждений! И вдруг окажется, что он, небрежный, свободный и гордый (он думал, что он гордый!), любит ее, что даже у него это и «по роже видно», как по-своему, цинически заметил это проницательная шельма Марк!

И в то же время, среди этой борьбы, сердце у него замирало от предчувствия страсти: он вздрагивал от роскоши грядущих ощущений, с любовью прислушивался к отдаленному рокотанью грома и всё думал, как бы хорошо разыгралась страсть в душе, каким бы огнем очистила застой жизни и каким благотворным дождем напоила бы это засохшее поле, всё это былие, которым поросло его существование.

Что искусство, что самая слава перед этими сладкими бурями! Что все эти дымно-горькие, удушливые газы политических и социальных бурь, где бродят одни идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, без огня, без трепета нерв? Это головные страсти — игра холодных самолюбий, идеи без красоты, без палящих наслаждений, без мук… часто не свои, а вычитанные, скопированные!

— Нет, я хочу обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ее классической грозой. Да, страсти, страсти!.. — орал он, несясь по саду и впивая свежий воздух.

Но Вера не дает ее ему: это не льстит даже ее самолюбию!

Надежда быть близким к Вере питалась в нем не одним только самолюбием: у него не было нахальной претензии насильно втереться в сердце, как бывает у многих писаных красавцев, у крепких, тупоголовых мужчин, и — чем бы ни было — добиться успеха. Была робкая, слепая надежда, что он может сделать на нее впечатление, и пропала.

Но когда он прочитал письмо Веры к приятельнице, у него, невидимо и незаметно даже для него самого, подогрелась эта надежда. Она там созна-

валась, что в нем, в Райском, было что-то (и ум, и много талантов, блеска, шума, или «жизни»), «что, *может быть*, в другое время заняло бы ее, а не теперь…»

Вот это «может быть», никогда, ни в каком отчаянном положении нас не оставляющее, и ввергнуло Райского, если еще не в самую тучу страсти, то уже в ее жаркую атмосферу, из которой счастливо спасаются только сильные, и в самом деле «гордые» характеры.

Да, надежда в нем была, надежда на взаимность, на сближение, на что-нибудь, чего еще он сам не знал хорошенько, но уже чувствовал, как с каждым днем ему всё труднее становится вырваться из этой жаркой и обаятельной атмосферы.

Не неделю, а месяц назад, или перед приездом Веры, или тотчас после первого свидания с ней, надо было спасаться ему, уехать, а теперь уж едва ли придется Егорке стаскивать опять чемодан с чердака!

— Или страсть подай мне, — вопил он, бессонный, ворочаясь в мягких пуховиках бабушки в жаркие летние ночи, — страсть полную, в которой я мог бы погибнуть, — я готов — но с тем, чтобы упиться и захлебнуться ею, или скажи

решительно, от кого письмо и кого ты любишь, давно ли любишь, невозвратно ли любишь — тогда я и успокоюсь, и вылечусь. Вылечивает безнадежность!

А пока глупая надежда слепо шепчет: «Не отчаивайся, не бойся ее суровости: она молода; если бы кто-нибудь и успел предупредить тебя, то разве недавно, чувство не могло упрочиться здесь, в доме, под десятками наблюдающих за ней глаз, при этих наростах предрассудков, страхов, старой бабушкиной морали. Погоди, ты вытеснишь впечатление, и тогда…» и т. д. — до тех пор недуг не пройдет!

— Пойду к ней, не могу больше! — решил он однажды в сумерки. — Скажу ей всё, всё… и что скажет она — так пусть и будет! Или вылечусь, или… погибну!

VIII

На этот раз он постучался к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она.

— Это я, — говорил он, робко просовывая голову в дверь, — можно войти?

Она сидела у окна с книгой, но книга, по-видимому, мало занимала ее: она была рассеянна или задумчива. Вместо ответа, она подвинула Райскому стул.

— Сегодня не так жарко, хорошо! — сказал он.

— Да, я ходила на Волгу: там даже свежо, — заметила она. — Видно, погода хочет измениться.

И замолчали.

— Что это так трезвонили сегодня у Спаса? — спросил он, — праздник, что ли, завтра?

— Не знаю, а что?

— Так, звон не дал мне спать, и мухи тоже. Какая их пропасть у бабушки в доме: отчего это?

— Я думаю оттого, что варенье варят.

— Да, в самом деле! То-то я всё замечаю, что Пашутка поминутно бегает куда-то и облизывается… Да и у всех в девичьей, и у Марфиньки тоже, рты черные… Ты не любишь варенья, Вера?

Она покачала головой.

— Вчера Егор отнес ваш чемодан на чердак, я видела… — сказала она, помолчав.

— Да, а что?

— Так…

— Ты хочешь спросить, еду ли я и скоро ли?..

— Нет, я так только…

— Не запирайся, Вера! что ж, это естественно! На этот вопрос я скажу тебе, что это от тебя зависит.

— Опять от меня?

— Да, от тебя: и ты это знаешь.

Она глядела равнодушно в окно.

— Вы мне приписываете много значения, — сказала она.

— Ну а если это так, что бы ты сделала?

— Для меня собственно — я бы ничего не сделала, а если б это нужно было для вас, я бы сделала так, как вам счастливее, удобнее, покойнее, веселее…

— Постой, ты смешиваешь понятия; надо разделить по родам и категориям: «удобнее и покойнее» — с одной стороны, и «веселее и счастливее» — с другой. Теперь и решай!

— Вам надо решать, что вам больше нравится.

— Я заметил, что ты уклончива, никогда сразу не выскажешь мысли или желания, а сначала

обойдешь кругом. Я не волен в выборе, Вера: ты реши за меня, и что ты дашь, то и возьму. Обо мне забудь, говори только за себя и для себя.

— Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить!

— Почему ты так думаешь?

— В который раз Егорка таскает чемодан с чердака вниз и обратно? — спросила она вместо ответа.

— Ну так ты решительно хочешь, чтоб я уехал?

Она молчала.

— Скажи — да, и я завтра уеду.

Она посмотрела на него, потом отвернулась к окну.

— Я не верю вам, — сказала она.

— Попробуй, скажи — и, может быть, уверуешь.

— Ну, если так, уезжайте! — вдруг выговорила она.

— Изволь, — подавляя вздох, проговорил он. — Мне тяжело, почти невозможно уехать, но так как тебе тяжело, что я здесь… («может быть, она скажет: “нет, не тяжело”», — думал он и медлил)… то…

— То и уезжайте! — повторила она, встав с места и подойдя к окну.

— Уеду, не гони, — с принужденной улыбкой сказал он, — но ты можешь облегчить мне тяжесть и даже ускорить этот отъезд…

— Как?

— Это от тебя зависит, повторяю опять.

— Говорите, что надо делать: «жертвы» приносить? Я даже готова сама принести ваш чемодан с чердака.

Он не отвечал на ее насмешку.

— Что же?

— Скажи, во-первых, любишь ли ты кого-нибудь?..

Она живо обернулась к нему и с изумлением взглянула на него.

— И от кого, во-вторых, было письмо на синей бумаге: оно не от попадьи! — поспешил он договорить.

— Зачем это вам нужно знать для вашего отъезда? — спросила она, делая большие глаза.

— Я объясню тебе, Вера: но чтоб понять мое объяснение, не надо так удивляться, а терпеливо выслушать и потом призвать весь свой ум…

— Это что-нибудь очень умное, мудреное?

— Нужна доброта, участие, дружба, которою было ты так польстила мне и которую опять за что-то отняла…

— Я плачу дружбой за дружбу, брат, — сказала она мягче.

— А разве у меня нет дружбы к тебе?

Она отрицательно покачала головой.

— Что же такое во мне: ты видишь, что я тебе не чужой, не по одному родству…

— Это не дружба…

— Ну так любовь?

— Мне ее не надо: я не разделяю ее…

— Знаю — и вот я и хочу объяснить, как ты одна можешь сделать, чтоб ее не было и во мне!

— Кажется, я всё для этого сделала…

— Наоборот: ты не могла сделать лучше, если б хотела любви от меня. Ты гордо оттолкнула меня и этим раздражила самолюбие, потом окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, ум, характер сделали остальное — и вот перед тобой влюбленный в тебя до безумия! Я бы с наслаждением бросился в пучину страсти и отдался бы потоку: я искал этого, мечтал о страсти и заплатил бы за нее остальною жизнью, но ты не хотела, не хочешь… да?

Он сбоку заглядывал ей в лицо.

— Не хочу, — сказала она покойно и решительно.

— Ну, я боролся что было сил во мне, — ты сама

видела — хватался за всякое средство, чтоб переработать эту любовь в дружбу, но лишь пуще уверовал в невозможность дружбы к молодой, прекрасной женщине — и теперь только вижу два выхода из этого положения…

Он остановился на минуту.

— Один ты заперла мне: это взаимность, — продолжал он. — Страсть разрешается путем уступок, счастья, и обращается там, смотря по обстоятельствам, во что хочешь: в дружбу, пожалуй, в глубокую, святую, неизменную любовь — я ей не верю, — но во что бы ни было, во всяком случае, в удовлетворение, в покой… Ты отнимаешь у меня всякую надежду… на это счастье… да?

Он опять подвинулся к ее лицу, глядя ей пытливо в глаза. Она утвердительно кивнула головой.

— Да, всякую, — повторила она.

— Ну… — сказал он, — чтоб вынуть боль безнадежности или убить совсем надежду, надо…

— Что?

— Сделать то, что я сказал сейчас, то есть признаться, что ты любишь, и сказать, от кого письмо на синей бумаге! это — второй выход…

— А если я не сделаю ни того ни другого? — спросила она гордо, обернувшись к нему от окна.

— Пуще всего — без гордости, без пренебре-

жения! — с живостью прибавил он, — это всё противоречия, которые только раздражают страсть, а я пришел к тебе с надеждой, что если ты не можешь разделить моей сумасшедшей мечты, так по крайней мере не откажешь мне в простом дружеском участии, даже поможешь мне. Но я с ужасом замечаю, что ты зла, Вера…

— А вы эгоист, Борис Павлович! У вас вдруг родилась какая-то фантазия — и я должна делить ее, лечить, облегчать: да что мне за дело до вас, как вам до меня? Я требую у вас одного — покоя: я имею на него право, я свободна как ветер, никому не принадлежу, никого не боюсь…

— И я был свободен и горд еще недели две назад, — а вот теперь и не горд, и не свободен, и боюсь — тебя!

Она с пренебрежением взглянула на него и слегка пожала плечами.

— Погоди казнить меня этими взглядами: не случилось бы с тобой того же! — говорил он почти про себя.

— Я не боюсь, не случится!

— И дети тоже не боятся, и на угрозы няньки «волком» храбро лепечут: «А я его убью!» И ты, как дитя, храбра и, как дитя же, будешь беспомощна, когда придет твой час…

— Никого не боюсь, — повторила она, — и этого вашего волка — страсти, тоже! Не стращайте напрасно: вы напустили на себя, и мне даже вас не жаль!

— Ты злая! А если б я сделался болен горячкой? Бабушка и Марфинька пришли бы ко мне, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Ужели бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мне, не спросила бы…

— Это другое дело: больной…

— А я разве здоров? разве я не болен, и болен еще тобой!..

— Виновата ли я в этом?

— Ты тоже бы не виновата была, если б меня прохватил холодный ветер на Волге и я бы слег в горячке!

— Там есть средства, лекарства…

— И тут есть, я тебе указываю одно верное. Я не шучу: только безнадежность может задушить зародыш страсти…

— Разве я не отнимаю у вас всякую надежду? Я вас никогда не буду любить, я вам сказала!

— Может быть, но дело в том, что я не верю тебе: или если и поверю, так на один день, а там опять родятся надежды. Страсть умрет, когда самый предмет ее умрет, то есть перестанет раз-

дражать…

— Не могу же я принести вам этой «жертвы», брат: умереть!

— И не надо! Ты скажи, любишь ли ты и от кого письмо: это будет всё равно, что ты умерла для меня.

Он говорил горячо и серьезно. Она задумалась и боролась, по-видимому, с собой, оборачиваясь к окну и обратно от окна к нему.

— Хорошо… — сказала она, понижая голос, и медлила. — Я… люблю… другого…

— Кого? — вдруг вскрикнул он, вскочив со стула.

— Что же вы испугались? Вы сами этого хотели: успокойтесь и уезжайте: теперь вы знаете.

— Кого? — повторил он, не слушая ее.

— Что за дело до имени!

— Имя, имя? Кто писал письмо? — говорил он с дрожью в голосе.

— Никто! Я выдумала, я никого не люблю, письмо от попадьи! — равнодушно сказала она, глядя на него, как он в волнении глядел на нее воспаленными глазами, и ее глаза мало-помалу теряли свой темный бархатный отлив, светлели и наконец стали прозрачны. Из них пропала мысль, всё, что в ней происходило, и прочесть в

них было нечего.

— Говори, ради Бога, не оставляй меня на этом обрыве: правду, одну правду — и я выкарабкаюсь, малейшая ложь — и я упаду!

— Послушайте, брат: не играете ли вы со мной в какую-то тонкую игру?..

— Ей-богу, не знаю: если это игра, так она похожа на ту, когда человек ставит последний грош на карту, а другой рукой щупает пистолет в кармане. Дай руку, тронь сердце, пульс и скажи, как называется эта игра? Хочешь прекратить пытку: скажи всю правду — и страсти нет, я покоен, буду сам смеяться с тобой и уезжаю завтра же. Я шел, чтоб сказать тебе это…

— Вы не только эгоист, но вы и деспот, брат: я лишь открыла рот, сказала, что люблю — чтоб испытать вас, а вы — посмотрите, что с вами сделалось: грозно сдвинули брови и приступили к допросу. Вы, развитой ум, homme blasé, grand cœur,[112] рыцарь свободы — стыдитесь! Нет, я вижу, вы не годитесь и в друзья! Ну, если я люблю, — решительно прибавила она, понижая голос и закрывая окно, — тогда что?

— Ничего! — сказал он покойным голосом.

---

[112] Примечания: 112
человек многоопытный, великодушный (*фр.*).

Она глядела на него с удивлением: в самом деле — ничего.

— Ты видишь действие доверия, — продолжал он, — я покоен, во мне всё молчит, надежды все, как мухи, умирают…

— Ну, положим, я… люблю, — понизив еще голос, начала она.

— Возьми свое «положим» назад: под ним кроется сомнение, а под сомнением опять надежда.

— Ну, хорошо, я люблю…

— Кого? — сильным шепотом спросил он.

— Опять имя!

— Да, нужно имя — и тогда только я успокоюсь и уеду. Иначе я не поверю, до тех пор не поверю, пока будет тайна…

— Марфинька всё пересказала мне, как вы проповедовали ей свободу любви, советовали не слушаться бабушки, а теперь сами хуже бабушки! Требуете чужих тайн…

— Я ничего не требую, Вера, я прошу только дать мне уехать спокойно: вот всё! Будь проклят, кто стесни твою свободу…

— Сами себя проклинаете: зачем вам имя? Если б бабушка стала беспокоиться об этом, это понятно: она боялась бы, чтоб я не полюбила какого-нибудь «недостойного», по ее мнению,

человека. А вы — проповедник!..

— Разве я запретил бы тебе любить кого-нибудь? если б ты выбрала хоть… Нила Андреевича — мне всё равно! Мне нужно имя, чтоб только убедиться в истине и охладеть. Я знаю, мне сейчас сделается скучно, и я уеду…

Она глубоко задумалась.

— Разве страсть оправдывает всякий выбор?.. — тихо сказала она.

— Всякий, Вера. И тебе повторю то же, что сказал Марфиньке: люби, не спрашиваясь никого, достоин ли он, нет ли, — смело иди…

— А недавно еще в саду вы остерегали меня от гибели!..

— От воров и от собак — а не от страсти!

— И я могу любить кого хочу? — будто шутя говорила она, — не спрашиваясь…

— Ни бабушки, ни общественного мнения…

— Ни вас?..

— Меня меньше всего: я готов способствовать, раздувать твою страсть… Видишь, ты ждала моего великодушия: вот оно! Выбери меня своим поверенным — и я толкну тебя сам в этот огонь…

Она украдкой взглянула на него.

— Имя, Вера, того счастливца?..

— Хорошо, хорошо — после когда-нибудь, ко-

гда…

— Когда уеду? Ах, если б мне страсть! — сказал он, глядя жаркими глазами на Веру и взяв ее за руки. У него опять зашумело в голове, как у пьяного. — Послушай, Вера, есть еще выход из моего положения, — заговорил он горячо, — я боялся намекнуть на него — ты так строга: дай мне страсть! ты можешь это сделать. Забудь свою любовь… если она еще новая, недавняя любовь — и… Нет, нет, не качай головой — это вздор, знаю. Ну, просто, не гони меня, дай мне иногда быть с тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить: я точно деревянный теперь! Везде сон, тупая тоска, цели нет, искусство не дается мне, я ничего для него не делаю. Всякое так называемое «серьезное дело» мне кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь, в какой-нибудь необыкновенный громадный труд, но я на это не способен, — не приготовлен: нет у нас дела! Или чтоб она разлетелась фейерверком, страстью! В тебе всё есть, чтоб зажечь бурю, ты уж зажгла ее: еще одна искра, признак кокетства, обман и… я начну жить…

— А я что же буду делать, — сказала она, — любоваться на эту горячку, не разделяя ее? Вы

бредите, Борис Павлыч!

— Что тебе за дело, Вера? Не отвечай мне, но и не отталкивай, оставь меня. Я чувствую, что не только при взгляде твоем, но лишь — кто-нибудь случайно назовет тебя — меня бросает в жар и холод…

— Чем же это кончится? — не без любопытства спросила она.

— Не знаю. Может быть, с ума сойду, брошусь в Волгу или умру… Нет, я живуч — ничего не будет, но пройдет полгода, может быть, год — и я буду жить… Дай, Вера, дай мне страсть… дай это счастье!..

У него даже губы и язык пересохли.

— Странная просьба, брат, дать горячку! Я не верю страсти — что такое страсть? Счастье, говорят, в глубокой, сильной любви…

— Ложь, ложь! — перебил он.

— Любовь — ложь?

— Да, эта «святая, глубокая, возвышенная любовь» — ложь! Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Это люди придумали, как придумали казенную палату, питейные конторы, моды, карточную игру, балы! Возвышенная любовь — это мундир, в который хотят нарядить страсть, но она беспре-

станно лезет вон и рвет его. Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь — одна, нет двух любвей! Возьми самое вялое создание, студень какую-нибудь, вон купчиху из слободы, вон самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя, — кого хочешь: все непременно чувствовали, кто раз, кто больше — смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно — смотря по воспитанию, но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру сил… это блаженство!..

Он остановился.

— Ну? — с нетерпением сделала она.

— Ну, — продолжал он бурно, едва успевая говорить, — на остывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благодарное воспоминание к прошлому, тишина! И эту-то тишину, этот след люди и назвали — святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла… Видишь ли, Вера, как прекрасна страсть, что даже один след ее кладет яркую печать на всю жизнь, и люди не решаются сознаться в правде — то есть, что любви уже нет, что они

были в чаду, не заметили, прозевали ее, упиваясь, и что потом вся жизнь их окрашена в те великолепные цвета, которыми горела страсть!.. Эта окраска — и есть и любовь, и дружба, и та крепкая связь, которая держит людей вместе иногда всю жизнь… Нет, ничто в жизни не дает такого блаженства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбия, никакие богатства Шехерезады, ни даже творческая сила, ничто… одна страсть! Хотела ли бы ты испытать такую страсть, Вера?

Она задумчиво слушала.

— Да, если она такова, как вы ее описываете, если столько счастья в ней…

Она вздрогнула и быстро отворила окно.

— Страсть — это постоянный хмель, без грубой тяжести опьянения, — продолжал он, — это вечные цветы под ногами. Перед тобой — идол, которому хочется молиться, умирать за него. Тебе на голову валятся каменья, а ты в страсти думаешь, что летят розы на тебя, скрежет зубов будешь принимать за музыку, удары от дорогой руки покажутся нежнее ласк матери. Заботы, дрязги жизни, всё исчезает — одно бесконечное торжество наполняет тебя — одно счастье глядеть вот так… на тебя… (он подошел к ней) — взять за руку (он взял за руку) и чувствовать огонь и силу,

трепет в организме…

Она опять вздрогнула, и он тоже.

— Вера, мне недалеко до этого состояния; еще один ласковый взгляд, пожатие руки — и я живу, блаженствую… Скажи, что мне делать?

Она молчала.

— Вера!

Она медленно опомнилась от задумчивости, с которою слушала его, обернулась к нему, ласково, почти нежно взяла его за руку и грудным шепотом, с мольбой сказала:

— Уезжайте отсюда!

Он встал как раненый.

— Ты злая, Вера. Хорошо — так скажи имя?

— Имя? Какое? — с удивлением, совсем очнувшись, повторила она.

— И от кого письмо на синей бумаге? — прибавил он.

Она оглядела его насмешливо с ног до головы.

— Я никого не люблю, — сказала она громко, — я выдумала, так, от скуки…

— А письмо?

— От попадьи! — проговорила она с иронией.

— И больше ничего не скажешь?

— Скажу всё то же.

— Что?

— Уезжайте!

— Так не уеду же! — холодно сказал он.

Она продолжительно поглядела на него.

— Ваша воля: вы у себя! — отвечала она и с покорной иронией склонила голову. — А теперь, извините меня, мне хочется пораньше встать! — ласково, почти с улыбкой, прибавила она.

«Гонит!» — с горечью подумал он и не знал, что сказать, как вдруг кто-то взялся за ручку замка снаружи.

IX

— Кто там? — спросили оба.

Дверь отворилась, и показалось задумчивое лицо Василисы.

— Это я, — тихо сказала она, — вы здесь, Борис Павлович? Вас спрашивают, пожалуйте поскорей, людей в прихожей никого нет. Яков ко всенощной пошел, а Егорку за рыбой на Волгу послали… Я одна там с Пашуткой.

— Кто меня спрашивает?

— Жандарм от губернатора: просит губернатор пожаловать, если можно, теперь к нему, а если нельзя, так завтра пораньше: нужно, говорит, очень…

— Что такое там? — с удивлением сказал Райский, — ну хорошо, скажи — буду…

— Пожалуйте поскорее, — упрашивала Василиса, — там еще вот этот гость пришел…

— Кто еще?

— Да вот… взлызастый такой…

— Какой «взлызастый»?

— Вот что, слышь, плетьми будут сечь… В зале расселся, ждет вас, а барыня с Марфой Васильевной еще не воротились из города…

— Что это, Василиса, ты не спросила, как его зовут!..

— Сказывал он, да забыла.

Райский и Вера с недоумением поглядели друг на друга.

— Черт знает! какой-нибудь гость из города — какая тоска!

— Нет, это вот этот, что ночевал пьяный у вас…

— Марк Волохов, что ли?

Вера сделала движение.

— Подите скорей — узнайте, зачем он? — сказала она.

— Чего ты испугалась? Ведь он не собака, не мертвец, не вор, а так, беспутный бродяга…

— Идите, идите, — торопила Вера, не слушая его. — Это любопытно…

— Скорее, Борис Павлыч, пожалуйте! — торопила и Василиса, — мы с Пашуткой заперлись от него на ключ.

— Это зачем?

— Боимся.

— Чего?

— Так, боимся. Я уж из окна вылезла на дворик и перелезла сюда. Как бы он там не стянул чего-нибудь!

Райский засмеялся и пошел с ней. Он отпустил

жандарма, сказавши, что приедет через час, потом пошел к Марку и привел его в свою комнату.

— Что, ночевать пришли? — спросил он Волохова.

Он уж с ним говорил не иначе как иронически. Но на этот раз у Марка было озабоченное лицо. Однако когда принесли свечи и он взглянул на взволнованное лицо Райского, то засмеялся, по-своему, с холодной злостью.

— Ну вот, а я думал, что вы уж уехали! — сказал он насмешливо.

— Еще успею, — небрежно заметил Райский.

— Нет, уж теперь поздно: вон какие у вас глаза!

— А что глаза, ничего! — говорил Райский, глядясь в зеркало.

— И похудели: корь уж выступает.

— Полноте вздор говорить, — отвечал Райский, стараясь не глядеть на него, — скажите лучше, зачем вы пришли опять к ночи?

— Ведь я ночная птица: днем за мной уж очень ухаживают. Меньше позора на дом бабушки. Славная старуха — выгнала Тычкова!

Он опять вдруг сделался серьезен.

— Я к вам за делом, — сказал он.

— У вас дело? — заметил Райский, — это лю-

бопытно.

— Да, больше, нежели у вас. Вот видите: я был нынче в полиции, то есть не сам конечно, с визитом, частный пристав пригласил и даже подвез на паре серых лошадей.

— Это зачем: случилось что-нибудь?

— Пустяки: я тут кое-кому книги раздавал…

— Какие книги? Мои, что у Леонтья брали?

— И их, и другие еще — вот тут написано какие.

Он подал ему бумажку.

— Кому же вы раздавали?

— Всем, больше всего молодежи: из семинарии брали, из гимназии — учитель один…

— Разве у них нечего читать?

— Как нечего! Вон Козлов читает пятый год Саллюстия, Ксенофонта да Гомера с Горацием: один год с начала до конца, а другой от конца до начала — все прокисли было здесь… В гимназии плесень завелась.

— Разве новых книг нет у них?

— Есть: вон другой осел, словесник, угощает их то Карамзиным, то Пушкиным. Мозги-то у них у всех пресные…

— Так вы посолить захотели — чем же, посмотрим!

— Ох, как важно произнесли: «посмотрим!» Живой Нил Андреич!

Райский пробежал бумажку и уставил на Марка глаза.

— Ну что вы выпучили на меня глаза?

— Вы им давали эти книги?

— Да, а что?

Райский продолжал с изумлением глядеть на Марка.

— Эти книги молодым людям! — прошептал он.

— Да вы, кажется, в Бога веруете? — спросил Марк.

Райский всё глядел на него.

— Не были ли вы сегодня у всенощной? — спросил опять холодно Марк.

— А если был?

— Ну так немудрено, что вы можете влюбиться и плакать… Зачем же вы выгнали Тычкова: он тоже — верующий!

— Я не спрашиваю вас, веруете ли вы: если вы уж не уверовали в полкового командира в полку, в ректора в университете, а теперь отрицаете губернатора и полицию — такие очевидности, то где вам уверовать в Бога! — сказал Райский. — Обратимся к предмету вашего посещения: какое

вы дело имеете до меня?

— Вот видите: один мальчишка, стряпчего сын, не понял чего-то по-французски в одной книге и показал матери, та отцу, а отец к прокурору. Тот слыхал имя автора и поднял бунт — донес губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли: он под розгой и сказал, что книгу взял у меня. Ну, меня сегодня к допросу…

— Что же вы?

— Что я? — сказал он, с улыбкой глядя на Райского. — Меня спросили, чьи книги, откуда я взял…

— Ну?

— Ну, я сказал, что… у вас: что одни вы привезли с собой, а другие я нашел в вашей библиотеке — вон Вольтера…

— Покорно благодарю: зачем же вы мне сделали эту честь?

— Потому что с тех пор, как вы вытолкали Тычкова, я считаю вас не совсем пропащим человеком.

— Вы бы прежде спросили, позволю ли я — и честно ли это?

— Я — без позволения. А честно ли это, или нет — об этом после. Что такое честность, по-вашему? — спросил он, нахмурившись.

— Об этом тоже — после, а только я не позволю этого.

— Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня…

— И вредно мне: славная логика!

— Вот я до логики-то и добираюсь, — сказал Марк, — только боюсь: не две ли логики у нас?..

— И не две ли честности? — прибавил Райский.

— Вам ничего не сделают: вы в милости у его превосходительства, — продолжал Марк, — да и притом не высланы сюда на житье. А меня за это упекут куда-нибудь в третье место: в двух уж я был. Мне бы всё равно в другое время, а теперь… — задумчиво прибавил он, — мне бы хотелось остаться здесь… на неопределенное время…

— Ну-с? — холодно сделал Райский. — Еще что?

— Еще ничего. Я хотел только рассказать вам, что я сделал, и спросить, хотите взять на себя или нет?

— А если не хочу? И не хочу!

— Ну, нечего делать: скажу на Козлова. Он совсем заплесневел: пусть посидит на гауптвахте, а потом опять примется за греков…

— Нет, уж не примется, когда лишат места и куска хлеба.

— Пожалуй, что и так… не логично! Так уж лучше скажите вы на себя.

— Во имя чего вы требуете от меня этой услуги? Что вы мне?

— Во имя того же, во имя чего занял у вас деньги, то есть мне нужны они, а у вас есть. И тут тоже: вы возьмете на себя, вам ничего не сделают, а меня упекут — надеюсь, это логика!

— А если на меня упадет неприятность?

— Какая? Нил Андреич разбойником назовет, губернатор донесет и вас возьмут на замечание?.. Перестанемте холопствовать: пока будем бояться, до тех пор не вразумим губернаторов…

— Однако сами боитесь сказать на себя!

— Не боюсь, а теперь не хочу уехать отсюда.

— Отчего?

— Ну так, не хочу. После я пойду сам и скажу, что книги мои. Если потом вы какое-нибудь преступление сделаете, скажите на меня: я возьму на себя…

— Как же это брать на себя: странной услуги требуете вы! — говорил Райский в раздумье.

— А вы вот что: попробуйте. Если дело примет очень серьезный оборот, чего, сознайтесь сами, быть не может, тогда уж нечего делать — скажите на меня. Экая досада! — ворчал Марк. — Этот

мальчишка всё испортил. А уж тут было принялись шевелиться…

— Я сейчас к губернатору еду, — сказал Райский, — он присылал. Прощайте!

— А! присылал!

— Что же мне делать, что говорить?

— Губернатор замнет историю, если вы назоветесь героем: он не любит ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя: я под надзором, и он обязан каждый месяц доносить туда, здоров ли я и каково поживаю. Ему всё хочется сбыть меня отсюда, чтобы мне дали разрешение уехать; я у него как бельмо на глазу! Он уж недавно донес, что я «обнаруживаю раскаяние»: если история с книгами пройдет мимо меня, он донесет, что я стал таким благонадежным и доблестным гражданином, какого ни Рим, ни Спарта не производили: меня и выпустят из-под надзора! Следовательно, взявши на себя историю, вы угодите и ему… А впрочем, делайте как хотите! — равнодушно заключил Марк. — Пойдемте, и мне пора!

— Куда же вы — вот двери…

— Нет, дойдемте до вашего сада, я там по горе сойду, мне надо туда… Я подожду на острове у рыбака, чем это кончится.

У обрыва Марк исчез в кустах, а Райский поехал

к губернатору и воротился от него часу во втором ночи. Хотя он поздно лег, но встал рано, чтобы передать Вере о случившемся. Окна ее были плотно закрыты занавесками.

«Спит», — подумал он и пошел в сад.

Он целый час ходил взад и вперед по дорожке, ожидая, когда отдернется лиловая занавеска. Но прошло полчаса, час, а занавеска не отдергивалась. Он ждал, не пройдет ли Марина по двору, но и Марины не видать.

Вскоре у бабушки в спальне поднялась стора, зашипел в сенях самовар, голуби и воробьи начали слетаться к тому месту, где привыкли получать от Марфиньки корм. Захлопали двери, пошли по двору кучера, лакеи, а занавеска всё не шевелилась.

Наконец Улита показалась в подвалах, бабы и девки поползли по двору, только Марины нет. Бледный и мрачный Савелий показался на пороге своей каморки и тупо смотрел на двор.

— Савелий! — кликнул Райский.

Савелий расстановистыми шагами подошел к нему.

— Скажи Марине, чтоб она сейчас дала мне знать, когда встанет и оденется Вера Васильевна.

— Марины нет! — несколько поживее обыкно-

венного сказал Савелий.

— Как нет, где она?

— Уехала еще на заре проводить барышню за Волгу, к попадье.

— Какую барышню: Веру Васильевну?

— Точно так.

Он остолбенел и почти с ужасом глядел на Савелья.

— На чем же они поехали, с кем? — спросил он, помолчав.

— Прохор их завсегда возит в бричке, на буланой лошади.

Райский молчал.

— К вечеру вернутся, — прибавил Савелий.

— Вернутся, ты думаешь, сегодня? — живо спросил Райский.

— Точно так-с, Прохор с лошадью, и Марина тоже. Они проводят барышню, а сами в тот же день назад.

Райский смотрел во все глаза на Савелья и не видал его. Долго еще стояли они друг против друга.

— Еще ничего не прикажете? — медленно спросил Савелий.

— А? что? да, — очнулся Райский, — ты… тоже ждешь Марину?

— Сгинуть бы ей, проклятой! — мрачно сказал Савелий.

— Зачем ты бьешь ее? Я давно хотел посоветовать, чтоб ты перестал, Савелий.

— Я не бью теперь больше.

— Давно ли?

— Вот теперь, как смирно эту неделю живет, так и…

Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли.

— Ступай, мне больше ничего не надо — только не бей, пожалуйста, Марину — дай ей полную свободу: и тебе, и ей лучше будет… — сказал Райский.

Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна Веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, дивясь последним словам Райского.

«Тоже страсть! — думал Райский. — Бедный Савелий! бедный — и я!»

X

С отъездом Веры Райского охватил ужас одиночества. Он чувствовал себя сиротой, как будто целый мир опустел, и он очутился в какой-то бесплодной пустыне, не замечая, что эта пустыня вся в зелени, в цветах, не чувствуя, что его лелеет и греет природа, блистающая лучшей, жаркой порой лета.

Домовитость Татьяны Марковны и порханье Марфиньки, ее пение, живая болтовня с веселым, бодрым, скачущим Викентьевым, иногда приезд гостей, появление карикатурной Полины Карповны, бурливого Опенкина, визиты хорошо одетых и причесанных барынь, молодых щеголей — он не замечал ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было от всех этих лиц и явлений.

Он видел только одно, что лиловая занавеска не колышется, что сторы спущены в окнах, что любимая скамья стоит пустая, что нет Веры — и как будто ничего и никого нет: точно весь дом, вся окрестность вымерли.

Он не хотел любить Веру, да и нельзя, если б хотел: у него отняты все права, все надежды. Ее

нежнейшая мольба, обращенная к нему, была — «уехать поскорей», а он был занят, полон ею, одною ею, и ничем больше!

Даже красота ее, кажется, потеряла свою силу над ним; его влекла к ней какая-то другая сила. Он чувствовал, что связан с ней, не теплыми и многообещающими надеждами, не трепетом нерв, а какою-то враждебною, разжигающею мозг болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви связями.

Его мучила теперь тайна: как она, пропадая куда-то на глазах у всех, в виду, из дома, из сада, потом появляется вновь, будто со дна Волги вынырнувшей русалкой, с светлыми, прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на языке, чуть не в венке из водяных порослей на голове, как настоящая русалка!

И какой опасной, безотрадной красотой блестит тогда ему в глаза эта сияющая, таинственная ночь!

Но если б еще только одно это: а она вполовину открыла ему, что любит, что есть кто-то тут около, кем полна ее жизнь и этот уголок, кем прекрасны эти деревья, это небо, эта Волга.

Но открыв на минуту заветную дверь, она вдруг

своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя с собой ключи от всех тайн: и от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которою живет, — всё увезла! Перед ним опять одна замкнутая дверь!

— Все ключи увезла! — с досадой сказал он в разговоре о Вере с бабушкой про себя.

Но Татьяна Марковна услыхала и вся встрепенулась.

— Какие ключи увезла? — в тревоге спросила она.

Он молчал.

— Говори, — приставала она и начала шарить в карманах у себя, потом в шкатулке. — Какие такие ключи: кажется, у меня все! Марфинька, поди сюда: какие ключи изволила увезти с собой Вера Васильевна?

— Я не знаю, бабушка: она никаких никогда не увозит, разве от своего письменного стола.

— Вот Борюшка говорит, что увезла. Посмотрика у себя и у Василисы спроси: все ли ключи дома, не захватили ли как-нибудь с той вертушкой, Мариной, от которой-нибудь кладовой — поди скорей! Да что ты таишься, Борис Павлович, говори, какие ключи увезла она: видел, что ли,

ты их?

— Да, — с злостью сказал он, — видел! показала, да и спрятала опять…

— Да какие они: с бородкой или вот этакие?..

Она показала ему ключ.

— Ключи от своего ума, сердца, характера, от мыслей и тайн — вот какие!

У бабушки отлегло от сердца.

— Вон оно что! — сказала она и задумалась, потом вздохнула. — Да, в этой твоей аллегории есть и правда. Этих ключей она не оставляет никому. А лучше, если б и они висели на поясе у бабушки!

— А что?

— Да так.

— Скажите мне, бабушка, что такое Вера? — вдруг спросил Райский, подсевши к Татьяне Марковне.

— Ты сам видишь: что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть.

— Да я ничего не вижу.

— И никто не видит: свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего! И бабушка не смей спросить ни о чем: «Нет да нет ничего, не знаю да не ведаю». На руках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у ней на уме, что она любит, что нет.

Если и больна, так не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства не спросит, а только пуще молчит. Не ленива, а ничего не делает: ни сшить, ни по канве, ни музыки не любит, ни в гости не ездит — так, уродилась такая! Я не видала, чтобы она засмеялась от души или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет улыбку, точно грех какой. А чуть что не по ней, расстроена чем-нибудь, сейчас в свою башню спрячется и переживает там и горе, и радость — одна. Вот что!

— Что ж, это хорошо: свой характер, своя воля — это самостоятельность. Дай Бог!

— Вот, «дай Бог!» девушке — своя воля! Ты не натолкуй ей еще этого, Борис Павлыч, серьезно прошу тебя! Умен ты, и добрый, и честный: ты девочкам, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдруг — Бог тебя ведает что!

— Что же такое и кому я брякал, бабушка?

— Как кому? Марфиньке советовал любить, не спросясь бабушки: сам посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала от тебя! Если ты сам вышел из повиновения у меня, зачем же смущать бедную девушку?

— Ах, бабушка, какая вы самовластная женщина: всё свое! Мало ли я спорил с вами о том, что любить по приказу нельзя!..

— Вот, Борюшка, мы выгнали Нила Андреича, а он бы тебе на это отвечал, как следует. Я не сумею. Я знаю только, что ты дичь городишь, да: не погневайся! Это новые правила, что ли?

— Да, бабушка, новые; старый век проходит. Нельзя ему длиться два века. Нужно же и новому прийти!

— Да всё ли хорошо в твоем новом веке?

— Вы рассудите, бабушка: раз в жизни девушки расцветает весна — и эта весна — любовь. И вдруг не дать свободы ей расцвесть: заглушить, отнять свежий воздух, оборвать цветы… За что же и по какому праву вы хотите заставить, например, Марфиньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ее склонности и влечениям?

— А ты спроси Марфиньку, будет ли она счастлива и захочет ли счастья, если бабушка не благословит ее на него?

— Я уж спрашивал.

— Ну, что же?

— Без вас, говорит, ни шагу.

— Вот видишь!

— Да разве это разумно: где же свобода, где права? Ведь она мыслящее существо, человек: зачем же навязывать ей свою волю и свое счастье?..

— Кто навязывал: спроси ее? Если б они у меня

были запуганные или забитые, какие-нибудь несчастные, а ты видишь, что они живут у меня, как птички: делают что хотят…

— Да, это правда, бабушка, — чистосердечно сказал Райский, — в этом вы правы. Вас связывает с ними не страх, не цепи, не молот авторитета, а нежность голубиного гнезда… Они обожают вас — так… Но ведь всё дело в воспитании: зачем наматывать им старые понятия, воспитывать по-птичьи? Дайте им самим извлечь немного соку из жизни… Птицу запрут в клетку, и когда она отвыкнет от воли, после отворяй двери настежь — не летит вон! Я это и нашей кузине Беловодовой говорил: там одна неволя, здесь другая…

— Ничего я ни Марфиньке, ни Верочке не наматывала: о любви и не заикалась никогда, — боюсь и пикнуть, а вижу и знаю, что Марфинька без моего совета и благословения не полюбила бы никого.

— Пожалуй, что и так, — задумчиво сказал Райский.

— И что если б ты или другой успели натолковать ей про эту твою свободу и она бы послушала, так…

— Была бы несчастнейшее создание — верю, бабушка, — и потому, если Марфинька переска-

зала вам мой разговор, то она должна была также сказать, что я понял ее и что последний мой совет был — не выходить из вашей воли и слушаться отца Василья…

— Знаю и это: всё выведала и вижу, что ты ей хочешь добра. Оставь же, не трогай ее: а то выйдет, что не я, а ты навязываешь ей счастье, которого она сама не хочет, — значит, ты сам и будешь виноват в том, в чем упрекал меня: в деспотизме. Ты как понимаешь бабушку, — помолчав, начала она, — если б богач посватался за Марфиньку, с породой, с именем, с заслугами, да не понравился ей — я бы стала уговаривать ее?

— Хорошо, бабушка, я уступаю вам Марфиньку, но не трогайте Веру. Марфинька одно, а Вера другое. Если с Верой примете ту же систему, то сделаете ее несчастной!

— Кто, я? — спросила бабушка. — Пусть бы она оставила свою гордость и доверилась бабушке: может быть, хватило бы ума и на другую систему.

— Не стесняйте только ее, дайте волю. Одни птицы родились для клетки, а другие для свободы… Она сумеет управить своей судьбой одна…

— А разве я мешаю ей? стесняю ее? Она не доверяется мне, прячется, молчит, живет своим

умом. Я даже не прошу у ней «ключей», а вот ты, кажется, беспокоишься!

Она пристально взглянула на него.

Райский покраснел, когда бабушка вдруг так ясно и просто доказала ему, что весь ее «деспотизм» построен на почве нежнейшей материнской симпатии и неутомимого попечения о счастье любимых ею сирот.

— Я только, как полициймейстер, смотрю, чтоб снаружи всё шло своим порядком, а в дома не вхожу, пока не позовут, — прибавила Татьяна Марковна.

— Каково: это идеал, венец свободы! Бабушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вершинах развития, умственного, нравственного и социального! Вы совсем готовый, выработанный человек! И как это вам далось даром, когда мы хлопочем, хлопочем! Я кланялся вам раз, как женщине, кланяюсь опять и горжусь вами: вы велики!

Оба замолчали.

— Скажите, бабушка, что это за попадья и что за связь у них с Верой? — спросил Райский.

— Наталья Ивановна, жена священника. Она училась вместе с Верой в пансионе, там и подружились. Она часто гостит у нас. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая…

— За что же любит ее Вера? Она умная, замечательная женщина, с характером должна быть?

— И! нет, какой характер! Не глупа, училась хорошо, читает много книг и приодеться любит. Поп-то не бедный: своя земля есть. Михайло Иваныч, помещик, любит его — у него там полная чаша! Хлеба, всякого добра — вволю; лошадей ему подарил, экипаж, даже деревьями из оранжерей комнаты у него убирает. Поп умный, из молодых, — только уж очень по-светски ведет себя: привык там в помещичьем кругу. Даже французские книжки читает и покуривает — это уж и не пристало бы к рясе…

— Ну а попадья что? Скажите мне про нее: за что любит ее Вера, если у ней, как вы говорите, даже характера нет?

— А за то и любит, что характера нет.

— Как за то любит? Да разве это можно?

— И очень. Еще учить собирался меня, а не заметил, что иначе-то и не бывает…

— Как так?

— Да так: сильный сильного никогда не полюбит; такие, как козлы, лишь сойдутся, сейчас и бодаться начнут! А сильный и слабый — только и ладят. Один любит другого за силу, а тот…

— За слабость, что ли?

— Да, за гибкость, за податливость, за то, что тот не выходит из его воли.

— Ведь это верно, бабушка: вы мудрец. Да здесь, я вижу, — непочатый угол мудрости! Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать вас и отныне ваш послушный ученик, только прошу об одном — не жените меня. Во всем остальном буду слушаться вас. Ну, так что же попадья?

— Ну, попадья — добрая, смирная курица: лепечет без умолку, поет, охотница шептаться, особенно с Верой: так и щебечет, и всё на ухо. А та только слушает да молчит, редко кивнет головой или скажет слово. Верочкин взгляд, даже каприз — для нее святы. Что та сказала, то только и умно, и хорошо. Ну, Вере этого и надо: ей не друг нужен, а послушная раба. Вот она и есть: от этого она так и любит ее. Зато как и струсит Наталья Ивановна, чуть что-нибудь не угодит: «Прости меня, душечка, милая», начнет целовать глаза, шею — и та ничего!

«Так вот что! — сказал Райский про себя, — гордый и независимый характер — рабов любит! А всё твердит о свободе, о равенстве и моего поклонения не удостоила принять. Погоди же ты!»

— А ведь она любит вас, бабушка, Вера-то? — спросил Райский, желая узнать, любит ли она

кого-нибудь еще, кроме Натальи Ивановны.

— Любит! — с уверенностью отвечала бабушка, — только по-своему. Никогда не показывает и не покажет! А любит, — пожалуй, хоть умереть готова.

«А что, может быть, она и меня любит, да только не показывает!» — утешил было себя Райский, но сам же и разрушил эту надежду, как несбыточную.

— Почему же вы знаете, если она не показывает?

— Не знаю и сама почему, а только любит.

— А вы ее?

— Люблю, — вполголоса сказала бабушка, — ох, как люблю! — прибавила она со вздохом, и даже слезы было показались у нее, — она и не знает: авось, узнает когда-нибудь…

— А заметили ли вы, что Вера с некоторых пор как будто… задумчива? — нерешительно спросил Райский, в надежде, не допытается ли как-нибудь от бабушки разрешения своего мучительного «вопроса» о синем письме.

— А ты заметил?

— Нет… так… она что-то… Ведь я не знаю, какая она вообще, только как будто того…

— Что ж это за любовь, если б я не заметила!

Уж не одну ночь не спала я и думаю, отчего она с весны такая странная стала? То повеселеет, то задумается; часто капризничает, иногда вспылит. Замуж пора ей — вот что! — почти про себя прибавила Татьяна Марковна. — Я спрашивала доктора, тот всё на нервы: дались им эти нервы — и что это за нервы такие? Бывало и доктора никаких нерв не знали. Поясница — так и говорили, что поясница болит или под ложечкой: от этого и лечили. А теперь всё пошли нервы! Вон, бывало, кто с ума сойдет: спятил, говорят, сердечный — с горя, что ли, или из ума выжил, или спился, а нынче говорят: мозги как-то размягчились…

— Не влюблена ли? — вполголоса сказал Райский — и раскаялся: хотелось бы назад взять слово, да поздно.

В бабушку точно камнем попало.

— Господи спаси и помилуй! — произнесла она, перекрестившись, точно молния блеснула перед ней, — этого горя только недоставало!

— Вот нашли горе: ей счастье, а вам горе!

— Не шути этим, Борюшка: сам сказал сейчас, что она не Марфинька! Пока Вера капризничает без причины, молчит, мечтает одна — Бог с ней! А как эта змея, любовь, заберется в нее, тогда с ней не сладишь! Этого «рожна» я и тебе, не только

девочкам моим, не пожелаю. Да ты это с чего взял: говорил, что ли, с ней, заметил что-нибудь? Ты скажи мне, родной, всю правду! — умоляющим голосом прибавила она, положив ему на плечо руку.

— Ничего, бабушка, Бог с вами, успокойтесь: я так, просто «брякнул», как вы говорите, а вы уж и встревожились, как давеча о ключах…

— Да, «ключи», — вдруг ухватилась за слово бабушка и даже изменилась в лице, — эта аллегория — что она значит? Ты проговорился про какой-то ключ от сердца: что это такое, Борис Павлыч, — ты не мути моего покоя, скажи, как на духу, если знаешь что-нибудь?

Райскому досадно стало на себя, и он всеми силами старался успокоить бабушку и отчасти успел.

— Я заметил то же, что и вы, — говорил он, — не больше. Ну скажет ли она мне, если от всех вас таится? Я даже, видите, не знал, куда она ездит, что это за попадья такая, — спрашивал, спрашивал — ни слова! Вы же мне рассказали.

— Да, да, не скажет, это правда — от нее не добьешься! — прибавила успокоенная бабушка, — не скажет! Вот та шептунья, попадья, всё знает, что у ней на уме: да и та скорей умрет, а

не скажет ее секретов. Свои сейчас разроняет, только подбирай, а ее — Боже сохрани!

Оба замолчали.

— Да и в кого бы тут влюбиться? — рассуждала бабушка, — не в кого.

— Не в кого? — живо спросил Райский. — Никого нет такого?..

Татьяна Марковна покачала головой.

— Разве лесничий… — сказала она задумчиво, — хороший человек! Он, кажется, не прочь, я замечаю… Славная бы партия Вере… да…

— Да что?

— Да она-то мудреная такая — Бог знает — как приступиться к ней, как посвататься! А славный, солидный и богатый: одного лесу будет тысяч…

— Лесничий! — повторил Райский, — какой лесничий? Что он за человек? молодой, образованный, замечательный?..

Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна приехала и спрашивает, расположен ли Борис Павлович рисовать ее портрет.

— И поговорить не даст — принесла нелегкая! — ворчала бабушка. — Проси, да завтрак чтоб был готов.

— Откажите, бабушка, зачем? Потрудись, Василиса, сказать, что я до приезда Веры Васильевны

портрета писать не стану.

Василиса пошла и воротилась.

— Требует вас туда: нейдет из коляски, — сказала она.

XI

Неизвестно, что говорила Райскому Полина Карповна, но через пять минут он взял шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонам, помчала его, сначала по главным улицам, гордясь своей победой, и потом, как военную добычу, привезла домой.

Райский с любопытством шел за Полиной Карповной в комнаты, любезно отвечал на ее нежный шепот, страстные взгляды. Она молила его признаться, что он неравнодушен к ней, на что он в ту же минуту согласился, и с любопытством ждал, что из этого будет.

— О, я знала, я знала — видите! Не я ли предсказывала? — ликуя, говорила она.

Она начала с того, что сейчас опустила сторы, сделала полумрак в комнате и полусела или полулегла на кушетке, к свету спиной.

— Да, я знала это: о, с первой минуты я видела, que nous nous convenons — да, cher m-r Boris,[113] — не правда ли?

Она пришла в экстаз, не знала, где его посадить,

---

[113] Примечания: 113

что мы подходим друг другу — да, дорогой Борис (*фр.*).

велела подать прекрасный завтрак, холодного шампанского, чокалась с ним и сама цедила по капле в рот вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась веером. Потом позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимает; вошел человек в комнату, она повторила то же и велела опустить сторы даже в зале.

Она сидела в своей красивой позе, напротив большого зеркала, и молча улыбалась своему гостю, млея от удовольствия. Она не старалась ни приблизиться, ни взять Райского за руку, не приглашала сесть ближе, а только играла и блистала перед ним своей интересной особой, нечаянно показывала «ножки» и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти маневры. Если он подходил к ней, она прилично отодвигалась и давала ему подле себя место.

Он с любопытством смотрел на нее и хотел окончательно решить, что она такое. Он было испугался приготовлений, какими она обстановила его посещение, но с каждым ее движением опасения его рассеивались. По-видимому, добродетели его не угрожала никакая опасность.

«Чего же она хочет от меня?» — догадывался он, глядя на нее с любопытством.

— Скажите мне что-нибудь про Петербург, про

ваши победы: о, их много у вас? да? Скажите, что тамошние женщины — лучше здешних? (она взглянула на себя в зеркало) одеваются с бóльшим вкусом? (и обдернула на себе платье и сбросила с плеча кружевную мантилью).

А плечи у ней были белы и круглы, так что Райский находил их не совсем недостойными кисти.

— Что ж вы молчите: скажите что-нибудь? — продолжала она, дрыгнув не без приятности «ножкой» и спрятав ее под платье.

Потом плутовски взглянула на него, наблюдая, действует ли?

«Что ж она такое: постой, сейчас скажется!..» — подумал он.

— Я всё сказал! — с комическим экстазом произнес он, — мне остается только… поцеловать вас!

Он встал со своего места и подошел к ней решительно.

— M-r Boris! de grâce — oh! oh! — с натянутым смущением сказала она, — que voulez-vous,[114] — нет, ради Бога нет, пощадите, пощадите!

Он наклонился к ней и, по-видимому, хотел привести свое намерение в исполнение. Она замахала руками в непритворном страхе, встала

---

[114] Примечания: 114

— Мсьё Борис! оставьте — о! о! <...> что вы от меня хотите (*фр.*).

с кушетки, подняла стору, оправилась и села прямо, но лицо у ней горело лучами торжества. Она была озарена каким-то блеском — и, опустив томно голову на плечо, шептала сладостно:

— Pitié, pitié![115]

— Grâ-ce, grâ-ce![116] — запел Райский, едва сдерживая смех. — Я пошутил: не бойтесь, Полина Карповна — вы безопасны, клянусь вам…

— О, не клянитесь! — вдруг встав с места, сказала она с пафосом и зажмуриваясь, — есть минуты, страшные в жизни женщины… Но вы великодушны!.. — прибавила, опять томно млея и клоня голову на сторону, — вы не погубите меня…

— Нет, нет, — говорил он, наслаждаясь этой сценой, — как можно губить мать семейства!.. Ведь у вас есть дети — а где ваши дети? — спросил он, оглядываясь вокруг. — Что вы мне не покажете их?

Она сейчас же отрезвилась.

— Их нет… они… — заговорила она.

— Познакомьте меня с ними: я так люблю малюток.

— Нет, pardon, m-r Boris, — их в городе нет…

---

[115] Примечания: 115
— Сжальтесь, сжальтесь! (*фр.*)

[116] Примечания: 116
— Поща-дите, поща-дите! (*фр.*)

— Где же они?

— Они… гостят в деревне у знакомых.

Дело в том, что одному «малютке» было шестнадцать, а другому четырнадцать лет, и Крицкая отправила их к дяде на воспитание, подальше от себя, чтоб они возрастом своим не обличали ее лет.

Райскому стало скучно, и он собрался домой. Полина Карповна не только не удерживала его, но, по-видимому, была довольна, что он уходит. Она велела подавать коляску и непременно хотела ехать с ним.

— И прекрасно, — сказал Райский, — завезите меня в одно место!

Полина Карповна обрадовалась, и они покатили опять по улицам.

К вечеру весь город знал, что Райский провел утро наедине с Полиной Карповной, что не только сторы были опущены, даже ставни закрыты, что он объяснился в любви, умолял о поцелуе, плакал — и теперь страдает муками любви.

Долго кружили по городу Райский и Полина Карповна. Она старалась провезти его мимо всех знакомых, наконец он указал один переулок и велел остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидела у окна жену Леонтья, которая делала зна-

ки Райскому. Полина Карповна пришла в ужас.

— Вы ездите к этой женщине — возможно ли? Я компрометирована! — сказала она. — Что скажут, когда узнают, что я завезла вас сюда? Allons, de grâce, montez vite et partons! Cette femme: quelle horreur![117]

Но Райский махнул рукой и вошел в дом.

«Вот сучок заметила в чужом глазу!» — думал он.

[117] Примечания: 117

Умоляю вас, садитесь скорее и поедемте! Эта женщина: какой ужас! (*фр.*)

XII

Свидание наедине с Крицкой напомнило ему о его «обязанности к другу», на которую он так торжественно готовился недавно и от которой отвлекла его Вера. У него даже забилось сердце, когда он оживил в памяти свои намерения оградить домашнее счастье этого друга.

Леонтья не было дома, и Ульяна Андреевна встретила Райского с распростертыми объятиями, от которых он сухо уклонился. Она называла его старым другом, «шалуном», слегка взяла его за ухо, посадила на диван, села к нему близко, держа его за руку.

Райский едва терпел эту прямую атаку и растерялся в первую минуту от быстрого и неожиданного натиска, который вдруг перенес его в эпоху старого знакомства с Ульяной Андреевной и студенческих шалостей: но это было так давно!

— Что вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь — я не студент, а вы не девочка!.. — упрекнул он ее.

— Для меня вы всё тот же милый студент, шалун, а я для вас та же послушная девочка…

Она вскочила с места, схватила его за руки и три раза повернулась с ним по комнате, как в

вальсе.

— А кто мне платье разорвал, помните?..

Он смотрел на нее, стараясь вспомнить.

— Забыли, как ловили за талию, когда я хотела уйти!.. Кто на коленях стоял? Кто ручки целовал! На-те, поцелуйте, неблагодарный! А я для вас та же Улинька!

— Жаль! — сказал он со вздохом, — ужели вы не забыли старые шалости?

— Нет, нет — всё помню, всё помню! — И она вертела его за руки по комнате.

Ему легче казалось сносить тупое, бесплодное и карикатурное кокетничанье седеющей Калипсо, всё ищущей своего Телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатиром…

А она, с блеском на рыжеватой маковке и бровях, с огнистым румянцем, ярко проступавшим сквозь веснушки, смотрела ему прямо в лицо лучистыми, горячими глазами, с беспечной радостью, отважной решимостью и затаенным смехом.

Он отворачивался от нее, старался заговорить о Леонтье, о его занятиях, ходил из угла в угол и десять раз подходил к двери, чтоб уйти, но чувствовал, что это нелегко сделать.

Он попал будто в клетку тигрицы, которая,

сидя в углу, следит за своей жертвой: и только он брался за ручку двери, она уже стояла перед ним, прижавшись спиной к замку и глядя на него своим смеющимся взглядом без улыбки.

Куда он ни оборачивался, он чувствовал, что не мог уйти из-под этого взгляда, который, как взгляд портретов, всюду следил за ним.

Он сел и погрузился в свою задачу о «долге», думал, с чего начать. Он видел, что мягкость тут не поможет: надо бросить «гром» на эту играющую позором женщину, назвать по имени стыд, который она так щедро льет на голову его друга.

Он молча, холодно осматривал ее с ног до головы, даже позволил себе легкую улыбку презрения.

А она, отворотясь от этого сухого взгляда, обойдет сзади стула и вдруг нагнется к нему и близко взглянет ему в лицо, положит на плечо руки или нежно щипнет его за ухо — и вдруг остановится на месте, оцепенеет, смотрит в сторону глубокозадумчиво или в землю, точно перемогает себя или — может быть — вспоминает лучшие дни, Райского-юношу, потом вздохнет, очнется — и опять к нему…

Он зорко наблюдал ее.

— Что вы так смотрите на меня, не по-преж-

нему, старый друг? — говорила она тихо, точно пела, — разве ничего не осталось на мою долю в этом сердце? А помните, когда липы цвели?

— Я ничего не помню, — сухо говорил он, — всё забыл!

— Неблагодарный! — шептала она и прикладывала руку к его сердцу, потом щипала опять за ухо или за щеку и быстро переходила на другую сторону.

— Разве всё отдали Вере: да? — шептала она.

— Вере? — вдруг спросил он, отталкивая ее.

— Тс-тс — всё знаю — молчите. Забудьте на минуту свою милую…

«Нет, — думал он, — в другой раз, когда Леонтий будет дома, я где-нибудь в углу, в саду, дам ей урок, назову ее по имени и ее поведение, а теперь…»

Он встал.

— Пустите, Ульяна Андреевна: я в другой раз приду, когда Леонтий будет дома, — сухо сказал он, стараясь отстранить ее от двери.

— А вот этого я и не хочу, — отвечала она, — очень мне весело, что вы придете при нем, — я хочу видеть вас одного: хоть на час будьте мой — весь мой… чтоб никому ничего не досталось! И я хочу быть — вся ваша… вся! — страстно шеп-

нула она, кладя голову ему на грудь. — Я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не знала, как заманить. Случай помог мне — вы мой, мой, мой! — говорила она, охватывая его руками за шею и целуя воздух.

«Ну, это — не Полина Карповна, с ней надо принять решительные меры!» — подумал Райский и энергически, обняв за талию, отвел ее в сторону и отворил дверь.

— Прощайте, — сказал он, махнув шляпой, — до свидания! Я завтра…

Шляпа очутилась у ней в руке — и она, нагнув голову, подняла шляпу вверх и насмешливо махала ею над головой.

Он хотел схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже в другой комнате и протягивала шляпу к нему, маня за собой.

— Возьмите! — дразнила она.

Он молча наблюдал ее.

— Дайте шляпу! — сказал он после некоторого молчания.

— Возьмите.

— Отдайте.

— Вот она.

— Поставьте на пол.

Она поставила и отошла к окну. Он вошел к ней

в комнату и бросился к шляпе, а она бросилась к двери, заперла и положила ключ в карман.

Они смотрели друг на друга: Райский — с холодным любопытством, она — с дерзким торжеством, сверкая смеющимися глазами. Он молча дивился красоте ее римского профиля.

«Да, Леонтий прав: это — камея; какой профиль, какая строгая, чистая линия затылка, шеи! И эти волосы так же густы, как бывало…»

Он вдруг вспомнил, зачем пришел, и сделал строгое лицо.

— Понимаете ли вы сами, какую сцену играете? — с холодной важностью произнес он.

— Милый Борис! — нежно говорила она, протягивая руки и маня к себе, — помните сад и беседку? Разве эта сцена — новость для вас? Подите сюда! — прибавила скороговоркой, шепотом, садясь на диван и указывая ему место возле себя.

— А муж? — вдруг сказал он.

— Что муж? Всё такой же дурак, как и был!

— Дурак! — с упреком, возвысив голос, повторил он. — И вы так платите ему за его доброту, за доверие!..

— Да разве его можно любить?

— Отчего же не любить?

— Таких не любят… Подите сюда!.. — шептала

опять.

— Но вы любили же когда-нибудь?

Она отрицательно покачала головой.

— Зачем же вы шли замуж?

— Это совсем другое дело: он взял, я и вышла. Куда ж мне было деться!

— И обманываете целую жизнь, каждый день, уверяете его в любви…

— Никогда не уверяю, да он и не спрашивает. Видите, и не обманываю!

— Но помилуйте, что вы делаете!! — говорил он, стараясь придать ужас голосу.

Она, с затаенным смехом, отважно смотрела на него; глаза у ней искрились.

— Что я делаю!!! — с комическим ужасом передразнила она, — всё люблю вас, неблагодарный, всё верна милому студенту Райскому… Подите сюда!

— Если б он знал! — говорил Райский, боязливо ворочая глазами вокруг и останавливая их на ее профиле.

— Не узнает, а если б и узнал — так ничего. Он дурак!

— Нет, не дурак, а слабый, любящий до слепоты. И вот — его семейное счастье!

— А чем он несчастлив? — вспыхнув, сказала

Ульяна Андревна, — поищите ему другую такую жену. Если не посмотреть за ним, он мимо рта ложку пронесет. Он одет, обут, ест вкусно, спит покойно, знает свою латынь: чего ему еще больше? И будет с него. А любовь не про таких!

— Про каких же?

— Про таких, как вы… Подите сюда!

— Но он вам верит, он поклоняется вам…

— Я ему не мешаю: он муж — чего ж ему еще?

— Ваша ласка, попечения — всё это должно принадлежать ему.

— Всё и принадлежит — разве его не ласкают, противного урода этакого! Попробовали бы вы…

— Зачем же эта распущенность, этот Шарль!..

Она опять вспыхнула.

— Какой вздор — Шарль! кто это вам напел? противная бабушка ваша — вздор, вздор!

— Я сам слышал…

— Что вы слышали?

— В саду, как вы шептались, как…

— Это всё пустое, вам померещилось! М-r Шарль придет, спросит сухарь, стакан красного вина — выпьет и уйдет.

Она отошла к окну и в досаде начала ощипывать листья и цветы в горшках. И у ней лицо стало как маска, и глаза перестали искриться, а

сделались прозрачны, бесцветны — «как у Веры тогда...» — думал он. «Да, да, да — вот он, этот взгляд, один и тот же у всех женщин, когда они лгут, обманывают, таятся... Русалки!»

— Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство... — говорил он.

— Еще что!

— Словом — совесть не угрызает вас, не шепчет вам, как глубоко оскорбляете вы бедного моего друга...

— Какой вздор вы говорите — тошно слушать! — сказала она, вдруг обернувшись к нему и взяв его за руки. — Ну кто его оскорбляет? Что вы мне мораль читаете! Леонтий не жалуется, ничего не говорит... Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой: ему покойно, больше ничего не надо, а мне-то каково без любви! Какая бы другая связалась с ним!..

— Он так вас любит!

— Куда ему? Умеет он любить! Он даже и слова о любви не умеет сказать: выпучит глаза на меня — вот и вся любовь! точно пень! Дались ему книги, уткнет нос в них и возится с ними. Пусть же они и любят его! Я буду для него исправной женой, а любовницей (она сильно потрясла головой) — никогда!

— Да вы новейший философ, — весело заметил Райский, — не смешиваете любви с браком: мужу…

— Мужу — щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой…

— А любовь?

— А любовь… вот кому! — сказала она — и вдруг обвилась руками около шеи Райского, затворила ему рот крепким и продолжительным поцелуем.

Он остолбенел и даже зашатался на месте. А она не выпускала его шеи из объятий, обдавала искрами глаз, любуясь действием поцелуя.

— Постойте… постойте, — говорил он, озадаченный, — вспомните… я друг Леонтья, моя обязанность…

Она затворила ему рот маленькой рукой — и он… поцеловал руку.

«Нет! — говорил он, стараясь не глядеть на ее профиль и жмурясь от ее искристых, широко открытых глаз, — момент настал, брошу камень в эту холодную, бессердечную статую».

Он освободился из ее объятий, поправил смятые волосы, отступил на шаг и выпрямился.

— А стыд — куда вы дели его, Ульяна Андреевна? — сказал он резко.

— Стыд… стыд… — шептала она, обливаясь

румянцем и пряча голову на его груди, — стыд я топлю в поцелуях…

Она опять прильнула к его щеке губами.

— Опомнитесь и оставьте меня! — строго сказал он, — если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя…

— Не говорите, ах, не говорите мне страшных слов… — почти простонала она. — Вам ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого… А вы! Помните?.. Мне страшно, больно, я захвораю, умру… Мне тошно жить, здесь такая скука…

— Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина… — говорил он.

Она судорожно, еще сильнее прижалась к нему, пряча голову у него на груди.

— Ах, — сказала она, — зачем, зачем вы… это говорите?.. Борис — милый Борис… вы ли это…

— Пустите меня! Я задыхаюсь в ваших объятиях! — сказал он, — я изменяю самому святому чувству — доверию друга… Стыд да падет на вашу голову!..

Она вздрогнула, потом вдруг вынула из кармана ключ, которым заперла дверь, и бросила ему в ноги. После этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила

себя обеими руками за голову — и испустила крик, так что Райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство.

— Ульяна Андреевна! опомнитесь, придите в себя! — говорил он, стараясь удержать ее за руки. — Я нарочно, пошутил, виноват!..

Но она не слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти в ладони, и рыдала без слез.

— Что я, где я? — говорила она, ворочая вокруг себя изумленными глазами. — Стыд… стыд… — отрывисто вскрикивала она. — Боже мой, стыд… да, жжет — вот здесь!

Она рвала манишку на себе.

Он расстегнул, или, скорее, разорвал ей платье и положил ее на диван. Она металась, как в горячке, испуская вопли, так что слышно было на улице.

— Ульяна Андреевна, опомнитесь! — говорил он, ставши на колени, целуя ей руки, лоб, глаза.

Она взглядывала мельком на него, делая большие глаза, как будто удивляясь, что он тут, потом вдруг судорожно прижимала его к груди и опять отталкивала, твердя: «Стыд! стыд! жжет… вот здесь… душно…»

Он понял в ту минуту, что будить давно уснув-

ший стыд следовало исподволь, с пощадой, если он не умер совсем, а только заглох: «Всё равно, — подумал он, — как пьяницу нельзя вдруг оторвать от чарки — горячка будет!»

Он не знал, что делать, отпер дверь, бросился в столовую, забежал с отчаяния в какой-то темный угол, выбежал в сад — чтоб позвать кухарку, зашел в кухню, хлопая дверьми, — нигде ни души.

Он захватил ковш воды, прибежал назад: одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну в этом положении — казалось ему жестокостью.

Она всё металась и стонала, волосы у ней густой косой рассыпались по плечам и груди. Он стал на колени, поцелуями зажимал ей рот, унимал стоны, целовал руки, глаза.

Мало-помалу она ослабела, потом оставалась минут пять в забытьи, наконец пришла в себя, остановила на нем томный взгляд и — вдруг дико, бешено стиснула его руками за шею, прижала к груди и прошептала:

— Вы мой… мой!.. Не говорите мне страшных слов… «Оставь угрозы, свою Тамару не брани», — повторила она лермонтовский стих — с томной улыбкой.

«Господи! — застонало внутри его, — что мне

делать!»

— Не станете? — шепотом прибавила она, крепко держа его за голову, — вы мой?

Райский не мог в ее руках повернуть головы, он поддерживал ее затылок и шею: римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этих молящих глаз, полуоткрытых, горячих губ…

Он не отводил глаз от ее профиля, у него закружилась голова… Румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцеловала его, он отдал поцелуй. Она прижала его крепче, прошептала чуть слышно:

— Вы мой теперь: никому не отдам вас!..

Он не бранил, не сказал больше ни одного «страшного» слова… «Громы» умолкли…

XIII

Исполнив «дружескую обязанность», Райский медленно, почти бессознательно шел по переулку, поднимаясь в гору и тупо глядя на крапиву в канаве, на пасущуюся корову на пригорке, на роющуюся около плетня свинью, на пустой, длинный забор. Оборотившись назад, к домику Козлова, он увидел, что Ульяна Андреевна стоит еще у окна и машет ему платком.

— Я сделал всё, что мог, всё! — говорил он, отворачиваясь от окна с содроганием, и прибавил шагу.

Взойдя на гору, он остановился и в непритворном ужасе произнес:

— Боже, Боже мой!

Гамлет и Офелия! вдруг пришло ему в голову, и он закатился смехом от этого сравнения, так что даже ухватился за решетку церковной ограды. Ульяна Андреевна — Офелия! Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся: «Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда!» Так называемая «воля» подшучивает над всеми! «Нет воли у человека, — говорил он, — а есть паралич воли: это к его услугам!» А то, что называют волей, — эту

мнимую силу, так она вовсе не в распоряжении своего господина, «царя природы», а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо, или если он и бывает тверд волей, так разве случайно или там, где он равнодушен.

«Леонтий! — вдруг произнес он, хватаясь за голову, — в каких руках его счастье! какими глазами взгляну я на него! А как тверда была моя воля!»

Как он искренно готовился к своей благородной роли, как улыбалась ему идея долга, какую награду нашел бы он в своем сознании, если б…

«А что было мне делать?» — заключил он вопросом и мало-помалу поднимал голову, выпрямлялся, морщины разглаживались, лицо становилось покойнее.

«Я сделал всё, что мог, всё, что мог! — твердил он, — но вышло не то, что нужно…» — шепнул он со вздохом.

И с этим «но», и с этим вздохом пришел к себе домой, мало-помалу оправданный в собственных глазах, и, к большому удовольствию бабушки, весело и с аппетитом пообедал с нею и с Мар-

финькой.

«Эту главу в романе надо выпустить…» — подумал он, принимаясь вечером за тетради, чтобы дополнить очерк Ульяны Андреевны… — «А зачем: лгать, притворяться, становиться на ходули? Не хочу, оставлю, как есть: смягчу только это свидание… прикрою нимфу и сатира гирляндой…»

Райский прилежно углубился в свой роман. Перед ним как будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки.

«Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой, и только такой! — сказал он, перебирая свои тетради, — он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип; что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица… Что я стану делать с ними? Куда дену еще десять-двадцать типов?..»

«Надо также выделить из себя и слепить и те десять-двадцать типов в статуи, — шепнул кто-то внутри его, — это и есть задача художника, его “дело”, а не “мираж”!»

Он вздохнул.

«Где мне, неудачнику!» — подумал он уныло.

Прошло несколько дней после свидания с Ульяной Андреевной. Однажды к вечеру собралась гроза, за Волгой небо обложилось черными ту-

чами, на дворе парило, как в бане; по полю и по дороге кое-где вихрь крутил пыль.

Всё примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь дом. Везде закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тех, кто ее не боялся, считая это за вольнодумство. Все набожно крестились в доме при блеске молнии, а кто не перекрестится, того называла «пнем». Егорку выгоняла из передней в людскую, потому что он не переставал хихикать с горничными и в грозу.

Гроза приближалась величественно: издали доносился глухой рокот грома, пыль неслась столбом. Вдруг блеснула молния, и над деревней раздался резкий удар грома.

Райский схватил фуражку, зонтик и пошел проворно в сад, с тем чтобы поближе наблюдать картину, поместиться самому в нее, списать детали и наблюдать свои ощущения.

Татьяна Марковна увидела его из окна и постучала ему в стекло.

— Куда это ты, Борис Павлович? — спросила она, подозвав его к окну.

— На Волгу, бабушка, грозу посмотреть.

— В уме ли ты? Воротись!

— Нет, я пойду…

— Говорят, не ходи! — повелительно прибавила она.

Опять блеснула молния, и раздался продолжительный раскат грома. Бабушка в испуге спряталась, а Райский сошел с обрыва и пошел между кустов едва заметной извилистой тропинкой.

Дождь лил как из ведра, молния сверкала за молнией, гром ревел. И сумерки, и тучи погрузили всё в глубокий мрак.

Райский стал раскаиваться в своем артистическом намерении посмотреть грозу, потому что от ливня намокший зонтик пропускал воду ему на лицо и на платье, ноги вязли в мокрой глине, и он, забывши подробности местности, беспрестанно натыкался в роще на бугры, на пни или скакал в ямы.

Он поминутно останавливался и только при блеске молнии делал несколько шагов вперед. Он знал, что тут была где-то, на дне обрыва, беседка, когда еще кусты и деревья, росшие по обрыву, составляли часть сада.

Недавно еще, пробираясь к берегу Волги, мимоходом он видел ее в чаще, но теперь не знал, как пройти к ней, чтобы укрыться там и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу.

Назад идти опять между сплошных кустов, по кочкам и ямам подниматься вверх он тоже не хотел и потому решил протащиться еще несколько десятков сажен до проезжей горы, перелезть там через плетень и добраться по дороге до деревни.

Сапоги у него размокли совсем: он едва вытаскивал ноги из грязи и разросшегося лопуха и крапивы, и, кроме того, не совсем равнодушен был к этому нестерпимому блеску молнии и треску грома над головой.

«Можно бы любоваться грозой из комнаты!» — сознавался он про себя.

Наконец он уткнулся в плетень, ощупал его рукой, хотел поставить ногу в траву — поскользнулся и провалился в канаву. С большим трудом выкарабкался он из нее, перелез через плетень и вышел на дорогу. По этой крутой и опасной горе ездили мало, больше мужики, порожняком, чтобы не делать большого объезда, в телегах, на своих смирных, запаленных, маленьких лошадях, в одиночку.

Райский, мокрый, свернув зонтик под мышкой, как бесполезное орудие, жмурясь от ослепительной молнии, медленно и тяжело шел в гору по скользкой грязи, беспрестанно останавливаясь, как вдруг послышался ему стук колес.

Он прислушался: шум опять раздался невдалеке. Он остановился, стук всё ближе и ближе, слышалось торопливое и напряженное шаганье конских копыт в гору, фырканье лошадей и понукающий окрик человека. Молния блистала уже пореже, и потому, при блеске ее, Райский не мог еще различить экипажа.

Он только посторонился с дороги и уцепился за плетень, чтоб дать экипажу проехать, когда тот поравняется, так как дорога была узка.

Наконец молния блеснула ярко и осветила экипаж, в роде крытой линейки или шарабана, запряженного парой сытых и, как кажется, отличных коней, и группу людей в шарабане.

Опять молния — и Райский остолбенел, узнавши в группе — Веру.

— Вера! — закричал он во весь голос.

Экипаж остановился.

— Кто тут? — спросил ее голос.

— Я.

— Брат! Что вы тут делаете? — с изумлением спросила она.

— А ты что?

— Я возвращаюсь домой.

— И я тоже.

— Вы откуда?

— Да вот тут бродил в обрыве и потерял дорогу в кустах. Иду по горе. А ты как это решилась по такой крутизне? С кем ты? Чьи это лошади? Нельзя ли меня довезти?

— Прошу покорно, места много. Дайте руку, я помогу вам влезть! — сказал мужской голос.

Райский протянул руку, и кто-то сильно втащил его под навес шарабана. Там, кроме Веры, он нашел еще Марину. Обе они, как мокрые курицы, жались друг к другу, стараясь защититься кожаным фартуком от хлеставшего сбоку ливня.

— Кто это с тобой? Чьи лошади, кто правит ими? — спрашивал тихо Райский у Веры.

— Иван Иваныч.

— Какой Иван Иваныч?

— Лесничий! — тихо шепнула она в ответ.

— Лесничий?.. — заговорил Райский, но Вера слегка толкнула его в бок, чтобы он молчал, потому что голова и уши лесничего были у них под носом.

— После! — шепнула она.

«Лесничий!» — думал Райский и припомнил разговор с бабушкой, ее похвалы, намеки на «славную партию».

«Так вот кто герой романа: лесничий — лесничий!» — не помня себя, твердил Райский.

Он старался взглянуть на лесничего. Но перед носом у него тряслась только низенькая шляпа с большими круглыми полями да широкие плечи рослого человека, покрытые мекинтошем. Сбоку он видел лишь силуэт носа и — как казалось ему, бороду.

Лесничий ловко правил лошадьми, карабкавшимися на крутую гору, подстегивал то ту, то другую, посвистывал, забирал круто вожжи, когда они вдруг вздрагивали от блеска молнии, и потом оборачивался к сидящим под навесом.

— Что, Вера Васильевна, каково вам: не озябли ли, не промокли ли вы? — осведомлялся он заботливо.

— Нет, нет, мне хорошо, Иван Иванович: дождь не достает до меня.

— Взяли бы вы мекинтош мой… — предлагал Иван Иванович. — Боже сохрани, простудитесь: век себе не прощу, что взялся везти вас…

— Ах, какие вы — надоели! — с дружеской досадой сказала Вера, — знайте свое дело, правьте лошадьми!

— Как угодно! — с торопливой покорностью говорил Иван Иванович и обращался к лошадям.

Но, посвистав и покричав на них, он, по временам, будто украдкой, оборачивался к Вере

посмотреть, что она.

Объехавши Малиновку, они подъехали к воротам дома Татьяны Марковны.

Лесничий соскочил и начал стучать рукояткой бича в ворота. У крыльца он предоставил лошадей на попечение подоспевшим Прохору, Тараске, Егорке, а сам бросился к Вере, встал на подножку экипажа, взял ее на руки и, как драгоценную ношу, бережно и почтительно внес на крыльцо, прошел мимо лакеев и девок, со свечами вышедших навстречу и выпучивших на них глаза, донес до дивана в зале и тихо посадил ее.

Райский, мокрый, как был в грязи, бросился за ними и не пропустил ни одного его движения, ни ее взгляда.

Потом лесничий воротился в переднюю, снял с себя всю мокрую амуницию, длинные охотничьи сапоги, оправился, отряхнулся, всеми пятью пальцами руки, как граблями, провел по густым волосам и спросил у людей веничка или щетку.

Бабушка между тем здоровалась с Верой и вместе осыпала ее упреками, что она пускается на «такие страсти», в такую ночь, по такой горе, не бережет себя, не жалеет ее, бабушки, не дорожит ничьим покоем и что когда-нибудь она этак «уложит ее в гроб».

За этим, разумеется, последовало приказание поскорей переменить платье и белье, обсушиться, обогреться, подавать самовар, собирать ужин.

— Ах, бабушка, как мне всего хочется! — говорила Вера, ласкаясь, как кошка, около бабушки, — и чаю, и супу, и жаркого, и вина. И Ивану Иванычу тоже. Скорее, милая бабушка!

Она знала, чем бабушку успокоить.

— Сейчас, сейчас — вот и прекрасно: всё, всё — будет! А где ж Иван Иваныч? — Иван Иваныч! — обратилась бабушка к лесничему, — подите сюда, что вы там делаете? — Марфинька, где Марфинька? Что она забилась там к себе?

— Вот сейчас оправлюсь да почищусь, Татьяна Марковна, — говорил голос из передней. Егор, Яков, Степан чистили, терли, чуть не скребли лесничего в передней, как доброго коня.

Он вошел в комнату, почтительно поцеловал руку у бабушки и у Марфиньки, которая теперь только решилась освободить свою голову из-под подушки и вылезть из постели, куда запряталась от грозы.

— Марфинька, иди скорей, — сказала бабушка, — не прятаться надо, а Богу молиться, гром и не убьет!

— Я этого не боюсь, — сказала Марфинька, —

гром бьет всё больше мужиков, — а так, просто страшно!

Райский между тем, мокрый, стоя у окна, устремил на гостя жадный взгляд.

Иван Иванович Тушин был молодец собой. Высокий, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет тридцати осьми, с темными густыми волосами, с крупными чертами лица, с большими серыми глазами, простым и скромным, даже немного застенчивым взглядом и с густой темной бородой. У него были большие загорелые руки, пропорциональные росту, с широкими ногтями.

Одет он был в серое пальто, с глухим жилетом, из-за которого на галстух падал широкий отложной воротник рубашки домашнего полотна. Перчатки белые замшевые, в руках длинный бич с серебряной рукояткой.

«Молодец, красивый мужчина: но какая простота… чтоб не сказать больше… во взгляде, в манерах! Ужели он — герой Веры?..» — думал Райский, глядя на него и с любопытством ожидая, что покажет дальнейшее наблюдение.

«А почему ж нет? — ревниво думал опять, — женщины любят эти рослые фигуры, эти открытые лица, большие здоровые руки — всю эту рабочую силу мышц… Но ужели Вера?..»

— Ты, мой батюшка, что! — вдруг, всплеснув руками, сказала бабушка, теперь только заметившая Райского. — В каком виде! Люди, Егорка! — да как это вы угораздились сойтись? Из какой тьмы кромешной! Посмотри, с тебя течет: лужа на полу! Борюшка! ведь ты уходишь себя! Они домой ехали, а тебя кто толкал из дома? Вот охота пуще неволи! Поди, поди переоденься, — да рому к чаю! — Иван Иваныч! вот и вы пошли бы с ним… Да знакомы ли вы? Внук мой, Борис Павлыч Райский — Иван Иваныч Тушин!..

— Мы уж познакомились, — сказал, кланяясь, Тушин, — на дороге подобрали вашего внука и вместе приехали. Благодарю покорно, мне ничего не нужно. А вот вы, Борис Павлыч, переоделись бы: у вас ноги мокрые!

— Вы уж меня извините, старуху, а вы все, кажется, полоумные, — заговорила бабушка, — в такую грозу и зверь не выползет из своей берлоги!.. Вон, Господи, как сверкает еще до сих пор! Яков, притвори поди ставню поплотнее. А вы — в такой вечер через Волгу!

— Ведь у меня свой крепкий паром, — сказал Тушин, — с крытой беседкой. Вера Васильевна были там, как в своей комнате: ни капли дождя не упало на них.

— Да страсть-то какая: гроза!

— Что ж, гроза: помилуйте, это только старым бабам…

— Покорно благодарю: а я-то кто же? — вдруг сказала бабушка.

Тушин переконфузился.

— Извините, я не нарочно: с языка сорвалось! Я про простых баб…

— Ну, Бог вас простит! — смеясь, сказала бабушка. — Вам — ничего, я знаю. Вон вас каким Господь создал — да Вера-то: как на нее нет страха! Ты что у меня за богатырь такой!

— С Иваном Ивановичем как-то не страшно, бабушка.

— Иван Иваныч медведей бьет, и ты бы пошла?

— Пошла бы, бабушка, посмотреть. Возьмите меня когда-нибудь, Иван Иваныч… Это очень интересно…

— Я с удовольствием… Вера Васильевна: вот зимой, как соберусь, — прикажите только… Это заманчиво.

— Видите, какая! — сказала Татьяна Марковна. — А до бабушки тебе дела нет?..

— Я пошутила, бабушка.

— Ты готова, я знаю! И как это тебе не совестно

было беспокоить Ивана Ивановича? Такую даль — провожать тебя!

— Это уж не они, а я виноват, — сказал Тушин, — я только лишь узнал от Натальи Ивановны, что Вера Васильевна собираются домой, так и стал просить сделать мне это счастье…

Он скромно, с примесью почти благоговения, взглянул на Веру.

— Хорошо счастье — в этакую грозу…

— Ничего, светлее ехать… И Вера Васильевна не боялись.

— А что Анна Ивановна, здорова ли?

— Слава Богу, кланяется вам — прислала вам от своих плодов: персиков из оранжереи, ягод, грибов — там в шарабане…

— На что это? Своих много! Вот за персики большое спасибо — у нас нет, — сказала бабушка. — А я ей какого чаю приготовила! Борюшка привез — я уделила и ей.

— Покорно благодарю!

— И как это в этакую темнять по Заиконоспасской горе на ваших лошадях взбираться! Как вас Бог помиловал! — опять заговорила Татьяна Марковна. — Испугались бы грозы, понесли — Боже сохрани!

— Мои лошади — как собаки — слушаются

меня… Повез ли бы я Веру Васильевну, если б предвидел опасность?

— Вы надежный друг, — сказала она, — зато как я и полагаюсь на вас и даже на ваших лошадей!..

В это время вошел Райский в изящном неглиже, совсем оправившийся от прогулки. Он видел взгляд Веры, обращенный к Тушину, и слышал ее последние слова.

«Полагаюсь на вас и на лошадей! — повторил он про себя, — вот как: рядом!»

— Покорно вас благодарю, Вера Васильевна, — отвечал Тушин. — Не забудьте же, что сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда…

— Когда опять загремит вот этакий гром… — сказала бабушка.

— Всякий! — прибавил он.

— Да, бывают и не этакие грозы в жизни!.. — с старческим вздохом заметила Татьяна Марковна.

— Какие бы ни были, — сказал Тушин, — когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, — спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, который вам послужит… как в сказках сказывают.

— Хорошо, буду помнить! — смеясь, отвечала Вера, — и когда меня, как в сказке, будет уносить какой-нибудь колдун — я сейчас за вами!

XIV

Райский видел этот постоянный взгляд глубокого умиления и почтительной сдержанности, слушал эти тихие, с примесью невольно прорывавшейся нежности, речи Тушина, обращаемые к Вере.

И не одному только ревниво-наблюдательному взгляду Райского или заботливому вниманию бабушки, но и равнодушному свидетелю нельзя было не заметить, что и лицо, и фигура, и движения «лесничего» были исполнены глубокой симпатии к Вере, сдерживаемой каким-то трогательным уважением.

Этот атлет по росту и силе, по-видимому не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк, робел перед красивой, слабой девочкой, жался от ее взглядов в угол, взвешивал свои слова при ней, очевидно сдерживал движения, караулил ее взгляд, не прочтет ли в нем какого-нибудь желания, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжим.

«И это, должно быть, тоже раб!» — подумал Райский и следил за ней, что она.

Он думал, что она тоже выкажет смущение, не

сумеет укрыть от многих глаз своего сочувствия к этому герою; он уже решил наверное, что лесничий — герой ее романа и той тайны, которую Вера укрывала.

«И кому, как не ему, писать на синей бумаге!» — думал он.

Ему любопытно было наблюдать, как она скажется: трепетом, мерцанием взгляда или окаменелым безмолвием.

А ничего этого не было. Вера явилась тут еще в новом свете. В каждом ее взгляде и слове, обращенном к Тушину, Райский заметил прежде всего простоту, доверие, ласку, теплоту, какой он не заметил у ней в обращении ни с кем, даже с бабушкой и Марфинькой.

Бабушки она как будто остерегалась, Марфинькой немного пренебрегала, а когда глядела на Тушина, говорила с ним, подавала руку — видно было, что они друзья.

В ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, Райскому, и которой он добивался и не успел добиться.

Чем же добился ее этот лесничий? Что их связывает друг с другом? Как они сошлись? Сознательно ли, то есть отыскав и полюбив один в другом известную сумму приятных каждому

свойств, или просто угадали взаимно характеры и бессознательно, без всякого анализа, привязались один к другому?

Три дня прожил лесничий по делам в городе и в доме Татьяны Марковны, и три дня Райский прилежно искал ключа к этому новому характеру, к его положению в жизни и к его роли в сердце Веры.

Ивана Ивановича «лесничим» прозвали потому, что он жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе, сам занимался с любовью этим лесом, растил, холил, берег его, с одной стороны, а с другой — рубил, продавал и сплавлял по Волге. Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкою аккуратностью; у него одного в той стороне устроен был паровой пильный завод, и всем заведовал, над всем наблюдал сам Тушин.

В промежутках он ходил на охоту, удил рыбу, с удовольствием посещал холостых соседей, принимал иногда у себя и любил изредка покутить, то есть заложить несколько троек, большею частию горячих лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за сорок к дальнему соседу и там пропировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе или поехать в город, возмутить тишину

сонного города такой громадной пирушкой, что дрогнет всё в городе, потом пропасть месяца на три у себя, так что о нем ни слуху ни духу.

Там он опять рубит и сплавляет лес, или с двумя егерями разрезывает его вдоль и поперек, не то объезжает тройки купленных на ярмарке новых лошадей, или залезет зимой в трущобу леса и выжидает медведя, колотит волков.

Не раз от этих потех Тушин недели по три лежал с завязанной рукой, с попорченным ухарской тройкой плечом, а иногда исцарапанным медвежьей лапой лбом.

Но ему нравилась эта жизнь, и он не покидал ее. Дома он читал увражи по агрономической и вообще по хозяйственной части, держал сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству, но не отдавался ему в опеку, требовал его советов, а распоряжался сам, с помощию двух приказчиков и артелью своих и нанятых рабочих. В свободное время он любил читать французские романы: это был единственный оттенок изнеженности в этой, впрочем обыкновенной, жизни многих обитателей наших отдаленных углов.

Райский узнал, что Тушин встречал Веру у священника и даже приезжал всякий раз нарочно туда, когда узнавал, что Вера гостит у попадьи.

Это сама Вера сказывала ему. И Вера с попадьей бывали у него в усадьбе, прозванной «Дымок», потому что издали, с горы, в чаще леса, она только и подавала знак своего существования выходившим из труб дымом.

Тушин жил с сестрой, старой девушкой, Анной Ивановной — и к ней ездили Вера с попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка; и когда она являлась в город, то Татьяна Марковна была счастлива.

Ни с кем она так охотно не пила кофе, ни с кем не говорила так охотно секретов, находя, может быть, в Анне Ивановне сходство с собой в склонности к хозяйству, а больше всего глубокое уважение к своей особе, к своему роду, фамильным преданиям.

О Тушине с первого раза нечего больше сказать. Эта простая фигура как будто вдруг вылилась в свою форму и так и осталась цельною, с крупными чертами лица, как и характера, с не разбавленным на тонкие оттенки складом ума, чувств.

В нем всё открыто, всё сразу видно для наблюдателя, всё слишком просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать «умный человек» в том смысле, как обыкновенно говорят о людях, замечательно

наделенных этою силою; ни остроумием, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя.

У него был тот ум, который дается одинаково как тонко развитому, так и мужику, ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смысл, который иногда не мешает хозяину его, мысля здраво, уклоняться от здравых путей жизни.

Это ум — не одной головы, но и сердца, и воли. Такие люди не видны в толпе, они редко бывают на первом плане. Острые и тонкие умы, с бойким словом, часто затмевают блеском такие личности, но эти личности, большею частию, бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба.

В обхождении его с Верой Райский заметил уже постоянное монотонное обожание, высказывавшееся во взглядах, словах, даже до робости, а с ее стороны — монотонное доверие, открытое, теплое обращение.

И только. Как ни ловил он какой-нибудь знак, какой-нибудь намек, знаменательное слово, обмененный особый взгляд — ничего! Та же простота, свобода и доверенность с ее стороны, то же

проникнутое нежностию уважение и готовность послужить ей, «как медведь», — со стороны Тушина: и больше ничего!

Опять не он! От кого же письмо на синей бумаге?

— Что это за лесничий? — спросил на другой же день Райский, забравшись пораньше к Вере, — и что он тебе?

— Друг, — отвечала Вера.

— Это слишком общее, родовое понятие. В каком смысле — друг?

— В лучшем и тесном смысле.

— Вот как! Не тот ли это счастливец, на которого ты намекала и которого имя обещала сказать?

— Когда?

— А до твоего отъезда!

— Что-то не помню. Какой счастливец, какое имя? Что я обещала?

— Какая же у тебя дурная память! Ты забыла и письмо на синей бумаге?

— Да, да, помню. Нет, брат, память у меня не дурна, я помню всякую мелочь, если она касается или занимает меня. Но, признаюсь вам, что на этот раз я ни о чем этом не думала, мне в голову не приходил ни разговор наш, ни письмо на синей бумаге…

— Ни я сам, может быть?

Она улыбнулась и кивнула в знак согласия головой.

— Весело же, должно быть, тебе там…

— Да, мне там было хорошо, — сказала она, глядя в сторону рассеянно, — никто меня не допрашивал, не подозревал… так тихо, покойно…

— И притом друг был подле?

Она опять кивнула утвердительно головой.

— Да, он, этот лесничий? — скороговоркой спросил Райский и поглядел на Веру.

Она не слушала его.

За ее обыкновенной, вседневной миной крылась другая. Она усиливалась, и притом с трудом, скрадывать какое-то ликование, будто прятала блиставшую в глазах, в улыбке зарю внутреннего удовлетворения, которым, по-видимому, не хотела делиться ни с кем.

Трепет и мерцание проявлялись реже, недоверчивых и недовольных взглядов незаметно, а в лице, во всей ее фигуре была тишина, невозмутимый покой, в глазах появлялся иногда луч экстаза, будто она черпнула счастья. Райский заметил это.

«Что это за счастье, какое и откуда? Ужели от этого лесного “друга”? — терялся он в догадках. —

Но она не прячется, сама трубит об этой дружбе: где же тайна?»

— Ты счастлива, Вера? — сказал он.

— Чем? — спросила она.

— Не знаю: но как ты ни прячешь свое счастье, оно выглядывает из твоих глаз.

— В самом деле? — с улыбкой спросила она и с улыбкой глядела на Райского и всё задумчиво молчала.

Ей не хотелось говорить. Он взял ее за руку и пожал: она отвечала на пожатие, он поцеловал ее в щеку, она обернулась к нему, губы их встретились, и она поцеловала его — и всё не выходя из задумчивости. И этот так долго ожидаемый поцелуй не обрадовал его. Она дала его машинально.

— Вера! ты под наитием какого-то счастливого чувства, ты в экстазе!.. — сказал он.

— А что? — вдруг спросила она, очнувшись от рассеянности.

— Ничего, но ты будто… одолела какое-то препятствие: не то победила, не то отдалась победе сама, и этим счастлива… Не знаю что: но ты торжествуешь! Ты, должно быть, вступила в самый счастливый момент…

— Ах, как еще далеко до него! — прошептала она про себя.

— Нет, ничего особенного не случилось! — прибавила она вслух, рассеянно, стараясь казаться беззаботной и смотрела на него ласково, дружески.

— Так ты очень любишь этого…

— Лесничего? да, очень! — сказала она, — таких людей немного: он из лучших, даже лучший, здесь.

Опять ревность укусила Райского.

— То есть лучший мужчина: рослый, здоровый, буря ему нипочем, медведей бьет, лошадьми правит, как сам Феб, — и красота — красота!

— Гадко, Борис Павлович!

— Тебе досадно, что низводят с пьедестала любимого человека?

— Какого любимого человека?

— Ведь он — герой тайны и синего письма! Скажи — ты обещала…

— Обещала? Ах да — да, вы всё о том… Да, он: так что же?

— Ничего! — сильно покрасневши, сказал Райский, не ожидавший такого скорого сюрприза. — Сила-то, мышцы-то, рост!.. — говорил он.

— А вы сказали, что страсть всё оправдывает!..

— Я и ничего! — с судорогой в плечах произнес Райский, — видишь, покоен! Ты выйдешь за него

замуж?

— Может быть.

— У него, говорят, лесу на сколько-то тысяч…

— Гадко, Борис Павлович!

— Ну, теперь я могу и уехать.

Он высунулся из окна, кликнул какую-то бабу и велел вызвать Егорку.

— Принеси чемодан с чердака ко мне в комнату: я завтра еду! — сказал он, не замечая улыбки Веры.

— Что ж, я очень рад! — злым голосом говорил он, стараясь не глядеть на нее. — Теперь у тебя есть защитник, настоящий герой, с ног до головы!..

— Человек с ног до головы, — повторила Вера, — а не герой романа!

— Да вяжутся ли у него человеческие идеи в голове? Нимврод, этот прототип всех спортсменов, и Гумбольдт — оба люди… но между ними…

— Я не знаю, какие они были люди. А Иван Иванович — человек, какими должны быть все и всегда. Он что скажет, что задумает, то и исполнит. У него мысли верные, сердце твердое — и есть характер. Я доверяюсь ему во всем, с ним не страшно ничто, даже сама жизнь!

— Вот как! особенно в грозу, и с его лошадь-

ми! — насмешливо добавил Райский. — И весело с ним?

— Да, и весело: у него много природного ума, и юмор есть — только он не блестит, не сорит этим везде…

— Словом, молодец-мужчина! Ну что же, поздравляю, Вера — и затем прощай!

— Куда вы?

— Я завтра рано уеду и не зайду проститься с тобой.

— Почему же?

— Ты знаешь почему: не могу же я быть равнодушен — я не дерево…

Она положила свою руку — ему на руку и, как кошечка, лукаво, с дрожащим от смеха подбородком взглянула ему в глаза.

— А если я не хочу, чтоб вы уезжали?

— Ты?

— Да, я.

— Зачем?

Он жадным взглядом ждал объяснения.

— Угадайте!

— Что же ты хочешь: чтоб я на свадьбе твоей был?

Она всё глядела на него с улыбкой и не снимая с его руки своей.

— Хочу, — сказала она.

— А когда это будет? — сухо спросил он.

Она молчала.

— Вера?

Вдруг она громко засмеялась. Он взглянул на нее: она, против обыкновения, почти хохочет.

«Не он, не он, не лесничий — ее герой! Тайна осталась в синем письме!» — заключил он.

У него отлегло от сердца. Он стал весел, запел, заговорил, посыпалась соль, послышался смех…

— Велите же Егору убрать чемодан, — сказала она.

— Зачем ты остановила меня, Вера? — спросил он. — Скажи правду. Помни, что я покоряюсь всему…

— Всему?

— Да, безусловно. Что бы ты ни сделала со мной, какую бы роль ни дала мне — только не гони с глаз — я всё принимаю…

— Всё?

— Всё! — подтвердил он в слепом увлечении.

— Смотрите, брат, теперь и вы в экстазе! Не раскайтесь после, если я приму…

— Клянусь тебе, Вера, — начал он, вскочив, — нет желания, нет каприза, нет унижения, которого бы я не принял и не выпил до капли, если оно

может хоть одну минуту…

— Довольно. Я принимаю — и вы теперь…

— Твой раб? Да, скажи, скажи…

— Хорошо, — сказала она, поглядев на него «русалочным» взглядом.

— Так мне остаться?..

— Оставайтесь…

— Что за перемена! — говорил он, ликуя, — зачем вдруг ты захотела этого?

— Зачем?..

Она глядела на него, а он упивался этим бархатным, неторопливо смотревшим в его глаза взглядом, полным какого-то непонятного ему значения.

— Затем… чтобы… вам завтра не совестно было самим велеть убрать чемодан на чердак, — скороговоркой добавила она. — Ведь вы бы не уехали!

— Нет, уехал бы.

Она отрицательно покачала головой.

— Даю тебе слово…

— Не уехали бы.

— Отчего так?

— Оттого, что я не хочу.

— Ты, ты, ты, — Вера! хорошо ли я слышу, не ошибаюсь ли я?

— Нет.

— Повтори еще.

— Я не хочу, чтоб вы уехали, — и вы останетесь…

— Зачем? — страстным шепотом спросил он.

— Хочу! — повелительным шепотом подтвердила она.

— Вера, — молчи, ни слова больше! Если ты мне скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идол, твой бог, что ты умираешь, сходишь с ума по мне, — я всему поверю, всему — и тогда…

— Что тогда?

— Тогда не будет в мире дурака глупее меня… Я надоем тебе жестоко.

— Нужды нет, я не боюсь.

— Ты… ты сама позволяешь мне любить тебя — блаженствовать, безумствовать, жить… Вера, Вера!

Он поцеловал у ней руку.

— Вы этого хотели, просили сами, я и сжалилась! — с улыбкой сказала она.

— С тобой случилось что-нибудь, ты счастлива и захотела брызнуть счастьем на другого: что бы ни было за этим, я всё принимаю, всё вынесу — но только позволь мне быть с тобой, не гони, дай остаться…

— Останьтесь, повелеваю! — подтвердила она с

ласковой иронией.

Счастье, как думал он, вдруг упало на него!

«Правду бабушка говорит, — радовался он про себя, — когда меньше всего ждешь, оно и дается! “За смирение”, утверждает она: и я отказался совсем от него, смирился — и вот! О благодетельная судьба!»

Он вышел от Веры опьяневший, в сенях встретил Егорку с чемоданом.

— Назад, назад неси, — сказал он, прибежал в свою комнату, лег на постель и в нервных слезах растопил внезапный порыв волнения.

— Это она — страсть, страсть! — шептал он, рыдая.

Лесничий уехал, всё пришло в порядок. Райский стал глубоко счастлив; его страсть обратилась почти в такое же безмолвное и почтительное обожание, как у лесничего.

Он так же боязливо караулил взгляд Веры, стал бояться ее голоса, заслышав ее шаги, начинал оправляться, переменял две-три позы и в разговоре взвешивал слова, соображая, понравится ли ей то, другое или нет.

Она была тоже в каком-то ненарушимо-тихом торжественном покое счастья или удовлетворения, молча чем-то наслаждалась, была добра,

ласкова с бабушкой и Марфинькой и только в некоторые дни приходила в беспокойство, уходила к себе, или в сад, или с обрыва в рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райский или Марфинька тревожили ее уединение в старом доме или напрашивались ей в товарищи в прогулке. А потом опять была ровна, покойна, за обедом и по вечерам была сообщительна, входила даже в мелочи хозяйства, разбирала с Марфинькой узоры, прибирала цвета шерсти, поверяла некоторые счеты бабушки, наконец, поехала с визитами к городским дамам. С Райским говорила о литературе; он заметил из ее разговоров, что она должна была много читать, стал завлекать ее дальше в разговор, они читали некоторые книги вместе, но не постоянно.

Она часто отвлекалась то в ту, то в другую сторону. В ней даже вспыхивал минутами не только экстаз, но какой-то хмель порывистого веселья. Когда она, в один вечер, в таком настроении исчезла из комнаты, Татьяна Марковна и Райский устремили друг на друга вопросительный и продолжительный взгляд.

— Что это с Верой? — спросила бабушка, — кажется, выздоровела!

— Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала…

— Что ты, Борюшка, видишь, как она весела, совсем другая стала: живая, говорливая, ласковая…

— Да прежняя ли, такая ли она, как всегда была?.. Я боюсь, что это не веселье, а раздражение, хмель…

— Правда, она никогда такой не была — а что?

— Она в экстазе: разве не видите?

— В экстазе! — со страхом повторила Татьяна Марковна. — Зачем ты мне на ночь говоришь: я не усну. Это беда — экстаз в девушке! Да не ты ли чего-нибудь нагородил ей? От чего ей приходить в экстаз? Что же делать?

— Поглядим, что дальше будет!

Бабушка поглядела на Райского тревожными глазами; он засмеялся.

— Тебе всё смешно! — сказала она, — послушай, — строго прибавила потом, — ты там с Савельем и с Мариной, с Полиной Карповной или с Ульяной Андреевной сочиняй какие хочешь стихи или комедии, а с ней не смей! Тебе комедия, а мне трагедия!

XV

Не только Райский, но и сама бабушка вышла из своей пассивной роли и стала исподтишка пристально следить за Верой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякие ключи на столах, не толковала с Савельем, не сводила счетов и не выезжала в поле. Пашутка не спускала с нее, по обыкновению, глаз, а на вопрос Василисы, что делает барыня, отвечала: «Шепчет».

Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чем и как вызвать Веру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, как бы, хоть стороной, узнать и отвратить беду.

«Влюблена! в экстазе!» Это казалось ей страшнее всякой оспы, кори, лихорадки и даже горячки. И в кого бы это было? Дай Бог, чтоб в Ивана Ивановича! Она умерла бы покойно, если б Вера вышла за него замуж.

Но бабушка, по-женски, проникла в секрет их взаимных отношений и со вздохом заключила, что если тут и есть что-нибудь, то с одной только стороны, то есть со стороны лесничего, а Вера пла-

тила ему просто дружбой или благодарностью, как еще вернее догадалась Татьяна Марковна, за «баловство».

— Обожает ее, — говорила она, — а это всегда нравится.

Кто же, кто? Из окрестных помещиков, кроме Тушина, никого нет — с кем бы она видалась, говорила. С городскими молодыми людьми она видится только на бале у откупщика, у вице-губернатора, раза два в зиму, и они мало посещают дом. Офицеры, советники — давно потеряли надежду понравиться ей, и она с ними почти никогда не говорит.

— Не в попа же влюбилась! Ах ты, Боже мой, какое горе! — заключила она.

Так она волновалась, смотрела пристально и подозрительно на Веру, когда та приходила к обеду и к чаю, пробовала было последить за ней по саду, но та, заметив бабушку издали, прибавляла шагу и была такова.

— Вот так в глазах исчезла, как дух! — пересказывала она Райскому, — хотела было за ней, да куда со старыми ногами! Она, как птица, в рощу, и точно упала с обрыва в кусты.

Райский пошел после этого рассказа в рощу, прошел ее насквозь, выбрался до деревни и, встре-

тив Якова, спросил, не видал ли он барышню?

— Вон они там у часовни, сию минуту видел, — сказал Яков.

— Что она там делает?

— Молятся Богу.

Райский пошел к часовне.

— Молиться начала! — в раздумье шептал он.

Между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне, на лугу, уединенная деревянная часовня, почерневшая и полуразвалившаяся, с образом Спасителя, византийской живописи, в бронзовой оправе. Икона почернела от времени, краски местами облупились; едва можно было рассмотреть черты Христа: только веки были полуоткрыты, и из-под них задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сложенные в благословение персты.

Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глубокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная шляпа и зонтик. Ни креста не слагали пальцы ее, ни молитвы не шептали губы, но вся фигура ее, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыхание и немигающий, устремленный на образ взгляд — всё было молитва.

Райский боялся дохнуть.

«О чем молится? — думал он в страхе. — Просит радости или слагает горе у креста, или внезапно застиг ее тут порыв бескорыстного излияния души перед всеутешительным духом? Но какие излияния: души, испытующей силы в борьбе, или благодарной, плачущей за луч счастья?..»

Вера вдруг будто проснулась от молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, заметив Райского.

— Что вы здесь делаете? — спросила она строго.

— Ничего. Я встретил Якова: он сказал, что ты здесь, я и пришел… Бабушка…

— Кстати о бабушке, — перебила она, — я замечаю, что она с некоторых пор начала следить за мною: не знаете ли, что этому за причина?

Она зорко глядела на него. Он покраснел. Они шли в это время к роще, через луг.

— Я думаю, она всегда… — начал он.

— Нет, не всегда… Ей и в голову не пришло бы следить. Послушайте, «раб мой», — полунасмешливо продолжала она, — без всяких увертoк скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мне, то есть о любви, о синем письме?..

— Нет, о синем письме, кажется, ничего не говорил…

— Стало быть, только о любви. Что же сказали вы ей?

Он молчал и даже начал поглядывать к лесу.

— Мне нужно это знать — и потому говорите! — настаивала она. — Вы ведь обещали исполнять даже капризы, а это не каприз. Вы сказали ей? Да? Конечно, вы не скажете «нет»…

— Зачем столько слов? Прикажи — и я выдам тебе все тайны. Был разговор о тебе. Бабушка стала догадываться, отчего ты была задумчива, а потом стала вдруг весела…

— Ну?

— Ну я и сказал только… «не влюблена ли, мол, она?..» Это уж давно.

— Что же бабушка?

— Испугалась!

— Чего?

— Экстаза больше всего.

— А вы и об экстазе сказали?

— Она сама заметила, что ты стала очень весела, и даже обрадовалась было этому…

— А вы испугали ее!

— Нет — я только назвал по имени твое состояние, она испугалась слова «экстаз».

— Послушайте, — сказала она серьезно, — покой бабушки мне дорог, дороже, нежели, может

быть, она думает…

— Нет, — живо перебил Райский, — бабушка верит в твою безграничную к ней любовь, только сама не знает почему. Она мне это говорила.

— Слава Богу! благодарю вас, что вы мне это передали! Теперь послушайте, что я вам скажу, и исполните слепо. Подите к ней и разрушьте в ней всякие догадки о любви, об экстазе, всё, всё. Вам это нетрудно сделать — и вы сделаете, если… любите меня.

— Чего бы я не сделал, чтобы доказать это! Я ужо вечером…

— Нет, сию минуту. Когда я ворочусь к обеду, чтоб глаза ее смотрели на меня, как прежде… Слышите?

— Хорошо, я пойду… — говорил Райский, не двигаясь с места.

— Бегите, сию минуту!

— А ты… домой?

Она указала ему почти повелительно рукой к дому, чтоб он шел.

— Еще одно слово, — остановила она, — никогда с бабушкой не говорите обо мне, слышите?

— Слушаю, сестрица, — сказал он и засмеялся.

— Честное слово?

Он замялся.

— А если она станет… — возразил было он.

— Вы только молчите — честное слово?

— Хорошо.

— Mercі, и бегите теперь к ней.

— Хорошо, бегу… — сказал он и еле-еле шел, оглядываясь.

Она махала ему, чтобы шел скорее, и ждала на месте, следя, идет ли он. А когда он повернул за угол аллеи и потом проворно вернулся назад, чтобы еще сказать ей что-то, ее уже не было.

— Да, правду бабушка говорит: как «дух», пропала! — шепнул он.

В эту минуту вдали, внизу обрыва, раздался выстрел.

— Это кто забавляется? — спрашивал себя Райский, идучи к дому.

Вера явилась своевременно к обеду, и, как ни вонзались в нее пытливые взгляды Райского, — никакой перемены в ней не было. Ни экстаза, ни задумчивости. Она была такою, какою была всегда.

Бабушка раза два покосилась на нее, но, не заметив ничего особенного, по-видимому, успокоилась. Райский исполнил поручение Веры и рассеял ее живые опасения, но искоренить подозрения не мог. И все трое, поговорив о неважных

предметах, погрузились в задумчивость.

Вера даже взяла какую-то работу, на которую и устремила внимание, но бабушка замечала, что она продевает только взад и вперед шелковинку, а от Райского не укрылось, что она в иные минуты вздрагивает или боязливо поводит глазами вокруг себя, поглядывая в свою очередь подозрительно на каждого.

Но через день, через два прошло и это, и когда Вера являлась к бабушке, она была равнодушна, даже умеренно весела, только чаще прежнего запиралась у себя и долее обыкновенного горел у ней огонь в комнате по ночам.

«Что она делает? — вертелось у бабушки в голове, — читать не читает — у ней там нет книг (бабушка это уже знала), разве пишет: бумага и чернильница есть».

Всего обиднее и грустнее для Татьяны Марковны была таинственность: «Тайком от нее девушка переписывается, может быть, переглядывается с каким-нибудь вертопрахом из окна — и кто же? внучка, дочь ее, ее милое дитя, вверенное ей матерью: ужас, ужас! Даже руки и ноги холодеют…» — шептала она, не подозревая, что это от нерв, в которые она не верила.

Она ждала, не откроет ли чего-нибудь случай,

не проговорится ли Марина? Не проболтается ли Райский? Нет. Как ни ходила она по ночам, как ни подозрительно оглядывала и опрашивала Марину, как ни подсылала Марфиньку спросить, что делает Вера: ничего из этого не выходило.

Вдруг у бабушки мелькнула счастливая мысль — доведаться о том, что так ее беспокоило, попытать вывести на свежую воду внучку, — стороной, или «аллегорией», как она выразилась Райскому, то есть примером.

Она вспомнила, что у ней где-то есть нравоучительный роман, который еще она сама в молодости читывала и даже плакала над ним.

Тема его состояла в изображении гибельных последствий страсти и неповиновения родителям. Молодой человек и девушка любили друг друга, но, разлученные родителями, виделись с балкона издали, перешептывались, переписывались.

Сношения эти были замечены посторонними, девушка потеряла репутацию и должна была идти в монастырь, а молодой человек послан отцом в изгнание, куда-то в Америку.

Татьяна Марковна разделяла со многими другими веру в печатное слово вообще, когда это слово было назидательно, а на этот раз, в столь близком ее сердцу деле, она поддалась и некоторой суе-

верной надежде на книгу, как на какую-нибудь ладанку или нашептыванье.

Она вытащила из сундука, из-под хлама, книгу и положила у себя на столе, подле рабочего ящика. За обедом она изъявила обеим сестрам желание, чтоб они читали ей вслух попеременно, по вечерам, особенно в дурную погоду, так как глаза у ней плохи и сама она читать не может.

Это случалось иногда, что Марфинька прочтет ей что-нибудь: но бабушка к литературе была довольно холодна, и только охотно слушала, когда Тит Никоныч приносил что-нибудь любопытное по части хозяйства, каких-нибудь событий вроде убийств, больших пожаров или гигиенических наставлений.

Вера ничего не сказала в ответ на предложение Татьяны Марковны, а Марфинька спросила:

— А конец счастливый, бабушка?

— Дойдешь до конца, так узнаешь, — отвечала та.

— Что это за книга? — спросил Райский вечером. Потом взял, посмотрел и засмеялся.

— Вы лучше «Сонник» купите да читайте! Какую старину выкопали! Это вы, бабушка, должно быть, читали, когда были влюблены в Тита Никоныча…

Бабушка покраснела и рассердилась.

— Оставь глупые шутки, Борис Павлович! — сказала она, — я тебя не приглашаю читать, а им не мешай!

— Да это допотопное сочинение…

— Ну, ты после потопа родился и сочиняй свои драмы и романы, а нам не мешай! Начни ты, Марфинька, а ты, Вера, послушай! Потом, когда Марфинька устанет, ты почитай. Книга хорошая, занимательная!

Вера равнодушно покорилась, а Марфинька старалась заглянуть на последнюю страницу, не говорится ли там о свадьбе. Но бабушка не дала ей.

— Читай с начала — дойдешь: какая нетерпеливая! — сказала она.

Райский ушел, и бабушкина комната обратилась в кабинет чтения. Вере было невыносимо скучно, но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю.

Началось длинное описание, сначала родителей молодого человека, потом родителей девицы, потом история раздора двух фамилий, вроде Монтекки и Капулетти, потом наружности и свойств молодых людей, давно росших и воспитанных вместе, а потом разлученных.

Вечера через три-четыре терпеливого чтения дошли наконец до взаимных чувств молодых людей, до объяснения их, до первого свидания наедине. Вся эта история была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна.

Вера задумывалась. А бабушка, при каждом слове о любви, исподтишка глядела на нее — что она: волнуется, краснеет, бледнеет? Нет: вон зевнула. А потом прилежно отмахивается от назойливой мухи и следит, куда та полетела. Опять зевнула до слез.

На третий день Вера совсем не пришла к чаю, а потребовала его к себе. Когда же бабушка прислала за ней «послушать книжку», Веры не было дома: она ушла гулять.

Вера думала, что отделалась от книжки, но неумолимая бабушка без нее не велела читать дальше и сказала, что на другой день вечером чтение должно быть возобновлено. Вера с тоской взглянула на Райского. Он понял ее взгляд и предложил лучше погулять.

— А после прогулки почитаем, — сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядев на Веру, потому что заметила ее тоскливый взгляд.

Нечего делать, Вера покорилась вполне. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а

мужественно и сосредоточенно слушала вялый рассказ. Райский послушал, послушал и ушел.

— Точно мочалку во сне жует, — сказал он, уходя, про автора и рассмешил надолго Марфиньку.

Вера не зевала, не следила за полетом мух, сидела, не разжимая губ, и сама читала внятно, когда приходила ее очередь читать. Бабушка радовалась ее вниманию.

«Слава Богу, вслушивается, замечает, мотает на ус: авось…» — думала она.

Длинный рассказ всё тянулся о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтоб разлучить их. У Марфиньки навертывались слезы, а Вера улыбалась изредка, а иногда и задумывалась или хмурилась.

«Забирает за живое, — думала Татьяна Марковна. — Слава тебе Господи!»

Наконец — всему бывает конец. В книге оставалось несколько глав; настал последний вечер. И Райский не ушел к себе, когда убрали чай и уселись около стола оканчивать чтение.

Тут был и Викентьев. Ему не сиделось на месте, он вскакивал, подбегал к Марфиньке, просил дать и ему почитать вслух, а когда ему давали, то

он вставлял в роман от себя целые тирады или читал разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, он читал тоненьким, жалобным голосом, а за героя читал своим голосом, обращаясь к Марфиньке, отчего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо.

В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреича. У него отняли книгу и велели сидеть смирно. Тогда он, за спиной бабушки, сопровождал чтение одной Марфиньке видимой мимикой.

Марфинька предательски указала на него тихонько бабушке. Татьяна Марковна выпроводила его в сад погулять до ужина — и чтение продолжалось. Марфинька огорчалась тем, что книги осталось немного, а всё еще рассказывается «жалкое» и свадьбы не предвидится.

— Что тебе за дело, — спросил Райский, — как бы ни кончилось, счастливо или несчастливо…

— Ах, как это можно, я плакать буду, не усну! — сказала она.

Драма гонений была в полном разгаре, родительские увещания, в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях, гремели над головой любящихся.

— Замечай за Верой, — шепнула бабушка Рай-

скому, — как она слушает! История попадает — не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы!..

Дошли до катастрофы: любящихся застали в саду. Герой свил из полотенец и носовых платков лестницу, героиня сошла по ней к нему. Они плакали в объятиях друг друга, как вдруг их осветили факелы гонителей, крики ужаса, негодования, проклятия отца! Героиня в обмороке, герой на коленях перед безжалостным отцом. Потом заточение. Любящимся не дали проститься, взглянуть друг на друга. Через месяц печальный колокол возвещал обряд пострижения в монастыре, а героя мчал корабль из Гамбурга в Америку. Родители остались одни, и потом, скукой и одиночеством, всю жизнь платили за свое жестокосердие. Последнее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчание.

— Экая дичь! — сказал Райский, немного погодя.

Марфинька утирала слезы.

— А ты что скажешь, Верочка? — спросила бабушка.

Та молчала.

— Гадкая книга, бабушка, — сказала Марфинь-

ка, — что они вытерпели, бедные!..

— А что ж делать? Вот, чтоб этого не терпеть, — говорила бабушка, стороной глядя на Веру, — и надо бы было этой Кунигунде спроситься у тех, кто уже пожил и знает, что значат страсти.

Райский насмешливо кивнул ей с одобрением головой.

— А то вот и довели себя до добра, — продолжала бабушка, — если б она спросила отца или матери, так до этого бы не дошло. Ты что скажешь, Верочка?

Вера пошла вон, но на пороге остановилась.

— Бабушка! за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу? — спросила она, держась за дверь, и, не дождавшись ответа, шагнула, как кошка, вон.

Бабушка воротила ее.

— Как — за что? — сказала она. — Я хотела тебе удовольствие сделать…

— Нет, вы хотели за что-то наказать меня. Если я провинюсь в чем-нибудь, вы вперед лучше посадите меня на неделю на хлеб и на воду.

Она оперлась коленом на скамеечку, у ног бабушки.

— Прощайте, бабушка, покойной ночи! — сказала она.

Татьяна Марковна нагнулась поцеловать ее и шепнула на ухо:

— Не наказать, а остеречь хотела я тебя, чтоб ты… не провинилась когда-нибудь…

— А если б я провинилась… — шептала в ответ Вера, — вы заперли бы меня в монастырь, как Кунигунду?

— Разве я зверь, — обидчиво отвечала Татьяна Марковна, — такая же, как эти злые родители, изверги?.. Грех, Вера, думать это о бабушке…

— Знаю, бабушка, что грех, и не думаю… Так зачем же глупой книгой остерегать?

— Чем же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое?.. Скажи, успокой!..

Вера хотела что-то ответить, но остановилась и поглядела с минуту в сторону.

— Перекрестите меня! — сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у ней руку и ушла.

Райский взял книгу со стола.

— Мудрая книга! Что ж, как подействовала прекрасная Кунигунда? — спросил он с улыбкой.

Бабушка болезненно вздохнула в ответ. Ей было не до шуток. Она взяла у него книгу и велела Пашутке отдать в людскую.

— Ну, бабушка, — заметил Райский, — Веру

вы уже наставили на путь. Теперь если Егорка с Мариной прочитают эту «аллегорию» — тогда от добродетели некуда будет деваться в доме!

XVI

Викентьев вызвал Марфиньку в сад, Райский ушел к себе, а бабушка долго молча сидела на своем канапе, погруженная в задумчивость. Уже книга не занимала ее: она отрезвилась от печатной морали и сама внутренно стыдила себя за пошлое средство. Взгляд ее смотрел уже умнее и сознательнее. Она что-то обдумывала, может быть, перебирала старые, уснувшие воспоминания. На лице ее появлялось, для тех, кто умеет читать лица, и проницательная догадка, и умиление, и страх, и жалость.

Между тем Марина, Яков и Василиса по очереди приходили напоминать ей, что ужин подан.

— Не хочу! — отвечала она задумчиво.

Марина пошла звать к ужину барышень.

— Не хочу! — сказала и Вера.

— Не хочу! — сказала, к изумлению ее, и Марфинька, никогда без ужина не ложившаяся.

— Я в постель подам, — предложила она.

— Не хочу! — был ответ.

— Что за чудо! Этого никогда не бывало! Надо барыне доложить, — сказала Марина.

Но, к изумлению ее, Татьяна Марковна не уди-

вилась и в ответ сказала только:

— Убирайте!

Марина ушла, а Василиса молча стала делать барыне постель.

Пока Марина ходила спрашивать, что делать с ужином, Егорка, узнав, что никто ужинать не будет, открыл крышку соусника, понюхал и пальцами вытащил какую-то «штучку» — «попробовать», как объяснил он заставшему его Якову, которого также пригласил отведать.

Яков покачал головой, однако перекрестился, по обыкновению, и тоже пальцами вытащил «штучку» и стал медленно жевать, пробуя.

— Тут, должно быть, есть лавровый лист, — заметил он.

— А вот отведайте этого, Яков Петрович, — говорил Егорка, запуская пальцы в заливных стерлядей.

— Смотри, как бы барыня не спросила! — говорил Яков, вытаскивая другую стерлядь, — и когда Марина вошла, они уже доедали цыпленка.

— Слопали! — с изумлением произнесла она, ударив себя по бедрам и глядя, как проворно уходили Яков и Егорка, оглядываясь на нее, как волки. — Что я утром к завтраку подам?!

И постель сделана, всё затихло в доме, Татьяна

Марковна наконец очнулась от задумчивости, взглянула на образ и не стала, как всегда, на колени перед ним, и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она села на постель и опять задумалась.

«Как остеречь тебя? “Перекрестите!” говорит, — вспоминала она со страхом свой шепот с Верой. — Как узнать, что у ней в душе? Утро вечера мудренее, а теперь лягу…» — подумала потом.

Но ей не суждено было уснуть в ту ночь. Только что она хотела лечь, как кто-то поцарапался к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она с испугом.

— Я, бабушка, — отворите! — говорил голос Марфиньки. Татьяна Марковна отворила.

— Что ты, дитя мое? Проститься пришла — Бог благословит тебя! Отчего ты не ужинала? Где Николай Андреич? — сказала она. Но взглянув на Марфиньку, испугалась.

— Что ты, Марфинька? Что случилось? На тебе лица нет: вся дрожишь? Здорова ли? Испугалась чего-нибудь? — посыпались вопросы.

— Нет, нет, бабушка, ничего, ничего… я пришла… Мне нужно сказать вам… — говорила она, прижимаясь к бабушке в страхе.

— Сядь, сядь… на кресло.

— Нет, бабушка — я сяду к вам, а вы лягте: я всё расскажу — и свечку потушите…

— Да что случилось — ты меня пугаешь…

— Ничего, бабушка, — ляжем поскорей: я всё вам на ушко расскажу…

Бабушка поспешила исполнить ее требование, и Марфинька рассказала ей, что случилось с ней, после чтения, в саду. А случилось вот что.

Когда Викентьев, после чтения, вызвал Марфиньку в сад, между ними нечаянно произошла следующая сцена. Он звал ее в рощу слушать соловья.

— Пока вы там читали — я всё слушал: ах, как поет, как поет — пойдемте! — говорил он.

— Теперь темно, Николай Андреевич, — сказала она.

— Разве вы боитесь?

— Одна боюсь, а с вами нет.

— Так пойдемте! А как хорошо поет — слышите, слышите? отсюда слышно! Тут филин было в дупле начал кричать — и тот замолчал. Пойдемте.

Она стояла на крыльце и сошла в аллею нерешительно. Он подал ей руку. Она шла медленно, будто нехотя.

— Какая темнота: дальше не пойду, не трогайте меня за руку! — почти сердито говорила она, а

сама всё подвигалась невольно, как будто ее вели насильно, хотя Викентьев выпустил ее руку.

— Поближе, сюда! — шептал он.

Она делала два шага, точно ощупью, и останавливалась.

— Еще, еще, не бойтесь!

Она подвигалась еще шаг: сердце у ней билось и от темноты, и от страха.

— Темно, я боюсь… — говорила она.

— Да полноте, чего бояться — здесь никого нет. Вот сюда, еще: смотрите, здесь канава, обопритесь на меня — вот так!

— Что вы, оставьте, я сама!.. — говорила она в испуге, но не успела договорить, как он, обняв ее за талию, перенес через канаву.

Они вошли в рощу.

— Я дальше не пойду ни шагу…

А сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьев под ногой.

— Вот станемте здесь — тише… — шептал он, — слышите?

Соловей лил свои трели. Марфиньку обняло обаяние теплой ночи. Мгла, легкий шелест листьев и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцепенела в молчании и по временам от страха ловила руку Викентьева. А когда он сам

брал ее за руку, она ее отдергивала.

— Как хорошо, Марфа Васильевна, какая ночь! — говорил он.

Она махнула ему рукой, чтоб он не мешал слушать. В ней только что начинала разыгрываться сладость нервного раздражения.

— Марфа Васильевна, — шептал он чуть слышно, — со мной делается что-то такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал… точно всё шевелится во мне…

Она молчала.

— Я теперь вскочил бы на лошадь и поскакал бы во всю мочь, чтоб дух захватывало… Или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону… А с вами, ничего?

Она вздрогнула.

— Что вы, испугались?

— Уйдемте отсюда! Послушали и довольно, а то бабушка рассердится…

— Ах нет — еще минуту, ради Бога… — умолял он.

Она остановилась как вкопанная. Соловей всё заливался.

— О чем он поет? — спросил он.

— Не знаю!

— А ведь что-нибудь да высказывает: не на

ветер же он свищет! Кто-нибудь его слушает…

— Мы — слушаем… — шепнула Марфинька — и слушала.

— Боже мой, какая прелесть!.. Марфа Васильевна… — шепнул Викентьев и задумался.

— Где вы, Николай Андреич? — спросила она. — Что вы молчите? Точно вас нет: тут ли вы?

— Я думаю, соловей поет то самое, что мне хотелось бы сказать теперь, да не умею…

— Ну, говорите по-соловьиному… — сказала она смеясь. — Почем вы знаете, что он поет?

— Знаю.

— Ну, говорите.

— Он поет о любви.

— О какой любви? Кого ему любить?

— Он поет о моей любви… к вам.

Он и сам было испугался своих слов, но вдруг прижал ее руку к губам и осыпал ее поцелуями.

В одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назад, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробежала аллею сада, взбежала на ступени крыльца и остановилась на минуту перевести дух.

Он бросился за ней.

— Ни шагу дальше — не смейте! — сказала она, едва переводя дух и держась за ручку двери. —

Идите домой!

— Марфа Васильевна! ангел, друг…

— Как вы смеете меня так называть: что я — сестра вам или кузина!

— Ангел! прелесть… вы всё для меня! Ей-богу…

— Я закричу, Николай Андреич. Подите домой! — повелительно прибавила она, не переставая дрожать.

— Послушайте, скажите, отчего вы стали не такие… с некоторых пор дичитесь меня, не ходите одни со мной?..

— Мы не дети: пора перестать шалить, — говорила она, — и то бабушка…

— Что бабушка?

— Ничего. Вы слышали, что сейчас читали в книге о Ричарде и Кунигунде: что им за это было? Как же вы позволили себе…

— Этого ничего не было, Марфа Васильевна! Эту книгу сочинил, должно быть, Нил Андреич…

— Идите домой! Бог знает, что люди говорят о нас…

— Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна? — уныло сказал он и даже не поерошил, против обыкновения, волос.

— А разве я вас любила? — с бессознательным кокетством спросила она. — Кто вам сказал, какие

глупости! С чего вы взяли, я вот бабушке скажу!

— Я и сам скажу!

— Что вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня! — задорно и отчасти с беспокойством говорила она. — Что вы это сегодня выдумали! Нашло на вас?..

— Да, нашло. Выслушайте меня, ангел Марфа Васильевна… На коленях прошу…

Он встал на колени.

— Уйду, если станете говорить. Дайте мне только оправиться, а то я перепугаю всех; я вся дрожу… Сейчас же к бабушке!

Он встал, решительно подошел к ней, взял ее за руку и почти насильно увел в аллею.

— Я не хочу, не пойду… вы дерзкий! забываетесь… — говорила она, стараясь нейти за ним и вырывая у него руку, и против воли шла. — Что вы делаете, как смеете! Пустите, я закричу!.. Не хочу слушать вашего соловья!

— Не соловья, а меня слушайте! — сказал он нежно, но решительно. — Я не мальчик теперь — я тоже взрослый: выслушайте меня, Марфа Васильевна!

Она вдруг перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую он продолжал держать, и с бьющимся сердцем и напряженным любопыт-

ством послушно окаменела на месте.

— Вы или бабушка правду сказали: мы больше не дети, и я виноват только тем, что не хотел замечать этого, хоть сердце мое давно заметило, что вы не дитя…

Она было рванула опять свою руку, но он с тихой силой удержал ее.

— Вы взрослая и потому не бойтесь выслушать меня: я говорю не ребенку. Вы были так резвы, молоды, так милы, что я забывал с вами мои лета и думал, что еще мне рано — да мне, по летам, может быть, рано говорить, что я…

— Я уйду: вы что-то опять страшное хотите сказать — как в роще… Пустите! — говорила шепотом Марфинька и дрожала, и рука ее дрожала. — Уйду, не стану слушать, я скажу бабушке всё…

— Непременно, Марфа Васильевна, и сегодня же вечером. Поэтому не бойтесь выслушать меня. Я так сроднился, сблизился с вами, что если нас вдруг разлучить теперь… Вы хотите этого, скажите?

Она молчала.

— Марфа Васильевна, хотите расстаться?

Она молчала, только сделала какое-то движение в темноте.

— Если хотите, расстанемтесь, вот теперь же…

— уныло говорил он. — Я знаю, что будет со мной: я попрошусь куда-нибудь в другое место, уеду в Петербург, на край света, если мне скажут это — не Татьяна Марковна, не маменька моя — они, пожалуй, наскажут, но я их не послушаю, — а если скажете вы. Я сейчас же с этого места уйду и никогда не ворочусь сюда! Я знаю, что уж любить больше в жизни никогда не буду… ей-богу, не буду… Марфа Васильевна!

Она молчала.

— Вы скажите только слово, можно мне любить вас? Если нет — я уеду — вот прямо из сада и никогда…

Вдруг Марфинька заплакала навзрыд и крепко схватила его за руку, когда он сделал шаг от нее.

— Видите, видите! разве вы не ангел! Не правду я говорил, что вы любите меня? Да, любите, любите, любите! — кричал он, ликуя, — только не так, как я вас… нет!

— Как вы смеете… говорить мне это? — сказала она, обливаясь слезами, — это ничего, что я плачу. Я и о котенке плачу, и о птичке плачу. Теперь плачу от соловья: он растревожил меня, да темнота. При свечке или днем — я умерла бы, а не заплакала бы… Я вас любила, может быть, да не знала этого…

— И я почти не знал, что люблю вас… Всё соловей наделал: он открыл наш секрет. Мы так и скажем на него, Марфа Васильевна… И я бы днем ни за какие сокровища не сказал вам… ей-богу, не сказал бы…

— А теперь я вас ненавижу, презираю, — сказала она. — Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу: вам весело…

— Весело! и вам весело, ей-богу, весело — вы так только… Дай Бог здоровья соловью!

— Вы гадкий, нечестный!

— Нет, нет, — перебил он и торопливо поерошил голову, — не говорите этого. Лучше назовите меня дураком, но я честный, честный, честный! — Я никому не позволю усомниться… Никто не смеет!

— А я смею! — задорно сказала Марфинька. — Вы нечестный: вы заставили бедную девушку высказать поневоле, чего она никому, даже Богу, отцу Василью, не высказала бы… А теперь, Боже мой, какой срам!

И этот «божий младенец», по выражению Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаяния.

— Нечестно! нечестно! — твердила она в тоске, — я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что

подумают обо мне? я пропала…

— Друг мой, ангел!..

— Опять вы за свое?

— Вспомните, что вы не дитя! — уговаривал ее Викентьев.

— Как вы странно говорите! — вдруг остановила она его, перестав плакать, — вы никогда не были таким, я вас никогда таким не видала! Разве вы такой, как давеча были, когда с головой ушли в рожь, перепела передразнивали, а вчера за моим котенком на крышу лазили? Давно ли на мельнице нарочно выпачкались в муке, чтоб рассмешить меня? Отчего вы вдруг не такой стали?

— Какой же я стал, Марфа Васильевна?

— Дерзкий — смеете говорить мне такие глупости в глаза…

— А вы сами разве такая, какие были недавно, еще сегодня вечером? Разве вам приходило в голову стыдиться или бояться меня? приходили вам на язык такие слова, как теперь? И вы тоже изменились!

— Отчего же это вдруг случилось?

— Соловей всё объяснил нам: мы оба выросли и созрели сию минуту, вот там, в роще… Мы уж не дети…

— Оттого и нечестно было говорить мне, что вы

сказали. Вы поступили, как ветреник, — нечестно дразнить девушку, вырвать у ней секрет…

— Не век же ему оставаться секретом: когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его…

Она подумала.

— Да, сказала бы, бабушке на ушко, и потом спрятала бы голову под подушку на целый день. А здесь… одни — Боже мой! — досказала она, кидая взгляд ужаса на небо. — Я боюсь теперь показаться в комнату: какое у меня лицо — бабушка сейчас заметит…

— Ангел! прелесть! — говорил он, нагибаясь к ее руке, — да будет благословенна темнота, роща и соловей!

— Прочь, прочь! — повторила она, убегая снова на крыльцо, — вы опять за дерзости! А я думала, что честнее и скромнее вас нет в свете, и бабушка думала то же. А вы…

— Как же было честно поступить мне? Кому мне сказать свой секрет?

— На другое ушко бабушке, и у ней спросить, люблю ли я вас?

— Вы ей нынче всё скажете.

— Это всё не то будет. Я уж виновата перед ней, что слушала вас, расплакалась. Она огорчится, не простит мне никогда, — а всё вы…

— Простит, Марфа Васильевна! обоих простит. Она любит меня…

— Вам кажется, что все вас любят: какое сокровище!

— Она даже говорит, что любит меня как сына…

— Это она так, оттого что вы кушаете много, а она всех таких любит, даже и Опенкина!

— Нет, я знаю, что она меня любит — и если только простит мне мою молодость, так позволит нам жениться!..

— Какой ужас! До чего вы договорились!

Она хотела уйти.

— Марфа Васильевна! сойдите сюда, не бойтесь меня, я буду как статуя…

Она медлила, потом вдруг сама сошла к нему со ступеней крыльца, взяла его за руку и поглядела ему в лицо с строгой важностью.

— Ваша маменька знает о том, что вы мне говорите теперь здесь? — спросила она, — а? знает? говорите, да или нет?

— Нет еще… — тихо сказал он.

— Нет! — со страхом повторила она.

Несколько минут они молчали.

— Как же вы смели говорить мне это? — спросила она потом. — Даже до свадьбы договорились,

а maman ваша не знает! Честно ли это, сами скажите!

— Узнает завтра.

— А если не благословит?

— Я не послушаюсь!

— А я послушаюсь — и без ее согласия не сделаю ни шагу, как без согласия бабушки. И если не будет этого согласия, ваша нога не будет в доме здесь, помните это, m-r Викентьев, — вот что!

Она быстро отвернулась от него плечом и пошла прочь.

— Я уверен в ней, как в себе… в ее согласии.

— И надо было после ее согласия заставить меня плакать!..

— Ужели вы так уйдете, не простите меня за это увлечение?..

— Мы не дети, чтоб увлекаться и прощать. Грех сделан…

— Все грешны: простите, — сегодня в ночь я буду в Колчине, а к обеду завтра здесь — и с согласием. Простите… дайте руку!

— Тогда… может быть… — сказала она, подумавши, потом поглядела на него и подала было руку.

И только он потянулся к ней, она в ужасе отдернула.

— Боже мой! Что еще скажет бабушка! Ступайте

прочь, прочь — и помните, что если maman ваша будет вас бранить, а меня бабушка не простит, вы и глаз не кажите, — я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны!

Она ушла, и он проворно бросился вон из сада.

«Господи! Господи! что скажет бабушка! — думала Марфинька, запершись в своей комнате и трясясь, как в лихорадке. — Что мы наделали! — мучилась она мысленно. — И как я перескажу… что мне будет за это… Не сказать ли прежде Вероч-ке… Нет, нет — бабушке! Кто там теперь у ней?..»

Она волновалась, крестилась, глядя на образ, пока Яков пришел звать ее к ужину.

— Не хочу! — сказала она из-за двери.

Марина пришла.

— Не хочу! — с тоской повторила она. — Что бабушка делает?

— Барыня не ужинали, спать ложатся, — сказала Марина.

Марфинька едва дождалась, пока затихло всё в доме, и, как мышь, прокралась к бабушке.

Долго шептали они, много раз бабушка крестила и целовала Марфиньку, пока наконец та заснула на ее плече. Бабушка тихо сложила ее голову на подушку, потом уже встала и молилась в слезах, призывая благословение на новое сча-

стье и новую жизнь своей внучки. Но еще жарче молилась она о Вере. С мыслью о ней она подолгу склоняла седую голову к подножию креста и шептала горячую молитву.

Ложась осторожно подле спящей Марфиньки, бабушка перекрестила ее опять, а сама подумала:

«Добро бы Вера, а то — Марфинька, как Кунигунда… тоже в саду!.. Точно на смех вышло: это “судьба” забавляется!..»

XVII

Викентьев сдержал слово. На другой день он привез к Татьяне Марковне свою мать и, впустив ее в двери, сам дал «стречка», как он говорил, не зная, что будет, и сидел, как на иголках, в канцелярии.

Мать его, еще почти молодая женщина, лет сорока с небольшим, была такая же живая и веселая, как он, но с большим запасом практического смысла. Между ею и сыном была вечная комическая война на словах.

Они спорили на каждом шагу, за всякие пустяки, — и только за пустяки. А когда доходило до серьезного дела, она другим голосом и другими глазами, нежели как обыкновенно, предъявляла свой авторитет, — и он хотя сначала протестовал, но потом сдавался, если требование ее было благоразумно.

Между ними происходил видимый разлад и существовала невидимая гармония. Таков был наружный образ их отношений.

— Надень это, — скажет Марья Егоровна.

— Как это можно — лучше это, — переговорит он.

— Съезди к Михайлу Андреичу.

— Помилуйте, maman, у него непроходимая скука, — отвечал он.

— Вздор, ты поедешь.

— Нет, maman, ни за что, хоть убейте!

— Николка, будешь ты слушаться?

— Всегда, maman, только не теперь.

Но, однако, если ей в самом деле захочется, он поедет с упреками, жалобами и протестами до тех пор, пока потеряется из вида.

Этот вечный спор шел с утра до вечера между ними, с промежутками громкого смеха. А когда они были уж очень дружны, то молчали как убитые, пока тот или другой не прервет молчания каким-нибудь замечанием, вызывающим непременно противоречие с другой стороны. И пошло опять.

Любовь его к матери наружно выражалась также бурно и неистово, до экстаза. В припадке нежности он вдруг бросится к ней, обеими руками обовьет шею и облепит горячими поцелуями: тут уже между ними произойдет буквально драка.

Она ловит его за уши, дерет, щиплет за щеки, отталкивает, наконец, кликнет толсторукую и толстобедрую ключницу Мавру и велит оттащить прочь «волчонка».

После разговора с Марфинькой Викентьев в ту же ночь укатил за Волгу и, ворвавшись к матери, бросился обнимать и целовать ее по-своему, потом, когда она, собрав все силы, оттолкнула его прочь, он стал перед ней на колени и торжественно произнес:

— Мать! бей, но выслушай: решительная минута жизни настала — я…

— С ума сошел! — досказала она. — Откуда взялся, точно с цепи сорвался! Как смел без спросу приехать? Испугал меня, взбудоражил весь дом: что с тобой? — спрашивала она, оглядывая его с изумлением с ног до головы и оправляя растрепанные им волосы.

— Не угадываешь, мать? — спрашивал он, не без внутреннего страха от каких-нибудь еще неведомых ему препятствий и опровержений.

— Напроказничал что-нибудь: верно, опять под арест хотят посадить? — говорила она, зорко глядя ему в глаза.

Он покачал отрицательно головой.

— За сто верст — не отгадала.

— Ну, говори!

— Скажу, только противоречить не моги!

Она с недоумением, и тоже не без страха, глядела на него, стараясь угадать.

— Задолжал?

Он качал головой.

— Опять не в гусары ли затеял пойти?

— Нет, нет!

— Почем я знаю, какая блажь забралась в тебя? От тебя всё станется! Говори — что?

— Не станешь спорить?

— Стану, потому что, верно, вздор затеял. Сейчас говори.

— Жениться хочу! — чуть слышно сказал он.

— Что? — спросила она, не вслушавшись.

— Жениться хочу!

Она взглянула на него быстро.

— Мавра, Антон, Иван, Кузьма! — закричала она, — все идите скорей сюда, скорей!

Мавра одна пришла.

— Зови всех людей: Николай Андреич помешался!

— Христос с ним — что вы, матушка, испужали до смерти! — говорила Мавра, тыча рукой в воздух.

Викентьев махнул Мавре, чтоб шла вон.

— Я не шучу, мать! — сказал он, удерживая ее за руку, когда она встала.

— Поди прочь, не трогай! — сердито перебила она и начала в волнении ходить взад и вперед

по комнате.

— Я не шучу! — подтвердил он резко, — завтра я должен ответ дать. Что ты скажешь?

— Велю запереть тебя… знаешь куда! — шепнула она, видимо озабоченная.

Он вскочил, и между ними начался один из самых бурных разговоров. Долго ночью слышали люди горячий спор, до крика, почти до визга, по временам смех, скаканье его, потом поцелуи, гневный крик барыни, веселый ответ его — и потом гробовое молчание, признак совершенной гармонии.

Викентьев одержал, по-видимому, победу — впрочем уже подготовленную. Если обманывались насчет своих чувств Марфинька и Викентьев, то бабушка и Марья Егоровна давно поняли, к чему это ведет, но вида друг другу и им не показывали, а сами молча, каждая про себя, давно всё обдумали, взвесили, рассчитали — и решили, что эта свадьба — дело подходящее.

Но Марья Егоровна, по свойству своих отношений к сыну, не могла, как и он, с своей стороны, тоже уступить, а он взять ее согласие иначе как с бою, и притом самого упорного и горячего.

— Еще что Татьяна Марковна скажет! — говорила раздражительно, как будто с досадой уступая,

Марья Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобы ехать в город. — Если она не согласится, я тебе никогда не прощу этого срама! Слышишь?

— Не беспокойся: она любит меня больше родной матери!

— Я вовсе тебя не люблю: отстань, волчонок! — крикнула она, сбоку посмотрев на него.

Он хотел было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтиком.

— Только смей! Если изомнешь шляпку, я не поеду! — прибавила она.

Он присмирел от этой угрозы.

— Туда же: с этих пор жениться! — ворчала она.

Он, не слушая ее, перелез из коляски на козлы и, отняв у кучера вожжи, погнал что есть мочи лошадей.

XVIII

Марья Егоровна разрядилась в шелковое платье, в кружевную мантилью, надела желтые перчатки, взяла веер — и так кокетливо и хорошо оделась, что сама смотрела невестой.

Лишь только Татьяне Марковне доложили о приезде Викентьевой, старуха, принимавшая ее всегда запросто, радушно-дружески, тут вдруг, догадываясь, конечно, после признания Марфиньки, зачем она приехала, приняла другой тон и манеры.

Она велела просить ее подождать в гостиной, а сама бросилась одеваться, приказав Василисе посмотреть в щелочку и сказать ей, как одета гостья. И Татьяна Марковна надела шумящее шелковое с серебристым отливом платье, турецкую шаль, пробовала было надеть массивные брильянтовые серьги, но с досадой бросила их.

— Нейдут, уши заросли! — сказала она.

Велела одеваться Марфиньке, Верочке и приказала мимоходом Василисе достать парадное столовое белье, старинное серебро и хрусталь к завтраку и обеду. Повару, кроме множества блюд, велела еще варить шеколад, послала за конфек-

тами, за шампанским.

Одевшись, сложив руки на руки, украшенные на этот раз старыми, дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она в гостиную и, обрадовавшись, что увидела любимое лицо доброй гостьи, чуть не испортила своей важности, но тотчас оправилась и стала серьезна. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстречу.

— А мой-то сумасшедший что затеял!.. — начала она и остановилась, поглядев на Бережкову, оробела и стояла в недоумении.

Обе они церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диван и села подле нее.

— Какова нынче погода? — спросила Татьяна Марковна, поджимая губы, — на Волге нет ветру?

— Нет, тихо.

— Вы на пароме?

— Нет, в лодке, с гребцами, а коляска на пароме.

— Да, кстати! Яков, Егорка, Петрушка: кто там? Что это вас не дозовешься? — сказала Бережкова, когда все трое вошли. — Велите отложить лошадей из коляски Марьи Егоровны, дать им овса и

накормить кучера.

Все бросились исполнять приказание, хотя и без того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна наряжалась, подвезена под сарай, а кучер балагурил в людской за бутылкой пива.

— Нет, нет, Татьяна Марковна, — говорила гостья, — я на полчаса. Ради Бога, не удерживайте меня: я за делом…

— Кто ж вас пустит? — сказала Татьяна Марковна голосом, не требующим возражения. — Если б вы были здешняя, другое дело, а то из-за Волги! Что мы, первый год знакомы с вами?.. Или обидеть меня хотите?..

— Ах, Татьяна Марковна, я вам так благодарна, так благодарна! Вы лучше родной — и Николая моего избаловали, до того что этот поросенок сегодня мне вдруг дорогой слил пулю: «Татьяна Марковна, говорит, любит меня больше родной матери!» Хотела я ему уши надрать, да на козлы ушел от меня и так гнал лошадей, что я всю дорогу дрожала от страху.

У Татьяны Марковны вся важность опять сбежала с лица.

— А ведь он чуть-чуть не правду сказал, — начала она, — ведь он у меня как свой! Наградил Бог вас сынком…

— Помилуйте, он мне житья не дает: ни шагу без спора и без ссоры не ступит…

— Милые бранятся — только тешатся!

— Вот вы его избаловали, Татьяна Марковна, он и забрал себе в голову…

Марья Егоровна замялась и начала топать ботинкой об пол, оглядывать и обдергивать на себе мантилью. Татьяна Марковна вдруг выпрямилась и опять напустила на себя важность.

— Что такое? — осведомилась она с притворным равнодушием.

— Жениться вздумал: чуть не убил меня до смерти вчера! Валяется по ковру, хватает за ноги… Я браниться, а он поцелуями зажимает рот, и смеется, и плачет…

— В чем же дело? — спросила Бережкова церемонно, едва выслушав эти подробности.

— Просит, молит поехать к вам, просить руки Марфы Васильевны… — конфузливо досказала Марья Егоровна.

Татьяна Марковна, с несвойственным ей жеманством, слегка поклонилась.

— Что я ему скажу теперь? — добавила Викентьева.

— Это такое важное дело, Марья Егоровна, — подумавши, с достоинством сказала Татьяна

Марковна, потупив глаза в пол, — что вдруг решить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже с Марфинькой. Хотя девочки мои из повиновения моего не выходят, но всё я принуждать их не могу…

— Марфа Васильевна согласна: она любит Николеньку…

Марья Егоровна чуть не погубила дело своего сына.

— А почем он это знает? — вдруг, вспыхнув, сказала Татьяна Марковна. — Кто ему сказал?

— Кажется, он объяснился с Марфой Васильевной… — пробормотала сконфуженная барыня.

— За то, что Марфинька отвечала на его объяснение, она сидит теперь взаперти в своей комнате в одной юбке, без башмаков! — солгала бабушка для пущей важности. — А чтоб ваш сын не смущал бедную девушку, я не велела принимать его в дом! — опять солгала она для окончательной важности и с достоинством поглядела на гостью, откинувшись к спинке дивана.

Та тоже вспыхнула.

— Если б я предвидела, — сказала она глубоко обиженным голосом, — что он впутает меня в неприятное дело, я бы отвечала вчера ему иначе. Но он так уверил меня, да и я сама до этой минуты

была уверена — в вашем добром расположении к нему и ко мне! Извините, Татьяна Марковна, и поспешите освободить из заключения Марфу Васильевну… Виноват во всем *мой*: он и должен быть наказан… А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня… Прикажите человеку подавать коляску!..

Она даже потянулась к звонку. Но Татьяна Марковна остановила ее за руку.

— Коляска ваша отложена, кучера, я думаю, мои люди напоили пьяным, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и целую неделю…

— Помилуйте, после того что вы сказали, после гнева вашего на Марфу Васильевну и на моего Колю? Он действительно заслуживает наказания… Я понимаю…

У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины разгладились, и радость засияла в глазах. Она сбросила на диван шаль и чепчик.

— Мочи нет — жарко! Извините, душечка, скиньте мантилью — вот так, и шляпку тоже. Видите, какая жара! Ну… мы их накажем вместе, Марья Егоровна: женим — у меня будет еще внук, а у вас дочь. Обнимите меня, душенька! Ведь я только старый обычай хотела поддержать. Да,

видно, не везде пригожи они, эти старые обычаи! Вон я хотела остеречь их моралью — и даже нравоучительную книгу в подмогу взяла: целую неделю читали-читали, и только кончили, а они в ту же минуту почти всё это и проделали в саду, что в книге написано!.. Вот вам и мораль! Какое сватовство и церемония между нами! Обе мы знали, к чему дело идет, и если б не хотели этого — так не допустили бы их слушать соловья.

— Ах, как вы напугали меня, Татьяна Марковна, не грех ли вам? — сказала гостья, обнимая старушку.

— Не вас бы следовало, а его напугать! — заметила Татьяна Марковна, — вы уж не погневайтесь, а я пожурю Николая Андреича. Послушайте, помолчите — я его постращаю. Каков затейник!

— Как я вам буду благодарна! Ведь я бы не поехала ни за что к вам так скоро, если б он не напугал меня вчера тем, что уж говорил с Марфой Васильевной. Я знаю, как она вас любит и слушается, и притом она дитя. Сердце мое чуяло беду. «Что он ей там наговорил?» — думала я всю ночь — и со страху не спала, не знала, как показаться к вам на глаза. От него не добьешься ничего. Скачет, прыгает, как ртуть, по комнате. Я, признаюсь, и согласилась больше для того, чтоб он отстал,

не мучил меня; думаю, после дам ему нагоняй и назад возьму слово. Даже хотела подучить вас отказать, что будто не я, а вы… Не поверите, всю истрепал, измял! крику что у нас было, шуму — ах ты Господи, какое наказание с ним!

— И я не спала. Моя-то смиренница ночью приползла ко мне, вся дрожит, лепечет: «Что я наделала, бабушка, простите, простите, беда вышла!» Я испугалась, не знала, что и подумать… Насилу она могла пересказать: раз пять принималась, пока кончила.

— Что же у них было? что ей *мой* наговорил?

Татьяна Марковна с усмешкой махнула рукой.

— Уж и не знаю, кто из них лучше — он или она? Как голуби!

Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марфинькой с стенографической верностью. И обе засмеялись сквозь слезы.

— Давно я думаю, что они — пара, Марья Егоровна, — говорила Бережкова, — боялась только, что молоды уж очень оба. А как погляжу на них да подумаю, так вижу, что они никогда старше и не будут.

— С летами придет и ум, будут заботы — и созреют, — договорила Марья Егоровна. — Оба они росли у нас на глазах: где им было занимать

мудрости, ведь не жили совсем!

Викентьев пришел, но не в комнату, а в сад, и выжидал, не выглянет ли из окна его мать. Сам он выглядывал из-за кустов. Но в доме — тишина.

Мать его и бабушка уж ускакали в это время за сто верст вперед. Они слегка и прежде всего порешили вопрос о приданом, потом перешли к участи детей, где и как им жить; служить ли молодому человеку и зимой жить в городе, а летом в деревне — так настаивала Татьяна Марковна и ни за что не соглашалась на предложение Марьи Егоровны — отпустить детей в Москву, в Петербург и даже за границу.

— Испортить хотите их, — говорила она, — чтоб они нагляделись там «всякого нового распутства», нет, дайте мне прежде умереть. Я не пущу Марфиньку, пока она не приучится быть хозяйкой и матерью!

И рассуждая так, они дошли чуть не до третьего ребенка, когда вдруг Марья Егоровна увидела, что из-за куста то высунется, то спрячется чья-то голова. Она узнала сына и указала Татьяне Марковне.

Обе позвали его, и он решился войти, но прежде долго возился в передней, будто чистился, оправлялся.

— Милости просим, Николай Андреич! — ядовито поздоровалась с ним Татьяна Марковна, а мать смотрела на него иронически.

Он быстро взглядывал то на ту, то на другую и ерошил голову.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, — сунулся он поцеловать у ней руку, — я вам привез *концерты* в *билет*… — начал он скороговоркой.

— Что ты мелешь, опомнись… — остановила его мать.

— Ох, билеты в концерт, благотворительный. Я взял и вам, маменька, и Вере Васильевне, и Марфе Васильевне, и Борису Павлычу… Отличный концерт: первая певица из Москвы…

— Зачем нам в концерт? — сказала бабушка, глядя на него искоса, — у нас соловьи в роще хорошо поют. Вот ужо пойдем их слушать даром.

Марья Егоровна закусила от смеха губу. Викентьев сконфузился, потом засмеялся, потом вскочил.

— Я в канцелярию теперь пойду, — сказал он, но Татьяна Марковна удержала его.

— Сядьте, Николай Андреич, да послушайте, что я вам скажу, — серьезно заговорила она.

Он видел, что собирается гроза, и начал метаться в беспокойстве, не зная, чем отвратить ее. Он

поджимал под себя ноги и клал церемонно шляпу на колени или вдруг вскакивал, подходил к окну и высовывался из него почти до колен.

— Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна с тобою говорить хочет, — сказала мать.

— Что ваша совесть говорит вам? — начала пилить Бережкова, — как вы оправдали мое доверие? А еще говорите, что любите меня и что я люблю вас — как сына! А разве добрые дети так поступают? Я считала вас скромным, послушным, думала, что вы сбивать с толку бедную девочку не станете, пустяков ей не будете болтать…

Она остановилась. Он мрачно посмотрел на мать.

— Что! — сказала она, — поделом тебе!

— Татьяна Марковна, я не успел нынче позавтракать: нет ли чего? — вдруг попросил он, — я голоден…

— Видите, какой хитрый! — сказала Бережкова, обращаясь к его матери. — Он знает мою слабость, а мы думали, что он дитя! Не поддели, не удалось: хоть и проситесь в женихи!

Викентьев обернул шляпу вверх дном и забарабанил по ней пальцами.

— Не треплите шляпу: она не виновата, а лучше скажите, с чего это вы вздумали, что за вас

отдадут Марфиньку?

Вдруг у него краска сбежала с лица — он с горестным изумлением взглянул на Татьяну Марковну, потом на мать.

— Послушайте, не шутите со мной, — сказал он в тревоге, — если это шутка, так она жестока. Шутите вы, Татьяна Марковна, или нет?

— А вы как думаете?

— Думаю, что шутите: вы добрая, не то что…

Он поглядел на мать.

— Каков волчонок, Татьяна Марковна!

— Нет: не шутя скажу, что нехорошо сделал, батюшка, что заговорил с Марфинькой, а не со мной. Она дитя, как бывают дети, и без моего согласия ничего бы не сказала. Ну а если б я не согласилась?

— Так вы согласились! — вдруг вспрыгнув, сказал он.

— Погоди, погоди — сядь, сядь! — обе закричали на него.

— С другой бы, может быть, так и надо сделать, а не с ней, — продолжала Татьяна Марковна. — Тебе, сударь, надо было тихонько сказать мне, а я бы сумела лучше тебя допытаться у нее, любит она или нет? А ты сам вздумал…

— Ей-богу, нечаянно… Татьяна Марковна…

— Да не божитесь: даже слушать тошно…

— Всё проклятый соловей наделал…

— Вот теперь «проклятый», а вчера так не знал цены ему!

— Я и не думал, и в голову не приходило — ей-богу… Однако позвольте доложить в свое оправдание вот что, — торопился высказать Викентьев, ерошил голову и смело смотрел в глаза им обеим. — Вы хотите, чтоб я поступил как послушный, благонравный мальчик, то есть съездил бы к тебе, маменька, и спросил твоего благословения, потом обратился бы к вам, Татьяна Марковна, и просил бы быть истолковательницей моих чувств, потом через вас получил бы «да» и при свидетелях выслушал бы признание невесты, с глупой рожей поцеловал бы у ней руку, и оба, не смея взглянуть друг на друга, играли бы комедию, любя с позволения старших… Разве это счастье?

— А по-твоему лучше ночью в саду нашептывать девушке… — перебила мать.

— Лучше, maman: вспомни себя…

— Каков, ах ты! — обе закричали на него, — откуда это у него берется? Соловей, что ли, сказал тебе?

— Да, соловей, он пел, а мы росли: он нам всё

рассказал, и пока мы с Марфой Васильевной будем живы — мы забудем многое, всё, но этого соловья, этого вечера, шепота в саду и ее слез никогда не забудем. Это-то счастье и есть, первый и лучший шаг его — и я благодарю Бога за него и благодарю вас обеих, тебя, мать, и вас, бабушка, что вы обе благословили нас… Вы это сами думаете, да только так, из упрямства, не хотите сознаться: это нечестно…

У него даже навернулись слезы.

— Если б надо было опять начать, я опять вызвал бы Марфиньку в сад… — добавил он.

Татьяна Марковна в умилении обняла его.

— Бог тебя простит, добрый, милый внучек! Так, так: ты прав, с тобой, а не с другим, Марфинька только и могла слушать соловья…

Викентьев бросился на колени.

— Бабушка, бабушка! — говорил он.

— Вот уж и бабушка: не рано ли стал величать? Да и к лицу ли тебе жениться? погоди года два-три — созрей.

— Поумней! — подсказала мать, — перестань повесничать.

— Если б вы обе не согласились, — сказал он, — я бы…

— Что?

— Уехал бы сегодня же отсюда: и в гусары пошел бы, и долгов наделал бы, совсем пропал бы!

— Еще грозит! — сказала Татьяна Марковна. — Я вольничать вам не дам — сударь!

— Отдайте мне только Марфу Васильевну, и я буду тише воды, ниже травы, буду слушаться, даже ничего… не съем без вашего спроса…

— Полно, так ли?

— Так, так — ей-богу…

— Еще отстаньте от божбы, а то…

Он бросился целовать руки Бережковой.

— А кушать всё хочется? — спросила Татьяна Марковна.

— Нет: уж мне теперь не до еды!

— Что ж, уж не отдать ли за него Марфиньку, Марья Егоровна?

— Не стоит, Татьяна Марковна: да и рано. Пусть бы года два…

Он налетел на мать и поцелуем залепил ей рот.

— Видите, какого сорванца вы пускаете в дом! — говорила мать, оттолкнув его прочь.

— Со мной не смеет, я его уйму — подойди-ка сюда…

Он подошел к Татьяне Марковне: она его перекрестила и поцеловала в лоб.

— Ух! — сказал он, садясь, — мучительницы вы обе: зачем так терзали — сил нет!

— Вперед будь умнее!

— Где же Марфа Васильевна?.. я побегу…

— Погоди, имей терпение!.. они у меня не такие верченые! — сказала бабушка.

— Опять терпение!

— Теперь оно и начинается: полно скакать и бегать, ты не мальчик, да и она не дитя. Ведь сам говоришь, что соловей вам растолковал обоим, что вы «созрели», — ну так и остепенись!

Он немного смутился от этого справедливого замечания и скромно остался в гостиной, пока пошли за Марфинькой.

— Ни за что не пойду! И сохрани Господи! — отвечала она и Марине, и Василисе.

Наконец сама бабушка с Марьей Егоровной отыскали ее за занавесками постели в углу, под образами, и вывели ее оттуда, раскрасневшуюся, неодетую, старающуюся закрыть лицо руками.

Обе принялись целовать ее и успокоивать. Но она наотрез отказалась идти к обеду и к завтраку, пока все не перебывали у ней в комнате и не поздравили по очереди.

Точно так же она убегала и от каждого гостя, который приезжал поздравлять, когда весть про-

неслась по городу.

Вера с покойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей об этом:

— Я давно ждала этого, — сказала она.

— Теперь, если б Бог дал пристроить тебя… — начала было Татьяна Марковна со вздохом, но Вера остановила ее.

— Бабушка! — сказала она с торопливым трепетом, — ради Бога, если любите меня, как я вас люблю… то обратите все попечения на Марфиньку. Обо мне не заботьтесь.

— Разве я тебя меньше люблю? Может быть, у меня сердце больше болит по тебе…

— Знаю, и это мучает меня… Бабушка! — почти с отчаянием молила Вера, — вы убьете меня, если у вас сердце будет болеть обо мне…

— Что ты говоришь, Верочка? Опомнись!..

— Это убьет меня, я говорю не шутя, бабушка.

— Да чем, чем: что у тебя на уме, что на сердце? — говорила тоже почти с отчаянием бабушка, — разве не станет разумения моего или сердца у меня нет, что твое счастье или несчастье… чужое мне?..

— Бабушка! у меня другое счастье и другое несчастье, нежели у Марфиньки. Вы добры, вы умны, дайте мне свободу…

— Ты успокой меня: скажи только, что с тобой?..

— Ничего, бабушка, нет: только не старайтесь пристроивать меня…

— Ты горда, Вера! — с горечью сказала старушка.

— Да, бабушка, может быть: что же мне делать?

— Не Бог вложил в тебя эту гордость!

Вера не отвечала, но страдала невыразимо оттого, что бабушка не понимала ее, что она не могла растолковать себя ей. Она металась в тоске.

— Открой мне душу: я пойму, может быть, сумею облегчить горе, если есть…

— Когда оно настанет — и я не справлюсь одна… тогда я приду к вам — и ни к кому больше, да к Богу! Не мучьте меня теперь и не мучьтесь сами… Не ходите, не смотрите за мной…

— Не поздно ли будет тогда, когда горе придет?.. — прошептала бабушка. — Хорошо, — прибавила она вслух, — успокойся, дитя мое! я знаю, что ты не Марфинька, и тревожить тебя не стану.

Она поцеловала ее со вздохом и ушла скорыми шагами, понурив голову. Это было единственное темное облачко, помрачавшее ее радость, и она

усердно молилась, чтобы оно пронеслось, не сгустившись в тучу.

Вера долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась. В беседке она увидела Марфиньку и Викентьева и быстро пошла к ним. Она еще не сказала ни слова Марфиньке после новости, которую узнала утром.

Она подошла к ней, пристально и ласково поглядела ей в глаза, потом долго целовала ей глаза, губы, щеки. Положив ее голову, как ребенка, на руку себе, она любовалась ее чистой, младенческой красотой и крепко сжала в объятиях.

— Ты должна быть счастлива! — сказала она, с блеснувшими вдруг и спрятавшимися слезами.

— И будет! — подсказал Викентьев.

— Ты, Верочка, будешь еще счастливее меня! — отвечала Марфинька, краснея. — Посмотри, какая ты красавица, какая умная, — мы с тобой — как будто не сестры! здесь нет тебе жениха. Правда, Николай Андреевич?

Вера молча пожала ей руку.

— Николай Андреевич, знаете ли, кто она? — спросила Вера, указывая на Марфиньку.

— Ангел! — отвечал он без запинки, как солдат на перекличке.

— Ангел! — с улыбкой передразнила она его.

— Вот она кто! — сказала Вера, указывая на кружившуюся около цветка бабочку, — троньте неосторожно, цвет крыльев пропадет, пожалуй, и совсем крыло оборвете. Смотрите же! балуйте, любите, ласкайте ее, но Боже сохрани — огорчить! Когда придет охота обрывать крылья, так идите ко мне: я вас тогда!.. — заключила она, ласково погрозив ему.

XIX

Через неделю после радостного события всё в доме пришло в прежний порядок. Мать Викентьева уехала к себе, Викентьев сделался ежедневным гостем и почти членом семьи. И он, и Марфинька не скакали уже. Оба были сдержаннее, и только иногда живо спорили, или пели, или читали вдвоем.

Но между ними не было мечтательного, поэтического размена чувств, ни оборота тонких, изысканных мыслей, с бесконечными оттенками их, с роскошным узором фантазии — всей этой игрой, этих изящных и неистощимых наслаждений развитых умов.

Дух анализа тоже не касался их, и пищею обмена их мыслей была прочитанная повесть, доходившие из столицы новости да поверхностные впечатления окружающей природы и быта.

Поэзия, чистая, свежая, природная, всем ясная и открытая, билась живым родником — в их здоровье, молодости, открытых, неиспорченных сердцах.

Их не манила даль к себе; у них не было никакого тумана, никаких гаданий. Перспектива

была ясна, проста и обоим им одинаково открыта. Горизонт наблюдений и чувств их был тесен.

Марфинька зажимала уши или уходила вон, лишь только Викентьев, в объяснениях своих, выйдет из пределов обыкновенных выражений и заговорит о любви к ней языком романа или повести.

Их сближение было просто и естественно, как указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марфинька до свадьбы не дала ему ни одного поцелуя, никакой почти лишней против прежнего ласки — и на украденный им поцелуй продолжала смотреть как на дерзость и грозила уйти или пожаловаться бабушке.

Но неумышленно, когда он не делал никаких любовных прелюдий, а просто брал ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему доверчиво на плечо, позволяла переносить себя через лужи и даже, шаля, ерошила ему волосы или, напротив, возьмет гребенку, щетку, близко подойдет к нему, так что головы их касались, причешет его, сделает пробор и, пожалуй, напомадит голову.

Но если он возьмет ее в это время за талию или поцелует, она покраснеет, бросит в него гребенку

и уйдет прочь.

Свадьба была отложена до осени по каким-то хозяйственным соображениям Татьяны Марковны — и в доме постепенно готовили приданое. Из кладовых вынуты были старинные кружева, отобрано было родовое серебро, золото, разделены на две равные половины посуда, белье, меха, разные вещи, жемчуг, брильянты.

Татьяна Марковна, с аккуратностью жида, пускалась определять золотники, караты, взвешивала жемчуг, призывала ювелиров, золотых и других дел мастеров.

— Вот, смотри, Верочка, это твое, а то Марфинькино — ни одной нитки жемчуга, ни одного лишнего лота ни та, ни другая не получит. Смотрите обе!

Но Вера не смотрела. Она отодвигала кучу жемчуга и брильянты, смешивала их с Марфинькиным и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и делить на две половины.

Райский выписал от опекуна еще свои фамильные брильянты и серебро, доставшееся ему после матери, и подарил их обеим сестрам. Но бабушка погребла их в глубину своих сундуков до поры до времени:

— Понадобятся и самому! — говорила она, — вздумаешь жениться.

Он закрепил и дом с землей и деревней за обеими сестрами, за что обе они опять по-своему благодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потом не выдержала и обняла его.

— Совсем необыкновенный ты, Борюшка, — сказала она, — какой-то хороший урод! Бог тебя ведает, кто ты есть!

В доме, в девичьей, в кабинете бабушки, даже в гостиной и еще двух комнатах расставлялись столы с шитьем белья. Готовили парадную постель, кружевные подушки, одеяло. По утрам ходили портнихи, швеи.

Викентьев выпросился в Москву заказывать гардероб, экипажи — и тут только проговорилось чувство Марфиньки: она залилась обильными слезами, от которых у ней распухли нос и глаза.

Глядя на нее, заплакал и Викентьев, не от горя, а потому, объяснял он, что не может не заплакать, когда плачут другие, и не смеяться тоже не может, когда смеются около него. Марфинька поглядела на него сквозь слезы и вдруг перестала плакать.

— Я не пойду за него, бабушка: посмотрите, он и плакать-то не умеет путем! У людей слезы по щекам текут, а у него по носу: вон какая слеза, в

горошину, повисла на самом конце!..

Он поспешно утер слезу.

— У меня, видите, такой желобок есть, прямо к носу… — сказал он и сунулся было поцеловать у невесты руку, но она не дала.

Через час после его отъезда она по-прежнему уже пела: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!»

На двор приводили лошадей, за которыми Викентьев ездил куда-то на завод. Словом, дом кипел веселою деятельностию, которой не замечали только Райский и Вера.

Райский ничего, впрочем, не замечал, кроме ее. Он старался развлекаться, ездил верхом по полям, делал даже визиты.

У губернатора встречал несколько советников, какого-нибудь крупного помещика, посланного из Петербурга адъютанта; разговоры шли о том, что делается в петербургском мире, или о деревенском хозяйстве, об откупах. Но всё это мало развлекало его.

Он, между прочим, нехотя, но исполнил просьбу Марка и сказал губернатору, что книги привез он и дал кое-кому из знакомых, а те уж передали в гимназию.

Книги отобрали и сожгли. Губернатор посове-

товал Райскому быть осторожнее, но в Петербург не донес, чтоб «не возбуждать там вопроса».

Марк, по-своему, опять ночью, пробрался к нему через сад, чтоб узнать, чем кончилось дело. Он и не думал благодарить за эту услугу Райского, а только сказал, что так и следовало сделать и что он ему, Райскому, уже тем одним много сделал чести, что ожидал от него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть «доносчиком и шпионом».

Леонтья Райский видал редко и в дом к нему избегал ходить. Там, страстными взглядами и с затаенным смехом в неподвижных чертах, встречала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна. А его угрызало воспоминание о том, как он великодушно исполнил свой «долг». Он хмурился и спешил вон.

Она употребила другой маневр: сказала мужу, что друг его знать ее не хочет, не замечает, как будто она была мебель в доме, пренебрегает ею, что это ей очень обидно и что виноват во всем муж, который не умеет привлечь в дом порядочных людей и заставить уважать жену.

— Поговори хоть ты, — жаловалась она, — отложи свои книги, займись мною!

Козлов в тот же вечер буквально исполнил

поручение жены, когда Райский остановился у его окна.

— Зайди, Борис Павлович: ты совсем меня забыл, — сказал он, — вон и жена жалуется…

— А она на что жалуется? — спросил Райский, входя в комнату.

— Да думает, что ты пренебрегаешь ею. Я говорю ей, вздор: он не горд совсем — ведь ты не горд? да? Но он, говорю, поэт: у него свои идеалы — до тебя ли, рыжей, ему? Ты бы ее побаловал, Борис Павлович, зашел бы к ней когда-нибудь без меня, когда я в гимназии.

Райский, отворотясь от него, смотрел в окно.

— Или еще лучше: приходи по четвергам да по субботам вечером: в эти дни я в трех домах уроки даю. Почти в полночь прихожу домой. Вот ты и пожертвуй вечер: поволочись немного, пококетничай! Ведь ты любишь болтать с бабами! А она только тобой и бредит…

Райский стал глядеть в другое окно.

— Сам я не умею, — продолжал Леонтий, — известно, муж — она любит, я люблю, мы любим… Это спряжение мне и в гимназии надоело. Вся ее любовь — все ее заботы, жизнь — всё мое…

Райский кашлянул. «Хоть бы намекнуть как-нибудь ему!» — подумал он.

— Полно — так ли, Леонтий? — сказал он.

— А как же?

— «Вся любовь», говоришь ты?

— Да, конечно. Она даже ревнует меня к моим грекам и римлянам. Она их терпеть не может, а живых людей любит! — добродушно смеясь, заключил Козлов. — Эти женщины, право, одни и те же во все времена, — продолжал он. — Вон у римских матрон, даже у жен кесарей, консулов, патрициев, — всегда хвост целый… Мне — Бог с ней: мне не до нее, это домашнее дело! У меня есть занятие. Заботлива, верна — и я иногда, признаюсь, — шепотом прибавил он, — изменяю ей, забываю, есть ли она в доме, нет ли…

— Напрасно! — сказал Райский.

— Некогда: вот в прошлом месяце попались мне два немецких тома — Фукидид и Тацит. Немцы и того и другого чуть наизнанку не вывоpотили. Знаешь, и у меня терпения не хватило уследить за мелочью. Я зарылся, — а ей, говорит она, «тошно смотреть на меня»! Вот хоть бы ты зашел. Спасибо еще француз Шарль не забывает… Болтун веселый — ей и не скучно!

— Прощай, Леонтий, — сказал Райский. — Напрасно ты пускаешь этого Шарля!..

— А что? не будь его, ведь она бы мне покоя не

дала. Отчего не пускать?

— А чтоб не было «хвоста», как у римских матрон!..

— К моей Улиньке, как к жене кесаря, не смеет коснуться и подозрение!.. — с юмором заметил Козлов. — Приходи же — я ей скажу…

— Нет, не говори, да не пускай и Шарля! — сказал Райский, уходя проворно вон.

К Полине Карповне Райский не показывался, но она показывалась к нему в дом, надоедая то ему — своими пресными нежностями, то бабушке — непрошеными советами насчет свадебных приготовлений, и особенно — размышлениями о том, что «брак есть могила любви», что избранные сердца, несмотря на все препятствия, встречаются и вне брака, причем нежно поглядывала на Райского.

Он раза два еще писал ее портрет и всё не кончал, говоря, что не придумал, во что ее одеть и какой цветок нарисовать на груди.

— Желтая далия мне будет к лицу — я брюнетка! — советовала она.

— Хорошо, после, после! — отделывался он.

Тит Никоныч являлся всегда одинакий, вежливый, любезный, подходящий к ручке бабушки и подносящий ей цветок или редкий фрукт. Опен-

кин, всегда речистый, неугомонный, под конец пьяный, барыни и барышни, являвшиеся теперь потанцевать к невесте, и молодые люди, — всё это надоедало Райскому и Вере, — и оба искали, он — ее, а она — уединения, и были только счастливы, он — с нею, а она — одна, когда ее никто не видит, не замечает, когда она пропадет, «как дух», в деревню, с обрыва в рощу или за Волгу, к своей попадье.

XX

«Вот страсти хотел, — размышлял Райский, — напрашивался на нее, а не знаю, страсть ли это! Я ощупываю себя: есть ли страсть, как будто хочу узнать, целы ли у меня ребра, или нет ли какого-нибудь вывиха? Вон и сердце не стучит! Видно, я сам неспособен испытывать страсть!»

Между тем Вера не шла у него с ума.

— Если она не любит меня, как говорит и как видно по всему, то зачем удержала меня? зачем позволила любить? Кокетство, каприз или… Надо бы допытаться… — шептал он.

Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты.

Он подошел к окну.

— Вера, можно прийти к тебе? — спросил он.

— Можно, только ненадолго.

— Вот уж и ненадолго! Лучше бы не предупреждала, а когда нужно — и прогнала бы, — сказал он, войдя и садясь напротив. — Отчего же ненадолго?

— Оттого, что я скоро уеду на остров. Туда приедет Натали, и Иван Иванович, и Николай Иванович…

— Это священник?

— Да, он рыбу ловить собирается, а Иван Иванович зайцев стрелять.

— Вот и я бы пришел.

Она молчала.

— Или не надо?

— Лучше не надо, а то вы расстроите наш кружок. Священник начнет умные вещи говорить, Натали будет дичиться, а Иван Иванович промолчит всё время.

— Ну, не приду! — сказал он и, положив подбородок на руки, стал смотреть на нее. Она оставалась несколько времени без дела, потом вынула из стола портфель, сняла с шеи маленький ключик и отперла, приготовляясь писать.

— Что это, не письма ли?

— Да, две записки, одну в ответ на приглашение Натальи Ивановны. Кучер ждет.

Она написала несколько слов и запечатала.

— Послушайте, брат, закричите кого-нибудь в окно.

Он исполнил ее желание, Марина пришла и получила приказание отдать записку кучеру Василью. Потом Вера сложила руки.

— А другую записку? — спросил Райский.

— Еще успею.

— А! Значит, секрет!

— Может быть!

— Долго ли, Вера, у тебя будут секреты от меня?

— Если будут, так будут всегда.

— Если б ты знала меня короче — ты бы их все вверила мне, сколько их ни есть…

— Зачем?

— Так нужно — я люблю тебя.

— А мне не нужно…

— Но ведь это единственный способ отделаться от меня, если я тебе несносен.

— Нет, с тех пор как вы несколько изменились, я не хочу отделываться от вас.

— И даже позволила любить себя…

— Я пробовала запретить — что же вышло?

— И ты решилась махнуть рукой?

— Да, оставить вам на волю: думала, лучше пройдет, нежели когда мешаешь. Кажется, так и вышло… Вы же сами учили, что «противоречия только раздражают страсть…»

— Какая, однако, ты хитрая! — сказал он, глядя на нее лукаво. — А зачем остановила меня, когда я хотел уехать?

— Не уехали бы: история с чемоданом мне всё рассказала.

— Так ты думаешь, страсть прошла?

— Никакой страсти не было: самолюбие, воображение. Вы артист: влюбляетесь во всякую красоту…

— Пожалуй, в красоту более или менее, но ты — красота красот, всяческая красота! Ты — бездна, в которую меня влечет невольно: голова кружится, сердце замирает — хочется счастья — пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние…

— Это вы уже всё говорили — и это нехорошо.

— Отчего нехорошо?

— Нехорошо!

— Да почему?

— Потому что… преувеличенно… следовательно — ложь.

— А если правда, если я искренен?

— Еще хуже.

— Почему?

— Потому что безнравственно.

— Вот тебе раз! Вера!.. Помилуй! ты точно бабушка!

— Да, на этот раз я на ее стороне.

— Безнравственно!

— Безнравственно: вы идете по следам Дон Жуана: но ведь и тот гадок…

— Говори мне, что я гадок, если я гадок, Вера, а не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон Жуан чист и прекрасен; он гуманный, тонкий артист, тип, chef-d'œuvre между человеками. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни! Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви! В толпе, в грязи, в тесноте грубеют эти тонкие инстинкты природы… Во мне есть немного этого чистого огня, и если он не остался до конца чистым, то виноваты… многие… и даже сами женщины…

— Может быть, брат, я не понимаю Дон Жуана; я готова верить вам… Но зачем вы выражаете страсть ко мне, когда знаете, что я не разделяю ее?

— Нет, не знаю.

— Ах, вы всё еще надеетесь! — сказала она с удивлением.

— Я тебе сказал, что во мне не может умереть

надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь…

— Хорошо, брат, положим, что я могла бы разделить вашу страсть — тогда что?

— Как что? Обоюдное счастье!

— Вы уверены, что могли бы дать его мне?

— Я — о Боже, Боже! — с пылающими глазами начал он, — да я всю жизнь отдал бы — мы поехали бы в Италию — ты была бы моей женой…

Она поглядела на него несколько времени.

— Сколько раз вы предлагали женщинам такое счастье? — спросила она.

— Бывали, конечно, встречи, но такого сильного впечатления никогда…

— Скажите еще, сколько раз говорили вы вот эти самые слова: не каждой ли женщине при каждой встрече?

— Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вера? Может быть, я говорил и многим, но никогда так искренно…

Она глядела на него, а он на нее.

— Кто тебя развил так, Вера? — спросил он.

— Довольно, — перебила она. — Вы высказались в коротких словах. Видите ли, вы дали бы мне счастье на полгода, на год, может быть больше, — словом, до новой встречи, когда красота,

новее и сильнее, поразила бы вас и вы увлеклись бы за нею, а я потом — как себе хочу! Сознайтесь, что так?

— Почему ты знаешь это? Зачем так судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли, как ты узнала ход страстей?

— Я хода страстей не знаю, но узнала немного вас — вот и всё.

— Что ж ты узнала и от кого?

— От вас самих.

— От меня? Когда?

— Какая же у вас слабая память! Не вы ли рассказывали, как вас тронула красота Беловодовой и как напрасно вы бились пробудить в ней… луч… или ключ… или… уж не помню, как вы говорили, только очень поэтически…

— Беловодова! Это — статуя, прекрасная, но холодная и без души. Ее мог бы полюбить разве Пигмалион…

— А Наташа?

— Наташа! Разве я тебе говорил о Наташе?

— Забыли!

— Наташа была хорошенькая, но бесцветная, робкая натура. Она жила, пока грели лучи солнца, пока любовь обдавала ее теплом, а при первой невзгоде она надломилась и зачахла. Она роди-

лась, чтоб как можно скорее умереть.

— А о Марфиньке что говорили? Чуть не влюбились!

— Это всё так, легкие впечатления: на один, на два дня… Всё равно как бы я любовался картиной… Разве это преступление — почувствовать прелесть красоты, как теплоты солнечных лучей, подчиниться на неделю-другую впечатлению, не давая ему серьезного хода?..

— А самое сильное впечатление на полгода? Так?

— Нет, не так. Если б, например, ты разделила мою страсть, мое впечатление упрочилось бы навсегда, мы бы женились… Стало быть — на всю жизнь. Идеал полного счастья у меня неразлучен с идеалом семьи…

— Послушайте, брат. Вспомните самое сильное из ваших прежних впечатлений и представьте, что та женщина, которая его на вас сделала, была бы теперь вашей женой…

— Кто тебя развивает, ты вот что скажи? А ты всё уклоняешься от ответа!

— Да вы сами. Я всё из ваших разговоров почерпаю.

— Ты прелесть, Вера, ты наслаждение! у тебя столько же красоты в уме, сколько в глазах! Ты

вся — поэзия, грация, тончайшее произведение природы! Ты и идея красоты, и воплощение идеи — и не умирать от любви к тебе? Да разве я дерево! Вон Тушин, и тот тает…

Она сделала движение.

— Оставим это. Ты меня не любишь, еще немного времени, впечатление мое побледнеет, я уеду, и ты никогда не услышишь обо мне. Дай мне руку, скажи дружески, кто учил тебя, Вера, — кто этот цивилизатор? Не тот ли, что письма пишет на синей бумаге?..

— Может быть — и он. Прощайте, брат, вы кстати напомнили. Мне надо писать…

— И вот счастье где: и «возможно» и «близко», а не дается! — говорил он.

— Вы можете быть по-своему счастливы и без меня, с другой…

— С кем, скажи! Где они, эти женщины?....

— А те, кто отдает взаймы сердце на месяц, на полгода, на год, — а не со мной! — прибавила она.

— И ты не веришь мне, и ты не понимаешь! Кто же поверит и поймет?

Он задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашом несколько слов и свернула записку.

— Не позвать ли Марину? — спросил он.

— Нет, не надо.

Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтик, кивнула ему и ушла.

Райский, не сказавши никому ни слова в доме, ушел после обеда на Волгу, подумывая незаметно пробраться на остров, и высматривал место поудобнее, чтобы переправиться через рукав Волги. Переправы тут не было, и он глядел вокруг, не увидит ли какого-нибудь рыбака.

Он прошел берегом с полверсты и наконец набрел на мальчишек, которые в полусгнившей, наполненной до половины водой лодке удили рыбу. Они за гривенник с радостью взялись перевезти его и сбегали в хижину отца за веслами.

— Куда везти? — спросили они.

— Всё равно, причаливайте где хотите.

— Вон там можно выйти, — указывал один.

— Вон-вось где: тут барин с барыней недавно вылазили…

— Какой барин?

— Кто их знает! С горы какие-то!

Райский вышел из лодки и стал смотреть.

«Не Вера ли?» — думал он.

Если она — он сейчас узнает ее тайну… У него забилось сердце. Он шел в осоке тихо, осторожно,

боясь кашлянуть.

Вдруг он услышал плеск воды, тихо раздвинул осоку и увидел… Ульяну Андреевну.

Она, закрытая совсем кустами, сидела на берегу, с обнаженными ногами, опустив их в воду, распустив волосы, и, как русалка, мочила их, нагнувшись с берега. Райский прошел дальше, обогнул утес: там, стоя по горло в воде, купался m-r Шарль.

Райский, не замеченный им, ушел и стал пробираться, через шиповник, к небольшим озерам, полагая, что общество, верно, расположилось там. Вскоре он услышал шаги неподалеку от себя и притаился. Мимо его прошел Марк.

Райский окликнул его.

— А, здравствуйте, — сказал Волохов, — от кого вы тут прячетесь?

— Я не прячусь… иначе бы не остановил вас.

— Да вы не от меня прячетесь, а от кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу-сестру? Нехорошо, нечестно: проиграли пари и не платите…

— Вы почем знаете, что она здесь?

— Я пошел было уток стрелять на озеро, а они все там сидят. И поп там, и Тушин, и попадья, и… ваша Вера, — с насмешкой досказал он. — Подите,

подите туда.

— Я не хочу, я не туда шел.

— Не стыдитесь меня, я всё вижу. Вы хотели робко посмотреть на нее издали — да? Вам скучно, постыло в доме, когда ее нет там…

— Какой вздор! я просто гулял…

— Давайте триста рублей!

Райский пошел опять туда, где оставил мальчишек. За ним шел и Марк. Они прошли мимо того места, где купался Шарль. Райский хотел было пройти мимо, но из кустов, навстречу им вышел француз, а с другой стороны, по тропинке, приближалась Ульяна Андреевна с распущенными, мокрыми волосами.

Оба хотели спрятаться, но Марк закричал им:

— Charmé de vous voir tous les deux![118] честь имею рекомендоваться!

M-r Шарль вышел из-за кустов.

— M-r Райский! M-r Шарль! — представлял насмешливо их Марк друг другу.

— Ульяна Андреевна! пожалуйте сюда, не прячьтесь! ведь видели: всё свои лица, не бойтесь!

— Никто не боится! — сказала она, выходя нехо-

---

[118] Примечания: 118

— Очень рад видеть вас обоих! (*фр.*)

тя и стараясь не глядеть на Райского.

— И оба мокрые! — прибавил Волохов.

— Самый неприятный мужчина в целом свете! — с крепкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка.

— Ну, прощайте, я пойду, — сказал Марк. — А что Козлов делает? Отчего не взяли его с собой проветрить? Ведь и при нем можно… купаться — он не увидит. Вон бы тут под деревом из Гомера декламировал! — заключил он и, поглядевши дерзко на Ульяну Андреевну и на m-r Шарля, ушел.

— Il faut que je donne une bonne leçon à ce mauvais drôle![119] — хвастливо сказал m-r Шарль, когда Марк скрылся из вида.

Потом все воротились домой.

— Ну вот, я тебе очень благодарен, — говорил Козлов Райскому, — что ты прогулялся с женой…

— На этот раз благодари вот m-r Шарля! — сказал Райский.

— Merci, merci, m-r Charles!

— Bien, très bien, cher collègue![120] — отвечал Шарль, трепля его по плечу.

---

[119] Примечания: 119

— Придется хорошенько проучить этого паршивца! (*фр.*)

[120] Примечания: 120

— Хорошо, очень хорошо, коллега! (*фр.*)

XXI

Райский пришел домой злой, не ужинал, не пошутил с Марфинькой, не подразнил бабушку и ушел к себе. И на другой день он сошел такой же мрачный и недовольный.

Погода была еще мрачнее. Шел мелкий, непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрестности лежал туман.

Вера была тоже невесела. Она закутана была в большой платок, и на вопрос бабушки, что с ней, отвечала, что у ней был ночью озноб.

Посыпались расспросы, упреки, что не разбудила, предложения — напиться липового цвета и поставить горчишники. Вера решительно отказалась, сказав, что чувствует себя теперь совсем здоровою.

Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросом и ответом.

— Вы были тоже на острове? — спросила Вера Райского.

— Да — ты почем знаешь?

— Я слышала, как Егор жаловался кому-то на дворе, что платье всё в глине да в тине у вас, — насилу отчистил: «Должно быть, на острове

был», — говорил он.

— Ты всё слышишь! — заметил он. — Я был не один: Марк был, еще жена Козлова…

— Вот нашел с кем гулять! У ней есть провожатый, — сказала бабушка, — m-r Шарль.

— И он был.

Опять замолчали и уже собирались разойтись, как вдруг явилась Марфинька.

— Ах, бабушка, как я испугалась! страшный сон видела! — сказала она, еще не поздоровавшись. — Как бы не забыть!

— Какой такой, расскажи? Что это ты бледна сегодня?

— Рассказывай скорей! — говорил Райский. — Давайте сны рассказывать, кто какой видел. И я вспомнил свой сон: странный такой! Начинай, Марфинька! Сегодня скука, слякоть — хоть сказки давайте сказывать!

— Сейчас, сейчас, погодите: через пять минут приедет Николай Андреич, я при нем расскажу.

— Уж и через пять минут! — сказала бабушка, — почем ты знаешь? Дожидайся! Он еще спит!

— Нет, приедет — я ему велела! — кокетливо возразила Марфинька. — Нынче крестят девочку в деревне, у Фомы: я обещала прийти, а он меня проводит…

— Так ты для деревенских крестин новое барежевое платье надела, да еще в этакий дождь! Кто тебя пустит? скинь, сударыня!

— Скину, бабушка, я надела только примерить.

— Ведь уж примеривали!

— Оставьте ее, бабушка, она жениху хочет показаться в новом платье.

Марфинька покраснела.

— Вот вы какие: я совсем не для того! — с досадой сказала она, что угадали, — пойду, сейчас скину…

Райский удержал ее за руку; она вырвалась, и только отворила дверь, как навстречу ей явился Викентьев и распростер руки, чтоб не пустить ее.

— Идите скорей — зачем опоздали? — говорила она, краснея от радости и отбиваясь, когда он хотел непременно поцеловать у ней руку.

— Что это у вас за гадкая привычка целовать в ладонь? — заметила она, отнимая у него руку, — всю руку изломаете!

— Ладонь такая тепленькая у вас, душистая, позвольте…

— Подите прочь! Вы еще с бабушкой не поздоровались!

Он поцеловал у бабушки руку, потом комиче-

ски раскланялся с Райским и с Верой.

— Рассказывайте, что видели во сне, — сказал ему Райский, — скорее, скорее!

— Нет, я прежде расскажу! — перебила Марфинька.

— Ах нет, позвольте, я видел отличный сон, — торопился сказать Викентьев, — будто я…

— Нет, дайте мне рассказать, — говорила Марфинька.

— Позвольте, Марфа Васильевна, а то забуду, — силился он переговорить ее, — ей-богу, я было и забыл совсем: будто я иду…

Она зажала ему рот рукой.

— По порядку, по порядку! — командовал Райский, — слово за Марфинькой: Марфа Васильевна, извольте!

— Я будто, бабушка… Послушай, Верочка, какой сон! Слушайте, говорят вам, Николай Андреич, что вы не посидите!.. На дворе будто ночь лунная, светлая, так пахнет цветами, птицы поют…

— Ночью? — сказал Викентьев.

— Соловьи всё ночью поют! — заметила бабушка, взглянув на них обоих.

Марфинька покраснела.

— Вот теперь сбили с толку — я и не стану рассказывать!

— Нет, нет, говори, говорите! — сказали все, кроме Веры.

— Ну, вот птицы…

— Птицы не поют ночью…

— Опять вы, Николай Андреич! не стану — вам говорят! А вот он ночью, бабушка, — живо заговорила она, указывая на Викентьева, — храпит…

— Ты почем знаешь?

— Марина сказывала — она от Семена слышала…

— Это от золотухи: надо пить аверину траву, — заметила Татьяна Марковна.

— Я боюсь, кто храпит. Если б знала прежде, так бы…

Она вдруг замолчала.

— Что ж ты остановилась? — спросил Райский, — можно свадьбу расстроить. В самом деле, если он тебе будет мешать спать по ночам…

Марфинька покраснела, как вишня, и бросилась вон.

— Полно тебе, Борюшка! видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада!

Викентьев догнал Марфиньку и привел назад.

— Я буду на ночь нос ватой затыкать, Марфа Васильевна, — сказал он.

Марфиньку усадили и заставили рассказывать

сон.

— Вот будто я тихонько вошла в графский дом, — начала она, — прямо в галерею, где там статуи стоят. Вошла я и притаилась, и смотрю, как месяц освещал их все, а я стою в темном углу: меня не видать, а я их всех вижу. Только я стою, не дышу, всё смотрю на них. Все переглядела — и Геркулеса с палицей, и Диану, и потом Венеру, и еще эту с совой, Минерву… И старика, которого змеи сжимают… как бишь его зовут… Только вдруг!.. (Марфинька сделала испуганное лицо и оглядывалась по сторонам) — и теперь даже страшно — так живо представилось…

— Ну, что вдруг? — спросила бабушка.

— Страшно, бабушка. Вдруг будто статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрела на другую, а та тоже тихо разогнула и не спеша протянула к ней руку: это Диана с Минервой. Потом медленно приподнялась Венера — и не шагая… какой ужас!.. подвинулась, как мертвец, плавно к Марсу, в каске… Потом змеи, как живые, поползли около старика! Он перегнул голову назад, у него лицо стали дергать судороги, как у живого, я думала, сейчас закричит! И другие все плавно стали двигаться друг к другу, некоторые подошли к окну

и смотрели на месяц… Глаза у всех каменные, зрачков нет… Ух!

Она вздрогнула.

— Да это поэтический сон — я его запишу! — сказал Райский.

— Побежали дети в разные стороны, — продолжала Марфинька, — и всё тихо, не перебирая ногами… Статуи как будто советовались друг с другом, наклоняли головы, шептались… Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на месяц… — Я вся тряслась от страха. — Сова встрепенулась крыльями и носом почесала себе грудь… Марс обнял Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, все другие ходили или сидели группами. Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места. Большой такой, до потолка! Он обвел всех глазами, потом взглянул в мой угол… и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку: все в один раз взглянули туда же, на меня — на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне…

— Ну, что же вы, Марфа Васильевна? — спросил Викентьев.

— Как я закричу!

— Ну?

— Ну и проснулась — и с полчаса всё тряслась, хотела кликнуть Федосью, да боялась пошевелиться — так до утра и не спала. Уж пробило семь, как я заснула.

— Прелесть — сон, Марфинька! — сказал Райский. — Какой грациозный, поэтический! Ты ничего не прибавила?

— Ах, братец, да где же мне всё это выдумать! Я так всё вижу и теперь, что нарисовала бы, если б умела…

— Надо морковного соку выпить, — заметила бабушка, — это кровь очищает.

— Ну, теперь позвольте мне… — начал Викентьев торопливо, — я будто иду по горе, к собору, а навстречу мне будто Нил Андреич, на четвереньках, голый…

— Полно тебе, что это, сударь, при невесте!.. — остановила его Татьяна Марковна.

— Ей-богу, правда…

— Это нехорошо, не к добру…

— Говорите, говорите! — одобрял Райский.

— А верхом на нем будто Полина Карповна, тоже…

— Перестанешь ли молоть? — сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь от смеху.

— Сейчас кончу. Сзади будто Марк Иванович

погоняет Тычкова поленом, а впереди Опенкин, со свечой, и музыка…

Все захохотали.

— Всё сочинил, бабушка, сейчас сочинил, не верьте ему! — сказала Марфинька.

— Ей-богу, нет! и все будто, завидя меня, бросились, как ваши статуи, ко мне, я от них: кричал, кричал, даже Семен пришел будить меня, — ей-богу, правда, спросите Семена!..

— Ну, тебе, батюшка, ужо на ночь дам ревеню или постного масла с серой. У тебя глисты, должно быть. И ужинать не надо.

— Я напомню ужо бабушке: вот вам! — сказала Марфинька Викентьеву.

— Ну, Вера, скажи свой сон — твоя очередь! — обратился Райский к Вере.

— Что такое я видела? — старалась она припомнить, — да, молнию, гром гремел — и, кажется, всякий удар падал в одно место…

— Какая страсть! — сказала Марфинька, — я бы закричала.

— Я была где-то на берегу, — продолжала Вера, — у моря: передо мной какой-то мост, в море. Я побежала по мосту, — добежала до половины: смотрю, другой половины нет, ее унесла буря…

— Всё? — спросил Райский.

— Всё.

— И этот сон хорош: и тут поэзия!

— Я не вижу обыкновенно снов или забываю их, — сказала она, — а сегодня у меня был озноб: вот вам и поэзия!

— Да ведь всё дело в ознобе и жаре: худо, когда ни того ни другого нет.

— А вы, братец? теперь вам говорить! — напомнила ему Марфинька.

— Вообразите, я всю ночь летал.

— Как летали?

— Так: будто крылья явились.

— Это бывает к росту, — сказала бабушка, — кажется, тебе уж некстати бы…

— Я сначала попробовал полететь по комнате, — продолжал он, — отлично! Вы все сидите в зале, на стульях, а я, как муха, под потолок залетел. Вы на меня кричать, пуще всех бабушка. Она даже велела Якову ткнуть меня половой щеткой, но я пробил головой окно, вылетел и взвился над рощей… Какая прелесть, какое новое, чудесное ощущение! Сердце бьется, кровь замирает, глаза видят далеко. Я то поднимусь, то опущусь — и, когда однажды поднялся очень высоко, вдруг вижу, из-за куста в меня целится из ружья Марк…

— Этот всем снится; вот сокровище далось: как

пугало, — сказала Татьяна Марковна.

— Я его вчера видел с ружьем — на острове: он и приснился. Я ему стал кричать изо всей мочи, во сне, — продолжал Райский, — а он будто не слышит, всё целится… наконец…

— Ну, братец, — ах, это интересно…

— Ну, я и — проснулся!

— Только? ах, как жаль! — сказала Марфинька.

— А тебе хотелось, чтоб он меня застрелил?

— Чего доброго: от него станется и наяву, — ворчала бабушка. — А что он, отдал тебе восемьдесят рублей?

— Нет, бабушка, я и не спрашивал.

— Все вы мало Богу молитесь, ложась спать, — сказала она, — вот что! А как погляжу, так всем надо горькой соли дать, чтоб чепуха не лезла в голову.

— А вы, бабушка, видели какой-нибудь сон? расскажите. Теперь ваша очередь! — обратился к ней Райский.

— Стану я пустяки болтать!

— Расскажите, бабушка! — пристала и Марфинька.

— Бабушка, позвольте, я расскажу за вас, что вы видели? — вызвался Викентьев.

— А ты почем знаешь бабушкины сны?

— Я угадаю.

— Ну, угадывай.

— Вам снилось, — начал он, — что мужики отвезли хлеб на базар, продали и пропили деньги. Это во-первых…

Все засмеялись.

— Какой отгадчик! — сказала бабушка.

— Во-вторых, что Яков, Егор, Прохор и Мотька, пьяные, забрались на сеновал, закурили трубки и наделали пожар…

— Типун тебе, право, болтун этакий! Поди, я уши надеру!

— В-третьих, что все девки и бабы, в один вечер, съели всё варенье, яблоки, растаскали сахар, кофе…

Опять смех.

— Что Савелий до смерти убил Марину…

— Полно, тебе говорят!.. — унимала сердито Татьяна Марковна.

— И наконец, — торопливо досказывал он, так что на зубах вскочил пузырь, — что земская полиция в деревне велела делать мостовую и тротуары, а в доме поставили роту солдат…

— Вот я же тебя, я же тебя — на, на, на! — говорила бабушка, встав с места и поймав Викентьева за ухо. — А еще жених — болтает вздор какой!

— А ловко, мастерски подобрал! — поощрял Райский. Марфинька смеялась до слез, и даже Вера улыбалась. Бабушка села опять.

— Это вам только лезет в голову такая бестолочь! — сказала она.

— Видите же и вы какие-нибудь сны, бабушка? — заметил Райский.

— Вижу, да не такие безобразные и страшные, как вы все.

— Ну что, например, видели сегодня?

Бабушка стала припоминать.

— Видела что-то, постойте… Да: поле видела, на нем будто лежит… снег.

— А еще? — спросил Райский.

— А на снегу щепка…

— И всё?

— Чего ж еще? И слава Богу, кричать и метаться не нужно!

XXII

Весь день все просидели, как мокрые куры, рано разошлись и легли спать. В десять часов вечера всё умолкло в доме. Между тем дождь перестал, Райский, надев пальто, пошел пройтись около дома. Ворота были заперты, на улице стояла непроходимая грязь, и Райский пошел в сад.

Было тихо, кусты и деревья едва шевелились, с них капал дождь. Райский обошел раза три сад и прошел через огород, чтоб посмотреть, что делается в поле и на Волге.

Темнота. На горизонте скопились удалявшиеся облака, и только высоко над головой слабо мерцали кое-где звезды. Он вслушивался в эту тишину и всматривался в темноту, ничего не слыша и не видя.

Направо туман; левее черным пятном лежала деревня, дальше безразличной массой стлались поля. Он вдохнул в себя раза два сырого воздуха и чихнул.

Вдруг он услышал, что в старом доме отворяется окно. Он взглянул вверх, но окно, которое отворилось, выходило не к саду, а в поле, и он поспешил в беседку из акаций, перепрыгнул через забор и

попал в лужу, но остался на месте, не шевелясь.

— Это вы? — спросил шепотом кто-то из окна нижнего этажа, — конечно, Вера, потому что в старом доме никого, кроме ее, не было.

У Райского затряслись колени, однако он невнятным шепотом отвечал:

— Я.

— Сегодня я не могла выйти — дождик шел целый день; завтра приходите туда же в десять часов… Уйдите скорее, кто-то идет!

Окно тихо затворилось. Райский всё стоял.

«Куда “туда же”? — спрашивал он мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помешавшие услышать продолжение разговора. — Боже! так это правда: — тайна есть (а он всё не верил) — письмо на синей бумаге — не сон! Свидания! Вот она, таинственная ночь! А мне проповедовала о нравственности!»

Он пошел навстречу шагам.

— Кто тут? — громко закричал голос, и с этим вопросом идущий навстречу начал колотить что есть мочи в доску.

— Ну тебя к черту! — с досадой сказал Райский, отталкивая Савелья, который торопливо подошел к нему. — Давно ли ты стал дом стеречь?

— Барыня приказали, — отвечал Савелий, —

мошенники в здешних местах есть… беглые… тоже из бурлаков ходят шалить…

— Врешь всё! — с досадой продолжал Райский, — ты подглядываешь за Мариной: это… скверно, — хотел он сказать, но не договорил и пошел.

— Позвольте о Марине слово молвить! — остановил его Савелий.

— Ну?

— Нельзя ли ее в полицию отправить?

— Ты с ума сошел, — сказал Райский, уходя. Савелий за ним.

— Сделайте божескую милость, — говорил он, — хоть в Сибирь сошлите ее!

Райский погружен был в свой новый «вопрос» о разговоре Веры из окна и продолжал идти.

— Или хоша в рабочий дом — на всю жисть… — говорил Савелий, не отставая от него.

— За что? — спросил вдруг Райский, остановившись.

— Да опять того… почтальон ходит всё… Плетьми бы приказали ее высечь…

— Тебя! — сказал Райский, — чтоб ты не дрался…

— Воля ваша!

— Да не подсматривал! это… скверно… — сквозь

зубы проговорил он, взглянув на окно Веры.

Он ушел, а Савелий неистово застучал в доску.

Райский почти не спал целую ночь и на другой день явился в кабинет бабушки с сухими и горячими глазами. День был ясный. Все собрались к чаю. Вера весело поздоровалась с ним. Он лихорадочно пожал ей руку и пристально поглядел ей в глаза. Она — ничего, ясна и покойна.

— Как ты кокетливо одета сегодня! — сказал он.

— Вы находите простенькую палевую блузу кокетливой?

— А пунцовая лента, а прическа с длинной, небрежно брошенной прядью волос на плечо, а пояс с этим изящным бантом, ботинки, прошитые пунцовым шелком! У тебя бездна вкуса, Вера, я восхищаюсь!

— Очень рада, что нравлюсь вам; только вы как-то странно восхищаетесь. Скажите, отчего?

— Хорошо, скажу: пойдем гулять.

— Когда?

— В десять часов.

Она быстро и подозрительно взглянула на него. Он заметил этот взгляд.

«Напрасно я сказал так определительно — “в десять часов”, — подумал он, — надо бы было

сказать “часов в десять”… Она догадалась…»

— Хорошо, пойдемте! — согласилась она, подумавши, — теперь еще рано, нет десяти часов.

Она села в угол и молчала, избегая его взглядов и не отвечая на вопросы. В исходе десятого она взяла рабочую корзинку, зонтик и сделала ему знак идти за собой.

Они шли молча по аллее от дома, свернули в другую, прошли сад, наконец, остановились у обрыва. Тут была лавка. Они сели.

— Вера! — начал он, едва превозмогая смущение, — я нечаянно, кажется, узнал часть твоего секрета…

— Да, кажется! — холодно сказала она, — вчера вы подслушали мои слова…

— Нечаянно, клянусь тебе честью…

— Верю, — перебила она, взглянув на него мельком, — ну, что же?

— Ничего… Итак… ты любишь кого-то! Сомнения исчезли и… Но кто же он?

— Не скажу, не спрашивайте! — сухо сказала она.

Он вздохнул.

— Сам знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы… Ах, Вера, Вера, — кто же даст тебе больше счастья, нежели я? Почему же

ты *ему* веришь, а мне нет? Ты меня судила так холодно, так строго: а кто тебе сказал, что тот, кого ты любишь, даст тебе счастья больше, нежели на полгода? Почему ты веришь?..

— Потому что люблю!

— Любишь! — с жалостью сказал он. — Боже мой, какой счастливец! И чем он заплатит тебе за громадность счастья, которое ты даешь? Ты любишь, друг мой, будь осторожна: кому ты веришь?..

— Пока еще самой себе…

— Кого ты любишь?

— Кого?.. — повторила она, глядя на него пристально бесцветным, загадочным, «русалочным» взглядом. — Да вас…

У него захватило было дух.

Внизу в роще раздался в это время выстрел.

Она быстро встала со скамьи.

— А это что: это… он? — спросил Райский, меняясь в лице.

— Мне пора — десять часов! — сказала она, видимо встревоженная, стараясь не глядеть на Райского.

Она подошла к обрыву, он ступил шаг за ней. Она сделала ему знак рукой, чтоб он остался.

— Что значит этот выстрел? — спросил он с

испугом.

— Меня зовет…

— Кто?

— Автор синего письма… Ни шагу за мной! — шепнула она ему сильно, — если не хотите, чтоб я…

— Вера!

— Ни шагу — никогда! — повторила она, спускаясь с обрыва, — или я оставлю дом навсегда!

Она скользнула в кусты.

— Вера, Вера! Берегись! — кричал он в отчаянии и стал слушать.

Он слышал только, как раза два под ее торопливыми шагами затрещали сухие ветки, потом настала тишина.

— Боже мой! — в отчаянной зависти вскрикнул он. — Кто он, кто этот счастливец?..

«“Люблю вас!” говорит она. Меня! Что, если правда… А выстрел? — шептал он в ужасе, — а автор синего письма? Что за тайна! кто это?..»

XXIII

А никто другой, как Марк Волохов, этот пария, циник, ведущий бродячую, цыганскую жизнь, занимающий деньги, стреляющий в живых людей, объявивший, как Карл Мор, по словам Райского, войну обществу, живущий под присмотром полиции, — словом, отверженец, «Варавва»!

И как Вера, это изящное создание, взлелеянное под крылом бабушки, в уютном, как ласточкино гнездо, уголке, этот перл, по красоте, всего края, на которую робко обращались взгляды лучших женихов, перед которой робели смелые мужчины, не смея бросить на нее нескромного взгляда, рискнуть любезностью или комплиментом, — Вера, покорившая даже самовластную бабушку, Вера, на которую ветерок не дохнул, — вдруг идет тайком на свидание с опасным, подозрительным человеком! Где она сошлась и познакомилась с ним, когда ему загражден доступ во все дома?

Очень просто и случайно. В конце прошлого лета, перед осенью, когда поспели яблоки и пришла пора собирать их, Вера сидела однажды вечером в маленькой беседке из акаций, устроенной над забором, близ старого дома, и глядела равнодуш-

но в поле, потом вдаль на Волгу, на горы. Вдруг она заметила, что в нескольких шагах от нее, в фруктовом саду, ветви одной яблони нагибаются через забор.

Она наклонилась и увидела покойно сидящего на заборе человека, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по летам — не школьника. Он держал в руках несколько яблок и готовился спрыгнуть.

— Что вы тут делаете? — вдруг спросила она.

Он поглядел на нее с минуту.

— Вы видите, лакомлюсь.

Он закусил одно яблоко.

— Не хотите ли? — говорил он, подвигаясь к ней по забору и предлагая ей другое.

Она отступила от забора на шаг и глядела на него с любопытством, но без страха.

— Кто вы такой? — сказала она строго, — и зачем лазите по чужим заборам?

— Кто я такой — до того вам нужды нет. А зачем лазаю по заборам — я уж вам сказал: за яблоками.

— И вам не совестно? Вы, кажется, не мальчик.

— Чего совеститься?

Он усмехнулся.

— Брать тихонько чужие яблоки! — упрекнула

она.

— Они мои, а не чужие: *вы* воруете их у меня!

Она молчала, продолжая смотреть на него с любопытством.

— Вы, верно, не читали Прудона, — сказал он и взглянул на нее пристально. — Да какая вы красавица! — вдруг прибавил он потом, как в скобках. — Что Прудон говорит: не знаете?

— La propriété c'est le vol,[121] — сказала она.

— Читали! — с удивлением произнес он, глядя на нее во все глаза.

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, слышали: эта божественная истина обходит весь мир. Хотите, принесу Прудона? Он у меня есть.

— Вы не мальчик, — повторила она, — а воруете чужие яблоки и верите, что это не воровство, потому что господин Прудон сказал…

Он быстро взглянул на нее.

— Вы верите же тому, что вам сказали в пансионе или институте… или… Да скажите: вы кто? Это сад Бережковой — вы не внучка ли ее? Мне говорили, что у ней есть две внучки, красавицы…

— Что вам за дело, кто я, — и я скажу?

---

[121] Примечания: 121

— Собственность — это кража (*фр.*).

— Ну так вы верите же в истины, что преподала вам бабушка…

— Я верю тому, что меня убеждает.

Он снял фуражку и поклонился.

— И я тоже. Так вы считаете преступным, что я беру эти яблоки…

— Неприличным.

— И убеждены в этом?

— Да.

— Я хоть не убежден, но уступаю вам: возьмите остальные четыре яблока! — сказал он, подавая их ей.

— Я их дарю вам.

Он опять снял фуражку, иронически поклонился ей и закусил другое яблоко.

— Вы красавица, — повторил он, — вдвойне красавица. И хороши собой, и умны. Жаль, если украсите собой существование какого-нибудь идиота. Вас отдадут, бедную…

— Пожалуйста, без сожалений! Не отдадут: я — не яблоко…

— Кстати о яблоках: в благодарность за подарок, я вам принесу книг. Вы любите читать?

— Прудона?

— Да, с братией. У меня всё новое есть. Только вы не показывайте там бабушке или тупоумным

вашим гостям. Я хотя и не знаю вас, а верю, что вы не связываетесь с ними…

— Почему вы знаете? вы пять минут видите меня…

— Шила в мешке не утаишь. Сразу видно — свободный ум, — стало быть, вы живая, а не мертвая: это главное. А остальное всё придет, нужен случай. Хотите, я…

— Ничего не хочу; «свободный ум» — сами говорите, а уж хотите завладеть им. Кто вы и с чего взяли учить?

Он с удивлением поглядел на нее.

— Ни книг не носите, ни сами больше не ходите сюда, — сказала она, отходя от забора. — Здесь сторож есть: он поймает вас — нехорошо!

— Вот опять понесло от вас бабушкой, городом и постным маслом! А я думал, что вы любите поле и свободу. Вы не боитесь ли меня? Кто я такой, как вы думаете?

— Не знаю: семинарист, должно быть, — сказала она небрежно.

Он засмеялся.

— Почему вы думаете?

— Они неопрятны, бедно одеты, всегда голодны… Подите на кухню: я велю вас накормить.

— Покорно благодарю. Кроме этого, вы ничего

другого в семинаристах не заметили?

— Я ни с одним не знакома и мало видела их. Они такие неотесанные, говорят смешно…

— Это наши настоящие миссионеры, нужды нет, что говорят смешно… «Немощные и худородные» — именно те, кого нужно. Они пока сослепа лезут на огонь, да усердно…

— На какой огонь?

— На свет: к новой науке, к новой жизни… Разве вы ничего не знаете, не слыхали? Какая же вы…

— Что же семинаристы?

— Их держат в потемках, умы питают мертвечиной и вдобавок порют нещадно; вот кто позадорнее из них, да еще из кадет, — этих вовсе не питают, а только порют — и падки на новое, рвутся из всех сил — из потемок к свету… Народ молодой, здоровый, свежий, просит воздуха и пищи, а нам таких и надо…

— Кому *нам*?

— Кому? сказать? Новой, грядущей силе…

— Так вы — «новая, грядущая сила»? — спросила она, глядя на него с любопытством и иронией. — Да кто вы такой? Или имя ваше — тайна?

— Имя? Вы не испугаетесь?

— Не знаю, может быть: говорите.

— Марк Волохов. Ведь это всё равно здесь, в

этом промозглом углу, что Пугачев или Стенька Разин.

Она опять с любопытством поглядела на него.

— Вот вы кто! — сказала она. — Вы, кажется, хвастаетесь своим громким именем! Я слышала уж о вас. Вы стреляли в Нила Андреича и травили одну даму собакой…

Это «новая сила»? Уходите — да больше не являйтесь сюда…

— А то бабушке пожалуетесь?

— Непременно. Прощайте!

Она сошла с беседки и не слыхала его последних слов. А он жадно следил за ней глазами.

— Вот если б это яблоко украсть! — проговорил он, прыгая на землю.

Однако она бабушке не сказала ни слова, а рассказала только своей приятельнице, Наталье Ивановне, обязав ее тоже никому не говорить.

Часть четвертая

I

Вера, расставшись с Райским, еще подождала, чутко вслушиваясь, не следует ли он за ней, и вдруг бросилась в кусты, раздвигая ветви зонтиком и скользя как тень по знакомой ей тропинке.

Она пробралась к развалившейся и полусгнившей беседке в лесу, который когда-то составлял часть сада. Крыльцо отделилось от нее, ступени рассохлись, пол в ней осел, и некоторые доски провалились, а другие шевелились под ногами. Оставался только покривившийся набок стол, да две скамьи, когда-то зеленые, и уцелела еще крыша, заросшая мхом.

В беседке сидел Марк. На столе лежало ружье и кожаная сумка.

Он подал Вере руку и почти втащил ее в беседку по сломанным ступеням.

— Что так поздно?

— Брат задержал, — сказала она, поглядев на часы. — Впрочем, я только четверть часа опоздала. Ну, что вы? ничего не случилось нового?

— А что должно случиться? — спросил он, — разве вы ждали?

— Не посадили ли на гауптвахту опять или в полицию? Я каждый день жду…

— Нет, я теперь стал осторожнее, после того как Райский порисовался и свеликодушничал: взял на себя историю о книгах…

— Вот этого я не люблю в вас, Марк…

— Чего «этого»?

— Какой-то сухости, даже злости ко всему, кроме себя. Брат не рисовался совсем, он даже не сказал мне. Вы не хотите оценить доброй услуги.

— Я ценю по-своему.

— Как волк оценил услугу журавля. Ну что бы сказать ему «спасибо» от души, просто, как он просто сделал? Прямой вы волк! — заключила она, замахнувшись ласково зонтиком на него. — Всё отрицать, порицать, коситься на всех… Гордость это или…

— Или что?

— Тоже рисовка, позированье, новый образ воспитания «грядущей силы»…

— Ах вы, насмешница! — сказал он, садясь подле нее, — вы еще молоды, не пожили, не успели отравиться всеми прелестями доброго старого времени. Когда я научу вас человеческой правде?

— А когда я отучу вас от волчьей лжи?

— За словом в карман не ходите: умница! С вами не скучно. Если б еще к этому…

Он почесал задумчиво голову.

— В полицию посадили! — договорила она. — Кажется, только этого недостает для вашего счастья!

— Не будь вас, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мешаете…

— Вам скучно жить мирно, бури хочется! А обещали мне и другую жизнь, и чего-чего не обещали! Я была так счастлива, что даже дома заметили экстаз. А вы опять за свое!

Он взял ее за руку.

— Хорошенькая рука, — сказал он, целуя несколько раз и потянулся поцеловать ее в щеку, но она отодвинулась.

— Опять нет! Скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь Успенского поста? Или бережете ласки для…

— Не люблю я, когда вы так шутите! — отдернув руку, сказала она. — Вы это знаете.

— Тон нехорош?

— Да, неприятный. Прежде отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер: это и будет первый шаг к человеческой правде!

— Ах вы, барышня! девочка! На какой еще

азбуке сидите вы: на манерах да на тоне! Как медленно развиваетесь вы в женщину! Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье, — а вы разбираете тон, манеры! Где же человек, где женщина в вас?.. Какая тут «правда»!

— Вот теперь, как Райский, заговорили…

— А что он: всё страстен?

— Еще больше. Я не знаю, право, что с ним делать.

— Что? Дурачить, тянуть…

— Гадко, неловко, совестно, — сказала она, качая головой. — И не умею я: это не мое дело!

— Совестно! вы думаете, он не дурачит вас?

Она покачала с сомнением головой.

— Нет, он, кажется, увлекается…

— Тем хуже: он ухаживает, как за своей крепостной. Эти стихи, что вы мне показывали, отрывки ваших разговоров — всё это ясно, что он ищет развлечения. Надо его проучить…

— Лучше всё открыть ему — он уедет. Он говорит, что тайна поддерживает в нем раздражение и что если он узнает всё, то успокоится и уедет…

— Врет: не верьте, хитрит. А лишь узнает, то возненавидит вас или будет читать мораль, еще скажет, пожалуй, бабушке…

— Боже сохрани! — перебила Вера, вздрогнув, —

если ей скажет кто-нибудь другой, а не мы сами… Ах, скорее бы! Уехать мне разве на время?..

— Куда вы уедете! Надолго — нельзя и некуда, а ненадолго — только раздражите его. Вы уезжали: что ж вышло? Нет, одно средство: не показывать ему истины, а водить. Пусть порет горячку, читает стихи, смотрит на луну… Ведь он неизлечимый романтик… После отрезвится и уедет…

Она вздохнула в ответ.

— Он не романтик, а поэт, артист, — сказала она. — Я начинаю верить в него. В нем много чувства, правды… Я ничего не скрыла бы от него, если б у него у самого не было ко мне того, что он называет страстью. Только чтоб его немного охладить, я решаюсь на эту глупую, двойную роль… Лишь отрезвится, я сейчас ему скажу первая всё — и мы будем друзья…

— Да ну его! — сказал Марк, взяв ее опять за руку. — Мы не затем сошлись, чтоб заниматься им.

Он молча целовал у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.

— Ну, что же вы? — спросила она, отряхивая задумчивость.

— А что?

— Что делали, с кем виделись это время? не проговорились ли опять чего-нибудь о «грядущей

силе», да о «заре будущего», о «юных надеждах»? Я так и жду каждый день; иногда от страха и тоски не знаю куда деться!

— Нет, нет, — смеясь, сказал Марк, — не бойтесь. Я бросил этих скотов: не стоит с ними связываться.

— Ах, дай Бог: умно бы сделали! Вы хуже Райского в своем роде, вам бы нужнее был урок. Он артист: рисует, пишет повести. Но я за него не боюсь, а за вас у меня душа не покойна. Вон у Лозгиных младший сын, Володя, — ему четырнадцать лет — и тот вдруг объявил матери, что не будет ходить к обедне.

— Что же?

— Высекли: стали добираться — отчего? На старшего показал. А тот забрался в девичью да горничным целый вечер проповедовал, что глупо есть постное, что Бога нет и что замуж выходить нелепо…

— Ах! — с ужасом произнес Марк. — Ужели это правда: в девичьей! А я с ним целый вечер как с путным говорил, дал ему книг и…

— Уж он в книжную лавку ходил с ними: «Вот бы, говорит купцам, какими книгами торговали!..» Ну, если он проговорится про вас, Марк? — с глубоким и нежным упреком сказала Вера. — То

ли вы обещали мне всякий раз, когда расставались и просили видеться опять?

— Всё это было давно; теперь я не связываюсь с ними, после того как обещал вам. Не браните меня, Вера! — нахмурясь, сказал Марк.

Он тяжело задумался.

— Если б не вы, — сказал он, взяв ее опять за руку, — завтра бежал бы отсюда.

— А куда? Везде всё то же: везде есть мальчики, которым хочется, чтоб поскорей усы выросли, и девичьи тоже всюду есть… Ведь взрослые не станут слушать. И вам не стыдно своей роли? — сказала она, помолчав и перебирая рукой его волосы, когда он наклонился лицом к ее руке. — Вы верите в нее, считаете ее, не шутя, призванием?

Он поднял голову.

— Роль, — какую роль? вспрыснуть живой водой мозги?

— А вы убеждены, что это живая вода?

— Послушайте, Вера: я не Райский, — продолжал он, встав со скамьи. — Вы женщина, и еще не женщина, а почка: вас еще надо развернуть, обратить в женщину. Тогда вы узнаете много тайн, которых и не снится девичьим головам и которых растолковать нельзя: они доступны

только опыту… Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь: а вы остановились на пороге и уперлись. Обещали так много, а идете вперед так туго — и еще учить хотите. А главное — не верите!

— Не сердитесь, — сказала она грудным голосом, от сердца, искренно, — я соглашаюсь с вами в том, что кажется мне верно и честно, и если нейду решительно на эту вашу жизнь и на опыты, так это потому, что хочу сама знать и видеть, куда иду.

— То есть хочу рассуждать!

— Чего же вы требуете? чтоб я не рассуждала?

— Чего, чего! — повторил он, — во-первых, я люблю вас и требую ответа полного… А потом верьте мне и слушайтесь! Разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем Райском, с его поэзией? Только я не умею говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть — неразговорчива… А вы не верите, не слушаетесь!..

— Посмотрите, чего вы хотите, Марк: чтоб я была глупее самой себя! Сами проповедовали свободу, а теперь хотите быть господином и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски…

— Если у вас нет доверия ко мне, вас одолевают сомнения, оставим друг друга, — сказал он, — так

наши свидания продолжаться не могут…

— Да, лучше оставим, — сказала и она решительно, — а я слепо никому и ничему не хочу верить, не хочу! Вы уклоняетесь от объяснений, тогда как я только вижу во сне и наяву, чтоб между нами не было никакого тумана, недоразумений, чтоб мы узнали друг друга и верили… А я не знаю вас и… не могу верить!

— Ах, Вера! — сказал он с досадой, — вы всё еще, как цыпленок, прячетесь под юбки вашей наседки-бабушки: у вас ее понятия о нравственности. Страсть одеваете в какой-то фантастический наряд, как Райский… Чем бы прямо от опыта допроситься истины… и тогда поверили бы… — говорил он, глядя в сторону. — Оставим все прочие вопросы — я не трогаю их. Дело у нас прямое и простое: мы любим друг друга… Так или нет?

— Что же, Марк, из этого?

— Ну, если мне не верите, так посмотрите кругом. Весь век живете в поле и лесу и не видите этих опытов… Смотрите сюда, смотрите там…

Он показал ей на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом на мелькнувших одна вдогонку другой ласточек.

— Учитесь у них: они не умничают!

— Да, — сказала она, — смотрите и вы: вон они

кружатся около гнезд.

Он отвернулся.

— Вон одна опять полетела, вероятно, за кормом…

— И к зиме все разлетятся! — небрежно, глядя в сторону, говорил он.

— А к весне воротятся опять в то же гнездо, — заметила она.

— Я вот слушаюсь вас и верю, когда вижу, что вы дело говорите, — сказал он. — Вас смущала резкость во мне, — я сдерживаюсь. Отыскал я старые манеры и скоро буду, как Тит Никоныч, шаркать ножкой, кланяясь, и улыбаться. Не бранюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всенощной пойду… Чего еще!

— Всё это шутки: не того хотела я! — сказала она, вздохнув.

— Чего же?

— Всего! Если не всего, так многого! И до сих пор не добилась, чтоб вы поберегли себя… хоть для меня, перестали бы «вспрыскивать мозги» и остались здесь, были бы, как другие…

— А если я действую по убеждению?

— Чего вы хотите, чего надеетесь?

— Учу дураков!

— Чему? знаете ли сами? Тому ли, о чем мы с

вами год здесь спорим? ведь жить так нельзя, как вы говорите. Это всё очень ново, смело, занимательно…

— Э! мы опять за то же! опять с горы потянуло мертвым воздухом! — перебил Марк.

— Вот и весь ваш ответ, Марк! — сказала она кротко, — всё прочь, всё ложь, — а что правда — вы сами не знаете… Оттого я и недоверчива…

— У вас рефлексия берет верх над природой и страстью, — сказал он, — вы, барышня, замуж хотите! Это не любовь!.. Это скучно! Мне надо любви, счастья… — твердил он, качая головой.

Вера вспыхнула.

— Если б я была барышня и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Марк, — сказала она, вставая с места.

— Простите — я груб! — извинялся он, целуя у ней руку. — Но вы сдерживаете чувство, медлите, чего-то допытываетесь, вместо того, чтоб наслаждаться…

— Допытываюсь, кто и что вы, потому что не шучу чувством. А вы на него смотрите легко, как на развлечение…

— Нет, как на насущную потребность, следовательно, тоже не шучу… Какие шутки! Я не сплю по

ночам, как Райский. Это пытка! Я никогда не думал, чтоб раздражение могло зайти так далеко!

Он говорил почти с злостью.

— Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову вас к счастью, а вы его боитесь…

— Нет, я только не хочу его на месяц, на полгода…

— А на целую жизнь и за гробом тоже? — насмешливо спросил он.

— Да, на целую жизнь! я не хочу предвидеть ему конца, а вы предвидите и предсказываете: я и не верю и не хочу такого счастья; оно неискренно и непрочно…

— Когда же я предсказывал?

— Много раз: не нарочно, может быть, а я не пропустила. «Что это за заглядыванье в даль? — твердили вы, — что за филистерство — непременно отмеривать себе счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету и потом, после двух-трех глотков, беги прочь, чтоб не опротивело, и ищи другого! Не давай яблоку свалиться, рви его скорей и завтра рви другое. Не кисни на одном месте, как улитка, и не вешайся на одном сучке. Виснуть на шее друг друга, пока виснется, потом разойтись…» Это всё вы раскидали по своим проповедям. Стало быть, у вас это сделалось

убеждением…

— Ну, «стало быть»: так что же? Вы видите, что это не притворство! Отчего же не верите?

— Оттого, что верю чему-то другому, лучше, вернее, и хочу…

— Обратить меня в эту веру?

— Да! — сказала она, — хочу — и это одно условие моего счастья: я другого не знаю и не желаю…

— Прощайте, Вера, вы не любите меня: вы следите за мной, как шпион, ловите слова, делаете выводы… И вот всякий раз, как мы наедине, вы — или спорите, или пытаете меня, — а на пункте счастья мы всё там же, где были… Любите Райского: вот вам задача! Из него, как из куклы, будете делать что хотите: наряжать во все бабушкины отрепья или делать из него каждый день нового героя романа, и этому конца не будет. А мне некогда, у меня есть дела…

— А, видите, дела? А любовь, счастье — забава?

— А вы хотели бы, по-старому, из одной любви сделать жизнь, гнездо — вон такое, как у ласточек, сидеть в нем и вылетать за кормом? В этом и вся жизнь!

— А вы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть его…

— Да, если оно забудется. А если не забудется — воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется? Это свобода? Вы как хотели бы?

— Я этого не понимаю — этой птичьей жизни, — сказала она. — Вы, конечно, несерьезно указали вокруг, на природу, на животных…

— А вы — не животное? дух, ангел — бессмертное создание? Прощайте, Вера, мы ошиблись: мне надо не ученицу, а товарища…

— Да, Марк, товарища, — пылко возразила она, — такого же сильного, как вы, равного вам, — да, не ученицу, согласна, — но товарища на всю жизнь! Так?

Он не отвечал на ее вопрос, как будто не слыхал его.

— Я думал, — продолжал он, — что мы скоро сойдемся и потом разойдемся или не разойдемся — это зависит от организмов, от темпераментов, от обстоятельств. Свобода с обеих сторон — и затем — что выпадет кому из нас на долю: радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги — это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам. А вы вдались в анализ

последствий, миновали опыты — и оттого судите вкривь и вкось, как старая дева. Вы не отделались от бабушки, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков. А где правда и свет — еще не прозрели! Я ошибся! Спи, дитя! Прощайте! Постараемся не видаться больше…

— Да, постараемся, Марк! — уныло произнесла она, — мы счастливы быть не можем… Ужели не можем! — всплеснув руками, сказала потом. — Что нам мешает! Послушайте… — остановила она его тихо, взяв за руку. — Объяснимся до конца… Посмотрим, нельзя ли нам согласиться?..

Она замолчала и утонула в задумчивости как убитая.

Он ничего не отвечал, встряхнул ружье на плечо, вышел из беседки и пошел между кустов. Она оставалась неподвижная, будто в глубоком сне, потом вдруг очнулась, с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он ушел.

«Говорят: “кто не верит — тот не любит”, — думала она, — я не верю ему, стало быть… и я… не люблю его? Отчего же мне так больно, тяжело… что он уходит? Хочется упасть и умереть здесь!..»

— Марк! — сказала она тихо.

Он не оглядывался.

— Марк! — громче повторила она.

Он шел.

— Марк! — крикнула она и прислушивалась, не дыша.

Марк быстро шел под гору. Она изменилась в лице и минут через пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтик и медленно, задумчиво поднялась на верх обрыва.

«Правда и свет, сказал он, — думала она, идучи, — где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечет меня… сердце? И сердце ли это? И ужели я резонерка? Или правда здесь?..» — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне.

Молча, глубоко глядела она в смотрящий на нее, задумчивый взор образа.

— Ужели *он* не поймет этого никогда и не воротится — ни сюда… к этой вечной правде… ни ко мне, к правде моей любви? — шептали ее губы. — Никогда! какое ужасное слово!

II

Она бродила дня четыре по роще, ждала в беседке, но ничего не дождалась. Марк туда не приходил.

«Постараемся не видаться больше», — это были его последние слова. «Нельзя ли нам согласиться?» — отвечала она, — и он не обернулся на эту надежду, на этот зов сердца.

От Райского она не пряталась больше. Он следил за ней напрасно, ничего не замечал и впадал в уныние. Она не получала и не писала никаких таинственных писем, обходилась с ним ласково, но больше была молчалива, даже грустна.

Он чаще прежнего заставал ее у часовни молящеюся. Она не таилась и даже однажды приняла его предложение проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна, и во время службы и вне службы, долго молясь и стоя на коленях неподвижно, задумчиво, с поникшей головой.

Он тихо стоял сзади ее, боясь пошевелиться и вызвать ее из молитвенного сна, и наблюдал, онемев в углу за колонной. Потом молча подавал ей зонтик или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, в усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила к себе.

А он шел мучиться сомнениями и страдал за себя и за нее. Она не подозревала его тайных мук, не подозревала, какою страстною любовью охвачен был он к ней — как к женщине человек и как к идеалу художник.

Не знала она и того, что рядом с этой страстью, на которую он сам напросился, которую она, по его настоянию, позволила питать, частию затем, что надеялась этой уступкой угомонить ее, частию повинуясь совету Марка, чтобы отводить его глаза от обрыва и вместе «проучить», слегка, дружески, добродушно посмеявшись над ним, — не знала она, что у него в душе всё еще гнездилась надежда на взаимность, на ответ если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь.

И как легко верилось ему, — несмотря на очевидность ее посторонних мук, на таинственные прогулки на дно обрыва, — потому что хотелось верить. Бессознательно он даже боялся разувериться окончательно в надежде на взаимность. Верить в эту надежду было его счастьем — и он

всячески подогревал ее в себе. Он иначе, в свою пользу, старался объяснить загадочность этих прогулок.

«Эти выстрелы, — думал он, — значат, может быть, что-нибудь другое: тут не любовь, а иная тайна играет роль. Может быть, Вера несет крест какой-нибудь роковой ошибки: кто-нибудь покорил ее молодость и неопытность и держит ее под другим злым игом, а не под игом любви, что этой последней и нет у нее, что она просто хочет там выпутаться из какого-нибудь узла, завязавшегося в раннюю пору девического неведения, что все эти прыжки с обрыва, тайны, синие письма — больше ничего, как отступления — не перед страстью, а перед другой темной тюрьмой, куда ее загнал фальшивый шаг и откуда она не знает, как выбраться… что, наконец, в ней проговаривается любовь… к нему… к Райскому, что она готова броситься к нему на грудь и на ней искать спасения…»

Ему казалось иногда, что она обращала к нему немой, молящий взгляд о помощи или вопросительно глядела на него, как будто пытая, силен ли и волен ли он поднять, оправить ее, поставить на ноги, уничтожив невидимого врага, и вывести на прямой путь?

Так он мечтал, волновался, падал в бездну безнадежности, и опять выносила его волна наверх — и всё от одного, небрежно брошенного ею слова: «Люблю вас...»

Он вздрагивал от счастья, нужды нет, что слово это сопровождалось русалочным взглядом, что с этим словом она исчезла с обрыва.

«Если неправда, зачем она сказала это? для шутки — жестокая шутка? Женщина не станет шутить над любовью к себе, хотя бы и не разделяла ее. Стало быть — не верит мне... и тому, что я чувствую к ней, как я терзаюсь!»

Он мучился в трескучем пламени этих сомнений, этой созданной себе пытки, и иногда рыдал, не спал ночей, глядя на слабый огонь в ее окне.

— Не подозревает, какое злое дело делает она со мной! Палач в юбке! — сквозь зубы шипел он.

И вдруг отрезвлялся, чуял ложь этого ее «вас люблю», ложь своей пьяной уверенности в ее любви, ложь своего положения.

Однажды в сумерки опять он застал ее у часовни молящеюся. Она была покойна, смотрела светло, с тихой уверенностью на лице, с какою-то покорностью судьбе, как будто примирилась с тем, что выстрелов давно не слыхать, что с обрыва ходить более не нужно. Так и он толковал

это спокойствие и тут же тотчас готов был опять верить своей мечте о ее любви к себе.

Она ласково подала ему руку и сказала, что рада его видеть именно в эту минуту, когда у ней покойнее на сердце. Она в эти дни, после свидания с Марком, вообще старалась казаться покойной и дома, за обедом, к которому являлась каждый день, она брала над собой невероятную силу, говорила со всеми, даже шутила иногда, старалась есть.

Бабушка ничего не видала: так казалось по крайней мере, не следила за ней подозрительно, не кидала косых взглядов.

— Вера, ты простишь меня, если я заговорю… — начал робко Райский у часовни.

— Всё прощу, брат, говорите! — кротко отвечала она.

— Ты не можешь вообразить себе, как я счастлив, что ты стала покойнее. Посмотри, каким миром сияет у тебя лицо: где ты почерпнула этот мир? Там?

Он указал на часовню.

— Где же больше?

— Ты… не ходишь, кажется, больше туда? — продолжал он, указывая к обрыву.

Она покачала головой.

— И не пойду, — тихо сказала она.

— Слава Богу — какое счастье! Куда ты теперь: домой? Дай мне руку. Я провожу тебя.

Он взял ее под руку, и они тихо пошли по тропинке луга.

— Ты борешься… Вера, и отчаянно борешься: этого не скроешь… — шептал он.

Она шла с поникшей головой. Это молчание дало ему надежду, что она выскажется до конца.

— Когда ты одолеешь мучительную и опасную страсть… — продолжал он и остановился, ожидая, не подтвердит ли она эти его намеки явным сознанием.

— Что же, брат, тогда? — спросила она уныло.

— Ты выйдешь с громадным опытом, закаленная против всяких других бурь…

— Куда и для чего я выйду?

— Для лучшей доли…

— Какой лучшей доли?

Он молчал, вспоминая, какую яркую картину страсти чертил он ей в первых встречах и как усердно толкал ее под ее тучу. А теперь сам не знал, как вывести ее из-под нее…

— Доли трезвого, глубокого, разумного и прочного счастья, которое бы протянулось на всю жизнь…

— Я иначе счастья и не разумею… — задумчиво сказала она и, остановясь, опустила лоб на его плечо, как будто усталая.

Он поглядел ей в глаза: в них стояли слезы. Он не подозревал, что вложил палец в рану, коснувшись главного пункта ее разлада с Марком, основной преграды к «лучшей доле»!

— Ты плачешь… Вера, друг мой! — сказал он с участием.

В эту минуту раздался внизу обрыва выстрел и шипящим эхом прокатился по горе. Вера и Райский оба вздрогнули.

Она, как будто испугалась, подняла голову и на минуту оцепенела, всё слушая. Глаза у ней смотрели широко и неподвижно. В них еще стояли слезы. Потом отняла с силой у него руку и рванулась к обрыву.

Он за ней. Она остановилась на полудороге, приложив руку к сердцу, и опять слушала.

— Пять минут назад ты была тверда, Вера… — говорил он, бледный и тоже не менее ее взволнованный выстрелом.

Она поглядела машинально на него, не слушая, и сделала шаг опять к обрыву, но повернула назад и медленно пошла к часовне.

— Да, да, — шептала она, — я не пойду. Зачем он

зовет: ужели в эти дни совершился переворот?.. Нет, нет, не может быть, чтобы он…

Она стала на пороге часовни на колени, закрыла руками лицо и замерла неподвижно. Райский тихо подошел к ней сзади.

— Не ходи, Вера… — шептал он.

Она вздрогнула, но глядела напряженно на образ: глаза его смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светилось в них, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она с ужасом выпрямилась, медленно вставая с колен; Бориса она будто не замечала.

Раздался другой выстрел. Она стремительно бросилась по лугу к обрыву.

«Что, ежели он возвращается… если моя “правда” взяла верх? Иначе зачем зовет?.. О Боже!» — думала она, стремясь на выстрел.

— Вера! Вера! — в ужасе говорил Райский, протягивая руки, чтоб ей помешать.

Она, не глядя на него, своей рукой устранила его руки и, едва касаясь ногами травы, понеслась по лугу, не оглянулась назад и скрылась за деревьями сада, в аллее, ведущей к обрыву…

Райский онемел на месте.

«Что это, тайна роковая или страсть? — спрашивал он, — или и то и другое?»

III

Вера вечером пришла к ужину, угрюмая, попросила молока, с жадностью выпила стакан и ни с кем не сказала ни слова.

— Что ты такая скучная, Верочка, здорова ли? — спросила бабушка сухо.

— Да, я не смел вас спросить об этом, — вежливо вмешался Тит Никоныч, — но с некоторых пор (при этом Вера сделала движение плечами) нельзя не заметить, что вы, Вера Васильевна, изменились… как будто похудели… и бледны немножко… Это к вам очень, очень идет, — любезно прибавил он, — но при этом надо обращать внимание на то, не суть ли это признаки болезни?

— Да, у меня зубы немного болят, — нехотя отвечала Вера. — Это скоро пройдет…

Бабушка глядела в сторону и грустно молчала. Райский, держа двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударял ею по тарелке. Он тоже ничего не ел и угрюмо молчал. Только Марфинька с Викентьевым ели всё, что подавали, и без умолку болтали.

— Что вы этому шарику пожелаете? — спраши-

вала Марфинька.

— Крысу за пазуху! — без запинки отвечал Викентьев.

— Что вы это! Я бабушке загадала…

И оба старались задушить неистовый хохот, справившись с которым, Марфинька рассердилась на своего жениха «за дерзость» против бабушки.

— Позвольте посоветовать вам, Вера Васильевна, — начал Тит Никоныч, отвечая на возражение Веры, — не пренебрегать здоровьем. Теперь август: вечера становятся сыры. Вы делаете продолжительные прогулки — это прекрасно: ничто так не поддерживает здоровья, как свежий воздух и моцион. Но при этом отнюдь не должно позволять себе выходить по вечерам с открытой головой, а равно и без ботинок на толстой подошве. Особенно дамам при нежной комплексии… Всего лучше при этом брать с собой косыночку теплую… Я видел, только что привезли модные, из легкого козьего пуха… Я уже приобрел три… вам, Татьяне Марковне и Марфе Васильевне… но без вашего позволения не смел представить…

Бабушка с ласковой грустью кивнула ему головой, Вера старалась улыбнуться, а Марфинька без церемонии сказала:

— Ах, какой вы добрый, Тит Никоныч! после ужина я поцелую вас: вы позволите?

— Я не позволю, я ревнив! — сказал Викентьев.

— Вас не спросят! — отвечала Марфинька.

Тит Никоныч заливался застенчивым смехом.

— К вашим услугам, Марфа Васильевна!.. сочту себя счастливым… — приговаривал он. — Какая отменная девица! — вполголоса добавил он, обращаясь к Райскому, — это распускающаяся, так сказать, роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться!

И чмокнул умиленно губами.

«Да, правда, роза в полном блеске! — подумал Райский со вздохом, — а та — как лилия, “до коей” уже, кажется, касается не ветерок, а ураган».

Он глядел на Веру. Она встала, поцеловала руку у бабушки, вместо поклона взглядом простилась с остальными и вышла.

И другие встали из-за стола. Марфинька подбежала к Титу Никонычу и исполнила свое намерение.

— Нельзя ли прислать косыночку завтра? — шептала она ему, — мы утром с Николаем Андреичем на Волгу уйдем… она понадобится…

— С полным моим удовольствием!.. — говорил Тит Никоныч, шаркая, — сам завезу…

Она еще поцеловала его в лоб и бросилась к бабушке.

— Ничего, ничего, бабушка! — говорила она, заминая вопрос Татьяны Марковны о том, «что она там шепчет Титу Никонычу?» Но не замяла.

Тит Никоныч не мог солгать Татьяне Марковне и, смягчая, извиняя всячески просьбу Марфиньки, передал бабушке.

— Попрошайка! — упрекнула ее Татьяна Марковна, — иди спать — поздно! А вам, Николай Андреич, домой пора. С Богом, покойной ночи!

— Я вас завезу — по обыкновению: у меня дрожки, — сказал любезно Тит Никоныч.

Едва Вера вышла, Райский ускользнул вслед за ней и тихо шел сзади. Она подошла к роще, постояла над обрывом, глядя в темную бездну леса, лежащую у ее ног, потом завернулась в мантилью и села на свою скамью.

Райский издали дал знать о себе кашлем и подошел к ней.

— Я посижу с тобой, Вера, — сказал он, — можно?

Она молча отодвинулась, чтоб дать ему место.

— Ты очень печальна: ты страдаешь!

— Зубы болят… — отвечала она.

— Нет, не зубы — ты вся болишь; скажи мне…

что у тебя? Поделись горем со мной…

— Зачем? я сумею снести одна. Ведь я не жалуюсь.

Он вздохнул.

— Ты любишь несчастливо — кого? — шепнул он.

— Опять «кого»? Да вас, Боже мой! — сказала она, с нетерпением повернувшись на скамье.

— К чему этот злой смех и за что? Чем я заслужил его? Тем, что страстно люблю, глупо верю и рад умереть за тебя…

— Какой смех! мне не до смеха! — почти с отчаянием сказала она, встала со скамьи и начала ходить взад и вперед по аллее.

Райский оставался на скамье.

«А я всё надеялась… и надеюсь еще… безумная! Боже мой! — ломая руки, думала она. — Попробую бежать на неделю, на две: избавиться этой горячки, хоть на время… вздохнуть! сил нет!»

Она остановилась перед Райским.

— Брат! — сказала она, — я завтра уеду за Волгу, — пробуду там, может быть, долее обыкновенного…

— Этого только недоставало! — горестно произнес Райский, не дав договорить.

— Я не простилась с бабушкой, — продолжала

она, не обращая внимания на его слова, — она не знает, скажите вы ей, а я уеду на заре.

Он молчал уничтоженный.

— Теперь и я уеду! — вслух подумал он.

— Напрасно, погодите… — сказала она, с примесью будто искренности, — когда я немного успокоюсь…

Она на минуту остановилась.

— Я, может быть, объясню вам… И тогда мы простимся с вами иначе, лучше, как брат с сестрой, а теперь… я не могу!.. Впрочем, нет! — поспешно заключила, махнув рукой, — уезжайте! Да окажите дружбу, зайдите в людскую и скажите Прохору, чтоб в пять часов готова была бричка, а Марину пошлите ко мне. На случай, если вы уедете без меня, — прибавила она задумчиво, почти с грустью, — простимтесь теперь! Простите меня за мои странности… (она вздохнула) и примите поцелуй сестры…

Она обеими руками взяла его голову, поцеловала в лоб и быстро пошла прочь.

— Благодарю вас за всё, — сказала она, вдруг обернувшись, издали, — теперь у меня нет сил доказать, как я благодарна вам за дружбу… всего более за этот уголок. Прощайте и простите меня!

Она уходила. Он был в оцепенении. Для него

пуст был целый мир, кроме этого угла, а она посылает его из него туда, в бесконечную пустыню! Невозможно заживо лечь в могилу!

— Вера! — кликнул он, торопливо догнав ее.

Она остановилась.

— Позволь мне остаться, пока ты там… Мы не будем видеться, я надоедать не стану! Но я буду знать, где ты, буду ждать, пока ты успокоишься, и — по обещанию — объяснишь… Ты сейчас сама сказала… Здесь близко, можно перекинуться письмом…

Он поводил языком по горячим губам и кидал эти фразы торопливо и отрывисто, как будто боялся, что она уйдет сию минуту и пропадет для него навсегда.

У него была молящая мина, он протянул руку к ней. Она молчала нерешительно, тихо подходя к нему.

— Дай этот грош нищему… Христа ради! — шептал он страстно, держа ладонь перед ней, — дай еще этого рая и ада вместе! дай жить, не зарывай меня живого в землю!.. — едва слышно договаривал он, глядя на нее с отчаянием.

Она глядела ему во все глаза и сделала движение плечами, как будто чувствовала озноб.

— Чего вы просите, сами не знаете… — тихо

отвечала она.

— Христа ради! — повторял он, не слушая ее и всё держа протянутую ладонь.

А она задумалась, глядя на него изредка, то с состраданием, то недоверчиво.

— Хорошо, оставайтесь, — прибавила потом решительно, — пишите ко мне, только не проклинайте меня, если ваша «страсть», — с небрежной иронией сделала она ударение на этом слове, — и от этого не пройдет! «А может быть, и пройдет… — подумала сама, глядя на него, — ведь это так, фантазия!»

— Всё вынесу — все казни!.. Скорее бы не вынес счастья! а муки… дай их мне: они — тоже жизнь! Только не гони, не удаляй: поздно!

— Как хотите! — отвечала она рассеянно, о чем-то думая.

Он ожил, у него нервы заиграли.

А она думала с тоской: «Зачем не *он* говорит это!»

— Хорошо, — сказала она, — так я уеду не завтра, а послезавтра.

И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то не то надежда на что-то, не то замысел. Оба стали вдруг довольны, каждый про себя и друг другом.

— Позовите только Марину ко мне теперь же — и покойной ночи!

Он с жаром поцеловал у ней руку, и они разошлись.

IV

Вера, на другой день утром рано, дала Марине записку и велела отдать кому-то и принести ответ. После ответа она стала веселее, ходила гулять на берег Волги, и вечером, попросившись у бабушки на ту сторону, к Наталье Ивановне, простилась со всеми, и, уезжая, улыбнулась Райскому, прибавив, что не забудет его.

Через день пришел с Волги утром рыбак и принес записку от Веры с несколькими ласковыми словами. Выражения: «милый брат», «надежды на лучшее будущее», «рождающаяся искра нежности, которой не хотят дать ходу» и т. д. обдали Райского искрами счастья.

Он охмелел от письма, вытвердил его наизусть — и к нему воротилась уверенность в себе, вера в Веру, которая являлась ему теперь в каком-то свете правды, чистоты, грации, нежности.

Он забыл свои сомнения, тревоги, синие письма, обрыв, бросился к столу и написал коротенький нежный ответ, отослал его к Вере, а сам погрузился в какие-то хаотические ощущения страсти. Веры не было перед глазами; сосредоточенное, напряженное наблюдение за ней

раздробилось в мечты или обращалось к прошлому, уже испытанному. Он от мечтаний бросался к пытливому исканию «ключей» к ее тайнам.

Он смотрит, ищет, освещает темные места своего идеала, пытает собственный ум, совесть, сердце, требуя опыта, наставления, — чего хотеть и просить от нее, чего недостает для полной гармонии красоты? Прислушивался к своей жизни, припоминал всё, что оскорбляло его в его прежних, несостоявшихся идеалах.

Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотом, брильянтами и румянами, густыми волнами опять протекла мимо его. Он припомнил свои страдания, горькие оскорбления, вынесенные им в битвах жизни: как падали его модели, как падал он сам вместе с ними и как вставал опять, не отчаиваясь и требуя от женщин человечности, гармонии красоты наружной с красотой внутренней.

Ему предчувствие говорило, что это последний опыт, что в Вере он или найдет, или потеряет уже навсегда свой идеал женщины, разобьет свою статую в куски и потушит диогеновский фонарь.

Он мучился тем, что видел в ней, среди лучей, туманное пятно — ложь. Отчего эта загадочность, исчезание по целым дням, таинственные

письма, прятанье, умалчивание, под которым ползла, может быть, грубая интрига или крылась роковая страсть или какая-то неуловимая тайна — что, наконец? «Своя воля, горда», — говорит бабушка. — «Свободы хочу, независимости», — подтверждает она сама, а между тем прячется и хитрит! Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идут избранным путем, презирая ложь и мышиную беготню и вынося мужественно все последствия смелых и своевольных шагов! «Признайся в них, не прячься — и я поклонюсь твоей честности!» — говорил он. У своевольных женщин — свои понятия о любви, о добродетели, о стыде, и они мужественно несут терния своих пороков. Вера проповедует своеобразие понятий, а сама не следует им открыто, она скрывается, обманывает его, бабушку, весь дом, весь город, целый мир!

Нет, это не его женщина! За женщину страшно, за человечество страшно, — что женщина может быть честной только случайно, когда любит, перед тем только, кого любит, и только в ту минуту, когда любит, или тогда, наконец, когда природа отказала ей в красоте, следовательно — когда нет никаких страстей, никаких соблазнов и борьбы и нет никому дела до ее правды и лжи!

— Ложь — это одно из проклятий сатаны, брошенное в мир… — говорил он. — Не может быть в ней лжи… — утешался потом, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ее лица, этого отражения души. Какой правдой дышало оно! «Красота — сама сила: зачем ей другая, непрочная сила — ложь!» — «Однако!» — потом с унынием думал он, добираясь до правды: отчего вдруг тут же, под носом, выросло у него это «однако»? Выросло оно из опытов его жизни, выглянуло из многих женских знакомых ему портретов, почти из всех любвей его… Любвей!

Он залился заревом стыда и закрыл лицо руками.

«Любви! встречи без любви! — терзался он внутренно, — какое заклятие лежит над людскими нравами и понятиями! Мы, сильный пол, отцы, мужья, братья и дети этих женщин, мы важно осуждаем их за то, что сорят собой и валяются в грязи, бегают по кровлям… Клянем — и развращаем в то же время! Мы не оглянемся на самих себя, снисходительно прощаем себе… собачьи встречи!.. открыто, всенародно носим свой позор, свою нетрезвость, казня их в женщине! Вот где оба пола должны довоспитаться друг до друга, идти параллельно, не походя, одни — на собак,

другие — на кошек, и оба вместе — на обезьян! Тогда и кончится этот нравственный разлад между двумя полами, эта путаница понятий, эти взаимные обманы, нарекания, измены! А то выдумали две нравственности: одну для себя, другую для женщин!»

Он погрузился в собственные воспоминания о ранних годах молодости — и лег на диван. Долго лежал он, закрыв лицо, и встал бледный, истерзанный внутренней мукой. «Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И целые века проходят, целые поколения идут, утопая в омуте нравственного и физического разврата, — и никто, ничто не останавливает этого мутного потока слепо-распутной жизни! Разврат выработал себе свои обычаи, почти принципы, и царствует в людском обществе, среди хаоса понятий и страстей, среди анархии нравов…»

Потом опять бросался к Вере, отыскивая там луча чистоты, правды, незараженных понятий, незлоупотребленного чувства, красоты души и тела, нераздельно-истинной красоты!

Он перебирал каждый ее шаг, как судебный следователь, и то дрожал от радости, то впадал в уныние, и выходил из омута этого анализа ни безнадежнее, ни увереннее, чем был прежде, а

всё с той же мучительной неизвестностью, как купающийся человек, который, думая, что нырнул далеко, выплывает опять на прежнем месте.

Он старался оправдать загадочность ее поведения с ним, припоминая свой быстрый натиск: как он вдруг предъявил свои права на ее красоту, свое удивление последней, поклонение, восторги, вспоминал, как она сначала небрежно, а потом энергически отмахивалась от его настояний, как явно смеялась над его страстью, не верила и не верит ей до сих пор, как удаляла его от себя, от этих мест, убеждала уехать, а он напросился остаться!

«Да, она права, я виноват!» — думал он, теряясь в соображениях.

Потом он вспомнил, как он хотел усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, как гладят злую собаку, готовую броситься, чтоб задобрить ее — и, пятясь задом, уйти подобру-поздорову. Зачем она тогда не открыла ему имени своего идола, когда уверена была, что это мигом отняло бы все надежды у него и страсть остыла бы мгновенно?

Чего это ей стоило? Ничего! Она знала, что тайна ее останется тайной, а между тем молчала и как будто умышленно разжигала страсть. Отчего

не сказала? Отчего не дала ему уехать, а просила остаться, когда даже он велел… Егорке принести с чердака чемодан? Кокетничала — стало быть, обманывала его! И бабушке не велела сказывать, честное слово взяла с него — стало быть, обманывает и ее, и всех!

«Она, она виновата!»

Он стал писать дневник. Полились волны поэзии, импровизации, полные то нежного умиления и поклонения, то живой, ревнивой страсти и всех ее бурных и горячих воплей, песен, мук, счастья.

Самую любовь он обставлял всей прелестью декораций, какою обставила ее человеческая фантазия, осмысливая ее нравственным чувством и полагая в этом чувстве, как в разуме, «и, может быть, тут именно более, нежели в разуме» (писал он), бездну, отделившую человека от всех не человеческих организмов. «Великая любовь неразлучна с глубоким умом: широта ума равняется глубине сердца — оттого крайних вершин гуманности достигают только великие сердца — они же и великие умы!» — проповедовал он. Изменялись краски этого волшебного узора, который он подбирал как художник и как нежный влюбленный, изменялся беспрестанно он сам, то

падая в прах к ногам идола, то вставая и громя хохотом свои муки и счастье. Не изменялась только нигде его любовь к добру, его здравый взгляд на нравственность. «Веруй в Бога, знай, что дважды два четыре, и будь честный человек, говорит где-то Вольтер, — писал он, — а я скажу — люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью!»

«Честная женщина! — писал он. — Требовать этого — значит требовать всего. Да, это всё! Но не требовать этого — значит тоже ничего не требовать: оскорблять женщину, ее человеческую натуру, творчество Бога, значит прямо и грубо отказывать ей в правах на равенство с мужчиной, на что женщины справедливо жалуются. Женщина — венец создания, — да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже венцом создания, Венерой кошачьей породы! женщина — Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетание красоты форм с красотой духа, любящая и честная, то есть идеал женского величия, гармония красоты!»

Всё это глубокомыслие сбывал Райский в дневник, с надеждой прочесть его при свидании Вере, а с ней продолжал меняться коротенькими дру-

жескими записками.

От пера он бросался к музыке и забывался в звуках, прислушиваясь сам с любовью, как они пели ему его же страсть и гимны красоте. Ему хотелось бы поймать эти звуки, формулировать в стройном создании гармонии.

Из этих волн звуков очертывалась у него в фантазии какая-то музыкальная поэма: он силился уловить тайну создания и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыграл на четвертое утро написанное, вышла… полька-редова, но такая мрачная и грустная, что он сам разливался в слезах, играя ее.

Он удивился такому скудному результату своих роскошных импровизаций, положенных на бумагу, и со вздохом сознался, что одной фантазией не одолеешь музыкальной техники.

«Что если и с романом выйдет у меня то же самое?.. — задумывался он. — Но теперь еще — не до романа: это после, после, а теперь — Вера на уме, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая!»

Он ходил по дому, по саду, по деревне и полям, точно сказочный богатырь, когда был в припадке счастья, и столько силы носил в своей голове, сердце, во всей нервной системе, что всё цвело и радовалось в нем.

Мысль его плодотворна, фантазия производительна, душа открыта для добра, деятельности и любви — не к одной Вере, но общей любви ко всякому живому созданию. На всё льются лучи его мягкости, ласки, заботы, внимания.

Он чутко понимает потребность не только другого, ближнего, несчастного и спешит подать руку помощи, утешения, но входит даже в положение — вон этой ползущей букашки, которую бережно сажает с дорожки на куст, чтоб уберечь от ноги прохожего.

Он бы написал Рафаэлеву Мадонну в эти минуты счастья, если б она не была уже написана, изваял бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерского, создал бы снова храм Петра!

В моменты мук, напротив, он был худ, бледен, болен, не ел и ходил по полям, ничего не видя, забывая дорогу, спрашивая у встречных мужиков, где Малиновка, направо или налево?

Тогда он был сух с бабушкой и Марфинькой, груб с прислугой, не спал до рассвета, а если и засыпал, то трудным, болезненным сном, продолжая и во сне переживать пытку.

Иногда он оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая глазами у всех: «Где я и что вы за люди?»

Марфинька немного стала бояться его. Он, большею частию, запирался у себя наверху, и там — или за дневником, или ходя по комнате, говоря сам с собой, или опять за фортепиано, выбрасывал, как он живописно выражался, «пену страсти».

Егорка провертел щель в деревянной, оклеенной бумагой перегородке, отделявшей кабинет Райского от коридора, и подглядывал за ним.

— Ну, девки, покажу я вам диковину! — сказал он, плюнув сквозь зубы в сторону, — пойдемте, Пелагея Петровна, к барину, к Борису Павловичу, в щелку посмотреть; в театр не надо ходить: как он там «девствует»!..

— Некогда мне: гладить надо, — сказала та, грея утюг.

— Ну вы, Матрена Семеновна?

— А кто ж комнату Марфы Васильевны уберет? Ты, что ли?

— Что за черт — не дозовешься ни одной! — сказал с досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы, — а я там вертел, вертел буравом!

— Покажи мне, что там такое! — напрашивалась любопытная Наталья, одна из плетельщиц кружев у Татьяны Марковны.

— Вы — распрекрасная девица, Наталья Фадеев-

на, — сказал Егорка нежно, — словно — барышня! Я бы — не то что в щелку дал вам посмотреть, руку и сердце предложил бы — только… рожу бы вам другую!..

Прочие девки засмеялись, а та обиделась.

— Ругатель! — сказала она, уходя из комнаты, — право, ругатель!

— А то вы, — договаривал Егорка ей вслед, — больно уж на тятеньку своего смахиваете с рыла-то, на Фадея Ильича!

И захихикал.

Однако он убедил первых двух пойти и посмотреть. Все смотрели по очереди в щель.

— Глядите, глядите, как заливается, плачет никак? — говорил Егорка, толкая то одну, то другую к щели.

— Взаправду плачет, сердечный! — сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочет ли? И так хохочет! Смотрите, смотрите!

Все трое присели и все захихикали.

— Эк его разбирает! — говорил Егорка, — врезамшись, должно быть, в Веру Васильевну…

Пелагея ткнула его кулаком в бок.

— Что ты врешь, поганец! — зашипела она со страхом, — ври, да не смей трогать барышень!

Вот узнает барыня… Пойдемте прочь!

А Райский и плакал, и смеялся чуть ли не в одно и то же время, и всё искренно «девствовал», то есть плакал и смеялся больше художник, нежели человек, повинуясь нервам.

Он в чистых формах всё выливал образ Веры и, чертя его бессознательно и непритворно, чертил и образ своей страсти, отражая в ней, иногда наивно и смешно, и всё, что было светлого, честного в его собственной душе, и чего требовала его душа от другого человека и от женщины.

— Что ты всё пишешь там? — спрашивала Татьяна Марковна, — драму или всё роман, что ли?

— Не знаю, бабушка, пишу жизнь — выходит роман; пишу роман — выходит жизнь. А что будет окончательно — не знаю.

— Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало, — заметила она и почти верно определила этой пословицей значение писанья Райского. У него уходило время, сила фантазии разрешалась естественным путем, и он не замечал жизни, не знал скуки, никуда и ничего не хотел. — Зачем только ты пишешь всё по ночам? — сказала она. — Смерть — боюсь… Ну, как заснешь над своей драмой! И шутка ли, до света! ведь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желт, как

переспелый огурец…

Он смотрелся в зеркало и сам поражался переменой в себе. Желтые пятна легли на висках и около носа, а в черных густых волосах появились заметные седины.

«Зачем я брюнет, а не блондин? — роптал он. — Десятью годами раньше состареюсь!»

— Ничего, бабушка, не обращайте внимания на меня, — отвечал он, — дайте свободу… Не спится: иногда и рад бы, да не могу.

— И он «свободу», как Вера!

Она вздохнула.

— Далась им эта свобода: точно бабушка их в кандалах держит! Писал бы, да не по ночам, — прибавила она, — а то я не сплю покойно. В котором часу ни поглядишь, всё огонь у тебя…

— Ручаюсь, бабушка, что пожара не сделаю, хоть сам сгорю весь…

— О, типун тебе на язык! — перебила она сердито, кропая что-то сама иглой над приданым Марфиньки, хотя тут хлопотали около разложенных столов десять швей. Но она не могла видеть других за работой, чтоб и самой не пристать тут же, как Викентьев не мог не засмеяться и не заплакать, когда смеялись и плакали другие.

— Не дразни судьбу, не накликай на себя! —

прибавила она. — Помни: «язык мой — враг мой»!

Он вдруг вскочил с дивана и бросился к окну, а потом в дверь и скрылся.

— Мужик идет с письмом от Веры! — сказал он, уходя.

— Вишь как, точно родному отцу обрадовался! А сколько свечей изводит он с этими романами да драмами: по четыре свечки за ночь! — рассуждала экономная бабушка шепотом.

V

Райский получил несколько строк от Веры. Она жаловалась, что скучает там, и действительно, по некоторым фразам, видно было, что ее тяготит уединение.

Она писала, что желает видеть его, что он ей нужен, и впереди будет еще нужнее, что «без него она жить не может», — и иногда записка разрешалась в какой-то смех, который, как русалочное щекотанье, производил в нем зуд и боль.

Но, несмотря на этот смех, таинственная фигура Веры манила его всё в глубину фантастической дали. Вера шла будто от него в тумане покрывала; он стремился за ней, касался покрывала, хотел открыть ее тайны и узнать, что за Изида перед ним.

Он только что коснется покрывала, как она ускользнет, уйдет дальше. Он блаженствовал и мучился двойными радостями и муками, и человека, и художника, не зная сам, где является один, когда исчезает другой и когда оба смешиваются.

Получая изредка ее краткие письма, где дружеский тон смешивался с ядовитым смехом над его страстью, над стремлениями к идеалам, над

игрой его фантазии, которою он нередко сверкал в разговорах с ней, он сам заливался искренним смехом и потом почти плакал от грусти и от бессилия рассказать себя, дать ключ к своей натуре.

«Не понимает, бедная, — роптал он, — что казнить за фантазию, — это всё равно, что казнить человека за то, что у него тень велика: зачем покрывает целое поле, растет выше здания! И не верит страсти! Посмотрела бы она, как этот удав тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотом, когда его греет и освещает солнце, и как бледнеет, ползя во мраке, шипя и грозя острыми зубами! Пусть бы пришли сюда знатоки и толкователи так называемых тайн сердца и страстей и выложили бы тут свои понятия и философию, добытую с досок Михайловского театра. “Нельзя любить, когда оскорблено самолюбие”, “любовь — это эгоизм à deux”,[122] “любовь проходит, когда не разделена” и т. п. — сыплют они свои сентенции».

«А вот она, эта страсть, — говорил он, — не угодно ли попробовать! Меня толкают, смеются — а я всё люблю, и как люблю! Не как “сорок тысяч братьев”, — мало отпустил Шекспир — а как

---

[122] Примечания: 122
вдвоем (*фр.*).

все люди вместе. Все образы любви ушли в эту мою любовь. Я люблю, как Леонтий любит свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью, люблю сосредоточенной страстью, как этот серьезный Савелий, люблю, как Викентьев, со всею веселостью и резвостью жизни, люблю, как любит, может быть, Тушин, удивляясь и поклоняясь втайне, и люблю, как любит бабушка свою Веру, — и, наконец еще, как никто не любит, люблю такою любовью, которая дана Творцом и которая, как океан, омывает вселенную…»

«А если сократить всё это в одно слово, — вдруг отрезвившись на минуту, заключил он, — то выйдет: “люблю, как художник”, то есть всею силою необузданной… или разнузданной фантазии!»

Его увлекал процесс писанья, как процесс неумышленного творчества, где перед его глазами, пестрым узором, неслись его собственные мысли, ощущения, образы. Листки эти, однако, мешали ему забыть Веру, чего он искренно хотел, и питали страсть, то есть воображение.

«А она не поймет этого, — печально думал он, — и сочтет эти ею внушенные и ей посвящаемые произведения фантазии — за любовную чепуху! Ужели и она не поймет: женщина! А у ней, кажется, уши такие маленькие, умные…»

«Да умна ли она? Ведь у нас часто за ум, особенно у женщин, считают одну только донельзя изощренную низшую его степень — хитрость, и женщины даже кичатся, что владеют этим тонким орудием, этим умом кошки, лисы, даже некоторых насекомых! Это пассивный ум, способность таиться, избегать опасности, прятаться от силы, от угнетения».

«Такой умок выработала себе, между прочим, в долгом угнетении, обессилевшая и рассеянная целая еврейская нация, тайком пробиравшаяся сквозь человеческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существование».

«Этот умок помогает с успехом пробавляться в обиходной жизни, делать мелкие делишки, прятать грешки и т. д. Но когда женщинам возвратят их права — эта тонкость, полезная в мелочах и почти всегда вредная в крупных, важных делах, уступит место прямой человеческой силе — уму».

Когда он отрывался от дневника и трезво жил день-другой, Вера опять стояла безукоризненна в его уме. Сомнения, подозрения, оскорбления — сами по себе были чужды его натуре, как и доброй, честной натуре Отелло. Это были случайные

искажения и опустошения, продукты страсти и неизвестности, бросавшей на всё ложные и мрачные краски.

Однажды в ее записке, после дружеских, нежно-насмешливых излияний, была следующая приписка после слов «ваша Вера»:

«Друг и брат мой! Вы научили меня любить и страдать. Вы поделились со мной силами души своей, вложили, кажется, в меня и самую вашу нежную, любящую душу… И вот эта нежность ваша внушает мне смелость поделиться с вами добрым делом. Здесь есть один несчастный, изгнанный из родины… На нем тяготеет подозрение правительства… Ему некуда приклонить голову, все от него отступились, одни по равнодушию, другие по боязни. Вы любите ближнего и не можете быть равнодушны, еще менее можете бояться доброго, чистого, святого дела. У него нет ни гроша денег, ни платья, а на дворе осень…

Я не прибавляю к этому ничего; здесь всё правда, каждое слово: ваша Вера не солжет вам. Если сердце ваше, в чем я не сомневаюсь, скажет вам, что надо делать, то пошлите ваше пособие на имя дьячихи Секлетеи Бурдалаховой, дойдет верно: я сама буду наблюдать. Но сделайте так, чтоб бабушка не заметила ничего, и никто в доме.

Может быть, — и весьма естественно — вы затруднитесь, как велика должна быть сумма, то рублей трехсот, даже двухсот двадцати, — будет довольно ему на целый год. Да если б вы прислали пальто и жилет из осеннего трико (видите, как я верю в нежность вашей души вообще и в любовь ко мне в особенности, что даже и мерку прилагаю, которую снял с него деревенский портной!), то этим вы защитите бедняка и от холода.

Затем я уже не смею напоминать о теплом одеяле — это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мне: это до другого раза! К зиме бедный изгнанник уйдет, вероятно, отсюда, благословляя вас, а с вами и... меня немножко. Я бы не тревожила вас, но, вы знаете, все мои деньги у бабушки, а я ей открыться не могу».

«Что такое? Что это такое!» — почти закричал Райский от изумления, дочитав postscriptum, и, ворочая глазами вокруг, мысленно искал ключа.

— Не она, не она! — вслух произнес потом и вдруг лег на диван: с ним сделался припадок истерического смеха.

Это было в кабинете Татьяны Марковны. Тут были Викентьев и Марфинька. Последние оба сначала заразились смехом и дружно аккомпанировали ему, потом сдержались, начиная пугаться

раскатов его хохота. Особенно Татьяна Марковна испугалась. Она даже достала каких-то капель и налила на ложечку. Райский едва унялся.

— Выпей капель, Борюшка.

— Нет, бабушка, дайте мне не капель, а денег рублей триста…

И опять закатился смехом. Бабушка отказала было.

— Скажи, зачем, кому? Не Маркушке ли? Взыщи прежде с него восемьдесят рублей, — и пошла, и пошла!

В другое время он бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не преминул бы добродушно подразнить ее. Но тут его жгли внутренние огни нетерпения, поглощал возрастающий интерес комедии.

Он чуть не в драку полез с нею и после отчаянной схватки, поторговавшись с час, выручил от нее двести двадцать рублей, не доторговавшись до трехсот, лишь бы скорее кончить.

Он запечатал их и отослал на другой же день. Между тем отыскал портного и торопил сшить теплое пальто, жилет и купил одеяло. Всё это отослано было на пятый день.

«Слезами и сердцем, а не пером, благодарю вас, милый, милый брат, — получил он ответ с той

стороны, — не мне награждать за это: небо наградит за меня! Моя благодарность — пожатие руки и долгий, долгий взгляд признательности! Как обрадовался вашим подаркам бедный изгнанник: он всё “смеется” с радости и оделся в обновки. А из денег сейчас же заплатил за три месяца долгу хозяйке и отдал за месяц вперед. И только на три рубля осмелился купить сигар, которыми не лакомился давно, а это — его страсть…»

«Пошлю завтра ящик!» — думал Райский и послал, — между прочим потому, что «ведь просит тот, у кого нет… — говорил он, — богатый не попросил бы».

Ему вдруг пришло в голову — послать ловкого Егорку последить, кто берет письма у рыбака, узнать, кто такая Секлетея Бурдалахова. Он уж позвонил, но когда явился Егор — он помолчал, взглянул на Егора, покраснел за свое намерение и махнул ему рукой, чтобы он шел вон.

«Не могу, не могу! — шептал он с непреодолимым отвращением. — Спрошу у ней самой — посмотрю, как и что скажет она, — и если солжет, прощай Вера, а с ней и всякая вера в женщин!»

Следя за ходом своей собственной страсти, как медик за болезнью, и как будто снимая фотогра-

фию с нее, потому что искренно переживал ее, он здраво заключал, что эта страсть — ложь, мираж, что надо прогнать, рассеять ее! «Но как? что надо теперь делать? — спрашивал он, глядя на небо с облаками, углубляя взгляд в землю, — что велит долг? — отвечай же, уснувший разум, освети мне дорогу, дай перепрыгнуть через этот пылающий костер!»

«Бросить всё и бежать прочь!» — отозвался покойно разум.

— Да, да — брошу и бегу, не дождусь ее! — решил он и тут только заметил приложенный к ее письму клочок бумаги с припиской Веры:

«Не пишите больше, я в четверг буду сама домой: меня привезет лесничий!»

Он обрадовался.

— А! вот и пробный камень. Это сама бабушкина «судьба» вмешалась в дело и требует жертвы, подвига — и я его совершу. Через три дня видеть ее опять здесь… О, какая нега! Какое солнце взойдет над Малиновкой! Нет, убегу! Чего мне это стоит: никто не знает! И ужели не найду награды: потерянного мира? Скорей, скорей прочь!.. — сказал он решительно и кликнул Егора, приказав принести чемодан.

И надо было бы тотчас бежать, то есть забывать

Веру. Он и исполнил часть своей программы. Поехал в город кое-что купить в дорогу. На улице он встретил губернатора. Тот упрекнул его: что давно не видать? Райский отозвался нездоровьем и сказал, что уезжает на днях.

— Куда? — спросил тот.

— Да мне всё равно, — мрачно ответил Райский, — здесь… я устал, хочу развлечься, теперь поеду в Петербург, а там в свое имение, в Р—ую губернию, а может быть, и за границу…

— Неудивительно, что вы соскучились, — заметил губернатор, — сидя на одном месте, удаляясь от общества… — Нужно развлечение… Вот не хотите ли со мной прокатиться? Я послезавтра отправляюсь осматривать губернию…

«Послезавтра будет среда, — мелькнуло соображение в голове у Райского, — а она возвращается в четверг… Да, да, судьба вытаскивает меня… Не лучше ли бы уехать дальше, совсем отсюда — для полного подвига?»

— Посмотрите местность, — продолжал губернатор, — есть красивые места: вы поэт, наберетесь свежих впечатлений… Мы и по Волге верст полтораста спустимся… Возьмите альбом: будете рисовать пейзажи.

— А если я приму? — отвечал Райский, у кото-

рого, рядом с намерением бороться со страстью, приютилась надежда не расставаться вполне хоть с теми местами, где присутствует *она*, его бесподобная, но мучительная красота!

— Поедемте, я ваш спутник, — решил он окончательно.

Губернатор ласково хлопнул рукой по его ладони и повел к себе, показал экипаж, удобный и покойный, сказал, что и кухня поедет за ним и карты захватит.

— В пикет будем сражаться, — прибавил он, — и мне веселее ехать, чем с одним секретарем, которому много будет дела.

Райскому стало легче уже от одного намерения переменить место и обстановку. Что-то постороннее Вере, как облако, стало между ним и ею. Давно бы так, и это глупейшее состояние кончилось бы!

— Вот почти и нет никаких бесов! — говорил он, возвращаясь к себе.

Он подтвердил Егорке готовить платье, белье, сказавши, что едет с губернатором.

Намерения его преодолеть страсть были искренни, и он подумывал уже не возвращаться вовсе, а к концу губернаторской поездки вытребовать свои вещи из дому и уехать, не повидавшись

с Верой.

На этом бы и остановиться ему, отвернуться от Малиновки навсегда, или хоть надолго, и не оглядываться — и всё потонуло бы в пространстве, даже не такой дали, какую предполагал Райский между Верой и собой, а двух-трехсот верст, и во времени — не годов, а пяти-шести недель, и осталось бы разве смутное воспоминание от этой трескотни, как от кошемара.

Райский знал это по прежним, хотя и не таким сильным, опытам, но последний опыт всегда кажется не похожим чем-нибудь на прежние, и потом под свежей страстью дымится свежая рана, а времени ждать долго.

Райский знал и это и не лукавил даже перед собой, а хотел только утолить чем-нибудь невыносимую боль, то есть не вдруг удаляться от этих мест и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собою, чтобы не вдруг оборвался этот нерв, которым он так связан был и с живой, полной прелести стройной и нежной фигурой Веры, и с воплотившимся в ней его идеалом, живущим в ее образе, вопреки таинственности ее поступков, вопреки его подозрениям в ее страсти к кому-то, вопреки, наконец, его грубым предположениям в ее женской распущенности, в ее отношениях…

к Тушину, в котором он более всех подозревал ее героя.

«А может быть, и другой, другие...» — злобно думал он.

Он свои художнические требования переносил в жизнь, мешая их с общечеловеческими, и писал последнюю с натуры, и тут же, невольно и бессознательно, приводил в исполнение древнее мудрое правило, «познавал самого себя», с ужасом вглядывался и вслушивался в дикие порывы животной, слепой натуры, сам писал ей казнь и чертил новые законы, разрушал в себе «ветхого человека» и создавал нового. И если ужасался, глядясь сам в подставляемое себе беспощадное зеркало зла и темноты, то и неимоверно был счастлив, замечая, что эта внутренняя работа над собой, которой он требовал от Веры, от живой женщины, как человек, и от статуи, как художник, началась у него самого не с Веры, а давно, прежде когда-то, в минуты такого же раздвоения натуры на реальное и фантастическое.

Он, с биением сердца и трепетом чистых слез, подслушивал, среди грязи и шума страстей, подземную тихую работу в своем человеческом существе какого-то таинственного духа, затихавшего иногда в треске и дыме нечистого огня, но не

умиравшего и просыпавшегося опять, зовущего его, сначала тихо, потом громче и громче, к трудной и нескончаемой работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека.

Радостно трепетал он, вспоминая, что не жизненные приманки, не малодушные страхи звали его к этой работе, а бескорыстное влечение искать и создавать красоту в себе самом. Дух манил его за собой, в светлую, таинственную даль, как человека и как художника, к идеалу чистой человеческой красоты.

С тайным, захватывающим дыхание ужасом счастья видел он, что работа чистого гения не рушится от пожара страстей, а только останавливается, и когда минует пожар, она идет вперед, медленно и туго, но всё идет — и что в душе человека, независимо от художественного, таится другое творчество, присутствует другая живая жажда, кроме животной, другая сила, кроме силы мышц.

Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на нескончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру в красоту правды и

добра и силу — подняться, идти дальше, выше…

Он благоговейно ужасался, чувствуя, как приходят в равновесие его силы, и как лучшие движения мысли и воли уходят туда, в это здание, как ему легче и свободнее, когда он слышит эту тайную работу и когда сам сделает усилие, движение, подаст камень, огня и воды.

От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная Вера, а если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой.

Тогда казалось ему, что он любил Веру такой любовью, какою никто другой не любил ее, и сам смело требовал от нее такой же любви и к себе, какой она не могла дать своему идолу, как бы страстно ни любила его, если этот идол не носил в груди таких же сил, такого же огня и, следовательно, такой же любви, какая была заключена в нем и рвалась к ней.

С другой, жгучей и разрушительной страстью, он искренно и честно продолжал бороться, чувствуя, что она не разделена Верою и, следовательно, не может разрешиться, как разрешается

у двух взаимно любящих честных натур, в тихое и покойное течение, словом, в счастье, в котором, очистившись от животного бешенства, она превращается в человеческую любовь.

Он теперь уже не звал более страсть к себе, как прежде, а проклинал свое внутреннее состояние, мучительную борьбу, и написал Вере, что решился бежать ее присутствия. Теперь, когда он стал уходить от нее, — она будто пошла за ним, всё под своим таинственным покрывалом, затрогивая, дразня его, будила его сон, отнимала книгу из рук, не давала есть.

Дня через три он получил коротенькую записку, с вопросом: «где он? что не возвращается? отчего нет писем?» Как будто ей не было дела до его намерения уехать, или она не получила его письма.

Она звала его домой, говорила, что она воротилась, что «без него скучно», Малиновка опустела, все повесили нос, что Марфинька собирается ехать гостить за Волгу, к матери своего жениха, тотчас после дня своего рождения, который будет на следующей неделе, что бабушка останется одна и пропадет с тоски, если он не принесет этой жертвы… и бабушке, и ей…

«Да, знаю я эту жертву, — думал он злобно и

подозрительно, — в доме, без меня и без Марфиньки, заметнее будут твои скачки с обрыва, дикая коза! Надо сидеть с бабушкой долее, обедать не в своей комнате, а со всеми — понимаю! Не будет же этого! Не дам тебе торжествовать — довольно! Сброшу с плеч эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества!»

Он написал ей ответ, где повторил о своем намерении уехать, не повидавшись с нею, находя, что это единственный способ исполнить ее давнишнее требование — оставить ее в покое и прекратить свою собственную пытку. Потом разорвал свой дневник и бросил по ветру клочки, вполне разочарованный в произведениях своей фантазии.

Куры бросились со всех сторон к окну губернаторской квартиры в уездном городе, приняв за какую-то куриную манну эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги, и потом медленно разошлись, тоже разочарованные, поглядывая вопросительно на окно.

На другой день к вечеру он получил коротенький ответ от Веры, где она успокоивала его, одобряя намерение его уехать, не повидавшись с ней, и изъявила полную готовность помочь ему победить *страст*ь (слово было подчеркнуто) — и

для того она сама, вслед за отправлением этой записки, уезжает в тот же день, то есть в пятницу, опять за Волгу. Ему же советовала приехать проститься с Татьяной Марковной и со всем домом, иначе внезапный отъезд удивил бы весь город и огорчил бы бабушку.

Райский почти обрадовался этому ответу. У него отлегло от сердца, и он на другой день, то есть в пятницу после обеда, легко и весело выпрыгнул из кареты губернатора, когда они въехали в слободу близ Малиновки, и поблагодарил его превосходительство за удовольствие приятной прогулки. Он, с дорожным своим мешком, быстро пробежал ворота и явился в дом.

VI

Марфинька первая, Викентьев второй, и с ними дворовые собаки, выскочили встретить его, и все, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слез, так что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось от этой теплоты сердечного приема.

«Ах, зачем мне мало этого счастья — зачем я не бабушка, не Викентьев, не Марфинька: зачем я — Вера в своем роде?» — думал он и боязливо искал Веру глазами.

— А Вера уехала вчера! — сказала Марфинька с особенной живостью, заметив, конечно, что он тоскливо оглядывался вокруг себя.

— Да, Вера Васильевна уехала, — повторил и Викентьев.

— Барышни нет! — сказали и люди, хотя он их и не спрашивал.

Ему бы радоваться, а у него сердце упало.

«И весело им, что уехала, улыбаются: им это ничего!» — думал он, проходя к Татьяне Марковне в кабинет.

— Как я ждала тебя, хотела эстафету посылать! — сказала она с тревожным лицом, выслав

Пашутку вон и затворяя кабинет.

Он испугался, ожидая какой-нибудь вести о Вере.

— Что такое случилось?

— Твой друг, Леонтий Иванович…

— Ну?

— Болен.

— Бедный! Что с ним? Я сейчас поеду… Опасно?

— Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу от чего: в городе уж все знают. Я только для Марфиньки секретничаю. А Вера уж узнала от кого-то…

— Что с ним случилось?

— Жена уехала… — шепотом сказала Татьяна Марковна, нахмурившись, — он и слег. Кухарка его третьего дня и вчера два раза прибегала за тобой…

— Куда уехала?

— С французом, с Шарлем укатила! Того вдруг вызвали в Петербург зачем-то. Ну вот и она… «Меня, говорит, кстати проводит до Москвы m-r Charles». И как схитрила: «Хочу, говорит, повидаться с родными в Москве» — и выманила у мужа вид для свободного проживания.

— Ну так что ж за беда? — сказал Райский, — ее

сношения с Шарлем не секрет ни для кого, кроме мужа: посмеются еще, а он ничего не узнает. Она воротится…

— Ты не дослушал. Письмо с дороги прислала мужу, где просит забыть ее, говорит, чтоб не ждал, не воротится, что не может жить с ним, зачахнет здесь…

Райский пожал плечами.

— Ах, Боже мой! Ах, дура! — горевал он. — Бедный Леонтий! Мало ей самой было негласного скандала — нет, захотела публичного!.. Сейчас поеду; ах, как мне жаль его!

— И мне жаль, Борюшка. Я хотела сама съездить к нему — у него честная душа, он — как младенец! Бог дал ему ученость, да остроты не дал… закопался в свои книги! У кого он там на руках?.. Да вот что: если за ним нет присмотру, перевези его сюда — в старом доме пусто, кроме Вериной комнаты… Мы его там пока поместим… Я на случай велела приготовить две комнаты.

— Что вы за женщина, бабушка! я только что подумал, а вы уж и велели!..

Он пошел на минуту к себе. Там нашел он письма из Петербурга, между ними одно от Аянова, своего приятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиных, в ответ на

несколько своих писем к нему, в которых просил известий о Софье Беловодовой, а потом забыл.

Он вскрыл письмо и увидал, что Аянов пишет, между прочим, о ней, отвечая на его письмо.

«Когда опомнился! — подумал он, — тогда у меня еще было свежо воспоминание о ней, а теперь я и лицо ее забыл! Теперь даже Секлетея Бурдалахова интереснее для меня, потому только, что напоминает Веру!»

Он не читал писем, не вскрыл журналов и поехал к Козлову. Ставни серого домика были закрыты, и Райский едва достучался, чтоб отперли ему двери.

Он прошел прихожую, потом залу и остановился у кабинета, не зная, постучать или войти прямо.

Дверь вдруг тихо отворилась, перед ним явился Марк Волохов, в женском капоте и в туфлях Козлова, нечесаный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, с злыми глазами, как будто его всего передернуло.

— Насилу вас принесла нелегкая! — сказал он с досадой, вполголоса, — где вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсем… Днем тут ученики вертелись, а по ночам он один…

— Что с ним?

— Что: разве вам не сказали? Ушла коза-то! Я обрадовался, когда услыхал, шел поздравить его, гляжу — а на нем лица нет! Глаза помутились, никого не узнаёт. Чуть горячка не сделалась, теперь, кажется, проходит. Чем бы плакать от радости, урод убивается горем! Я лекаря было привел, он прогнал, а сам ходит как шальной… Теперь он спит, не мешайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтоб он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии. Никого не слушает — я уж хотел побить его…

Он плюнул с досады.

— На кухарку положиться нельзя — она идиотка. Вчера дала ему принять зубного порошка вместо настоящего. Завтра вечером я сменю вас… — прибавил он.

Райский с изумлением поглядел на Марка и подал ему руку.

— За что такая милость, — спросил Марк желчно, не давая руки.

— Благодарю, что не кинули моего бедного товарища…

— Ах, очень приятно! — сказал Марк, шаркая обеими туфлями и крепко тряся за руку Райского, — я давно искал случая услужить вам…

— Что это, Волохов, вы, как клоун в цирке, всё

выворачиваете себя наизнанку!..

— А вы всё рисуетесь в жизни и рисуете жизнь! — ядовито отвечал Волохов. — Ну на кой черт мне ваша благодарность? Разве я для нее или для кого-нибудь другого пришел к Козлову, а не для него самого?

— Ну хорошо, Марк Иванович, Бог с вами и с вашими манерами! Сила не в них и не в моей «рисовке»! Вы сделали доброе дело…

— Опять похвала!

— Опять. Это моя манера говорить — что мне нравится, что нет. Вы думаете, что быть грубым — значит быть простым и натуральным, а я думаю, чем мягче человек, тем он больше человек. Очень жалею, если вам не нравится этот мой «рисунок», но дайте мне свободу рисовать жизнь по-своему!

— Хорошо, сахарничайте, как хотите! — сквозь зубы проворчал Марк.

— Леонтья я перевезу к себе: там он будет как в своей семье, — продолжал Райский, — и если горе не пройдет, то он и останется навсегда в тихом углу…

— Вот теперь дайте руку, — сказал Марк серьезно, схватив его за руку, — это дело, а не слова! Козлов рассохнется и служить уже не может. Он останется без угла и без куска… Славная мысль

вам в голову пришла!

— Не мне, а женщине пришла эта мысль, и не в голову, а в сердце, — заключил Райский, — и потому теперь *я* не приму вашей руки… Бабушка выдумала это…

— Экая здоровая старуха, эта ваша бабушка! — заметил Марк, — я когда-нибудь к ней на пирог приду! Жаль, что старой дури набито в ней много!.. Ну, я пойду, а вы присматривайте за Козловым, — если не сами, так посадите кого-нибудь. Вон третьего дня ему мочили голову и велели на ночь сырой капустой обложить. Я заснул нечаянно, а он, в забытьи, всю капусту с головы потаскал да съел… Прощайте! я не спал и не ел сам. Авдотья меня тут какой-то бурдой из кофе потчевала…

— А вот что: не хотите ли подождать? Я сейчас кучера пошлю домой за ужином, — сказал Райский.

— Нет, я поужинаю ужо дома.

— Может быть… у вас денег нет?.. — робко предложил Райский и хотел достать бумажник.

Марк вдруг засмеялся своим холодным смехом.

— Нет, нет — у меня теперь есть деньги… — сказал он, глядя загадочно на Райского. — Да я еще в баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не оде-

вался и не раздевался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартире, а у одной духовной особы. Сегодня там баню топят: я схожу в баню, потом поужинаю и лягу уж на всю ночь.

— Вы похудели — и как будто нездоровы! — заметил Райский, — глаза у вас…

Марк вдруг нахмурился, и лицо у него сделалось еще злее прежнего.

— А вы на мой взгляд еще нездоровее! — сказал он. — Посмотритесь в зеркало: желтые пятна, глаза ввалились совсем…

— У меня разные беспокойства…

— И у меня тоже, — сухо заметил Волохов. — Прощайте.

Он ушел, а Райский тихо отворил дверь к Леонтью и подошел на цыпочках к постели.

— Кто тут? — спросил слабо Козлов.

— Здравствуй, Леонтий, — это я! — сказал Райский, взяв за руку Козлова и садясь в кресло подле постели.

Козлов долго всматривался, потом узнал Райского, проворно спустил ноги с постели и сел, глядя на него.

— А тот ушел? Я притворился спящим. Тебя давно не видать, — заговорил Леонтий слабым голосом, с промежутками. — А я всё ждал — не

заглянет ли, думаю. Лицо старого товарища, — продолжал он, глядя близко в глаза Райскому и положив свою руку ему на плечо, — теперь только одно не противно мне…

— Меня не было в городе, — отвечал Райский, — я сейчас только воротился и узнал, что ты болен…

— Врут, я не болен. Я притворился… — сказал он, опуская голову на грудь, и замолчал. Через несколько минут он поднял голову и рассеянно глядел на Райского.

— Что бишь такое я хотел сказать тебе?..

Он встал и пошел неровными шагами по кабинету.

— Ты бы лег, Леонтий, — заметил Райский, — ты болен…

— Я не болен, — почти с досадой отвечал Козлов. — Что это вы все, точно сговорились, наладили: болен да болен. А Марк и лекаря привел, и сидит тут, точно боится, что я кинусь в окно или зарежусь…

— Ты, однако, слаб, насилу ходишь, — право, ляг…

— Да, слаб, это правда, — наклонясь через спинку стула к Райскому и обняв его за шею, шептал Леонтий. Он положил ему щеку на голову, и Рай-

ский вдруг почувствовал у себя на лбу и на щеках горячие слезы. Леонтий плакал.

— Это слабость, да… — всхлипывая, говорил Леонтий, — но я не болен… я не в горячке… врут они… не понимают… Я и сам не понимал ничего… Вот как увидел тебя… так слезы льются, сами прорвались… Не ругай меня, как Марк, и не смейся надо мной, как все они смеются… эти учителя, товарищи… Я вижу у них злой смех на лицах, у этих сердобольных посетителей!..

Райского самого душили слезы, но он не дал им воли, чтоб не растравлять еще больше тоски Леонтья.

— Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтий! — сказал он, насилу одолевая себя.

— Ты добрый, старый товарищ… ты и в школе не смеялся надо мной… Ты знаешь, отчего я плачу? Ты ничего не знаешь, что со мной случилось?..

Райский молчал.

— Вот я тебе покажу… — Он пошел к бюро, вынул из ящика письмо и подал ему.

Райский пробежал глазами письмо от Ульяны Андреевны, о котором уж слышал от бабушки.

— Уничтожь его, — советовал он, — пока оно цело, ты не успокоишься…

— Как можно! — с испугом сказал Леонтий, выхватывая письмо и пряча его опять в ящик. — Ведь это единственные ее строки ко мне: других у меня нет. Это одно только и осталось у меня на память от нее… — добавил он, глотая слезы.

— Да, такое чувство заслуживало лучшей доли… — тихо сказал Райский. — Но, друг Леонтий, прими это как болезнь, как величайшее горе… Но всё же не поддавайся ему — жизнь еще длинна, ты не стар…

— Жизнь кончилась, — перебил Леонтий, — если…

— Если что?

— Если она… не воротится… — шепнул он.

— Как, ты хотел бы… ты принял бы ее теперь!..

— Ах, Борис, и ты не понимаешь! — почти с отчаянием произнес Козлов, хватаясь за голову и ходя по комнате. — Боже мой! Твердят, что я болен, сострадают мне, водят лекарей, сидят по ночам у постели — и все-таки не угадывают моей болезни и лекарства, какое нужно, а лекарство одно…

Райский молчал.

Козлов подошел к нему большими шагами, взял его за плеча и, сильно тряся, шептал в отчаянии:

— Ее нет — вот моя болезнь! Я не болен, я умер,

и настоящее мое, и будущее — всё умерло, потому что ее нет! Поди, вороти ее, приведи сюда — и я воскресну!.. А он спрашивает, принял ли бы я ее! Как же ты роман пишешь, а не умеешь понять такого простого дела!..

Райский видел, что Козлов взглянул наконец и на близкую ему жизнь тем же сознательным и верным взглядом, каким глядел на жизнь древних, и что утешить его нечем.

— Теперь я понимаю, — заметил он, — но я не знал, что ты так любил ее. Ты сам шутил, бывало: говорил, что привык к ней, что изменяешь ей для своих греков и римлян…

Козлов горько улыбнулся.

— Врал, хвастал, не понимал ничего, Борис, — сказал он, — и не случись этого… я никогда бы и не понял. Я думал, что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил… живую женщину; и любил и книги, и гимназию, и древних, и новых людей, и своих учеников… и тебя самого… и этот город, вот с этим переулком, забором и с этими рябинами — потому только — что ее любил! А теперь это всё опротивело: я бы готов хоть к полюсу уехать… Да, я это недавно узнал: вот как тут корчился на полу и читал ее письмо…

Райский вздохнул.

— А ты спрашиваешь, принял ли бы я ее! Боже мой! Как принял бы — и как любил бы — она бы узнала это теперь… — добавил он.

У него опять закапали слезы.

— Знаешь что, Леонтий, я к тебе с просьбой от Татьяны Марковны, — сказал Райский.

Леонтий ходил взад и вперед, пошатываясь, шлепая туфлями, с всклокоченной головой, и не слушал его.

— Бабушка просит тебя переехать к нам, — продолжал Райский, — ты здесь один пропадешь с тоски.

Козлов услыхал и понял, но в ответ только махнул рукой.

— Спасибо ей: она святая женщина! Что я буду таким уродом носить свое горе по чужим углам!..

— Это не чужой угол, Леонтий: мы с тобой братья. Наше родство сильнее родства крови…

— Да, да, виноват, горе одолело меня! — ложась в постель, говорил Козлов, и взяв за руку Райского, — прости за эгоизм. После… после… я сам притащусь, попрошусь смотреть за твоей библиотекой… когда уж надежды не будет…

— А у тебя есть надежда?

— А что? — вдруг шепотом спросил Козлов, быстро садясь на постели и подвигая лицо к Рай-

скому, — ты думаешь, что нет надежды?..

Райский молчал, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить его ею напрасно.

— Я, право, не знаю, Леонтий, что сказать. Я так мало следил за твоей женою, давно не видал… не знаю хорошо ее характера.

— Да, ты не хотел немного заняться ею… Я знаю, ты дал бы ей хороший урок… Может быть, этого бы и не было…

Он вздохнул глубоко.

— Нет, ты знаешь ее, — прибавил он, — ты мне намекал на француза, да я не понял тогда… мне в голову не приходило… — Он замолчал. — А если он бросит ее? — почти с радостью вдруг сказал он немного погодя, и в глазах у него на минуту мелькнул какой-то луч. — Может быть, она вспомнит… может быть…

— Может быть… — нерешительно сказал Райский.

— Постой… что это?.. Кто-то будто едет сюда… — заговорил Леонтий, привставая и глядя в окно. Потом опустился и повесил голову.

Мимо окон проехала телега, где мужик, в чувашской рубашке, с красными обшивками, стоя махал вожжой.

— Я всё жду… всё думаю, не опомнится ли? —

мечтал он, — и ночью пробовал вставать, да этот разбойник Марк, точно железной ручищей, повалит меня и велит лежать. «Не воротится, говорит, лежи смирно!» Боюсь я этого Марка.

Он вопросительно поглядывал на Райского.

— А ты как думаешь? — шептал он, — ты лучше знаешь женщин — что он смыслит! Есть надежда… или…

— Если и есть, то во всяком случае не теперь, — сказал Райский, — разве после когда-нибудь…

Козлов глубоко вздохнул, медленно улегся на постели и положил руки с локтями себе на голову.

— Завтра я перевезу тебя к нам, — сказал ему Райский, — а теперь прощай! Ужо к ночи я или приду сам, или пришлю кого-нибудь побыть с тобой.

Леонтий не смотрел и не слыхал, что Райский говорил и как он вышел.

Райский воротился домой, отдал отчет бабушке о Леонтье, сказавши, что опасности нет, но что никакое утешение теперь не поможет. Оба они решили послать на ночь Якова смотреть за Козловым, причем бабушка отправила целый ужин, чаю, рому, вина — и Бог знает чего еще.

— Зачем это? он ничего не ест, бабушка, — ска-

зал Райский.

— А как тот… опять придет?

— Кто тот?

— Ну, кто — Маркушка: я чаю, есть хочет. Ведь ты говоришь, что застал его там…

— Ах, бабушка! я сейчас поеду и скажу Марку…

— Сохрани тебя Господи! — удержала она его, — на смех поднимет…

— Нет — поклонится. Это не Нил Андреич, он понимает вас…

— Не надо мне его поклонов, а чтоб был сыт — и Бог с ним! Он пропащий! А что… о восьмидесяти рублях не поминает?

Райский махнул рукой, ушел к себе в комнату и стал дочитывать письмо Аянова и другие полученные им письма из Петербурга, вместе с журналами и газетами.

VII

«Что сделалось с тобой, любезный Борис Павлович? — писал Аянов, — в какую всероссийскую щель заполз ты от нашего вечно мокрого, но вечно юного Петербурга, что от тебя два месяца нет ни строки? Уж не женился ли ты там на какой-нибудь стерляди? Забрасывал сначала своими повестями, то есть письмами, а тут вдруг и пропал, так что я не знаю, не переехал ли ты из своей трущобы — Малиновки, в какую-нибудь трущобу — Смородиновку, и получишь ли мое письмо?

Новостей много, слушай только… Поздравь меня: геморрой наконец у меня открылся!! Мы с доктором так обрадовались, что бросились друг другу в объятия и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода: на воды не надо ехать! Пояснице легче, а к животу я прикладываю холодные компрессы: у меня, ведь ты знаешь, — pletora abdominalis[123]…»

«Вот какими новостями занимает!» — подумал Райский и читал дальше.

«Олинька моя хорошеет, преуспевает в благо-

---

[123] Примечания: 123
полнокровие в системе воротной вены (*лат.*).

честии, благонравии и науках, институтскому начальству покорна, к отцу почтительна и всякий четверг спрашивает, скоро ли приедет другой баловник, Райский, поправлять ее рисунки и совать ей в другую руку другую сверхштатную коробку конфект…»

— Вот животное: только о себе! — шептал опять Райский, читая чрез несколько строк ниже.

«…Коко женился наконец на своей Eudoxie, за которой чуть не семь лет, как за Рахилью, ухаживал! — и уехал в свою тьмутараканскую деревню. Горбуна сбыли за границу вместе с его ведьмой, и теперь в доме стало поживее. Стали отворять окна и впускать свежий воздух и людей, — только кормят всё еще скверно…»

— Что мне до них за дело! — с нетерпением ворчал Райский, пробегая дальше письмо, — о кузине ни слова, а мне и о ней-то не хочется слышать!

«…на его место, — шепотом читал он дальше, — прочат в министры князя И. В., а товарищем И. Б–а… Женщины подняли гвалт… П. П. проиграл семьдесят тысяч… Х–ие уехали за границу… Тебе скучно: вижу, что ты морщишься — спрашиваешь — что Софья Николаевна (начал живее читать Райский): сейчас, сейчас, я берег вести о

ней pour la bonne bouche[124]...».

— Насилу добрался! — сказал Райский, — ну, что она?

«Я старался и без тебя, как при тебе, и служил твоему делу верой и правдой, то есть два раза играл с милыми "барышнями" в карты, так что братец их, Николай Васильевич, прозвал меня женихом Анны Васильевны и так разгулялся однажды насчет будущей нашей свадьбы, что был вытолкан обеими сестрицами в спину и не получил ни гроша субсидии, за которой было явился. Но зато занял триста рублей у меня, а я поставил эти деньги на твой счет, так как надежды отыграть их у моей нареченной невесты уже более нет. Внемли, бледней и трепещи!

Играя с тетками, я служил, говорю, твоему делу, то есть пробуждению страсти в твоей мраморной кузине, с тою только разницею, что без тебя это дело пошло было впрок. Итальянец, граф Милари, должно быть, служит по этой же части, то есть развивает страсти в женщинах, и едва ли не успешнее тебя. Он повадился ездить в те же дни и часы, когда мы играли в карты, а Николай Васильевич не нарадовался, глядя на свое семей-

---

[124] Примечания: 124
на закуску (*фр.*).

ное счастье.

Папашу оставляли в покое, занимались музыкой, играли, пели — даже не брали гулять, потому что (я говорю тебе это по секрету, и весь Петербург не иначе как на ухо повторяет этот секрет) когда карета твоей кузины являлась на островах, являлся тогда и Милари, верхом или в коляске, и ехал подле кареты. Софья Николаевна еще больше похорошела, потом стала задумываться, немного вышла из своего “олимпийского” спокойствия и похудела… Она (бери спирт и нюхай!) сделала… un faux pas![125] Я добивался, какой именно, и получал такие ответы даже от ее кузины Catherine, из которых ничего не сообразишь: всё двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нет… всё фоски!

Я начал уже сам сочинять их роман: думал, не застали ли их где-нибудь уединенно гуляющих, или перехватили письмо, в коем сказано: “люблю, мол, тебя”, или раздался преступный поцелуй среди дуэтов Россини и Беллини. Нет, играли, пели, мешая нам играть в карты (мимоходом замечу, что и без них игра вязалась плохо. Вообще я терпеть не могу лета, потому что летом

---

[125] Примечания: 125
ложный шаг! (*фр.*)

карты сквозят), так что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой… А в городе и пошло, и пошло! Мезенские, Хатьковы, и Мышинские, и все, — больше всех кузина Catherine — тихо, с сдержанной радостью, шептали: “Sophie a poussée la chose trop loin, sans se rendre compte des suites…”[126] и т. д. “Какая это «chose»”, спрашивал я и на ухо, и вслух, того, другого — и, не получая определительного ответа, сам стал шептать, когда речь зайдет о ней. “Oui, — говорил я, — elle a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte… Elle a fait un faux pas…”[127]

И пожму значительно плечами, когда спросят, какой

“pas”?

Таким образом всплыло на горизонт легкое облачко и стало над головой твоей кузины! А я всё служил да служил делу, не забывая дружеской обязанности, и всё ездил играть к теткам. Даже сблизился с Милари и стал условливаться с ним, как, бывало, с тобой, приходить в одни часы, чтоб

---

[126] Примечания: 126

«Софи зашла в своих поступках слишком далеко, не отдавая себе отчета в последствиях…» (*фр.*)

[127] Примечания: 127

«Да <…> она зашла слишком далеко, не отдавая себе в своих поступках отчета… Она сделала ложный шаг… (*фр.*)

обоим было удобнее…»

— Какой осел! — сказал с досадой Райский, бросив письмо, — он думал, что угождает мне…

«А ты, за службу и дружбу мою, — читал дальше Райский, — пришли или привези мне к зиме, с Волги, отличной свежей икры бочонок-другой да стерлядей в аршин: я поделюсь с его сиятельством, моим партнером, министром и милостивцем…»

Райский читал ниже:

«Так мы и переехали целой семьей на дачу, на Каменный остров, то есть они заняли весь дом В., а я две комнаты неподалеку. Николай Васильевич поселился в особом павильоне…

Дела шли своим чередом, как вдруг однажды перед началом нашей вечерней партии, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались к выходу, а Софья Николаевна поехала гулять, взявши с собой Николая Васильевича, чтоб завезти его там где-то на дачу, — доложили о приезде княгини Олимпиады Измайловны. Обе тетки поворчали на это неожиданное расстройство партии, но, однако, отпустили меня погулять, наказавши через час вернуться, а княгиню приняли.

Несчастные мы все трое! ни тетушки твои, ни я

— не предчувствовали, что нам не играть больше! Княгиня встретилась со мной на лестнице и несла такое торжественное, важное лицо вверх, что я даже не осмелился осведомиться о ее нервах.

Через час я прихожу, меня не принимают. Захожу на другой день — не принимают. Через два, три дня — то же самое. Обе тетки больны, “барыня”, то есть Софья Николаевна, нездорова, не выезжает и никого не принимает: такие ответы получал я от слуг.

Я толкнулся во флигель к Николаю Васильевичу — дома нет, а между тем его нигде не видно: ни на pointe,[128] ни у Излера, куда он хаживал *инкогнито*, как он говорит. Я — в город, в клуб — к Петру Ивановичу. Тот уж издали, из-за газет, лукаво выглянул на меня и улыбнулся: “Знаю, знаю зачем, говорит: что, дверь захлопнулась, оброк прекратился?..”

От него я добился только — сначала, что кузина твоя — a poussé la chose trop loin… qu’elle a fait un faux pas… а потом — что после визита княгини Олимпиады Измайловны, этой гонительницы женских пороков и поборницы добродетелей, тетки разом слегли, в окнах опустили шторы,

---

[128] Примечания: 128
стрелке (*фр.*).

Софья Николаевна сидит у себя запершись, и все обедают по своим комнатам, и даже не обедают, а только блюда приносятся и уносятся нетронутые, что трогает их один Николай Васильевич, но ему запрещено выходить из дома, чтоб как-нибудь не проболтался, что граф Милари и носа не показывает в дом, а ездит старый доктор Пертов, бросивший давно практику и в молодости лечивший обеих барышень (и бывший их любовником, по словам старой, забытой хроники, — прибавлю в скобках). Наконец, Петр Иванович сказал, что весь дом, кроме Николая Васильевича, втайне готовится уехать на такие воды, каких старики не запомнят, и располагают пробыть года три за границей.

Я, однако, добился свидания с Николаем Васильевичем: написал ему записку и получил приглашение отобедать с ним “вечером” наедине. Он прежде всего попросил быть скромным насчет обеда. В доме пост теперь: “On est en pénitence — бульон и цыпленка готовят на всех — et ma pauvre Sophie n’ose pas descendre me tenir compagnie, — жалуется он горько и жует в недоумении губами, — et nous sommes enfermés tous les

deux…[129] Я велел для вас сделать обед, только не говорите!” — прибавил он боязливо, уплетая перепелок, и чуть не плакал о своей бедной Софье.

Наконец я добился, что к прежнему облачку, к этому искомому мною «х», то есть que Sophie a poussé la chose trop loin, прибавился, наконец, и факт — она, о ужас! a fait un faux pas, именно — отвечала на записку Милари! Пахотин показал мне эту записку, с яростью ударяя кулаком по столу: “Mais dites donc, dites, qu’est ce qu’il y a là? à propos de quoi — все эти охи и ахи, и флаконы со спиртом, и этот отъезд? et tout ce remue-ménage? Voilà ce que c’est que d’être vieilles filles!”[130]

Он топал, бегал по кабинету и прохлаждал себя, макая бисквиты в шампанское и глотая какие-то дижестивные пилюли вслед за тем. “И что всего грустнее, — говорил он, — что бедняжка Sophie убивается сама: «Oui, la faute est à moi, — твердит она, — je me suis compromise: une femme que se respecte ne doit pas pousser la chose

---

[129] Примечания: 129

На всех наложено покаяние <…> и моя бедная Софи не смеет спуститься, чтобы составить мне компанию <…> и мы оба заперты… (*фр.*)

[130] Примечания: 130

«Но скажите на милость, скажите, что здесь такого? из-за чего <…> весь этот переполох? Чего не выдумают старые девы!» (*фр.*)

trop loin… se permettre».[131] — «Mais qu'as, tu donc fait, mon enfant?»[132] — спрашиваю я. — «J'ai fais un faux pas… — твердит она, — огорчила теток, вас, папá!..» — «Mais pas le moins du monde»,[133] — говорю я — и всё напрасно! Et elle pleure, elle pleure… cette pauvre enfant! Ce billet!..[134] Посмотрите эту записку!"

А в записке изображено следующее: "Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera et surtout, n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.»[135] Николай Васильевич поражен прежде всего в родительской нежности. "Le nuage a grossi grâce à ce billet, потому что… кажется… (на ухо шепнул мне Пахотин) entre nous soit dit… Sophie n'était pas tout-à-fait insensible aux hommages du comte, mais c'est un

---

[131] Примечания: 131

«Да, я совершила ошибку <...> я скомпрометировала себя, женщина, уважающая себя, не должна заходить слишком далеко... позволять себе» (*фр.*).

[132] Примечания: 132

«Но что ты сделала, дитя мое?» (*фр.*)

[133] Примечания: 133

«Да нисколько» (*фр.*).

[134] Примечания: 134

И она плачет, плачет, несчастное дитя! Эта записка!... (*фр.*)

[135] Примечания: 135

«Приходите, граф, я вас жду между восьмью и девятью, никого не будет, и, главное, не забудьте папку с этюдами. Остаюсь и т. д. С. Б.» (*фр.*)

gentilhomme et elle est trop bien élevée pour pousser les choses… jusqu'a un faux pas…"[136]

И только, Борис Павлыч! Как мне грустно это, то есть что "только" и что я не могу тебе сообщить чего-нибудь повеселее, как, например, вроде того, что кузина твоя, одевшись в темную мантилью, ушла из дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потом видели ее с Милари возвращающуюся бледной, а его торжествующим, и расстающихся где-то на перекрестке и т. д. Ничего этого не было!

Но здесь хватаются и за соломинку, всячески раздувают искру — и из записки делают слона, вставляют туда другие фразы, даже нежное "ты", но это не клеится, и всё вертится на одной и той же редакции; то есть "que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas…" Я усердно помогаю делу со своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что там написано. За мной ходят, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза звали обедать, а М. подпаивает меня в клубе, не проговорюсь ли. Мне это весело, и я молчу.

---

[136] Примечания: 136

«Туча разрослась из-за этой записки <…> между нами говоря… Софи не была вполне равнодушна к ухаживаниям графа, но он благородный человек, а она слишком хорошо воспитана, чтобы допустить… ложный шаг…» (*фр.*)

Через две недели они едут. И вот тебе развязка романа твоей кузины! Да, я забыл главное — слона. Николай Васильевич был поставлен сестрицами своими “dans une position très délicate»:[137] объясниться с графом Милари и выпросить назад у него эту роковую записку. Он говорит, что у него и подагра, и нервы, и тик, и ревматизм — всё поднялось разом, когда он объяснялся с графом. Тот тонко и лукаво улыбался, выслушав просьбу отца, и сказал, что на другой день удовлетворит ее, и сдержал слово, прислал записку самой Беловодовой, с учтивым и почтительным письмом. “Mais comme il riait sous cape, ce comte (il est très fin), quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères sœurs! Vieilles chiennes!..”[138] — отвернувшись, добавил он и разбил со злости фарфоровую куклу на камине.

Вот тебе и драма, любезный Борис Павлович: годится ли в твой роман? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму в двух следующих

---

[137] Примечания: 137

«в очень щекотливое положение» (*фр.*).

[138] Примечания: 138

«Но как он смеялся исподтишка, этот граф (он очень хитер), когда я излагал ему все глупые соображения моих дорогих сестриц! Старые дуры!» (*фр.*)

словах. Вот тебе ключ или “le mot de l’enigme”,[139] как говорят здесь русские люди, притворяющиеся не умеющими говорить по-русски и воображающие, что говорят по-французски.

Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а граф Милари добивался свести это на большую дорогу — и говорят (это папá разболтал), что между ними бывали живые споры, что он брал ее за руку, а она не отнимала, у ней даже глаза туманились слезой, когда он, недовольный прогулками верхом у кареты и приемом при тетках, настаивал на большей свободе, — звал в парк вдвоем, являлся в другие часы, когда тетки спали или бывали в церкви, и, не успевая, не показывал глаз по неделе. А кузина волновалась, “prenant les choses au sérieux”[140] (я не перевожу тебе здешнего языка, а передаю в оригинале, так как оригинал всегда ярче перевода). Между тем, граф серьезных намерений не обнаруживал и наконец… наконец… вот где ужас! узнали, что он из “новых” и своим прежним правительством

---

[139] Примечания: 139
«ключ к загадке» (*фр.*).

[140] Примечания: 140
«приняв всё всерьез» (*фр.*).

был — “mal vu”,[141] и “эмигрировал” из отечества в Париж, где и проживал, а главное, что у него там, под голубыми небесами, во Флоренции, или в Милане, есть какая-то нареченная невеста, тоже кузина… что вся ее фортуна («fortune» — в оригинале) перейдет в его род из того рода, так же как и виды на карьеру. Это проведала княгиня через князя Б. П. … И твоя Софья страдает теперь вдвойне: и оттого, что оскорблена внутренно, — гордости ее красоты и гордости рода нанесен удар — и оттого, что сделала… un faux pas, и, может быть, также немного и от того чувства, которое ты старался пробудить — и успел, а я, по дружбе к тебе, поддержал в ней…

Что будет с ней теперь — не знаю: драма ли, роман ли — это уже докончи ты на досуге, а мне пора на вечер к В. И. Там ожидает меня здоровая и серьезная партия с серьезными игроками.

Прощай — это первое и последнее мое письмо, или, пожалуй, глава из будущего твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если он будет весь такой! Бабушке и сестрам своим кланяйся, нужды нет, что я не знаю их, а они меня, и скажи им, что в таком-то городе живет твой приятель, готовый

---

[141] Примечания: 141
«подозреваем» (*фр.*).

служить, как выше сказано.

И. Аянов».

VIII

Райский сунул письмо в ящик, а сам, взяв фуражку, пошел в сад, внутренно сознаваясь, что он идет взглянуть на места, где еще вчера ходила, сидела, скользила, может быть, как змея, с обрыва вниз, сверкая красотой, как ночь, — Вера, всё она, его мучительница и идол, которому он еще лихорадочно дочитывал про себя — и молитвы, как идеалу, и шептал проклятия, как живой красавице, кидая мысленно в нее каменья.

Он обошел весь сад, взглянул на ее закрытые окна, подошел к обрыву и погрузил взгляд в лежащую у ног его пропасть тихо шумящих кустов и деревьев.

Аллеи представлялись темными коридорами, но открытые места, поблекший цветник, огород, всё пространство сада, лежащее перед домом, освещались косвенными лучами выплывшей на горизонт луны. Звезды сильно мерцали. Вечер был ясен и свеж.

Райский посмотрел с обрыва на Волгу: она сверкала вдали, как сталь. Около него, тихо шелестя, летели с деревьев увядшие листья.

«Там она теперь, — думал он, глядя за Волгу, —

и ни одного слова не оставила мне! Задушевное, сказанное ее грудным шепотом “прощай” примирило бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову! И уехала! ни следа, ни воспоминания!» — горевал он, склонив голову, идучи по темной аллее.

Вдруг в плечо ему слегка впились чьи-то тонкие пальцы, как когти хищной птицы, и в ухе раздался сдержанный смех.

— Вера! — в радостном ужасе сказал он, задрожав и хватая ее за руку.

У него даже волосы поднялись на голове.

— Ты здесь, не за Волгой!..

— Здесь, не за Волгой! — повторила она, продолжая смеяться, и пропустила свою руку ему под руку. — Вы думали, что я отпущу вас, не простясь? Да, думали? Признавайтесь!..

— Ты колдунья, Вера. Да, сию минуту я упрекал тебя, что ты не оставила даже слова! — говорил он, растерянный и от страха, и от неожиданной радости, которая вдруг охватила его.

— Да как же это ты?.. В доме все говорили, что ты уехала вчера…

Она иронически засмеялась, стараясь поглядеть ему в лицо.

— А вы и поверили? Я готовила вам сюрприз:

велела сказать, что уехала… Признайтесь, вы не поверили, притворились?..

— Ей-богу, нет.

— Побожитесь еще! — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волнением, и опять засмеялась раздражительным смехом. — Не оставила двух слов, а осталась сама: что лучше? Говорите же! — прибавила она, шаля и заигрывая с ним.

Он был в недоумении. Эта живость речи, быстрые движения, насмешливое кокетство — всё казалось ему неестественно в ней. Сквозь живой тон и резвость он слышал будто усталость, видел напряжение скрыть истощение сил. Ему хотелось взглянуть ей в лицо, и когда они подошли к концу аллеи, он вывел было ее на лунный свет.

— Дай мне взглянуть на тебя: что с тобой, Вера? Какая ты резвая, веселая!.. — заметил он робко.

— Что смотреть — нечего! — с нетерпением перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его в темноту.

Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую с плеч мантилью.

— Веселая — оттого, что вы здесь, подле меня… — Она прижалась плечом к его плечу.

— Что с тобой, Вера? в тебе какая-то перемена! — прошептал Райский подозрительно, не

разделяя ее бурной веселости и стараясь подвести ее к свету.

— Пойдемте, пойдемте, что за смотр такой, — не люблю!.. — живо говорила она, едва стоя на месте.

Он чувствовал, что руки у ней дрожат и что вся она трепещет и бьется в какой-то непонятной для него тревоге.

— Да говорите же что-нибудь, рассказывайте, где были, что видели, помнили ли обо мне? А что страсть? всё мучает — да? Что это у вас, точно язык отнялся? куда девались эти «волны поэзии», этот «рай и геенна»? давайте мне рая! Я счастья хочу, «жизни»!..

Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на месте от нетерпения, ускоряла шаг.

— Да что это вы идете, как черепаха! Пойдемте к обрыву, спустимся к Волге, возьмем лодку, покатаемся!.. — продолжала она, таща его с собой, то смеясь, то вдруг задумываясь.

— Вера, мне страшно с тобой, ты… нездорова! — печально сказал он.

— А что? — спросила она вдруг, останавливаясь.

— Откуда вдруг у тебя эта развязность, болтли-

вость? ты, такая сдержанная, сосредоточенная!..

— Я очень обрадовалась вам, брат, всё смотрела в окно, прислушивалась к стуку экипажей… — сказала она и, наклонив голову, в раздумье, тише пошла подле него, всё держа свою руку на его плече и по временам сжимая сильно, как птица когти, свои тонкие пальцы.

Ему отчего-то было тяжело. Он уже не слушал ее раздражительных и кокетливых вызовов, которым в другое время готов был верить. В нем в эту минуту умолкла собственная страсть. Он болел духом за нее, вслушиваясь в ее лихорадочный лепет, стараясь вглядеться в нервную живость движений и угадать, что значило это волнение.

— Что вы так странно смотрите на меня: я не сумасшедшая! — говорила она, отворачиваясь от него.

На него напал ужас.

«Сумасшедшие почти всегда так говорят! — подумал он, — спешат уверить всех, что они не сумасшедшие!»

Он сам испытывал нетрезвость страсти — и мучился за себя, но он давно знал и страсти, и себя, и то не всегда мог предвидеть исход. Теперь, видя Веру, упившеюся этого недуга, он вздрагивал за нее.

Она как будто теряет силу, слабеет. Спокойствия в ней нет больше: она собирает последние силенки, чтоб замаскироваться, уйти в себя, — это явно: но и в себе ей уже тесно — чаша переполняется, и волнение выступает наружу.

«Боже мой, что с ней будет! — в страхе думал он, — а у ней нет доверия ко мне. Она не высказывается, хочет бороться одна! кто охранит ее?..»

«Бабушка!» — шепнул ему какой-то голос.

— Вера! ты нездорова: ты бы поговорила с бабушкой… — серьезно сказал он.

— Тише, молчите, помните ваше слово! — сильным шепотом сказала она. — Прощайте теперь! Завтра пойдем с вами гулять, потом в город, за покупками, потом туда, на Волгу… всюду! Я жить без вас не могу!.. — прибавила она почти грубо и сильно сжав ему плечо пальцами.

«Что с ней!» — думал он.

Но последние ее слова, этот грубо-кокетливый вызов, обращенный прямо к нему и на него, заставили его подумать и о своей защите, напомнили ему о его собственной борьбе и о намерении бежать.

— Я уеду, Вера, — сказал он вслух, — я измучен, у меня нет сил больше, я умру… Прощай! зачем ты обманула меня? зачем вызвала? зачем ты

здесь? Чтоб наслаждаться моими муками?.. Уеду, пусти меня!

— Уезжайте! — сказала она, отойдя от него на шаг. — Егорка еще не успел унести чемодан на чердак!..

Он быстро пошел, ожесточенный этой умышленной пыткой, этим издеванием над ним и над страстью. Потом оглянулся. Шагах в десяти от него, выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зелени, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет.

«Что это? что с ней? — с ужасом спрашивал он, — зачем я ей? Воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва! что она за женщина?»

Ему припомнились все жестокие, исторические женские личности, жрицы кровавых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и всё жестокое, что совершено женскими руками, с Юдифи до леди Макбет включительно. Он пошел и опять обернулся. Она смотрит неподвижно. Он остановился.

«Какая красота, какая гармония во всей этой фигуре! Она страшна, гибельна мне!» — думал он, стоя как вкопанный, и не мог оторвать глаз от стройной, неподвижной фигуры Веры, облитой

лунным светом.

Он чувствовал эту красоту нервами, ему было больно от нее. Он нехотя впился в нее глазами.

Она пошевелилась и сделала ему призывный знак головой. Проклиная свою слабость, он медленно, шаг за шагом, пошел к ней. Она уползла в темную аллею, лишь только он подошел, и он последовал за ней.

— Что тебе нужно, Вера, зачем ты не даешь мне покоя? Через час я уеду!.. — резко и сухо говорил он и сам всё шел к ней.

— Не смейте, я не хочу! — сильно схватив его за руку, говорила она, — вы «раб мой», должны мне служить… Вы тоже не давали мне покоя!

Дрожь страсти вдруг охватила его. Он чувствовал, что колени его готовы склониться и голос пел внутри него: «Да, раб, повелевай!..»

И он хотел упасть и зарыдать от страсти у ее ног.

— Вы мне нужны, — шептала она, — вы просили мук, казни — я дам вам их! «Это жизнь!» — говорили вы, — вот она — мучайтесь, и я буду мучаться, будем вместе мучаться… «Страсть прекрасна: она кладет на всю жизнь долгий след, и этот след люди называют счастьем!..» Кто это проповедовал? А теперь бежать: нет! оставайтесь,

вместе кинемся в ту бездну! «Это жизнь, и только это!» — говорили вы, — вот и давайте жить! Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее…

— Ты гибнешь, Вера! — в ужасе сказал он, отступая.

— Может быть, — говорила она, как будто отряхивая хмель от головы. — Так что же? что вам? не всё ли равно? вы этого хотели? «Природа влагает только страсть в живые организмы, — твердили вы, — страсть прекрасна!..» Ну вот она — любуйтесь!..

Она забирала сильными глотками свежий, вечерний воздух.

— Но я же и остерегал тебя: я называл страсть «волком»… — защищался он, с ужасом слушая это явное, беззащитное признание.

— Нет, она злее, она — тигр. Я не верила, теперь верю. Знаете ту гравюру, в кабинете старого дома: тигр скалит зубы на сидящего на нем амура? Я не понимала, что это значит, бессмыслица — думала, а теперь понимаю. Да — страсть, как тигр, сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы…

У Райского в душе шевельнулась надежда добраться до таинственного имени: кто! Он живо

ухватился за ее сравнение страсти с тигром.

— У нас на севере нет тигров, Вера, и сравнение твое неверно, — сказал он. — Мое вернее: твой идол — волк!

— Браво, да, да! — смеясь нервически перебила она, — настоящий волк! как ни корми, всё к лесу глядит!

И вдруг смолкла, как будто в отчаянии.

— Все вы звери, — прибавила потом со вздохом, — он — волк…

— Кто он? — тихо спросил Райский.

— Тушин — медведь, — продолжала она, не отвечая ему, — русский, честный, смышленый медведь…

«А! так это не Тушин!» — подумал Райский.

— Положи руку на его мохнатую голову, — говорила она, — и спи: не изменит, не обманет… будет век служить…

— А я кто? — вдруг, немного развеселясь, спросил Райский.

Она близко и лукаво поглядела ему в глаза и медлила ответом.

— Вижу, хочется сказать «осел»: скажи, Вера, не церемонься!

— Вы? осел? — заговорила она язвительно, ходя медленно вокруг него и оглядывая его со всех

сторон.

— Право, осел! — наивно подтвердил Райский, — вижу, как ты мудришь надо мной, терплю и хлопаю ушами.

— Какой вы осел! Вы — лиса, мягкая, хитрая: заманить в западню… тихо, умно, изящно… Вот я вас!..

Он молчал, не понимая ее.

— Да говорите же, что молчите! — дергая его за рукав, сказала она.

— Есть средство против этих волков.

— Какое?

— Мне — уехать, а тебе — не ходить вон туда… — Он показал на обрыв.

— Дайте мне силу не ходить туда! — почти крикнула она… — Вот вы то же самое теперь испытываете, что я: да? Ну попробуйте завтра усидеть в комнате, когда я буду гулять в саду одна… Да нет, вы усидите! Вы сочинили себе страсть, вы только умеете красноречиво говорить о ней, завлекать, играть с женщиной! Лиса, лиса! вот я вас за это, постойте: еще не то будет! — с принужденным смехом и будто шутя, но горячо говорила она, впуская опять ему в плечо свои тонкие пальцы.

Он в страхе слушал ее.

— Ты за этим дождалась меня? — помолчав, спросил он, — чтоб сказать мне это?..

— Да, за этим! Чтоб вы не шутили вперед с страстью, а научили бы, что мне делать теперь, — вы, учитель!.. А вы подожгли дом да и бежать! «Страсть прекрасна, люби, Вера, не стыдись!» Чья это проповедь: отца Василья?

— Я разумел разделенную страсть, — тихо оправдывался он. — Страсть прекрасна, когда обе стороны прекрасны, честны, — тогда страсть не зло, а действительно величайшее счастье на всю жизнь: там нет и не нужно лжи и обманов. Если одна сторона не отвечает на страсть, она не будет напрасно увлекать другую, или, когда наступит охлаждение, она не поползет в темноте, отравляя изменой жизнь другому, а смело откроется и нанесет честно, как сама судьба, один явный и неизбежный удар — разлуку… Тогда бурь нет, а только живительный огонь…

— Страсти без бурь нет, или это не страсть! — сказала она. — А кроме честности или нечестности, другого разлада, других пропастей разве не бывает? — спросила она после некоторого молчания. — Ну вот, я люблю, меня любят: никто не обманывает. А страсть рвет меня… Научите же теперь, что мне делать?

— Бабушке сказать… — говорил он, бледный от страха, — позволь мне, Вера… отдай мое слово назад…

— Боже сохрани! молчите и слушайте меня! А! теперь «бабушке сказать»! Стращать, стыдить меня!.. А кто велел не слушаться ее, не стыдиться? Кто смеялся над ее моралью?

— Ты скажи мне, что с тобой, Вера? Ты то проговариваешься, то опять уходишь в тайну: я в потемках, я не знаю ничего… Тогда, может быть, я найду и средство…

— Вы не знаете, что со мной, вы в потемках: подите сюда! — говорила она, уводя его из аллеи, и, выйдя из нее, остановилась. Луна светила ей прямо в лицо. — Смотрите, что со мной!

У него упало сердце. Он не узнал прежней Веры. Лицо бледное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злым блеском, губы сжаты. С головы, из-под косынки, выпадали в беспорядке на лоб и виски две-три пряди волос, как у цыганки, закрывая ей, при быстрых движениях, глаза и рот. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная белым пухом мантилья, едва державшаяся слабым узлом шелкового снурка.

— Что? — отряхивая волосы от лица, говорила она, — узнаете вашу Веру? Где эта «красота», ко-

торой вы пели гимны?

Она с жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой.

— Что я могу сделать, Вера? — говорил он тихо, вглядываясь в ее исхудавшее лицо и больной блеск глаз. — Скажи мне: я готов умереть…

— Умереть, умереть: зачем мне это? Помогите мне жить, дайте той прекрасной страсти, от которой «тянутся какие-то лучи на всю жизнь…» Дайте этой жизни: где она? Я, кроме огрызающегося тигра, не вижу ничего… Говорите, научите или воротите меня назад, когда у меня еще была сила! А вы — «бабушке сказать»! уложить ее в гроб и меня с ней!.. Это, что ли, средство? Или учите не ходить туда, к обрыву… Поздно!

— Скажи мне, кого ты любишь, все обстоятельства, имя!..

— Кого? — вас! — сказала она с злобой, отряхивая опять пряди от лица и небрежно натягивая мантилью на плеча.

Он боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоял, сложив руки назад, прислонясь к дереву. Она ходила взад и вперед торопливыми, неровными шагами. Потом остановилась и перевела дух.

— Да, она сумасшедшая! — шептал он в ужасе.

Она села на скамью, утихла и задумалась.

— Что это со мной? — будто немного опомнившись, про себя сказала она.

— Ты, Вера, сама бредила о свободе, ты таилась и от меня, и от бабушки, хотела независимости. Я только подтверждал твои мысли: они и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову? — тихо оправдывался он. — Не только я, даже бабушка не смела приступиться к тебе…

Она глубоко вздохнула, потом подошла к нему и, прижавшись головой к его плечу, слабо заговорила.

— Да… да, не слушайте меня! У меня просто нервы расстроены. Какая страсть? Никакой страсти нет! Я шутила, как вы… со мной…

— Ты всё еще думаешь, что я шутил! — тихо сказал он.

Она старалась улыбнуться, взяла его за руку.

— Прижмите руку к моей голове, — говорила она кротко, — видите, какой жар… Не сердитесь на меня, будьте снисходительны к бедной сестре! Это всё пройдет… Доктор говорит, что у женщин часто бывают припадки… Мне самой гадко и стыдно, что я так слаба…

— Что же с тобой, бедная Вера? скажи мне…

— Ничего… Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лестницу — я боюсь чего-то… Я лягу… простите меня: я встревожила вас напрасно… вызвала сюда. Вы бы уехали и забыли меня. У меня просто лихорадка… Вы не сердитесь?.. — ласково сказала она.

Он поспешно подал ей руку, тихо вывел из сада, провел через двор и довел до ее комнаты. Там зажег ей свечу.

— Позовите Марину или Машу, чтоб легли спать тут в моей комнате… Только бабушке ни слова об этом!.. Это просто раздражение… Она перепугается… придет…

Он боязливо, задумчиво слушал ее.

— Что вы всё молчите, так странно смотрите на меня! — говорила она, беспокойно следя за ним глазами. — Я бог знает что наболтала в бреду… это чтоб подразнить вас… отмстить за все ваши насмешки… — прибавила она, стараясь улыбнуться. — Смотрите же, бабушке ни слова! Скажите, что я легла, чтоб завтра пораньше встать, и попросите ее… благословить меня заочно… Слышите?

— Да, да, слышу, — рассеянно отвечал он, пожал ей руку и позвал к ней Машу.

IX

Райский на другой день с любопытством ждал пробуждения Веры. Он забыл о своей собственной страсти, воображение робко молчало и ушло всё в наблюдение за этой ползущей в его глазах, как «удав», по его выражению, чужой страстью, выглянувшей из Веры, с своими острыми зубами.

Он был задумчив, угрюм, избегал вопросительных взглядов бабушки, проклиная слово, данное Вере, не говорить никому, всего меньше Татьяне Марковне, чем и поставлен был в фальшивое положение.

А Татьяна Марковна не раз уж заговаривала с ним о ней.

— Что-то с Верой неладно! — говорила она, качая головой.

— Что такое? — спрашивал небрежно Райский, стараясь казаться равнодушным.

— Нехорошо! хуже, нежели намедни: ходит хмурая, молчит, иногда кажется, будто слезы у нее на глазах. Я с доктором говорила, тот опять о нервах поет. Девичьи припадки, что ли?..

Бабушка не кончала речи и грустно задумывалась.

Он с нетерпением ожидал Веры. Наконец она пришла. Девушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошве. Она, поздоровавшись с бабушкой, попросила кофе, с аппетитом съела несколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать с ней в городе, в лавках, и потом погулять вместе в поле и в роще.

Она как будто ничего. Из вчерашнего только заметна была несвойственная ей развязность в движениях и излишняя торопливость речи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крепится и маскирует расстроенность духа или нерв.

Она даже вдалась в подробности о нарядах с Полиной Карповной, которая неожиданно явилась в кабинет бабушки с какими-то обещанными выкройками нового фасона платья для приданого Марфиньки, а в самом деле чтоб узнать о возвращении Бориса Павловича.

Она всё хотела во что бы то ни стало видеться с ним наедине и всё выбирала удобную минуту сесть подле него, уверяя всех и его самого, что он хочет что-то сказать ей без свидетелей.

Она делала томные глаза, ловила его взгляд и раза два начинала тихо: «Je comprends: dites tout!

du courage!»[142]

«Ну тебя к черту!» — думал он, хмурясь и отодвигаясь от нее.

Наконец Вера надела пальто, взяла его под руку и сказала:

— Пойдемте!

Крицкая порывалась было идти с ними, но Вера уклонилась, сказав:

— Мы идем пешком и надолго с братом, а у вас, милая Полина Карповна, длинный шлейф и вообще нарядный туалет — на дворе сыро…

И ушли.

Райский молчал, наблюдая Веру, а она старалась казаться в обыкновенном расположении духа, делала беглые замечания о погоде, о встречавшихся знакомых, о том, что вон этот дом еще месяц тому назад был серый, запущенный, с обвалившимися карнизами, а теперь вон как свежо смотрит, когда его оштукатурили и выкрасили в желтый цвет. Упомянула, что к зиме заново отделают залу собрания, что гостиный двор покроют железом, остановилась посмотреть, как ровняют улицу для бульвара.

Она вообще казалась довольной, что идет по

---

[142] Примечания: 142

«Я понимаю: говорите всё! смелей!» (*фр.*)

городу, заметив, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видит никто и Бог знает, что думают, точно будто она умерла.

Райский ни слова не отвечал на весь этот развязный лепет, под которым слышались ему совсем другие речи.

— Может быть, я дурно делаю, что лишаю вас общества Полины Карповны? — заметила она, напрасно стараясь вывести его из молчания.

Он сделал нетерпеливое движение плечом.

— Я шучу! — сказала она, меняя тон на другой, более искренний. — Я хочу, чтоб вы провели со мной день, и несколько дней до вашего отъезда, — продолжала она почти с грустью. — Не оставляйте меня, дайте побыть с вами… Вы скоро уедете — и никого около меня!..

— Я боюсь, Вера, что я совершенно бесполезен тебе, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступает или наступила катастрофа…

Она вздрогнула.

— Что ты? — заботливо спросил он.

— Свежо на дворе, плечи зябнут! — сказала она, пожимая плечами. — Какая драма! нездорова, невесела, осень на дворе, а осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже

улетают, — посмотрите, как журавли летят! — говорила она, указывая высоко над Волгой на кривую линию черных точек в воздухе. — Когда кругом всё делается мрачно, бледно, уныло, — и на душе становится уныло… Не правда ли?

Она сама знала, что его нелегко было обойти таким объяснением, и говорила так, чтоб не говорить правды.

Он молчал, стараясь отыскать другой, настоящий ключ.

— Вера, я хотел тебя спросить… — начал он.

— Что такое? — с беспокойством перебила она и, не дождавшись ответа, прибавила: — хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя несколько дней… Однако — что такое?

— О письмах, которые ты писала ко мне…

— Да: что же такое?

— Помнишь, ты писала, что разделяешь мой взгляд на честность…

Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.

— Да… да… как же, как же… писала… так что же?

Он глядел на нее пристально.

— Ты ли писала это письмо?

— Кто же? — вдруг сказала она с живостью, —

конечно я… Послушайте, — прибавила она потом, — оставим это объяснение, как я просила, до другого раза. Я больна, слаба… вы видели, какой припадок был у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что я писала, и как-нибудь перепутаю…

— Хорошо, пусть до другого раза! — со вздохом сказал он. — Скажи, по крайней мере, зачем я тебе? Зачем ты удерживаешь меня? Зачем хочешь, чтоб я остался, чтоб пробыл с тобой эти дни?

Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась к его плечу, умоляя глазами не спрашивать.

— Ведь не любишь же ты меня в самом деле. Ты знаешь, что я не верю твоей кокетливой игре, — и настолько уважаешь меня, что не станешь уверять серьезно… Я, когда не в горячке, вижу, что ты издеваешься надо мной: зачем и за что?

Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.

— По крайней мере, о себе я вправе спросить, зачем я тебе? Ты не можешь не видеть, как я весь истерзан, и страстью, и этим градом ударов сердцу, самолюбию…

— Да, самолюбию… — повторила она рассеянно.

— Положим, самолюбию, оставим спор о том,

что такое самолюбие и что — так называемое — сердце. Но ты должна сказать, зачем я тебе? Это мое право — спросить, и твой долг — отвечать прямо и откровенно, если не хочешь, чтоб я счел тебя фальшивой, злой…

Она шла с поникшей головой, а он ждал ответа.

— Оставим теперь это…

— И это оставим? Нет, не оставлю! — с вспыхнувшей злостью сказал он, вырвав у ней руку, — ты, как кошка с мышью, играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобного времени, даже вовсе о них не говорить: ты вправе, а о себе я требую немедленно ответа. Зачем я тебе? Какую ты роль дала мне и зачем, за что?

— Вы сами выбрали эту роль, брат… — кротко возразила она, склоняя лицо вниз. — Вы просили не удалять вас…

Он, в бессильной досаде на ее справедливый упрек, отшатнулся от нее в сторону и месил широкими шагами грязь по улице, а она шла по деревянному тротуару.

— Не сердитесь, брат, подите сюда! Я не за тем удержала вас, чтоб оскорблять — нет! — шептала она, призывая его к себе. — Подите сюда, ко мне.

Он опять подал ей руку.

— Я прошу вас только не говорить мне об этом теперь, не тревожить меня — чтоб со мной не случилось опять вчерашнего припадка!.. Вы видите, я едва держусь на ногах… Посмотрите на меня, возьмите мою руку…

Он взял руку — она была бледна, холодна, синие жилки на ней видны явственно. И шея, и талия стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвета и сквозилось грустью и слабостью. Он опять забыл о себе: ему стало жаль только ее.

— Я не хочу, чтоб дома заметили это… Я очень слаба… поберегите меня… — молила она, и даже слезы показались в глазах. — Защитите меня… от себя самой!.. Ужо, в сумерки, часов в шесть после обеда, зайдите ко мне — я… скажу вам, зачем я вас удержала…

— Виноват, Вера, я тоже сам не свой! — говорил он, глубоко тронутый ее горем, пожимая ей руку, — я вижу, что ты мучаешься — не знаю, чем… Но — я ничего не спрошу, я должен бы щадить твое горе — и не умею, потому что сам мучаюсь. Я приду ужо, располагай мною…

Она отвечала на его пожатие сильным пожатием руки.

— Скажу, если в силах буду сказать… — про-

шептала она.

У него замерло сердце от тоски и предчувствия.

Они прошли по лавкам. Вера делала покупки для себя и для Марфиньки, также развязно и словоохотливо разговаривая с купцами и с встречными знакомыми. С некоторыми даже останавливалась на улице и входила в мелочные, будничные подробности, зашла к какой-то своей крестнице, дочери бедной мещанки, которой отдала купленного на платье ей и малютке ситцу и одеяло. Потом охотно приняла предложение Райского навестить Козлова.

Когда они входили в ворота, из калитки вдруг вышел Марк. Увидя их, он едва кивнул Райскому, не отвечая на его вопрос: «Что Леонтий?» — и, почти не взглянув на Веру, бросился по переулку скорыми шагами.

Вера вдруг будто приросла на минуту к земле, но тотчас же оправилась и также скорыми шагами взбежала на крыльцо, опередив Райского.

— Что с ним? — спросил Райский, глядя вслед Марку, — не отвечал ни слова, и как бросился! Да и ты испугалась: не он ли уж это там стреляет?.. Я видал его там с ружьем… — добавил он шутя.

— Он самый! — сказала Вера развязно, не обо-

рачиваясь и входя в комнату Козлова.

«Нет, нет, — думал Райский, — оборванный, бродящий цыган — ее идол, нет, нет! Впрочем, почему “нет”? Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человеческим соображениям и уставам, а покоряет людей своим неизведанным капризам! Но Вере негде было сблизиться с Марком. Она боится его, как все здесь!»

Козлов по-вчерашнему ходил, пошатываясь, как пьяный, из угла в угол, угрюмо молчал с неблизкими и обнаруживал тоску только при Райском, слабел и падал духом, жалуясь тихим ропотом, и всё вслушивался в каждый проезжавший экипаж по улице, подходил к дверям в волнении и возвращался в отчаянии.

На приглашение Райского и Веры переехать к ним он молчал, едва вслушиваясь, или скажет:

— Да, да, только после, погодя недели две… три…

— После свадьбы Марфиньки, — сказала Вера.

— После свадьбы, после свадьбы! — подтвердил Леонтий. — Да, благодарю, а теперь я поживу здесь… Покорно благодарю…

Он вдруг взглянул на Веру и как будто удивился, видя ее.

— Вера Васильевна! — сказал он, глядя на нее

в смущении. — Борис Павлович, — начал он, продолжая глядеть на нее, — ты знаешь, кто еще читал твои книги и помогал мне разбирать их?..

— Кто? — спросил Райский.

Но Козлов уже был в другом углу комнаты и прислушивался. Потом вдруг отворил форточку и высунул голову.

— Чей это голос?.. женщины! — говорил он с испугом, навострив уши и открыв глаза.

— Ни-ток, ниток! холста! — доносился пронзительный женский крик издали. Козлов с досадой захлопнул форточку.

— Кто же читал книги? — повторил Райский.

Но Козлов не слыхал вопроса, сел на постель и повесил голову. Вера шепнула Райскому, что ей тяжело видеть Леонтья Ивановича, и они простились с ним.

— Я что-то хотел сказать тебе, Борис Павлович, — задумчиво говорил Козлов, — да вот забыл…

— Ты говорил, что книги мои читал еще кто-то…

— Да вот кто! — вдруг сказал Леонтий, указывая на Веру.

Райский взглянул на Веру, но она задумчиво смотрела в окно и тянула его за рукав.

— Пойдемте, пойдемте! — говорила она, порываясь на улицу.

Они воротились домой. Вера передала некоторые покупки бабушке, другие велела отнести к себе в комнату и позвала опять Райского гулять по роще, по полю и спуститься к Волге, на песок.

— Пойдемте туда! — говорила она, указывая какой-нибудь бугор, и, едва доходили они туда, она тащила его в другое место, или взглянуть с какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, где вязли ноги, чтоб подойти поближе к воде.

Она всматривалась вдаль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя дух и отряхивая пряди волос от лица.

— Зачем ты утомляешь себя, ты слаба, Вера? — сказал он.

— Мне всё будто пить хочется: я воздуха хочу! — говорила она, оборачиваясь лицом в ту сторону, откуда был ветер.

— Да, она перемогает себя, собирает последние силы! — шептал он, проводив ее, наконец, домой, где их ждали к обеду. — Ужо, ужо! — твердил он и ждал шести часов вечера, когда стемнеет.

После обеда он уснул в зале от усталости и

проснулся, когда только что пробило шесть часов и стало смеркаться.

Он пошел к Вере, но ее не было дома. Марина сказала, что барышня ко всенощной пошла, но только не знала, в какую церковь, в слободе или в деревенский приход, на гору.

В слободской церкви Райский пересмотрел всех и выучил наизусть физиономию каждой старухи, отыскивая Веру. Но ее не было, и он отправился на гору.

Там в церкви толпилось по углам и у дверей несколько стариков и старух. За колонной, в сумрачном углу, увидел он Веру, стоящую на коленях, с наклоненной головой, с накинутой на лицо вуалью.

Он стал сзади, за другой колонной.

Пока она молилась, он стоял, погруженный в мысль о ее положении, в чувство нежного сострадания к ней, особенно со времени его возвращения, когда в ней так заметно выказалось обессиление в тяжелой борьбе.

Видя это страдание только что расцветающей жизни, глядя, как мнет и жмет судьба молодое, виноватое только тем создание, что оно пожелало счастья, он про себя роптал на суровые, никого не щадящие законы бытия, налагающие тяжесть

креста и на плечи злодея, и на эту слабую, едва распустившуюся лилию.

«Хоть бы красоты ее пожалел… пожалела… пожалело… кто? зачем? за что?» — думал он и невольно поддавался мистическому влечению верить каким-то таинственным, подготовляемым в человеческой судьбе минутам, сближениям, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желание, нужное зачем-то, для цели, неведомой до поры до времени самому человеку, от которого только непреклонно требуется борьба.

В другие, напротив, минуты — казалось ему — являются также невидимо кем-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящие от какого-нибудь рокового события, шага или увлечения, перешагнув чрез которые, человек перешагнул глубокую пропасть, замечая ее уже тогда, когда она осталась позади.

Вглядываясь в ткань своей собственной и всякой другой жизни, глядя теперь в только что початую жизнь Веры, он яснее видел эту игру искусственных случайностей, какие-то блуждающие огни злых обманов, ослеплений, заранее расставленных пропастей, с промахами, ошибками, и рядом тоже будто случайные исходы из

запутанных узлов…

«Что делать? рваться из всех сил в этой борьбе с расставленными капканами и всё стремиться к чему-то прочному, безмятежно-покойному, к чему стремятся вон и те простые души?» Он оглянулся на молящихся стариков и старух. «Или бессмысленно купаться в мутных волнах этой бесцельно текущей жизни! Где же ключ к уразумению сознательного пути?»

Он взглянул на Веру: она не шевелилась в своей молитве и не сводила глаз с креста…

«Бедная!» — с грустью думал он, вышел и сел на паперть, в ожидании Веры.

Она молча подала ему руку. Они пошли с горы.

— Вы были в церкви? — спросила она.

— Да, был, — отвечал он.

Они тихо сошли с горы по деревне и по большой луговине к саду. Вера — склоня голову, он — думая об обещанном объяснении и ожидая его. Теперь желание выйти из омута неизвестности — для себя, и положить, одним прямым объяснением, конец собственной пытке, — отступило на второй план.

Он чувствовал, что на нем одном лежал долг стать подле нее, осветить ее путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узел или

перешагнуть пропасть и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, ум, сердце, всю силу.

Она и сама звала его за этим, в чем вполовину утром созналась, и если не созналась вполне, то, конечно, от свойственной ей осторожности, и, может быть, еще остаток гордости мешал ей признать себя побежденной.

Он рад броситься ей на помощь, но не знает ничего и даже не имеет права разделить ни с кем своих опасений.

Но если б даже она и возвратила ему его слово и он поверил бабушке все свои догадки и подозрения насчет Веры, повело ли бы это к желаемому исходу?

Едва ли. Вся практическая, но устаревшая мудрость бабушки разбилась бы об упрямство Веры, ум которой был смелее, воля живее, чем у Татьяны Марковны, и притом Вера развита.

Ей по плечу современные понятия, пробивающиеся в общественное сознание; очевидно, она черпнула где-то других идей, даже знаний, и стала неизмеримо выше круга, где жила. Как ни старалась она таиться, но по временам проговаривалась каким-нибудь нечаянно брошенным словом, именем авторитета в той или другой сфере знания.

И язык изменяет ей на каждом шагу; самый образ проявления самоволия мысли и чувства, — всё, что так неожиданно поразило его при первой встрече с ней, весь склад ума, наконец, характер, — всё давало ей такой перевес над бабушкой, что из усилия Татьяны Марковны — выручить Веру из какой-нибудь беды, не вышло бы ровно ничего.

Бабушка могла предостеречь Веру от какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее от болезни, от грубой обиды, вырвать, с опасностью собственной жизни, из огня: но что она сделает в такой неосязаемой беде, как страсть, если она есть у Веры?

Бабушка, бесспорно умная женщина, безошибочный знаток и судья крупных и общих явлений жизни, бойкая хозяйка, отлично управляет своим маленьким царством, знает людские нравы, пороки и добродетели, как они обозначены на скрижалях Моисея и в Евангелии.

Но едва ли она знает ту жизнь, где игра страстей усложняет людские отношения в такую мелкую ткань и окрашивает в такие цвета, какие и не снятся никому в мирных деревенских затишьях. Она — девушка!

Если в молодости любовь, страсть или что-

нибудь подобное и было известно ей, так это, конечно, страсть без опыта, какая-нибудь неразделенная или заглохшая от неудачи под гнетом любовь: не драма-любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся в ней одной и в ней угасшее и погребенное, не оставившее следа и не положившее ни одного рубца на ее ясной жизни.

Где же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполне и поверила бы страсти: ей надо факты.

Выстрелы на дне обрыва и прогулки туда Веры, конечно, факты, но бабушка против этих фактов и могла бы принять меры, то есть расставила бы домашнюю полицию с дубинами, подкараулила бы любовника и нанесла бы этим еще новый удар Вере.

Не пускать Веру из дому — значит обречь на заключение, то есть унизить, оскорбить ее, посягнув на ее свободу. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально да и физически невозможно.

Вера не вынесла бы грубой неволи и бежала бы от бабушки, как убегала за Волгу от него, Райского, словом — нет средств! Вера выросла из круга бабушкиной опытности и морали, думал он, и та только раздражит ее своими наставлениями

или, пожалуй, опять заговорит о какой-нибудь Кунигунде — и насмешит. А Вера потеряет и последнюю искру доверия к ней.

Нет, отжил этот авторитет: он годился для Марфиньки, а не для независимой, умной и развитой Веры.

Средство или ключ к ее горю, если и есть, — в руках самой Веры, но она никому не вверяет его, и едва теперь только, когда силы изменяют, она обронит намек, слово и опять в испуге отнимет и спрячется. Очевидно — она не в силах одна рассечь своего гордиева узла, а гордость или привычка жить своими силами — хоть погибать, да жить ими — мешает ей высказаться!

Он думал всё это, идучи молча подле нее и не зная, как вызвать ее на полную откровенность — не для себя уже теперь, а для ее спасения. Наконец он решил подойти стороной: нельзя ли ему самому угадать что-нибудь из ее ответов на некоторые прежние свои вопросы, поймать имя, остановить ее на нем и облегчить ей признание, которое самой ей сделать, по-видимому, было трудно, хотя и хотелось и даже обещала она сделать, да не может. Надо помочь ей хитростью. Она теперь расстроена и — может быть — оплошает и обмолвится.

Он вспомнил, как напрасно добивался он от нее источника ее развития, расспрашивая о ее воспитании, о том, кто мог иметь на нее влияние, откуда она почерпнула этот смелый и свободный образ мысли, некоторые знания, уверенность в себе, самообладание. Не у француженки же в пансионе! Кто был ее руководителем, собеседником, когда кругом никого нет?

Так думал он подвести ее к признанию.

— Послушай, Вера, я хотел у тебя кое-что спросить, — начал он равнодушным голосом, — сегодня Леонтий упомянул, что ты читала книги в моей библиотеке, а ты никогда ни слова мне о них не говорила. Правда это?

— Да, некоторые читала. Что ж?

— С кем же читала, с Козловым?

— Иные — да. Он объяснял мне содержание некоторых писателей. Других я читала одна или со священником, мужем Наташи…

— Какие же книги ты читала с священником?

— Теперь я не помню… Святых отцов, например. Он нам с Наташей объяснял, и я многим ему обязана… Спинозу читали с ним… Вольтера…

Райский засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросила она.

— Какой переход от святых отцов к Спинозе и

Вольтеру! Там в библиотеке все энциклопедисты есть. Ужели ты их читала?

— Нет: куда же всех! Николай Иванович читал кое-что и передавал нам с Наташей…

— Как это вы до Фейербаха с братией не дошли… до социалистов и материалистов!..

— Дошли! — с слабой улыбкой сказала она, — опять-таки не мы с Наташей, а муж ее. Он просил нас выписывать места, отмечал карандашом…

— Зачем?

— Хотел, кажется, возражать и напечатать в журнале, не знаю…

— В библиотеке моего отца нет этих новых книг: где же вы взяли их? — с живостью спросил Райский и навострил ухо.

Она молчала.

— Уж не у того ли изгнанника, находящегося под присмотром полиции, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о нем?..

Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.

— Вера, ты не слушаешь?

— А? нет, я слышу… — очнувшись сказала она, — где я брала книги? Тут… в городе, то у того, то у другого…

— Волохов раздавал эти же книги… — заметил он.

— Может быть, и он… Я у учителей брала…

«Не учитель ли какой-нибудь, вроде m-r Шарля?» — сверкнуло у него в уме.

— Что же Николай Иванович говорит о Спинозе и об этих всех авторах?

— Много: всего не припомнишь…

— Например? — добивался Райский.

— Он говорит, что это «попытки гордых умов уйти в сторону от истины», вот как эти дорожки бегут в сторону от большой дороги и опять сливаются с ней же…

— Еще что?

— Еще? — что еще? Теперь забыла. Говорит, что все эти «попытки служат истине, очищают ее, как огнем, что это неизбежная борьба, без которой победа и царство истины не было бы прочно…» И мало ли что он еще говорил!..

— А где «истина»? он не отвечал на этот Пилатов вопрос?

— Вон там, — сказала она, указывая назад на церковь, — где мы сейчас были!.. Я это до него знала…

— Ты думаешь, что он прав?.. — спросил он, стараясь хоть мельком заглянуть ей в душу.

— Я не думаю, а верю, что он прав. А вы? — повернувшись к нему, спросила она с живостью.

Он утвердительно наклонил голову.

— Зачем же меня спрашиваете?

— Есть неверующие: я хотел знать твое мнение…

— Я в этом, кажется, не скрывалась от вас: вы часто видите мою молитву…

— Да, но я желал бы слышать ее. Скажи, о чем ты молишься, Вера?

— О неверующих… — тихо сказала она.

— А я думал — о своей тревоге, об этой буре…

— Да… в этом — и моя тревога, и моя буря!.. — шептала она. Он не слыхал.

Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась перед ней. Там было темно. Она, с медленным, затаенным вздохом, пошла дальше, к саду, и шла всё тише и тише. Дойдя до старого дома, она остановилась и знаком головы подозвала к себе Райского.

— Послушайте, что я вам скажу… — тихо и нерешительно начала она, как будто преодолевая себя.

— Говори, Вера…

— Вы сказали… — еще тише начала она, — что самое верное средство против… «бури»… это не ходить туда…

Она показала к обрыву.

— Да, вернее этого нет.

— Я хотела просить вас…

Она остановилась, держа его за борт пальто.

— Я жду, Вера, — шептал и он, с легкой дрожью нетерпения и, может быть, тяжелого предчувствия. — Вчера я ждал только для себя, чтоб унять боль; теперь я жду для тебя, чтоб помочь тебе — или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узел, может быть, спасти тебя…

— Да, помогите… — сказала она, отирая платком выступившие слезы, — я так слаба… нездорова… сил у меня нет…

— Не поможет ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вера; она женщина, и твое горе, может быть, знакомо ей…

Вера, зажав глаза платком, отрицательно качала головой.

— Нет, она не такая… она ничего этого не знала…

— Что же я могу сделать?.. скажи всё…

— Не спрашивайте меня, брат. Я не могу сказать всего. Сказала бы всё, и бабушке, и вам… и скажу когда-нибудь… когда пройдет… а теперь пока не могу…

— Как же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мне, и тогда

простой анализ чужого ума разъяснит тебе твои сомнения, удалит, может быть, затруднения, выведет на дорогу… Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положение, и уже от одного сознания становится легче. Ты сама не можешь: дай мне взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного…

— Никакие умы, никакой анализ — не выведут на дорогу, следовательно и говорить бесполезно! — почти с отчаянием сказала она.

— Как же я могу помочь тебе?

Она близко глядела ему в глаза глазами, полными слез.

— Не покидайте меня, не теряйте из вида, — шептала она. — Если услышите… выстрел оттуда… (она показала на обрыв) — будьте подле меня… не пускайте меня — заприте, если нужно, удержите силой… Вот до чего я дошла! — с ужасом сама прошептала она, закинув голову назад в отчаянии, как будто удерживала стон, и вдруг выпрямилась. — Потом… — тихо начала опять, — никогда об этом никому не поминайте, даже мне самой! Вот всё, что вы можете сделать для меня: за этим я удержала вас! Я жалкая эгоистка: не дала вам уехать! Я чувствовала, что слабею… У меня никого нет, бабушка не поняла бы… Вы

один… Простите меня!

— Ты хорошо сделала… — с жаром сказал он. — Ради Бога, располагай мною — я теперь всё понял и готов навсегда здесь остаться, лишь бы ты успокоилась…

— Нет: через неделю выстрелы прекратятся навсегда… — прибавила она, отирая платком слезы.

Она сжала обе его руки и, не оглядываясь, ушла к себе, взбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.

X

Прошло два дня. По утрам Райский не видал почти Веру наедине. Она приходила обедать, пила вечером вместе со всеми чай, говорила об обыкновенных предметах, иногда только казалась утомленною.

Райский по утрам опять начал вносить заметки в программу своего романа, потом шел навещать Козлова, заходил на минуту к губернатору и еще к двум-трем лицам в городе, с которыми успел покороче познакомиться. А вечер проводил в саду, стараясь не терять из вида Веры, по ее просьбе, и прислушиваясь к каждому звуку в роще.

Он сидел на скамье у обрыва, ходил по аллеям, и только к полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожидание выстрела. Он почти желал его, надеясь, что своею помощью сразу навсегда отведет Веру от какой-то беды.

Но вот два дня прошли тихо; до конца назначенного срока, до недели, было еще пять дней. Райский рассчитывал, что в день рождения Марфиньки, послезавтра, Вере неловко будет оставить семейный круг, а потом, когда Марфинька на другой день уедет с женихом и с его

матерью за Волгу, в Колчино, ей опять неловко будет оставлять бабушку одну — и таким образом неделя пройдет, а с ней минует и туча. Вера за обедом просила его зайти к ней вечером, сказавши, что даст ему поручение.

Она выходила гулять, когда он пришел. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы видимо упали, движения были вялы, походка медленна. Он взял ее под руку, и так как она направлялась из сада к полю, он думал, что она идет к часовне, повел ее по лугу и по дорожке туда.

Она молча шла за ним, в глубокой задумчивости, от которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядела на задумчивый лик Спасителя.

— Мне кажется, Вера, у тебя есть помощь сильнее моей: и ты напрасно надеялась на меня. Ты и без меня не пойдешь туда… — тихо говорил он, стоя на пороге часовни.

Она сделала утвердительный знак головой, и сама, кажется, во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взгляд этот, как всегда, задумчиво-покойно, как будто безучастно смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее… Она вздохнула.

— Не пойду! — подтвердила она тихо, отводя

глаза от образа.

Райский не прочел на ее лице ни молитвы, ни желания. Оно было подернуто задумчивым выражением усталости, равнодушия, а может быть, и тихой покорности.

— Пойдем домой: ты легко одета, — сказал он.

Она повиновалась.

— А что же поручение — какое? — спросил он.

— Да, — припомнила она и достала из кармана портмоне. — Возьмите у золотых дел мастера Шмита porte-bouquet.[143] Я еще на той неделе выбрала подарить Марфиньке в день рождения, — только велела вставить несколько жемчужин, из своих собственных, и вырезать ее имя. Вот деньги.

Он спрятал деньги.

— Это не всё. В самый день ее рождения, послезавтра, пораньше утром… Вы можете встать часов в восемь?..

— Еще бы! я, пожалуй, и спать не лягу совсем…

— Зайдите вот сюда — знаете большой сад — в оранжерею, к садовнику. Я уж говорила ему: выберите понаряднее букет цветов и пришлите мне, пока Марфинька не проснулась… Я полагаюсь

---

[143] Примечания: 143
подставку для букета (*фр.*)

на ваш вкус…

— Вот как! я делаю успехи в твоем доверии, Вера! — сказал, смеясь, Райский, — вкусу моему веришь и честности, даже деньги не боялась отдать…

— Я сделала бы это всё сама, да не могу… сил нет… устаю! — прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Он на другой день утром взял у Шмита porte-bouquet и обдумывал, из каких цветов должен быть составлен букет для Марфиньки. Одних цветов нельзя было найти в позднюю пору, другие не годились.

Потом он выбрал дамские часы с эмалевой доской, с цепочкой, подарить от себя Марфиньке и для этого зашел к Титу Никонычу и занял у него двести рублей до завтра, чтобы не воевать с бабушкой, которая без боя не дала бы ему промотать столько на подарок и, кроме того, пожалуй, выдала бы заранее его секрет.

У Тита Никоныча он увидел роскошный дамский туалет, обшитый розовой кисеей и кружевами, с зеркалом, увитым фарфоровой гирляндой из амуров и цветов, артистической, тонкой работы, с Севрской фабрики.

— Что это? Где вы взяли такую драгоцен-

ность? — говорил он, рассматривая группы амуров, цветы, краски, — и не мог отвести глаз. — Какая прелесть!

— Марфе Васильевне! — любезно улыбаясь, говорил Тит Никоныч, — я очень счастлив, что вам нравится, — вы знаток. Ваш вкус мне порукой, что этот подарок будет благосклонно принят дорогой новорожденной к ее свадьбе. Какая отменная девица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ее живое подобие. Она будет видеть в зеркале свое пленительное личико, а купидоны ей будут улыбаться…

— Где вы достали такую редкость?

— До завтра прошу у вас секрета от Татьяны Марковны и от Марфы Васильевны тоже! — сказал Тит Никоныч.

— Ведь это больше тысячи рублей надо заплатить! И где здесь достать?..

— Пять тысяч рублей ассигнациями мой дед заплатил в приданое моей родительнице. Это хранилось до сих пор в моей вотчине, в спальне покойницы. Я в прошедшем месяце под секретом велел доставить сюда; на руках несли полтораста верст, шесть человек попеременно, чтоб не разбилось. Я только новую кисею велел сделать, а кружева — тоже старинные: изволите видеть

— пожелтели. Это очень ценится дамами, тогда как… — добавил он с усмешкой, — в наших глазах не имеет никакой цены.

— Что бабушка скажет? — заметил Райский.

— Без грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но, может быть, по своей доброте, простит меня. Позволяю себе вам открыть, что я люблю обеих девиц, как родных дочерей, — прибавил он нежно, — обеих на коленях качал, грамоте вместе с Татьяной Марковной обучал; это — как моя семья. Не измените мне, — шепнул он, — скажу конфиденциально, что и Вере Васильевне в одинаковой мере я взял смелость изготовить в свое время, при ее замужестве, равный этому подарок, который, смею думать, она благосклонно примет…

Он показал Райскому массивный серебряный столовый сервиз на двенадцать человек, старой и тоже артистической отделки.

— Вам, как брату и другу ее, открою, — шептал он, — что я, вместе с Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партии, коей она вполне достойна: мы замечаем, — еще тише зашептал он, — что достойнейший во всех отношениях кавалер, Иван Иванович Тушин — без ума от нее — как и следует быть…

Райский вздохнул и вернулся домой. Он нашел

там Викентьева с матерью, которая приехала из-за Волги к дню рождения Марфиньки, Полину Карповну, двух-трех гостей из города и — Опенкина.

Последний разливал волны семинарского красноречия, переходя нередко в плаксивый тон и обращая к Марфиньке пожелания по случаю предстоящего брака.

Бабушка не решилась оставить его к обеду при «хороших гостях» и поручила Викентьеву напоить за завтраком, что тот и исполнил отчетливо, так что к трем часам Опенкин был «готов» совсем и спал крепким сном в пустой зале старого дома.

Гости часов в семь разъехались. Бабушка с матерью жениха зарылись совсем в приданое и вели нескончаемый разговор в кабинете Татьяны Марковны.

А жених с невестой, обежав раз пять сад и рощу, ушли в деревню. Викентьев нес за Марфинькой целый узел, который, пока они шли по полю, он кидал вверх и ловил на лету.

Марфинька обошла каждую избу, прощалась с бабами, ласкала ребятишек, двум из них вымыла рожицы, некоторым матерям дала ситцу на рубашонки детям да двум девочкам постарше на платья и две пары башмаков, сказав, чтоб не

смели ходить босоногие по лужам.

Полоумной Агашке дала какую-то изношенную душегрейку, которую выпросила в дворне у Улиты, обещаясь, по возвращении, сделать ей новую, настрого приказав Агашке не ходить в одном платье по осеннему холоду, и сказала, что пришлет «коты» носить в слякоть.

Безногому старику Силычу оставила рубль медными деньгами, которые тот жадно подобрал, когда Викентьев, с грохотом и хохотом, выворачивая карманы, выбросил их на лавку.

Силыч, дрожащими от жадности руками, начал завертывать их в какие-то хлопки и тряпки, прятал в карманы, даже взял один пятак в рот.

Но Марфинька погрозила, что отнимет деньги и никогда не придет больше, если он станет прятать их, а сам выпрашивать луковицу на обед и просить на паперти милостыню.

— Красавица ты наша, Божий ангел, награди тебя Господь! — провожали ее бабы с каждого двора, когда она прощалась с ними недели на две.

А мужики ласково и лукаво улыбались молча: «Балует барышня, — как будто думали они, — с ребятишками, да с бабами возится! ишь какой пустяк носит им! Почто это нашим бабам и ребятишкам?» И небрежно рассматривали ситцевую

рубашонку, какой-нибудь поясок или маленькие башмаки.

XI

Вечером новый дом сиял огнями. Бабушка не знала, как угостить свою гостью и будущую родню.

Она воздвигла ей парадную постель в гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалк. Марфинька, в своих двух комнатах, целый вечер играла, пела с Викентьевым — наконец они затихли за чтением какой-то новой повести, беспрестанно прерываемом замечаниями Викентьева, его шалостями и резвостью.

Только окна Райского не были освещены. Он ушел тотчас после обеда и не возвращался к чаю.

Луна освещала новый дом, а старый прятался в тени. На дворе, в кухне, в людских долее обыкновенного не ложились спать люди, у которых в гостях были приехавшие с барыней Викентьевой из-за Волги кучер и лакей.

На кухне долго не гасили огня, готовили ужин и отчасти завтрашний обед.

Вера с семи часов вечера сидела в бездействии, сначала в сумерках, потом при слабом огне одной свечи, облокотясь на стол и положив на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала

листы лежавшей перед ней книги, в которую не смотрела.

Глаза ее устремлены были куда-то далеко от книги. На плеча накинут был большой шерстяной платок, защищавший ее от свежего осеннего воздуха, который в открытое окно наполнял комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рам и подолгу оставляла окно открытым.

Спустя полчаса она медленно встала, положила книгу в стол, подошла к окну и оперлась на локти, глядя на небо, на новый светившийся огнями через все окна дом, прислушиваясь к шагам ходивших по двору людей, потом выпрямилась и вздрогнула от холода.

Она стала закрывать окно, и только затворила одну половину, как среди тишины грянул под горой выстрел.

Она вздрогнула, быстро опустилась на стул и опустила голову. Потом встала, глядя вокруг себя, меняясь в лице, шагнула к столу, где стояла свеча, и остановилась.

В глазах был испуг и тревога. Она несколько раз трогала лоб рукой и села было к столу, но в ту же минуту встала опять, быстро сдернула с плеч платок и бросила в угол за занавес, на постель, еще быстрее отворила шкаф, затворила опять,

ища чего-то глазами по стульям, на диване — и не найдя, что ей нужно, села на стул, по-видимому, в изнеможении.

Наконец глаза ее остановились на висевшей на спинке стула пуховой косынке, подаренной Титом Никонычем. Она бросилась к ней, стала торопливо надевать одной рукой на голову, другой в ту же минуту отворяла шкаф и доставала оттуда с вешалок, с лихорадочной дрожью, то то, то другое пальто.

Мельком взглянув на пальто, попавшееся ей в руку, она с досадой бросала его на пол и хватала другое, бросала опять попавшееся платье, другое, третье и искала чего-то, перебирая одно за другим всё, что висело в шкафе, и в то же время стараясь рукой завязать косынку на голове.

Наконец бросилась к свечке, схватила ее и осветила шкаф. Там, с ожесточенным нетерпением, взяла она мантилью на белом пуху, еще другую, черную, шелковую, накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросив пуховую косынку прочь.

Не затворив шкафа, она перешагнула через кучу брошенного на пол платья, задула свечку и, скользнув из двери, не заперев ее, как мышь, неслышными шагами спустилась с лестницы.

Она прокралась к окраине двора, закрытой тенью, и вошла в темную аллею. Она не шагала, а неслась; едва мелькал темный ее силуэт, где нужно было перебежать светлое пространство, так что луна будто не успевала осветить ее.

Она, миновав аллею, умерила шаг и остановилась на минуту перевести дух у канавы, отделявшей сад от рощи. Потом перешла канаву, вошла в кусты, мимо своей любимой скамьи, и подошла к обрыву. Она подобрала обеими руками платье, чтоб спуститься…

Перед ней, как из земли, вырос Райский и стал между ею и обрывом. Она окаменела на месте.

— Куда, Вера? — спросил он.

Она молчала.

— Пойдем назад!

Он взял ее за руку. Она не дала руки и хотела миновать его.

— Вера: куда, зачем?

— Туда… в последний раз: свидание необходимо — проститься… — шептала она со стыдом и мольбой. — Пустите меня, брат… Я сейчас вернусь, а вы подождите меня… одну минуту… Посидите вот здесь, на скамье…

Он молча, крепко взял ее за руку и не выпускал.

— Пустите, мне больно! — шептала она, ломая его и свою руку.

Он не пускал. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!.. — говорила она, сжимая зубы и с неестественной силой вырывая руку, наконец вырвала и метнулась было в сторону, мимо его.

Он удержал ее за талию, подвел к скамье, посадил и сел подле нее.

— Как это грубо, дико! — с тоской и злостью сказала она, отворачиваясь от него почти с отвращением.

— Не этой силой хотел бы я удержать тебя, Вера!

— От чего удержать? — спросила она почти грубо.

— Может быть — от гибели…

— Разве можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь…

— А если я хочу гибнуть?

Он молчал.

— И никакой гибели нет: мне нужно видеться, чтоб… расстаться…

— Чтоб расстаться — не надо видеться…

— Надо — и я увижусь! часом или днем позже — всё равно. Всю дворню, весь город зовите, хоть

роту солдат: ничем не удержите!

Она откинула черную мантилью с головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрел повторился. Она рванулась, но две сильные руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрела на Райского с ног до головы и тряхнула головой от ярости.

— Какой же награды потребуете вы от меня за этот добродетельный подвиг? — шипела она.

Он молчал и исподлобья стерег ее движения. Она с злостью засмеялась.

— Пустите! — сказала она мягко, немного погодя.

Он покачал отрицательно головой.

— Брат! — заговорила она через минуту нежно, кладя ему руку на плечо, — если когда-нибудь вы горели, как на угольях, умирали сто раз в одну минуту от страха, от нетерпения… когда счастье просится в руки и ускользает… и ваша душа просится вслед за ним… Припомните такую минуту… когда у вас оставалась одна последняя надежда… искра… Вот это — моя минута! Она пройдет — и всё пройдет с ней…

— И слава Богу, Вера! Опомнись, приди в себя немного: ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просят льду — им не

дают. Вчера, в трезвый час, ты сама предвидела это и указала мне простое и самое действительное средство — не пускать тебя — и я не пущу…

Она стала на колени подле него.

— Не заставьте меня проклинать вас всю жизнь потом! — умоляла она. — Может быть, там меня ждет сама судьба…

— Твоя судьба — вон там: я видел, где ты вчера искала ее, Вера. Ты веришь в провидение, другой судьбы нет…

Она вдруг смолкла и поникла головой.

— Да, — сказала она покорно, — да, вы правы, я верю… Но я там допрашивалась искры, чтоб осветить мой путь, — и не допросилась. Что мне делать? — я не знаю…

Она вздохнула и медленно встала с колен.

— Не ходи! — говорил он.

— Именем той судьбы, в которую верю, я искала счастья! Может быть, она и посылает меня теперь туда… может быть… я необходима там! — продолжала она, выпрямившись и сделав шаг к обрыву. — Что бы ни было, не держите меня долее, я решилась. Я чувствую, моя слабость миновала. Я владею собой, я опять сильна! Там решится не моя одна судьба, но и другого человека. На вас ляжет ответственность за эту пропасть,

которую вы роете между ним и мною. Я не утешусь никогда, буду вас считать виновником несчастья всей моей жизни… и его жизни! Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбие без прав, зависть — помешали моему счастью и что вы лгали, когда проповедовали свободу…

Он поколебался и отступил от нее на шаг.

— Это голос страсти, со всеми ее софизмами и изворотами! — сказал он, вдруг опомнившись. — Вера, ты теперь в положении иезуита. Вспомни, как ты просила вчера, после своей молитвы, не пускать тебя!.. А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступил тебе, на кого тогда падет ответственность?

Она опять упала духом и уныло склонила голову.

— Кто он, скажи? — шепнул он.

— Если скажу — вы не удержите меня? — вдруг спросила она с живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться, — и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему в глаза.

— Не знаю, может быть…

— Нет, дайте слово, что не удержите, — и я назову…

Он колебался.

В эту минуту раздался третий выстрел. Она рванулась, но он успел удержать ее за руку.

— Пойдем, Вера, домой, к бабушке сейчас! — говорил он настойчиво, почти повелительно. — Открой ей всё…

Но она, вместо ответа, начала биться у него в руках, вырываясь, падая, вставая опять.

— Если… вам было когда-нибудь хорошо в жизни, то пустите!.. Вы говорили: «Люби, страсть прекрасна!» — задыхаясь от волнения, говорила она и порывалась у него из рук, — вспомните… и дайте мне еще одну такую минуту, один вечер… «Христа ради!» — шептала она, протягивая руку, — вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять вас… я не отказала… помните? Подайте и мне эту милостыню!.. Я никогда не упрекну вас… никогда… вы сделали всё — мать не могла бы сделать больше — но теперь оставьте меня — я должна быть свободна!.. И вот, пусть Тот, кому мы молились вчера, будет свидетелем, что это последний вечер… последний! Я никогда не пойду с обрыва больше: верьте мне — я этой клятвы не нарушу! Подождите меня здесь, я сейчас вернусь, только скажу слово…

Он выпустил ее руку.

— Что ты говоришь, Вера! — шептал он в ужасе, — ты не помнишь себя. Куда ты?

— Туда… взглянуть один раз… на «волка»… проститься… услышать его… может быть… он уступит…

Она бросилась к обрыву, но упала, торопясь уйти, чтоб он не удержал ее, хотела встать и не могла.

Она протягивала руку к обрыву, глядя умоляющими глазами на Райского.

Он собрал нечеловеческие силы, задушил вопль собственной муки, поднял ее на руки.

— Ты упадешь с обрыва, там круто… — шепнул он, — я тебе помогу…

Он почти снес ее с крутизны и поставил на отлогом месте, на дорожке. У него дрожали руки, он был бледен.

Она быстро обернулась к нему, обдала его всего широким взглядом исступленного удивления, благодарности, вдруг опустилась на колени, схватила его руку и крепко прижала к губам…

— Брат! вы великодушны, Вера не забудет этого! — сказала она и, взвизгнув от радости, как освобожденная из клетки птица, бросилась в кусты.

Он сел на том месте, где стоял, и с ужасом слу-

шал шум раздвигаемых ею ветвей и треск сухих прутьев под ногами.

XII

В полуразвалившейся беседке ждал Марк. На столе лежало ружье и фуражка. Сам он ходил взад и вперед по нескольким уцелевшим доскам. Когда он ступал на один конец доски, другой привскакивал и падал со стуком.

— О, чертова музыка! — с досадой на этот стук сказал он и сел на одну из скамей близ стола, положил локти на стол и впустил обе руки в густые волосы.

Он курил папироску за папироской. Зажигая спичку, он освещал себя. Он был бледен и казался взволнованным или озлобленным.

После каждого выстрела он прислушивался несколько минут, потом шел по тропинке, приглядываясь к кустам, по-видимому, ожидая Веру. И когда ожидания его не сбывались, он возвращался в беседку и начинал ходить под «чертову музыку», опять бросался на скамью, впуская пальцы в волосы, или ложился на одну из скамей, кладя, по-американски, ноги на стол.

После третьего выстрела он прислушался минут семь, но не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту как будто постарел, медленно взял

ружье и нехотя пошел по дорожке, по-видимому, с намерением уйти, но замедлял, однако, шаг, точно затрудняясь идти в темноте. Наконец пошел решительным шагом — и вдруг столкнулся с Верой.

Она остановилась и приложила руку к сердцу, с трудом переводя дух.

Он взял ее за руку — и в ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться от скорой ходьбы и от борьбы с Райским, а он, казалось, не мог одолеть в себе сильно охватившего его чувства — радости исполнившегося ожидания.

— Еще недавно, Вера, вы были так аккуратны: мне не приходилось тратить пороху на три выстрела… — сказал он.

— Упрек — вместо радости! — отвечала она, вырывая у него руку.

— Это я — так только, чтоб начать разговор; а сам одурел совсем от счастья, как Райский…

— Не похоже! Если б было так, мы не виделись бы украдкой, в обрыве… Боже мой!

Она перевела дух.

— А сидели бы рядком там у бабушки, за чайным столом, и ждали бы, когда нас обвенчают!

— Так что же?

— Что напрасно мечтать о том, что невозмож-

но! Ведь бабушка не отдала бы за меня…

— Отдала бы: она сделает, что я хочу. У вас только это препятствие?

— Мы опять заводим эту нескончаемую полемику, Вера! Мы сошлись в последний раз сегодня — вы сами говорите. Надо же кончить как-нибудь эту томительную пытку и сойти с горячих угольев!

— Да, в последний раз… Я клятву дала, что больше здесь никогда не буду!

— Стало быть, время дорого. Мы разойдемся навсегда, если… глупость, то есть бабушкины убеждения, разведут нас. Я уеду через неделю: разрешение получено, вы знаете. Или уж сойдемся и не разойдемся больше…

— Никогда? — тихо спросила она.

Он сделал движение нетерпения.

— Никогда! — повторил он с досадой, — какая ложь в этих словах: «никогда», «всегда»!.. Конечно «никогда»: год, может быть, два… три… Разве это не — «никогда»? Вы хотите бессрочного чувства? Да разве оно есть? Вы пересчитайте всех ваших голубей и голубок: ведь никто бессрочно не любит. Загляните в их гнезда — что там? Сделают свое дело, выведут детей, а потом воротят носы в разные стороны. А только от тупоумия сидят

вместе…

— Довольно, Марк, я тоже утомлена этой теорией о любви на срок! — с нетерпением перебила она. — Я очень несчастлива: у меня не одна эта туча на душе — разлука с вами! Вот уж год я скрытничаю с бабушкой — и это убивает меня, и ее еще больше: я вижу это. Я думала, что на днях эта пытка кончится: сегодня-завтра, мы наконец выскажемся вполне: искренно объявим друг другу свои мысли, надежды, цели… и…

— Что потом? — спросил он, слушая внимательно.

— Потом я пойду к бабушке и скажу ей: вот кого я выбрала… на всю жизнь. Но… кажется… этого не будет… мы напрасно видимся сегодня: мы должны разойтись! — с глубоким унынием, шепотом досказала она и поникла головой.

— Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вера: тогда — на всю жизнь. Вон и этот седой мечтатель, Райский, думает, что женщины созданы для какой-то высшей цели…

— Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так — но и не звери! Я не волчица, а женщина!

— Ну пусть для семьи: что же? В чем тут помеха нам? Надо кормить и воспитать детей? Это уже не

любовь, а особая забота, дело нянек, старых баб! Вы хотите драпировки: все эти чувства, симпатии и прочее — только драпировка, те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю…

— Да, люди! — сказала она.

Он усмехнулся и пожал плечами.

— Пусть драпировка, — продолжала Вера, — но ведь и она, по вашему же учению, дана природой, а вы хотите ее снять. Если так, зачем вы упорно привязались ко мне, говорите, что любите, — вон изменились, похудели?.. Не всё ли вам равно, с вашими понятиями о любви, найти себе подругу там в слободе или за Волгой в деревне? Что заставляет вас ходить целый год сюда, под гору?

Он нахмурился.

— Видите свою ошибку, Вера: «с понятиями о любви», говорите вы, а дело в том, что любовь не понятие, а влечение, потребность, оттого она большею частию и слепа. Но я привязан к вам не слепо. Ваша красота, и довольно редкая, — в этом Райский прав — да ум, да свобода понятий — и держат меня в плену долее, нежели со всякой другой!

— Очень лестно! — сказала она тихо.

— Эти «понятия» вас губят, Вера. Не будь их, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы…

— На время, а потом — явится новое увлечение, уступить ему — и так далее?..

Он пожал плечами.

— Не мы виноваты в этом, а природа! И хорошо сделала. Иначе, если останавливаться над всеми явлениями жизни подолгу, — значит надевать путы на ноги… значит жить «понятиями»… Природу не переделаешь!

— Понятия эти — правила! — доказывала она. — У природы есть свои законы, вы же учили: а у людей правила!

— Вот где мертвечина и есть, что из природного влечения делают правила и сковывают себя по рукам и ногам. Любовь — счастье, данное человеку природой… Это мое мнение…

— Счастье это ведет за собой долг, — сказала она, встав со скамьи, — это мое мнение…

— Это выдумка, сочинение, Вера, поймите хаос ваших «правил» и «понятий»! Забудьте эти «долги» и согласитесь, что любовь прежде всего — влечение… иногда неодолимое…

Он тоже встал и обнял ее за талию.

— Так ли? С этим трудно не согласиться, упрямая… красавица, умница!.. — нежно шептал он.

Она тихо освободила талию от его рук.

— А то выдумали — «долг»!

— Долг, — повторила она настойчиво, — за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь.

— Чем это — позвольте спросить? Варить суп, ходить друг за другом, сидеть с глазу на глаз, притворяться, вянуть на «правилах» да на «долге» около какой-нибудь щедушной, слабонервной подруги или разбитого параличом старика, когда силы у одного еще крепки, жизнь зовет, тянет дальше!.. Так, что ли?

— Да — удержаться, не смотреть туда, куда «тянет»! Тогда не надо будет и притворяться, а просто воздерживаться, «как от рюмки», говорит бабушка, и это правда… Так я понимаю счастье и так желаю его!

— Ну, дело плохо, когда дошло до цитат бабушкиной мудрости. Вы похвастайтесь ей: скажите, как крепки ее правила в вас…

— Нечем хвастаться! — уныло говорила она, — да, сегодня, отсюда, я пойду к ней и… «похвастаюсь»!

— Что же вы ей скажете?

— Всё, что было здесь… чего она не знает…

Она села на скамью и, облокотившись на стол, склонила лицо на руки и задумалась.

— Зачем? — спросил он.

— Вы не поймете зачем, потому что не допускаете долга… А я давно в долгу перед ней…

— Всё это мораль, подергивающая жизнь плесенью, скукой!.. Вера, Вера — не любите вы, не умеете любить…

Она вдруг подошла к нему и с упреком взглянула ему в лицо.

— Не говорите этого, Марк, если не хотите привести меня в отчаяние! Я сочту это притворством, желанием увлечь меня без любви, обмануть…

И он встал со скамьи.

— Не говорите и вы этого, Вера. Не стал бы я тут слушать и читать лекции о любви! И если б хотел обмануть, то обманул бы давно — стало быть, не могу…

— Боже мой! Из чего вы бьетесь, Марк? Как уродуете свою жизнь! — сказала она, всплеснув руками.

— Послушайте, Вера, оставим спор. Вашими устами говорит та же бабушка, только, конечно, иначе, другим языком. Всё это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу…

— Правда — где она? скажите наконец!.. Не позади ли нас? Чего вы ищете?

— Счастья! я вас люблю! Зачем вы томите меня, зачем боретесь со мной и с собой и делаете две жертвы?

Она пожала плечами.

— Странные упреки! Поглядите на меня хорошенько — мы несколько дней не виделись: какова я? — сказала она.

— Я вижу, что вы страдаете, и тем это нелепее! Теперь и я спрошу: зачем вы ходили и ходите сюда?

Она почти враждебно посмотрела на него.

— Зачем я не раньше почувствовала… ужас своего положения — хотите вы спросить? Да, этот вопрос и упрек давно мы должны бы были сделать себе оба и тогда, ответив на него искренно друг другу и самим себе, не ходили бы больше! Поздно!.. — шептала она задумчиво, — впрочем, лучше поздно, чем никогда! Мы сегодня должны один другому ответить на вопрос: чего мы хотели и ждали друг от друга?..

— Позвольте же мне высказаться решительно! — начал он. — Я хочу вашей любви и отдаю вам свою, вот одно «правило» в любви — правило свободного размена, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным

счастьем — вот «долг и закон», который я признаю, — и вот мой ответ на вопрос, «зачем я хожу?» Жертв надо? И жертвы есть, — по мне это не жертвы, но я назову вашим именем: я останусь еще в этом болоте, не знаю сколько времени, буду тратить силы вот тут — но не для вас, а прежде всего для себя, потому что в настоящее время это стало моей жизнью, — и я буду жить, пока буду счастлив, пока буду любить. А когда охладею — я скажу и уйду — куда поведет меня жизнь, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей». Я все их оставлю тут, на дне обрыва! Видите, я не обманываю вас: я высказываюсь весь. Скажу и уйду! И вы имеете право сделать то же. А вон те мертвецы лгут себе и другим — и эту ложь называют «правилами». А сами потихоньку делают то же самое — и еще ухитрились себе присвоивать это право, а женщинам не давать его! Между нами должно быть равенство. Решите, честно это, или нет?

Она покачала отрицательно головой.

— Софизмы! Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило! Вы знаете, Марк, и другие мои правила…

— Ну, дошли! теперь пойдет! Правило — камнем повиснуть на шее друг друга…

— Нет, не камнем! — горячо возразила она. — Любовь налагает долг, буду твердить я, как жизнь налагает и другие долги: без них жизни нет. Вы стали бы сидеть с дряхлой, слепой матерью, водить ее, кормить — за что? Ведь это невесело — но честный человек считает это долгом и даже любит его!

— Вы рассуждаете, а не любите, Вера!

— А вы увертываетесь от моей правды! Рассуждаю, потому что люблю, я женщина, а не животное и не машина!

— У вас какая-то сочиненная и придуманная любовь… как в романах… с надеждой на бесконечность… словом — бессрочная! Но честно ли то, что вы требуете от меня, Вера? Положим, я бы не назначал любви срока; скача и играя, как Викентьев, подал бы вам руку «навсегда»: чего же хотите вы еще? Чтоб «Бог благословил союз», говорите вы, то есть чтоб пойти в церковь — да против убеждения дать публично исполнить над собой обряд… А я не верю ему и терпеть не могу попов: логично ли, честно ли я поступлю?..

Она встала и накинула черную мантилью на голову.

— Мы сошлись, чтоб удалить все препятствия к счастью, — а вместо того только увеличиваем

их! Вы грубо касаетесь того, что для меня свято. Зачем вы вызвали меня сюда? Я думала, вы уступили старой, испытанной правде и что мы подадим друг другу руки навсегда… Всякий раз с этой надеждой сходила я с обрыва… и всякий раз ошибалась! Я повторю, что говорила давно: у нас, Марк (слабым голосом оканчивала она) и убеждения, и чувства разные! Я думала, что самый ум ваш скажет вам… где настоящая жизнь — и где ваша лучшая роль…

— Где?

— В сердце честной женщины, которая любит, и что роль друга такой женщины…

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы в глаза.

— Живите вашей жизнью, Марк, — я не могу… у ней нет корня…

— Ваши корни подгнили давно, Вера!

— Пусть так! — более и более слабея, говорила она, и слезы появились уже в глазах. — Не мне спорить с вами, опровергать ваши убеждения умом и своими убеждениями! У меня ни ума, ни сил не станет. У меня оружие слабо — и только имеет ту цену, что оно мое собственное, что я взяла его в моей тихой жизни, а не из книг, не понаслышке…

Он сделал движение, но она заговорила опять.

— Я думала победить вас другой силой… Помните, как всё случилось? — присевши на минуту на скамью, говорила она задумчиво. — Мне сначала было жалко вас. Вы здесь одни, вас не понимал никто, все убегали. Участие привлекло меня на вашу сторону. Я видела что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничем — даже приличиями, были небрежны в мыслях, неосторожны в разговорах, играли жизнью, сорили умом, никого и ничего не уважали, ни во что не верили и учили тому же других, напрашивались на неприятности, хвастались удалью. Я из любопытства следила за вами, позволила вам приходить к себе, брала у вас книги, — видела ум, какую-то силу… Но всё это шло стороной от жизни… Потом… я забрала себе в голову (как я каюсь в этом!), что… Я говорила себе часто: сделаю, что он будет дорожить жизнью… сначала для меня, а потом и для жизни, будет уважать, сначала опять меня, а потом и другое в жизни, будет верить… мне, а потом… Я хотела, чтоб вы жили, чтоб стали лучше, выше всех… ссорилась с вами за беспорядочную жизнь… — Она вздохнула, как будто перебирая в памяти весь этот год. — Вы поддавались моему… влиянию… И я тоже подда-

валась вашему: ума, смелости, захватила было несколько… софизмов…

— И на попятный двор: бабушки страшно стало! Что ж не бросили тогда меня, как увидали софизмы? Софизмы!

— Поздно было. Я горячо приняла к сердцу вашу судьбу… Я страдала не за один этот темный образ жизни, но и за вас самих, упрямо шла за вами, думала, что ради меня… вы поймете жизнь, не будете блуждать в одиночку, со вредом для себя и без всякой пользы для других… думала, что выйдет…

— Вице-губернатор или советник хороший…

— Что за дело до названия — выйдет человек нужный, сильный…

— Благонамеренный, всему покорный — еще что?

— Еще — друг мне на всю жизнь: вот что! Я увлекалась своей надеждой… и вот куда увлеклась!.. — тихо добавила она и, оглядевшись, вздрогнула. — И что приобрела этой страшной борьбой? то, что вы теперь бежите от любви, от счастья, от жизни… от своей Веры! — сказала она, придвигаясь к нему и кладя руку на плечо. — Не бегите, поглядите мне в глаза, слышите мой голос: в нем правда! Не бегите, останьтесь, пойдем вме-

сте туда, на гору, в сад… Завтра здесь никого не будет счастливее нас!.. Вы меня любите… Марк! Марк… слышите? посмотрите прямо на меня…

Она наклонилась к его лицу, близко поглядела ему в глаза.

Он быстро встал со скамьи.

— Дальше, Вера, от меня!.. — сказал он, вырывая руку и тряся головой, как косматый зверь.

Он стал шагах в трех от нее.

— Мы не договорились до главного — и, когда договоримся, тогда я не отскочу от вашей ласки и не убегу из этих мест… Я бы не бежал от этой Веры, от вас. Но вы навязываете мне другую… Если у меня ее нет: что мне делать — решайте, говорите, Вера!

— А если эта вера у меня есть — что мне делать? — спросила и она.

— Легче расстаться с какими-то заученными убеждениями, чем приобресть их, у кого их нет…

— Эти убеждения — сама жизнь. Я уже вам говорила, что живу ими и не могу иначе жить… следовательно…

— Следовательно… — повторил он, и оба встали, обоим тяжело было договаривать, да и не нужно было.

Она хотела опять накинуть шелковую ман-

тилью на голову и не могла: руки с мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сделала движение, шаг, и опустилась опять на скамью.

«Где взять силы — нет ее: ни уйти, ни удержать его! всё кончено! — думала она. — Если б удержала — что будет? не жизнь, а две жизни, как две тюрьмы, разделенные вечной решеткой…»

— Мы оба сильны, Вера, и оттого оба мучаемся, — сказал он угрюмо, — оттого и расходимся…

Она отрицательно покачала головой.

— Если б я была сильна, вы не уходили бы так отсюда, — а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой, а смело, опираясь на мою руку. Пойдемте! хотите моего счастья и моей жизни? — заговорила она живо, вдруг ослепившись опять надеждой и подходя к нему. — Не может быть, чтоб вы не верили мне: не может быть тоже, чтоб вы и притворялись, — это было бы преступление! — с отчаянием договорила она. — Что делать, Боже мой! Он не верит, нейдет! Как вразумить вас?

— Для этого нужно, чтоб вы были сильнее меня, а мы равны, — отвечал он упрямо, — оттого мы и не сходимся, а боремся. Нам надо разойтись, не решая боя, или покориться один другому на-

всегда… Я мог бы овладеть вами — и овладел бы всякой другой, мелкой женщиной, не пощадил бы ее. То, что в другой было бы жеманством, мелким страхом или тупоумием, то в вас — сила, женская крепость. Теперь тумана нет между нами, мы объяснились — и я воздам вам должное. Вы хорошо вооружены природой, Вера. Старые понятия, мораль, долг, правила, вера — всё, что для меня не существует, в вас крепко. Вы не легки в ваших увлечениях, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побежденной на условиях, равных для той и для другой стороны. Обмануть вас — значит украсть. Вы отдаете всё, и за победу над вами требуете всего же. А я всего отдать не могу — но я уважаю вас…

Голова ее приподнялась, и по лицу на минуту сверкнул луч гордости, почти счастья, но в ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской перед неизбежной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдией прощания.

— Мы высказались… отдаю решение в ваши руки! — проговорил глухо Марк, отойдя на другую сторону беседки и следя оттуда пристально за нею. — Я вас не обману даже теперь, в эту решительную минуту, когда у меня голова идет

кругом… Нет, не могу — слышите, Вера, бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей и не требую ее и от вас, венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь больше всего на свете!.. И если вы после всего этого, что говорю вам, — кинетесь ко мне… значит, вы любите меня и хотите быть моей…

Она глядела на него большими глазами и чувствовала, что дрожит.

«Что он такое: иезуит?.. или в самом деле непреклонная честность говорит в нем теперь и ставит ее в опасное положение?» — мелькнул в ней луч сомнения.

— Навсегда вашей? — спросила она тихо — и сама испугалась повисшей над ней тучи.

Скажи он — «да», она забыла бы о непроходимой «разности убеждений», делавших из этого «навсегда» — только мостик на минуту, чтоб перебежать пропасть, и затем он рухнул бы сам в ту же пропасть. Ей стало страшно с ним.

Он молчал. Потом встал с места.

— Не знаю! — сказал он с тоской и досадой, — я знаю только, что буду делать теперь, а не заглядываю за полгода вперед. Да и вы сами не знаете, что будет с вами. Если вы разделите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, ниже тра-

вы… делать, что вы хотите… Чего же еще? Или… уедем вместе! — вдруг сказал он, подходя к ней.

Перед ней будто сверкнула молния. И она бросилась к нему и положила ему руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери в какой-то рай. Целый мир улыбнулся ей и звал с собой…

«С ним, далеко где-нибудь…» — думала она. Нега страсти стукнулась тихо к ней в душу.

«Он колеблется, не может оторваться: и это теперь… Когда она будет одна с ним… тогда, может быть, он и сам убедится, что его жизнь только там, где она…»

Всё это пел ей какой-то тихий голос.

— Вы решились бы на это? — спросил он ее серьезно.

Она молчала, опустив голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если б не решилась, то потому только, что боялась бы ее… — шептала она.

— Так не подходите же ко мне близко, — сказал он, отодвигаясь, — старуха бы не пустила…

— Ах нет, пустила и благословила бы, а сама бы умерла с горя! вот чего боялась бы я!.. Уехать с вами! — повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него, — а потом?

— А потом… не знаю. Зачем это «потом»?

— И вдруг вас «потянет» в другую сторону, и вы уйдете, оставив меня, как вещь…

— Отчего, как «вещь»? Можно расстаться друзьями…

— Расстаться! Разлука стоит у вас рядом с любовью! — Она безотрадно вздохнула. — А я думаю, что это крайности, которые никогда не должны встречаться… одна смерть должна разлучить… Прощайте, Марк! — вдруг сказала она, бледная, почти с гордостью. — Я решила… Вы никогда не дадите мне того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уезжать, оно здесь… Дело кончено…

— Да… скорее же вон отсюда! Прощайте, Вера… — говорил и он не своим голосом.

И оба встали с места, оба бледные, стараясь не глядеть друг на друга. Она искала, при слабом, проницавшем сквозь ветви лунном свете, свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что нужно. Она хваталась даже за ружье.

Он стоял, прислонясь спиной к одному из столбов беседки, не брал ничего и мрачно следил за нею.

Она наконец отыскала белую мантилью и никак не могла накинуть ее на другое плечо. Он

машинально помог ей.

Она в темноте искала ступенек ногой — он шагнул из беседки прямо на землю, подал ей руку и помог сойти.

Оба пошли молча по дорожке, всё замедляя шаг, как будто чего-то друг от друга ожидая. Обоих мучила одна и та же мысленная работа: изобрести предлог замедления.

Оба понимали, что каждый с своей точки зрения прав — но все-таки безумно втайне надеялись, он — что она перейдет на его сторону, а она — что он уступит, сознавая в то же время, что надежда была нелепа, что никто из них не мог, хотя бы и хотел, внезапно переродиться, залучить к себе, как шапку надеть, другие убеждения, другое миросозерцание, разделить веру или отрешиться от нее.

Но их убивало сознание, что это последнее свидание, последний раз, что через пять минут они будут чужие друг другу навсегда. Им хотелось задержать эти пять минут, уложить в них всё свое прошлое — и — если б можно было — заручиться какой-нибудь надеждой на будущее! Но они чувствовали, что будущего нет, что впереди ждала, неизбежная как смерть, одна разлука!

Они долго шли до того места, где ему надо было

перескочить через низенький плетень на дорогу, а ей взбираться между кустов, по тропинке, на гору, в сад.

Она, наклонив голову, стояла у подъема на обрыв как убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты в ней. У ней глаза были полны слез.

Теперь ее единственным счастьем на миг было бы — обернуться, взглянуть на него хоть раз и поскорее уйти навсегда, но, уходя, измерить хоть глазами, что она теряла. Ей было жаль этого уносящегося вихря счастья, но она не смела обернуться: это было бы всё равно что сказать «да» на его роковой вопрос, и она в тоске сделала шага два на крутизну.

Он шел к плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорным зверем, уходящим от добычи. Он не лгал: он уважал Веру, но уважал против воли, как в сражении уважают неприятеля, который отлично дерется. Он проклинал «город мертвецов», «старые понятия», оковавшие эту живую, свободную душу.

Его горе было не трогательное, возбуждающее участие, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирепое отчаяние.

Он готов был изломать Веру, как ломают чужую драгоценность, с проклятием: «Не доставайся никому!» Так, по собственному признанию, сделанному ей, он и поступил бы с другой, но не с ней. Да она и не далась бы в ловушку — стало быть, надо бы было прибегнуть к насилию и сделаться в одну минуту разбойником.

Притом одна материяльная победа, обладание Верой не доставило бы ему полного удовлетворения, как доставило бы над всякой другой. Он, уходя, злился не за то, что красавица Вера ускользает от него, что он теряет добычу, что он тратил на нее время, силы, забывал «дело». Он злился от гордости и страдал сознанием своего бессилия. Он одолел воображение, пожалуй — так называемое сердце Веры, но не одолел ее ума и воли.

В этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней был характер, и она упрямо вырабатывала себе из старой, «мертвой» жизни крепкую, живую жизнь — и была и для него, так же как для Райского, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытною жизнью, живущей своим, не заемным умом, своей гордой волей.

Она была выше других женщин. Он это видел, гордился своим успехом в ее любви и тут же па-

дал, сознаваясь, что, как он ни бился развивать Веру, давать ей свой свет, но кто-то другой, ее вера, по ее словам, да какой-то поп из молодых, да Райский с своей поэзией, да бабушка с моралью, а еще более — свои глаза, свой слух, тонкое чутье и женские инстинкты, потом воля — поддерживали ее силу и давали ей оружие против его правды и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду в такие здоровые цвета, перед которыми казалась и бледна, и пуста, и фальшива, и холодна — та правда и жизнь, какую он добывал себе из новых, казалось бы, свежих источников.

Его новые правда и жизнь не тянули к себе ее здоровую и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разобрала их по клочкам и осталась вернее своей истине.

И вот она уходит, не оставив ему никакого залога победы, кроме минувших свиданий, которые исчезнут, как следы на песке. Он проигрывал сражение, терял ее и, уходя, понимал, что никогда не встретит другой, подобной Веры.

Он сравнивал ее с другими, особенно «новыми» женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям, — и находил, что это — жалкие, пошлые и более падшие создания,

нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту и даже золоту, а те будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова, только лицемерно или тупо прикрывали это принципом.

Он шел медленно, сознавая, что за спиной у себя оставлял навсегда то, чего уже никогда не встретит впереди. Обмануть ее, увлечь, обещать «бессрочную любовь», сидеть с ней годы, пожалуй — жениться…

Он содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадной обман — да и не поддастся она ему теперь. Он топнул ногой и вскочил на плетень, перекинув ноги на другую сторону.

«Посмотреть, что она! Ушла, гордое создание! Что жалеть: она не любила меня, иначе бы не ушла… Она резонерка!..» — думал он, сидя на плетне.

«Взглянуть один раз… что он, — и отвернуться навсегда…» — колебалась и она, стоя у подъема на крутизну.

Еще прыжок: плетень и канава скрыли бы их друг от друга навсегда. За оградой — рассудок и

воля заговорят сильнее и одержат окончательную победу. Он обернулся…

Вера стоит у подъема на крутизну, как будто не может взойти на нее…

Наконец она сделала, с очевидным утомлением, два-три шага и остановилась. Потом… тихо обернулась назад и вздрогнула. Марк сидел еще на плетне и глядел на нее…

— Марк, прощай! — вскрикнула она — и сама испугалась собственного голоса: так много было в нем тоски и отчаяния.

Марк быстро перекинул ноги назад, спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее.

«Победа! победа! — вопило в нем. — Она возвращается, уступает!»

— Вера! — произнес и он таким голосом, как будто простонал.

— Ты воротился… навсегда?.. Ты понял наконец… о, какое счастье! Боже, прости…

Она не договорила.

Она была у него в объятиях. Поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу…

Боже, прости ее, что она обернулась!..

XIII

Райский сидел целый час как убитый над обрывом, на траве, положив подбородок на колени и закрыв голову руками. Всё стонало в нем. Он страшной мукой платил за свой великодушный порыв, страдая сначала за Веру, потом за себя, кляня себя за великодушие.

Неизвестность, ревность, пропавшие надежды на счастье и впереди всё те же боли страсти, среди которой он не знал ни тихих дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! Засыпал он мучительно, трудно. Сон не сходил, как друг, к нему, а являлся, как часовой, сменить другой мукой муку бдения.

Когда он открывал глаза утром, перед ним стоял уже призрак страсти в виде непреклонной, злой и холодной к нему Веры, отвечающей смехом на его требование открыть ему имя, имя — одно, что могло нанести решительный удар его горячке, сделать спасительный перелом в болезни и дать ей легкий исход.

«Но что она нейдет!» — вдруг, оглянувшись, сказал он. Он посмотрел на часы. «Она ушла в девятом часу, а теперь скоро одиннадцать! Она велела подождать, сказала, что вернется сейчас:

долог этот час!.. Что она? где она?» — в тревоге повторял он.

Он взобрался на верх обрыва, сел на скамью и стал прислушиваться, нейдет ли? Ни звука, ни шороха: только шумели падающие мертвые листья.

«Велела ждать и забыла, — а я жду!» — говорил он, вставая со скамьи и спускаясь опять шага три с обрыва и всё прислушиваясь.

— Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этих свиданиях? Да кто, что она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вера? Она там, может быть, хохочет надо мной вместе с ним… Кто он? Я хочу знать — кто он? — в ярости сказал он вслух. — Имя, имя! Я ей — орудие, ширма, покрышка страсти… Какой страсти!

Им овладело отчаяние, тождественное с отчаянием Марка. Пять месяцев женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смеется в лицо…

«За что такая казнь за увлечение? Что она делает со мной? Не имею ли я право, после всех этих проделок, отнять у нее ее секрет и огласить таинственное имя?»

Он быстро сбежал с крутизны и остановился у кустов, прислушиваясь. Ничего не слышно.

«Это однако… гадко… — говорил он, — украсть секрет… — И сам вступил в чащу кустов, — так гадко… что…»

И воротился шага три назад.

«Воровство! — шептал он, стоя в нерешимости и отирая пот платком с лица. — А завтра опять игра в загадки, опять русалочные глаза, опять злобно, с грубым смехом, брошенное мне в глаза: “Вас люблю”! Конец пытке — узнаю!» — решил он и бросился в кусты.

Он крался, как вор, ощупью, проклиная каждый хрустнувший сухой прут под ногой, не чувствуя ударов ветвей по лицу. Он полз наудачу, не зная места свиданий. От волнения он садился на землю и переводил дух.

Угрызение совести на минуту останавливало его, потом он опять полз, разрывая сухие листья и землю ногтями…

Он миновал бугор, насыпанный над могилой самоубийцы, и направлялся к беседке, глядя, слушая по сторонам, не увидит ли ее, не услышит ли голоса.

Между тем в доме у Татьяны Марковны всё шло своим порядком. Отужинали и сидели в зале, позевывая. Ватутин рассыпался в вежливостях со всеми, даже с Полиной Карповной и с матерью

Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя так на каждую женщину, как будто готов был всем ей пожертвовать. Он говорил, что дамам надо стараться делать «приятности».

— Где m-r Борис? — спрашивала уж в пятый раз Полина Карповна, и до ужина, и после ужина, у всех. Наконец обратилась с этим вопросом и к бабушке.

— Бог его знает — бродит где-нибудь: в гости в город ушел, должно быть; и никогда не скажет куда — такая вольница! Не знаешь, куда лошадь послать за ним!

Яков сказал, что Борис Павлович «гуляли в саду до позднего вечера».

Про Веру сказали тоже, когда послали ее звать к чаю, что она не придет. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлет, если захочет есть. Никто не видал, как она вышла, кроме Райского.

— Скажи Марине, Яков, чтобы барышне, как спросит, не забыли разогреть жаркое, а пирожное отнести на ледник, а то распустится! — приказывала бабушка. — А ты, Егорка, как Борис Павлович вернется, не забудь доложить, что ужин готов, чтоб он не подумал, что ему не оставили, да не лег спать голодный!

— Слушаю-с, — сказали оба.

— Полунощники, право, полунощники! — с досадой и с тоской про себя заметила бабушка, — шатаются об эту пору: холод эдакой…

— Я пойду в сад, — сказала Полина Карповна, — может быть, m-r Boris недалеко. Он будет очень рад видеться со мной… Я заметила, что он хотел мне кое-что сказать… — таинственно прибавила она. — Он, верно, не знал, что я здесь…

— Знал, оттого и ушел, — шепнула Марфинька Викентьеву.

— Я — вот что сделаю, Марфа Васильевна: побегу вперед, сяду за куст и объяснюсь с ней в любви голосом Бориса Павловича… — предложил было ей, тоже шепотом, Викентьев и хотел идти.

— Она, пожалуй, испугается и упадет в обморок, тогда бабушка даст вам знать! Что выдумали! — отвечала она, удерживая его за рукав.

— Я пойду на минуту, позвольте, я приведу беглеца… — настаивала Полина Карповна.

— Идите, Бог с вами! — сказала Татьяна Марковна, — да глаз не выколите: вон темнота какая! хоть Егорку возьмите, он проводит с фонарем…

— Нет, я одна: не нужно, чтоб нам мешали…

— Напрасно! — вежливо заметил Тит Никоныч, — в эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себе выходить после восьми часов.

— Я не боюсь… — сказала Крицкая, надевая мантилью.

— Я бы не смел останавливать вас, — заметил он, — но один врач — он живет в Дюссельдорфе, что близ Рейна… я забыл его фамилию — теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вам… Он предлагает отменные гигиенические правила… Он советует…

Он не кончил, потому что Полина Карповна ушла, сказав ему только, чтоб он подождал и отвез ее домой.

— С полным удовольствием, с полным удовольствием! — говорил он, кланяясь ей вслед и затворяя за ней двери ко двору и саду.

XIV

Немного спустя после этого разговора, над обрывом, в глубокой темноте, послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задеваемые ветви, осыпались листы, и слышались торопливые, широкие скачки — взбиравшегося на крутизну, будто раненого или испуганного зверя.

Шум всё ближе, ближе, наконец из кустов выскочил на площадку перед обрывом Райский, но более исступленный и дикий, чем раненый зверь. Он бросился на скамью, выпрямился и сидел минуты две неподвижно, потом всплеснул руками и закрыл ими глаза.

«Во сне это или наяву! — шептал он точно потерянный. — Нет, я ошибся, не может быть! Мне почудилось!..»

Он встал, опять сел, как будто во что-то вслушиваясь, потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом.

«Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны! — сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед. — Статуя! чистота! красота души! Вера — статуя! А он!.. И пальто, которое я послал

“изгнаннику”, валяется у беседки! и пари свое он взыскал с меня, двести двадцать рублей, да прежних восемьдесят… да, да! это триста рублей!.. Секлетея Бурдалахова!»

Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок.

«О, как больно здесь! — стонал он. — Вера-кошка! Вера-тряпка… слабонервная, слабосильная… из тех падших, жалких натур, которых поражает пошлая, чувственная страсть — обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму!.. Пусть так — она свободна, но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней, над братом, другом!.. — с яростью шипел он, — о, мщение, мщение!»

Он вскочил и в мучительном раздумье стоял.

Какое мщение? Бежать к бабушке, схватить ее и привести сюда, с толпой людей, с фонарями, осветить позор и сказать: «Вот змея, которую вы двадцать три года грели на груди!..»

Он махнул рукой и приложил ее к горячему лбу.

«Подло, Борис! — шептал он себе, — и не сделаешь ты этого! это было бы мщение не ей, а бабушке, всё равно что твоей матери!..»

Он уныло опустил голову, потом вдруг поднял

ее и с бешенством прыгнул к обрыву.

«А там совершается торжество этой тряпичной страсти — да, да: эта темная ночь скрыла поэму любви! — он презрительно засмеялся. — Любви! — повторил он. — Марк! блудящий огонь, буян, трактирный либерал! Ах! сестрица, сестрица! уж лучше бы вы придержались одного своего поклонника, — ядовито шептал он, — рослого и красивого Тушина! у того — и леса, и земли, и воды, и лошадьми правит, как на олимпийских играх! А этот!»

Он с трудом перевел дух.

«Это наша “партия действия”! — шептал он, — да, из кармана показывает кулак полицеймейстеру, проповедует горничным да дьячихам о нелепости брака, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких слабонервных умниц!.. Погибай же ты, жалкая самка, тут, на дне обрыва, как тот бедный самоубийца! Вот тебе мое прощание!..»

Он хотел плюнуть с обрыва — и вдруг окаменел на месте. Против его воли, вопреки ярости, презрению, в воображении — тихо поднимался со дна пропасти и вставал перед ним образ Веры в такой обольстительной красоте, в какой он не

видал ее никогда!

У ней глаза горели, как звезды, страстью. Ничего злого и холодного в них, никакой тревоги, тоски: одно счастье глядело лучами яркого света. В груди, в руках, в плечах, во всей фигуре струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила.

Она примирительно смотрела на весь мир. Она стояла на своем пьедестале, но не белой, мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды, когда он, под обаянием красоты Софьи, шел к себе домой и видел женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потом видел ее преображение из статуи в живое существо, около которого заиграла и заструилась жизнь, зазеленели деревья, заблистали цветы, разлилась теплота…

И вот она, эта живая женщина, перед ним! В глазах его совершилось пробуждение Веры, его статуи, от девического сна. Лед и огонь холодили и жгли его грудь, он надрывался от мук и — всё не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты, сияющего гордостью, смотрящего с любовью на весь мир и с дружеской улыбкой протягивающего руку и ему…

«Я счастлива!» — слышит он ее шепот.

У ног ее, как отдыхающий лев, лежал, безмолвно торжествуя, Марк: на голове его покоилась ее нога… Райский вздрогнул, стараясь отрезвиться.

Его гнал от обрыва ужас «падения» его сестры, его красавицы, подкошенного цветка, — а ревность, бешенство и более всего новая, неотразимая красота пробужденной Веры влекли опять к обрыву, на торжество любви, на этот праздник, который, кажется, торжествовал весь мир, вся природа.

Ему слышались голоса, порханье и пенье птиц, лепет любви и громадный, страстный вздох, огласивший будто весь сад и всё прибрежье Волги…

Он в ужасе стоял, окаменелый, над обрывом, то вглядываясь мысленно в новый, пробужденный образ Веры, то терзаясь нечеловеческими муками, и шептал бледный: «Мщение, мщение!»

А кругом и внизу всё было тихо и темно. Вдруг, в десяти шагах от себя, он заметил силуэт приближающейся к нему от дома человеческой фигуры. Он стал смотреть.

— Кто тут? — с злостью спросил он.

— Это я… я…

— Кто? — повторил он еще злее.

— M-r Boris, это я… Pauline.

— Вы! Что вам надо здесь?

— Я пришла… я знаю… вижю… вы хотите давно сказать… — шептала Полина Карповна таинственно, — но не решаетесь… Du courage![144] здесь никто не видит и не слышит… Espérez tout…[145]

— Что «сказать» — говорите!

— Que vous m'aimez, o, я давно угадала… n'est-ce-pas? Vous m'avez fui… mais la passion vous a ramené ici…[146]

Он схватил ее за руку и потащил к обрыву.

— Ah! de grâce! Mais pas si brusquement… qu'est-ce que vous faites… mais laissez donc!..[147] — завопила она в страхе и не на шутку испугалась.

Но он подтащил ее к крутизне и крепко держал за руку.

— Любви хочется! — говорил он в исступлении, — вы слышите, сегодня ночь любви… Слышите вздохи… поцелуи? Это страсть играет, да, страсть, страсть!..

---

[144] Примечания: 144
Смелей! (*фр.*)

[145] Примечания: 145
Можете надеяться на всё... (*фр.*)

[146] Примечания: 146
— Что вы меня любите <...> не правда ли? Вы избегали меня... но страсть привела вас назад... (*фр.*)

[147] Примечания: 147
— О, смилуйтесь! Не так резко... что вы делаете... оставьте!.. (*фр.*)

— Пустите, пустите! — пищала она не своим голосом, — я упаду, мне дурно…

Он пустил ее, руки у него упали, он перевел дух. Потом взглянул на нее пристально, как будто только сейчас заметил ее.

— Прочь! — крикнул он и, как дикий, бросился бежать от нее, от обрыва, через весь сад, цветник, и выбежал на двор.

На дворе он остановился и перевел дух, оглядываясь по сторонам. Он услыхал, что кто-то плещется у колодезя: Егорка, должно быть, делал ночной туалет, полоскал себе руки и лицо.

— Принеси чемодан, — сказал он, — завтра уезжаю в Петербург!

И сам налил себе из желоба воды на руки, смочил глаза, голову — и скорыми шагами пошел домой.

Он выбегал на крыльцо, ходил по двору в одном сюртуке, глядел на окна Веры и опять уходил в комнату, ожидая ее возвращения. Но в темноте видеть дальше десяти шагов ничего было нельзя, и он избрал для наблюдения беседку из акаций, бесясь, что нельзя укрыться и в ней, потому что листья облетели.

До света он сидел там как на угольях — не от страсти: страсть как в воду канула. И какая

страсть устояла бы перед таким «препятствием»? Нет, он сгорал неодолимым желанием взглянуть Вере в лицо, новой Вере, и хоть взглядом презрения заплатить этой «самке» за ее позор, за оскорбление, нанесенное ему, бабушке, всему дому, «целому обществу, наконец, человеку, женщине!»

«Люби открыто, не крадь доверия, наслаждайся счастьем и плати жертвами, не играй уважением людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины! — думал он. Да, взглянуть на нее, чтоб она в этом взгляде прочла себе приговор и казнь, — и уехать навсегда!»

Он трясся от лихорадки нетерпения, ожидая, когда она воротится. Он, как барс, выскочил бы из засады, загородил ей дорогу и бросил бы ей этот взгляд, сказал бы одно слово… Какое?

Он чесал себе голову, трогал лицо, сжимал и разжимал ладони и корчился в судорогах, в углу беседки. Вдруг он вскочил, отбросил от себя прочь плед, в который прятался, и лицо его озарилось какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью или намерением.

«Это сама судьба подсказала!» — шептал он и побежал к воротам.

Они были еще заперты; он поглядел кругом и

заметил огонек лампады в комнате Савелья.

Он постучал в окно его и, когда тот отворил, велел принести ключ от калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забежал к себе, взял купленный им porte-bouquet и бросился в оранжерею, к садовнику. Долго стучался он, пока тот проснулся, и оба вошли в оранжерею.

Начинало рассветать. Он окинул взглядом деревья, и злая улыбка осветила его лицо. Он указывал, какие цветы выбрать для букета Марфиньки: в него вошли все, какие оставались. Садовник сделал букет на славу.

— Мне нужен другой букет… — сказал Райский нетвердым голосом.

— Этакий же?

— Нет… из одних померанцевых цветов… — шептал он и сам побледнел.

— Так-с: ведь одна барышня-то у Татьяны Марковны невеста! — догадался садовник.

— Есть у тебя стакан воды… — спросил Райский. — Дай пить!

Он с жадностью выпил стакан, торопя садовника сделать букет. Наконец тот кончил. Райский щедро заплатил ему и, завернув в бумагу оба букета, осторожно и торопливо понес домой.

Нужно было узнать, не вернулась ли Вера во

время его отлучки. Он велел разбудить и позвать к себе Марину и послал ее посмотреть, дома ли барышня или «уж вышла гулять».

На ответ, что «вышли», он велел Марфинькин букет поставить к Вере на стол и отворить в ее комнате окно, сказавши, что она поручила ему еще с вечера это сделать. Потом отослал ее, а сам занял свою позицию в беседке и ждал, замирая — от удалявшейся, как буря, страсти, от ревности и будто еще от чего-то… жалости, кажется…

Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали всё человеческое в нем. Он злобно душил голос жалости. И «добрый дух» печально молчал в нем. Не слышно его голоса: тихая работа его остановилась. Бесы вторглись и рвали его внутренность.

Райский положил щеку на руку, смотрел около и ничего не видел, кроме дорожки к крыльцу Веры, чувствовал только яд лжи, обмана.

— Мне надо застрелить эту собаку, Марка, или застрелиться самому: да, что-нибудь одно из двух, но прежде сделаю вот это третье… — шептал он.

Он, как святыню, обеими руками держал букет померанцевых цветов, глядя на него с наслаждением, а сам всё оглядывался через цветник — к темной аллее, а ее всё нет!

Совсем рассвело. Пошел мелкий дождь, стало грязно.

«Не послать ли им два зонтика?» — думал он с безотрадной улыбкой, лаская букет и нюхая его.

Вдруг издали увидел Веру — и до того потерялся, испугался, ослабел, что не мог не только выскочить, «как барс», из засады и заградить ей путь, но должен был сам крепко держаться за скамью, чтоб не упасть. Сердце билось у него, коленки дрожали, он приковал взгляд к идущей Вере и не мог оторвать его, хотел встать — и тоже не мог: ему было больно даже дышать.

Она шла, наклонив голову, совсем закрытую черной мантильей. Видны были только две бледные руки, державшие мантилью на груди. Она шагала неторопливо, не поворачивая головы по сторонам, осторожно обходя образовавшиеся небольшие лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась в сенях.

С Райского как будто сняли кандалы. Он, бледный, выскочил из засады и спрятался под ее окном.

Она вошла в комнату, погруженная точно в сон, не заметила, что платье, которое, уходя, разбросала на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столе, ни отворенного окна.

Она машинально сбросила с себя обе мантильи на диван, сняла грязные ботинки, ногой достала из-под постели атласные туфли и надела их. Потом, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диван и в изнеможении, закрыв глаза, оперлась спиной и головой к подушке дивана и погрузилась будто в сон.

Через минуту ее пробудил глухой звук чего-то упавшего на пол. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокруг.

На полу лежал большой букет померанцевых цветов, брошенный снаружи в окно.

Она, кинув беглый взгляд на него, побледнела как смерть и, не подняв цветов, быстро подошла к окну. Она видела уходившего Райского и оцепенела на минуту от изумления. Он обернулся, взгляды их встретились.

— Великодушный друг… «рыцарь»… — прошептала она и вздохнула с трудом, как от боли, и тут только заметив другой букет на столе, назначенный Марфиньке, взяла его, машинально поднесла к лицу, но букет выпал у ней из рук, и она сама упала без чувств на ковер.

Часть пятая

I

На другой день в деревенской церкви Малиновки с десяти часов начали звонить в большой колокол, к обедне.

В доме была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы коровьим маслом и с утра напились пьяны. Дворовые женщины и девицы пестрели праздничными, разноцветными ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. От горничных за десять шагов несло гвоздичной помадой.

Егорка явился было неслыханным франтом, в подаренном ему Райским коротеньком пиджаке, клетчатых зеленых, почти новых, панталонах и в купленных им самим — оранжевом галстухе и голубом жилете. Он, в этом наряде, нечаянно попался на глаза Татьяне Марковне.

— Это что! — строго крикнула она на него, — что за чучело, на кого ты похож? Долой! Василиса! Выдать им всем ливрейные фраки: и Сережке, и Степке, и Петрушке, и этому шуту! — говорила она, указывая на Егора. — Яков пусть черный фрак да белый галстух наденет. Чтобы и за столом

служили, и вечером оставались в ливреях!

Весь дом смотрел парадно, только Улита в это утро глубже, нежели в другие дни, опускалась в свои холодники и подвалы и не успела надеть ничего, что делало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрешнюю Улиту. Да повара почти с зарей надели свои белые колпаки и не покладывали рук, готовя завтрак, обед, ужин — и господам, и дворне, и приезжим людям из-за Волги.

Бабушка, отдав приказания с раннего утра, в восемь часов сделала свой туалет и вышла в залу, к гостье и будущей родне своей, в полном блеске старческой красоты, с сдержанным достоинством барыни и с кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки.

Она надела на седые волосы маленький простой чепчик; на ней хорошо сидело привезенное ей Райским из Петербурга шелковое светло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой с широким воротничком из старого пожелтевшего кружева. На креслах в кабинете лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда приедут гости к завтраку и обеду.

Теперь она собиралась ехать всем домом к обедне, и в ожидании, когда все домашние сойдутся, прохаживалась медленно по зале, сложив

руки крестом на груди и почти не замечая домашней суеты, как входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы с мебели.

Она подходила то к одному, то к другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны в сад, с третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яков, а Савелий управлялся с дворней.

Мать Викентьева разоделась в платье gris de perle[148] с отделкой из темных кружев. Викентьев прибегал уже, наряженный с осьми часов во фрак и белые перчатки. Ждали только появления Марфиньки.

И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сияла природной красотой, блеском здоровья, а в это утро еще лучами веселья от всеобщего участия, от множества — со всех сторон — знаков внимания, не только от бабушки, жениха, его матери, но в каждом лице из дворни светилось непритворное дружество, ласка к ней и луч радости по случаю ее праздника.

Бабушка уже успела побывать у нее в комнате,

---

[148] Примечания: 148
жемчужно-серого цвета (*фр.*)

когда она только что встала с постели. Проснувшись и поглядев вокруг себя, Марфинька ахнула от изумления и внезапной радости.

Пока она спала, ей все стены ее двух комнаток чьи-то руки обвешали гирляндами из зелени и цветов. Она хотела надеть свою простенькую блузу, а наместо ее, на кресле подле кровати, нашла утреннее неглиже из кисеи и кружев с розовыми лентами.

Не успела она ахнуть, как на двух других креслах увидела два прелестные платья — розовое и голубое, на выбор, которое надеть.

— Ах! — сделала она и, вскочив с постели, надела новую блузу, не надев чулок, — некогда было — подошла к зеркалу и остолбенела: весь туалет был установлен подарками.

Она не знала, на что глядеть, что взять в руки. Бросится к платью, а там тянет к себе великолепный ящик розового дерева. Она открыла его, — там был полный дамский несессер, почти весь туалет, хрустальные, оправленные в серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей.

Она стала было рассматривать все вещи, но у ней дрожали руки. Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий, увидит

гребенку, щетки в серебряной оправе — и всё с ее вензелем «М». «От будущей maman», — написано было на бумажке, наклеенной на ящик.

— Ах! — сделала она, растерявшись и захлопывая крышку.

Подле ящика лежало еще несколько футляров, футлярчиков. Она не знала, за который взяться, что смотреть. Взглянув мельком в зеркало и откинув небрежно назад густую косу, падавшую ей на глаза и мешавшую рассматривать подарки, она кончила тем, что забрала все футляры с туалета и села с ними в постель.

Она боялась открывать их, медлила, наконец открыла самый маленький.

Там — перстень с одним только изумрудом.

— Ах! — повторила она и, надев перстень, вытянула руку и любовалась им издали.

Открыла другой футляр побольше — там серьги. Она вдела их в уши и, сидя в постели, тянулась взглянуть на себя в зеркало. Потом открыла еще два футляра и нашла большие массивные браслеты в виде змеи кольцом с рубиновыми глазами, усеянной по местам сверкающими алмазами, и сейчас же надела их.

Наконец открыла самый большой футляр.

— Ах! — почти с ужасом, замирая, сделала она,

увидя целую реку — двадцать один брильянт, по числу ее лет.

Там бумажка с словами: «К этому ко всему, — читала она, — имею честь присовокупить самый драгоценный подарок: лучшего моего друга — самого себя. Берегите его. Ваш ненаглядный Викентьев».

Она засмеялась, потом поглядела кругом, поцеловала записку, покраснела до ушей и, спрыгнув с постели, спрятала ее в свой шкапчик, где у нее хранились лакомства. И опять подбежала к туалету посмотреть, нет ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчик.

Это был подарок Райского: часы, с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Она взглянула на них большими глазами, потом окинула взглядом прочие подарки, поглядела по стенам, увешанным гирляндами и цветами — и вдруг опустилась на стул, закрыла глаза руками и залилась целым дождем горячих слез.

— Господи! — всхлипывая от счастья, говорила она, — за что они меня так любят все? Я никому ничего хорошего не сделала и не сделаю никогда!..

Так застала ее бабушка, неодетую, необутую, с перстнями на пальцах, в браслетах, в брильян-

товых серьгах и обильных слезах. Она сначала испугалась, потом, узнав причину слез, обрадовалась и осыпала ее поцелуями.

— Это Бог тебя любит, дитя мое, — говорила она, лаская ее, — за то, что ты сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете!..

— Ну пусть бы Николай Андреич: он жених, пусть maman его, — отвечала Марфинька, утирая слезы, — а брат Борис Павлович: что я ему!..

— То же, что всем! одна радость глядеть на тебя: скромна, чиста, добра, бабушке послушна… («Мот! из чего тратит на дорогие подарки: вот я ужо ему дам!» — в скобках вставила она.) Он урод, твой братец, только какой-то особенный урод!

— Точно угадал, бабушка; мне давно хотелось синенькие часики — вот этакие, с эмалью!..

— А что ж ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?

Марфинька зажала ей рот поцелуем.

— Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтоб я была счастлива…

— Любовь — любовью, а вот тебе мой всегдашний подарок! — говорила она, крестя ее. — А вот и еще, чтоб ты этого моего креста и после меня не забывала…

Она полезла в карман.

— Бабушка! Да ведь вы мне два платья подарили!.. А кто это зелени и цветов повесил?..

— Всё твой жених, с Полиной Карповной, вчера прислали… от тебя таили… Сегодня Василиса с Пашуткой убирали на заре… А платья — твое приданое: будет и еще не два. Вот тебе…

Она вынула футлярчик, достала оттуда золотой крест с четырьмя крупными брильянтами и надела ей на шею, потом простой гладкий браслет с надписью «От бабушки внучке», год и число.

Марфинька припала к руке бабушки и чуть было не расплакалась опять.

— Всё, что у бабушки есть, — а у ней кое-что есть — всё поровну разделю вам с Верочкой! Одевайся же скорей!

— Какая вы нынче красавица, бабушка! Братец правду говорит: Тит Никоныч непременно влюбится в вас…

— Полно тебе, болтунья! — полусердито сказала бабушка. — Поди к Верочке и узнай, что она? Чтобы к обедне не опоздала с нами! Я бы сама зашла к ней, да боюсь подниматься на лестницу…

— Я сейчас, сейчас… — сказала Марфинька, торопясь одеваться.

II

Вера, через полчаса после своего обморока, очнулась и поглядела вокруг. Ей освежил лицо холодный воздух из отворенного окна. Она привстала, озираясь кругом, потом поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь, до постели, и скорее упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошенным туда ею накануне большим платком.

Обессиленная, она впала в тяжкий сон. Истомленный организм онемел на время помимо ее сознания и воли. Коса у ней упала с головы и рассыпалась по подушке. Она была бледна и спала как мертвая.

Часа через три шум на дворе, людские голоса, стук колес и благовест вывели ее из летаргии. Она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум, пришла на минуту в сознание, потом вдруг опять закрыла глаза и предалась снова или сну, или муке.

В это время кто-то легонько постучался к ней в комнату. Она не двигалась. Потом сильнее постучались. Она услыхала и встала вдруг с постели, взглянула в зеркало и испугалась самой себя.

Она быстро обвила косу около руки, свернула ее в кольцо, закрепила кое-как черной большой булавкой на голове и накинула на плечи платок. Мимоходом подняла с полу назначенный для Марфиньки букет и положила на стол.

Стук повторился, вместе с легким царапаньем у двери.

— Сейчас! — сказала она и отворила дверь.

Влетела Марфинька, сияя, как радуга, и красотой, и нарядом, и весельем. Она взглянула и вдруг остановилась.

— Что с тобой, Верочка? — спросила она, — ты нездорова!..

Веселье слетело с лица у ней, уступив место испугу.

— Да, не совсем… — слабо отвечала Вера, — ну, поздравляю тебя…

Они поцеловались.

— Какая ты хорошенькая, нарядная! — говорила Вера, стараясь улыбнуться.

Но улыбка не являлась. Губами она сделала движение, а глаза не улыбались. Приветствию противоречил почти неподвижный взгляд, без лучей, как у мертвой, которой не успели закрыть глаз.

Вера, чувствуя, что не одолеет себя, поспешила

взять букет и подала ей.

— Какой роскошный букет! — сказала Марфинька, тая от восторга и нюхая цветы.

— А что же это такое? — вдруг прибавила она, чувствуя под букетом в руке что-то твердое. Это был изящный porte-bouquet, убранный жемчугом, с ее шифром.

— Ах Верочка, и ты, и ты!.. Что это как вы все меня любите!.. — говорила она, собираясь опять заплакать, — и я ведь вас всех люблю… как люблю, Господи!.. Да как же и когда вы узнаете это: я не умею даже сказать!..

Вера почти умилилась внутренно, но не смогла ничего ответить ей, а только тяжело перевела дух и положила ей руку на плечо.

— Я сяду, — сказала она, — я дурно спала ночь…

— Бабушка зовет к обедне…

— Не могу, душечка, скажи, что я не так здорова… и не выйду сегодня…

— Как, ты совсем не придешь туда? — в страхе спросила Марфинька.

— Да, я полежу, я вчера простудилась, должно быть. Только ты скажи бабушке — слегка…

— Мы к тебе придем.

— Боже сохрани! Вы помешаете мне отдох-

нуть…

— Ну, так пришлем тебе сюда всего… Сколько мне подарков… цветов… конфект прислали!.. Я покажу тебе…

Марфинька рассказала всё, что и от кого получила.

— Да, да — хорошо… это очень мило! покажи… Я после приду… — рассеянно говорила Вера, едва слушая ее.

— А это что? Еще букет! — сказала вдруг Марфинька, увидя букет на полу, — что это он на полу валяется?

Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела.

— Кому это? чей? Какая прелесть!

— Это… тоже тебе… — едва выговорила Вера.

Она взяла первую ленточку из комода, несколько булавок и кое-как, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цветы Марфиньке. Потом поцеловала ее и села в изнеможении на диван.

— Ты в самом деле нездорова — посмотри, какая ты бледная! — заметила серьезно Марфинька, — не сказать ли бабушке? Она за доктором пошлет… Пошлем, душечка, за Иваном Богдановичем… Как это грустно — в день моего рождения! Теперь мне

целый день испорчен!

— Ничего, ничего — пройдет! Ни слова бабушке, не пугай ее!.. А теперь поди, оставь меня… — шептала Вера, — я отдохну…

Марфинька хотела поцеловать ее и вдруг увидела, что у ней глаза полны слез. Она заплакала сама.

— Что ты? — тихо спросила Вера, отирая украдкой, как будто воруя свои слезы из глаз.

— Как же не плакать, когда ты плачешь, Верочка! Что с тобой? друг мой, сестра! У тебя горе: скажи мне…

— Ничего, не гляди на меня: это нервы… Только скажи бабушке осторожно, а то она встревожится…

— Я скажу, что голова болит, а про слезы не упомяну, а то она в самом деле на целый день расстроится.

Марфинька ушла. А Вера затворила за ней дверь и легла на диван.

III

Все ушли и уехали к обедне. Райский, воротясь на рассвете домой, не узнавая сам себя в зеркале, чувствуя озноб, попросил у Марины стакан вина, выпил и бросился в постель.

Ему было не легче Веры. И он, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался сну, как будто бросился в горячке в объятия здорового друга, поручая себя его попечению. И сон исполнил эту обязанность, унеся его далеко от Веры, от Малиновки, от обрыва и от вчерашней разыгравшейся на его глазах драмы.

Ему снилось всё другое, противоположное. Никаких «волн поэзии» не видал он, не била «страсть пеной» через край, а очутился он в Петербурге, дома, один, в своей брошенной мастерской, и равнодушно глядел на начатые и неконченные работы.

Потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сен-Жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах; что ему от этого стало тяжело и скучно и во сне даже спать захотелось.

И он спал здоровым прозаическим сном, до того охватившим его, что когда он проснулся от трезвона в церквах, то первые две-три минуты был только под влиянием животного покоя, стеной ставшего между им и вчерашним днем.

Он забыл, где он — и может быть даже — кто он такой. Природа взяла свое и этим крепким сном восстановила равновесие в силах. Никакой боли, пытки не чувствовал он. Всё — как в воду кануло.

Он потянулся, даже посвистал беззаботно, чувствуя только, что ему от чего-то покойно, хорошо, что он давно уже не спал и не просыпался так здорово. Сознание еще не воротилось к нему.

Но следующие две-три минуты вдруг привели его в память — о вчерашнем. Он сел на постели, как будто не сам, а подняла его посторонняя сила, посидел минуты две неподвижно, открыл широко глаза, будто не веря чему-то, но когда уверился, то всплеснул руками над головой, упал опять на подушку и вдруг вскочил на ноги, уже с другим лицом, какого не было у него даже вчера, в самую страшную минуту.

Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бес бросился в него, — и он так же торопливо, нервно и судорожно, как Вера накануне, собираясь идти

к обрыву, хватал одно за другим платья, разбросанные по стульям.

Он позвонил Егора и едва с его помощью кое-как оделся, надевая сюртук прежде жилета, забывая галстух. Он спросил, что делается дома, и узнав, что все уехали к обедне, кроме Веры, которая больна, оцепенел, изменился в лице и бросился вон из комнаты к старому дому.

Он тихо постучался к Вере: никто не отвечал. Подождав минуты две ответа, он тронул дверь: она была не заперта изнутри.

Он осторожно отворил и вошел с ужасом на лице, тихим шагом, каким может входить человек с намерением совершить убийство. Он едва ступал на цыпочках, трясясь, бледный, боясь ежеминутно упасть от душившего его волнения.

Вера лежала на диване лицом к спинке. С подушки падали почти до пола ее волосы, юбка ее серого платья небрежно висела, не закрывая ее ног, обутых в туфли.

Она не оборачивалась, только сделала движение, чтоб оборотиться и посмотреть, кто вошел, но, по-видимому, не могла.

Он подошел, стал на колени подле нее и прильнул губами к ее туфле. Она вдруг обернулась, взглянула на него мельком, лицо у ней подерну-

лось горьким изумлением.

— Что это, комедия или роман, Борис Павлович? — глухо сказала она, отворачиваясь с негодованием и пряча ногу с туфлей под платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой.

— Нет, Вера, — трагедия! — едва слышно выговорил он угасшим голосом и сел на стул подле дивана.

Она обернулась на этот тон его голоса, взглянула на него пристально; глаза у ней открылись широко, с изумлением. Она увидела бледное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смысл этого нового лица, нового Райского.

Она сбросила с себя платок, встала на ноги и подошла к нему, забыв в эту секунду всю свою бурю. Она видела на другом лице такое же смертельное страдание, какое жило в ней самой.

— Брат, что с *тобой*? *ты* несчастлив! — сказала она, положив ему руку на плечо, — и в этих трех словах, и в голосе ее — отозвалось, кажется, всё, что есть великого в сердце женщины: сострадание, самоотвержение, любовь.

Он, в умилении от этой ласки, от этого неожиданного, теплого «ты», взглянул на нее с той же исступленной благодарностью, с какою она

взглянула вчера на него, когда он, забывая себя, помогал ей сойти с обрыва.

Она нечаянно заплатила ему великодушием за великодушие, как и у него вчера вырвался такой же луч одного из самых светлых свойств человеческой души.

Его охватил трепет смешанных чувств, и тем сильнее заговорила мука отчаяния за свой поступок. Всё растопилось у него в горячих слезах.

Он положил лицо в ее руки и рыдал как человек, всё утративший, которому нечего больше терять.

— Что я сделал! оскорбил тебя, женщину, сестру! — вырывались у него вопли среди рыданий. — Это был не я, не человек: зверь сделал преступление. Что это такое было! — говорил он с ужасом, оглядываясь, как будто теперь только пришел в себя.

— Не мучайся и не мучай меня… — шептала она кротко, ласково. — Пощади, — я не вынесу. Ты видишь, в каком я положении…

Он старался не глядеть ей в глаза. А она опять прилегла на диван.

— Какой удар нанес я тебе! — шептал он в ужасе. — Я даже прощения не прошу: оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вера…

— Удар твой… сделал мне боль на одну минуту. Потом я поняла, что он не мог быть нанесен равнодушной рукой, и поверила, что ты любишь меня… Тут только представилось мне, что ты вытерпел в эти недели, вчера… Успокойся, ты не виноват: мы квиты…

— Не оправдывай преступления, Вера: нож — всё нож. Я ударил тебя ножом…

— Ты разбудил меня… Я будто спала; всех вас, тебя, бабушку, сестру, весь дом — видела как во сне, была зла, суха — забылась!..

— Что мне теперь делать, Вера? уехать — в каком положении я уеду! Дай мне вытерпеть казнь здесь — и хоть немного примириться с собой, со всем, что случилось…

— Полно: воображение рисует тебе какое-то преступление вместо ошибки. Вспомни, в каком положении ты сделал ее, в какой горячке!..

Она замолчала.

— У меня ничего нет, кроме дружбы к тебе, — сказала потом, протягивая ему руку, — я не осуждаю тебя — и не могу: я знаю теперь, как ошибаются…

Она едва говорила, очевидно делая над собой усилие, чтобы немного успокоить его.

Он пожал протянутую руку и безотрадно вздох-

нул.

— Ты добра, как женщина, — и судишь не умом, а сердцем эту «ошибку»…

— Нет: ты строг к себе. Другой счел бы себя вправе после всех этих глупых шуток над тобой… Ты их знаешь: эти записки… Пусть с доброй целью — отрезвить тебя, пошутить — в ответ на твои шутки. Всё же — злость, смех! А ты и не шутил… Стало быть, мы, без нужды, были только злы и ничего не поняли… Глупо! глупо! Тебе было больнее, нежели мне вчера…

— Ах нет! я иногда сам смеялся и над собой, и над вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно когда ты потребовала пальто, одеяло, деньги для «изгнанника»…

Она сделала большие глаза и с удивлением глядела на него.

— Какие деньги, какое пальто? что за изгнанник? Я ничего не понимаю…

У него лицо немного просветлело.

— Я и прежде подозревал, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!

Он коротко передал ей содержание двух писем с просьбой прислать денег и платье.

У ней побелели даже губы.

— Мы с Наташей писали к тебе попеременно,

одним почерком, шутливые записки, стараясь подражать твоим… Вот и всё. Остальное сделала не я… я ничего не знала!.. — кончила она тихо, оборачиваясь лицом к стене.

Водворилось молчание. Он задумчиво шагал взад и вперед по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговором.

— Я не прошу у тебя прощения за всю эту историю… И ты не волнуйся, — сказала она. — Мы помиримся с тобой… У меня только один упрек тебе — ты поторопился с своим букетом. Я шла оттуда… хотела послать за тобой, чтобы тебе первому сказать всю историю… искупить хоть немного всё, что ты вытерпел… Но ты поторопился!

— Ах! — вырвалось у него, — это удар ножа мне!

— Оставим всё это… после, после… А теперь я потребую от тебя, как от друга и брата, помощи, важной услуги… Ты не откажешь?..

— Вера!

Он ничего не сказал больше, но, взглянув на него, она видела, что может требовать всего.

— Я, пока силы есть, расскажу тебе всю историю этого года…

— Зачем? Я не хочу, не могу, не должен знать…

— Не мешай мне! я едва дышу, а время дорого! Я расскажу тебе всё, а ты передай бабушке…

У него глаза остановились на ней с удивлением, и в лицо хлынул испуг.

— Я сама не могу: язык не послушается. Я умру, не договорю…

— Бабушке? зачем! — едва выговорил он от страха. — Подумай, какие последствия… Что будет с ней?.. Не лучше ли скрыть всё?..

— Я давно подумала: какие бы ни были последствия, их надо — не скрыть, а перенести! Может быть, обе умрем, помешаемся — но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надеялась сказать ей другое… и оттого молчала… Какая казнь! — прибавила она тихо, опуская голову на подушку.

— Сказать… всё: и вчерашний вечер?.. — спросил он тихо.

— Да…

— И имя?..

Она чуть заметно кивнула утвердительно головой и отвернулась.

Она посадила его подле себя на диван и шепотом, с остановками, рассказала историю своих сношений с Марком. Кончив, она закуталась в шаль и, дрожа от озноба, легла опять на диван. А

он встал бледный.

Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса, она — думая о бабушке, он — о них обеих.

Ему предстояло — уже не в горячке страсти, не в припадке слепого мщения, а по неизбежному сознанию долга — нанести еще удар ножа другой нежно любимой женщине!

«Да, это страшное поручение, в самом деле — “важная услуга”», — думал он.

— Когда сказать ей? — спросил он тихо.

— Скорей! я замучаюсь, пока она не узнает: а у меня еще много мук… «И это не главная!» — подумала про себя. — Дай мне спирт: там где-то… — прибавила она, указывая, где стоял туалет. — А теперь поди… оставь меня… я устала…

— Сегодня говорить с бабушкой нельзя: гости! Бог знает, что с ней будет! Завтра!

— Ах! — сделала она, — доживу ли я? Ты до завтра как-нибудь… успокой бабушку, скажи ей что-нибудь… чтоб она ничего не подозревала… не присылала сюда никого…

Он подал ей спирт, спросил, не надо ли ей чего-нибудь, не послать ли девушку.

Она нетерпеливо покачала головой, отсылая его взглядом, потом закрыла глаза, чтоб ничего

не видеть. Ей хотелось бы — непроницаемой тьмы и непробудной тишины вокруг себя, чтобы глаз ее не касались лучи дня, чтобы не доходило до нее никакого звука. Она будто искала нового, небывалого состояния духа, немоты и дремоты ума, всех сил, чтобы окаменеть, стать растением, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать.

А он вышел от нее с новой, более страшной тяжестью, нежели с какою пришел. Она отчасти облегчила ему одно бремя и возложила другое, невыносимее.

IV

Вера встала, заперла за ним дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба Райского, участие, преданность, помощь — представляли ей на первую минуту легкую опору, на которую она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, как утопающий, вынырнувший на минуту из воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва он вышел от нее, она точно оборвалась в воду опять.

— Жизнь кончена! — шептала она с отчаянием и видела впереди одну голую степь, без привязанностей, без семьи, без всего того, из чего соткана жизнь женщины.

Перед ней — только одна глубокая, как могила, пропасть. Ей предстояло стать лицом к лицу с бабушкой и сказать ей: «Вот чем я заплатила тебе за твою любовь, попечения, как наругалась над твоим доверием… до чего дошла своей волей!..»

Ей, в дремоте отчаяния, снился взгляд бабушки, когда она узнала всё, брошенный на нее, ее голос — даже не было голоса, а вместо его какие-то глухие звуки ужаса и смерти…

Потом, потом — она не знала, что будет, не хотела глядеть дальше в страшный сон и только

глубже погрузила лицо в подушку. У ней подошли было к глазам слезы и отхлынули назад, к сердцу.

— Если б умереть! — внезапно просияв от этой мысли, с улыбкой, с наслаждением шепнула она…

И вдруг за дверью услышала шаги и голос… бабушки! У ней будто отнялись руки и ноги. Она, бледная, не шевелясь, с ужасом слушала легкий, но страшный стук в дверь.

— Не встану — не могу… — шептала она.

Стук повторился. Она вдруг, с силой, которая неведомо откуда берется в такие минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и с улыбкой пошла навстречу бабушке.

Татьяна Марковна, узнавши от Марфиньки, что Вера нездорова и не выйдет целый день, пришла наведаться сама. Она бегло взглянула на Веру и опустилась на диван.

— Ух, устала у обедни! Насилу поднялась на лестницу! Что у тебя, Верочка: нездорова? — спросила она и остановила испытующий взгляд на лице Веры.

— Поздравляю с новорожденной! — заговорила Вера развязно, голосом маленькой девочки, которую научила нянька, что сказать мамаше утром

в день ее ангела, поцеловала руку у бабушки, — и сама удивилась про себя, как память подсказала ей, что надо сказать, как язык выговорил эти слова! — Пустое! ноги промочила вчера, голова болит! — с улыбкой старалась договорить она.

Но губы не улыбнулись, хотя и показались из-за них два-три верхние зуба.

— Надо было натереть вчера спиртом: у тебя нет? — сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядеть, потому что слышала принужденный голос, видела на губах Веры какую-то чужую, а не ее улыбку и чуяла неправду.

— Ты сойдешь к нам? — спросила она.

Вера внутренно ужаснулась этого невозможного испытания, сверх сил, и замялась.

— Не принуждай себя! — снисходительно заметила Татьяна Марковна, — чтоб не разболеться больше…

Новый ужас охватил Веру от этой снисходительности. Ей казалось, как всегда, когда совесть тревожит, что бабушка уже угадала всё и ее исповедь опоздает. Еще минута, одно слово — и она кинулась бы на грудь ей и сказала всё! И только силы изменили ей и удержали, да еще мысль — сделать весь дом свидетелем своей и бабушкиной драмы.

— К обеду только позвольте, бабушка, не выходить, — сказала она, едва крепясь, — а после обеда, я, может быть, приду…

— Как хочешь: я пришлю тебе обедать сюда.

— Да… да… я уж теперь голодна… — говорила Вера, не помня сама, что говорит.

Татьяна Марковна поцеловала ее, пригладила ей рукой немного волосы и вышла, заметив только, «чтоб она велела “Маринке”, или “Машке”, или “Наташке” прибрать комнату, а то-де, пожалуй, из гостей, из дам кто-нибудь, зайдет», — и ушла.

Вера вдруг опустилась на диван, потом, немного посидя, достала одеколон и намочила себе темя и виски.

— Ах, как бьется здесь, как больно! — шептала она, прикладывая руку к голове. — Боже, когда эта казнь кончится? Скорей бы, скорей сказать ей всё! А там, после нее, — пусть весь мир знает, смотрит!..

Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диван.

Бабушка пришла к себе с скорбным лицом, как в воду опущенная.

Она принимала гостей, ходила между ними, потчевала, но Райский видел, что она, после визита к Вере, была уже не в себе. Она почти не

владела собой, отказывалась от многих блюд, не обернулась, когда Петрушка уронил и разбил тарелки; останавливалась среди разговора на полуслове, пораженная задумчивостью.

А после обеда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьского солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балконом, пить кофе, ликер и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замечая их, только передергивала и поправляла свою турецкую шаль. Потом спохватится и вдруг заговорит принужденно.

Райский был угрюм, смотрел только на бабушку, следя за ней.

— Неладно что-то с Верой! — шепнула она отрывисто ему, — ты видел ее? У ней какое-то горе!

Он сказал, что нет. Бабушка подозрительно поглядела на него.

Полины Карповны не было. Она сказалась больною, прислала Марфиньке цветы и деревья с зеленью. Райский заходил к ней утром сам, чтобы как-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену с ней и узнать, не заметила ли она чего-нибудь. Но она встретила его с худо скрываемым, под видом обидчивости, восторгом, хотя он прямо сказал ей, что обедал накануне не дома, в гостях, — там

много пили — и он выпил лишнюю рюмку — и вот «до чего дошел»!

Он просил прощения и получил его с улыбкой.

— А кто угадал: не говорила ли я? — заключила она. И под рукой рассказала всем свою сцену обольщения, заменив слово «упала» словом «пала».

Пришел к обеду и Тушин, еще накануне приехавший в город. Он подарил Марфиньке хорошенького пони для прогулок верхом: «Если бабушка позволит», — скромно прибавил он.

— Теперь не моя воля — вон кого спрашивайте! — задумчиво отвечала она, указывая на Викентьева и думая о другом.

Тушин наведался о Вере и был как будто поражен ее нездоровьем и тем, что она не вышла к обеду. Он был заметно взволнован.

Татьяна Марковна стала подозрительно смотреть и на Тушина, отчего это он вдруг так озадачен тем, что Веры нет. Ее отсутствие между гостями — не редкость; это случалось при нем прежде, но никогда не поражало его. «Что стало со вчерашнего вечера с Верой?» — не выходило у ней из головы.

С Титом Никонычем сначала она побранилась и чуть не подралась за подарок туалета, а потом поговорила с ним наедине четверть часа в

кабинете, и он стал немного задумчив, меньше шаркал ножкой и хотя говорил с дамами, но сам смотрел так серьезно и пытливо, то на Райского, то на Тушина, что они глазами в недоумении спрашивали его, чего он от них хочет. Он тотчас оправлялся и живо принимался говорить дамам «приятности».

Татьяна Марковна была так весела, беспечна, празднуя день рожденья Марфиньки и обдумывая, чем бы особенно отпраздновать через две недели именины Веры, чтоб не обойти внимательностью одну перед другой, хотя Вера и объявила наотрез, что в именины свои уедет к Анне Ивановне Тушиной или к Наталье Ивановне.

Но с полудня Татьяна Марковна так изменилась, так во всех подозрительно всматривалась, во всё вслушивалась, что Райский сравнивал ее с конем, который беспечно жевал свой овес, уходя в него мордой по уши, и вдруг услыхал шорох или почуял запах какого-то неизвестного и невидимого врага. Он поднял уши и голову, красиво оборотил ее назад и неподвижно слушает, широко открыв глаза и сильно дохнув ноздрями. Ничего. Потом медленно оборотился к яслям и, всё слушая, махнул раза три неторо-

ливо головой, мерно стукнул раза три копытом, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причине или предупреждая врага о своей бдительности, — и опять запустил морду в овес, но хрустит осторожно, поднимая по временам голову и оборачивая ее назад. Он уж предупрежден и стал чуток. Жует, а у самого вздрагивает плечо, оборачивается ухо назад, вперед и опять назад.

И бабушка, занимаясь гостями, вдруг вспомнит, что с Верой «неладно», что она не в себе, не как всегда, а иначе, хуже, нежели какая была; такою она ее еще не видала никогда — и опять потеряется. Когда Марфинька пришла сказать, что Вера нездорова и в церкви не будет, Татьяна Марковна рассердилась сначала.

— Для тебя и для семейного праздника могла бы отложить свои причуды, — сказала она, — и поехать к обедне.

Но когда узнала, что она и к обеду не может прийти, она встревожилась за ее здоровье и поднялась к ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потом, поправляя косу, незаметно дотронулась до лба и удостоверилась, что простуды нет.

Но Вера бледна, на ней лица нет, она беспорядочно лежит на диване, и потом в платье, как

будто не раздевалась совсем, а пуще всего мертвая улыбка Веры поразила ее.

Она вспомнила, что Вера и Райский пропадали долго накануне вечером и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться в Райского, а тот старался избегать ее взглядов — и этим только усиливал подозрения.

У Райского болела душа пуще всех прежних его мук. Сердце замирало от ужаса и за бабушку, и за бедную, трепетную, одинокую и недоступную для утешения Веру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милые права дружбы над собой — и тут же при нем падала в отчаянии под тяжестью удара, поразившего ее так быстро и неожиданно, как молния.

Он видел, что участие его было более полезно и приятно ему самому, но мало облегчало положение Веры, как участие близких лиц к трудному больному не утоляет его боли.

Надо вырвать корень болезни, а он был не в одной Вере, но и в бабушке — и во всей сложной совокупности других обстоятельств: ускользнувшее счастье, разлука, поблекшие надежды жизни — всё! Да, Веру нелегко утешить!

И бабушку жаль! Какое ужасное, неожиданное горе нарушит мир ее души! «Что, если она вдруг

свалится! — приходило ему в голову, — вон она — сама не своя, ничего еще не зная!» У него подступали слезы к глазам от этой мысли.

А на нем еще лежит обязанность вонзить глубже нож в сердце этой — своей матери!

«Что, если они занемогут обе! Не послать ли за Натальей Ивановной? — решил он, — но надо прежде спросить Веру, а она…»

А она вдруг явилась неожиданно среди гостей, после обеда, в светлом праздничном платье, но с подвязанным горлом и в теплой мантилье.

Райский ахнул от изумления. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла!

«Откуда женщины берут силы?» — думал он, следя за ней, как она извинялась перед гостями, с обыкновенной улыбкой выслушала все выражения участия, сожаления, осмотрела подарки Марфиньки.

Она отказалась от конфект, но с удовольствием съела ломоть холодного арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредив, что, к сожалению, не может долго остаться с гостями.

Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но в то же время замечала, что Райский меняется в лице и старается не глядеть на Веру. В первый

раз в жизни, может быть, она проклинала гостей. А они уселись за карты, будут пить чай, ужинать, а Викентьева уедет только завтра.

Райский был точно между двух огней.

— Что такое с ней? — шепчет ему с одной стороны Татьяна Марковна, — ты, должно быть, знаешь…

«Ах, скорей бы сказать ей всё!» — выговаривают с другой стороны отчаянные взгляды Веры.

Райскому хоть сквозь землю провалиться!

Тушин тоже смотрит на Веру какими-то особенными глазами. И бабушка, и Райский, а всего более сама Вера заметили это.

Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасом. «Не узнал ли? не слыхал ли он чего?» — шептала ей совесть. Он ставит ее так высоко, думает, что она лучше всех в целом свете! Теперь она молча будет красть его уважение… «Нет, пусть знает и он! Пришли бы хоть новые муки на смену этой ужасной пытки — казаться обманщицей!» — шептало в ней отчаяние.

Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась с ним. А он смотрел на нее с участием и с какой-то особенной застенчивостью потуплял глаза.

— Нет, не могу выносить! Узнаю, что у него на уме… Иначе я упаду здесь, среди всех, если он

еще… взглянет на меня не так, как всегда…

А он тут, как нарочно, и взглянул!

V

Она не выдержала, простилась с гостями и сделала Тушину никому не заметный знак — следовать за собой.

— У себя я вас принять не могу, — сказала она, — а вот пойдемте сюда в аллею и походим немного.

— Не сыро ли: вы нездоровы…

— Ничего, ничего, пойдемте… — торопила она.

Он взглянул на часы, сказал, что через час уедет, велел вывести лошадей из сарая на двор, взял свой бич с серебряной рукояткой, накинул на руку мекинтош и пошел за Верой в аллею.

— Я прямо начну, Иван Иванович, — сказала Вера, дрожа внутренно, — что с вами сегодня? Вы как будто… у вас есть что-то на уме…

Она замолчала, кутая лицо в мантилью и пожимая плечами от дрожи.

Он молча шел подле нее, о чем-то думая, а она боялась поднять на него глаза.

— Вы нездоровы сегодня, Вера Васильевна, — сказал он задумчиво, — я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотел поговорить с вами…

— Нет, Иван Иванович, сегодня! — торопливо

перебила она, — что у вас такое? я хочу знать… Мне хотелось бы самой поговорить с вами… может быть, я опоздала… Не могу стоять, я сяду, — прибавила она, садясь на скамью.

Он не заметил ни ее ужаса и тоски, ни ее слов, что она тоже готовилась «поговорить с ним». Он был поглощен своей мыслью. А ее жгла догадка, что он узнал всё и сейчас даст ей удар ножа, как Райский.

— Ах, пусть! скорей бы только все удары разом!.. — шептала она.

— Говорите же! — сказала потом, мучась про себя вопросами: как и где мог он узнать?

— Сегодня я шел сюда…

— Что же, говорите! — почти крикнула она.

— Не могу, Вера Васильевна, воля ваша!

Он прошел шага два от нее дальше.

— Не казните меня! — едва шептала она.

— Я люблю вас… — начал он, вдруг воротясь к ней.

— Ну, я знаю. И я вас тоже… что за новость! Что же дальше?.. Вы… слышали что-нибудь…

— Где? что? — спрашивал он, оглядываясь кругом и думая, что она слышит какой-нибудь шум. — Я ничего не слышу.

Он заметил ее волнение, и вдруг у него захвати-

ло дух от радости. «Она проницательна, угадала давно мою тайну и разделяет чувство… волнуется, требует откровенного и короткого слова…»

Всё это быстро пронеслось у него в голове.

— Вы так благородны, прекрасны, Вера Васильевна… так чисты…

— Ах! — вскрикнула она отчаянным голосом, хотела встать и не могла, — вы ругаетесь надо мной… ругайтесь — возьмите этот бич, я стою!.. Но вы ли это, Иван Иванович!

Она с горьким изумлением и мольбой сложила перед ним руки.

Он в страхе глядел на нее.

«Она больна!» — подумал он.

— Вы нездоровы, Вера Васильевна, — с испугом и волнением сказал он ей, — простите меня, что я не вовремя затеял.

— Разве не всё равно: днем раньше, днем позже — но всё скажете же… говорите же разом, сейчас!.. И я скажу: затем я позвала вас сюда, в аллею…

Его опять бросило в противную сторону.

— Ужели это правда? — едва сдерживаясь от радости, сказал он.

— Что — правда? — спросила она, вслушиваясь в этот внезапный, радостный тон. — Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала…

— покойнее прибавила она.

— Нет, то самое… я полагаю…

— Скажите же, перестаньте мучить меня!

— Я вас люблю…

Она поглядела на него и ждала.

— Мы старые друзья, — сказала она, — и я вас…

— Нет, Вера Васильевна, люблю еще — как женщину…

Она вдруг выпрямилась и окаменела, почти не дыша.

— Как первую женщину в целом мире! Если б я смел мечтать, что вы хоть отчасти разделяете это чувство… нет, это много, я не стою… если одобряете его, как я надеялся… если не любите другого, то… будьте моей лесной царицей, моей женой, — и на земле не будет никого счастливее меня!.. Вот что хотел я сказать — и долго не смел! Хотел отложить это до ваших именин, но не выдержал и приехал, чтобы сегодня в семейный праздник, в день рождения вашей сестры…

Она всплеснула руками над головой.

— Иван Иванович! — простонала она, падая к нему на руки.

«Нет, — это не радость! — сверкнуло в нем — и он чувствовал, что волосы у него встают на голове, — так не радуются!»

Он посадил ее на скамью.

— Что с вами, Вера Васильевна? вы или больны, или у вас большое горе!.. — овладев собой, почти покойно спросил он.

— Большое, Иван Иванович, я умру!

— Что с вами, говорите, ради Бога, что такое случилось? Вы сказали, что хотели говорить со мной: стало быть, я нужен… Нет такого дела, которого бы я не сделал! приказывайте, забудьте мою глупость… Что надо… что надо сделать?

— Ничего не надо, — шептала она, — мне надо сказать вам… Бедный Иван Иванович, и вы!.. За что вы будете пить мою чашу? Боже мой! — говорила она, глядя сухими глазами на небо, — ни молитвы, ни слез у меня нет! ниоткуда облегчения и помощи никакой!

— Что вы, Вера Васильевна! что это, друг мой, за слова, что за глубокое отчаяние?

— Зачем еще этот удар? Довольно их без него! Знаете ли вы, кого любите? — говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова.

Он молчал, делая и отвергая догадки. Он бросил мекинтош и отирал пот с лица. Он из этих слов видел, что его надежды разлетелись вдребезги, понял, что Вера любит кого-то… Другого ничего

он не видел, не предполагал. Он тяжело вздохнул и сидел неподвижно, ожидая объяснения.

— Бедный друг мой! — сказала она, взяв его за руку.

У него сердце сжалось от этих простых слов: он почувствовал, что он в самом деле «бедный». Ему было жаль себя, а еще больше жаль Веры.

— Благодарю вас! — прошептал он, еще не зная, но предчувствуя одно: что она ему принадлежать не может.

— Простите, — продолжал потом, — я ничего не знал, Вера Васильевна. Внимание ваше дало мне надежду. Я дурак — и больше ничего… Забудьте мое предложение и по-прежнему давайте мне только права друга… если стою, — прибавил он, и голос на последнем слове у него упал. — Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали от меня услуги?

— Стоите ли! А я стою?

— Вы, Вера Васильевна, всегда будете стоять для меня так высоко…

— Я упала, бедный Иван Иваныч, с этой высоты, и никто уж не поднимет меня… Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вам сейчас будет легче…

Она тихо, шатаясь и опираясь ему на руку, привела его к обрыву.

— Знаете вы это место?

— Да, знаю: там похоронен самоубийца…

— Там похоронена и ваша «чистая» Вера: ее уж нет больше… Она на дне этого обрыва…

Она была бледна и говорила с каким-то решительным отчаянием.

— Что такое вы говорите? Я ничего не понимаю… Объясните, Вера Васильевна, — прошептал он, обмахивая лицо платком.

Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь с силами, потом склонила голову, минуты в три, шепотом, отрывисто сказала ему несколько фраз и опустилась на скамью. Он побледнел.

Его вдруг пошатнуло. Он как будто потерял равновесие и сел на скамью. Вера и в сумерки увидела, как он был бледен.

— А я думал… — сказал он с странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи, — что меня только медведь свалит с ног!

Потом подошел к ней.

— Кто он и где он? — шепнул он.

Она вздрогнула от этого вопроса. Так изумителен, груб и неестествен был он в устах Тушина. Ей казалось непостижимо, как он посягает, без

пощады женского, всякому понятного чувства, на такую откровенность, какой женщины не делают никому. «Зачем? — втайне удивлялась она, — у него должны быть какие-нибудь особые причины — какие?»

— Марк Волохов! — смело сказала она, осилив себя.

Он остолбенел на минуту. Потом вдруг схватил свой бич за рукоятку обеими руками и с треском изломал его в одну минуту о колено в мелкие куски, с яростью бросив на землю щепки дерева и куски серебра.

— То же будет и с ним! — прорычал он, нагибаясь к ее лицу, трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага.

— Он там теперь? — спросил он, указывая на обрыв. Только слышалось его тяжелое дыхание. Она с изумлением глядела на него и отступила за скамью.

— Мне страшно, Иван Иванович, пощадите меня! уйдите! — шептала она в ужасе, протягивая обе руки, как бы защищаясь от него.

— Прежде убью его, потом… уйду! — говорил он, едва владея собой.

— Это вы для меня сделаете, чтоб облегчить меня или… для себя?

Он молчал, глядя в землю. Потом стал ходить большими шагами взад и вперед.

— Что же мне делать, научите, Вера Васильевна? — спросил он, всё еще трясясь от раздражения.

— Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его и хочу ли я этого?

— Он враг ваш и, следовательно, мой… — чуть слышно прибавил он.

— Врагов разве убивают?

Он потупил голову, увидал разбросанные обломки бича у ног, наклонился, будто стыдясь, собрал их и сунул в карман мекинтоша.

— Я не жалуюсь на него: помните это. Я одна… виновата… а он прав… — едва договорила она с такой горечью, с такой внутренней мукой, что Тушин вдруг взял ее за руку.

— Вера Васильевна — вы ужасно страдаете!

Она молчала. А он с участием и удивлением глядел на нее.

— Я ничего не понимаю, — сказал он, — «не виноват», «не жалуюсь»: в таком случае — о чем хотели поговорить со мной? зачем вы звали меня сюда, в аллею?..

— Я хотела, чтоб вы знали всё…

Она, отворотясь, молча глядела к обрыву. И он

поглядел туда, потом на нее, и всё стоял перед ней, с вопросом в глазах.

— Послушайте, Вера Васильевна, не оставляйте меня в потемках. Если вы нашли нужным доверить мне тайну… — Он на этом слове с страшным усилием перемог себя, — которая касалась вас одной, то объясните всю историю…

— Ваше нынешнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мне, — я не поняла их. Я думала, вы знаете всё, хотела допроситься, что у вас на уме… Я поторопилась… Но всё равно, рано или поздно — я сказала бы вам… Сядьте, выслушайте меня и потом оттолкните!

Он, положив локти на колени и спрятав лицо в ладони, слушал ее.

Она передала ему в коротких словах историю. Он встал, минуты три ходил взад и вперед, потом остановился перед ней.

— Вы простили его? — спросил он.

— За что? Вы видите, что… я одна виновата…

— И… простились с ним или… надеетесь, что он опомнится и воротится?

Она покачала головой.

— Между нами нет ничего общего… Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать,

и то не всё, — сказал, подумавши, Тушин и вздохнул, как вол, которого отпрягли. — Я думал, что вы нагло обмануты…

— Нет, нет…

— И зовете меня на помощь; думал, что пришла пора медведю «сослужить службу», и чуть было не оказал вам в самом деле «медвежьей услуги», — добавил он, вынимая из кармана и показывая ей обломок бича. — От этого я позволил себе сделать вам дерзкий вопрос об имени… Простите меня, ради Бога, и скажите и остальное: зачем вы открыли мне это?

— Я не хотела, чтоб вы думали обо мне лучше, чем я есть… и уважали меня…

— Как же вы это сделаете? Я не перестану думать о вас, что думал всегда, и не уважать не могу.

Какой-то луч блеснул у ней в глазах и тотчас же потух.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны: вам жаль бедную, падшую… и вы хотите поднять ее… Я понимаю ваше великодушие, Иван Иванович, но не хочу его. Мне нужно, чтоб вы знали и… не отняли руки, когда я подам вам свою.

Она подала ему руку, он поцеловал ее. Он с

нетерпением и грустью слушал ее.

— Вера Васильевна! — сказал он сдержанным, почти оскорбленным тоном, — я насильно уважать никого не могу. Тушин не лжет. Если я кому-нибудь кланяюсь с уважением, — то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вам по-прежнему, а люблю — извините, к слову пришлось, — еще больше прежнего, потому что… вы несчастливы. У вас большое горе, такое же, как у меня! Вы потеряли надежду на счастье… Напрасно только вы сказали мне вашу тайну… — прибавил он с унынием, почти с отчаянием. — Если б я узнал ее и не от вас, я бы уважать вас не перестал. Этой тайны вы не обязаны поверять никому. Она принадлежит вам одной, и никто не смеет судить вас…

Он едва договорил и с трудом вздохнул, скрадывая тяжесть этого вздоха от Веры. Голос у него дрожал против воли. Видно было, что эта «тайна», тяжесть которой он хотел облегчить для Веры, давила теперь не одну ее, но и его самого. Он страдал — и хотел во что бы то ни стало скрыть это от нее…

— Всё равно: я должна была сказать вам ее сегодня же, когда вы сделали предложение… Обмануть я вас не могла.

Он отрицательно покачал головой.

— На мое предложение вы могли отвечать мне коротким «нет». Но как вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, с добротой, чтоб позолотить это «нет», что вы любите другого, — вот и всё. Я не спросил бы даже — кого. А тайну… должны были сберечь про себя; тут не было бы никакого обмана. Вот если б вы, любя другого, приняли мое предложение… из страха или других целей… это был бы обман, «падение», пожалуй, «потеря чести». Но вы этого никогда бы не сделали. А то… — Он головой кивнул на обрыв и шепотом добавил, будто про себя, — несчастье… ошибка…

Он едва говорил, перемогая с медвежьей силой внутреннюю муку, чтоб она не заметила, что было в нем самом.

— Несчастье! — шептал он, — он уйдет прав из обрыва, а вы виноваты! Где же правда?..

— Всё равно: я сказала бы вам, Иван Иванович. Это не для вас нужно было, а для меня самой… Вы знаете… как я дорожила вашей дружбой: скрыть от вас — это было бы мукой для меня. Теперь мне легче — я могу смотреть прямо вам в глаза, я не обманула вас…

Она не могла говорить от прихлынувших слез

и зажала лицо платком. Он чуть не заплакал сам, но только вздрогнул, наклонился и опять поцеловал у ней руку.

— Вот это другое дело: благодарю вас, благодарю! — торопливо говорил он, скрадывая волнение. — Вы делаете мне большое добро, Вера Васильевна. Я вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала от другого чувства, значит, она сильна. Это большое утешение! Я буду счастлив и этим… со временем, когда мы успокоимся оба…

— Ах, Иван Иванович, если б можно было вычеркнуть этот год жизни…

— Забыть его скорей: это и будет всё равно что вычеркнуть…

— А где взять забвения и силы перенести?

— У друзей, — шепнул он, — и в том числе… у меня…

Она вздохнула будто свободнее — будто опять глотнула свежего воздуха, чувствуя, что подле нее воздвигается какая-то сила, встает, в лице этого человека, крепкая, твердая гора, которая способна укрыть ее в своей тени и каменными своими боками оградить — не от бед страха, не от физических опасностей, а от первых, горячих натисков отчаяния, от дымящейся еще язвы страсти, от горького разочарования.

— Я верю вашей дружбе, Иван Иванович. Благодарю вас, — говорила она, утирая слезы. — Мне немного легче… и было бы еще легче, если б… не бабушка.

— Она еще не знает? — спросил он и вдруг замолчал, почувствовав, что в вопросе его был упрек.

Он потупил голову, представляя себе, как это поразит Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить перед Верой свою боязнь.

— Сегодня, вы видите, гости: нельзя. Завтра она всё узнает… Прощайте, Иван Иваныч: я ужасно страдаю — пойду и лягу.

Он глядел на Веру долго.

«Боже мой! какой слепой дурак этот Волохов — или какая… бестия!» — думал он с дрожью ярости.

— Не прикажете ли чего-нибудь? не нужно ли вам… — спросил он.

— Да, попросите Наташу приехать завтра или послезавтра ко мне.

— А мне можно побывать на той неделе? — спросил он робко, — узнать, успокоились ли вы…

— Успокойтесь сами, Иван Иваныч, — и прощайте теперь. Я едва держусь на ногах…

Он простился с ней и так погнал лошадей с

крутой горы, что чуть сам не сорвался с обрыва. По временам он, по привычке, хватался за бич, но вместо его под руку попадали ему обломки в кармане; он разбросал их по дороге. Однако он опоздал переправиться за Волгу, ночевал у приятеля в городе и уехал к себе рано утром.

VI

Настало и завтра. Шумно и весело поднялся дом на ноги. Лакеи, повара, кучера — всё хлопотало, суетилось: одни готовили завтрак, другие закладывали экипажи, и с утра опять все напились пьяны.

Бабушка отпускала Марфиньку за Волгу, к будущей родне, против обыкновения, молчаливо, с некоторой печалью. Она не обременяла ее наставлениями, не вдавалась в мелочные предостережения, даже на вопросы Марфиньки, что взять с собой, какие платья, вещи, рассеянно отвечала: «Что тебе вздумается». И велела Василисе и девушке Наталье, которую посылала с ней, снарядить и уложить что нужно.

Она поручила свое дитя Марье Егоровне, матери жениха, а последнему довольно серьезно заметила, чтобы он там, в деревне, соблюдал тонкое уважение к невесте и особенно при чужих людях, каких-нибудь соседях, воздерживался от той свободы, которою он пользовался при ней и своей матери в обращении с Марфинькой, что другие, пожалуй, перетолкуют иначе, — словом, чтоб не бегал с ней там по рощам и садам, как

здесь.

Заметив, что Викентьев несколько покраснел от этого предостережения, как будто обиделся тем, что в нем предполагают недостаток такта, и что и мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить такт ботинкой, Татьяна Марковна перешла в дружеский тон, потрепала «милого Николеньку» по плечу и прибавила, что сама знает, как напрасны эти слова, но что говорит их по привычке старой бабы — читать мораль. После того она тихо, про себя вздохнула и уже ничего не говорила до отъезда гостей.

К завтраку пришла и Вера, бледная, будто с невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней всё еще немного болит голова.

Татьяна Марковна была с ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее, среди разговора, два-три загадочных взгляда, как будто допрашиваясь: что с ней? отчего эта боль без болезни? что это она не пришла вчера к обеду, а появилась на минуту и потом ушла, а за ней пошел Тушин, и они ходили целый час в сумерки?.. И так далее.

Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этим вопросам, и они выглянули

у ней только из глаз, и на минуту. Вера, однако, прочла их, хотя та переменила взгляд сомнения на взгляд участия. Прочла и Татьяна Марковна.

Вера была равнодушна к этим вопросам, а Татьяна Марковна нет. Она вдруг поникла головой и стала смотреть в пол.

«И другие допрашиваются, а я не знаю! А она родилась при мне, она — мое дитя!» — думала она с печалью.

Вера была бледна, лицо у ней как камень: ничего не прочтешь на нем. Жизнь точно замерзла, хотя она и говорит с Марьей Егоровной обо всем, и с Марфинькой, и с Викентьевым. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью, советовала надеть плотное шерстяное платье, предложила свой плед и просила, при переправе чрез Волгу, сидеть в карете, чтоб не продуло.

Райский, воротясь с прогулки, пришел к завтраку тоже с каким-то странным, решительным лицом, как будто у человека впереди было сражение или другое важное, роковое событие и он приготовлялся к нему. Что-то обработалось, выяснилось или определилось в нем. Вчерашней тучи не было. Он так же покойно глядел на Веру, как на прочих, не избегал взглядов и Татьяны Мар-

ковны, и этим поставил ее опять в недоумение.

«У этого что-то новое: смотрит не по-вчерашнему, говорит другое, нежели что говорил вчера, наперекор себе. Господи, что за омут у них!» — думала она.

Райский обещал Викентьевым приехать к ним дня на два и очень был внимателен к предложениям жениха поохотиться, половить рыбу.

Наконец гости собрались. Татьяна Марковна и Райский поехали проводить их до берега. Вера простилась с Марфинькой и осталась дома.

Тесен был мир, в котором и прежде вращалась жизнь Веры, а теперь сделался еще теснее. Исключительная, глубокая натура ее долго довольствовалась тем запасом наблюдений, небольших опытов, которые она добывала около себя. Несколько человек заменяли ей толпу: то, что другой соберет со многих встреч, в многие годы и во многих местах, — давалось ей в двух-трех уголках, по ту и другую сторону Волги, с пяти-шести лиц, представлявших для нее весь людской мир, и в промежуток нескольких лет, с тех пор как понятия у ней созрели и сложились в более или менее определенный взгляд. Инстинкт и собственная воля писали ей законы ее пока девической жизни, а сердце чутко указывало на

тех, кому она могла безошибочно дать некоторые симпатии.

И она давала их осторожно, не тратила, как Марфинька, на всех. Из посторонних только жена священника была чем-то вроде ее наперсницы, да Тушина она открыто признавала и называла своим другом, — больше никого.

Она не теряла из вида путеводной нити жизни, и из мелких явлений, из немудреных личностей, толпившихся около нее, делала немелкие выводы, практиковала силу своей воли над окружавшею ее застарелостью, деспотизмом, грубостью нравов.

Она, по этой простой канве, умела чертить широкий, смелый узор более сложной жизни, других требований, идей, чувств, которых не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другие строки, которых жаждал ее ум и требовала натура.

Она смотрела вокруг себя и видела — не то, что есть, а то, что должно быть, что ей хотелось, чтоб было, и так как этого не было, то она брала из простой жизни около себя только одно живое, верное, созидая образ, противоположный тому, за немногими исключениями, что было около.

В область мысли, знания она вступила так же

недоверчивым и осторожным шагом, как была осторожна и скупа в симпатиях. Читала она книги в библиотеке старого дома, сначала от скуки, без выбора и системы, доставая с полки, что попадется, потом из любопытства, наконец, некоторые с увлечением.

Скоро она почувствовала бесцельность и бесплодность этого странствия по чужим умам без руководящей нити. Она хитро наводила на разговор Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что слушает, и особенно никогда ни перед кем не хвастаясь, что знает то или другое, чего не знают окружающие. Потом, с поверкой его взгляда, перечитывала книги опять и находила в них больше смысла и интереса. По просьбе молодого священника, возила книги ему и опять слушала, не делаясь семинаристом, рассеянно, его мысли и впечатления, высказанные под влиянием того или другого автора.

После всех пришел Марк — и внес новый взгляд во всё то, что она читала, слышала, что знала, взгляд полного и дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков. Он, с преждевременным триумфом, явился к ней, предвидя победу,

и ошибся.

Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталою, а так же пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросилась в глаза — зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, дарования, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, как казалось ей, что они были готовые.

Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неуменье справиться с старой правдой, бросающееся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей — без имени, без

прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой, во имя этого прочного, живого и верного, она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор.

Она страдала за эти уродливости и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец… чем бы он ни был для нее, — и идти на борьбу против старых врагов: стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых, разбитых голосов, не только Тычковых, но и самой бабушки, там, где последняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму, — вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убедиться, что истина — впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли в самом деле там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого чистого, светлого, разумного, что могло бы не только

избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел.

Она прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, — но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник.

А сама шла всё за ним, увлекаемая жаждой знать, что кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением: но Вера сама многого не признает в Старом Свете. Она и без него знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб вместо живых и страстных идеалов правды, добра, любви, человеческого развития и совершенствования показывает ей только ряд могил, готовых поглотить всё, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожиравшие толстых и не делавшиеся сами от того толще.

Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному.

Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и всё, что выражает материя.

Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека — с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то

стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что всё это делалось ненужным при том указываемом им случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду в огромном столбе, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтоб завтра дать место другому такому же столбу.

«Да, если это так, — думала Вера, — тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо запастись, как муравью зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такою честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно… Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели… Но так ли это? Где доказательства?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает — бессмертие в будущем и, в залог этого обещания, дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того,

что было до него: ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями, и впереди обещало — смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во всё, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что всё то, что было в его проповеди доброго и верного, — не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении.

От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что — как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это — есть единственный, непогрешительный, совершен-

нейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вере подозрительна стала личность самого проповедника — и она пятилась от него; даже послушавши, в начале знакомства, раза два его дерзких речей, указала на него Татьяне Марковне, и людям поручено было присматривать за садом. Волохов зашел со стороны обрыва, от которого удалял людей суеверный страх могилы самоубийцы. Он замечал недоверие Веры к себе и поставил себе задачей преодолеть его — и успел.

Вера наконец, почти незаметно для нее самой, поверила искренности его односторонних и поверхностных увлечений и от недоверия перешла к изумлению, участию. У ней даже бывали минуты, впрочем редкие, когда она колебалась в непогрешимости своих собранных молча, про себя, наблюдений над жизнью, над людьми, правил, которыми руководствовалось большинство.

Задумывалась она над всем, чем сама жила, — и почувствовала новые тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднее и пристальнее вслушиваться в Марка, встречаясь с ним в поле, за Волгой, куда он проникал вслед за нею, наконец, в беседке, на дне обрыва.

Где замечала явную ложь, софизмы, она боро-

лась, проясняла себе туман, вооруженная своими наблюдениями, логикой и волей. Марк топал в ярости ногами, строил батареи из своих доктрин и авторитетов — и встречал недоступную стену. Он свирепел, скалил зубы, как «волк», но проводником ее отповедей служили бархатные глаза, каких он не видал никогда, и лба его касалась твердая, но нежная рука, и он, рыча про себя, ложился смиренно у ног ее, чуя победу и добычу впереди, хотя и далеко.

Где Вера не была приготовлена, там она слушала молча и следила зорко — верует ли сам апостол в свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опыт, или он только увлечен остроумной или блестящей ипотезой. Он манил вперед образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, снятием всех покрывал с Изиды — и это будущее видел чуть не завтра, звал ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить с себя старое и поверить если не ему, то опыту. «И будем как боги!» — прибавлял он насмешливо.

Вера не шла, боролась, — и незаметно, мало-помалу перешла сама в активную роль: воротить и его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь, сначала в правду любви, человеческого, а не животного счастья, а там и дальше, в глубину

ее веры, ее надежд!..

Марк понемногу, кое в чем, уступал, покорялся некоторым ее требованиям: перестал делать эксцентрические выходки, не дразнил местные власти, стал опрятнее в образе жизни, не щеголял цинизмом.

Она была счастлива — и вот причина ее экстаза, замеченного Татьяной Марковной и Райским. Она чувствовала, что сила ее действует, пока еще только на внешнюю его жизнь, и надеялась, что, путем неусыпного труда, жертв, она мало-помалу совершит чудо — и наградой ее будет счастье женщины — быть любимой человеком, которого угадало ее сердце.

Она введет нового и сильного человека в общество. Он умен, настойчив, и если будет прост и деятелен, как Тушин, тогда… и ее жизнь угадана. Она недаром жила. А там она не знала, что будет.

Между тем она, по страстной, нервной натуре своей, увлеклась его личностью, влюбилась в него самого, в его смелость, в самое это стремление к новому, лучшему — но не влюбилась в его учение, в его новые правды и новую жизнь и осталась верна старым, прочным понятиям о жизни, о счастье. Он звал к новому делу, к новому труду, но нового дела и труда, кроме раздачи

запрещенных книг, она не видела.

Соглашаясь в необходимости труда, она винила себя первая за бездействие и чертила себе, в недальнем будущем, образ простого, но действительного дела, завидуя пока Марфиньке в том, что та приспособила свой досуг и свои руки к домашнему хозяйству и отчасти к деревне.

Она готовилась пока разделить с сестрой ее труды — лишь только, так или иначе, выйдет из этой тяжкой борьбы с Марком, которая кончилась наконец недавно — не победой того или другого, а взаимным поражением и разлукой навсегда.

Всё это пробежало в уме Веры, пока Татьяна Марковна и Райский провожали гостей за Волгу.

«Что теперь он делает, этот волк? — думала она иногда, — торжествует ли свою победу…»

Она не додумывалась и вздрагивала.

Она открыла ящик, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумаге, которое прислал ей Марк рано утром через рыбака. Она посмотрела на него с минуту, подумала — и решительно бросила опять нераспечатанным в стол.

Все другие муки глубоко хоронились у ней в душе. На очереди стояла страшная битва насмерть с новой бедой: что бабушка? Райский успел шепнуть ей, что будет говорить с Татьяной

Марковной вечером, когда никого не будет, чтоб и из людей никто не заметил впечатления, какое может произвести на нее эта откровенность.

У Веры зловещей бедой заныла грудь, когда Райский говорил ей о своей предосторожности. Она измеряла этим степень беды и мысленно желала не дожить до вечера.

Она немного отдохнула, открыв всё Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнее. Она сбросила часть тяжести, как моряки в бурю бросают часть груза, чтоб облегчить корабль. Но самый тяжелый груз был на дне души, и ладья ее сидела в воде глубоко, черпала бортами и могла, при новом, ожидаемом шквале, черпнуть и не встать больше.

Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на час и потом опять клонила голову.

— Нельзя жить, нельзя! — шептала она и шла в свою часовню, в ужасе смотрела на образ, стоя на коленях.

Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее, персты были сложены в благословение, но не благословляли ее.

Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения — знамения не было. Она уходила как убитая, в отчаянии.

VII

Бабушка, воротясь, занялась было счетами, но вскоре отпустила всех торговок, швей и спросила о Райском. Ей сказали, что он ушел на целый день к Козлову, куда он в самом деле отправился, чтоб не оставаться наедине с Татьяной Марковной до вечера.

Она послала узнать, что Вера, прошла ли голова, придет ли она к обеду? Вера велела отвечать, что голове легче, просила прислать обед в свою комнату и сказала, что ляжет пораньше спать.

Тут случилось в дворне не новое событие: Савелий чуть не перешиб спину Марине поленом, потому что хватился ее на заре, в день отъезда гостей, пошел отыскивать и видел, как она шмыгнула из комнаты, где поместили лакея Викентьевой. Она пряталась целое утро по чердакам, в огороде, наконец пришла, думая, что он забыл.

Он исхлестал ее вожжой. Она металась из угла в угол, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это был «дьявол в ее образе» и т. п. Но когда он бросил вожжу и взял полено, она застонала и после первого удара повалилась ему в ноги,

крича «виновата», и просила помилования.

Она клялась всем, и между прочим «своей утробой», что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда Бог убьет ее и покарает навсегда. Савелий остановился, положил полено и отер рукавом лоб.

— Ладно, — сказал он, — пущай будет по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь! не стану бить, отступлюсь от тебя!

Он махнул на нее рукой.

Всё это донесли Татьяне Марковне, но она только поморщилась с отвращением и махнула Василисе рукой, чтоб не докучала ей.

Приезжали некоторые барыни с визитом, приехал заволжский помещик, и еще двое гостей из города, и остались обедать.

Все слышали, что Вера Васильевна больна, и пришли наведаться. Татьяна Марковна объявила, что Вера накануне прозябла и на два дня осталась в комнате, а сама внутренно страдала от этой лжи, не зная, какая правда кроется под этой подложной болезнью, и даже не смела пригласить доктора, который тотчас увидал бы, что болезни нет, а есть моральное расстройство, которому должна быть причина.

Она не ужинала, и Тит Никоныч из вежливости

сказал, что «не имеет аппетита». Наконец явился Райский, несколько бледный, и тоже отказался от ужина. Он молча сидел за столом, с каким-то сдержанным выражением в лице, и будто не замечал изредка обращаемых на него Татьяной Марковной вопросительных взглядов.

Наконец Тит Никоныч расшаркался, поцеловал у ней руку и уехал. Бабушка велела готовить постель и не глядела на Райского. Она сухо пожелала ему «покойной ночи», чувствуя себя глубоко оскорбленной и в сердце, и в самолюбии.

Около нее происходит что-то таинственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставляют в стороне, как чужую или как старую, отжившую, ни на что не способную женщину.

Она не подозревала уважения, боязни и пощады, мешавших им открыться.

Райский вполголоса сказал ей, что ему нужно поговорить с ней, чтоб она как-нибудь незаметно отослала людей. Она остановила на нем неподвижный от ужаса взгляд. У ней побелел даже нос.

— Беда? — спросила она отрывисто.

Он мялся.

— Нет… — отвечал он нерешительно, — с моей точки зрения — нет беды…

— А если с моей — есть, то, значит, и беда! — заметила она тихо. — Да вон ты бледен, стало быть, знаешь и сам, что беда.

Она мало-помалу удалила людей, сказавши, что еще не ляжет спать, а посидит с Борисом Павловичем, и повела его в кабинет.

Она села в свое старое вольтеровское кресло, поставив лампу подальше на бюро и закрыв ее колпаком.

Они сидели в полумраке. Она, поникнув головой, не глядела на него и ожидала. Райский начал свой рассказ, стараясь подойти «к беде» как можно мягче и осторожнее.

У него дрожали губы, и язык нередко отказывался говорить. Он останавливался, давая себе отдых, потом собирался с силами и продолжал.

Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Под конец он шептал едва слышно.

Он вышел от нее, когда стал брезжиться день. Когда он кончил, она встала, выпрямилась медленно, с напряжением, потом так же медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о стол. Из груди ее вырвался не то вздох, не то стон.

— Бабушка! — говорил Райский, пугаясь выражения ее лица и становясь на колени перед

ней, — спасите Веру…

— Поздно послала она к бабушке, — шептала она, — Бог спасет ее! Береги ее, утешай, как знаешь! Бабушки нет больше!

Она ступила шаг, он загородил ей дорогу.

— Бабушка, что вы, что с вами? — говорил он в страхе.

— Бабушки нет у вас больше… — твердила она рассеянно, стоя там, где встала с кресла, и глядя вниз. — Поди, поди! — почти гневно крикнула она, видя, что он медлит, — не ходи ко мне… не пускай никого, распоряжайся всем… А меня оставьте все… все!

Она стояла всё на своем месте как прикованная, с безжизненным, точно спящим, взглядом. Он хотел ей что-то сказать. Она нетерпеливо махнула ему рукой.

— Уйди к ней, береги ее! бабушка не может, бабушки нет! — шептала она.

И сделала повелительный жест рукой, чтоб он шел. Он вышел в страхе, бледный, сдал всё на руки Якову, Василисе и Савелью и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей.

А она машинально опустилась опять в кресло и как будто заснула в бессознательной, мертвой

дремоте и оставалась неподвижно до утра, когда совсем рассвело.

Утром рано Райский, не ложившийся спать, да Яков с Василисой видели, как Татьяна Марковна, в чем была накануне и с открытой головой, с наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла из дому, ногой отворяя двери, прошла все комнаты, коридор, спустилась в сад и шла, как будто бронзовый монумент встал с пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что не глядя.

Она шла через цветник, по аллеям, к обрыву, стала спускаться с обрыва ровным, медленным и широким шагом, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась в лес.

Райский бросился украдкой за ней, прячась за деревья.

Она шагала всё ниже, ниже, прошла к беседке, поникла головой и стала как вкопанная. Райский подкрадывался сзади ее, удерживая дыхание.

— Мой грех! — сказала она, будто простонала, положив руки на голову, и вдруг ускоренными шагами пошла дальше, вышла к Волге и стала неподвижно у воды.

Ветер хлестал и обвивал платье около ее ног, шевелил ее волосы, рвал с нее шаль — она не замечала.

У Райского замер дух от мелькнувшей догадки: хочет утопиться!

Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокий след на влажном песке.

Райский вздохнул свободнее, но, взглянув из-за кустов на ее лицо, когда она тихо шла тою же широкой походкой назад, — он еще больше замер от ужаса.

Он не узнал бабушку. На лице у ней легла точно туча, и туча эта была — горе, та «беда», которую он в эту ночь возложил ей на плечи. Он видел, что нет руки, которая бы сняла это горе.

Она правду сказала: бабушки нет больше. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нежная мать семейства, не помещица Малиновки, где всё жило и благоденствовало ею и где жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленьким царством. Это была другая женщина.

Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила. Как широко шагает она, как прямо и высоко несет голову и плечи, и на них — эту свою «беду»! Она, не чуя ног, идет по лесу в крутую гору; шаль повисла с плеч и метет концом сор и пыль. Она смотрит куда-то вдаль немигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый,

покорный ужас.

Сознание всего другого, кроме «беды», умерло в лице: она точно лунатик или покойница.

Он едва поспевал следить за ней среди кустов, чтоб не случилось с ней чего-нибудь. Она всё шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обеими руками о дерево, положила на руки голову.

— Мой грех! — повторила она прямо грудью, будто дохнула, — тяжело, облегчи, не снесу! — шепнула потом и опять выпрямилась и пошла в гору, поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах.

Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую, необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелые скорби, — думал он. — Им, как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза — смотреть в пропасти. И только верующая душа несет горе так, как несла его эта женщина, — и одни женщины так выносят его! В женской половине человеческого рода, — думалось ему, — заключены великие силы, ворочающие миром. Только не поняты, не признаны, не возделаны они, ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо

затоптаны или присвоены мужской половиной, не умеющей ни владеть этими великими силами, ни разумно повиноваться им, от гордости. А женщины, не узнавая своих природных и законных сил, вторгаются в область мужской силы — и от этого взаимного захвата — вся неурядица».

«Это не бабушка!» — с замиранием сердца, глядя на нее, думал он. Она казалась ему одною из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать!

У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушке. Виделась ему в ней — древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени — с улыбкой горделивого презрения услышавшая в народе глухое пророчество и угрозу: «снимется венец с народа, не узнавшего посещения», «придут римляне и вóзьмут»! Не верила она, считая незыблемым венец, возложенный рукою Иеговы на голову Израиля. Но когда настал час — «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняв свой венец, и молча, без ро-

пота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах пошла среди павшего царства, в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же — как эта бабушка теперь — несла святыню страдания на лице, будто гордясь и силою удара, постигшего ее, и своею силою нести его.

Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая всё посадницей, всё противницей Москвы, и как будто распорядительницей судеб вольного города.

Толпились перед ним, точно живые, тени других великих страдалиц: русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу; других цариц, в роковые минуты стоявших во главе царства и спасавших его…

С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой

красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие, и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям — князьям и неся и их, и свою «беду».

И мужья, преклоняя колена перед этой новой для них красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и сияли, среди испытания, нетленной красотой, как великие статуи, пролежавшие тысячелетия в земле, выходили с язвами времени на теле, но сияющие вечной красотой великого мастера.

Такую великую силу — стоять под ударом грома, когда всё падает вокруг, — бессознательно, вдруг, как клад найдет, почует в себе русская женщина из народа, когда пламень пожара пожрет ее хижину, добро и детей.

С таким же немым, окаменелым ужасом, как бабушка, как новгородская Марфа, как те царицы и княгини, — уходит она прочь, глядя неподвижно на небо, и, не оглянувшись на столп огня и дыма, идет сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, ведя дряхлую мать и взглядом и ногой толкая вперед малодушного мужа, когда он, упав, грызя землю, смотрит назад

и проклинает пламя…

Она идет, твердо шагая загорелыми ногами, дальше, дальше, не зная, где остановится или упадет, потеряв силу. Она верит, что рядом идет с ней другая сила и несет ее «беду», которую не снесла бы одна!

В открыто смотрящем и ничего не видящем взгляде лежит сила страдать и терпеть. На лице горит во всем блеске красота и величие мученицы. Гром бьет ее, огонь палит, но не убивает женскую силу.

Райский с ужасом отмахивался от этих незваных в горькие минуты явлений своей беспощадной фантазии и устремил зоркое внимание за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть в ее душе: что за образ муки поселился в ней?

Падало царство Татьяны Марковны, пустел дом, похищено ее заветное, дорогое сокровище, ее гордость, ее жемчужина! Она одна бродила будто по развалинам. Опустела и душа у ней! Дух мира, гордости, благоденствия покинул счастливый уголок.

Она видела теперь в нем мерзость запустения — и целый мир опостылел ей. Когда она останавливалась, как будто набраться силы, глотнуть

воздуха и освежить запекшиеся от сильного и горячего дыхания губы, колени у ней дрожали: еще минута — и она готова рухнуть на землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал ей: «Иди, не падай — дойдешь!»

И старческое бессилие пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидела ночь у себя в кресле, томясь страшной дремотой, с бредом и стоном, потом просыпалась, жалея, что проснулась, вставала с зарей и шла опять с обрыва, к беседке, долго сидела там на развалившемся пороге, положив голову на голые доски пола, потом уходила в поля, терялась среди кустов у Приволжья.

Случайно наткнулась она на часовню, в поле, подняла голову, взглянула на образ — и новый ужас, больше прежнего, широко выглянул из ее глаз. Ее отшатнуло в сторону.

Она, как раненый зверь, упала на одно колено, тяжело приподнялась и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв лицо шалью от образа Спасителя, и простонала: «Мой грех!»

Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотвор-

цам, если барыня оправится, а Яков поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе.

Прочие люди все спрятались по углам и глядели из щелей, как барыня, точно помешанная, бродила по полю и по лесу. Даже Марина, и та ошалела и ходила как одичалая.

Только Егорка пробовал хихикать и затрогивал горничных, но они гнали его прочь, а Василиса назвала его «супостатом».

Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райский пробовал выйти к ней навстречу, остановить ее и заговорить с ней, она махнула ему повелительно рукой, чтоб шел прочь.

Наконец он взял кружку молока и решительно подступил к ней, взяв ее за руку. Она поглядела на него, как будто не узнала, поглядела на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой из рук его и с жадностью выпила молоко до последней капли, глотая медленными, большими глотками.

— Бабушка, пойдемте домой, — не мучайте себя и нас! — умолял он, — вы убьете себя.

Она махнула ему рукой.

— Бог посетил: не сама хожу. Его сила носит, — надо выносить до конца. Упаду — подберите меня… Мой грех! — шепнула потом и пошла дальше.

Сделав шагов десять, она обернулась к нему. Он подбежал к ней.

— Если не вынесу… умру… — заговорила она и сделала ему знак, чтоб он наклонил голову.

Он стал на колени перед ней.

Она прижала его голову к своей груди, крепко поцеловала ее и положила на нее руку.

— Прими мое благословение, — сказала она, — и передай им… Марфиньке и… ей, — бедной моей Вере… слышишь, и ей!..

— Бабушка! — говорил он, заливаясь слезами и целуя у ней руку.

Она вырвала руку и пошла дальше блуждать в кустах, по берегу, по полю.

«У верующей души есть свое царство! — думал Райский, глядя ей вслед и утирая слезы, — только она умеет так страдать за всё, что любит, и так любить, и так искупать свои и чужие заблуждения!»

Вера была не в лучшем положении. Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой, — и когда, на другой день, она, бледная, измученная, утром рано послала за ним и спросила: «Что бабушка?» — он вместо ответа указал ей на Татьяну Марковну, как она шла по саду и по аллеям в поле.

Вера бросилась к окнам и жадно вглядывалась в это странствие бабушки с ношей «беды». Она успела мельком уловить выражение на ее лице и упала в ужасе сама на пол, потом встала, бегая от окна к окну, складывая вместе руки и простирая их, как в мольбе, вслед бабушке.

Она сама ходила как дикая по большим запущенным залам старого дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинные канапе, наталкиваясь на мебель.

Она рвалась к бабушке и останавливалась в ужасе: показаться ей на глаза значило, может быть, убить ее.

Настала настоящая казнь Веры. Она теперь только почувствовала, как глубоко вонзился нож и в ее, и в чужую, но близкую ей жизнь, видя, как страдает за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступление чужою казнью.

«Она за что? Она — святая! А я!..» — терзалась она.

Райский принес ей благословение Татьяны Марковны. Вера бросилась ему на шею и долго рыдала.

К вечеру второго дня нашли Веру сидящую на

полу, в углу большой залы, полуодетую. Борис и жена священника, приехавшая в тот день, почти силой увели ее оттуда и положили в постель.

Райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. Тот прописал успокоительное питье, Вера выпила, но не успокоилась, забывалась часто сном, просыпалась и спрашивала: «Что бабушка?»

Потом опять впадала в забытье.

Она не слушала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать все секреты Веры, беречь их, покоряться ей, как сильнейшей себе властной натуре, разделять безусловно ее образ мыслей, поддакивать желаниям, но оказавшаяся бессильною, когда загремел сильный гром над головой Веры, помочь снести его и успокоить ее.

— Дай мне пить! — шептала Вера, не слушая ее лепета, — не говори, посиди так, не пускай никого… Узнай, что бабушка?

Так было и ночью. Просыпаясь, в забытьи, Вера постоянно шептала: «Бабушка нейдет! бабушка не любит! бабушка не простит!»

На третий день Татьяна Марковна ушла, не видали как, из дома. Райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив разбудить себя, когда она выйдет из дому.

Но Яков и Василиса ушли к ранней обедне, а Пашутка, завидя идущую барыню, с испуга залезла в веники и метлы, хранившиеся в чулане, да там и заснула. Прочие люди разбежались в разные стороны.

Однако Савелий видел, что барыня сошла с обрыва, что она шла нетвердо, хваталась за деревья, и потом прошла в поле.

Райский бросился вслед за ней и из-за угла видел, как она медленно возвращалась по полю к дому. Она останавливалась и озиралась назад, как будто прощалась с крестьянскими избами. Райский подошел к ней, но заговорить не смел. Его поразило новое выражение ее лица. Место покорного ужаса заступило, по-видимому, безотрадное сознание. Она не замечала его и как будто смотрела в глаза своей «беде».

Ей наяву снилось, как царство ее рушилось и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После, от нее самой, он узнал страшный сон, ей снившийся.

Озираясь на деревню, она видела — не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб — притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и

крапивой.

Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора.

Сад, цветник, огороды — смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе.

Новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял всё — когда всё живое с ужасом ушло от этих мест — он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни.

В камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее… кого уж нет, кто умрет тогда, ее Веры — скользит по тусклым, треснувшим паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду, с обрыва в беседку…

Райский видел, что по лицу бабушки потекла

медленно слеза и остановилась, как будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть…

Он бросился к ней и с помощью Василисы довел до дома, усадил в кресла и бросился за доктором. Она смотрела, не узнавая их. Василиса горько зарыдала и повалилась ей в ноги.

— Матушка Татьяна Марковна! — вопила она, — придите в себя, сотворите крестное знамение!

Старуха перекрестилась, вздохнула, и знаком показала, что не может говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла в постель, почти машинально, как будто не понимая, что делает. Василиса раздела ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртом и наконец заставила проглотить рюмку теплого вина. Доктор велел ее не беспокоить, оставить спать и потом дать лекарство, которое прописал.

До Веры дошло неосторожное слово: бабушка слегла! Она сбросила с себя одеяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотела идти к ней. Но Райский остановил ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась в крепкий сон.

К вечеру Вера также разнемоглась. У ней по-

явился жар и бред. Она металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала.

Райский совсем потерял голову и наконец решился пригласить старого доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о расстройстве Веры, не говоря, конечно, о причине. Он с нетерпением ждал только утра и беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне, от Татьяны Марковны к Вере.

Бабушка лежала с закрытой головой. Он боялся взглянуть, спит ли она или всё еще одолевает своей силой силу горя. Он на цыпочках входил к Вере и спрашивал Наталью Ивановну: что она?

— Беспрестанно просыпается и плачет, бредит! — говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья.

— Боже мой! — говорил Райский, возвращаясь к себе и бросаясь, усталый и телом и душой, в постель. — Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды и как люди остаются целы после такой трескотни! А мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара — тонкие блюда!..

VIII

Вере к утру не было лучше. Жар продолжался, хотя она и спала. Но сон ее беспрестанно прерывался, и она лежала в забытьи.

Райский пошел к Татьяне Марковне и вместе с Василисой вошел в ее спальню.

Она лежала всё в том же положении, как целый день вчера.

— Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтоб не испугать, — шептал Райский.

— Не разбудить ли барыню?

— Да, надо бы, Вера больна… Я не знаю, послать ли за Петром Петровичем?..

Он не договорил, как Татьяна Марковна вдруг приподнялась и села на постели.

— Вера больна? — повторила она.

Райский вздохнул свободнее.

На лицо бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдруг хлынула жизнь, забота, страх. Она сделала ему знак рукой, чтоб вышел, и в полчаса кончила свой туалет.

Широкими, но поспешными шагами, с тревогой на лице, перешла она через двор и поднялась к Вере. Усталости — как не бывало. Жизнь воро-

тилась к ней, и Райский радовался, как доброму другу, страху на ее лице.

Она осторожно вошла в комнату Веры, устремила глубокий взгляд на ее спящее, бледное лицо и шепнула Райскому послать за старым доктором. Она тут только заметила жену священника, увидела ее измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней целый день.

— Теперь никто не нужен: я тут! — сказала она и устроила себе помещение подле постели Веры.

Приехал доктор. Татьяна Марковна, утаив причину, искусно объяснила ему расстройство Веры. Он нашел признаки горячки, дал лекарство и сказал, что если она успокоится, то и последствий опасных ожидать нельзя.

Вера в полусне приняла лекарство и вечером заснула крепко.

Татьяна Марковна села сзади изголовья и положила голову на те же подушки с другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движение, вслушиваясь в дыхание Веры.

Вера просыпалась, спрашивала: «Ты спишь, Наташа?» — и, не получив ответа, закрывала глаза, по временам открывая их с мучительным вздохом опять, лишь только память и сознание напомнят ей ее положение.

Она спешила погрузиться в свою дремоту; ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой.

Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука из-за подушки подала ей питье.

— Что бабушка? — спросила она, открыв глаза, и опять закрыла их. — Наташа, где ты? поди сюда, что ты всё прячешься?

Ответа не было.

Она глубоко вздохнула и опять стала дремать.

— Бабушка нейдет! Бабушка не любит! — шептала она с тоской, отрезвившись на минуту от сна. — Бабушка не простит!

— Бабушка пришла! Бабушка любит! Бабушка простила! — произнес голос над ее головой.

Вера вскочила с постели и бросилась к Татьяне Марковне.

— Бабушка! — закричала она и спрятала голову у ней на груди, почти в обмороке.

Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей седой головой рядом с этими темными, густыми волосами, разбросанными по бледному, прекрасному, измученному лицу.

Вера, очнувшись на груди этой своей матери, в потоках слез, без слов, в судорогах рыданий, изливала свою исповедь, раскаяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу страданий.

Бабушка молча слушала рыдания и платком отирала ее слезы, не мешая плакать и только прижимая ее голову к своей груди и осыпая поцелуями.

— Не ласкайте, бабушка… бросьте меня… не стою я… отдайте вашу любовь и ласки сестре…

Бабушка в ответ крепче прижала ее к груди.

— Сестре не нужны больше мои ласки, а мне нужна твоя любовь — не покидай меня, Вера, не чуждайся меня больше: я сирота! — сказала она и сама заплакала.

Вера сжала ее всей своей силой.

— Мать моя, простите меня… — шептала она.

Бабушка поцелуем зажала ей рот.

— Молчи, ни слова — никогда!

— Я не слушала вас… Бог покарал меня за вас…

— Что ты говоришь, Вера? — вдруг, в ужасе, бледнея, остановила ее Татьяна Марковна, и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лесу и по оврагам.

— Да, я думала, что одной своей воли и ума довольно на всю жизнь, что я умнее всех вас…

Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, по-видимому, встревожила какая-то другая мысль или предположение.

— Ты и умнее меня, и больше училась, — сказа-

ла она, — тебе Бог дал много остроты — но ты не опытнее бабушки…

«Теперь… и опытнее!» — подумала Вера и припала лицом к ее плечу. — Возьмите меня отсюда: Веры нет. Я буду вашей Марфинькой… — шептала она. — Я хочу вон из этого старого дома, туда, к вам…

Бабушка молча ласкала ее.

Обе головы покоились рядом, и ни Вера, ни бабушка не сказали больше ни слова. Они тесно прижались друг к другу и к утру заснули в объятиях одна другой.

IX

Вера встала утром без жара и озноба, только была бледна и утомлена. Она выплакала болезнь на груди бабушки. Доктор сказал, что ничего больше и не будет, но не велел выходить несколько дней из комнаты.

Всё пришло в прежний порядок. Именины Веры, по ее желанию, прошли незаметно. Ни Марфинька, ни Викентьевы не приехали с той стороны. К ним послан был нарочный сказать, что Вера Васильевна не так здорова и не выходит из комнаты.

Тушин прислал почтительную записку с поздравлением и просил позволения побывать.

Ему отвечали: «Погодите, я еще нездорова».

Приезжавшим из города всем отказывали, под предлогом болезни именинницы. Только горничные, несмотря ни на что, разрядились в свои разноцветные платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакеи опять напились пьяны.

Вера и бабушка стали в какое-то новое положение одна к другой. Бабушка не казнила Веру никаким притворным снисхождением, хотя

очевидно не принимала так легко решительный опыт в жизни женщины, как Райский, и еще менее обнаруживала то безусловное презрение, каким клеймит эту «ошибку», «несчастье» или, пожалуй, «падение» старый, въевшийся в людские понятия ригоризм, не разбирающий даже строго причин «падения».

Обе смотрели друг на друга серьезно, говорили мало, больше о мелочах, ежедневных предметах, но в обменивающихся взглядах высказывался целый немой разговор.

Обе как будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова ни в защиту, ни в оправдание «падения», не напоминала ни о чем и видимо старалась, чтоб и Вера забыла.

Она только удвоила ласки, но не умышленно, не притворно — с целью только скрыть свой суд или свои чувства. Она в самом деле была нежнее, будто Вера стала милее и ближе ей после своей откровенности, даже и самого проступка.

Вера видела эту безыскусственность, но ей было не легче от этого. Она ждала и хотела строгого суда, казни. Например, если б бабушка на полгода или на год отослала ее с глаз долой, в свою дальнюю деревню, а сама справилась бы как-нибудь

с своими обманутыми и поруганными чувствами доверия, любви и потом простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее в свою любовь, не дарила бы лаской и нежностью, пока Вера несколькими годами, работой всех сил ума и сердца не воротила бы себе права на любовь этой матери, — тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупление или по крайней мере забвение, если правда, что «время всё стирает с жизни», как утверждает Райский.

«Всё ли?» — думала она печально. Времени не стало бы стереть все ее муки, которые теперь, одна за другою, являлись по очереди наносить каждая свои удары, взглянув сначала все вместе ей в лицо.

Она уже пережила их несколько, теперь переживает одну из самых страшных, а внутри ее еще прячется самая злая, которой никто не знает и которую едва ли сотрет время.

Она старалась не думать о ней и в эту минуту думала только — как помирить бабушку с горем, облегчить ей удары.

Она вникала в это молчание бабушки, в эту ее новую нежность к себе, и между тем подстерегала какие-то бросаемые исподтишка взгляды на нее, — и не знала, чем их объяснить?

Что бабушка страдает невыразимо — это ясно. Она от скорби изменилась: по временам горбится, пожелтела, у ней прибавились морщины. Но тут же рядом, глядя на Веру или слушая ее, она вдруг выпрямится, взгляд ее загорится такою нежностью, что как будто она теперь только нашла в Вере не прежнюю Веру, внучку, но собственную дочь, которая стала ей еще милее.

Отчего же милее? Может быть, бабушка теперь щадит ее, думалось Вере, оттого что ее женское, глубокое сердце открылось состраданию. Ей жаль карать бедную, больную, покаявшуюся, — и она решилась покрыть ее грех христианским милосердием.

«Да, больше нечего предположить, — смиренно думала она. — Но, Боже мой, какое страдание — нести это милосердие, эту милостыню! Упасть, без надежды встать, — не только в глазах других, но даже в глазах этой бабушки, своей матери!»

Она будет лелеять, ласкать ее, пожалуй, больше прежнего, но ласкать, как ласкают бедного идиота, помешанного, обиженного природой или судьбой, или еще хуже — как падшего, несчастного брата, которому люди бросают милостыню сострадания!

Гордость, человеческое достоинство, права на

уважение, целость самолюбия — всё разбито вдребезги! Оборвите эти цветы с венка, которым украшен человек, и он сделается почти вещью.

Толпа сострадательно глядит на падшего и казнит молчанием, как бабушка — ее! Нельзя жить тому, в чьей душе когда-нибудь жила законная человеческая гордость, сознание своих прав на уважение, кто носил прямо голову, — нельзя жить!

Она слыхала несколько примеров увлечений, припомнила, какой суд изрекали люди над падшими и как эти несчастные несли казнь почти публичных ударов.

«Чем я лучше их? — думала Вера. — А Марк уверял, и Райский тоже, что за этим… “Рубиконом” начинается другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая “лучшая”!»

Бабушка сострадательна к ней: от одного этого можно умереть! А, бывало, она уважала ее, гордилась ею, признавала за ней права на свободу мыслей и действий, давала ей волю, верила ей! И всё это пропало! Она обманула ее доверие и не устояла в своей гордости!

Она — нищая в родном кругу. Ближние видели ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой из жалости, гордо думая про себя: «Ты не

встанешь никогда, бедная, и не станешь с нами рядом: прими Христа ради наше прощение!»

«Что ж, и приму, ради Его, — и смирюсь! Но я хочу не милости, а гнева, грома… Опять гордость! где же смирение? Смирение значит — выносить взгляд укоризны чистой женщины, бледнеть под этим взглядом целые годы, всю жизнь, и не сметь роптать. И не буду! Перенесу всё: сострадательное великодушие Тушина и Райского, жалость, прикрывающую, может быть, невольное презрение бабушки… Бабушка презирает меня!» — вся трясясь от тоски, думала она и пряталась от ее взгляда, сидела молча, печальная, у себя в комнате, отворачивалась или потупляла глаза, когда Татьяна Марковна смотрела на нее с глубокой нежностью… или сожалением, как казалось ей.

Тут ей, как всегда бывает, представлялась чистота, прелесть, весь аромат ее жизни — до встречи с Марком, ее спокойствие до рокового вечера… Она вздрагивала.

Оказалось, что у ней пропало и пренебрежение к чужому мнению. Ей стало больно упасть в глазах даже и «глупцов», как выражался Марк. Она вздыхала по удивлению их к себе, ей стало жаль общего поклонения, теперь утраченного!

«Ах, хоть “Кунигунда” надоумила бы меня то-

гда!» — думала она с трагическим юмором.

Она хотела молиться и не могла. О чем она станет молиться? Ей остается смиренно склонить голову перед громом и нести его. Она клонила голову и несла тяжесть «презрения», как она думала.

Снаружи она казалась всем покойною, но глаза у ней впали, краски не появлялись на бледном лице, пропала грация походки, свобода движений. Она худела и видимо томилась жизнью.

Ей ни до кого и ни до чего не было дела. Она отпустила Наталью Ивановну домой, сидела у себя запершись, обедала с бабушкой, поникала головой, когда та обращала на нее пристальный взгляд или заговаривала ласково и нежно. Она делалась еще угрюмее и спешила исполнять, покорнее Пашутки, каждое желание Татьяны Марковны, выраженное словом или взглядом.

Ее как будто стало не видно и не слышно в доме. Ходила она тихо, как тень, просила, что нужно, шепотом, не глядя в глаза никому прямо. Не смела ничего приказывать. Ей казалось, что Василиса и Яков смотрели на нее сострадательно, Егорка дерзко, а горничные насмешливо.

«Вот она, “новая жизнь”!» — думала она, потупляя глаза перед взглядом Василисы и Якова

и сворачивая быстро в сторону от Егорки и от горничных. А никто в доме, кроме Райского, не знал ничего. Но ей казалось, как всем кажется в ее положении, что она читала свою тайну у всех на лице.

И Татьяна Марковна, наблюдая за Верой, задумывалась и как будто заражалась ее печалью. Она тоже ни с кем почти не говорила, мало спала, мало входила в дела, не принимала ни приказчика, ни купцов, приходивших справляться о хлебе, не отдавала приказаний в доме. Она сидела, опершись рукой о стол и положив голову в ладони, оставаясь подолгу одна.

И она, и Вера — обе привязались к Райскому. Простота его души, мягкость, искренность, глядевшая из каждого слова, и откровенность, простертая до болтливости, наконец, игра фантазии — всё это несколько утешало и развлекало и ту, и другую.

Он иногда даже заставлял их улыбаться. Но он напрасно старался изгнать совсем печаль, тучей севшую на них обеих и на весь дом. Он и сам печалился, видя, что ни уважение его, ни нежность бабушки — не могли возвратить бедной Вере прежней бодрости, гордости, уверенности в себе, сил ума и воли.

— Бабушка презирает меня, любит из жалости! Нельзя жить, я умру! — шептала она Райскому. Тот бросался к Татьяне Марковне, передавая ей новые муки Веры. К ужасу его, бабушка как потерянная слушала эти тихие стоны Веры, не находя в себе сил утешить ее, бледнела и шла молиться.

— Молись и ты! — шептала она ей иногда мимоходом.

— Молитесь вы за меня, — я не могу! — отвечала Вера.

— Плачь! — говорила бабушка.

— Слез нет! — отвечала Вера, и они молча расходились по своим углам.

Райский также привязался к ним обеим, стал их другом. Вера и бабушка высоко поднялись в его глазах, как святые, и он жадно ловил каждое слово, взгляд, не зная перед кем умиляться, плакать.

В Вере оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тут рядом возникла другая статуя — сильной, античной женщины — в бабушке. Та огнем страсти, испытания очистилась до самопознания и самообладания, а эта…

Откуда у ней этот источник мудрости и силы? Она — девушка! Он никак не мог добраться; бабушка была загадкой для него. Он напрасно искал ключа.

Обе упрашивали Райского остаться тут навсегда, жениться, завестись домом.

— Боюсь, не выдержу, — говорил он в ответ, — воображение опять запросит идеалов, а нервы новых ощущений, и скука съест меня заживо! Какие цели у художника? Творчество — вот его жизнь!.. Прощайте! скоро уеду, — заканчивал он обыкновенно свою речь и еще больше печалил обеих и сам чувствовал горе, а за горем грядущую пустоту и скуку.

Бабушка погружалась в свою угрюмость, Вера тайно убивалась печалью, и дни проходили за днями. Тоска Веры была постоянная, неутолимая, и печаль Татьяны Марковны возрастала по мере того, как она следила за Верой.

Она, пока Вера хворала, проводила ночи в старом доме, ложась на диване, против постели Веры, и караулила ее сон. Но почти всегда случалось так, что обе женщины, думая подстеречь одна другую, видели, что ни та ни другая не спит.

— Ты не спишь, Верочка? — спросит бабушка.

— Сплю, — отвечает Вера и закрывает глаза, чтоб обмануть бабушку.

— Вы не спите, бабушка? — спросит и Вера, также поймав ее смотрящий на нее взгляд.

— Сейчас только проснулась, — говорит Татьяна Марковна и поворачивается на другой бок.

«Нельзя жить! нет покоя и не будет никогда!» — терзалась про себя Вера.

«Нет — не избудешь горя. Бог велит казнить себя, чтоб успокоить ее…» — думала бабушка с глубоким вздохом.

— Когда же вы возьмете меня к себе отсюда, бабушка?

— После свадьбы, когда Марфинька уедет…

— Я теперь хочу, мне не живется здесь, не спится…

— Погоди, оправься немного, тогда…

Вера умолкала, не смея настаивать. «Не берет! — думала она, — презирает…»

X

На другой день после такой бессонной ночи Татьяна Марковна послала с утра за Титом Никонычем. Он приехал было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и «отменной девице» Вере Васильевне болезнь и расстройство миновались благополучно, привез громадный арбуз и ананас в подарок, расшаркался, разлюбезничался, блистая складками белоснежной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синим фраком с золотыми пуговицами и сладчайшей улыбкой.

— Обновил к осени фуфайку: поздравьте, — сказал он, — подарок дражайшего Бориса Павловича…

Взглянув на Татьяну Марковну, он вдруг остолбенел и испугался.

Она, накинув на себя меховую кацавейку и накрыв голову косынкой, молча сделала ему знак идти за собой и повела его в сад. Там, сидя на скамье Веры, она два часа говорила с ним и потом воротилась, глядя себе под ноги, домой, а он, не зашедши к ней, точно убитый, отправился к себе, велел камердинеру уложиться, послал за почтовыми лошадьми и уехал в свою деревню,

куда несколько лет не заглядывал.

Райский зашел к нему и с удивлением услышал эту новость. Обратился к бабушке, та сказала, что у него в деревне что-то непокойно.

Вера была грустнее, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диване и смотрела в пол или ходила взад и вперед по комнатам старого дома, бледная, с желтыми пятнами около глаз.

На лбу у ней в эти минуты ложилась резкая линия — намек на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя в зеркало. Иногда подходила к столу, где лежало нераспечатанное письмо на синей бумаге, бралась за ключ и с ужасом отходила прочь.

«Куда уйти? где спрятаться от целого мира?» — думала она.

Нынешний день протянулся до вечера, как вчерашний, как, вероятно, протянется завтрешний. Настал вечер, ночь. Вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту. Ей хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил.

В темноте рисовались ей какие-то пятна, чернее самой темноты. Пробегали, волнуясь, какие-то тени по слабому свету окон. Но она не пугалась: нервы были убиты, и она не замерла бы от ужаса, если б из угла встало перед ней привидение, или

вкрался бы вор или убийца в комнату, не смутилась бы, если б ей сказали, что она не встанет более.

И она продолжала глядеть в темноту, на проносившиеся волнистые тени, на черные пятна, сгущавшиеся в темноте, на какие-то вертящиеся, как в калейдоскопе, кружки…

Вдруг ей показалось, что дверь ее начинает понемногу отворяться, вот скрыпнула…

Она оперлась на локоть и устремила глаза в дверь.

Показался свет и рука, загородившая огонь. Вера перестала смотреть, положила голову на подушку и притворилась спящею. Она видела, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно с ручной лампой. Она спустила с плеч на стул салоп и шла тихо к постели, в белом капоте, без чепца, как привидение.

Поставив лампу на столик, за изголовьем Веры, она сама села напротив, на кушетку, так тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столик, не заскрипела кушетка, когда она садилась.

Она пристально смотрела на Веру: та лежала с закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала с нее глаз и

изредка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.

Прошло больше часа. Вера вдруг открыла глаза: Татьяна Марковна смотрит на нее пристально.

— Тебе не спится, Верочка?

— Не спится.

— Отчего?

Молчание. Вера глядела в лицо Татьяны Марковны и заметила, что она бледна.

«Не может перенести удара, — думала Вера, — а притворства недостает, правда рвется наружу…»

— Зачем вы казните меня и по ночам, бабушка? — сказала она тихо.

Бабушка молча смотрела на нее.

Вера отвечала ей таким же продолжительным взглядом. Обе женщины говорили глазами и, казалось, понимали друг друга.

— Не смотрите так, ваша жалость убьет меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по капле презрение… Бабушка! мне невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую! Я бы утопилась…

— Зачем, Вера, не то говорит у тебя язык, что думает голова?

— А зачем вы молчите? что у вас на уме? Я не понимаю вашего молчания и мучаюсь. Вы хотите

что-то сказать и не говорите…

— Тяжело, Вера, говорить. Молись — и пойми бабушку без разговора… если можно…

— Пробовала молиться, да не могу. О чем? чтоб умереть скорей?

— О чем ты тоскуешь, когда всё забыто? — сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще раз успокоить Веру, и пересела с кушетки к ней на постель.

— Нет, не забыто! моя вина написана у вас в глазах… Они всё говорят…

— Что они говорят?

— Что нельзя жить больше, что… всё погибло.

— Не умеешь ты читать бабушкиных взглядов!

— Я умру, я знаю! только бы скорей, ах, скорей! — говорила Вера, ворочая лицо к стене.

Татьяна Марковна тихо покачала головой.

— Нельзя жить! — с унылой уверенностью повторила Вера.

— Можно! — с глубоким вздохом сказала Татьяна Марковна.

— После… того?.. — обернувшись к ней, спросила Вера.

— После того…

Теперь Вера вздохнула безнадежно.

— Вы не знаете, бабушка… вы не такая!..

— Такая!.. — чуть слышно, наклоняясь к ней,

прошептала Татьяна Марковна.

Вера быстро взглянула на нее с жадностью раза два-три, потом печально опустилась на подушки.

— Вы святая! Вы никогда не были в моем положении… — говорила она, как будто про себя. — Вы праведница!

— Грешница! — чуть слышно прошептала Татьяна Марковна.

— Все грешны… но не такая грешная, как я…

— Такая же…

— Что?! — вдруг приподнявшись на локоть, с ужасом в глазах и в голосе, спросила Вера.

— Такая же грешница, как и ты…

Вера обеими руками вцепилась ей в кофту и прижалась лицом к ее лицу.

— Зачем клевещешь на себя? — почти шипела она, дрожа, — чтоб успокоить, спасти бедную Веру? Бабушка, бабушка, не лги!

— Я не лгу никогда, — шептала, едва осиливая себя, старуха, — ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грешница… грешница… — говорила она, сползая на колени перед Верой и клоня седую голову ей на грудь. — Прости и ты меня!

Вера замерла от ужаса.

— Бабушка… — шептала она и в изумлении

широко открыла глаза, точно воскресая, — может ли это быть?

И вдруг с силой прижала голову старухи к груди.

— Что ты делаешь? зачем говоришь мне это?.. Молчи! Возьми назад свои слова! Я не слыхала, я их забуду, сочту своим бредом… не казни себя для меня!

— Нельзя: Бог велит! — говорила старуха, стоя на коленях у постели и склонив голову.

— Встань, бабушка!.. Поди ко мне сюда!..

Бабушка плакала у ней на груди.

И Вера зарыдала, как ребенок.

— Зачем сказала ты…

— Надо! *Он* велит смириться, — говорила старуха, указывая на небо, — просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя… Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней… Я погубила тебя своим грехом…

— Ты спасаешь меня, бабушка… от отчаяния…

— И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но Он требует очищения! Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была — как «окрашенный гроб» среди вас, а внутри таился неомытый грех! Вот он

где вышел наружу — в твоем грехе! Бог покарал меня в нем… Прости же меня от сердца…

— Бабушка! разве можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нет другой такой матери… Если б я тебя знала… вышла ли бы я из твоей воли?..

— Это мой другой страшный грех! — перебила ее Татьяна Марковна, — я молчала и не отвела тебя… от обрыва! Мать твоя из гроба достает меня за это; я чувствую — она всё снится мне… Она теперь тут, между нас… Прости меня и ты, покойница! — говорила старуха, дико озираясь вокруг и простирая руку к небу. У Веры пробежала дрожь по телу. — Прости и ты, Вера, простите обе!.. Будем молиться!..

Вера силилась поднять ее.

Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и села на кушетку. Вера подала ей одеколонь и воды, смочила ей виски, дала успокоительных капель и сама села на ковре, осыпая поцелуями ее руки.

— Ты знаешь, нет ничего тайного, что не вышло бы наружу! — заговорила Татьяна Марковна, оправившись. — Сорок пять лет два человека только знали: *он* да Василиса, и я думала, что мы умрем все с тайной. А вот — она вышла наружу! Боже мой! — говорила, как будто в помешатель-

стве, Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая их к образу Спасителя, — если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую… в мое дитя, — я бы тогда же на площади, перед собором, в толпе народа исповедала свой грех!

Вера слушала в изумлении, глядя большими глазами на бабушку, боялась верить, пытливо изучала каждый ее взгляд и движение, сомневаясь, не героический ли это поступок, не великодушный ли замысел — спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, коленопреклонение, слезы старухи, обращение к умершей матери… Нет, никакая актриса не покусилась бы играть в такую игру, а бабушка — вся правда и честность!

Вере становилось тепло в груди, легче на сердце. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник.

Кровь у ней начала свободно переливаться в жилах; даль впереди, всё мало-помалу принимает свой утерянный ход, как испорченные и

исправленные рукою мастера часы. Люди к ней дружелюбны, природа опять заблестит для нее красотой.

Завтра она встанет бодрая, живая, покойная, увидит любимые лица, уверится, что Райский не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.

Тушин по-прежнему будет горд и счастлив ее дружбой и станет «любить ее еще больше», он сам сказал. С бабушкой они теперь — не бабушка с внучкой, а две подруги, близкие, равные, неразлучные.

Она даже нечаянно начала ей говорить «ты», как и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное «вы», и она оставит за собой это право.

Она теперь только поняла эту усилившуюся к ней, после признания, нежность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ее неудобоносимое горе на свои старые плечи, стерла своей виной «ее вину» и не сочла последнюю за «потерю чести». Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято все свои обязанности, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другим, — эта всеми чтимая женщина

«пала, потеряла честь»!

Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим и, путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать «новую» жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва… любить людей, правду, добро…

Всё это вихрем неслось у ней в голове и будто уносило ее самое на каких-то облаках. Ей на душе становилось свободнее, как преступнику, которому расковали руки и ноги.

Она вдруг встала…

— Бабушка, — сказала она, — ты меня простила, ты любишь меня больше всех, больше Марфиньки — я это вижу! А видишь ли, знаешь ли ты, как я тебя люблю? Я не страдала бы так сильно, если б так же сильно не любила тебя! Как долго мы не знали с тобой друг друга!..

— Сейчас узнаешь всё: выслушай мою исповедь — и осуди строго или прости — и Бог простит нас…

— Я не хочу, не должна, не смею! Зачем?..

— Затем, чтоб и мне вытерпеть теперь то, что я должна была вытерпеть сорок пять лет тому назад. Я укрыла свой грех! Ты знаешь его, узнает и Борис. Пусть внук посмеется над сединами старой Кунигунды!..

Бабушка прошла раза два в волнении по комнате, тряся с фанатической решимостью головой.

Она опять походила на старый женский фамильный портрет в галерее, с суровой важностью, с величием и уверенностью в себе, с лицом, истерзанным пыткой, и с гордостью, осилившей пытку. Вера чувствовала себя жалкой девочкой перед ней и робко глядела ей в глаза, мысленно меряя свою молодую, только что вызванную на борьбу с жизнью силу — с этой старой, искушенной в долгой жизненной борьбе, но еще крепкой, по-видимому, несокрушимой силой.

«Я не понимала ее! Где была моя хваленая “мудрость” перед этой бездной!..» — думала она и бросилась на помощь бабушке — помешать исповеди, отвести ненужные и тяжелые страдания от ее измученной души. Она стала перед ней на колени и взяла ее за обе руки.

— Ты сама чувствуешь, бабушка, — сказала она, — что ты сделала теперь для меня: всей моей жизни не достанет, чтоб заплатить тебе. Нейди далее; здесь конец твоей казни! Если ты непременно хочешь, я шепну слово брату о твоем прошлом — и пусть оно закроется навсегда! Я видела твою муку: зачем ты хочешь еще истязать себя исповедью? Суд совершился — я не приму ее.

Не мне слушать и судить тебя — дай мне только обожать твои святые седины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое последнее слово!

Татьяна Марковна вздохнула, потом обняла ее.

— Да будет так! — сказала она, — я принимаю твое решение, как Божие прощение, — и благодарю тебя за пощаду моей седины…

— Пойдем теперь туда, к тебе, отдохнем обе, — говорила Вера.

Татьяна Марковна почти на руках донесла ее до дому, уложила в свою постель и легла с ней рядом.

Когда Вера, согретая в ее объятиях, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взяв ручную лампу, загородила рукой свет от глаз Веры и несколько минут освещала ее лицо, глядя с умилением на эту бледную, чистую красоту лба, закрытых глаз и на все, точно рукой великого мастера изваянные, чистые и тонкие черты белого мрамора, с глубоким, лежащим в них миром и покоем.

Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ее лба и опустилась на колени у постели.

— Милосердуй над ней! — молилась она почти в исступлении, — и если не исполнилась еще

мера гнева Твоего, отведи его от нее — и ударь опять в мою седую голову!..

Долго после молитвы сидела она над спящей, потом тихо легла подле нее и окружила ее голову своими руками. Вера пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала их и в полусне приникала всё плотнее и плотнее лицом к ее груди, как будто хотела глубже зарыться в ее объятия.

XI

Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее.

Но в этой тишине отсутствовала беспечность. Как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточенны, молчаливы, от всех отдавало холодом, слетели и с людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились.

У Веры с бабушкой установилась тесная, безмолвная связь. Они, со времени известного вечера, после взаимной исповеди, хотя и успокоили одна другую, но не вполне успокоились друг за друга, и обе вопросительно, отчасти недоверчиво, смотрели вдаль, опасаясь будущего.

«Переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу, как землетрясение всколыхавшую ее душевный мир?» — спрашивала себя Вера и читала в глазах Татьяны Марковны, привыкает ли она к другой, не прежней Вере и к ожидающей ее новой, неизвестной, а не той судьбе, какую

она ей гадала? Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное ниспровержение своей счастливой, старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу?

А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Веры, боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, какой судьба, по ее мнению, налагала как искупление за «грех»? Не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных, молодых сил? Излечима ли ее тоска, не обратилась бы она в хроническую болезнь?

Бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством. Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о приданом Марфиньки и принесла туда свой вкус и труд.

В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее, как бы оно просто и мелко ни было, — находя, что под презрением к мелкому, обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, еще небывалого труда и дела кроется у большей части просто лень, или неспособность, или, наконец, больное и смешное самолюбие

— ставить самих себя выше своего ума и сил.

Она решила, что «дела» изобретать нельзя, что оно само, силою обстоятельств, выдвигается на очередь в данный момент и что таким естественным путем рождающееся дело — только и важно, и нужно.

Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно несделанное дело, за которым явится на очередь следующее, по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем, или «миражем», как говорит Райский.

Не надо пуще всего покладывать рук и коснеть «в блаженном успении», в постоянном «отдыхе», без всякого труда.

Она была бледнее прежнего, в глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Всё это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки: так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки. И никто ничего не замечал.

— Поправляется барышня, — говорили люди.

Райский замечал также благоприятную перемену в ней и по временам, видя ее задумчивою, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие

слезы, догадывался, что это были только следы удаляющейся грозы, страсти. Он был доволен, и его собственные волнения умолкали всё более и более, по мере того как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность.

Вера, по настоянию бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о «грехе». Но этим полудоверием вовсе не решилась для Райского загадка — откуда бабушка, в его глазах старая девушка, могла почерпнуть силу, чтоб снести, не с девическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть «беды», но успокоить и Веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели, собственного отчаяния.

А она очевидно сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием Веры? Он недоумевал — и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно.

Всё обращение его с нею приняло характер глубокого, нежного почтения и сдержанной покорности. Возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней — уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию

и намерению. Даже в движениях его появилась сдержанность, почти до робости.

Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во все, даже мелкие, отношения его к бабушке проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью.

А она, совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесши и свое, и чужое бремя с разумом и величием, тут же, на его глазах, мало-помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять — до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила.

В дворне после пронесшейся какой-то необъяснимой для нее тучи было недоумение, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смеха, присмирели девки, отгоняя Егорку прочь.

В особенно затруднительном положении очутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обет, если барыня придет в себя и выздоровеет, он — поставить большую вызолоченную свечу к местной иконе в приходской церкви, а она — схо-

дить пешком в Киев.

Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой за ранней обедней.

Но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек, и пришел домой «веселыми ногами», с легким румянцем на щеках и на носу.

Его нечаянно встретила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запах вина.

— Что с тобой, Яков? — спросила она с удивлением. — Ради чего ты…

— Сподобился, сударыня! — отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую.

Он объявил и Василисе, что «сподобился» выполнить обет. Василиса поглядела на него и вдруг стала сама не своя. Она тоже «обещалась», и до этой минуты, среди хлопот около барыни, с приготовлениями к свадьбе, не вспомнила об обете.

И вдруг Яков уже исполнил, и притом в одно утро, и вон ходит, полный благочестивого веселья. А она обещалась в Киев сходить!

— Как я пойду, силы нет, — говорила она, щу-

пая себя. — У меня и костей почти нет: всё одни мякоти! Не дойду — Господи помилуй!

И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна, между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо, только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелем и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед.

Она пошла к отцу Василью, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые «батюшки» даже разрешают от обета совсем, по немощи, или заменяют его другим. «Каким?» — спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен.

Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила: идти ли ей?

— Коли обещалась, как же нейти? — сказал отец Василий. — Надо идти!

— Да я с испуга обещалась, думала, барыня помрет. А она через три дня встала. Так за что ж я этакую даль пойду?

— Да, это не ближний путь, в Киев! Вот то-то, обещать, а потом и назад! — журил он, — нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет…

— Есть, батюшка, да сил нет: мякоти одолели,

до церкви дойду — одышка мучает. Мне седьмой десяток! Другое дело, кабы барыня маялась в постели месяца три, да причастили ее и особоровали бы маслом, а Бог, по моей грешной молитве, поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла. А то она и недели не хворала!

Отец Василий улыбнулся.

— Как же быть? — сказал он.

— Я бы другое что обещала. Нельзя ли переменить?

— На что же другое?

Василиса задумалась.

— Я пост на себя наложила бы: мяса всю жизнь в рот не стану брать, так и умру.

— А ты любишь его?

— Нет, и смотреть-то тошно! отвыкла от него…

Отец Василий опять улыбнулся.

— Как же так, — сказал он, — ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала!

Василиса вздохнула.

— Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить, — подумай!

Василиса подумала и сказала, что нет.

— Ну так надо в Киев идти! — решил он.

— Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот

перед Богом!

Отец Василий задумался.

— Как бы облегчить тебя? — думал он вслух. — Ты что любишь: какую пищу употребляешь?

— Чай, кофий — да похлебку с грибами и картофелем…

— Кофе любишь?

— Охотница.

— Ну так — воздержись от кофе, не пей!

Она вздохнула.

«Да, — подумалось ей, — и вправду тяжело: это почти всё равно, что в Киев идти!»

— Чем же мне питаться, батюшка? — спросила она.

— Мясом.

Она взглянула на него, не смеется ли он.

Он точно смеялся, глядя на нее.

— Ведь ты не любишь его, ну и принеси жертву.

— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.

— Ты в скоромные дни и питайся им! А польза та, что мякотей меньше будет. Вот тебе полгода срок: выдержи — и обет исполнишь.

Она ушла, очень озабоченная, и с другого дня послушно начала исполнять новое обещание, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейни-

ка, который носила по утрам барыне.

Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болезни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась с неделю на лежанке, а потом слегла, объявив, что нездорова, встать не может.

— Бог карает! — говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло.

Василиса доложила барыне. Татьяна Марковна велела позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лекарку, к которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку.

Меланхолиха, по тщательном освидетельствовании больной, шепотом объявила Василисе, что болезнь Марины превышает ее познания. Ее отправили в клинику, в соседний город, за двести верст.

Сам Савелий отвез ее и по возвращении, на вопросы обступившей его дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех, поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки.

Недели через полторы Марфинька вернулась с женихом и с его матерью из-за Волги еще веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба

успели пополнеть. Оба привезли было свой смех, живость, шум, беготню, веселые разговоры.

Но едва пробыли часа два дома, как оробели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излияниям. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме.

На всем лежал какой-то туман. Даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфинька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались.

Цветы завяли, садовник выбросил их, и перед домом вместо цветника лежали черные круги взрытой земли, с каймой бледного дерна, да полосы пустых гряд. Несколько деревьев завернуты были в рогожу. Роща обнажалась всё больше и больше от листьев. Сама Волга почернела, готовясь замерзнуть.

Но это природа: это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. «А вот что с людьми сталось, со всем домом?» — спрашивала Марфинька, глядя в недоумении вокруг.

Гнездышко Марфиньки, ее комнатки наверху, потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание.

У Марфиньки на глазах были слезы. Отчего всё изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бранит ее, Марфиньку: не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две? Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по-прежнему одна по полям и роще? Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом?

Марфиньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы. Другие обошли молчанием.

— Вера перешла оттого, — сказали ей, — что печи в старом доме, в ее комнате, стали плохи, не держат тепла.

— Тит Никоныч уехал унимать беспорядки в деревне.

— Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала три дня в постели, почти в горячке.

Марфинька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала.

На вопрос, «о чем бабушка с Верой молчат и отчего первая ее ни разу не побранила, что значило — не любит», Татьяна Марковна взяла ее за обе

щеки и задумчиво, со вздохом, поцеловала в лоб. Это только больше опечалило Марфиньку.

— Мы верхом ездили, Николай Андреич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила! — затрогивала Марфинька бабушку, в надежде, не побранит ли она хоть за это.

Татьяна Марковна, будто с укором, покачала головой, но Марфинька видела, что это притворно, что она думает о другом, или уйдет и сядет подле Веры.

Марфинька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфиньки, так что и она бессознательно приняла общий серьезно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями.

Она молча сидела с Викентьевым: шептать им было не о чем. Они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание. И редко-редко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепет, или уж Викентьев так рассмешит, что терпенья никакого не станет, и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется вокруг, замолчит и погрозит ему.

Викентьеву это молчание, сдержанность,

печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволения увезти невесту и уехать опять в Колчино до свадьбы, до конца октября. К удовольствию его, согласие последовало легко и скоро, и молодая чета, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху, в свое будущее гнездо.

Бабушка, однако, заметила печаль Марфиньки и, сколько могла, отвлекла ее внимание от всяких догадок и соображений, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обещавши приехать за ней сама, «если она будет вести себя там умно».

Райский съездил за Титом Никонычем и привез его чуть живого. Он похудел, пожелтел, еле двигался, и только увидев Татьяну Марковну, всю ее обстановку и себя самого среди этой картины, за столом, с заткнутой за галстух салфеткой, или у окна на табурете, подле ее кресел, с налитой ею чашкой чаю, — мало-помалу пришел в себя и стал радоваться, как ребенок, у которого отняли и вдруг опять отдали игрушки.

Он, от радости, вдруг засмеется и закроется салфеткой, потрет руки одна о другую с жаром или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем

присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой. А когда все засмеются над ним, он засмеется пуще всех, снимет парик и погладит себе с исступлением лысину или потреплет вместо Пашутки Василису по щечке.

Словом, он немного одурел и пришел в себя на третий день — и тогда уже стал задумчив, как другие.

Круг семьи в Малиновке увеличился одним членом. Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду. Сердечнее, радушнее встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу.

Татьяна Марковна, с женским тактом, не дала ему заметить, что знает его горе. Обыкновенно в таких случаях встречают гостя натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все.

— Что это ты (она давно говорила ему это драгоценное «ты»), Леонтий Иванович, забыл нас совсем? Борюшка говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится: ты говорил ему?

— Как не нравится: когда я говорил тебе? — обратился он строго к Райскому.

Все засмеялись.

— Да вы нарочно! — улыбнувшись нехотя, сказал Леонтий.

Он уж успел настолько справиться с своим горем, что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием.

— Да, не был я у вас давно: у меня жена… уехала в Москву… повидаться с родными, — тихо сказал он, глядя вниз, — так я и не мог…

— Вот ты бы у нас пожил, — заметила Татьяна Марковна, — одному скучно дома…

— Я жду ее… боюсь, чтоб без меня не приехала.

— Тебе дадут знать: ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет в слободу. Из окон старого дома видно, когда едут по дороге.

— В самом деле… Да, оттуда видна московская дорога, — с оживлением, подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов и почти обрадовался.

— Право, переезжай к нам…

— Да, я бы, пожалуй…

— Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтий, — сказал Райский, — мне скучно одному: я перейду в старый дом с тобой вместе, а потом, после свадьбы Марфиньки, уеду. Ты при бабушке и при Вере будешь первым министром, другом и телохранителем.

Он посмотрел на всех.

— Да, покорно благодарю: лишь бы только не обеспокоить чем…

— Как тебе не стыдно… — начала бабушка.

— Извините, Татьяна Марковна!

— Кушай лучше, чем пустое говорить; вон у тебя стынет суп…

— А ведь мне есть хочется! — вдруг сказал он, принимаясь за ложку и засмеялся, — я что-то давно не ел…

Он, задумчиво глядя куда-то, должно быть на московскую дорогу, съел машинально суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча окончил весь обед.

— У вас покойно, хорошо! — говорил он после обеда, глядя в окно. — И зелень еще есть, и воздух чистый… Послушай, Борис Павлович, я бы библиотеку опять перевез сюда…

— Хорошо, хорошо, хоть завтра, ведь она твоя, делай с ней, что хочешь…

— Нет, нет: что мне в ней теперь! Я перевезу и буду смотреть за ней, а то этот Марк опять…

Райский крякнул на всю комнату. Вера не подняла головы от шитья, Татьяна Марковна стала смотреть в окно.

Райский увел Козлова в старый дом посмотреть

его комнату, куда бабушка велела поставить ему кровать и на ночь вытопить печь и тотчас же вставить рамы.

Козлов совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская дорога.

XII

В один из туманных, осенних дней, когда Вера, после завтрака, сидела в своей комнате за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яков подал ей еще письмо на синей бумаге, принесенное «парнишкой», и сказал, что приказано ждать ответа.

Вера, взглянув на письмо, оцепенела, как будто от изумления, и с минуту не брала его из рук Якова, потом взяла и положила на стол, сказав коротко: «Хорошо, поди!»

Когда Яков вышел, она задумчиво подышала в наперсток и хотела продолжать работу, но руки у ней вдруг упали вместе с работой на колени.

Она оперлась локтями на стол и закрыла руками лицо.

— Какая казнь! Кончится ли это истязание? — шептала она в отчаянии.

Потом встала, вынула из комода прежнее нераспечатанное такое же письмо и положила рядом с этим и села опять в своей позе, закрывая руками лицо.

«Что делать? Какого ответа может он ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызывает?..

Нет, не смеет!.. А если вызывает?..»

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себе в душу и там подслушивала, какой могла бы дать ответ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого ответа, — думала она, — эти ответы не говорятся! Если он сам не угадал его — от меня никогда не узнает!»

Она глядела на этот синий пакет, с знакомым почерком, не торопясь сорвать печать — не от страха оглядки, не от ужаса зубов «тигра». Она как будто со стороны смотрела, как ползет теперь мимо ее этот «удав», по выражению Райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослепляет ее больше. Она отворачивается, вздрагивая от другого, не прежнего чувства.

Ей душно от этого письма, вдруг перенесшего ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда, ослабевшая, измученная борьбой, — и сожгла за собой мост. Она не понимает, как мог он написать? Как он сам не бежал давно?

Знай он, какой переворот совершился наверху обрыва, он бы, конечно, не написал. Надо его уведомить: посланный ждет… Ужели читать

письма?.. Да, надо!..

Она сорвала печать с обоих разом и стала читать первое, писанное давно:

«Ужели мы в самом деле не увидимся, Вера? Это невероятно. Несколько дней тому назад в этом был бы смысл, а *теперь* это бесполезная жертва, тяжелая для обоих. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья, — и когда оно настало, ты бежишь первая, а сама твердила о бессрочной любви. Логично ли это?»

— Логично ли? — повторила она шепотом и остановилась. Потом будто перемогла себя и читала дальше:

«Мне разрешено уехать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы нечестно… Можно подумать, что я торжествую и что мне уже легко уехать: я не хочу, чтобы ты так думала… Не могу оставить потому, что ты любишь меня…»

У ней рука с письмом упала на колени, через минуту она медленно читала дальше:

«…и потому еще, что я сам в горячешном положении. Будем счастливы, Вера! Убедись, что вся наша борьба, все наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетела — и нам спорить больше не о чем. Вопрос решен. Мы в сущности согласны давно. Ты хочешь бесконеч-

ной любви: многие хотели бы того же, но этого не бывает…»

Она на минуту остановилась.

«Он разумеет бесконечную горячку!» — подумала она и с жалостью улыбнулась. Потом читала дальше.

«Моя ошибка была та, что я предсказывал тебе эту истину: жизнь привела бы к ней нас сама. Я отныне не трогаю твоих убеждений: не они нужны нам, — на очереди страсть. У нее свои законы: она смеется над твоими убеждениями, — посмеется со временем и над бесконечной любовью. Она же теперь пересиливает и меня, мои планы… Я покоряюсь ей, покорись и ты. Может быть, вдвоем, действуя заодно, мы отделаемся от нее дешево и уйдем подобру и поздорову, а в одиночку тяжело и скверно.

Убеждений мы не в силах изменить, как не в силах изменить натуру, а притворяться не сможем оба. Это не логично и не честно. Надо высказаться и согласиться во всем: мы сделали первое и не пришли к соглашению; следовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убеждений; страсть не требует их. Будем молчать и будем счастливы. Надеюсь, ты с этой логикой согласишься».

Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губах.

«Уехать тебе со мной, вероятно, не дадут, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя к этому, но я на это не рассчитываю: ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или, для того чтобы решиться уехать, нужно, чтобы у тебя были другие, одинакие со мной убеждения и, следовательно, другая будущность в виду, нежели какую ты и близкие твои желают тебе, то есть такая же, как у меня: неопределенная, неизвестная, без угла, или без “гнезда”, без очага, без имущества. Соглашаюсь, что отъезд невозможен. Следовательно, мне надо принести жертву, то есть мне хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надеешься на успех у бабушки — обвенчаемся, и я останусь здесь до тех пор, пока… словом, на бессрочное время. Я сделал всё, Вера, и исполню, что говорю. Теперь делай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будет походить на глупую комедию, где невыгодная роль достанется тебе, — и над нею первый посмеется Райский, если узнает.

Видишь, я предупреждаю тебя во всем, как предупредил и тогда…»

Она сделала движение рукой, будто нетер-

пения, почти отчаяния, и небрежно дочитала последние строки.

«Жду ответа на имя моей хозяйки, Секлетеи Бурдалаховой».

Вера казалась утомленной чтением письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только что принес ей Яков.

Оно было написано торопливою рукою, карандашом.

«Я каждый день бродил внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сию минуту случайно узнал, что в доме нездорово, тебя нигде не видать. Вера, приди или, если больна, напиши скорее два слова. Я способен прийти в старый дом…»

Вера остановилась в страхе, потом торопливо дочитала конец:

«Если сегодня не получу ответа, — сказано было дальше, — завтра в пять часов буду в беседке… Мне надо скорее решать: ехать или оставаться? Приди сказать хоть слово, проститься, если… Нет, не верю, чтобы мы разошлись теперь. Во всяком случае жду тебя или ответа. Если больна, я проберусь сам…»

«Боже мой! Он еще там, в беседке!.. грозит прийти… Посланный ждет… Еще “удав” всё тянется!.. не ушло… не умерло всё!..»

Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула несколько листов бумаги, взяла перо, обмакнула, хотела написать — и не могла. У ней дрожали руки.

Она положила перо, склонила опять голову в ладони, закрыла глаза, собираясь с мыслями. Но мысли не вязались, путались, мешала тоска, биение сердца. Она прикладывала руку к груди, как будто хотела унять боль, опять бралась за перо, за бумагу и через минуту бросала.

«Не могу, сил нет, задыхаюсь!» Она налила себе на руки одеколонь, освежила лоб, виски — поглядела опять, сначала в одно письмо, потом в другое, бросила их на стол, твердя: «Не могу, не знаю, с чего начать, что писать? Я не помню, как я писала ему, что говорила прежде, каким тоном… Всё забыла!»

«Какого ответа ждет посланный? У меня один ответ: не могу, сил нет, ничего нет во мне!»

Она спустилась вниз, скользнула по коридорам, отыскала Якова и велела сказать мальчику, чтобы шел, что ответ будет после.

«А когда после? — спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверх. — Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что напишу? Всё то же: “Не могу, ничего не хочу, не осталось в

сердце ничего…” А завтра он будет ждать там, в беседке. Обманутое ожидание раздражит его, он повторит вызов выстрелами, наконец, столкнется с людьми, с бабушкой!.. Пойти самой, сказать ему, что он поступает «не честно и не логично»… Про великодушие нечего ему говорить: волки не знают его!..»

Всё это неслось у ней в голове, и она то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему всё это, отвернуться и уйти — и она бралась за мантилью, за косынку, как бывало, когда торопилась к обрыву. И теперь, как тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку. Всё выпадало из рук, и она, обессиленная, садилась на диван и не знала, что делать.

Бабушке сказать? Бабушка сделает, что нужно, но она огорчится письмами: Вере хотелось бы избегнуть этого.

Сказать брату Борису и ему поручить положить конец надеждам Марка и покушениям на свидание. Райский — ее естественный, ближайший друг и защитник. Но прошла ли страсть в нем самом, или «ощущение», игра страсти, «отражение ее в воображении», что бы ни было? И если прошло, рассуждала Вера, может быть, основательно,

то не потому ли, что прошла борьба, соперничество, всё утихло вокруг? Если появление героя страсти разбудит в Райском затихнувшую досаду, напомнит оскорбление, — он не выдержит роли бескорыстного посредника, увлечется пылкостью и станет в другую, опасную роль.

Тушин! Да, этот выдержит, не сделает ошибки и наверное достигнет цели. Но ставить Тушина лицом к лицу с соперником, свести его с человеком, который исподтишка и мимоходом разгромил его надежды на счастье!

Она представила себе, что должен еще перенести этот обожающий ее друг при свидании с героем волчьей ямы, творцом ее падения, разрушителем ее будущности! Какой силой воли и самообладания надо обязать его, чтобы встреча их на дне обрыва не была встречей волка с медведем?

Она потрясла отрицательно головой, решив, однако же, не скрывать об этих письмах от Тушина, но устранить его от всякого участия в развязке ее драмы как из пощады его сердца, так и потому, что, прося содействия Тушина, она как будто жаловалась на Марка. «А она ни в чем его не обвиняет… Боже сохрани!»

И вот ей не к кому обратиться! Она на груди этих

трех людей нашла защиту от своего отчаяния, продолжает находить мало-помалу потерянную уверенность в себе, чувствует возвращающийся в душу мир.

Еще несколько недель, месяцев покоя, забвения, дружеской ласки — и она встала бы мало-помалу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тем она медлит протянуть к ним доверчиво руки — не из гордости уже, а из пощады, из любви к ним.

Но и ждать долее тоже невозможно. Завтра принесут опять письмо, она опять не ответит: он явится сам…

О, Боже сохрани! Если уже зло неизбежно, думала она, то из двух зол меньшее будет — отдать письма бабушке, предоставить ей сделать, что нужно сделать. Бабушка тоже не ошибется: они теперь понимают друг друга.

Потом, подумавши, она написала записку и Тушину. Те же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшиеся служить ей — послушно служили теперь. Пальцы быстро написали две строчки:

«Приезжайте, если можно, завтра утром! Я давно не видала вас — и хочу видеть. Мне скучно».

Она отослала записку с Прохором, чтобы он

отвез ее на пристань и отдал на перевозе, для отправления в «Дымок», с людьми Тушина, которые каждый день ездили в город.

Прежде Вера прятала свои тайны, уходила в себя, царствуя безраздельно в своем внутреннем мире, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнее всех окружающих. Теперь стало наоборот. Одиночность сил, при первом тяжелом опыте, оказалась несостоятельною.

Она поплатилась своей гордостью и вдруг почувствовала себя, в минуту бури, бессильною, а когда буря ушла — жалкой, беспомощной сиротой и протянула, как младенец, руки к людям.

Прежде она дарила доверие, как будто из милости, только своей наперснице и подруге, жене священника. Это был ее каприз, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи, с поникшей головой, с обузданной гордостью, почуя рядом силу, сильнее своей, и мудрость, мудрее своей самолюбивой воли.

Вера сообщала, бывало, своей подруге мелочной календарь вседневной своей жизни: событий, ощущений, впечатлений, даже чувств, доверила и о своих отношениях к Марку, но скрыла от нее катастрофу, сказав только, что всё кончено, что они разошлись навсегда, — и только. Жена

священника не знала истории обрыва до конца и приписала болезнь Веры отчаянию разлуки.

Она любила Марфиньку, так же как Наталью Ивановну, но любила обеих как детей, иногда, пожалуй, как собеседниц. В тихую пору жизни она опять позовет Наталью Ивановну и будет передавать ей вседневные события по мелочам, в подробностях, — опять та будет шепотом поддакивать ей, разбавлять ее одинокие ощущения.

Но в решительные и роковые минуты Вера пойдет к бабушке, пошлет за Тушиным, постучится в комнату брата Бориса.

И теперь она постучалась ко всем троим.

XIII

Она положила оба письма в карман, тихо, задумчиво пошла к Татьяне Марковне и села подле нее.

Бабушка только что осмотрела свадебную постель и смеряла с швеею, сколько пойдет кисеи, кружев на подушки, и уселась в свои кресла.

Она бегло взглянула на Веру, потом опять вдруг взглянула и остановила на ней беспокойный взгляд.

— Что случилось, Вера, ты расстроена?

— Не расстроена, а устала. Я получила письма оттуда, от…

— Оттуда? — повторила бабушка, меняясь в лице.

— Одно давно: я не распечатывала до сих пор, а другое сегодня. Вот они: прочти, бабушка.

Она положила оба письма на стол.

— Зачем мне читать, Верочка? — говорила Татьяна Марковна, едва преодолевая себя и стараясь не глядеть на письма.

Вера молчала. Бабушка заметила у ней выражение тоски.

— Разве тебе нужно, чтоб я знала, что там?..

— Нужно, бабушка, прочти.

Бабушка надела очки и стала было читать.

— Не разберу, душенька, — сказала она с тоской, отодвинув письмо. — Ты скажи лучше коротко, зачем мне нужно знать…

— Не могу рассказать: сил нет, дух захватывает… Я лучше прочту…

Она, шепотом, скрадывая некоторые слова и выражения, прочла письма и, скомкав оба, спрятала в карман. Татьяна Марковна выпрямилась в кресле и опять сгорбилась, подавляя страдание. Потом пристально посмотрела в глаза Вере.

— Что же ты, Верочка, думаешь? — спросила она нетвердым голосом.

— Ты спрашиваешь, что я думаю? — сказала Вера с упреком, — то же, что ты, бабушка!

— Это я знаю. Но он предлагает… венчаться, хочет остаться здесь. Может быть… если будет человеком, как все… если любит тебя… — говорила Татьяна Марковна боязливо, — если ты… надеешься на счастье…

— Да: он называет венчанье «комедией» и предлагает венчаться! Он думает, что мне только этого недоставало для счастья… Бабушка! ведь ты понимаешь, что со мной, — зачем же спрашиваешь?

— Ты пришла ко мне спросить, на что тебе решиться…

Бабушка говорила робко, потому что всё еще не знала, для чего прочла ей письма Вера. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала в беспокойстве за Веру, боясь опасного поворота страсти, но скрывала свое волнение и беспокойство.

— Я не за тем пришла к тебе, бабушка, — сказала Вера. — Разве ты не знаешь, что тут всё решено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу — и если дышу свободно и надеюсь ожить, так это при одном условии — чтоб мне ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда… А он напомнил! зовет туда, манит счастьем, хочет венчаться… Боже мой!..

Она с отчаянием пожала плечами.

У Татьяны Марковны отходило беспокойство от сердца. Она пошевелилась свободно в кресле, поправила складку у себя на платье, смахнула рукой какие-то крошки со стола. Словом — отошла, ожила, задвигалась, как внезапно оцепеневший от испуга и тотчас опять очнувшийся человек.

— Бабушка! — заключила Вера, собравшись опять с силами. — Я ничего не хочу! Пойми одно: если б он каким-нибудь чудом переродился теперь, стал тем, чем я хотела прежде чтоб он был; — если б стал верить во всё, во что я верю,

полюбил меня, как я… хотела любить его, — и тогда я не обернулась бы на его зов…

Она замолчала. Бабушка слушала, притаив дыхание, как пение райской птицы.

— Я бы не была с ним счастлива: я не забыла бы прежнего человека никогда и никогда не поверила бы новому человеку. Я слишком тяжело страдала, — шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки, — но ты видела меня, поняла и спасла… ты — моя мать!.. Зачем же спрашиваешь и сомневаешься? Какая страсть устоит перед этими страданиями? Разве возможно повторять такую ошибку!.. Во мне ничего больше нет… Пустота, холод, и если б не ты, отчаяние…

У Веры закапали слезы. Она прижалась головой к плечу бабушки.

— Не поминай этого и не тревожь себя напрасно! — говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой, — ведь мы положили никогда не говорить об этом…

— Я и не говорила бы, если б не письма. Мне нужен покой… Бабушка! увези, спрячь меня… или я умру! Я устала… силы нет… дай отдохнуть… А он зовет туда… хочет прийти сам…

Она заплакала сильнее.

Бабушка тихо встала, посадила ее на свое место,

а сама выпрямилась во весь рост.

— А! если так, если он еще, — заговорила она с дрожью в голосе, — достает тебя, мучает, он рассчитается со мной за эти слезы!.. Бабушка укроет, защитит тебя, — успокойся, дитя мое: ты не услышишь о нем больше ничего…

Бабушка дрожала, говоря это.

— Что ты хочешь делать? — с удивлением спросила Вера, вдруг вставая и подходя к Татьяне Марковне.

— Он зовет тебя: я сойду к нему с обрыва вместо тебя на любовное свидание — и потом посмотрим, напишет ли он тебе еще, придет ли сюда, позовет ли?..

Бабушка ходила по кабинету, сама не своя от гнева.

— В котором часу он завтра придет в беседку, кажется, в пять? — спросила она отрывисто.

Вера всё глядела на нее с изумлением.

— Бабушка! ты не поняла меня, — сказала она кротко, взяв ее за руки, — успокойся, я не жалуюсь тебе на него. Никогда не забывай, что я одна виновата — во всем… Он не знает, что произошло со мной, и оттого пишет. Ему надо только дать знать, объяснить, как я больна, упала духом, — а ты собираешься, кажется, воевать! Я не того хочу.

Я хотела написать ему сама и не могла, — видеться недостает сил, если б я и хотела…

Татьяна Марковна присмирела и задумалась.

— Я хотела просить Ивана Иваныча, — продолжала Вера, — но ты знаешь сама, как он любит меня, какие надежды были у него… Сводить его с человеком, который всё это уничтожил, — нельзя!

— Нельзя! — подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой. — Зачем его трогать? Бог знает, что между ними случится… Нельзя! У тебя есть близкий человек, он знает всё, он любит тебя, как сестру: Борюшка…

Вера молчала.

«Да, если б как сестру только!» — думала она и не хотела открывать бабушке о страсти Райского к ней: это был не ее секрет.

— Хочешь, я поговорю с ним…

— Погоди, бабушка: я сама скажу ему, — отвечала Вера, опасаясь вмешивать брата.

Она надеялась на его сердце, доверяла его уму, чувствам, но не доверяла его неуловимо-капризной фантазии и способности увлекаться.

— Я как-нибудь через брата или соберусь с силами и сама отвечу на эти письма, дам понять, в каком я положении, отниму всякие надежды

на свидание. А теперь мне нужно пока дать ему знать только, чтоб он не ходил в беседку и не ждал напрасно…

— Это я сделаю! — вдруг сказала бабушка.

— Но ты не пойдешь сама, не увидишься с ним? — говорила Вера, пытливо глядя в глаза бабушке. — Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла…

— И я не хочу! — шептала бабушка, глядя в сторону. — Успокойся, я не пойду: я сделаю только, что он не будет ждать в беседке…

— Прости меня, бабушка, еще за это новое огорчение!

Татьяна Марковна вздохнула и поцеловала ее.

XIV

Вера пошла полууспокоенная, стараясь угадать, какую меру могла бы принять бабушка, чтоб помешать Марку ждать ее завтра в беседке. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти Райского, не поручила ему пойти, не предварив ее о том, а он, неприготовленный, мог поступить, как внушало ему его еще не вполне угасшее корыстное чувство и фантазия.

Вера, узнав, что Райский не выходил со двора, пошла к нему в старый дом, куда он перешел с тех пор, как Козлов поселился у них, с тем чтобы сказать ему о новых письмах, узнать, как он примет это, и, смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложит на него видеться с Марком.

Она шла как тень по анфиладе старого дома, минуя свои бывшие комнаты, по потускневшему от времени паркету, мимо занавешанных зеркал, закутанных тумб с старыми часами, старой, тяжелой мебели, и вступила в маленькие уютные комнаты, выходившие окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь в комнату, где

поселился Райский, и остановилась на пороге.

Райский сидел за столом, зарывшись в свой артистический портфель, разбирая эскизы разных местностей, акварельные портреты, набросанные очерки неисполненных картин, миниатюрные копии с известных произведений и, между прочим, отбирая кучей втиснутые в портфель черновые листы литературных воспоминаний, заметок, очерков, начатых и брошенных стихов и повестей.

Отобрав тщательно всю кучу накопившегося материала для романа, он сильно призадумался. Взгляд у него потуск; разбирая листы за листами, он то покачивал головой и вздыхал тяжело, то зевал до слез.

«Вот этак же, лет шесть назад, — печально размышлял он, — затеял я писать большую, сложную картину для выставки… А оказалось, что в нее надо положить целые годы… И теперь такую же обузу беру на себя: роман писать!! Одних материалов с пуд наберется… Сколько соображений, заметок, справок!.. Дело ли я затеял, роман! Куча характеров, положений, сцен! А вся сила, весь интерес и твой собственный роман — в Вере: одну ее и пиши! Да, вот что!.. Прочь всё лишнее, постороннее: напишу одну ее… Облегчу себя, а

этот весь балласт в сторону. Чего-чего тут нет!»

Он начал живо отбирать всё постороннее Вере, оставив листков десяток, где набросаны были характеристические заметки о ней, сцены, разговоры с нею, и с любовью перечитывал их.

Вдруг он оставил листки — и поразился новою мыслью.

«А отчего у меня до сих пор нет ее портрета кистью?» — вдруг спросил он себя, тогда как он, с первой же встречи с Марфинькой, передал полотну ее черты, под влиянием первых впечатлений, и черты эти вышли говорящи, «в портрете есть правда, жизнь, верность во всем… кроме плеча и рук», — думал он. А портрета Веры нет: ужели он уедет без него?.. Теперь ничто не мешает: страсти у него нет, она его не убегает… Имея портрет, легче писать и роман: перед глазами будет она как живая…

Он поднял глаза от портфеля… Перед ним стоит — живая Вера! Он испугался.

— Это бабушкина «судьба» посылает тебя ко мне!.. — сказал он.

У Веры, заметившей его испуг, задрожал подбородок от улыбки. А он не спускал с нее глаз.

Его опять охватила красота сестры, — не прежняя, с блеском, с теплым колоритом жизни, с

бархатным, гордым и горячим взглядом, с мерцанием ночи, как он назвал ее за эти неуловимые искры тогда еще таинственной, неразгаданной прелести.

Бессознательное блистанье молодости и красоты, разливающей яркие и горячие лучи вокруг себя, — исчезло.

Томная печаль, глубокая усталость смотрела теперь из ее глаз. Горячие, живые тоны в лице заменились прозрачной бледностью. В улыбке не было гордости, нетерпеливых, едва сдерживаемых молодых сил. Кротость и грусть тихо покоились на ее лице, и вся стройная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации и унылого покоя.

«Это — лилия! Где прежняя Вера? Которая лучше: та или эта?» — думал он, протягивая ей в умилении руки.

Она подошла к нему, не прежним ползучим шагом, не с волнующимся при походке станом, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкий, сухой стук.

— Я тебе помешала, — сказала она. — Что ты делаешь? Мне хотелось поговорить с тобой…

Он не сводил с нее глаз.

— Что ты так смотришь?..

— Погоди, Вера! — шептал он, не слыхав ее вопроса и не спуская с нее широкого, изумленного взгляда. — Сядь вот здесь, — так! — говорил он, усаживая ее на маленький диван.

А сам торопливо сунулся в угол комнаты, порылся там и достал рамку с натянутым холстом, выдвинул мольберт и начал шарить по углам, отыскивая ящик с красками.

— Что ты хочешь делать? — спросила она.

— Молчи, молчи, Вера, я давно не видал твоей красоты, как будто ослеп на время! Сию минуту ты вошла, лучи ее ударили меня по нервам, художник проснулся! Не бойся этих восторгов. Скорей, скорей, дай мне этой красоты, пока не прошла минута… У меня нет твоего портрета…

— Что за мысль, Борис! какая теперь красота! на что я стала похожа? Василиса говорит, что в гроб краше кладут… Оставь до другого раза…

— Ты ничего не понимаешь в своей красоте: ты chef-d'œuvre! Нельзя откладывать до другого раза. Смотри: у меня волосы подымаются, мурашки бегают… сейчас слезы брызнут… Садись, — пройдет, и всё пропало!

— Я устала, брат… я не в силах, едва хожу… И холодно мне: у тебя здесь свежо…

— Я тебя прикрою, посажу в покойную позу,

ты не гляди на меня, будь свободна, как будто бы меня не было тут!

Он положил ей за спину и под руки подушки, на плечи и грудь накинул ей свой шотландский плед и усадил ее с книгой на диван.

— А голову держи как хочешь, — сказал он, — как тебе удобнее, покойнее. Делай какие хочешь движения, гляди куда хочешь или не гляди вовсе — и забудь, что я тут!

Она покорилась равнодушно, усевшись в усталой позе, и задумалась.

— А я хотела поговорить с тобой, показать тебе… письма… — сказала она.

Он молчал, вглядываясь в нее и чертя мелом на полотне.

Прошло минут десять.

— Я получила письма… от Марка… — тихо повторила она.

Он молчит и чертит мелом.

Прошло четверть часа. Он, схватив палитру, покрыл ее красками и, взглядывая горячо на Веру, торопливо, как будто воруя, переносил черты ее лица на полотно.

Она повторила ему о письмах. Он молчит и глядит на нее, будто в первый раз ее видит.

— Брат, ты не слушаешь?

— Да… да… слышу… «письма от Марка....» Ну что он, здоров, как поживает?.. — скороговоркой сказал он.

Она с удивлением глядела на него. Она едва решалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этим именем, как каленым железом, — а он о здоровье его спрашивает!

Поглядев еще на него, она перестала удивляться. Если б вместо имени Марка она назвала Карпа, Сидора — действие было бы одно и то же. Райский машинально слушал и не слыхал.

Он слышал только звук ее голоса — погруженный в работу, видел только ее, не вникал в ее слова и машинально повторял имя.

— Что ж ты ничего мне не отвечаешь? — спросила она.

— После, после, Вера: ради Бога! Теперь не говори со мной — думай что-нибудь про себя. Меня здесь нет…

Вера пробовала опять заговаривать, но он уже не слыхал и только торопливо подмалевывал лицо.

Вскоре она погрузилась — не в печаль, не в беспокойство о письмах и о том, придет ли Марк, что сделает бабушка, — а в какой-то хаос смутных чувств, воспоминаний, напрасно стараясь

сосредоточить мысли на одном чувстве, на одном моменте.

Она куталась в плед, чтоб согреться, и взглядывала по временам на Райского, почти не замечая, что он делает, и всё задумывалась, задумывалась, и казалось, будто в глазах ее отражалось течение всей ее молодой, но уже глубоко взволнованной и еще не успокоенной жизни. Думы, скорбь, вопросы и ответы из жизни, жажда покоя, тайные муки и робкое ожидание будущего — всё мелькало во взгляде.

А Райский, молча, сосредоточенно, бледный от артистического раздражения, работал над ее глазами, по временам взглядывая на Веру, или глядел мысленно в воспоминание о первой встрече своей с нею и о тогдашнем страстном впечатлении. В комнате была могильная тишина.

Вдруг он остановился, стараясь уловить и определить тайну ее задумчивого, ни на что не смотревшего, но глубокого, как бездна, говорящего взгляда.

Он касался кистью зрачка на полотне, думал поймать правду — и ловил правду чувства, а там, в живом взгляде Веры, сквозит еще что-то, какая-то спящая сила. Он клал другую краску, делал тень — и как ни бился — но у него выходили ее

глаза и не выходило ее взгляда.

Напрасно он звал на помощь две волшебные учительские точки, те две искры, которыми вдруг засветились глаза Софьи под его кистью.

— Нет, здесь точек мало! — сказал он после новых усилий передать этот взгляд.

Он задумался, мешал краски, отходил от портрета, смотрел опять.

— Надо подождать! — решил он и начал подмалевывать щеки, нос, волосы.

Поработав с полчаса, он принялся опять за глаза.

— Еще раз… последний! — сказал он, — и если не удастся — не стану: нельзя!

— Теперь, Вера, погляди минут пять сюда, вот на эту точку, — обратился к ней Райский, указывая, куда глядеть, и сам поглядел на нее…

Она спала. Он замер в молчании и смотрел на нее, боясь дохнуть.

— О, какая красота! — шептал он в умилении. — Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ее взгляд, в котором улеглась вся ее драма и мой роман. Здесь сам Грёз положил бы кисть.

Он нарисовал глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего покоя

мысли, чувства и красоты.

Потом, положив палитру и кисть, тихо наклонился к ней, еще тише коснулся губами ее бледной руки и неслышными шагами вышел из комнаты.

XV

На другой день в полдень Вера, услыхав шум лошадиных копыт в воротах, взглянула в окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствием, увидев рослую и стройную фигуру Тушина, верхом на вороном коне въехавшего во двор.

Вера машинально оправилась перед зеркалом, со вздохом глядела на себя и думала: «Что брат Борис нашел списывать во мне!»

Она сошла вниз, прошла все комнаты и взялась за ручку двери из залы в переднюю. А с той стороны Тушин взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись друг другу.

— Я сверху увидала вас и пошла навстречу… Вы здоровы? — вдруг спросила она, взглянув на него пристально.

— Что мне делается! — конфузливо сказал он, ворочая лицо в сторону, чтоб не дать заметить ей перемены в себе. — А вы?

— Ничего, так. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло… Где бабушка? — обратилась она к Василисе.

Та сказала, что барыня, после чаю, ушла куда-то, взяв с собой Савелья.

Вера пригласила Тушина к себе наверх.

Они, сидя на концах дивана, молчали, глядя украдкой друг на друга.

«Бледен, — думала она, — похудел: оскорбленное чувство, обманутые надежды гнетут его…»

Тушин был точно непокоен, но не столько от «оскорбленных чувств», сколько от заботы о том, что было с нею после: кончена ли ее драма или нет?

Вопрос о собственном беспокойстве, об «оскорбленном чувстве и обманутых надеждах» в первые дни ломал его, и, чтобы вынести эту ломку, нужна была медвежья крепость его организма и вся данная ему и сбереженная им сила души. И он вынес борьбу, благодаря этой силе, благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого самолюбия, — всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти.

Он верил в непогрешимость Веры, и эта вера, которою держалась его чистая, глубоко-нравственная страсть к ней, да прелесть ее обаятельной красоты и доверие к ее уму, сердечной честности — заглушали животный эгоизм страсти и спасали его не только от отчаяния в горе, но и от охлаждения к Вере.

С первой минуты ее откровенности, несмотря

на свою жестокую муку, он беспристрастно сознавал и верил, и тогда же выразил ей, что она не виновна, а «несчастлива»: так думал и теперь. Виноватым во всем, и еще более несчастным слепотой — считал он Марка.

От этого у Тушина, тихо, пока украдкой от него самого, теплился сквозь горе, сквозь этот хаос чувств, тоски, оскорблений, — слабый луч надежды — не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье не совсем терять Веру из виду, удержать за собой навсегда ее дружбу и вдалеке когда-нибудь, со временем, усилить ее покойную, прочную симпатию к себе и… и…

Тут кончались его мечты, не смея идти далее, потому что за этими «и» следовал естественный вопрос о том, что теперь будет с нею? Действительно ли кончилась ее драма? Не опомнился ли Марк, поняв, что́ он теряет, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назад? Не подали ли они друг другу руки навсегда, чтоб быть счастливыми, как он, Тушин, и как сама Вера понимают счастье?

Стало быть, он мучился теми же сомнениями и тем же вопросом, который точно укусил

Татьяну Марковну прямо в сердце, когда Вера показала ей письма. Вопрос этот не переставал грызть Тушина. Ему казалось невероятно, чтобы Марк устоял в своих понятиях и остался только на дне обрыва. «Не дурак же он, не слепой!.. За что-нибудь любила она его… Нет — любить его нельзя — а влюбилась, увлеклась фальшиво… — думал он, — он опомнится, воротится, и она будет счастлива… Дай Бог! Дай Бог!» — молился он за счастье Веры, и в эти минуты бледнел и худел — от безнадежности за свое погибающее будущее, без симпатии, без счастья, без Веры, без всех этих «и»… «и»… «и»…

«Какая же это жизнь? — думал он. — Той жизнью, какою я жил прежде, когда не знал, есть ли на свете Вера Васильевна, жить дальше нельзя. Без нее — дело станет, жизнь станет!»

Он принимался чуть не сам рубить мачтовые деревья, следил прилежнее за работами на пильном заводе, сам вместо приказчиков вел книги в конторе или садился на коня и упаривал его, скача верст по двадцати взад и вперед по лесу, заглушая свое горе и все эти вопросы, скача от них дальше, — но с ним неутомимо, как свистящий осенний ветер, скакал вопрос: что делается на той стороне Волги?

Сколько раз он подъезжал к берегу, глядя на противоположную сторону! Как хотелось ему вскочить на этом коне на отваливающий паром и взобраться на гору, узнать, спросить…

Но она сказала: «погодите» — и это «погодите» было для него свято.

Теперь он ехал с ее запиской в кармане. Она его вызвала, но он не скакал на гору, а ехал тихо; неторопливо слез с коня, терпеливо ожидая, чтоб из людской заметили кучера и взяли его у него, и робко брался за ручку двери. Даже придя в ее комнату, он боязливо и украдкой глядел на нее, не зная, что с нею, зачем она его вызвала, чего ему ждать.

Сначала неловко было обоим. Ей — от того, что «тайна» известна была ему, хотя он и друг, но всё же посторонний ей человек. Открыла она ему тайну внезапно, в горячке, в нервном раздражении, когда она, из некоторых его слов, заподозрила, что он уже знает всё.

И нельзя было не открыть: она дорожила прелестью его дружбы и не хотела красть уважения. Притом он сделал ей предложение. Но всё же он знает ее «грех» — а это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избегала глядеть ему прямо в глаза.

Ему было неловко от того, что он так не в пору и некстати открыл ей свои надежды, на которые она ответила ему страшной откровенностью: неловко и за нее, и за себя.

Они угадывали друг друга и молчали.

— Вы меня простили? — сказала она наконец грудным шепотом, стараясь не глядеть на него.

— Я, вас? за что?

— За всё, что вы перенесли, Иван Иванович. Вы изменились, похудели, вам тяжело, — я это вижу. Горе ваше и бабушки — тяжелое наказание!

— Мое горе не должно беспокоить вас, Вера Васильевна. Оно — мое. Я сам напросился на него, а вы только смягчили его. Вон вы вспомнили обо мне и писали, что вам хочется видеть меня: ужели это правда?

— Правда, Иван Иванович. Если у меня отнимут вас троих: бабушку, вас и брата Бориса, — я не переживу своего одиночества.

— Ну вот, а вы говорите — горе! Посмотрите мне в глаза. Я думаю, я в эту минуту и пополнел опять.

У него показался румянец, какой бросается в лицо вдруг обрадованному человеку.

— Вижу, — сказала она, — и от этого мне больнее становится за всё то, что я сделала со всеми

вами. Что было с бабушкой!

— А что? я боялся спросить…

Она рассказала ему всё, что было в эти две недели, кроме признания Татьяны Марковны.

Он напряженно ждал, не упомянет ли она о Марке. Но она не сказала ни слова.

— Если б вы сами скорей успокоились! — сказал он задумчиво, — всё пройдет и забудется…

— Забудется, но не простится…

— Некому и нечего прощать…

— Если б и забылось и простилось другими, мне самой нельзя забыть и простить себе… — шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лице.

— Я начала немного отдыхать, забывать… — продолжала она. — Теперь скоро свадьба: было много дела, я отвлеклась было…

— И что же, помешало разве что-нибудь?

— Да… я вчера была сильно встревожена; и теперь еще не совсем покойна. Боюсь, чтобы как-нибудь… Да, вы правы: мне надо скорее успокоиться… Я думала, всё кончилось… Уехала бы я отсюда!

Он молчал, потупив глаза. Румянец и минутная радость сбежали с лица.

— Случилось что-нибудь? — спросил он. — Не

нужно ли вам… какой-нибудь услуги, Вера Васильевна?

— Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову вас, Иван Иванович.

— Не сумею, может быть?

— Нет, не то! Вы знаете всё: вот прочтите, что я получила…

Она вынула из ящика оба письма и подала ему. Тушин прочитал и совсем похудел, стал опять бледен, как был, когда приехал.

— Да, тут, конечно, я лишний: вы одна можете…

— Не могу, Иван Иванович…

Он вопросительно глядел на нее.

— Не могу ни написать ему двух слов, ни видеть его…

Он стал оправляться и поднял голову, глядя на нее.

— А мне надо дать ответ: он ждет там, в беседке, или придет сюда, если не дам… а я не могу…

— Какой ответ? — спросил Тушин, наклоняясь и рассматривая свои сапоги.

— И вы, как бабушка, спрашиваете, какой! Разве вы не читали? Он манит счастьем, предлагает венчаться…

— Что же?

— Что же! — повторила она с примесью легкого раздражения, — я пробовала вчера написать ему всего две строки: «Я не была — и не буду счастлива с вами и после венчанья, я не увижу вас никогда. Прощайте!» — и не могла. Хотела пойти, сказать это сама и уйти — ноги не шли: я падала. Он не знает ничего, что со мной произошло, и думает, что я всё еще в жару страсти, оттого и надеется, пишет… Надо ему сказать всё, а я не могу! Поручить некому: бабушка вспыхнула как порох, прочитавши эти письма. Я боюсь, что она не выдержит… и я…

Тушин вдруг встал и подошел к ней.

— И вы подумали обо мне: «Тушин — выдержит и послужит мне…» — и позвали меня… так?

Он весь просиял.

— Нет, Иван Иванович, не так. Я позвала вас, чтоб… видеть вас в этой тревоге. Когда вы тут — я будто покойнее…

— Вера Васильевна! — сказал он — и румянец опять хлынул ему в щеки.

Он был почти счастлив.

— А посылать вас туда, — продолжала она, — нет, я не нанесу вам этого нового оскорбления, не поставлю лицом к лицу с человеком, которого вы… не можете видеть равнодушно… Нет, нет!

Она качала головой.

— Оскорбления! Вера Васильевна!..

Он хотел говорить, но сложил только руки, как будто с мольбой, перед ней. Глаза блистали, глядя на нее.

Она с изумлением благодарности смотрела на него, видя, как одно внимание, одно чувство приличия — такая малость — делали его счастливым. И это после всего!..

«Как он любит меня! Зачем?..» — подумала она с грустью.

— Оскорбления! — повторил он. — Да, мне тяжело бы было, если б вы послали меня с масличной ветвью к нему, помочь ему выбраться из обрыва сюда… Эта голубиная роль мне была бы точно не к лицу — но я пошел бы мирить вас, если б знал, что вы будете счастливы…

«И бабушка пошла бы, и мать моя, если б была жива… И этот человек готов идти — искать мое счастье — и терять свое!» — подумалось ей опять.

— Иван Иванович! — сказала она почти в слезах, — я вам верю, вы сделали бы и это! Но я не послала бы вас…

— Знаю, что не послали бы, и дурно сделали бы. А теперь мне не надо и выходить из роли

медведя. Видеть его — чтобы передать ему эти две строки, которых вы не могли написать: ведь это — счастье, Вера Васильевна!

Она потупила глаза.

«Я только и могу дать ему это счастье в ответ… на всё!..» — думала она.

Заметив ее печаль, он вдруг упал, смирился; гордость осанки, блеск взгляда, румянец — пропали. Он раскаялся в своей неосторожной радости, в неосторожном слове: «счастье».

«Опять глупость сделал!» — терзался он про себя, приняв простое, дружеское поручение, с которым она обратилась к нему, потому что некому было поручить, как она сказала, — за какое-то косвенное поощрение его надежд!

Он — этой внезапной радостью и этим словом «счастье» — будто повторил свое признание в любви и предложение руки и, кроме того, показал ей, что эгоистически радуется разрыву ее с Марком.

Вера, глядя на него, угадала, что он во второй раз скатился с своего обрыва счастливых надежд. Ее сердце, женский инстинкт, дружба — всё бросилось на помощь бедному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всем его надеждам, удержав одну, какую только могла дать ему в

своем положении, — это безграничное доверие и уважение.

— Да, Иван Иванович, я теперь вижу, что я надеялась на вас и в этом, только не признавалась сама себе, и никогда не решилась бы требовать от вас этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможет мне так, как вы поможете, потому что никто так, как вы, не любит меня…

— Вы балуете меня, Вера Васильевна, говоря это: но это правда! Вы насквозь видите меня…

— И если, — продолжала она, — вам не тяжело видеть его…

— Нет… я не упаду в обморок.

— Так подите сегодня в пять часов в беседку и скажите…

Она задумалась, что сказать. Потом взяла карандаш и написала те же две строки, которые сказала ему на словах, не прибавив ничего к прежде сказанным словам.

— Вот мой ответ! — заключила она, передавая ему незапечатанный листок, — отдайте ему и прибавьте, что хотите, если нужно будет: вы знаете всё…

Он спрятал листок в карман.

— Помните одно, — прибавила она поспеш-

но, — что я не обвиняю его ни в чем… ни на что не жалуюсь… следовательно…

Она остановилась. Он ждал.

— Вашего бича с собой не берите!.. — договорила она тихо, почти в сторону.

— Поделом мне, — сказал он, сильно вздохнув.

— Виновата, — перебила она, подавая ему руку, — это не упрек, Боже сохрани! Память подсказала мне кстати. Мне легче этим одним словом выразить, а вам понять, чего я желаю и чего не желала бы в этом свидании…

— Тут обидно одно: вы думали, что я без этого слова не понял бы…

— Простите меня, больную…

Он пожал поданную ему руку.

XVI

Немного погодя воротилась Татьяна Марковна, пришел Райский. Татьяна Марковна и Тушин не без смущения встретились друг с другом. И им было неловко: он знал, что ей известно его объяснение с Верой, — а ей мучительно было, что он знает роман и «грех» Веры.

Из глаз его выглядывало уныние, в ее разговорах сквозило смущение за Веру и участие к нему самому. Они говорили даже о простых предметах как-то натянуто, но к обеду взаимная симпатия превозмогла, они оправились и глядели прямо друг другу в глаза, доверяя взаимным чувствам и характерам. Они даже будто сблизились между собой и в минуты молчания высказывали один другому глазами то, что могли бы сказать о происшедшем словами, если б это было нужно.

До обеда Вера оставалась с Татьяной Марковной, стараясь или, скорее, опасаясь узнать о мере, какую она могла принять, чтоб Марк не ожидал ее в беседке. Она решилась не отходить от нее и после обеда, чтоб она не поддалась желанию сама сойти с обрыва на свидание.

Но Татьяна Марковна до обеда не упомянула о

вчерашнем разговоре, а после обеда, когда Райский ушел к себе, а Тушин, надев пальто, пошел куда-то «по делу», она заняла всю девичью чисткою серебряных чайников, кофейников, подносов и т. д., назначаемых в приданое Марфиньке.

Вера успокоилась с этой стороны и мысленно перенеслась с Тушиным в беседку, думая с тоской и с замиранием сердца от страха о том: «Не вышло бы чего-нибудь! Если б этим кончилось! Что там теперь делается!»

А там, без четверти в пять часов, пробирался к беседке Тушин. Он знал местность, но, видно, давно не был и забыл, потому что глядел направо, налево, брал то в ту, то в другую сторону, по едва заметной тропинке, и никак не мог найти беседки. Он остановился там, где кусты были чаще и гуще, припоминая, что беседка была где-то около этого места.

Он стоял, оглядываясь во все стороны, и с беспокойством смотрел на часы. Стрелка подвигалась к пяти часам, а он не видал ни беседки, ни Марка.

Вдруг издали до него дошел шум торопливых шагов, и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура.

«Кажется, он!..» — думал Тушин, и раза два дохнул всей грудью, как усталый конь, покачал

взад и вперед стоящую рядом молодую ель, потом опустил обе руки в карманы пальто и стал как вкопанный.

Марк точно выпрыгнул из засады на это самое место, где был Тушин, и, оглядываясь с изумлением вокруг, заметил его и окаменел.

Они поглядели друг на друга с минуту, потом дотронулись до фуражек. Волохов всё озирался с недоумением вокруг.

— Где же беседка? — спросил он наконец вслух.

— Я тоже ее ищу и не знаю, в которой она стороне!

— Как «в которой стороне»! Мы стоим на ее месте: она еще вчера утром тут была…

Оба молчали, не зная, что сталось с беседкой. А с ней сталось вот что. Татьяна Марковна обещала Вере, что Марк не будет «ждать ее в беседке», и буквально исполнила обещание. Через час после разговора ее с Верой Савелий, взяв человек пять мужиков с топорами, спустился в обрыв, и они разнесли беседку часа в два, унеся с собой бревна и доски на плечах. А бабы и ребятишки, по ее же приказанию, растаскали и щепы.

На другой день утром сама барыня взяла садовника, да опять Савелья, и еще двоих людей,

и велела место, где была беседка, поскорее сровнять, утоптать, закрыть дерном и пересадить туда несколько молодых сосен и елей.

«Задним умом крепка! — упрекала она мысленно себя. — Если б я сломала беседку тотчас, когда Верочка сказала мне всё… тогда, может быть, злодей догадался бы и не писал ей проклятых писем!»

«Злодей» действительно догадался.

«Старуха узнала: это она! — подумал он. — Вера поступила благонравно: всё открыла ей!»

Он обернулся к Тушину, кивнул ему и хотел идти, но заметил его пристальный, точно железный взгляд.

— Вы что тут делали, гуляли, что ли? — спросил он. — Что вы так смотрите на меня? Вы здесь в гостях наверху?

— Да, в гостях. Я не гулять пришел, а видеться с вами, — сказал Тушин сухо, но учтиво.

— Со мной! — оборотясь живо к нему, отозвался Волохов и вопросительно глядел на него. «Что это: не узнал ли и он? Он, кажется, претендент на Веру. Не драму ли затевает этот лесной Отелло: “крови”, “крови”, что ли, ему надо!» — успел подумать Марк.

— С вами, — повторил Тушин, — у меня есть

поручение к вам.

— От кого? От старухи?

— От какой старухи?

— От Бережковой! От какой!

— Нет.

— Так от Веры? — почти с испугом спросил он.

— От Веры Васильевны, хотите вы сказать?

— Ну, пожалуй, Васильевны. Что она, здорова ли? что велела передать мне?..

Тушин молча подал ему записку. Марк пробежал ее глазами, сунул небрежно в карман пальто, потом снял фуражку и начал пальцами драть голову, одолевая не то неловкость своего положения перед Тушиным, не то ощущение боли, огорчения или злой досады.

— Вы… всё знаете? — спросил он.

— Позвольте не отвечать на этот вопрос, а спросить вас: скажете вы что-нибудь в ответ?

«Стану я тебе давать ответ! — подумал Марк, — не дам!»

— Ничего не скажу, — холодно отвечал он вслух.

— Но исполните, конечно, ее просьбу: не тревожить ее больше, не напоминать о себе… не писать, не посещать этих мест…

— Вам что за дело? Вы объявлены ее женихом,

что спрашиваете?..

— Для этого не нужно быть женихом, а просто другом, чтоб исполнить поручение.

— Если буду писать и посещать — тогда что? — запальчиво заговорил Волохов, как будто напрашиваясь на дерзость.

— Не знаю, как примет это Вера Васильевна. Если опять даст мне новое поручение, я опять сделаю, что ей будет нужно.

— Какой вы послушный и почтительный друг! — сказал с злой иронией Марк.

Тушин поглядел на него с минуту серьезно.

— Да, вы правы: я такой друг ей… Не забывайте, господин Волохов, — прибавил он, — что вы говорите не с Тушиным теперь, а с женщиной. Я стал в ее положение и не выйду из него, что бы вы ни сказали. Я думал, что и для вас довольно ее желания, чтобы вы не беспокоили ее больше. Она только что поправляется от серьезной болезни…

Марк молча ходил взад и вперед по лужайке и, при последних словах, подошел к Тушину.

— Что с ней было? — спросил он почти мягко.

Тушин молчал.

— Извините меня, я горячусь: знаю, что это глупо! Но ведь вы видите, что и я — как в горячке.

— Очень жалею; стало быть, вам самим нужен

покой… Вы дадите какой-нибудь ответ на эту записку?

Марку не хотелось отвечать ему.

— Я сам отвечу, напишу…

— Она положительно отказывается от этого — и я могу дать вам слово, что она не может поступить иначе… Она больна — и ее здоровье требует покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себе. Я передаю, что мне сказано, и говорю то, что видел сам…

— Послушайте, вы ей желаете добра? — начал Волохов.

— Конечно.

— Вы видите, что она меня любит, она вам сказала…

— Нет, этого я не вижу, и она мне не говорила о любви, а дала вот эту записку и просила подтвердить, что она не может и не желает более видеться с вами и получать писем.

— Какая нелепость — мучаться и мучать другого! — сказал Марк, вскапывая ногой свежую, нанесенную только утром землю около дерева. — Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил… от всего — если вы… друг ей! Старуха сломала беседку, но не страсть: страсть сломает Веру… Вы же сами говорите, что

она больна…

— Я не говорил, что она больна от страсти…

— От чего же расстроена?

— От того, что вы пишете к ней, ждете в беседке, грозите прийти сами. Она не переносит этого — и только это поручила передать.

— Она только говорит так, а сама…

— Она говорит всегда правду.

— Почему она дала это поручение вам? — вдруг спросил Марк.

Тушин молчал.

— Она вам доверяет, стало быть, вы можете объяснить ей, как дико противиться счастью. Ведь она не найдет его там, у себя… Вы посоветовали бы ей не мучать себя и другого и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль… Притом я предлагаю ей…

— Если б вы умели понять ее, — остановил его Тушин, — то давно бы знали, что она из тех, кому «объяснять» нечего и «советовать» нельзя. А колебать «бабушкину мораль» я не нахожу нужным, потому что разделяю эту мораль.

— Вот как! Вы удивительный дипломат, отлично исполняете поручения! — раздражительно сказал Марк.

Тушин молчал, наблюдая за ним и покойно

ожидая, что он волей или неволей, а даст ответ.

Это молчаливое спокойствие бесило Марка. Сломанная беседка и появление Тушина в роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что Вера не колеблется больше, что она установилась на своем намерении не видеться с ним никогда.

В него тихо проникло ядовитое сознание, что Вера страдает, действительно, не от страсти к нему, — иначе она не открылась бы бабушке и еще менее Тушину. Он знал и прежде ее упрямство, которого не могла сломать даже страсть, и потому почти с отчаянием сделал последнюю уступку, решаясь жениться и остаться еще на неопределенное время, но отнюдь не навсегда, тут, в этом городе, а пока длится его страсть. Он верил в непогрешимость своих понятий о любви и предвидел, что рано или поздно она кончится для обоих одинаково, что они будут «виснуть один другому на шею, пока виснется», а потом…

Он отдалялся от этого «потом», надеясь, что со временем Вера не устоит и сама на морали бабушки, когда настанет охлаждение.

Теперь и эта его жертва — предложение жениться — оказалась напрасною. Ее не приняли. Он не опасен и даже не нужен больше. Его от-

сылают. Он терпел в эту минуту от тех самых мучений, над которыми издевался еще недавно, не веря им. «Не логично!» — думал он.

— Я не знаю, что я сделаю, — сказал он всё еще гордо, — и не могу дать ответа на ваше дипломатическое поручение. В беседку, конечно, не приду, потому что ее нет…

— И писем не будете писать, — давал за него ответ Тушин, — потому что их не передадут. В дом тоже не придете — вас не примут…

— Кто: вы? — злобно отозвался Марк, — что же вы, стеречь станете?

— Стану, если Вера Васильевна захочет. Впрочем, здесь есть хозяйка дома и… люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличий и спокойствия женщины…

— Черт знает, что за нелепость! — рычал Марк, — выдумали люди себе кандалы… лезут в мученики!..

Ему всё еще хотелось удержаться в позиции и удалиться с некоторым достоинством, сохраняя за собой право не давать ответа. Но Тушин уже знал, что другого ответа быть не может. Марк чувствовал это и стал отступать постепенно.

— Я еду скоро, — сказал он, — через неделю… Не может ли Вера… Васильевна видеться со мной

на одну минуту?..

— Не может положительно: она больна.

— Лечат, что ли, ее?

— Ей одно лекарство: чтоб вы не напоминали о себе…

— Я ведь не совсем доверяю вам, — едко перебил Марк, — вы, кажется… неравнодушны к ней — и…

Тушин опять покачал ель, но молчал. Он входил в положение Марка и понимал, какое чувство горечи или бешенства должно волновать его, и потому не отвечал злым чувством на злобные выходки, сдерживая себя, а только тревожился тем, что Марк, из гордого упрямства, чтоб не быть принуждену уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сделает попытку написать или видеться и встревожит Веру. Ему хотелось положить совсем конец этим покушениям.

— Если мне не верите — то у вас есть доказательство, — сказал он.

— Расписка — да. Это ничего не значит. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль… Может быть, уж она теперь жалеет, что послала вас…

— Не думаю: она бы предвидела это и не послала бы. Вы, как я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочем, я передал вам всё — и вы, конечно, уважите ее

желания… Я не настаиваю более на ответе…

— Ответа никакого! Я уеду…

— Это именно тот ответ, который нужен ей…

— Не ей, а вам да, может быть, романтику Райскому и старухе…

— Да, пожалуй, и нам, и — может быть — целому городу! Я позволю себе только поручиться Вере Васильевне, что ответ ваш будет вами буквально исполнен. Прощайте.

— Прощайте… рыцарь…

— Что? — спросил, немного нахмурившись, Тушин.

Марк, бледный, смотрел в сторону. Тушин дотронулся до фуражки и ушел, а Марк всё еще стоял на месте.

XVII

Он злился, что уходит неловко, неблаговидно, хуже, чем он пророчил когда-то Райскому, что весь роман его кончается обрывом, из которого ему надо уходить не оглядываясь, что вслед ему не послано не только сожаления, прощального слова, но его будто выпроваживают, как врага, притом слабого, от которого избавит неделя-другая разлуки да соседняя гора, за которую он перевалится.

Отчего всё это? «Он ни в чем не виноват!» А ему отказывают в последнем свидании, — очевидно, не из боязни страстного искушения, а как будто грубой обиды, выбирают посредником другого!

И этот другой командует властью Веры, не выходя из границ приличий, выпроваживает его осторожно, как выпроваживают буйного гостя или вора, запирая двери, окна и спуская собаку. Он намекнул ему о хозяйке дома, о людях… чуть не о полиции.

В этом, пожалуй, он был сам виноват (снисходительно обвинял Марк себя), усвоив условия и формы общежития, которые он называл свободными и разумными, презирая всяким принятым

порядком, и которые город этот не признавал такими.

Не оттого ли Вера теперь будто стыдится своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отделывается от него заочно, через других, как отделываются от дурного знакомства, сделанного случайно или нечаянно?

И этот посредник, несмотря на резкие вызовы, очевидно, сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже скандальной, для Веры и для него самого, сцены — с неприличным человеком. И ко всему этому нужно было еще дать ответ! А ответ один: другого ответа и нет, и нельзя дать, кроме того, какой диктовал ему этот «рыцарь» и «дипломат», унизивший его холодной вежливостью на все его задиранья. Марк, как ни ускользал, а дал ответ!

Но как бы Вера ни решила, всё же, в память прошлого, она должна была… хоть написать к нему свое решительное письмо, если больна и вынести свидания не может. Пусть охладился пыл страсти, но она дружески могла проститься с ним, подтвердила бы ему, что не мирится с бездной неизвестности впереди, с его миросозерцанием, — и они разошлись бы, уважая друг друга. А она отсылает его — не с уважением, а

как будто не удостоивает досказать последние слова, как будто он сделал что-нибудь такое… В чем он виноват? Он стал припоминать последнее свидание — и не нашел за собой ничего…

Он прав, во всем прав: за что же эта немая и глухая разлука? Она не может обвинить его в своем «падении», как «отжившие люди» называют это… Нет! А теперь он пошел на жертвы до самоотвержения: бросает свои дела, соглашается… венчаться! За что же этот нож: лаконическая записка вместо дружеского письма, посредник — вместо самой себя?

Да, — это нож: ему больно. Холод от мозга до пят охватил его. Но какая рука вонзила нож? Старуха научила? нет — Вера не такая, ее не научишь! Стало быть, сама. Но за что, что он сделал?

Марк медленно шел к плетню, вяло влез на него и сел, спустив ноги, и не прыгал на дорогу, стараясь ответить себе на вопрос: «Что он сделал?»

Он припомнил, как в последнем свидании «честно» предупредил ее. Смысл его слов был тот: «Помни, я всё сказал тебе вперед, и если ты, после сказанного, протянешь руку ко мне — ты моя: но ты и будешь виновата, а не я…»

«Это логично!» — сказал он почти вслух — и вдруг страшно побледнел. Лицо у него искази-

лось, как будто около него поднялся из земли смрад и чад. Он соскочил с плетня на дорогу, не оглядываясь, как тогда…

Далее, он припомнил, как он, на этом самом месте, покидал ее одну, повисшую над обрывом, в опасную минуту. «Я уйду», — говорил он ей («честно») и уходил, но оборотился, принял ее отчаянный нервный крик «прощай» за призыв — и поспешил на зов…

Этот первый ответ на вопрос: «Что он сделал» — как молот, ударил его в голову.

Он пошел с горы, а нож делал свое дело и вонзался всё глубже и глубже. Память беспощадно проводила перед ним ряд недавних явлений.

«Нечестно венчаться, когда не веришь!» — гордо сказал он ей, отвергая обряд и «бессрочную любовь» и надеясь достичь победы без этой жертвы; а теперь предлагает тот же обряд! Не предвидел! Не оценил вовремя Веру, отвергнул, гордо ушел… и оценил через несколько дней!

«Вот что ты сделал!» — опять стукнул молот ему в голову.

«Из логики и честности, — говорило ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание, — ты сделал две ширмы, чтоб укрываться за них с своей “новой силой”, оставив бессильную жен-

щину разделываться за свое и за твое увлечение, обещав ей только одно: “уйти, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей»… оставляя ее нести их одну…”»

«Ты не пощадил ее “честно”, когда она падала в бессилии, не сладил потом “логично” с страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь “нечестно” отвергаемому твоим “разумом” обряду, и впереди заботливо сулил — одну разлуку! Манил за собой и… договаривался! Вот что ты сделал!» — стукнул молот ему в голову еще раз.

«“Волком” звала она тебя в глаза “шутя”, — стучал молот дальше, — теперь, не шутя, заочно, к хищничеству волка — в памяти у ней останется ловкость лисы, злость на всё лающей собаки и не останется никакого следа — о человеке! Она вынесла из обрыва — одну казнь, одно неизлечимое терзание на всю жизнь: как могла она ослепнуть, не угадать тебя давно, увлечься, забыться!.. Торжествуй: она никогда не забудет тебя!»

Он понял всё: ее лаконическую записку, ее болезнь — и появление Тушина на дне обрыва вместо ее самой.

Козлов видел его и сказал Райскому, что теперь он едет на время в Новгородскую губернию, к старой тетке, а потом намерен проситься опять в

юнкера, с переводом на Кавказ.

XVIII

Райский проговорил целый вечер с Тушиным. Они только теперь начали вглядываться друг в друга пристальнее, и разошлись оба с желанием познакомиться короче, следовательно, сделали друг на друга благоприятное впечатление.

Вечером Тушин звал Райского к себе на неделю погостить, посмотреть его лес, как работает у него машина на паровом пильном заводе, его рабочую артель, вообще всё лесное хозяйство.

Райскому хотелось докончить портрет Веры, и он отклонил было приглашение. Но на другой день, проснувшись рано, он услыхал конский топот на дворе, взглянул в окно и увидел, что Тушин уезжал со двора на своем вороном коне. Райского вдруг потянуло за ним.

— Иван Иванович! — закричал он в форточку, — и я с вами! Можете подождать четверть часа, пока я оденусь?

— Очень рад! — отозвался Тушин, слезая с лошади, — не торопитесь, я подожду хоть час!

Он пошел к Райскому. Татьяна Марковна и Вера услыхали их разговор, поспешили одеться и позвали обоих пить чай, причем, конечно,

Татьяна Марковна успела задержать их еще на час и предложила проект такого завтрака, что они погрозили уехать в ту же минуту, если она не ограничится одним бифстексом. Бифстексу предшествовала обильная закуска, а вслед за бифстексом явилась рыба, за рыбой жареная дичь. Дело доходило до пирожного, но они встали из-за стола и простились — не надолго.

Райскому оседлали лошадь, а сзади их Татьяна Марковна отправила целую тележку с гостинцами Анне Ивановне. И оба, вместо осьми часов, как хотели, едва выбрались из дома в десять и в половине одиннадцатого сели на паром Тушина.

Иван Иванович в разговорах с Татьяной Марковной, с Райским и потом по приезде домой — был тих, сосредоточен, часто молчалив.

О Вере не произнесли ни слова ни тот ни другой. Каждый знал, что тайна Веры была известна обоим, и от этого им было неловко даже произносить ее имя. Кроме того, Райский знал о предложении Тушина и о том, как он вел себя и какая страдательная роль выпала ему на долю во всей этой драме.

С этой минуты, как он узнал это, все ревнивые его предубеждения к Тушину исчезли, уступив место сначала любопытному наблюдению, а

потом, когда Вера рассказала ему всё, и участию, уважению, даже удивлению к нему.

Удивление это росло по мере того, как Райский пристальнее изучал личность этого друга Веры. И в этом случае фантазия сослужила ему обычную службу, осветив Тушина ярко, не делая из него, впрочем, никакого романтического идеала: личность была слишком проста для этого, открыта и не романтична.

Пробыв неделю у Тушина в «Дымке», видя его у него, дома, в поле, в лесу, в артели, на заводе, беседуя с ним по ночам до света у камина в его кабинете, — Райский понял вполне Тушина, многому дивился в нем, а еще более дивился глазу и чувству Веры, угадавшей эту простую, цельную фигуру и давшей ему в своих симпатиях место рядом с бабушкой и с сестрой.

Симпатия эта устояла даже в разгаре посторонней страсти, болезни-страсти, которая обыкновенно самовластно поглощает все другие пристрастия и даже привязанности. А в ней дружба к Тушину и тогда сохранила свою свежесть и силу. Это одно много говорило в его пользу.

Она инстинктивно чувствовала, что его сила, которую она отличила и полюбила в нем, — есть общечеловеческая сила, как и любовь ее к нему

была — не исключительное, не узкое пристрастие, а тоже общечеловеческое чувство.

Не полюбила она его страстью, — то есть физически: это зависит не от сознания, не от воли, а от какого-то нерва (должно быть, самого глупого, думал Райский, отправляющего какую-то низкую функцию, между прочим, влюблять), и не как друга только любила она его, хотя и называла другом, но никаких последствий от дружбы его для себя не ждала, отвергая, по своей теории, всякую корыстную дружбу, а полюбила только как «человека» и так выразила Райскому свое влечение к Тушину в первом свидании с ним, то есть как к «человеку» вообще.

Райский поверял наблюдением над ним всё, что слышал от Веры, — и всё оправдывалось, подтверждалось — и анализ Райского, так услужливо разоблачавший ему всякие загадочные или прикрытые лоском и краской стороны, должен был уступить место естественному влечению к этой простой, открытой личности, где не было почти никакого «лоска» и никакой «краски».

Это был чистый самородок, как слиток благородного металла, и полюбить его действительно можно было, кроме корыстной или обязательной любви, то есть какою могли любить его жена,

мать, сестра, брат, — еще как человека.

Глядя на него, слушая его, видя его деятельность, распоряжения по хозяйству, отношения к окружающим его людям, к приказчикам, крестьянам — ко всем, кто около него был, с кем он соприкасался, с кем работал или просто говорил, жил вместе, Райский удивлялся до наивности каким-то наружно будто противоположностям, гармонически уживавшимся в нем: мягкости речи, обращения — с твердостью, почти методическою, намерений и поступков, ненарушимой правильности взгляда, строгой справедливости — с добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхождением, — далее, смеси какого-то трогательного недоверия к своим личным качествам, робких и стыдливых сомнений в себе — с смелостью и настойчивостью в распоряжениях, работах, поступках, делах.

В нем крылась бессознательная, природная, почти непогрешительная система жизни и деятельности. Он как будто не знал, что делал, а выходило как следует, как сделали бы десятки приготовленных умов, путем размышления, науки, труда.

Райский вспомнил первые впечатления, какие произвел на него Тушин, как он счел его даже

немного ограниченным, каким сочли бы, может быть, его, при первом взгляде, и другие, особенно так называемые «умники», требующие прежде всего внешних признаков ума, его «лоска», «красок», «острия», обладающие этим сами, не обладая часто тем существенным материалом, который должен крыться под лоском и краской.

Теперь, наблюдая Тушина ближе и совершенно бескорыстно, Райский решил, что эта мнимая «ограниченность» есть не что иное, как равновесие силы ума с суммою тех качеств, которые составляют силу души и воли, что и то, и другое, и третье слито у него тесно одно с другим и ничто не выдается, не просится вперед, не сверкает, не ослепляет, а тянет к себе медленно, но прочно.

С умом у него дружно шло рядом и билось сердце — и всё это уходило в жизнь, в дело, следовательно, и воля у него была послушным орудием умственной и нравственной силы.

Жизнь его совершала свой гармонический ход, как будто разыгрывалось стройное музыкальное произведение, под управлением данных ему природою сил.

Заслуги мучительного труда над обработкой данного ему, почти готового материала — у него не было и нет: это правда. Он не был сам творцом

своего пути, своей судьбы: ему, как планете, очерчена орбита, по которой она должна вращаться; природа снабдила ее потребным количеством тепла и света, дала нужные свойства для этого течения — и она идет неуклонно по начертанному пути.

Так. Но ведь не планета же он в самом деле — и мог бы уклониться далеко в сторону. Стройно действующий механизм природных сил мог бы расстроиться — и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок, и от дурной, избалованной воли.

А у него этого разлада не было. Внутреннею силою он отражал внешние враждебные притоки, а свой огонь горел у него неугасимо, и он не уклоняется, не изменяет гармонии ума с сердцем и с волей — и совершает свой путь безупречно, всё стоит на той высоте умственного и нравственного развития, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, следовательно, стоит почти бессознательно.

Но ведь сознательное достижение этой высоты — путем мук, жертв, страшного труда всей жизни над собой, — безусловно без помощи посторонних, выгодных обстоятельств, дается так немногим, что — можно сказать — почти

никому не дается, а между тем как многие, утомясь, отчаявшись или наскучив битвами жизни, останавливаются на полдороге, сворачивают в сторону и наконец совсем теряют из вида задачу нравственного развития и перестают верить в нее.

А Тушин держится на своей высоте и не сходит с нее. Данный ему талант — быть человеком — он не закапывает, а пускает в оборот, не теряя, а только выигрывая от того, что создан природою, а не сам сделал себя таким, каким он есть.

«Нет, это не ограниченность в Тушине, — решал Райский, — это — красота души, ясная, великая! Это — само благодушие природы, ее лучшие силы, положенные прямо в готовые, прочные формы. Заслуга человека тут — почувствовать и удержать в себе эту красоту природной простоты и уметь достойно носить ее, то есть ценить ее, верить в нее, быть искренним, понимать прелесть правды и жить ею, — следовательно, ни больше ни меньше, как иметь сердце и дорожить этой силой если не выше силы ума, то хоть наравне с нею.

А пока люди стыдятся этой силы, дорожа «змеиной мудростью» и краснея «голубиной простоты», отсылая последнюю к наивным натурам, пока

умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, — следовательно, немыслим и истинный, прочный, человеческий прогресс.

Послушать, так нужная степень нравственного развития у всех уже есть, как будто каждый уже достиг его и носит у себя в кармане, как табакерку, что это «само собой разумеется», что об этом и толковать нечего. Все соглашаются, что общество существовать без этого не может, что гуманность, честность, справедливость — суть основные законы и частной, и общественной жизни, что «честность, честности, честностью» и т. д.

«И всё ложь!» — говорил Райский. В большинстве нет даже и начина нравственного развития, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть несколько захваченных, как будто на дорогу в обрез денег — правил (а не принципов) и внешних приличий для руководства, — таких правил, за несоблюдение которых выводят вон или запирают куда-нибудь.

У большинства есть decorum принципов, а сами принципы шатки и редки и украшают, как ордена, только привилегированные, отдельные личности. «У него есть правила!» — отзываются таким голосом о ком-нибудь, как будто говорят:

«У него есть шишка на лбу!»

И — пожалуй — засмеялись бы над тем, кто вздумал бы серьезно настаивать на необходимости развития и разлития правил в общественной массе и обращении их в принципы — так же настоятельно и неотложно, как, например, на необходимости неотложного построения железных дорог. И тут же не простили бы ему малейшего упущения в умственном развитии: если б он осмелился не прочесть последнего французского или английского, наделавшего шуму, увража, не знал бы какой-нибудь новейшей политико-экономической аксиомы, последнего фазиса в политике или важного открытия в физике!

«Уменье жить» ставят в великую заслугу друг другу, то есть уменье «казаться», с правом в действительности «не быть» тем, чем надо быть. А уменьем жить называют уменье ладить со всеми, чтоб было хорошо и другим, и самому себе, уметь таить дурное и выставлять, что годится, то есть приводить в данный момент нужные для этого свойства в движение, как трогать клавиши, большею частию — не обладая самой музыкой.

Тушин жил, не подозревая, что умеет жить, как

мольеровский bourgeois gentilhomme[149] не подозревал, что «говорит прозой», и жил одинаково, бывало ли ему от того хорошо или нехорошо. Он был «человек», как коротко и верно определила его умная и проницательная Вера.

Всё это думал Райский, едучи с Тушиным в коляске обратно домой, после шестидневного пребывания в его лесной усадьбе. «Тушины — наша истинная “партия действия”, наше прочное “будущее”, которое выступит в данный момент, особенно когда всё это, — оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решал Райский, — когда всё это будет *свободно*, когда все миражи, лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему “делу”, множеству “дела” у всех, — когда с миражами исчезнут и добровольные “мученики”, тогда явятся на смену им “работники”, “Тушины” на всей лестнице общества…»

По впечатлительной натуре своей, он пристрастился к этой новой, простой, мягкой и вместе сильной личности. Он располагал пробыть в «Дымке» и долее. Ему хотелось вникнуть в порядок хозяйственного механизма Тушина. Он едва успел заметить только наружный порядок,

---

[149] Примечания: 149
мещанин во дворянстве (*фр.*).

видеть бросающиеся в глаза результаты этого хозяйства, не успев вникнуть в самый процесс его отправления.

В деревне он не заметил пока обыкновенных и повсюдных явлений: беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности.

Когда Райский выразил Тушину удивление и удовольствие, что все строения глядят, как новые, свежо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нет, Тушин, в свою очередь, удивился этому удивлению.

— И видно, что вы не деревенский житель, не хозяин, — заметил он, — лесная усадьба и село, а крыши соломенные — это даже невыгодно! Лес свой: как же избам разваливаться!

Нехозяйский глаз Райского не мог оценить вполне всей хозяйственности, водворенной в имении Тушина. Он заметил мимоходом, что там было что-то вроде исправительной полиции для разбора мелких дел у мужиков да заведения вроде банка, больницы, школы.

Тушин многое скрадывал, совестясь «докучать» гостю своими делами, и спешил показать ему, как

артисту, лес, гордясь им, как любимым делом.

Вид леса в самом деле поразил Райского. Он содержался как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода и науки. Артель смотрела какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством.

— Ведь они у меня, и свои и чужие, на жалованье, — отвечал Тушин на вопрос Райского: «Отчего это?» Пильный завод показался Райскому чем-то небывалым, по обширности, почти по роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями.

Сам Тушин там показался первым работником, когда вошел в свою технику, во все мелочи, подробности, лазил в машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.

Райский с удивлением глядел, особенно когда они пришли в контору на заводе и когда с полсотни рабочих ввалились в комнату, с просьбами, объяснениями, обступили Тушина.

Он, пробившись с ними около часа, вдруг сконфузился, что бросил гостя, и вывел его из толпы, извиняясь за эти дрязги, и повез показывать

красивые места.

Райский так увлекся всей этой новостью дела, личностей, этим заводом, этими массами лесного материала, отправлявшегося по водам до Петербурга и за границу, что решил остаться еще неделю, чтобы изучить и смысл, и механизм этого большого дела.

Однако ему не удалось остаться долее. Татьяна Марковна вызвала его письмом, в котором звала немедленно приехать, написав коротко, что «дело есть».

Тушин напросился ехать с ним, «проводить его», как говорил он, а в самом деле узнать, зачем вызвала Татьяна Марковна Райского: не случилось ли чего-нибудь нового с Верой и не нужен ли он ей опять? Он с тревогой припоминал свидание свое с Волоховым и то, как тот невольно и неохотно дал ответ, что уедет.

«Уехал ли? не написал ли опять к ней? не встревожил ли?» — мучился Тушин, едучи в город.

Райский, воротясь домой, прежде всего побежал к Вере и, под влиянием свежего впечатления, яркими красками начертил ей портрет Тушина во весь рост и значение его в той сфере, где он живет и действует, и вместе свое удивление и рождающуюся симпатию.

В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками, и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена!

— А ты мне так мало говорила о его деятельности!.. — заключил он.

Вера с радостью слушала Райского; у ней появился даже румянец. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатление, какое сделал на него «медведь» и его берлога, теплый колорит, в который Райский окрасил фигуру Тушина, осмыслив его своим метким анализом, яркая картина быта, хозяйства, нравов, лесного угла, всей местности — всё это почти увлекло и Веру.

Она не без гордости видела в этом очерке Райского косвенную похвалу и себе за то, что тонко оценила и умела полюбить в Тушине — правду простой натуры.

— Брат, — сказала она, — ты рисуешь мне не Ивана Ивановича: я знаю его давно, — а самого себя. Лучше всего то, что сам не подозреваешь, что выходит недурно и твой собственный портрет. И меня тут же хвалишь, что угадала в Тушине

человека! Но это нетрудно! Бабушка его тоже понимает и любит, и все здесь…

Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любит его больше, иначе…

Он хотел сказать что-то в ответ, но за ним прислала бабушка и немедленно потребовала его к себе.

— Скажи, пожалуйста, Вера, — спохватился вдруг Райский, — зачем она вызвала меня?..

— Не знаю: что-то есть. Она мне не говорит, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли там что-нибудь!.. — прибавила Вера, внезапно охлаждаясь и переходя от дружеского тона к своей грустной задумчивости.

В то время как Райский уходил от нее, Тушин прислал спросить ее, может ли он ее видеть. Она велела просить.

XIX

Бабушка выслала Пашутку и заперла дверь кабинета, когда пришел Райский. Сама она была очевидно расстроена. Райский испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь неприятного, бабушка? — спросил он, садясь против нее.

— Что должно было случиться, то и случилось, — печально сказала она, глядя в сторону.

— Скажите скорей, я — как на иголках!

— Старый вор Тычков отмстил нам с тобой! Даже и обо мне где-то у помешанной женщины откопал историю… Да ничего не вышло из того… Люди к прошлому равнодушны — а я сама одной ногой в гробу и о себе не забочусь. Но Вера…

Она вздохнула.

— Что такое?

— Ее история перестает быть тайной… В городе ходят слухи… — шептала Татьяна Марковна с горечью. — Я сначала не поняла, отчего в воскресенье, в церкви, вице-губернаторша два раза спросила у меня о Вере — здорова ли она — и две барыни сунулись слушать, что я скажу. Я взглянула кругом — у всех на лицах одно: «Что Вера?» Была, говорю, больна, теперь здорова.

Пошли расспросы, что с ней? Каково мне было отделываться, заминать! Все заметили…

— Ужели что-нибудь вышло наружу?

— Настоящая беда, слава Богу, скрыта. Я вчера через Тита Никоныча узнала кое-что. Сплетня попадает не в того…

Бабушка отвернулась.

— В кого же?

— В Ивана Ивановича — это хуже всего. Он тут ни сном ни духом не виноват… Помнишь, в день рождения Марфиньки — он приезжал, сидел тут молча, ни с кем ни слова не сказал, как мертвый, и ожил, когда показалась Вера? Гости видели всё это. И без того давно не тайна, что он любит Веру: он не мастер таиться. А тут заметили, что он ушел с ней в сад, потом она скрылась к себе, а он уехал… Знаешь ли, зачем он приезжал?

Райский сделал утвердительный знак головой.

— Знаешь? Ну вот теперь Вера да Тушин у всех на языке.

— Как же я тут попал? Вы говорите, что Тычков и меня припутал?

— А тебя приплела Полина Карповна! В тот вечер, как ты гулял поздно с Верой, она пошла искать тебя. Ты что-то ей наговорил, — должно быть, на смех поднял — а она поняла по-своему и

припутала и тебя! Говорит, что ты влюблен был в Веру, а она будто отбила, «извлекла» тебя из какой-то «пропасти», из обрыва, что ли! Только это и ладит. Что у вас там такое с ней было и о чем ты секретничал с Верой? Ты, должно быть, знал ее тайны и прежде, давно, а от бабушки прятал «ключи»! Вот что и вышло от этой вашей «свободы»!

Она вздохнула на всю комнату.

Райский сжал кулаки.

— Мало было этой старой чучеле! Завтра я ей дам такой сеанс… — сказал он с угрозой.

— Нашел на ком спрашивать! На нее нечего пенять: она смешна и ей не поверили. А тот старый сплетник узнал, что Вера уходила в рожденье Марфиньки с Тушиным в аллею, долго говорила там, а накануне пропадала до ночи и после слегла, — и переделал рассказ Полины Карповны по-своему. «Не с Райским, говорит, она гуляла ночью и накануне, а с Тушиным!..» От него и пошло по городу! Да еще там пьяная баба про меня наплела… Тычков всё разведал…

Татьяна Марковна потупила взгляд в землю; у ней в лице показалась на минуту краска.

— А, это другое дело! — серьезно сказал Райский и начал в волнении ходить по комнате. — Ваш

урок не подействовал на Тычкова, так я повторю его иначе…

— Что ты затеваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это неправда, и, пожалуй, докажешь. Оно и немудрено: стоит только справиться, где был Иван Иванович накануне рожденья Марфиньки. Если он был за Волгой, у себя, тогда люди спросят, где же правда?.. с кем она в роще была? Тебя Крицкая видела на горе одного, а Вера была…

Татьяна Марковна опустила голову.

Райский бросился на кресло.

— Что же делать? — сказал он в тоске за Веру.

— Что Бог даст! — в глубокой печали шептала Татьяна Марковна. — Бог судит людей через людей — и пренебрегать их судом нельзя! Надо смириться! Видно, мера еще не исполнилась!..

Опять глубокий вздох.

Райский ходил по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положение дела. Общество заметило только внешние признаки какой-то драмы в одном углу. Отчуждение Веры, постоянное поклонение Тушина, независимость ее от авторитета бабушки — оно знало всё это и привыкло.

Но к этому прибавилось какое-то туманное пят-

но: суетливость Райского около Веры замечена уже была давно и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему об этом в свидании. Крицкая тоже заметила и, конечно, не была скромна на этот счет. Почтительное поклонение Тушина замечали все, и не одна Татьяна Марковна прочила его в женихи Вере.

В городе вообще ожидали двух событий: свадьбы Марфиньки с Викентьевым, что и сбылось, — и в перспективе свадьбы Веры с Тушиным. А тут вдруг, против ожидания, произошло что-то непонятное. Вера явилась на минуту в день рождения сестры, не сказала ни с кем почти слова и скрылась с Тушиным в сад, откуда ушла к себе, а он уехал, не повидавшись с хозяйкой дома.

От Крицкой узнали о продолжительной прогулке Райского с Верой накануне семейного праздника. После этого Вера объявлена была больною, заболела и сама Татьяна Марковна, дом был на заперти: никого не принимали. Райский ходил как угорелый, бегая от всех; доктора неопределенно говорили о болезни…

О свадьбе ни слуху ни духу. Отчего Тушин не делает предложения, или, если сделал, отчего оно не принято? Падало подозрение на Райского, что он увлек Веру: тогда — отчего он не женится

на ней? Общественное мнение неумолимо требовало на суд — кто прав, кто виноват — чтобы произнести свой приговор.

И Татьяна Марковна, и Райский чувствовали тяжесть положения и боялись этого суда — конечно, за Веру. Вера не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ее язва — и она все силы свои устремила на ее утоление, и пока напрасно.

— Бабушка! — вдруг сказал Райский после долгого молчания, — прежде всего надо вам самим всё сказать Ивану Ивановичу. Как он примет эту сплетню: он ее герой — он и судья, как решит — так и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его — он решит правильно. Вере он зла не пожелает; он ее любит — я видел это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Он мучается ее участью больше, нежели своей. В нем разыгрывается двойная трагедия. Он и сюда приехал со мной, потому что растревожился вашим письмом ко мне… конечно, за нее. А потом уж я побываю у Полины Карповны, а может быть, повидаюсь и с Тычковым…

— Я не хочу, чтоб ты виделся с Тычковым!

— Бабушка, нельзя оставить!..

— Я не хочу, Борис! — сказала она так реши-

тельно и строго, что он наклонил голову и не возразил более ни слова. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Ты сейчас придумал, что нужно сделать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу: а потом увидим, надо ли тебе идти к Крицкой, чтобы узнать от нее об этих слухах и дать им другой толк или… сказать правду! — прибавила она со вздохом. — Посмотрим, как примет это Иван Иванович. Попроси его ко мне, а Вере не говори ни слова. Она ничего не знает — и дай Бог, чтоб не узнала!

Райский ушел к Вере, а к Татьяне Марковне, на смену ему, явился Тушин.

XX

Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушин переступил порог ее комнаты. Он молча, с опущенными глазами, поздоровался с ней, тоже перемогая свою тревогу, — и оба в первую минуту не глядели друг на друга.

Им приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сих пор не было намека между ними, хотя они взаимно обменивались знаменательными взглядами и понимали друг друга из грустного молчания. Теперь предстояло стать открыто лицом к лицу и говорить.

Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замечала перемены, какие произошли в нем в эти две-три недели: как осанка у него стала не так горда и бодра, как тускло смотрит он в иные минуты, как стали медленны его движения. И похудел он, и побледнел.

— Вы от Веры теперь? — спросила она наконец. — Как вы нашли ее?

— Ничего… она, кажется, здорова… покойна…

Татьяна Марковна вздохнула.

— Какой покой! Ну пусть уж она: а вам сколько беспокойства, Иван Иванович! — тихо прогово-

рила она, стараясь не глядеть на него.

— Что мои беспокойства! Надо успокоить Веру Васильевну.

— Бог не дает, не судьба! Только стала оправляться она, и я было отдохнула от домашнего горя, пока оно крылось за стенами, а теперь перешло и за стены…

Тушин вдруг навострил уши, как будто услышал выстрел.

— Иван Иванович, — решительно заговорила Татьяна Марковна, — по городу сплетня ходит. Мы с Борюшкой погорячились и сорвали маску с лицемера Тычкова: вы знаете. Мне бы и не под лета, да он уж очень зазнался. Терпенья не было! Теперь он срывает маску с нас…

— С вас? С кого — с вас?

— Обо мне он что-то молол — его и не слушали: я мертвая… а о Вере…

— О Вере Васильевне?

Тушин привстал.

— Садитесь, Иван Иваныч, — сказала Татьяна Марковна, — да, о ней. Может быть, так и надо… может быть, это — возмездие. Но тут припутали и вас…

— Меня: рядом с Верой Васильевной?

— Да, Иван Иванович, — и вот где истинное

наказание!

— Позвольте же узнать, что говорят?

Татьяна Марковна передала ему слух.

— В городе заметили, что у меня в доме неладно: видели, что вы ходили с Верой в саду, уходили к обрыву, сидели там на скамье, горячо говорили и уехали, а мы с ней были больны, никого не принимали… вот откуда вышла сплетня!

Он молча слушал и хотел что-то сказать, она остановила его.

— Позвольте, Иван Иванович, кончить: это не всё. Борис Павлыч… вечером, накануне дня рождения Марфиньки… пошел искать Веру…

Она остановилась.

— Что же дальше? — спросил Тушин нетерпеливо.

— За ним потащилась Крицкая: она заметила, что Борюшка взволнован… У него вырвались какие-то слова о Верочке… Полина Карповна приняла их на свой счет. Ей, конечно, не поверили — знают ее — и теперь добираются правды, с кем была Вера, накануне рождения, в роще… Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас… и вас тоже.

— Что же про меня говорят?

— Что и в тот вечер, накануне, Вера была там, в

роще, внизу, с кем-то… говорят — с вами.

Она замолчала.

— Что же вам угодно, чтоб я сделал? — спросил он покорно.

— Надо сказать, что было: правду. Вам теперь, — решительно заключила Татьяна Марковна, — надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, таким должны и остаться… А мы с Верой, после свадьбы Марфиньки, тотчас уедем в Новоселово, ко мне, навсегда… Спешите же к Тычкову и скажите, что вас не было в городе накануне, и, следовательно, вы и в обрыве быть не могли…

Она замолчала и грустно задумалась. Тушин, сидя, согнулся корпусом вперед и, наклонив голову, смотрел себе на ноги.

— А если б я не так сказал?.. — вдруг подняв голову, отозвался он.

— Как знаете, Иван Иванович, так и решайте. Что другое могли бы вы сказать?

— Я сказал бы Тычкову, — да не ему, я с ним и говорить не хочу, а другим, что я был в городе, потому что это — правда: я не за Волгой был, а дня два пробыл у приятеля здесь — и сказал бы, что я был накануне… в обрыве — хоть это и неправда, — с Верой Васильевной… Прибавил бы,

что… делал предложение и получил отказ, что это огорчило меня и вас, так как вы были — за меня, и что Вера Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша от этого не расстроилась… Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду… обещание подумать…

— То есть, — сказала Татьяна Марковна задумчиво, — сказать, что было сватовство, не сладилось… Да! если вы так добры… можно и так. Но ведь не отстанут после, будут ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обещание не век будет обещанием…

— Забудут, Татьяна Марковна, особенно если вы уедете, как говорите… А если не забудут… и вы с Верой Васильевной будете всё тревожиться… то и принять предложение… — тихо досказал Тушин.

Татьяна Марковна изменилась в лице.

— Иван Иванович! — сказала она с упреком, — за кого вы нас считаете с Верой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду, — для этого воспользоваться вашей прежней слабостью к ней и великодушием? И потом, чтоб всю жизнь — ни вам, ни ей, не было покоя! Я не ожидала этого от вас!

— Напрасно! никакого великодушия тут нет! А я думал, когда вы рассказывали эту сплетню, что

вы за тем меня и позвали, чтоб коротко и ясно сказать: «Иван Иванович, и ты тут запутан: выгороди же и себя и ее вместе!» Вот тогда я прямо, как Викентьев, назвал бы вас бабушкой и стал бы на колени перед вами. Да оно бы так и должно быть! — сказал он уныло. — Простите, Татьяна Марковна, а у вас дело обыкновенно начинается с старого обычая, с старых правил да с справки о том, как было да что скажут, а собственный ум и сердце придут после. Вот если б с них начать, тогда бы у вас этой печали не было, а у меня было бы меньше седых волос, и Вера Васильевна…

Он остановился, как будто опомнившись.

— Виноват! — вдруг понизив тон, перешедший в робость, сказал он. — Я взялся не за свое дело. Решаю и за Веру Васильевну — а вся сила в ней!

— Вот видите, без моего «ума и сердца», сами договорились до правды, Иван Иванович! Мой «ум и сердце» говорили давно за вас, да не судьба! Стало быть, вы из жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за вас — опять скажу — ради вашего… великодушия… Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы с ней на такой поступок? Вы знаете нас…

— И честно, и правильно, если она чувствует ко мне, что говорит. Она любит меня, как «чело-

века», как друга: это ее слова, — ценит, конечно, больше, нежели я стою… Это большое счастье! Это ведь значит, что со временем… полюбила бы — как доброго мужа…

— Иван Иванович, вам-то что этот брак принес бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!

— Я не мешаюсь ни в чьи дела, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горем, — и не мешаю вам: зачем же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мне самому знать, что мне принесет этот брак! — вдруг сказал Тушин резко. — Счастье на всю жизнь — вот что он принесет! А я, может быть, проживу еще лет пятьдесят! Если не пятьдесят, хоть десять, двадцать лет счастья!

Он почесал голову почти с отчаянием, что эти две женщины не понимают его и не соглашаются отдать ему в руки то счастье, которое ходит около него, ускользает, не дается и в которое бы он вцепился своими медвежьими когтями и никогда бы не выпустил вон.

А они не видят, не понимают, всё еще громоздят горы, которые вдруг выросли на его дороге и пропали, — их нет больше: он одолел их страшною силою любви и муки!

Ужели даром бился он в этой битве и устоял на

ногах, не добыв погибшего счастья? Была одна только неодолимая гора: Вера любила другого, надеялась быть счастлива с этим другим — вот где настоящий обрыв! Теперь надежда ее умерла, умирает, по словам ее («а она никогда не лжет и знает себя», — подумал он), — следовательно, ничего нет больше, никаких гор! А они не понимают, выдумывают препятствия!

«А их нет, нет, нет!» — с бешенством про себя шептал Тушин — и почти злобно смотрел на Татьяну Марковну.

— Татьяна Марковна! — заговорил он, вдруг опять взяв высокую ноту, горячо и сильно. — Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, море переплывают, а теперь вон прорывают и горы насквозь, и всё идут смелые люди вперед! А здесь ни леса, ни моря, ни гор — ничего нет: были стены и упали, был обрыв и нет его! Я бросаю мост чрез него и иду, ноги у меня не трясутся… Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне ее! — почти кричал он, — я перенесу ее через этот обрыв и мост — и никакой черт не помешает моему счастью и ее покою — хоть живи она сто лет! Она будет моей царицей и укроется в моих лесах, под моей защитой, от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячи!! Что это вы не

можете понять меня!

Он встал, вдруг зажал глаза платком и в отчаянии начал ходить по комнате.

— Я-то понимаю, Иван Иванович, — тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчав, — но дело не во мне…

Он вдруг остановился, отер глаза, провел рукой по своей густой гриве и взял обе руки Татьяны Марковны.

— Простите меня, Татьяна Марковна, я всё забываю главное: ни горы, ни леса, ни пропасти не мешают — есть одно препятствие неодолимое: Вера Васильевна не хочет, стало быть, — видит впереди жизнь счастливее, нежели со мной…

Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотела что-то возразить, он остановил ее.

— Виноват опять! — сказал он, — я не в ту силу поворотил. Оставим речь обо мне, я удалился от предмета. Вы звали меня, чтоб сообщить мне о сплетне, и думали, что это обеспокоит меня, — так? Успокойтесь же и успокойте Веру Васильевну, увезите ее, — да чтоб она не слыхала об этих толках! А меня это не обеспокоит!

Он усмехнулся.

— Эта нежность мне не к лицу. На сплетню я плюю, а в городе мимоходом скажу, как мы

говорили сейчас, что я сватался и получил отказ, что это огорчило вас, меня и весь дом… так как я давно надеялся… *Тот* уезжает завтра или послезавтра навсегда (я уж справился) — и всё забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мне нечем дорожить. Я всё равно что живу, что нет, с тех пор как решено, что Вера Васильевна не будет никогда моей женой…

— Будет вашей женой, Иван Иванович, — сказала Татьяна Марковна, бледная от волнения, — если… то забудется, отойдет… (Он сделал нетерпеливый, отчаянный жест…) если этот обрыв вы не считаете бездной… Я поняла теперь только, как вы ее любите…

Она еще боялась верить слезам, стоявшим в глазах Тушина, его этим простым словам, которые возвращали ей всю будущность, спасали погибавшую судьбу Веры.

— «Будет?» — повторил и он, подступив к ней широкими шагами, и чувствовал, что волосы у него поднимаются на голове и дрожь бежит по телу. — Татьяна Марковна! не маните меня напрасной надеждой: я не мальчик! Что я говорю — то верно, но хочу, чтоб и то, что сказано мне, — было верно, чтобы не отняли у меня потом! Кто мне поручится, что это будет, что Вера Васильев-

на… когда-нибудь…

— Бабушка поручится: теперь — это всё равно, что она сама…

Тушин блеснул на нее благодарным взглядом и взял ее руку.

— Но погодите, Иван Иванович! — торопливо, почти с испугом, прибавила она и отняла руку, видя, как Тушин вдруг точно вырос, помолодел, стал чем был прежде. — Теперь я — уж не как бабушка, а как женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита, дайте ей самой справиться! Не тревожьте, оставьте ее надолго! Она расстроена, не перенесет… Да и не поймет вас, не поверит теперь вам, подумает, что вы в горячке, хотите не выпустить ее из рук, а потом одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой ум и сердце; вот они мне и говорят: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дела, а вы и подавно… Помните же, что я вам говорю…

— Я буду помнить одно слово «будет» и им пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сделало оно со мной, это ваше слово?..

— Вижу, Иван Иванович, и верю, что вы говорите не на ветер. Оттого и вырвалось у меня это слово; не принимайте его слишком горячо к сердцу — я сама боюсь…

— Я буду надеяться… — сказал он тише и смотрел на нее молящими глазами. — Ах, если б и я, как Викентьев, мог когда-нибудь сказать: «Бабушка»!

Она сделала ему знак, чтоб он оставил ее, и когда он вышел, она опустилась в кресла, закрыв лицо платком.

XXI

На другой день Райский утром рано предупредил Крицкую запиской, что он просит позволения прийти к ней в половине первого часа и получил в ответ: «Charmée, j'attends»[150] и т. д.

Шторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она в белой кисейной блузе, перехваченной поясом, с широкими кружевными рукавами, с желтой далией на груди, слегка подрумяненная, встретила его в своем будуаре. Там, у дивана, накрыт был стол, и рядом стояли два прибора.

— Мой прощальный визит! — сказал он, кланяясь ей и останавливая на ней сладкий взгляд.

— Как прощальный! — с испугом перебила она, — я слушать не хочу! Вы едете теперь, когда мы… Не может быть! Вы пошутили: жестокая шутка! Нет, нет, скорей засмейтесь, возьмите назад ужасные слова!..

— Что это у вас? — радостно произнес он, вдруг уставив глаза на стол, — свежая икра!

Она сунула свою руку ему под руку и подвела к столу, на котором стоял полный, обильный

---

[150] Примечания: 150
«Очень рада, жду» (*фр.*).

завтрак. Он оглядывал одно блюдо за другим. В двух хрустальных тарелках была икра.

— Я знаю, что вы любите… да, любите…

— Икру? Даже затрясся весь, как увидал! А это что? — с новым удовольствием заговорил он, приподнимая крышки серебряных блюд, одну за другой. — Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки без папильоток не можете кушать! Ах, и трюфли — «роскошь юных лет»! — petits-fours, bouchées de dames! Ах! что вы хотите со мной делать? — обратился он к ней, потирая от удовольствия руки. — Какие замыслы у вас?

— Вот, вот чего я жду: этой улыбки, шутки, смеха — да! Не поминайте об отъезде. Прочь печаль! Vive l'amour et la joie![151]

«Эге! какой "abandon!"[152] — даже страшновато…» — подумал он опасливо.

— Садитесь, сядем рядом, сюда! — пригласила она и, взяв его за руку, усадила рядом с собой, шаловливо завесив его салфеткой, как делают с детьми и стариками.

Он машинально повиновался, с вожделением поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку,

---

[151] Примечания: 151
Да здравствует любовь и веселье! (*фр.*)

[152] Примечания: 152
«развязный тон» (*фр.*).

и он принялся удовлетворять утренний, свежий аппетит. Она сама положила ему котлетку и налила шампанского в граненый стакан, а себе в бокал, и кокетливо брала в рот маленькие кусочки пирожного, любуясь им.

После жареной дичи и двух стаканов шампанского, причем они чокались, глядя близко друг другу в глаза, она — лукаво и нежно, он — вопросительно и отчасти боязливо, они наконец прервали молчание.

— Что вы скажете? — спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особенного.

— Ах, какая икра! Я еще опомниться не могу!

— Вижу… вижу! — сказала она лукаво. — Снимите маску, полноте притворяться…

— Ах! — вздохнул он, отпивая из стакана.

— Enfin la glace est rompue?[153] На чьей стороне победа? Кто предвидел, кто предсказывал? A votre santé![154]

— A la votre![155]

Они чокнулись.

---

[153] Примечания: 153
— Итак, лед сломан? (*фр.*)

[154] Примечания: 154
За ваше здоровье! (*фр.*)

[155] Примечания: 155
— За ваше! (*фр.*)

— Помните… тот вечер, когда «природа, говорили вы, празднует любовь…»

— Помню! — шепнул он мрачно, — он решил всё!..

— Да, не правда ли? я знала! Могла ли удержать в своих слабых сетях бедная девочка… une nullité, cette pauvre petite fille, qui n'a que sa figure?..[156] Ни опытности, ни блеска, дикая!..

— Нет, не могла! Я вырвался…

— И нашли то… что давно искали: признайтесь!

Он медлил.

— Buvez — et du courage![157]

Она придвинула ему стакан. Он допил его, она сейчас наполнила его опять.

— Признайтесь…

— Признаюсь.

— Что тогда случилось там… в роще?.. Вы были так взволнованы. Скажите… удар?..

— Да, удар и… разочарование.

— Могло ли быть иначе: вы — и она, деревенская девочка!

---

[156] Примечания: 156

ничтожество, жалкая девочка, у которой нет ничего, кроме хорошенькой внешности?.. (*фр.*)

[157] Примечания: 157

— Пейте — и смелей! (*фр.*)

Она гордо оправилась, взглянула на себя в зеркало и выправила кружево на рукавах.

— Что же там было? — спросила она, стараясь придать небрежность тону.

— Это не моя тайна! — сказал он, будто опомнившись.

— Oh, je respecte les secrets de famille…[158] Пейте же!

Она придвинула стакан. Он отпил глотка два.

— Ах! — вздохнул он на всю комнату. — Нельзя ли отворить форточку?.. Мне тяжело, больно!

— Oh, je vous comprends! — Она бросилась отворять форточку. — Voilà des sels, du vinaigre de toilette…[159]

— Нет, благодарю! — говорил он, махая платком себе в лицо.

— Как вы были тогда страшны! Я кстати подоспела, не правда ли? Может быть, без меня вы воротились бы в пропасть, на дно обрыва! Что там было, в роще?.. а?

— Ах, не спрашивайте!

---

[158] Примечания: 158

— О, я уважаю семейные тайны... (*фр.*)

[159] Примечания: 159

— О, я вас понимаю! <...> Вот соль, вот туалетный уксус... (*фр.*)

— Buvez donc![160]

Он лениво отпил глоток.

— Там, где я думал… — говорил он, будто про себя, — найти счастье… я услыхал…

— Что? — шепотом спросила она, притаив дыхание.

— Ах! — шумно вздохнул он, — отворить бы двери!

— Там был… Тушин — да?

Он молча кивнул головой и выпил глоток вина.

Злая радость наполнила черты ее лица.

— Dites tout.[161]

— Она гуляла задумчиво одна… — тихо говорил он, а Полина Карповна, играя цепочкой его часов, подставляла свое ухо к его губам. — Я шел по ее следам, хотел наконец допроситься у ней ответа… она сошла несколько шагов с обрыва, как вдруг навстречу ей вышел…

— Он?

— Он.

— Я это знала, оттого и пошла в сад… О, я знала,

---

[160] Примечания: 160
— Пейте же! (*фр.*)

[161] Примечания: 161
— Говорите все (*фр.*).

qu'il y a du louche![162] что же он?

— Здравствуйте, говорит, Вера Васильевна! здоровы ли вы?..

— Лицемер! — сказала Крицкая.

— Она испугалась…

— Притворно!

— Нет, испугалась непритворно, а я спрятался — и слушаю. «Откуда вы? — спрашивает она, — как сюда попали?» «Я, говорит, сегодня приехал на два дня, чтобы завтра, в день рожденья вашей сестры… Я выбрал этот день…»

— Eh bien?[163]

— Eh bien! «решите, говорит, Вера Васильевна: жить мне или нет!»

— Où le sentiment va-t-il se nicher![164] — в этом дубе! — заметила Полина Карповна.

— «Иван Иванович!» — сказала Вера умоляющим голосом. «Вера Васильевна! — перебил он, — решите, идти мне завтра к Татьяне Марковне и просить вашей руки или кинуться в Волгу?..»

---

[162] Примечания: 162
что здесь что-то кроется! (*фр.*)

[163] Примечания: 163
— И что же? (*фр.*)

[164] Примечания: 164
— Вот где прячется чувство! (*фр.*)

— Так и сказал?

— Как напечатал!

— Mais il est ridicule![165] что же она: «ах, ох?!»

— «Нет, Иван Иванович, дайте мне (это она говорит) — самой решить, могу ли я отвечать вам таким же полным, глубоким чувством, какое питаете вы ко мне. Дайте полгода, год срока, и тогда я скажу — или “нет”, или то “да”, какое…» Ах! какая духота у вас здесь! нельзя ли сквозного ветра? («Не будет ли сочинять? кажется, довольно?» — подумал Райский и взглянул на Полину Карповну).

На лице у ней было полнейшее разочарование.

— C’est tout?[166] — спросила она.

— Oui! — сказал он со свистом. — Тушин, однако, не потерял надежду, сказал, что на другой день, в рожденье Марфиньки, приедет узнать ее последнее слово и пошел опять с обрыва через рощу, а она проводила его… Кажется, на другой день надежды его подогрелись, а мои исчезли навсегда…

— И всё! А тут бог знает что наговорили… и про нее, и про вас! Не пощадили даже и Татьяну

---

[165] Примечания: 165
— Но он смешон! (*фр.*)

[166] Примечания: 166
— Это все? (*фр.*)

Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую!.. Какие есть на свете ядовитые языки!.. Этот отвратительный Тычков…

— Что такое про бабушку? — спросил тихо Райский, в свою очередь притаив дыхание и навострив ухо.

Он слышал от Веры намек на любовь, слышал кое-что от Василисы: но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить из праха за сорок лет? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать — и так или иначе — зажать рот Тычкову.

— Что такое про бабушку? — тихо и вкрадчиво повторил он.

— Ah, c'est dégoûtant.[167] Никто не верит, все смеются над Тычковым, что он унизился расспрашивать помешавшуюся от пьянства нищую… Я не стану повторять…

— Я вас прошу… — нежно шептал он.

— Вы хотите? — шептала и она, склонясь к нему, — я всё сделаю — всё…

— Ну, ну?.. — торопил он.

— Эта баба — вон она тут на паперти у Успенья всегда стоит — рассказывала, что будто Тит Ни-

---

[167] Примечания: 167
— Ах, гадость (*фр.*).

коныч любил Татьяну Марковну, а она его…

— Я это знаю, слышал… — нетерпеливо перебил он, — тут еще беды нет…

— А за нее сватался покойный граф Сергей Иваныч…

— Знаю и это, она не хотела — он женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вот и вся история. Ее Василиса знает…

— Mais non! не всё тут… Конечно, я не верю… это быть не может! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще рассказывает? — допытывался Райский.

— Что… в одну ночь граф подстерег rendez-vous Татьяны Марковны с Ватутиным в оранжерее… Но такое решительное rendez-vous… Нет, нет… — Она закатилась смехом. — Татьяна Марковна! Кто поверит!

Райский вдруг стал серьезно слушать. У него проснулись какие-то соображения в голове и захватило дух от этой сплетни.

— Дальше? — тихо спросил он.

— Граф дал пощечину Титу Никонычу…

— Это ложь! — вскочив с места, перебил Райский. — Тит Никоныч джентльмен… Он не вынес бы этого…

— И я говорю «ложь»! — проворно согласилась

Крицкая. — Он и не вынес… — продолжала она. — Он сбил с ног графа, душил его за горло, схватил откуда-то между цветами кривой садовничий нож и чуть не зарезал его…

Райский изменился в лице.

— Ну? — спросил он, едва дыша от нетерпения.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: «Ты, говорит, дворянин, а не разбойник — у тебя есть шпага!» — и развела их. Драться было нельзя, чтоб не огласить ее. Соперники дали друг другу слово: граф — молчать обо всем, а тот — не жениться… Вот отчего Татьяна Марковна осталась в девушках… Не подло ли распускать такую… гнусную клевету!

Райский от волнения вздохнул всей грудью.

— Видите, что это… ложь! — сказал он, — кто мог видеть и слышать их?

— Садовник спал там где-то в углу и будто всё видел и слышал. Он молчал, боялся, был крепостной… А эта пьяная баба, его вдова, от него слышала — и болтает… Разумеется, вздор — кто поверит! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!.. — Крицкая закатилась опять смехом и вдруг сдержалась. — Но что с вами? Allons donc, oubliez tout! Vive la

joie![168] — сказала она. — Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нет, нет, я боюсь…

— Чего, скажите?.. — томно спросила она.

— Дурно сделается… я не привык пить! — сказал он и встал с места. И она встала.

— Прощайте, навсегда…

— Куда! Нет, нет!

— Я бегу от этих опасных мест, от обрывов, от пропастей!.. Прощайте, прощайте!..

Он схватил шляпу и быстро ушел. Она осталась как окаменелая, потом проворно позвонила.

— Коляску мне! — сказала она вошедшей девушке, — и одеваться — я еду с визитами!

Райский вышел от нее, и всё вылетело у него из головы: осталась — одна «сплетня»! Он чувствовал в рассказе пьяной бабы — в этой сплетне — истину…

У него в руках был ключ от прошлого, от всей жизни бабушки.

Ему ясно всё: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца? отчего она так скоро овладела доверием Веры и успокоила ее, а сама так взвол-

---

[168] Примечания: 168
Забудьте все! Да здравствует веселье! (*фр.*)

новалась? И Вера, должно быть, знает всё…

Образ старухи стал перед ним во всей полноте.

Думая только дать другое направление слухам о Вере, о себе и о Тушине, он нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ее героев — ей минула сорокалетняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Он понял теперь бабушку. Он вошел к ней с замирающим от волнения сердцем, забыл отдать отчет о том, как он передал Крицкой рассказ о прогулке Веры в обрыве, и впился в нее жадными глазами.

— Борюшка! — с изумлением сказала она, отступая от него, — что это, друг мой, от тебя, как из бочки, вином разит…

Она посмотрела на него с минуту пристально, увидела этот его вонзившийся в нее глубоко выразительный взгляд, сама взглянула было вопросительно — и вдруг отвернулась к нему спиной.

Она поняла, что он узнал «сплетню» о ней самой.

XXII

Наконец совершилась и свадьба Марфиньки с Викентьевым, против общего ожидания, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и несколько окрестных помещиков, что, однако, составило человек пятьдесят.

Венчали их в сельской церкви, после обедни в воскресенье, и потом гостям предложен был парадный завтрак в большой зале старого дома, которую перед тем за неделю мыли, чистили, скребли, чтоб отпировать в ней в последний раз.

Ни разливанного моря, ни разгоряченных лиц и развязных языков, ни радостных кликов не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью, хотя люди и успели напиться, но не до потери смысла, и по этой причине признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тут свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Все они были нужны: одни готовить завтрак, другие служить при столе, а третьи — отвезти парадным поездом молодых и всю свиту до переправы через реку. Перед тем тоже было работы немало. Целую неде-

лю возили приданое за Волгу: гардероб, вещи, множество ценных предметов из старого дома — словом, целое имущество.

Марфинька сияла, как херувим, — красотой, всей прелестью расцветшей розы, и в этот день явилась в ней новая черта, новый смысл в лице, новое чувство, выражавшееся в задумчивой улыбке и в висевших иногда на ресницах слезах.

Сознание новой жизни, даль будущего, строгость долга, момент торжества и счастья — всё придавало лицу и красоте ее нежную, трогательную тень. Жених был скромен, почти робок: пропала его резвость, умолкли шутки, он был растроган. Бабушка задумчиво-счастлива. Вера непроницаема и бледна.

Райский с умилением брата смотрел на невесту, и когда она вышла из своей комнаты, совсем одетая, он сначала ахнул от восторга, потом испугался, заметив в ее свадебном померанцевом букете несколько сухих, увядших цветков.

— Что это? — спросил он торопливо, сам уже догадываясь.

— Это из Верочкина букета, который она мне подарила в день моего рождения, — сказала она наивно.

Райский уговорил ее вынуть их и сам проворно

помогал вытаскивать, сославшись на какую-то тут же изобретенную им дурную примету.

Затем всё прошло благополучно, включая и рыдания молодой, которую буквально оторвали от груди бабушки, — но это были тоже благополучные рыдания.

И сама бабушка едва выдержала себя. Она была бледна: видно было, что ей стоило необычайных усилий устоять на ногах, глядя с берега на уплывающую буквально — от нее дочь, так долго покоившуюся на ее груди, руках и коленях.

Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятия ее не опустели, что в них страстно бросилась Вера и что вся ее любовь почти безраздельно принадлежит этой другой, сознательной, созрелой дочери, ставшей такою путем горького опыта.

Тушин не уехал к себе после свадьбы. Он остался у приятеля в городе. На другой же день он явился к Татьяне Марковне с архитектором. И всякий день они рассматривали планы, потом осматривали оба дома, сад, все службы, совещались, чертили, высчитывали, соображая радикальные переделки на будущую весну.

Из старого дома было вынесено всё ценное, мебель, картины, даже более уцелевшие парке-

ты, и помещено частью в новом доме, частью в обширных кладовых и даже на чердаках.

Татьяна Марковна с Верой собирались уехать в Новоселово, потом гостить к Викентьевым. Весну и лето приглашал их обеих Тушин провести у Анны Ивановны, своей сестры, в его «Дымке».

На это Татьяна Марковна со вздохом отвечала:

— Не знаю, Иван Иванович! Обещать наверное боюсь, но и не отказываю: что Бог даст! Как Вера!..

Тушин все-таки, на всякий случай, с тем же архитектором, немедленно занялся соображениями об отделке дома для приема и помещения дорогих гостей.

Райский перешел из старого дома опять в новый, в свои комнаты. Козлов переехал к себе, с тем, однако, чтоб после отъезда Татьяны Марковны с Верой поселиться опять у нее в доме. Тушин звал его к себе, просвещать свою колонию, начиная с него самого. Козлов почесал голову, подумал и вздохнул, глядя на московскую дорогу.

— После, зимой… — говорил он, — а теперь я жду…

Он не договорил и задумался. А он ждал ответа на свое письмо к жене. Ульяна Андреевна недавно написала к хозяйке квартиры, чтобы ей

прислали… теплый салоп, оставшийся дома, и дала свой адрес, а о муже не упомянула. Козлов сам отправил салоп и написал ей горячее письмо — с призывом, говорил о своей дружбе, даже о любви…

Бедный! Ответа не было. Он начал понемногу посещать гимназию, но на уроках впадал в уныние, был рассеян, не замечал шуток, шалостей своих учеников, не знавших жалости и пощады к его горю и видевших в нем только «смешного».

За отсутствием Татьяны Марковны Тушин вызвался быть хозяином Малиновки. Он называл ее своей зимней квартирой, предполагая ездить каждую неделю, заведовать домом, деревней и прислугой, из которой только Василиса, Егор, повар и кучер уезжали с барыней в Новоселово. Прочие все оставались на месте, на своем положении. Якову и Савелью поручено было состоять в распоряжении Тушина.

Райский докончил портрет бабушки и Веры, а Крицкой, на неконченном портрете, приделал только желтую далию на груди. Через неделю после свадьбы он объявил, что едет через два дня.

— Егор, принеси чемодан с чердака, готовь платье и белье: я еду.

На этот раз поверил и Егор. Собирая платье,

белье и обувь, он нашел, что три-четыре тонких рубашки уж не очень новы, и потому конфисковал их в свою пользу, так же как и лишние, по его мнению, панталоны, жилет и пару ботинок с стоптанным каблуком.

Всех печальнее был Тит Никоныч. Прежде он последовал бы за Татьяной Марковной на край света, но после «сплетни», по крайней мере вскоре, было бы не совсем ловко ехать с нею. Это могло подтвердить старую историю, хотя ей частию не поверили, а частию забыли о ней, потому что живых свидетелей, кроме полупомешанной бабы, никого не было.

Татьяна Марковна, однако, разрешила ему приехать к ней на праздник Рождества, и там, смотря по обстоятельствам, пожалуй, и остаться. Он вздохнул немного отраднее и обрадовался предложению Тушина погостить до тех пор у него.

Сплетня о Вере вдруг смолкла или перешла опять в ожидание о том, что она будет объявлена невестой Тушина, на которого всё и обрушилось после завтрака Райского у Крицкой, между прочим и догадка о ее прогулке с ним на дне обрыва.

Но ни Тушин, ни Вера, ни сама Татьяна Марковна, после ее разговора с первым, не обменялись

ни одним словом об этом. Туманное пятно оставалось пятном — не только для общества, но для самих действующих лиц, то есть для Тушина и бабушки.

Как ни велика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Веры к нему и на свое влияние на нее, но втайне у ней возникали некоторые опасения. Она рассчитывала на послушание Веры — это правда, но не на слепое повиновение своей воле. Этого она и не хотела, и не взялась бы действовать на волю.

Она рассчитывала на покорность самого сердца: ей казалось невозможным, любя Ивана Ивановича как человека, как друга, не полюбить его как мужа, но чтоб полюбить так, надо прежде выйти замуж, то есть начать прямо с цели.

Она угадывала состояние Веры и решила, что теперь рано, нельзя. Но придет ли когда-нибудь пора, что Вера успокоится? Она слишком своеобразна: судить ее по другим нельзя.

От этого Татьяна Марковна втайне немного боялась и хмурилась, когда до нее доходили слишком определенные городские слухи и предположения о браке Веры с Тушиным как о деле решенном.

Одна Вера ничего этого не знала, не подозревала и продолжала видеть в Тушине прежнего

друга, оценив его еще больше с тех пор, как он явился во весь рост над обрывом и мужественно перенес свое горе, с прежним уважением и симпатией протянул ей руку, показавшись в один и тот же момент и добрым, и справедливым, и великодушным — по своей природе, чего брат Райский, более его развитой и образованный, достигал таким мучительным путем.

XXIII

Накануне отъезда в комнате у Райского развешано и разложено было платье, белье, обувь и другие вещи, а стол загроможден был портфелями, рисунками, тетрадями, которые он готовился взять с собой. В два-три последние дня перед отъездом он собрал и пересмотрел опять все свои литературные материалы, и между прочим отобранные им из программы романа те листки, где набросаны были заметки о Вере.

— Попробую, начну здесь, на месте действия! — сказал он себе ночью, которую в последний раз проводил под родным кровом, — и сел за письменный стол. — Хоть одну главу напишу! А потом, вдалеке, когда отодвинусь от этих лиц, от своей страсти, от всех этих драм и комедий, — картина их виднее будет издалека. Даль оденет их в лучи поэзии: я буду видеть одно чистое создание творчества, одну свою статую, без примеси реальных мелочей… Попробую!..

Он проворно взял чистый лист бумаги и наверху крупными буквами написал:

ВЕРА

Роман…

Он остановился над вопросом: во скольких частях? «Один том — это не роман, а повесть, — думал он. — В двух или трех: в трех — пожалуй, года три пропишешь! Нет, довольно двух!» И он написал: «Роман в двух частях».

— Теперь эпиграф: он давно готов! — шепнул он и написал прямо из памяти следующее стихотворение Гейне и под ним перевод, сделанный недавно:

———

Nun ist es Zeit, das ich mit Verstand
Mich aller Thorheit entled'ge,
Ich hab'so lang, als ein Komödiant, Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt
Im hoch romantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich

Des tollen Tands entled'ge:
Noch immer elend fühle ich mich,
Als spielt'ich noch immer Komödie.

Ach, Gott! im Scherz und unbewusst Sprach ich, was ich gefühlet;
~~761

Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора воротиться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку.

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно; И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувство — всё было прекрасно!

Теперь же, хоть бросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Всё так же болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму.

И что за поддельную боль я считал,
То боль оказалась живая —
О Боже, я раненный насмерть — играл,
Гладиатора смерть представляя!

Он перечитал, потом вздохнул и, положив локти на стол, подпер руками щеки и смотрел на себя в зеркало. Он с грустью видел, что сильно похудел, что прежних живых красок, подвижности в чертах не было. Следы молодости и свежести стерлись до конца. Не даром ему обошлись эти полгода. Вон и седые волосы сильно серебрятся. Он приподнял рукой густые пряди черных волос и тоже не без грусти видел, что они редеют, что их темный колорит мешается с белым.

— Да: *раненный насмерть — играл гладиатора смерть!..* — шепнул он со вздохом и, взяв перо, хотел писать.

В это время вошел Егор спросить, в котором часу будить его. Райский махнул ему рукой, чтоб оставил его, сказав, что будить не надо, что он встанет сам, а может быть, и вовсе не ляжет, потому что у него много «дела».

Егор за ужином пересказал это девушкам, прибавив, что барин собирается, должно быть, опять «чудить» ночью, как бывало в начале осени.

— Это очень занятно, — заключил он, — жалко, а иной раз и страшно станет!

Райский написал под эпиграфом:

Посвящение

Потом подумал, прошелся раза три по комнате и вдруг сел и начал писать.

«Женщины! вами вдохновлен этот труд, — проворно писал он, — вам и посвящается! Примите благосклонно. Если его встретит вражда, лукавые толки, недоразумения — вы поймете и оцените, что водило моими чувствами, моей фантазией и пером! Отдаю и свое создание, и себя самого под вашу могущественную защиту и покровительство! От вас только и ожидаю… “наград” — написал он и, зачеркнув, поставил: “одобрения”, опять зачеркнул и поставил: “снисхождения”.

Долго ходил я, как юродивый, между вами с диогеновским фонарем, — писал он дальше, — отыскивая в вас черты нетленной красоты для своего идеала, для своей статуи! Я одолевал все преграды, переносил все муки (ведь непременно будут преграды и муки — без этого нельзя: «в болезнях имаши родити чадо, сказано», — подумал он) — и всё шел своим путем, к своему созданию.

Рядом с красотой — видел ваши заблуждения, страсти, падения, падал сам, увлекаясь вами, и вставал опять, и всё звал вас на высокую гору, искушая — не дьявольской заманкой, не царством суеты, звал именем другой силы на путь совершенствования самих себя, а с собой и нас: детей, отцов, братьев, мужей и… друзей ваших!

Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой — женской любовью — я слабой рукой писал женщину, с надеждой, что вы узнаете в ней хоть бледное отражение — не одних ваших взглядов, улыбок, красоты форм, грации, но и вашей души, ума, сердца — всей прелести ваших лучших сил!

Не манил я вас в глубокую бездну учености, ни на грубый, неженский труд, не входил с вами в споры о правах, отдавая вам первенство без спора. Мы не равны: вы выше нас, вы сила, мы ваше орудие. Не отнимайте у нас, говорил я вам, ни сохи, ни заступа, ни меча из рук. Мы взроем вам землю, украсим ее, спустимся в ее бездны, переплывем моря, пересчитаем звезды, — а вы, рождая нас, берегите, как Провидение, наше детство и юность, воспитывайте нас честными, учите труду, человечности, добру и той любви, какую Творец вложил в ваши сердца, — и мы

твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где всё совершенно, где — вечная красота!

Время сняло с вас много оков, наложенных лукавой и грубой тиранией: снимет и остальные, даст простор и свободу вашим великим, соединенным силам ума и сердца — и вы открыто пойдете своим путем и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляем свою!

Отбросьте же хитрость — это орудие слабости — и все ее темные, ползучие ходы и цели…»

Он остановился, подумал, подумал — и зачеркнул последние две строки. «Кажется, я грубости начал говорить! — шептал он. — А Тит Никоныч учит делать дамам только одни “приятности”». После посвящения он крупными буквами написал:

Часть первая

Глава I

Он встал и, потирая руки, начал скоро ходить по комнате, вдумываясь в первую главу, как, с чего начать, что в ней сказать.

Походив полчаса, он умерил шаг, будто боролся мысленно с трудностями. Шаг становился всё ти-

ше, медленнее. Наконец он остановился посреди комнаты как растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовал толчок.

— Да, — шептал он в страхе, — чего доброго, пожалуй, вместо «высокой горы», да вдруг… Что это мне пришло в голову! — Он глубоко задумался.

«Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение, — думал он, — а русские девы примут ошибку за образец, да как козы — одна за другой — пойдут скакать с обрывов!.. А обрывов много в русской земле! Что скажут маменьки и папеньки!..»

Он минут пять постоял на месте, потом вдруг захохотал — и опять скорыми шагами заходил по комнате.

«Как побледнели бы русские Веры и как покраснели бы все Марфиньки, если б узнали, что я принял их… за коз!»

— Не это помешает мне писать роман, — сказал он, вздохнув печально, — а другое… например… ценсура! Да, ценсура помешает! — почти с радостью произнес он, как будто нашел счастливую находку. — А еще что?

И задумался… «Кажется, больше ничего, следовательно, остается писать…»

Он умерил шаг, вдумываясь в ткань романа,

в фабулу, в постановку характера Веры, в психологическую, еще пока закрытую задачу… в обстановку, в аксессуары; задумчиво сел и положил руки с локтями на стол и на них голову. Потом поцарапал сухим пером по бумаге, лениво обмакнул его в чернила и еще ленивее написал в новую строку после слов «Глава I»:

«Однажды…»

Подумал, подумал и лег головой на руки, обдумывая продолжение. Прошло с четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонил сон.

Ему показалось неловко дремать сидя, он перешел на диван, положил голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянул. «Освежусь немного, потом примусь…» — решил он… и вскоре заснул. В комнате раздавалось ровное, мерное храпенье.

Когда он проснулся, уже рассветало. Он вскочил и посмотрел вокруг удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то новое, неожиданное, точно Америку открыл.

— И во сне статуя! — произнес он, — всё статуя да статуя! Что это: намеки? указания?

Он подошел к столу, пристально поглядел в листки, в написанное им предисловие, вздохнул, покачал головой и погрузился в какое-то, должно быть, тяжелое раздумье. «Что я делаю! На что

трачу время и силы? Еще год пропал! Роман!» — шептал он с озлоблением.

Он отодвинул рукопись в сторону, живо порылся в ящике между письмами и достал оттуда полученное за месяц письмо от художника Кирилова, пробежал его глазами, взял лист почтовой бумаги и сел за стол.

«Спешу — в здравом уме и твердой памяти, — писал он, — уведомить вас первого, любезный Кирилов, о новой и неожиданной, только что открывшейся для меня перспективе искусства и деятельности… Прежде всего тороплюсь кинуть вам эти две строки в ответ на ваше письмо, где вы пишете, что собираетесь в Италию, в Рим, — на случай, если я замедлю в дороге. Я сам еду в Петербург. Погодите — ради Бога — и я с вами! Возьмите меня с собой! Пожалейте слепца, безумца, только сегодня прозревшего, угадавшего свое призвание! Долго блуждал я в темноте и чуть не сделался самоубийцей, то есть чуть не сгубил своего дарования, ставши на ложный путь! Вы находили в моих картинах признаки таланта: мне держаться бы кисти, а я бросался к музыке и, наконец, бросился к литературе — и буквально разбросался! Затеял писать роман! И вы, и никто — не остановили меня, не сказали мне, что я

— пластик, язычник, древний грек в искусстве! Выдумал какую-то “осмысленную и одухотворенную Венеру”! Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни! Психология, анализ!

Мое дело — формы, внешняя, ударяющая на нервы красота!

Для романа — нужно… другое, а главное — годы времени! Я не пожалел бы трудов и на время не поскупился бы, если б был уверен, что моя сила — в пере!

Я сохраню, впрочем, эти листки: может быть… Нет, не хочу обольщать себя неверной надеждой! Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни! Я пластик, повторяю: мое дело только видеть красоту — и простодушно, “не мудрствуя лукаво”, отражать ее в создании…

Сохраню эти листки затем разве, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам, что чувствовал (или вернее ощущал), что перенес — и…

И после моей смерти — другой найдет мои бумаги:

Засветит он, как я, свою лампаду —

И — может быть — напишет…

Теперь, хотите ли знать, кто я, что я?.. Скульптор!

Да, скульптор — не ахайте и не бранитесь! Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов: отчего мне и Вера, и Софья, и многие, многие — прежде всего являлись статуями! Теперь мне ясно!

Я пластик — вы знаете это, вы находите во мне талант. Стало быть, нужно мне только отыскать свое орудие и прием! У кого пальцы сложились, как орудие фантазии, в прием для кисти, у кого для струн или клавишей, у меня — как я теперь догадываюсь — для лепки, для резца… Глаз у меня есть, вкус тоже — и feu sacré[169] — да? вы этого не отвергаете? Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите с собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидиасов, Праксителей, Кановы — и еще очень немногих!

Никто не может сказать, что я не буду один из этих немногих… Во мне слишком богата фантазия. Искры ее, как вы сами говорите, разбросаны в портретах, сверкают даже в моих скудных музыкальных опытах!.. И если не сверкнули в

---

[169] Примечания: 169
священный огонь (фр.)

создании поэмы, романа, драмы или комедии, так это потому...»

Он чихнул.

«Вот, значит — правда! — подумал он, — что я пластик — и только пластик. Я отрекаюсь от музыки — она далась мне в придачу к прочему. Я кляну потраченное на нее и на роман время и силы. До свидания, Кирилов, — не противоречьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеал искусства и деятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнениями — и тогда я утону безвозвратно в волнах миражей и неисходной скуки! Если скульптура изменит мне (Боже сохрани! я не хочу верить: слишком много говорит «за»), я сам казню себя, сам отыщу того, где бы он ни был, кто первый усомнился в успехе моего романа (это — Марк Волохов), и торжественно скажу ему: да, ты прав, я — "неудачник"! А до тех пор дайте жить и уповать!

В Рим! в Рим! — туда, где искусство — не роскошь, не забава — а труд, наслаждение, сама жизнь! Прощайте! до скорого свидания!»

Он с живостью собрал все бумаги, кучей, в беспорядке сунул их в большой старый портфель — сделал «ух», как будто горбатый вдруг сбросил горб, и весело потер рука об руку.

XXIV

На другой день, с раннего утра, весь дом поднялся на ноги — провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфинька была — чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало и отвечало неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чутких мыслей — всего, объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентьев ходил за ней, как паж, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь?

Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало всё вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя. А вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня наконец и молодая чета оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфинька хмурилась и всё льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство.

Татьяна Марковна пробовала заговаривать об

имении, об отчете, до передачи Райским усадьбы сестрам, но он взглянул на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у ней рублей шестьсот его денег. Он триста рублей при ней же отдал Василисе и Якову, чтоб они роздали дворне и поблагодарили ее за «дружбу, баловство и услужливость».

— Много — урод! пропьют… — шептала Татьяна Марковна.

— Пусть их, бабушка, да отпустите их на волю…

— Рада бы: хоть сейчас со двора! Нам с Верой теперь вдвоем нужно девушку да человека. Да не пойдут! Куда они денутся? Избалованы, век — на готовом хлебе!

После завтрака все окружили Райского. Марфинька заливалась слезами: она смочила три-четыре платка. Вера оперлась ему рукой на плечо и глядела на него с томной улыбкой, Тушин серьезно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а по носу из глаз катилась слеза «с вишню», как заметила Марфинька и стыдливо сняла ее своим платком.

Бабушка хмурилась, но крепилась, боясь расчувствоваться.

— Оставайся с нами! — говорила она ему с упреком. — Куда едешь? сам не знаешь…

— В Рим, бабушка…

— Зачем? Папы не видал?

— Лепить…

— Что?

Долго бы было объяснять ей новые планы — и он только махнул рукой.

— Останьтесь, останьтесь! — пристала и Марфинька, вцепившись ему в плечо. Вера ничего не говорила, зная, что он не останется, и думала только, не без грусти, узнав его характер, о том, куда он теперь денется и куда денет свои досуги, «таланты», которые вечно будет только чувствовать в себе и не сумеет ни угадать своего собственного таланта, ни остановиться на нем и приспособить его к делу.

— Брат! — шепнула она, — если скука опять будет одолевать тебя, заглянешь ли ты сюда, в этот уголок, где тебя теперь понимают и любят?..

— Непременно, Вера! Сердце мое приютилось здесь: я люблю всех вас — вы моя единственная, неизменная семья, другой не будет! Бабушка, ты и Марфинька — я унесу вас везде с собой — а теперь не держите меня! Фантазия тянет меня туда, где… меня нет! У меня закипело в голове… — шепнул

он ей, — через какой-нибудь год я сделаю… твою статую — из мрамора…

У ней задрожал подбородок от улыбки.

— А роман? — спросила она.

Он махнул рукой.

— Как умру, пусть возится, кто хочет, с моими бумагами: материала много… А мне написано на роду создать твой бюст…

— Не пройдет и года, ты опять влюбишься и не будешь знать, чью статую лепить…

— Может быть, и влюблюсь, но никогда никого не полюблю, кроме тебя, и иссеку из мрамора твою статую… Вот она как живая передо мной!..

Она всё с улыбкой глядела на него.

— Непременно, непременно! — горячо уверял он ее.

— Опять ты — «непременно»! — вмешалась Татьяна Марковна, — не знаю, что ты там затеваешь, а если сказал «непременно», то ничего и не выйдет!

Райский подошел к Тушину, задумчиво сидевшему в углу и молча наблюдавшему сцену прощания.

— Если когда-нибудь исполнится… то, чего мы все желаем, Иван Иванович… — шепнул он, наклонясь к нему, и пристально взглянул ему в

глаза. Тушин понял его.

— Все ли, Борис Павлович? И случится ли это?

— Я верю, что случится, иначе быть не может. Уж если бабушка и ее «судьба» захотят…

— Надо, чтоб захотела и другая, — моя «судьба»…

— Захочет! — договорил Райский с уверенностью, — и если это случится, дайте мне слово, что вы уведомите меня по телеграфу, где бы я ни был: я хочу держать венец над Верой…

— Да, если случится… даю слово…

— А я даю слово приехать.

Козлов в свою очередь отвел Райского в сторону. Долго шептал он ему, прося отыскать жену, дал письмо к ней и адрес ее и успокоился, когда Райский тщательно положил письмо в бумажник.

— Поговори ей… и напиши мне… — с мольбой заключил он, — а если она соберется… сюда… ты по телеграфу дай мне знать: я бы поехал до Москвы навстречу ей…

Райский обещал всё и с тяжелым сердцем отвернулся от него, посоветовав ему пока отдохнуть, погостить зимние каникулы у Тушина.

Тихо вышли все на крыльцо, к экипажу, в грустном молчании. Марфинька продолжала плакать. Викентьев подал ей уже пятый носовой платок.

В последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом — и в этом взгляде, в одном мгновении, вдруг мелькнул, как будто всем им приснившийся, тяжелый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки… Никто не сказал ни слова. Ни Марфинька, ни муж ее не поняли этого взгляда, — не заметила ничего и толпившаяся невдалеке дворня.

С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида.

XXV

В Петербурге он прежде всего бросился к Кирилову. Он чуть не ощупывал его, он ли это, тут ли, не уехал ли без него, и повторил ему свои новые артистические упования на скульптуру. Кирилов сморщился, так что нос ушел совсем в бороду, — и отвернулся с неудовольствием.

— Что это за новость! По вашему письму я подумал, не рехнулись ли вы? Ведь у вас есть один талант: отчего бросились опять в сторону? Возьмите карандаш, да опять в академию — да вот купите это. — Он показал на толстую тетрадь литографированных анатомических рисунков. — Выдумали скульптуру! Поздно… С чего вы это взяли?

— Да мне кажется, у меня — вот в пальцах (он сложил пять пальцев вместе и потирал ими) есть именно этот прием — для лепки…

— Когда вздумали! Если б и был прием, так поздно!

— Что за поздно: у меня есть знакомый прапорщик — как лепит!..

— Прапорщик — так, а вы… с седыми волосами!

Он энергически потряс головой. Райский не стал спорить с ним, а пошел к профессору скульптуры, познакомился с его учениками и недели три ходил в мастерскую. Дома у себя он натаскал глины, накупил моделей голов, рук, ног, торсов, надел фартук и начал лепить с жаром, не спал, никуда не ходил, видясь только с профессором скульптуры, с учениками, ходил с ними в Исаакиевский собор, замирая от удивления перед работами Витали, вглядываясь в приемы, в детали, в эту новую сферу нового искусства. Словом, им овладела горячка: он ничего не видал нигде, кроме статуй, не выходил из Эрмитажа и всё торопил Кирилова ехать скорей в Италию, в Рим.

Он не забыл поручения Козлова и пошел отыскивать по адресу его жену, где-то в Гороховой, в chambres garnies. Войдя в коридор номера, он услыхал звуки вальса и — говор. Ему послышался голос Ульяны Андреевны. Он дал отворившей ему дверь девушке карточку и письмо от Козлова. Немного погодя девушка воротилась, несколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нет, что она поехала в Царское Село, к знакомым, а оттуда отправится прямо в Москву. Райский вышел в сени: навстречу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Он назвал жену

Козлова.

— Они больны, лежат в постели, никого не принимают! — солгала и она.

Райский ничего не написал к Козлову.

Он едва повидался с Аяновым, перетащил к нему вещи с своей квартиры, а последнюю сдал. Получив от опекуна — за заложенную землю — порядочный куш денег, он в январе уехал с Кириловым, сначала в Дрезден, на поклон Сикстинской мадонне, «Ночи» Корреджио, Тициану, Поль Веронезу и прочим, и прочим.

В Дрездене он с Кириловым все утра проводил в галерее — да изредка бывал в театре. Райский торопил Кирилова ехать дальше, в Голландию, потом в Англию и в Париж. Но Кирилов уперся и в Англию не поехал.

— Зачем мне в Англию? Я туда не хочу, — говорил он. — Там все чудеса в частных галереях: туда не пустят. А общественная галерея — небогата. Из Голландии вы поезжайте одни в Англию, а я в Париж, в Лувр. Там я вас подожду.

Так они и сделали. Впрочем, и Райский пробыл в Англии всего две недели — и не успел даже ахнуть от изумления, подавленный грандиозным оборотом общественного механизма жизни, — и поспешил в веселый Париж. Он видел по утрам

Лувр, а вечером мышиную беготню, веселые визги, вечную оргию, хмель крутящейся вихрем жизни, и унес оттуда только чад этой оргии, не давшей уложиться поглубже наскоро захваченным из этого омута мыслям, наблюдениям и впечатлениям.

Едва первые лучи полуденной весны сверкнули из-за Альп, оба артиста бросились через Швейцарию в Италию.

Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к природе, к новым людям, новым встречам, — чувствовал, что три самые глубокие его впечатления, самые дорогие воспоминания — бабушка, Вера, Марфинька — сопутствуют ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущение, наполняют собой его досуги, что с ними тремя — он связан и той крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо, — как ни от чего не бывает, и от нее же бывает иногда больно, как ни от чего, когда судьба неласково дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и как артисту, всюду. Плеснет седой вал на море, мелькнет снежная вершина горы в Альпах — ему видится в них седая голова бабушки. Она выглядывала из портретов старух Веласкеза, Жерар Дова, — как

Вера из фигур Мурильо, Марфинька из головок Грёза, иногда Рафаеля…

На дне швейцарских обрывов мелькал образ Веры, над скалами снилась ему его отчаянная борьба с ней… Далее — брошенный букет, ее страдание, искупление… всё!

Он вздрагивал и отрезвлялся, потом видел их опять, с улыбкой и любовью протягивающими руки к нему.

Три фигуры следовали за ним и по ту сторону Альп, когда перед ним встали другие три величавые фигуры: природа, искусство, история…

Он страстно отдался им, испытывая новые ощущения, почти болезненно потрясавшие его организм.

В Риме, устроив с Кириловым мастерскую, он делил время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работал, потом терялся в новой толпе, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей в себе тысячелетия — во всем блеске величия и в поразительной наготе всей мерзости — отжившего и живущего человечества.

И везде, среди этой горячей артистической жизни, он не изменял своей семье, своей группе,

не врастал в чужую почву, всё чувствовал себя гостем и пришельцем там. Часто в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений раздражительных красот юга — его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом, окаменелых преданий и унести всё с собой туда, в свою Малиновку…

За ним всё стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфинька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка» — Россия.